

Генрих Джейне



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ**



# Генрих Джейн

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕСЯТИ ТОМАХ

*Под общей редакцией*

Н. Я. ВЕРКОВСКОГО, В. М. ЖИРМУНСКОГО,  
Я. М. МЕТАЛЛОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1959

# Генрих Джейне

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

т о м

9

ДОКТОР ФАУСТ  
БОГИ В ИЗГНАНИИ  
БОГИНЯ ДИАНА  
ПРИЗНАНИЯ  
МЫСЛИ, ЗАМЕТКИ,  
ИМПРОВИЗАЦИИ

МЕМОУАРЫ

ПИСЬМА 1816—1836 годов

---

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1959

*Редакция переводов*  
**Б. Я. ГЕЙМАНА**

*Комментарии*  
**Б. Я. ГЕЙМАНА и Е. В. ЛАНДА**

*Перевод с немецкого*

# **ДОКТОР ФАУСТ**

**ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПОЭМА,  
С ПРИЛОЖЕНИЕМ НЕКОТОРЫХ  
ЗАБАВНЫХ СООБЩЕНИЙ  
О ЧЕРТЯХ, ВЕДЬМАХ  
И ПОЭТИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ**





## ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Господин Лемлей, директор лондонского Театра ее величества королевы, предложил мне написать для этого театра балет, и я, идя навстречу его желанию, сочинил следующую поэму. Я назвал ее «Доктор Фауст. Танцевальная поэма». Но эта поэма не была поставлена на сцене отчасти потому, что в сезоне, на который она была назначена, беспремерный успех так называемого Шведского соловья в Театре королевы делал излишним всякую другую сенсацию, отчасти же потому, что балетмейстер из *esprit de corps de ballet*<sup>1</sup> самым злостным образом тормозил и затягивал постановку. Этот балетмейстер считал опасным новшеством, что либретто балета в кои-то веки было создано поэтом, в то время как до сих пор такого рода изделия всегда поставлялись одними только балетными мартышками его породы в сотрудничестве с каким-нибудь убогим литератором. Бедный Фауст! Бедный чародей! Пришлось тебе отказаться от чести демонстрировать свою черную магию перед великой Викторией Английской! Посчастливится ли тебе больше на твоей родине? Если, против моего ожидания, какой-нибудь немецкий театр проявит хороший вкус и вздумает поставить мое сочинение, то прошу высокочтимую дирекцию не забыть при этом доставить причитающийся автору гонорар мне или моим законным наследникам при посредстве издательства «Гоф-

---

<sup>1</sup> Слово сочетание, означающее одновременно: корпоративный дух балета и дух кордебалета (*франц.*).

ман и Кампе» в Гамбурге. Считаю нелишним заметить, что для обеспечения авторских прав на мой балет во Франции я уже издал французский перевод и представил в соответствующее учреждение предписанное законом количество экземпляров.

После того как я имел удовольствие вручить рукопись моего балета г-ну Лемлею и мы за чашкой душистого чая беседовали с ним о духе фаустовской легенды и о моей обработке ее, остроумный импрессарио просил меня изложить в письменном виде сущность нашей беседы, чтобы дать ему возможность дополнить этим впоследствии либретто, которое он предполагал в вечер исполнения раздать своей публике. Идя навстречу также и этой любезной просьбе, я написал Лемлею письмо, которое привожу в сокращенном виде в конце этой книжки, так как, быть может, эти беглые наброски смогут представить некоторый интерес и для немецкого читателя.

Как об историческом Фаусте, так и о Фаусте из мифа я представил в письме к Лемлею лишь скудные указания. Не могу обойтись без того, чтобы не свести здесь в немногих словах результаты моих разысканий о возникновении и развитии этого сказочного легендарного Фауста.

Основой легенды о Фаусте следует считать, собственно говоря, не сказание о Теофиле, сенешале епископа Адамаского в Сицилии, а старинную англосаксонскую драматическую обработку этого сказания. В дошедшей до нас нижненемецкой поэме о Теофиле мы находим старосаксонские или англосаксонские архаизмы, как бы словесные окаменелости, ископаемые обороты речи, указывающие на то, что поэма эта воспроизводит лишь более древний оригинал, затерянный с течением времени. Эта англосаксонская поэма, вероятно, существовала еще некоторое время после завоевания Англии французскими норманнами, ибо она, по всей видимости, послужила образцом для почти буквального подражания французского поэта, трубадура Рютбефа, и в виде мистерии была инсценирована во Франции. Для тех, кому недоступно собрание Монмерке, где напечатана и эта мистерия, я замечу, что лет семь тому назад ученый Маньен поместил довольно подробные сведения о ней в «Journal des savants». <sup>1</sup> Эту мистерию трубадура Рютбефа исполь-

---

<sup>1</sup> «Журнале ученых» (франц.).



зовал английский поэт Марло, когда писал своего «Фауста». Аналогичное сказание о немецком чародее Фаусте из старинной книги о Фаусте, уже переведенной тогда на английский язык, Марло облек в драматическую форму, навеянную ему французской мистерией, также уже известной в Англии. Таким образом, мистерия Теофиля и старинная народная книга о Фаусте представляют собой два элемента, из которых сложилась драма Марло. Герой ее уже не нечестивый, восставший против неба мятежник, который, будучи соблазнен колдуном, ради земных благ продает свою душу черту и все же в конце концов, подобно Теофилю, спасается по милости богородицы, извлекающей договор из ада, — герой этой пьесы сам является колдуном. В этом образе, как и в книге о чародее Фаусте, подытожены сказания обо всех предыдущих чернокнижниках. Искусство своих предшественников он показывает высокопоставленным особам, причем все это происходит на протестантской почве, на которую спасающая богородица не имеет права ступить, вследствие чего дьявол безжалостно уносит колдуна. Кукольные театры, процветавшие в Лондоне времен Шекспира и немедленно завладевавшие любой пьесой, имевшей успех на больших сценах, разумеется также давали «Фауста» по образцу Марло, с большей или меньшей серьезностью пародируя оригинальную драму или же приспособляя ее соответственно местным потребностям. Часто случалось, что они представляли самому автору переработать ее сообразно точке зрения их публики. Это и есть тот самый «Фауст» кукольного театра, который, перебравшись из Англии на континент, после странствий по Нидерландам стал появляться и в балаганах нашей родины и, переведенный на простонародную грубую речь, искаженный шутками немецкого гансвурста, потешал низшие слои немецкого народа. Как ни различны те редакции, которые образовались с течением времени (особенно благодаря импровизациям), существо все же оставалось неизменным. Из такой кукольной комедии, на представлении которой в одном убогом театрике Страсбурга присутствовал Вольфганг Гете, наш великий поэт заимствовал форму и содержание своего высокого творения. Во «Фрагменте», первом издании гетевского «Фауста», это выявляется с наибольшей наглядностью; здесь отсутствует еще заимствованное из «Сакун-

талы» введение, отсутствует и пролог, написанный в подражание Иову, нет еще отступления от безыскусственной формы кукольной пьесы и не содержится ни одного существенного мотива, позволяющего заключить о знакомстве со старинными книгами Шписа и Видмана.

Такова история сказания о Фаусте — от поэмы о Теофиле до Гете, который создал Фаусту его нынешнюю популярность. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков же родил Иуду, в руках которого во веки веков останется скипетр. В литературе, как и в жизни, каждый сын имеет своего отца, которого он, однако, не всегда знает или от которого он даже хотел бы отречься.

Написано в Париже 1 октября 1851 года.



## ДОКТОР ФАУСТ

### *Танцевальная поэма*

Ты из могилы вызвал меня  
Волшебным заклинаньем.  
Страсти огонь вернул мне жизнь,  
И нет предела желаньям.

Целуй меня жарче! Дыханье людей  
Божественно, мой любимый!  
Я выпью до капли душу твою,  
Жажда мертвых неутолима.<sup>1</sup>

### ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Большой сводчатый рабочий кабинет в готическом стиле. Скудное освещение. По стенам книжные шкафы, астрологические и алхимические приборы (земные и небесные глобусы, изображения планет, реторты и странные сосуды), анатомические препараты (скелеты людей и животных) и прочий реквизит некромантии.

Бьет полночь. У стола, заваленного горами книг и физических инструментами, в высоком кресле сидит в раздумье доктор Фауст. На нем старонемецкая одежда ученого шестнадцатого века. Наконец он подымается, неверными шагами подходит к книжному шкафу, где на цепи прикован большой фолиант. Отперев замок, тащит освобожденную книгу (так называемые «Ключи ада»)

---

<sup>1</sup> Перевод В. Томашевского.

к своему столу. В его повадке, во всем его существе проявляется смесь беспомощности и мужества, учительской неуклюжести и вызывающей докторской спеси. Он зажигает несколько свечей и мечом очерчивает различные магические круги на полу; затем он открывает фолиант, и в движениях его отражаются тайные ужасы заклинаний. Комната темнеет. Блеск молнии и раскаты грома. Из земли, которая с шумом разверзается, подымается огненно-красный тигр. При виде его Фауст несколько не пугается. Он с насмешкой подступает к огненному зверю и как бы повелевает ему немедленно скрыться. Тигр действительно вскоре проваливается в землю. Фауст снова начинает свои заклинания, снова ужасно сверкает молния и гремит гром, и из раскрывшегося пола взвивается вверх огромная змея, которая угрожающе извивается, изрыгая огонь и пламя. Доктор и ее встречает с презрением; он пожимает плечами, смеется и издевается над тем, что адский дух не сумел появиться в более опасном образе; и змея также уползает обратно в землю. Фауст тотчас же с новым рвением приступает к своим заклинаниям, но на этот раз мрак внезапно рассеивается, комната освещается бесчисленными огнями, вместо грохота громов раздается нежнейшая танцевальная музыка, и из раскрывшегося пола, как из цветочной корзины, подымается балерина в обычном газе и трико и начинает выделять самые банальные пируэты.

Фауст сначала изумлен, что вызванный им дьявол Мефистофель не сумел явиться в более зловещем образе, чем образ танцовщицы, но под конец ему начинает нравиться улыбающееся изящное существо, и он отвешивает ему церемонный поклон. Мефистофель, или, вернее, Мефистофела, как мы будем теперь называть эту перешедшую в женское естество чертовщину, пародируя доктора, отвечает на его приветствие и продолжает кокетливо танцевать. В руках у нее волшебная палочка, и все, чего она касается этой палочкой в комнате, претерпевает самые забавные превращения, но таким образом, что первоначальная форма предметов исчезает не окончательно. Так, например, темные изображения планет начинают светиться изнутри разноцветными огнями. Из банок с уродцами выглядывают прелестные птицы, в клювах сов появляются канделябры, в сверкающем великолелии рас-

цветают на стенах драгоценная золотая утварь, венецианские зеркала, античные барельефы, произведения искусства, — все хаотично призрачно и все же блистательно прекрасно, все сливается в единую чудовищную арабеску. Красавица как будто заключает с Фаустом союз дружбы, но он еще медлит подписать пергамент, который она ему протягивает, это страшное обязательство. Он требует, чтобы она показала ему прочих властителей ада, и они, эти князья тьмы, немедленно появляются из земли. Это чудовища со звериными рожами, фантастическая помесь смешного с ужасным, большинство — с коронами на головах и со скипетрами в лапах. Мефистофела представляет им Фауста, — церемония, при которой соблюдается строжайший придворный этикет. Торжественно переваливаясь, цари преисподней начинают свой неуклюжий хоровод, но едва Мефистофела коснулась их волшебной палочкой, с них спадает их отвратительная оболочка, и все они тотчас же превращаются в изящных пляшущих балерин, в газе и трико и с цветочными гирляндами. Фауст в восторге от этой метаморфозы, но из всех этих красивых дьяволиц ни одна как будто не приходится ему вполне по вкусу; заметив это, Мефистофела вновь взмахивает своей палочкой, и в одном из стальных зеркал, еще раньше вызванных ее волшебством, появляется образ женщины дивной красоты, в придворном платье и с герцогской короной на голове. Увидев ее, Фауст приходит в изумление и восторг и приближается к чудесному образу со всеми признаками нежности и желания. Но женщина в зеркале начинает двигаться как живая и отстраняется от него с высокомерной гримасой; в мольбе он преклоняет перед ней колена, она же еще оскорбительнее повторяет свои презрительные движения.

Тогда бедный доктор обращает молящий взор к Мефистофеле, которая, однако, игриво пожимая в ответ плечами, взмахивает своей волшебной палочкой. Из-под земли тотчас же наполовину высовывается безобразная обезьяна, однако по знаку Мефистофелы, которая сердито трясет головой, она тотчас же проваливается обратно в землю, откуда в тот же миг выскакивает стройный красавец танцор, исполняющий самые банальные па. Танцор приближается к изображению в зеркале, и на его пошлейшие и самодовольные любовные приветствия кра-

савица отвечает восхитительной улыбкой; она с томной страстностью протягивает к нему руки и расточает нежнейшие проявления любви. При виде этого Фауст впадает в яростное отчаяние, но, сжалившись над ним, Мефистофела касается волшебной палочкой счастливого плясуна, и тот тут же проваливается в землю, предварительно превратившись в обезьяну и оставив на полу сброшенную балетную одежду. Теперь Мефистофела вновь протягивает пергамент Фаусту, и тот без долгого раздумья открывает у себя на руке жилу и своею кровью подписывает договор, по которому он за преходящие земные наслаждения отрекается от небесного блаженства. Он сбрасывает с себя строгое и почтенное докторское одеяние и облачается в греховный и пестрый мишурный наряд, брошенный исчезнувшим танцором на пол. С этим переодеванием Фауст справляется очень плохо, но ему помогает легкомысленный кордебалет преисподней.

Теперь Мефистофела дает Фаусту урок танцев и обучает его всем ухищрениям и ухваткам профессионального танцора. Неуклюжесть и беспомощность ученого, который старается воспроизвести изящные, легкие па, приводят к забавнейшим эффектам и контрастам. Дьявольские танцовщицы хотят и здесь помочь ему: каждая по-своему старается пояснить науку примером, каждая бросает затем бедного доктора в объятия другой, которая, в свою очередь, кружится с ним; его дергают во все стороны, но силой любви и волшебной палочки, постепенно делающей гибкими непослушные конечности, ученик достигает наконец высшего совершенства в хореографии: он исполняет блестящее па-де-де с Мефистофелой и, к удовольствию прочих своих товарок по искусству, порхает вместе с ними, исполняя самые замысловатые фигуры. Достигнув такой виртуозности, он решается предстать в качестве танцора и перед красавицей в волшебном зеркале, и она отвечает на пляску его страсти жестами, выражающими самую пламенную взаимность. Фауст танцует с непрестанно возрастающим упоением. Однако Мефистофела увлекает его прочь от образа в зеркале, который от прикосновения волшебной палочки вновь исчезает, и на сцене продолжается обучение высшей школе классического танца.

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Большая площадь перед замком, который виден справа. На сцене, окруженные свитой, рыцарями и дамами, восседают на высоких тронах герцог и герцогиня; он — чопорный пожилой господин, она — юная пышная красавица, точный портрет женщины, являвшейся в волшебном зеркале первого действия. Заметно, что на левой ноге она носит золотой башмак.

Сцена великолепно разукрашена для придворного праздника. Исполняется пастораль во вкусе самого раннего рококо — изящная приторность и галантная невинность. Слащаво-манерные аркадские танцы внезапно прерываются появлением Фауста и Мефистофелы, которые в балетных костюмах совершают в сопровождении демонических балерин, под ликующие трубные звуки, свой триумфальный, победный въезд. Фауст и Мефистофела продельвают перед герцогской четой порхающие реверансы, и когда Фауст и герцогиня внимательно всматриваются друг в друга, обоих поражает радостное воспоминание, они узнают друг друга и обмениваются нежными взглядами. Герцог явно принимает приветствия Мефистофелы с особенно милостивым благоволением. В неистовом паде-де, которое она исполняет теперь с Фаустом, оба обращаются по преимуществу к герцогской чете, и как только их сменяют дьявольские танцовщицы, Мефистофела начинает ворковать с герцогом, а Фауст — с герцогиней; безмерная страсть двух последних тут же как бы подвергается пародии: угловатым и неловким нежностями герцога Мефистофела противопоставляет ироническое жеманство.

Наконец герцог обращается к Фаусту и требует от него, в доказательство его чародейства, вызвать покойного царя Давида и заставить его танцевать перед ковчегом завета. В ответ на такое высочайшее требование Фауст берет из рук Мефистофелы волшебную палочку, помахивает ею, совершая заклинание, и из развершейся земли появляется требуемая группа: на колеснице, влекомой левитами, стоит ковчег завета, перед ним в шутовском веселье, наряженный в эксцентрические одежды, словно карточный король, пляшет царь Давид; а позади ковчега, с копьями в руках, прыгают враскачку, одетые, как польские евреи, в долгополые черные шелковые кафтаны,



царские телохранители с высокими меховыми шапками на украшенных остроконечной бородкой трясущихся головах. Закончив шествие, эти карикатуры проваливаются в землю под гром рукоплесканий.

Снова Фауст и Мефистофела вылетают в блистательном па-де-де, и снова влюбленными жестами стараются завлечь, он — герцогиню, а она — герцога, так что наконец величественная чета, не в силах более сопротивляться, присоединяется, сойдя с трона, к их пляскам. Драматическая кадрили, во время которой Фауст стремится еще сильнее опутать герцогиню. Он заметил на ее шее дьявольское родимое пятно и, заключив из этого, что она колдунья, назначает ей свидание на ближайшем шабаше ведьм. Она испугана и пытается опровергнуть его догадку, но Фауст указывает на ее золотой башмак, верный признак госпожи, главной невесты сатаны. Стыдливо соглашается она на свидание. В это время герцог и Мефистофела пародируют их своим поведением. Демонические танцовщицы продолжают танцевать, после того как четыре главных действующих лица, беседуя, удаляются в глубину сцены.

В ответ на новую просьбу герцога показать ему образец своего чародейства Фауст берет волшебную палочку и прикасается ею к проносящимся мимо них танцовщицам. В одно мгновение те снова превращаются в чудовищ, какими мы их видели в первом действии, и, перейдя от грациозной круговой пляски к самому неуклюжему и причудливому шествию, они в конце концов проваливаются, среди языков пламени, в разверзшуюся землю. Шумные, восторженные рукоплескания, и Фауст с Мефистофелой благодарно склоняются перед высокими особами и досточтимой публикой.

Однако с каждым актом волшебства дикое веселье все возрастает; четыре главных действующих лица снова безудержно бросаются вперед, и в возобновившейся кадрили их страсть принимает все более дерзкие формы: Фауст преклоняет колено перед герцогиней, которая обнаруживает свое чувство к нему не менее компрометирующими жестами. Перед неистово флиртующей Мефистофелой старый герцог падает на колени в позе сладострастного фавна; однако, случайно обернувшись назад и увидев свою супругу и Фауста в вышеописанных позах, он

в ярости вскакивает на ноги, выхватывает меч и пытается заколоть дерзкого чародея. Но последний быстро хватается свою волшебную палочку, касается ею герцога, и на голове последнего разом вырастают громадные сленги рога, за кончики которых его удерживает герцогиня. Общее замешательство придворных. Они хватаются за мечи и наступают на Фауста и Мефистофелу. Но Фауст опять взмахивает своей палочкой, и в глубине сцены внезапно раздаются звуки боевой трубы, — показывается в стройных рядах целый отряд рыцарей, закованных в латы с головы до пят. Пока придворные поворачиваются лицом к этим последним, для того чтобы защищаться, Фауст и Мефистофелу улетают на двух вороних конях, явившихся из-под земли. В тот же миг исчезает, как фантасмагория, и отряд рыцарей.

### ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Сцена ночного шабаша ведьм. Широкая горная площадка; по обеим сторонам деревья, на ветвях которых висят странные лампы, освещающие сцену; посредине каменный пьедестал вроде алтаря, на котором стоит большой черный козел с черным человеческим лицом; между его рогами горит свеча. В глубине сцены горные вершины, громоздясь друг на друга, образуют нечто вроде амфитеатра, на колоссальных ступенях которого восседают зрители — почетные особы преисподней, те самые князья тьмы, которых мы видели в предыдущих действиях и которые кажутся здесь еще огромнее. На упомянутых деревьях пристроились музыканты с птичьими головами, играющие на необычайных струнных и духовых инструментах. На сцене уже царит оживление благодаря танцующим группам, одежды которых напоминают различные страны и эпохи, так что все сборище похоже на маскарад, тем более что действительно многие из собравшихся — в масках и костюмах. Как ни причудливы, ни необычайны, ни нелепы многие из этих фигур, они все же не должны оскорблять чувство красоты, и отвратительное впечатление безвкусного маскарада смягчается или устранивается сказочной пышностью и действительным ужасом.

Время от времени к козлиному алтарю подходит пара — мужчина и женщина, — каждый с черным факелом в руке; они отвешивают поклон козлиному заду, преклоняют колена и прикладываются к нему в поцелуе. Между тем являются новые гости, прилетающие верхом на помелах, навозных вилах и поварешках, а также приезжающие на кошках и волках. Эти вновь прибывшие встречаются здесь со своими возлюбленными, уже поджидающими их. После радостных приветствий они смешиваются с группами танцующих. Прилетает на огромной летучей мыши и ее светлость герцогиня. Она в наряде, обнажающем ее сколько возможно, и на правой ноге у нее золотой башмак. Видно, как она нетерпеливо разыскивает кого-то. Наконец она замечает желанного, то есть Фауста, который прилетает на празднество с Мефистофелой на вороных конях. На нем блестящее рыцарское одеяние, а его спутница в пристойной, тесно прилегающей амазонке знатной немецкой барышни. Фауст и герцогиня бросаются друг другу в объятия, их неудержимая страсть выражается в самых неистовых плясках. Тем временем Мефистофела также отыскала кавалера, которого ждала, тощего дворянчика в черном испанском плаще с кроваво-красным петушиным пером на берете; но в то время как Фауст и герцогиня в своей пляске проходят все ступени истинной страсти, дикой любви, танец Мефистофелы и ее кавалера представляет собою, совершенно напротив, лишь сладострастное выражение ухаживания, нежного обмана издевающейся над собой похоти. Все четверо хватают наконец черные факелы, совершают поклонение указанным образом козлу и затем присоединяются к круговой пляске, в которой все это пестрое общество мчится вокруг алтаря. Своеобразие этого хоровода заключается в том, что танцующие повернуты друг к другу спиною, а не лицом, которое обращено наружу.

Фауст и герцогиня, ускользнув из круга, достигают вершины своего любовного упоения и скрываются за деревьями с правой стороны сцены. Круговая пляска окончена, и новые гости, выступая перед алтарем, совершают поклонение козлу. Среди них коронованные особы и даже высшие церковные сановники в своих духовных облачениях.

Тем временем на авансцене появляется множество монахов и монахинь, которые прыжками причудливой

польки потешают дьявольских зрителей, аплодирующих им с горных вершин вытянутыми вперед лапами. Снова появляются Фауст и герцогиня, но лицо Фауста омрачено, и он с досадой отворачивается от женщины, преследующей его сладострастными ласками. Он самым недвусмысленным образом высказывает ей свое раздражение и недовольство. Напрасно герцогиня с мольбою бросается перед ним на колени, — он отталкивает ее с отвращением. В этот миг появляются три негра в золотых ливреях с вышитыми на них черными козлами. Они приносят герцогине приказ немедленно предстать пред ее господином и владыкой — сатаной, и, так как она колеблется, ее увлекают силой. Видно, как в глубине сцены козел, спустившись со своего пьедестала, после нескольких странных поклонов начинает танцевать с ней менуэт. Медлительно размеренные, церемонные па. На лице козла запечатлена печаль падшего ангела и глубокая тоска пресыщенного государя. Все черты герцогини изобличают самое безнадежное отчаяние. По окончании танца козел вновь восходит на свой пьедестал; дамы, созерцавши это зрелище, приближаются к герцогине с реверансами и знаками преклонения и увлекают ее за собой. Фауст остался на авансцене, и, в то время как он наблюдал за менуэтом, подле него вновь появилась Мефистофела. С отвращением и раздражением указывает Фауст на герцогиню, и видно, что он рассказывает о ней нечто ужасающее. Он вообще проявляет отвращение ко всему этому скоморошескому кривлянию, проходящему перед его взором, ко всей этой готической вакханалии, которая представляет собой лишь грубое и низменное издевательство над церковным аскетизмом и противна ему не менее, чем этот последний. Он охвачен беспредельной тоской по чистой красоте, по греческой гармонии, по бескорыстно благородным образам гомеровской весны! Мефистофела понимает его, и, волшебной палочкой коснувшись земли, она вызывает оттуда образ прославленной Елены Спартанской, который, однако, появившись, в тот же миг исчезает. Вот к чему стремилось ученое, жаждавшее античного идеала сердце доктора; он высказывает свое восхищение, и Мефистофела вновь вызывает волшебных коней, на которых они оба улетают. В тот же миг опять появляется на сцене герцогиня; заметив бегство возлюблен-

ного, она в безумном отчаянии падает в обморок на землю. Ее поднимают какие-то зловещие фигуры и, шутя и гримасничая, некоторое время носят по кругу, как в триумфальном шествии. Новый хоровод ведьм, внезапно прерываемый пронзительными звуками колокольчика и органным хоралом, представляющим собой кощунственную пародию на церковную музыку. Все теснится к алтарю, где, охваченный пламенем, с треском сгорает черный козел. После того как падает занавес, слышатся еще ужащающие, причудливые, кощунственные звуки сатанинской обедни.

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Один из островов Архипелага. Слева виден уголок моря в изумрудных переливах, ласково отделяющийся от бирюзы неба, солнечное сияние которого освещает идеальную местность: растительность и архитектура здесь по-гречески прекрасны — такими некогда видел их творец «Одиссеи». Пинии, кусты лавра, в тени которых покоятся белые изваяния; деревья, обвитые цветочными гирляндами; кристальные водопады; справа — храм Венеры-Афродиты, статуя которой белесет в глубине колоннады; все это оживлено цветущими людьми, юношами в белых праздничных одеждах, девушками в легких, свободных одеяниях нимф; на головах у них розы или мирты; часть их резвится отдельными группами, часть в чинном хороводе совершает радостное служение пред храмом богини. Все дышит здесь греческой жизнерадостностью, божественным миром, классическим спокойствием. Ничто не напоминает о туманном потустороннем мире, о мистическом трепете сладострастия и страха, о выпретенном экстазе духа, который стремится освободиться от телесности: все здесь реальное, пластическое блаженство, без тоски о прошлом, без пустого томления предчувствий. Царица этого острова — Елена Спартанская, прекраснейшая женщина во всей поэзии; она танцует во главе своих придворных девушек перед храмом Венеры; танцы и позы, в согласии с окружением, размеренны, целомудренны и торжественны.

В этот мир внезапно врываются, прилетев по воздуху на вороних конях, Фауст и Мефистофела. Они как бы

освободились от мрачного кошмара, от ненавистной болезни, от меланхолического безумия и отдыхают, наслаждаясь зрелищем этой первозданной красоты и истинного благородства. Царица и ее свита, танцую, гостеприимно движутся им навстречу, предлагают им яства и питье в драгоценных чеканных сосудах и призывают поселиться здесь, у них, на мирном острове счастья. Фауст и его спутница отвечают радостными танцами, и все, соединившись в едином праздничном шествии, отправляются в храм Венеры, где доктор и Мефистофела смеяют свои средневековые романтические костюмы на великолепное в своей простоте греческое одеяние. Вновь выступив в этом преобразении вместе с Еленой на авансцену, они исполняют здесь какое-то мифологическое танцевальное трю.

Наконец Фауст и Елена опускаются на трон с правой стороны сцены, между тем как Мефистофела, схватив тирс и бубен, носится вакханкой, принимая самые бесстыдные позы. Девы из свиты Елены увлечены ее примером: они срывают со своих голов розы и мирты, влетают виноградные лозы в распутившиеся кудри и с развевающимися волосами, потрясая тирсами, кружатся в вакхической пляске. Юноши тотчас же вооружаются щитами и копьями, изгоняют божественно неистовствующих девушек и исполняют боевую пляску, одну из тех воинских паутомим, которые так прелестно описаны древними авторами.

В эту героическую пастораль можно вплести также античную юмористическую сценку, а именно появление толпы амуров, въезжающих верхом на лебедях и тоже исполняющих боевую пляску с копьями и луками. Но эта очаровательная игра внезапно прерывается: испуганные купидоны мигом кидаются на своих верховых лебедей и уносятся при появлении герцогини, прилетевшей на огромной летучей мыши и представшей, как фурия, перед троном, на котором спокойно восседают Фауст и Елена. Видно, как герцогиня осыпает его безумными упреками и угрожает ей. Мефистофела, с злорадством созерцавшая всю эту сцену, снова начинает свой вакхический танец, к которому вновь присоединяются девы из свиты Елены, так что этот радостный хор издевательски противопоставляется бешенству герцогини. Последняя, однако, не в силах более сдерживать ярость, потрясает волшебной палочкой, которую держит в руке, сопровождая это движение

самыми страшными заклинаниями. Сразу темнеет небо, сверкает молния, грохочет гром, бурно вздымается море, на всем острове предметы и лица претерпевают ужасное превращение. Все как бы поражено непогодой и смертью: деревья высохли и лишились листьев; храм обратился в развалину; разбитые статуи лежат на земле; царица Елена, отощавшая, как скелет, сидит в белом саване подле Фауста; танцующие женщины тоже стали костлявыми призраками в белых саванах, которые, свисая с головы, прикрывают лишь тощие бедра, как на изображениях ламий; и в этом образе они продолжают свои веселые пляски и хороводы, словно ничего не случилось; они, по-видимому, совершенно не заметили всех изменений. Но Фауст, видя, что все его блаженство разрушено по милости мстительной и ревливой ведьмы, приходит в ужаснейший гнев; он вскакивает с трона, выхватывает меч и пронзает им грудь герцогини.

Мефистофела снова приводит своих волшебных черных коней, в страхе торопит Фауста поскорее вскочить на коня и уносится с ним по воздуху. А море вздымается все выше и выше; оно постепенно заливают людей и памятники, только танцующие ламии как будто ничего не замечают и продолжают плясать под веселые звуки бубна до последнего мгновения, когда волны достигают их головы и весь остров погружается в воду. Высоко в воздухе над бушующим морем проносятся на вороных Фауст и Мефистофела.

## ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Большая площадь перед собором, готический портал которого виднеется на заднем плане. По обеим сторонам — изящно подстриженные липы. В тени их слева сидят пирующие горожане в нидерландских одеждах шестнадцатого века. Невдалеке виднеются стрелки, сбивающиеся из самострелов птичье чучело, посаженное на высоком шесте. Повсюду праздничное веселье, балаганы, музыканты, марионетки, прыгающие скоморохи и веселящиеся группы. Посреди сцены лужайка, на которой танцуют почетные горожане.

Птица сбита, и победитель, получающий титул короля стрелков, совершает триумфальное шествие. Это тол-



стый человек, похожий на пивовара. На голове у него огромная корона с множеством бубенчиков, живот и спина его покрыты большими бляхами из позолоченной жести; и так он шествует с трезвоном и грохотом. Перед ним маршируют барабанщик и флейтист, а также знаменосец, коротконогий карапуз, забавнейшим образом размахивающий громадным знаменем; важно выступает за ними вся гильдия стрелков. Проходя мимо толстого бургомистра и его не менее увесистой супруги, восседающих вместе с дочкой под липами, участники шествия приветственно машут знаменем и почтительно кланяются. Те отвечают на приветствия, и дочка, белокурая девушка с картины нидерландской школы, подносит королю стрелков почетный кубок.

Звучат трубы, и на высокой, украшенной зеленью тележке, запряженной парой черных лошадей, въезжает высокоученый доктор Фауст в ярко-красном, обшитом золотом костюме бродячего знахаря; впереди тележки, ведя лошадей, шагает Мефистофела, также в блестящем ярмарочном наряде, в лентах и перьях, с большой трубой в руке; временами она трубит и приплясывает, зазывая таким образом народ. Толпа вскоре окружает тележку, где бродячий знахарь продает всякие снадобья и микстуры за наличные деньги. Некоторые приносят ему в больших бутылках свою мочу и показывают ее. Другим он рвет зубы. На глазах у всех он чудесным образом исцеляет убогих калек, которые уходят от него здоровыми и пляшут от радости. Наконец он сходит с тележки, которая уезжает со сцены, и раздает толпе свои склянки, — достаточно выпить из них несколько капель, чтобы исцелиться от всякого недуга и исполниться неудержимым желанием танцевать. Король стрелков, проглотивши целую склянку, чувствует ее волшебную силу, — он хватает Мефистофелу и прыгает с нею в па-де-де. На пожилого бургомистра и его супругу питье также производит зажигающее действие, и оба неуклюже пускаются в старинный гротеск.

Между тем как все общество кружится в безумном вихре, Фауст подходит к дочери бургомистра и, восхищенный ее простотой и естественностью, благонравием и красотой, объясняется ей в любви. Указывая скорбным, почти боязливым жестом на церковь, он просит ее руки. И пред родителями, которые, запыхавшись, опускаются

на скамейку, он повторяет свою просьбу; те не возражают против его предложения, и наконец наивная красавица тоже застенчиво дает свое согласие. Она и Фауст, украшенные цветами, выступают теперь в качестве жениха и невесты и чинно исполняют пристойнейшую пляску Гименея. Наконец-то доктор в сладостно-скромной идиллии обрел домашнее счастье, удовлетворяющее его душу. Забыты сомнения и мучительные наслаждения высокомерного духа, и он сияет внутренним блаженством, словно вызолоченный петух на церковной колокольне.

С торжественной пышностью составляется брачное шествие, и оно уже направляется к церкви, когда вдруг с издевательскими жестами выступает перед женихом Мефистофела, разрушая его идиллическое счастье; она как будто приказывает ему немедленно удалиться отсюда. Фауст гневно противится ей, зрителей эта сцена повергает в замешательство. Но еще больший ужас охватывает их, когда внезапно, по заклинанию Мефистофела, спускается ночная тьма и разражается страшная буря. В ужасе они бегут, ища убежища в церкви, откуда раздаются звон колокола и звуки органа, молитвенный гул, составляющий резкий контраст с грохотом, громом и молнией всего этого адского спектакля, происходящего на сцене. Фауст тоже хочет, как и другие, укрыться в церкви, но появившаяся из-под земли громадная черная рука удерживает его, в то время как Мефистофела со злобно торжествующим лицом достает из-за корсажа пергамент, который некогда доктор подписал своею кровью; она показывает ему, что срок договора истек и что тело и душа его теперь принадлежат аду. Напрасно Фауст представляет всевозможные возражения, напрасны его жалобы и мольбы, — дьяволица пляшет вокруг него с издевательскими ужимками. Земля разверзается, и из нее показываются ужасающие владыки ада, чудища со скипетрами и в коронах; в торжественном хороводе они также высмеивают несчастного доктора, которого Мефистофела, превратившаяся в конце концов в отвратительную змею, удушает, бешено сжимая его своими кольцами. Вся группа под треск огня проваливается в землю, в то время как колокольный звон и звуки органа, несущиеся из собора, призывают к благочестивым христианским молениям.



## ОБЪЯСНЕНИЯ

*To Lumley, Esq., Director  
of the Theatre of Her Majesty the Queen.* <sup>1</sup>

*Dear Sir!* <sup>2</sup>

Легко понятная робость охватила меня, когда я подумал, что избрал для моего балета сюжет, уже обработанный нашим великим Вольфгангом Гете, и притом в его величайшем произведении. Но если достаточно опасно, пользуясь даже одинаковыми изобразительными средствами, соперничать с таким поэтом, то насколько рискованнее и опаснее подобный замысел, когда собираешься выступить на арену с неравным оружием! В самом деле, для выражения своих мыслей Вольфганг Гете имел в своем распоряжении весь арсенал словесного искусства; он распоряжался всеми ларцами в сокровищнице немецкого языка, столь богатого чеканными изречениями глубокомыслия и первобытными естественными звуками мира чувств, волшебными заклинаниями, которые, давно отзвучав в жизни, вновь, как эхо, слышатся в стихах гетевской поэмы и так чудесно возбуждают воображение читателя. Как жалки, в сравнении со всем этим, средства, которыми вооружен я, несчастный, для того, чтобы дать внешнее выражение своим мыслям и чувствам. Я пишу всего только тощее либретто, где могу лишь совсем кратко наметить, как должны действовать и двигаться на сцене танцоры и танцовщицы и как я себе приблизительно представляю при этом музыку и декорации. И все же я осме-

---

<sup>1</sup> Лемлею, эсквайру, директору Театра ее величества королевы (*англ.*).

<sup>2</sup> Милостивый государь! (*англ.*).

лилсь написать «Доктора Фауста» в форме балета, соперничая с великим Вольфгангом Гете, который имеет передо мною преимущество уже хотя бы в смысле свежести материала, не говоря о том, что у него была возможность посвятить обработке этого материала свою долгую, цветущую, олимпийскую жизнь, в то время как мне, жалкому больному, для этой работы был предоставлен вами, уважаемый друг, срок всего лишь в один месяц.

Я не мог, увы, переступить границы моих изобразительных средств. Но в их пределах я сделал то, что может сделать честный человек, и, по крайней мере, стремился к цели, достижением которой Гете никак не может похвалиться: ведь в его поэме о Фаусте мы нигде не найдем точного следования подлинному сказанию, благоговения перед его истинным духом, пиетета перед его внутренней душой, того пиетета, которого скептик восемнадцатого века (а таким скептиком Гете оставался до самой смерти) не способен был ни ощутить, ни понять! В этом отношении он оказался повинным в произволе, предосудительном также и с эстетической точки зрения и в конце концов отомстившем за себя поэту. Да, недостатки его поэмы были связаны с этим прегрешением, ибо, отступив от благочестивой симметрии, благодаря которой сказание жило в сознании немецкого народа, он так и не смог закончить свое создание по заново придуманному, противорелигиозному плану, и оно так и осталось незаконченным, если только не считать завершением поэмы безжизненную вторую часть «Фауста», появившуюся сорок лет спустя. В этой второй части Гете освобождает некроманта от когтей дьявола; он не посылает его в ад, но торжественно возносит в царство небесное в сопровождении пляшущих ангелочков, этих католических купидонов, и жуткий договор с дьяволом, внушавший нашим отцам панический ужас, кончается как фривольный фарс, — я чуть было не сказал: «как балет».

Мой балет включает в себе самое существенное из содержания старинного сказания. Слив главные его моменты в единое драматическое целое, я и в деталях вполне добросовестно придерживался существующей традиции, какой я впервые нашел ее в народных книгах, продающихся у нас на рынках, а также в кукольных комедиях, исполнение которых я видел в детстве,

Содержание народных книг, упомянутых мною, отнюдь не одинаково. Большинство из них представляет собой беспорядочную компиляцию из двух старейших больших сочинений о Фаусте, которые, наряду с так называемыми «Ключами ада», должны рассматриваться как основные источники сказания. Книги эти настолько важны в указанном смысле, что я считаю себя обязанным познакомить вас с ними более подробно. Старейшая из этих книг о Фаусте издана в 1587 году во Франкфурте Иоганном Шписом, который, как видно, не только напечатал, но и сочинил ее, хотя в посвящении своим покровителям он и говорит, что получил рукопись от одного своего друга из Шпейера. Эта старая франкфуртская книга о Фаусте гораздо поэтичнее, гораздо глубокомысленнее и гораздо символичнее, чем другая книга о Фаусте, написанная Георгом-Рудольфом Видманом и изданная в 1599 году в Гамбурге. Последняя, однако, имела большее распространение, быть может потому, что она разбавлена религиозными размышлениями и нашпигована высокомерной ученостью. Лучшая книга была, таким образом, вытеснена и почти окончательно забыта. В основе обеих книг лежит благочестивая цель — благонамеренное предостережение от договоров с дьяволом. Третий источник сказания о Фаусте, так называемые «Ключи ада», представляет собой собрание заклинаний духов, написанных частью по-латыни, частью по-немецки. Их приписывают самому доктору Фаусту. Они самым удивительным образом отличаются друг от друга и известны под разными заглавиями. Самый великолепный из этих «Ключей ада» называется «Дух моря»; даже название это произносилось некогда трепетным шепотом, и манускрипт хранился в монастырских библиотеках, прикованный железной цепью. И все же по преступной нескромности эта книга была напечатана в 1692 году в Амстердаме, Гольбеком из Капустного переулка.

Народные книги, возникшие из указанных источников, использовали, между прочим, также не менее любопытное сочинение о сведущем в чародействе помощнике доктора Фауста, который звался Христофом Вагнером. Его похождения и шутки нередко приписываются его знаменитому учителю. Автор, издавший свое сочинение, составленное якобы по испанскому первоисточнику в 1594 году,

именует себя Толетом Шотусом. Если он в самом деле переводил с испанского, в чем я, однако, сомневаюсь, то мы находим здесь след, по которому можно было бы проследить знаменательное сходство сказания о Фаусте со сказанием о Дон-Жуане.

Существовал ли когда-либо в действительности Фауст? Как и многих других чародеев, Фауста тоже объявляли чистым вымыслом. С ним даже некоторым образом случилось и нечто худшее: поляки, несчастные поляки, заявили на него права как на своего соотечественника и утверждают, что он по сей день еще известен у них под именем Твардовского. Действительно, согласно самым ранним известиям о Фаусте, он изучал магию в Краковском университете, где она, что очень знаменательно, преподавалась публично, как свободная наука; верно также и то, что поляки в те времена были великими чародеями, чего теперь нельзя о них сказать; по наш доктор Иоганнес Фаустус — такое глубоко честное, правдивое, глубокомысленно-наивное, стремящееся к существу вещей и даже в чувственности своей столь ученое создание, что он мог быть либо порождением фантазии, либо немцем. Но сомневаться в его существовании невозможно: о нем сообщают лица, вполне достойные доверия, как, например, Иоганн Вир, написавший знаменитую книгу о колдовстве, затем Филипп Меланхтон, соратник Лютера, равно как и аббат Тритхейм, великий ученый, также занимавшийся тайными науками и поэтому, замечу мимоходом, быть может из профессиональной зависти старавшийся принизить Фауста и выставить его невежественным шарлатаном. Согласно указанным свидетельствам Вира и Меланхтона, Фауст был родом из Кундлингена, маленького городка в Швабии. Должен сказать, что названные главные книги о Фаусте расходятся в указании места его рождения. Согласно более старому, франкфуртскому варианту, он сын крестьянина из Рода, под Веймаром. Однако в гамбургском варианте Видмана говорится: «Фаустус был родом из графства Ангальтского, родители его жили в округе Зольтведель; они были набожные крестьяне».

В записке о великолепном и достопочтенном глистогоне докторе Кальмоннусе, которою я занят в настоящее время, я имею случай показать с полной очевидностью, что истинный, исторический Фауст был не кто иной, как

тот самый Сабелликус, которого аббат Тритхейм изобразил ярмарочным шарлатаном и архиплутом, обманувшим господ и людей. То обстоятельство, что на визитной карточке, посланной им Тритхейму, он назвал себя Фаустом-младшим, привело многих писателей к ошибочному предположению, что существовал еще какой-то другой, старший колдун, носивший это имя. Но прилагательное «младший» должно здесь означать лишь, что тогда был еще в живых отец или старший брат Фауста, что для нас не имеет никакого значения. Было бы совсем иное, если бы я, например, вздумал приложить эпитет «младший» к нашему нынешнему Кальмониусу, так как тем самым я указывал бы на существование другого, старшего Кальмониуса, который жил в середине прошлого столетия и также, вероятно, был хвастунишкой и лгуном; он похвалялся, например, своей близкой дружбой с Фридрихом Великим и часто рассказывал, как однажды утром король продефилировал вместе со всей армией пред его домом и, остановившись под его окном, крикнул ему: «Адью, Кальмониус, иду на Семилетнюю войну, надеюсь еще увидеть тебя в добром здравии!»

Очень распространено в народе заблуждение, будто наш чародей — это тот самый Фауст, который изобрел книгопечатание. Это заблуждение полно значения и глубокой мысли. Народ отождествил двух человек, так как чувствовал, что образ мыслей, представляемый черно-книжником, нашел страшнейшее орудие распространения в изобретении книгопечатания, и таким образом произошло отождествление их обоих. Но этот образ мыслей и есть сама мысль как таковая в ее противопоставлении слепой вере средневековья, вере во все авторитеты неба и земли, вере в воздаяние там, наверху, за самоотречение здесь, как это проповедовала церковь колснопрклоненному угольщику. Фауст начинает мыслить, его безбожный разум возмущается против святой веры его отцов, он не хочет больше метаться во тьме и мучиться в нищете, он требует знания, светской власти, мирских наслаждений, он хочет знать, мочь и наслаждаться, и, выражаясь символическим языком средних веков, он отпадает от бога, отказывается от небесного блаженства и поклоняется сатане и его земным благам. Этот мятеж и его доктрина получили благодаря книгопечатанию столь вол-



шебно-могучий толчок, что с течением времени захватили не только отдельных высокообразованных людей, но и народные массы. Быть может, легенда о Иоганне Фаусте имеет такое таинственное очарование для наших современников именно потому, что они видят здесь представленной с наивной наглядностью борьбу, которую они сами ведут теперь, современную борьбу между религией и наукой, между авторитетом и разумом, между верой и мышлением, между покорным отречением и дерзкой жаждой наслаждения, борьбу не на жизнь, а на смерть, и борьба эта, быть может, кончится тем, что черт заберет нас, так же как забрал он бедного доктора из графства Ангальтского или из Кундлингена в Швабии.

Да, нашего колдуна нередко отождествляют в предании с первым типографом. Это особенно имеет место в кукольных комедиях, где мы находим Фауста всегда в Майнце, тогда как народные книги считают местом его жительства Виттенберг. Глубоко знаменательно то, что место пребывания Фауста — Виттенберг — одновременно является местом рождения и лабораторией протестантизма.

Кукольные комедии, вторично упоминаемые мною, никогда не появлялись в печати, и лишь недавно один из моих друзей издал одно такое произведение по рукописным текстам. Этот мой друг, г-н Карл Зимрок, который вместе со мною слушал в Боннском университете лекции Шлегеля по немецким древностям и метрике, не раз также осушал со мною добрую чашу рейнского вина, усвершенствуясь таким образом во вспомогательных науках, и они впоследствии оченьгодились ему для издания старой кукольной комедии. С умом и тактом восстановил он утраченные места текста, произвел отбор среди имеющихся вариантов и обработкой комического персонажа показал, что превосходно изучил также и немецких гансвурстов, по всей вероятности тоже на лекциях А.-В. Шлегеля в Бонне. Как замечательно начало пьесы, где Фауст сидит один в кабинете среди своих книг и произносит следующий монолог:

Вот до чего занятие наукой меня довело,  
Что надо мною каждый глумится зло.  
Книги все перебрал, до последней страницы,  
А философского камня не мог добиться.  
Юриспруденция с медициной — не впрок,

В некромантии успеха залог.  
Теология, что мне дала она?  
Кто заплатит мне за ночи без сна?  
Нитки нет живой, во что бы одеться,  
А от долгов — невдомек, куда и деться.  
Надобно мне с преисподней связаться ныне,  
В тайны природы проникнуть, в ее глубины.  
Но чтоб духи являлись на зов покорно,  
Магией мне предстоит заняться черной.

В следующей затем сцене содержатся высокопоэтические и глубоко захватывающие мотивы, достойные высокой трагедии и в самом деле заимствованные из величайших драматических произведений. Среди этих произведений следует назвать прежде всего «Фауста» Марло, гениальное творение, не только содержанию, но и форме которого, очевидно, следовали кукольные комедии. Возможно, что «Фауст» Марло послужил образцом и для других английских поэтов его времени при обработке того же сюжета. Эпизоды из таких пьес перешли затем в кукольные комедии. Такие английские комедии о Фаусте были, вероятно, впоследствии переведены на немецкий язык и разыгрывались так называемыми английскими комедиантами, которые к тому времени уже исполняли на немецких подмостках лучшие произведения Шекспира. Мы имеем лишь скудные сведения о репертуаре этой труппы английских комедиантов; самые пьесы, никогда не появлявшиеся в печати, исчезли и сохранились, быть может, разве в захолустных театрах или в бродячих труппах низшего разряда. Так, я вспоминаю, что дважды видел сам «Жизнь Фауста» в изображении таких артистических бродяг, и не в обработке новых поэтов, а, вероятно, по обрывкам старинных, давно забытых пьес. Первую из этих драм я видел двадцать пять лет тому назад в балагане на так называемой Гамбургской горе, между Гамбургом и Альтоной. Вспоминаю, что вызванные заклинаниями черти появились все с головы до ног закутанные в серые простыни. На вопрос Фауста: «Мужчины вы или женщины?» они ответили: «Мы бесполые». Фауст спрашивает затем, как они, собственно, выглядят под своим серым покровом, и они отвечают: «У нас нет облика, свойственного нам; по твоему желанию мы примем любой облик, в каком ты хотел бы нас увидеть; мы всегда будем выглядеть согласно твоей мысли». По заключении договора, которым ему обещано познание

всех вещей и наслаждение всем, Фауст прежде всего спрашивает, как устроены небо и ад, и, получив требуемые сведения, он замечает, что, вероятно, на небе слишком холодно, а в аду слишком жарко, а нам более приемлем, вероятно, климат нашей любезной земли. Прекраснейших женщин этой любезной земли он завоевывает посредством магического кольца, придающего ему вид цветущего юноши, красоту и изящество, а также самый блестящий рыцарский наряд. После многих лет беспашашной и распутной жизни он вступает в любовную связь с синьорой Лукрецией, самой знаменитой из венецианских куртизанок, но коварно покидает ее и уезжает на корабле в Афины, где в него влюбляется и хочет стать его женой дочь герцога. В отчаянии Лукреция обращается к силам преисподней за советом, как отомстить изменнику, и дьявол открывает ей, что все великолепие Фауста исчезнет вместе с кольцом, которое он носит на указательном пальце. Тогда синьора Лукреция в одежде паломника отправляется в Афины и является здесь ко двору в ту самую минуту, когда Фауст в свадебном наряде собирается подать прекрасной принцессе руку, чтобы вести ее к алтарю. Но перседедая пилигримом мстительная женщина внезапно срывает у жениха с пальца кольцо, и тут же юношеский лик Фауста превращается в морщинистое старческое лицо с беззубым ртом, а бедный череп вместо золотистых кудрей оказывается обрамленным лишь скудными серебристыми прядями. Искрящийся великолепный пурпур спадает, точно увядшая зелень, с согбенно трясущегося тела, покрытого теперь только жалкими лохмотьями. Но расколдованный колдун не замечает, что он изменился таким образом, или, вернее, что теперь его тело и платье обнаруживают действительное разрушение, которому они подвергались в течение двадцати лет, в то время как бесовский обман скрывал их под лживым великолепием от людских взоров; он не понимает, почему с отвращением отхлынула от него толпа придворных, почему принцесса восклицает: «Уберите с глаз моих этого старого попрошайку!» Тут перседедая Лукреция злорадно подставляет ему зеркало, он со стыдом видит свой подлинный образ, и наглая челядь пинками выталкивает его за дверь, словно паршивую собаку.

Другую драму о Фаусте, которую я упомянул выше, я видел на конской ярмарке в одном ганноверском местеч-

ке. На лужайке был выстроен балаган, и, несмотря на то, что представление происходило среди бела дня, сцена заклинания производила достаточно жуткое впечатление. Явившийся демон назвался не Мефистофелем, а Астаротом — имя, первоначально, вероятно, тождественное с именем Астарты, хотя последняя в тайных писаниях магов считается супругой Астарота. Астарта изображается в указанных сочинениях с двумя рогами на голове, образующими полумесяц; она и в самом деле некогда почиталась финикийцами богиней луны, и поэтому евреи считали ее, подобно прочим божествам своих соседей, дьяволом. Но царь Соломон Мудрый тайне поклонялся ей, и Байрон прославил ее в своем «Фаусте», которого он назвал «Манфредом». В кукольной комедии, изданной Зимроком, книга, соблазняющая Фауста, называется «Clavis Astarti de magica». <sup>1</sup>

В драме, о которой я начал говорить, Фауст, перед тем как начать заклинание, жалуется, что он настолько беден, что всегда вынужден ходить пешком, и что даже скотница не хочет его поцеловать; он хочет предаться дьяволу, чтобы получить от него коня и прекрасную принцессу. В ответ на заклинание является дьявол, сначала в образе различных животных — свиньи, быка, обезьяны, но Фауст прогоняет его с назиданием: «Чтобы испугать меня, тебе надо быть пострашнее». Тогда дьявол является в виде льва и рычит, *quaerens quem devorat*, <sup>2</sup> но и теперь он недостаточно страшен дерзкому некроманту. Он принужден, поджав хвост, убраться за кулисы, откуда возвращается в виде громадной змеи. «Все еще ты недостаточно ужасен и страшен», — говорит Фауст. Снова дьяволу приходится со стыдом удалиться, и теперь он появляется перед нами в образе человека чрезвычайной красоты, одетого в красный плащ. Фауст выражает ему свое изумление, и красный плащ ему отвечает: «Нет ничего более ужасного и страшного, чем человек, — в нем хрюкает, и ревет, и блеет, и шипит природа всех других зверей; он грязен, как свинья, груб, как бык, смешон, как обезьяна, яростен, как лев, ядовит, как змея, — он является смесью всей животной природы».

<sup>1</sup> «Астартов ключ о магии» (лат.).

<sup>2</sup> Ища, кого бы сожрать (лат.).

Немало поразило меня удивительное сходство этой старинной комедийной тирады с одним из основных учений новой натурфилософии, в особенности в том виде, как ее развивает Окен. По заключении адского договора Астарот предлагает многих красавиц на выбор, расхваливая их Фаусту, например Юдифь. «Не нужна мне голово-резка», — отвечает тот. «Хочешь Клеопатру?» — спрашивает тогда дух. «И ее не хочу», — отвечает Фауст, — она слишком расточительна, слишком дорого обходится и сумела даже разорить богатого Антония; она пьет жемчуг». — «В таком случае, я рекомендую тебе прекрасную Елену Спартанскую», — отвечает Астарот, улыбаясь, и добавляет иронически: «С этой особой ты сможешь разговаривать по-гречески». Ученый доктор в восторге от этого предложения и требует, чтобы дух дал ему физическую красоту и великолепное платье, дабы он мог с успехом соперничать с рыцарем Парисом; кроме того, он требует коня, чтобы тотчас же поскакать в Троию. Получив согласие, он удаляется вместе с духом, и оба тотчас же появляются за пределами балагана на статных конях. Они сбрасывают с себя плащи, и мы видим, как Фауст, а также и Астарот, обратившись в английских жокеев в блестящих мишурных одеждах, исполняют замечательные конные трюки, приводящие в изумление собравшихся конских барышников, которые толпятся вокруг со своими ганноверски-багровыми лицами и от восхищения шлепают себя по желтым кожаным штанам, — это рукоплескания, каких мне не приходилось слышать ни на одном драматическом представлении. Но Астарот в самом деле восхитительно ездил верхом и был стройной хорошенькой девушкой с большими черными дьявольскими глазами. И Фауст был пригожим молодцом в своем великолепном костюме наездника, и держался он на лошади лучше, чем все прочие немецкие доктора, которых я когда-либо видел верхом. Он носился вместе с Астаротом вокруг сцены, на которой уже виднелся теперь город Троя, а на стенах его стояла Елена Прекрасная.

Бесконечно знаменательно это явление Прекрасной Елены в легенде о докторе Фаусте. Оно прежде всего характеризует эпоху ее возникновения и дает нам сокровеннейшее объяснение самой легенды. Этот вечно цветущий идеал прелести и красоты, эта Елена из Греции,

однажды утром в Виттенберге ставшая докторшей Фауст, — это сама Греция и эллинизм, внезапно вынырнувшие из глубины в самом сердце Германии, словно вызванные заклинаниями, а магическая книга, содержащая могущественнейшие из этих заклинаний, называлась Гомером; и это были подлинно великие «Ключи ада», заманившие и соблазнившие Фауста и столь многих его современников. Фауст, как исторический, так и легендарный, был одним из тех гуманистов, которые с энтузиазмом распространяли в Германии эллинизм, греческую науку и искусство. Средоточием этой пропаганды был тогда Рим, где знатнейшие прелаты были приверженцами культа древних богов и где даже папа, как некогда его предшественник, император Константин, представлял в одном лице как должность верховного жреца язычества, так и сан главы христианской церкви. Это была так называемая эпоха воскресения, или, лучше сказать, возрождения античного мировоззрения, совершенно правильно называемая поэтому Renaissance.<sup>1</sup> В Италии это возрождение легче могло достигнуть расцвета и господства, нежели в Германии, где против него, опираясь на появившийся в это время новый перевод библии, с таким иконоборческим фанатизмом выступило возрождение иудейского духа, которое мы назвали бы свангелическим Renaissance. Удивительное дело! Обе великие книги человечества, которые так яростно боролись друг с другом тысячу лет тому назад, а в продолжение всего средневековья, словно устав от борьбы, сошли со сцены, — Гомер и библия, — в начале шестнадцатого столетия вновь открыто выступают на арену. Если выше я высказал мнение, что подлинной идеей сказания о Фаусте был бунт реалистической, сенсуалистической жажды жизни против спиритуалистической древнекатолической аскезы, то здесь я хочу указать, что первой причиной пробуждения этой сенсуалистической, реалистической жажды жизни даже в душах мыслителей было то, что они неожиданно познакомились с памятниками греческого искусства и науки, что они начали читать Гомера, равно как подлинные сочинения Платона и Аристотеля. В творения обоих этих писателей, как со всей определенностью сообщает предание, Фауст погрузился весьма глубоко и даже

---

<sup>1</sup> Возрожденизм; Ренессансом (франц.).

однажды имел высокомерие сказать, что если бы творения эти были утрачены, то он восстановил бы их по памяти, как это некогда сделал Ездра с Ветхим заветом. Насколько глубоко Фауст изучил Гомера, мы видим из легенды о том, что пред студентами, слушавшими его лекции об этом поэте, он вызывал своими чарами живых героев Троянской войны. Таким же заклинанием вызвал он однажды для увеселения своих гостей ту самую Елену Прекрасную, которую впоследствии пожелал получить от дьявола лично для себя и которой обладал вплоть до своей трагичной кончины, как о том сообщает старейшая книга о Фаусте. Книга Видмана опускает эти рассказы, и составитель ее говорит: «Не скрою от христианского читателя, что обрел в сих местах некие истории о докторе Иоганнесе Фаустусе, каковые в рассуждении христианских опасений не полагал упоминать в сем месте, кроме того, что дьявол не допустил его до сочетания браком и вогнал в свое адово мерзкое блудилище, а равно приставил к нему Елену из ада в соблудницы, каковая породила ему на первый раз устрашительное чудовище, а потом сына, по имени Юстус».

В двух местах старейшей книги о Фаусте, относящихся к Елене Прекрасной, говорится:

«В чистое воскресенье нежданно вновь пришли в дом к доктору Фаусту к ужину вышереченные студенты, принесли яства и пития, почему были приятными гостями. Как вино было выпито, речь зашла за столом о пригожих женах, и тут заговорил один. Он-де никакой жены так видеть не желает, как Прекрасную Елену из земли греческой, которой ради прекрасный город Троя был разрушен. А хороша она, вероятно, была, коль так часто ее похищали, от чего бывало такое возмущение. «Ну, ежели таково ваше желание видеть благолепный образ царицы Елены, Менелаевой хозяйки, Тиндара и Леды дочери, Кастора и Поллукса сестры (каковая считалась наипрекраснейшей в Греции), то я вам ее представлю, дабы вы лично узрели дух ее в виде и образе, как была она в жизни, как уже представил императору Карлу Пятому, по его пожеланию, императора Александра Великого с супругой». Затем повелел доктор Фаустус, чтобы никто не молвил ни слова, ни от стола не вставал, ни осмелился коснуться ее, и вышел в соседний покой. Когда он вернулся, за ним вслед шла царица Елена, столь прекрасная, что студенты

не знали, в себе ли они или нет, — в таком смущении и любовном пылу они были. Сия Елена явилась в драгоценной черной порфире, волосы распустила, сиявшие как бы золотом и длинные до колен; глаза были у нее черные, как уголь, личико премилое, головка округлая, уста красные, как вишни, ротик маленький, шея, как лебедь, белая, щечки, как роза, красные, лик красотою несказанно блистательный, вся она была станом высокая и держалась прямо. Вообще изъяпа в ней было не найти, и оглядела она горницу взором дерзким и плутовским, так что студенты возгорелись к ней любовью; но как почитали они ее духом, то легко прошла у них похоть сия, и так Елена опять покинула горницу вместе с доктором Фаустусом. Повидав все сие, студенты просили доктора Фаустуса, сделал бы он им удовольствие и завтра опять представил бы им ее, они же приведут с собой живописца, чтоб он снял с нее портрет, в чем, однако, доктор Фаустус им отказал, — не всякий раз, мол, можно ему пробуждать ее дух. Но он добудет им ее портрет, который им, студентам, вольно будет срисовать, что и сделал, и живописцы повсюду рассылали этот портрет, ибо был то образ жены весьма прекрасной. Но кто срисовал его для Фаустуса, дознаться не могли. Студенты же, отойдя ко сну, из-за того облика, во плоти наглядно узренного, не могли уснуть. Явно из сего, как часто в людях возжигает любовь и ослепляет их дьявол, вовлекая их в распутство, из коего потом выбраться не легко».

Дальше в старой книге говорится:

«Разгула плотских страстей своих ради в полночь пробудившись, злосчастный Фаустус вспомнил греческую Елену, которую некогда в чистое воскресенье представил студентам, почему наутро и приказал своему духу, чтобы тот доставил ему Елену в сожительницы, что и было исполнено, и была сия Елена в том же обличье, что и та, которую представил он студентам, видом любезная и приятная. Узрев ее, доктор Фаустус так пленен был сердцем, что вошел с нею в любовь и держал при себе сожительницей и так привязался к ней, что, пожалуй, ни мига не мог без нее быть, и она в конце года понесла от него и родила ему сына, каковому Фаустус весьма радовался, и назвал он его Юстус Фаустус. Младенец тот много рассказал Фаустусу вещей будущих, каким во всех странах свершиться



должно. Но когда затем Фаустус жизни лишился, то вместе с ним исчезли мать и младенец».

Так как большинство народных книг о Фаусте имеет своим источником сочинение Видмана, то Елена Прекрасная упоминается в них редко, и значение ее легко могло быть упущено из виду. Упустил его вначале и Гете, если он вообще в то время, когда писал первую часть «Фауста», был знаком с народными книгами и не опирался исключительно на кукольные комедии. Лишь спустя четыре десятилетия, когда он стал писать вторую часть «Фауста», он вывел здесь и Елену, и действительно образ ее описан здесь *con amore*.<sup>1</sup> Это лучшее, или, вернее, единственно хорошее во всей второй части, в этой аллегорической, запутанной чаще, из которой внезапно подымается греческая статуя на высоком пьедестале, исполненная совершенства, и взгляд ее белых глаз выражает такое божественно-языческое очарование, что мы проникаемся настоящей скорбью. Это самое драгоценное изваяние, когда-либо выходявшее из мастерской Гете, и едва верится, что перед нами творение рук старца. Это скорее результат спокойной и сознательной работы, чем дитя вдохновенной фантазии, никогда вообще с особенной силой не прорывавшейся у Гете, — ни у него, ни у его учителей и родичей, — я чуть было не сказал: «у его земляков», — у греков. И у них было больше гармонического чувства формы, чем избытка свободного творчества, больше пластического дарования, чем силы воображения, — да, мне хочется высказать даже такую ересь: больше мастерства, чем поэзии.

После этих указаний вы, дорогой друг, легко поймете, почему Елене Прекрасной я посвятил в моем балете целое действие. Впрочем, остров, куда я перенес ее местопребывание, не сочинен мною. Греки давно уже открыли его, и, согласно утверждениям древних авторов, в особенности Павсания и Плиния, он расположен в Понте Евксинском, приблизительно у устья Дуная, и называется Ахиллея, по находившемуся на нем храму Ахилла. Сам Ахилл, — таково предание, — восставший из могилы Пелид, пребывает там в обществе прочих знаменитостей Троянской войны, среди которых находится и вечно юная Елена Спартанская. Хотя доблести и красоте суждена, на радость чер-

---

<sup>1</sup> С любовью (*итал.*).

ни и посредственности, ранняя гибель, однако великодушные поэты вырывают их у могилы и спасают на каком-либо блаженном острове, где не увядают ни цветы, ни сердца.

Я несколько сердито отозвался о второй части гетевского «Фауста», но я поистине не могу найти слов для выражения всей глубины восторга, вызываемого во мне данным здесь изображением Елены Прекрасной. К тому же здесь Гете остался верным и духу сказания, что, к сожалению, как я уже заметил, бывает у него так редко, — упрек, который я не устану повторять. В этом отношении больше всех может на Гете пожаловаться дьявол. Его Мефистофель не имеет ни малейшего внутреннего сродства с подлинным Мефостофилем, как называют его старейшие народные книги. И этим обстоятельством также подкрепляется мое предположение, что Гете не был с ними знаком, когда писал первую часть «Фауста». Иначе он не вывел бы Мефистофеля в столь свински забавной, столь цинически шутовской маске. Ведь Мефистофель не какой-нибудь заурядный адский оборванец — это, как сам он себя называет, «утонченный дух», большой барин, очень знатный и высокопоставленный в адской иерархии, в правительстве преисподней, где он принадлежит к тем государственным мужам, из которых выходят имперские канцлеры. Поэтому я сообщил ему облик, соответствующий его достоинству. Ведь дьявол всегда охотнее всего принимал образ красивой женщины, и в старейшей книге о Фаусте Мефистофель именно в этом виде ловко успокаивает бедного доктора, когда несчастного начинают одолевать благочестивые сомнения. Старая книга о Фаусте рассказывает с полнейшей наивностью:

«Когда Фауст, пребывая в одиночестве, хотел предаться размышлению о слове божием, дьявол, представ ему во образе пригожей жены, лобызал его и творил с ним всякое блудодейство, от чего тот, немедля забыв и на ветер пустив божеское слово, продолжал свое распутство».

Выводя дьявола и его подручных в виде танцовщиц, я сохраняю большую верность преданию, чем вы полагаете. То, что во времена доктора Фауста уже существовал бесовский кордебалет, — не выдумка вашего друга, но факт, который я могу подтвердить выдержками из жизнеописаний Христофа Вагнера, ученика Фауста. В шест-

надцатой главе этой старинной книги рассказывается, как этот великий беспутник давал в Вене пир, где черти в женском образе наигрывали на струнных инструментах прекрасную и восхитительную музыку, в то время как другие черти «плясали всяческие необычайные и непристойные пляски». Они танцевали при этом также в обезьяньем образе, о чем рассказывается: «Вскоре появилось двенадцать обезьян, которые пустились в круговой пляс, танцевали французские балеты, какие танцуют теперь в Италии, Франции и Германии, прыгали и скакали весьма прекрасно, так что всем на диво». Дьявол Глухарь, состоящий в услужении у Вагнера, является обыкновенно в образе обезьяны. Он выступает впервые именно в виде пляшущей обезьяны. Когда Вагнер вызвал его заклинаниями, он, по рассказу старинной книги, обратился в обезьяну и тут «прыгал и приседал, танцевал гальярду и другие сладострастные танцы, наигрывал тут же на цимбалах, дул в флейту, трубил в трубу, — словно тут их сотня собралась!»

Не могу преодолеть искушение пояснить вам тут же, любезный друг, что понимает биограф колдуна под названием танца гальярда. В еще более старой книге Иоганна Преториуса, напечатанной в Лейпциге в 1668 году и содержащей сведения о шабаше на Блоксберге, я вычитал удивительное сообщение, что танец этот изобретен дьяволом. Почтенный автор прямо говорит об этом следующее:

«О новой гальярдской вольте, птальянском танце, при котором хватают друг друга за срамные места, кружатся и вертятся, словно катящийся горшок, и который привезен колдунами из Италии во Францию, прибавить надлежит, что оный танец весь полон непристойных, похабных ужимок и постыдных телодвижений; да мало того — от него происходят несказанно многие убийства и выкидыши, за чем неукоснительно должно бы следить благоустроенной полиции, запрещая его строжайшим образом. И поелику город Женева особенно ненавидит всякое плясанье, то сатана подучил одну тамошнюю девицу всех обращать в пляс и скаканье, до кого дотронется она железной палочкой или прутиком, который дал ей дьявол. И над судьями она насмеялась и сказала, что они не пожелают предать ее смерти; и оттого она никогда не раскаивалась в своем преступлении».

Из этой выдержки вы, любезный друг, можете заключить, во-первых, что такое гальярда, и, во-вторых, что дьявол благоприятствует танцевальному искусству, желая досадить благочестивым людям. Верхом же злонамеренности с его стороны было то, что он своим железным прутом принудил танцевать благочестивый город Женеву, этот кальвинистский Иерусалим! Вообразите только, как все эти маленькие женевские угодники, все эти богобоязненные часовщики, эти избранные господни, все эти добродетельные воспитательницы, эти чопорные, угловатые фигуры учителей и священников вдруг завертелись в гальярде! Рассказ этот, должно быть, правдив, так как я вспоминаю, что встречал его также в «Демонии» Бодена, и меня подбивает охота переработать его в балет под заглавием «Пляшущая Женева».

Как видите, дьявол — великий танцмейстер, и, право, нечего удивляться, что он является пред почтеннейшей публикой в образе танцовщицы. Менее естественна, но полна глубокого смысла метаморфоза, о которой рассказывается в старейшей книге о Фаусте, где Мефистофель, превратившись в крылатого коня, доставляет на своей спине Фауста во все страны и города, куда того влечет прихоть или похоть. Дух здесь одарен не только быстротою мысли, но и мощью поэзии; он является здесь Пегасом в собственном смысле слова, в кратчайший срок переносящим Фауста ко всем прелестям и наслаждениям этой земли. В мгновение ока он перебрасывает его в Константинополь, да еще прямо в султанский гарем, где Фауст божественно наслаждается среди изумленных одалисок, принявших его за бога Магомета. Он переносит его также в Рим, и прямо в Ватикан, где Фауст, невидимый никем, утащив из-под носа у папы лучшие яства и напитки, вдоволь услаждается ими; иногда он начинает громко смеяться, так что папа, полагавший, что он одио в комнате, пугается. Неправильность к папству и вообще к католической церкви ярко выступает повсюду в сказании о Фаусте. В этом отношении характерно также и то, что Фауст, впервые вызвав заклинанием Мефистофеля, сразу же прямо приказывает ему отныне являться на его зов непременно в рясе францисканца. В этом монашеском облачении изображают его нам старинные народные книги (но не кукольные комедии), — в особенности там, где он препирается с Фаустом о религи-

озных вопросах. Здесь все дыхание реформационного времени.

Мефистофель не только не имеет реального облика, но он и не стал популярным в каком-либо определенном образе, подобно тому как это случилось с другими героями народных книг, например с Тилем Эйленшпигелем, этой типической фигурой дюжего немецкого подмастерья, этим олицетворением смеха, или же с Вечным жидом, отрастившим длинную, восемнадцативековую бороду, седины которой, как бы омоложенные, вновь почернели на кончике ее. И в магических книгах Мефистофель не имеет установившегося облика, как другие духи, например Азиабель, всегда предстающий в виде маленького ребенка, или дьявол Марбуэль, непременно являющийся в образе десятилетнего мальчика.

Не могу, кстати, не заметить здесь, что вполне представляю усмотрению вашего театрального механика, пронесется ли Фауст по воздуху со своим адским спутником на двух конях или же с помощью большого волшебного плаща, окутывающего обоих. Волшебный плащ — более народный мотив.

Необходимо, однако, чтобы ведьмы прилетали на шабаш обязательно верхом на чем-либо из домашней утвари или на каком-нибудь чудище. Немецкая ведьма пользуется обыкновенным помелом, смазанным тем же волшебным составом, каким она предварительно натерла свое голое тело. Если ее адский кавалер является за нею лично, то во время полета он сидит впереди, а она сзади. Натираясь мазью, французские ведьмы приговаривают: «Эмен-Этан, Эмен-Этан». «Вверх несись, нигде не зацепись!» — таково заклинание немецких наездниц на помеле, приготовившихся вылететь в трубу. Они знают, как встретиться друг с другом в воздухе, и прилетают на шабаш стаями. Так как ведьмам, как и феям, глубоко ненавистен христианский звон колоколов, то обыкновенно, проносясь мимо колокольной, они на лету забирают колокол и с ужасающим хохотом забрасывают его в какое-нибудь болото. И это обвинение также встречается в колдовских процессах, и французская поговорка правильно говорит, что тому, кого обвиняют в краже колокола с колокольной Нотр-Дам, следует немедленно спастись бегством.

Относительно места, где происходят сборища ведьм, которое они называют своим конвентом, или рейхстагом, мнения в народе очень расходятся. Однако, опираясь на единогласные утверждения очень многих ведьм, несомненно показывавших под пыткой правду, равно как на такие авторитеты, как Ремигиус, Годельманус, Вирус, Бодинус и даже де Ланкр, я остановился на окруженной деревьями горной лужайке, как я это и указал в третьем действии моего балета. В Германии бесовское собрание, говорят, обыкновенно происходило или даже теперь еще происходит на Блоксберге, представляющем собой центр Гарца. Там, однако, собираются не только немецкие, отечественные ведьмы, но и многие иноземные, и не только живые, но и давно умершие грешницы, не находящие покоя в могиле и, подобно виллисам, и после смерти терзаемые сладострастной тягой к пляске. Поэтому мы видим на шабаше смесь одежд всех стран и веков. Знатные дамы появляются обычно в масках, чтобы не чувствовать стеснения. Колдуны, в большом количестве собирающиеся здесь, — часто люди, в повседневном быту прикрывающиеся самым достопочтенным, христианнейшим образом жизни. Что же касается бесов, исполняющих обязанности любовников при ведьмах, то они принадлежат к очень различным рангам, так что старой кухарке или скотнице приходится довольствоваться весьма низкосортным чертенком, тогда как важные патрицианки и высокопоставленные дамы, соответственно своему положению, имеют возможность развлекаться с весьма образованными и тонкохвостыми дьяволами, с галантными дворянчиками преисподней. Последние являются обычно в старинном испанско-бургундском придворном костюме, притом, однако, либо в совершенно черном, либо в крикливо ярком, а на берете их покачивается неизбежное кроваво-красное петушиное перо. Но как ни стройны, как ни изящно одеты, на первый взгляд, эти кавалеры, странно, что всегда в них чувствуется отсутствие известного *finished*,<sup>1</sup> и при более внимательном рассмотрении во всем их существе обнаруживается дисгармония, оскорбляющая слух и зрение: то они слишком тощи, то слишком толсты, лицо их то слишком бледно, то слишком красно, нос то слишком короток, то чуточку длинноват,

---

<sup>1</sup> Лоска (англ.).

и при этом подчас заметны пальцы вроде птичьих когтей, а то и конское копыто. От них не несет серой, как от любовников бедных баб из простонародья, которым, как уже указано, приходится довольствоваться всякими заурядными бесенятами, истопниками преисподней. Но всем дьяволам присущ один роковой недуг, на который в судебных разбирательствах жаловались ведьмы всех разрядов, а именно — ледяная холодность их объятий и любовных ласк.

Люцифер, божьей немилостью князь тьмы, председательствует на соборе ведьм в образе черного козла с черным человеческим лицом, и между рогами у него горит свеча. В центре собрания на высоком помосте или на каменном столе стоит его величество с серьезным и меланхолическим видом, обличающим нестерпимую скуку. Перед ним, верховным своим властелином, совершают все собравшиеся ведьмы, колдуньи, дьяволы и прочие васалы обряд поклонения, попарно преклоняя пред ним колена, со свечами в руках, и затем благоговейно прикладываясь к его заду. Но и это поклонение явно мало радует его, — он остается меланхолическим и серьезным, в то время как все пестрое общество, ликуя, пляшет вокруг него. Этот хоровод и есть та пресловутая пляска ведьм, характерная особенность которой заключается в том, что лица танцующих обращены наружу, что все они повернулись друг к другу спиной и никто не видит чужого лица. Это, конечно, мера предосторожности, принимаемая с той целью, чтобы ведьмам, которым в дальнейшем предстоит, быть может, судебное преследование, не так легко было под пыткой выдать подруг, с которыми они справляли шабаш. Страх перед таким доносом и заставляет высокопоставленных дам являться на бал с маской на лице. Многие танцуют в одной рубашке, многие сбрасывают с себя и это одеяние. Многие сплетают в пляске руки, образуя хоровод, или вытягивают одну руку вперед; другие размахивают своим помелом с ликующим возгласом: «Гар! Гар! Шабаш! Шабаш!» Дурным предзнаменованием считается, если кто-нибудь во время пляски упадет на землю. А если ведьме случится в вихре танца потерять башмак, то это означает, что еще в этом году она будет сожжена на костре.

Оркестр, под музыку которого здесь пляшут, состоит или из адских духов в фантастических уродливых образах, или из бродячих виртуозов, пабравных на большой дороге.

Всего охотнее берут для этого слепых скрипачей или флейтистов, чтобы испуг не помешал их игре, когда они увидят ужасы шабаша. К этим ужасам прежде всего принадлежит обряд принятия новых ведьм в черное общество, когда послушница посвящается в самые чудовищные таинства. Она как бы официально вступает в брак с адом, и при этом случае дьявол, ее мрачный супруг, дает ей новое имя, *nom d'amour*,<sup>1</sup> и выжигает на ее теле тайный знак, в память о своей нежности. Знак этот так скрыт, что следственным властям в процессах о ведовстве нередко с величайшим трудом удавалось разыскать его, и для этой цели они при посредстве палача выстригали волосы на теле у обвиняемой.

Но в этом сборище ведьм есть у князя тьмы еще избранница, носящая титул верховной невесты (*archi-sposa*) и состоящая как бы его главной любовницей. Ее любовный наряд очень прост, более чем прост, так как состоит он единственно из золотого башмачка, отчего она называется также госпожой в золотом башмачке. Это очень красивая, крупная, почти огромная женщина, ибо дьявол не только знаток прекрасных форм, артист, но и любитель плоти, и, по его мнению, чем больше плоти, тем больше и грех. Мало того — в утонченности своего злодейства он старается усугубить грех еще тем, что никогда не избирает своей верховной невестой девицу, но непременно замужнюю особу, к обычному распутству присоединяя еще прелюбодеяние. При этом она должна быть хорошей танцовкой, и на чрезвычайном шабаше нередко случалось видеть, как сиятельнейший козел, сойдя со своего пьедестала, собственной персоной исполнял вместе с голой красавицей свособразный танец, от описания которого я уклоняюсь «по самым веским христианским причинам», как сказал бы старик Видман. Ограничусь указанием, что это древний национальный танец Содомы, традиции которого после гибели города сохранены были дочерьми Лота и удержались вплоть до сего дня, так как и мне самому часто приходилось видеть исполнение этого танца в Париже, в доме 359 по *rue Saint-Hippolyte*, что рядом с церковью Св. вознесения. Если принять во внимание, что шабаш ведьм не упорядочен вооруженной моралью в полицейском мун-

---

<sup>1</sup> Любовное прозвище (*франц.*).



дире, умело обуздывающей вакхическое неистовство, то легко догадаться, какого сорта козлиные прыжки открыто совершались при этом вышеупомянутом па-де-де.

Согласно многим сообщениям, великий козел и его верховная невеста обыкновенно председательствуют также на банкете, происходящем по окончании танца. Столовые приборы и яства на этом пиршестве исключительно драгоценны и изысканны; но если кому вздумается унести оттуда что-нибудь, то на другой день он видит, что золотой кубок оказался глиняным горшком, а сладкий пирог — навозом. Характерно для этого пиршества полнейшее отсутствие соли. Песни, распеваемые собравшимися, — сплошное кощунство, и поются они на мотивы молитвенных песнопений. Святейшие религиозные обряды воспроизводятся с отвратительным шутовством. Так, например, над нашим святым крещением глумятся, совершая его обряд по вполне церковному чину над жабами, ежами и крысами, и в продолжение этого ужасающего действия крестный отец и крестная мать ведут себя как набожные христиане, корча самые ханжеские рожи. Святая вода, посредством которой совершается обряд, есть чудовищная, кощунственная жидкость, а именно моча дьявола. И крестным знаменем осеняют себя ведьмы, но навыворот и левой рукой; говорящие на романских языках произносят при этом слова: «In nomine Patrica Aragueasco Petrica, agora, agora, Valentia, jouando goure gaits goustia», что приблизительно означает: «Во имя Патрике, Петрике Арагонского, в сей час, в сей час, Валенсия, всей нашей горести конец». В заключение, для издевательства над божественной проповедью любви и всепрощения, адский козел возвышает свой ужасающий, громовой голос, взывая: «Мстите, мстите, не то помрете!» Этими сакраментальными словами он объявляет шабаш ведьм закрытым, и, в виде пародии на возвышеннейшее действие Страстей, антихрист приносит и себя самого в жертву, но не ради спасения, а ради гибели человечества: козел в конце концов предает сожжению самого себя, он сгорает под треск пламени, и каждая ведьма старается захватить себе горсть пепла, чтобы совершать при его помощи новые злодеяния. Так заканчиваются бал и пиршество, кричит петух, дамы начинают сильно зябнуть и, как они прибыли, так и разлетаются, только еще быстрее, и не одна госпожа ведьма успевает вновь улечься

в постель рядом со своим храпящим супругом, не заметившим, что в отсутствие его дражайшей половины подле него лежало лишь полено, принявшее ее образ.

Однако и меня уже тянет в постель, ибо ведь я, дорогой друг, писал до поздней ночи, чтобы свести в целое заметки, которые вы желали получить. Я имел при этом в виду не столько директора театра, предполагающего поставить мой балет, сколько высокообразованного джентльмена, интересующегося всем, что есть искусство и мысль. Да, друг мой, вам понятен самый беглый намек поэта, и всякое ваше слово, в свою очередь, плодотворно влияет на него. Непостижимо для меня, как вы, испытанный деловой практик, можете одновременно быть одарены таким необычайным художественным чутьем, и еще более я изумляюсь тому, что среди всех треволнений вашей профессиональной деятельности вы сумели сохранить в себе столько восторженной любви к поэзии!



# **БОГИ В ИЗГНАНИИ**





Еще в самых ранних моих статьях я останавливался на идее, из которой выросли предлагаемые сообщения. Здесь я вновь возвращаюсь к тому перевоплощению в дьяволов, которому подверглись греко-римские божества, когда верховенство на свете перешло к христианству. Теперь народные верования, хоть и не отрицали наличия этих богов, но стали видеть в них существа проклятые, вполне сходясь в таком взгляде с церковью. Последняя отнюдь не объявила, как это сделали философы, старых богов химерами, порождением обмана и заблуждения; она, напротив, признала их злыми духами, которые, низвергнутые победою Христа с светозарной вершины своего могущества, стали теперь действовать на земле во мрак развалин древних храмов или заколдованных чащ, своими прельстительными дьявольскими ухищрениями, сладострастием, красотой, особенно же плясками и пением соблазняя забредших туда слабовольных христиан к отпадению от веры. Обо всем, имеющем отношение к этому вопросу о превращении древних культов природы в служение сатане и языческого жречества — в колдовство, об этом обращении богов в дьяволов я откровенно высказался как во второй, так и в третьей частях «Салона», и я не вижу необходимости в дальнейших подробностях, тем более что с тех пор многие писатели, идя по следам моих указаний и под влиянием выдвинутых мною соображений о значении этого предмета, осветили вопрос гораздо многостороннее, шире и основательнее. Если они при этом

не упоминали имени автора, которому принадлежит почин, то это, конечно, несущественная забывчивость. Я и сам не придаю этому особого значения. В самом деле, поднятая мною тема не возникла неожиданно, но при популяризации старых идей всегда повторяется то, что произошло с колумбовым яйцом. Всякий это знал, но никто не высказал. Да, то, что я сказал, не было новостью и давно было напечатано компиляторами и знатоками древностей в достопочтенных томах ин-фоллио и ин-кварто, в этих катакомбах учености, где подчас в ужасающей симметрии, гораздо более страшной, чем дикий произвол, пагромождены разнообразнейшие скелеты мыслей. Не скрою, что и современные ученые занимались этим предметом, но они, так сказать, похоронили его, как мумию, в деревянных гробах своего путаного и абстрактного научного языка, в котором не в силах разобраться читающая публика, способная принять его за египетские иероглифы. Из этих-то гробниц и склепов я вновь вызвал мысль к действительной жизни, и этого я добился волшебной силой общепонятного слова, черной типографской магией здорового, ясного народного стиля!

Но возвращаюсь к моей теме. Основная мысль не будет здесь, как указано выше, подвергнута дальнейшему обсуждению. Лишь темными словами обращаю я внимание читателя на то, как бедные старые боги, о которых шла речь выше, в эпоху окончательной победы христианства, то есть в третьем веке, оказались в тягостном положении, имеющем чрезвычайное сходство с более древними неприятностями их божественной жизни. Дело в том, что теперь они очутились перед той же печальной необходимостью, с которой им пришлось уже раз иметь дело в те древнейшие времена, в ту революционную эпоху, когда титаны вырвались из плена Орка и, взгромоздив Пелион на Оссу, взобрались на Олимп. Пришлось им тогда удирать с позором, бедным богам, и под разнообразнейшими масками скрывались они у нас на земле. Большинство отправилось в Египет, где они, как всем известно, приняли для большей безопасности образы различных животных. Совершенно так же выпущены были бедные языческие боги вновь обратиться в бегство и в разнообразнейших личинах искать убежища в недоступных тайниках, когда истинный владыка мира водрузил свое крестное знамя над градом небес-

ным и фанатичные иконоборцы, черная монашеская банда, разрушили все храмы и преследовали изгнанных богов огнем и проклятием. Многие из этих бедных эмигрантов, оставшись совершенно без крова и амброзии, вынуждены были взяться за какое-нибудь скромное ремесло, стараясь хотя бы заработать на хлеб. В таких обстоятельствах кое-кому, у кого были конфискованы его священные рощи, пришлось работать по-денно у нас в Германии дровосеком и пить пиво вместо нектара. Аполлон в столь тяжелом положении, кажется, дошел до службы у скотоводов, и, как некогда он пас коров Адмета, так теперь он жил пастухом в Нижней Австрии, где, однако, его прекрасные способности к пению навлекли на него подозрение в том, что он старый колдовской языческий бог, и, обличенный одним ученым монахом, он был предан духовному суду. На пытке он сознался, что он бог Аполлон. Перед казнью Аполлон просил позволения еще хоть раз сыграть на цитре и пропеть песню. Но он играл так трогательно и цел так очаровательно и был при этом так прекрасен лицом и всем обликом, что все женщины рыдали, а многие впоследствии даже захворали от такого волнения. Спустя некоторое время его собрались снова вырыть из могилы, чтобы проткнуть его тело колом, в убеждении, что это вампир и что заболевшие женщины выздоровеют от такого испытанного домашнего средства. Однако могила оказалась пустой.

О судьбе старого бога войны Марса после победы христиан я могу рассказать немного. Я склонен думать, что в феодальные времена он прибегал к кулачному праву. Долговязый Шиммельпениг, племянник мюнстерского палача, встретился с ним как-то в Болонье, где они вели разговор, о котором я сообщу в другом месте. Незадолго до этого он служил ландскнехтом под начальством Фрундсберга и был очевидцем взятия Рима; ему, конечно, горько было видеть позорный разгром своего любимого города и храмов, где поклонялись как ему самому, так и его родичам.

Более, нежели Марсу и Аполлону, повезло после великой этой ретирады богу Вакху, и легенда рассказывает следующее.

Есть в Тироле очень большие озера, окруженные лесами, высокие деревья которых красиво отражаются в голубых водах. Деревья и волны шумят так таинственно, что



испытываешь какое-то странное чувство, когда бродишь там в одиночестве. На берегу такого озера стояла хижи́на молодого рыбака, кормившегося рыбной ловлей, а подчас подрабатывавшего также перевозом, когда какому-либо путнику нужно было переехать на другой берег. У него была большая лодка, которую он привязывал к старым пням неподалеку от избушки. Он жил здесь в полном одиночестве. Однажды, во время осеннего равноденствия, около полуночи услышал он стук в окно и, выйдя за дверь, увидел перед собою трех монахов, спрятавших лица под капюшонами и, видимо, очень спешивших. Один из них торопливо попросил его дать им на время его лодку, пообещав через несколько часов вернуть ее на то же место. Монахов было трое, и рыбак, которому при таких условиях долго раздумывать не приходилось, отвязал лодку; пока они усаживались и поплыли по озеру, он вернулся к себе в избушку и улегся спать. Как человек молодой, он вскоре уснул, но спустя несколько часов его разбудили возвратившиеся монахи; когда он вышел к ним, один из них сунул ему в руку серебряную монету за провоз, и все трое быстро удалились. Выйдя взглянуть на лодку, рыбак нашел ее на месте, крепко привязанной. Тут на него напала дрожь, но не от ночного воздуха. Дело в том, что его всего как-то странно передернуло, и сердце его почти захолонуло, когда монах, давая ему деньги, коснулся его руки, — пальцы монаха были холодны как лед. В продолжение нескольких дней он никак не мог забыть этого обстоятельства. Но в конце концов в юности мы легко забываем все неприятное, и рыбак перестал уже и думать об этом происшествии, когда на следующий год, тоже около осеннего равноденствия, в полночь кто-то постучался в окно рыбацкой избушки и вновь появились три монаха с закутанными лицами и поспешно потребовали лодку. На этот раз рыбак дал ее с меньшими опасениями, и, когда спустя несколько часов они возвратились и один из них торопливо сунул ему в руку плату, он вновь с ужасом ощутил ледяные пальцы. То же самое повторялось из года в год в одно и то же время и таким же порядком, и наконец, когда подошел урочный день седьмого года, рыбаком овладело сильнейшее желание во что бы то ни стало узнать тайну, скрывавшуюся под этими тремя монашескими рясами. Он навалил в свою лодку ворох сетей, так, чтобы под ними можно было спря-

таться в то время, когда монахи будут усаживаться в лодку. Действительно, в должный час пришли ожидаемые черные путники, и рыбаку удалось незаметно укрыться под сетями и поехать вместе с ними. К его удивлению, переправа длилась очень недолго, между тем как ему обычно требовалось более часа для переезда на противоположный берег; и еще больше возросло его изумление, когда здесь, в местах, так хорошо ему известных, пред ним открылась никогда им дотоле не виданная обширная лесная лужайка, окаймленная деревьями совершенно неизвестной ему породы. Деревья были увешаны бесчисленным множеством фонарей; на высоких пьедесталах стояли вазы с пылающей смолой, и при этом месяц светил так ярко, что рыбак, словно при дневном свете, мог разглядеть собравшуюся там толпу. Здесь было много сотен юношей и девушек, почти сплошь удивительно красивых, хотя лица у них были белы, как мрамор, что, в соединении с их одеянием, состоявшим из белых, очень свободных туник с пурпурной каймой, придавало им вид движущихся статуй. У женщин были на головах венки из виноградных листьев, естественных или свитых из золотой и серебряной проволоки, а волосы были частью заплетены на темени в виде венца, а частью спускались вольными завитками с венца на плечи. На головах молодых людей тоже были венки из виноградных листьев. Юноши и девушки, размахивая золотыми жезлами, обвитыми виноградной зеленью, выбежали навстречу трем новоприбывшим, с ликованием приветствуя их. Один из них сбросил теперь рясу и оказался вызывающего вида малым средних лет с отвратительно похотливой, даже порочной физиономией и с заостренными козлиными ушами; он выставял напоказ до смешного увеличенный половой признак, в высшей степени непристойную гиперболу. Другой монах тоже сбросил рясу, из-под которой явился не менее обнаженный толстяк, на лысый череп которого бойкие женщины надели венки из роз. Лица обоих монахов были так же белоснежны, как у всех собравшихся. Белоснежным было и лицо третьего монаха, с громким смехом откинувшего капюшон с головы. Когда он развязал подпоясывавшую его рясу веревку и с отвращением отбросил грязное богоугодное одеяние вместе с крестом и четками, из-под рясы явился в сверкающей алмазами тунике юноша чудесной красоты и благороднейшего сложения; впро-

чем, округлые бедра и тонкий стан делали его несколько женоподобным. Нежно изогнутые губы и расплывчатые, мягкие черты лица также придавали юноше несколько женственный облик; однако лицо его все же отличалось смелым, почти вызывающим, героическим выражением. Женщины, в иступленном восторге осыпая его ласками, возложили ему на голову венок из плюща и накинули на его плечи великолепную леопардовую шкуру. В тот же миг подкатила двухколесная, золотая, запряженная парой львов триумфальная колесница, на которую с достоинством, сверкая веселым взглядом, взошел юноша. Взяв в руки пурпурные вожжи, правил он дикой упряжкой. По правую сторону колесницы шагал один из его нагих спутников, чьи похотливые ужимки и вышеупомянутая непристойная гипербола забавляли сборище, между тем как его товарищ, плешивый толстяк, посаженный веселыми женщинами на осла, ехал слева от колесницы, держа в руке золотой кубок, в который ему непрерывно подливали вино. Медленно подвигалась вперед колесница, за которой в разгульной пляске следовали юноши и девушки в виноградных венках. Перед колесницей выступал придворный оркестр триумфатора: хорошенький толстощекий мальчик, дувший в двойную флейту; затем девушка в высоко подобранной тунике, неистово колотившая костяшками пальцев по звенящей коже бубна; затем не менее восхитительная красавица с треугольником; затем горнисты, козлоногие молодцы с красивыми, но сладострастными лицами, победно трубившие в причудливо изогнутые рога животных или в морские раковины; затем шли музыканты, игравшие на лютнях...

Однако, любезный читатель, я все забываю, что ты читатель образованный и весьма осведомленный, а значит, давно уже понял, что речь здесь идет о вакханалии, о празднестве Диониса. Тебе достаточно часто приходилось видеть на древних барельефах или на гравюрах в археологических сочинениях торжественные шествия во славу этого бога, и, разумеется, ты, при твоём классическом образовании, ни в коем случае не испугался бы, если бы когда-нибудь в полуночном уединении лесной чащи пред тобою внезапно предстал прекрасный призрак такого шествия Вакха, со всем неизбежным для него пьяным персоналом. Разве лишь легкое сладострастное содрогание, эсте-

тическую жуть ощутил бы ты при виде этого бледноликого сборища, этих прелестных привидений, покинувших свои саркофаги или же тайники своих развалившихся храмов, чтобы еще раз совершить древнее веселое богослужение, чтобы еще раз игрой и пляской отпраздновать победное шествие божественного освободителя, спасителя чувственных наслаждений, чтобы еще раз закружиться в жизнерадостной пляске язычества, в канкане античного мира, без всякого лицемерного прикрытия, без всякого вмешательства полисменов спиритуалистической морали, в безудержном иступлении былых дней, в неистовстве, в ликовании восклицая: «Эвоэ, Вахх!» Но ах, любезный читатель! Бедный рыбак, о котором мы рассказываем, отнюдь не был так сведущ в мифологии, как ты, — он никогда не углублялся в археологию, и он в страхе содрогнулся при виде этого прекрасного триумфатора и двоих его необычайных спутников, когда они сбросили свое монашеское облачение; в ужас привели его непристойные ужимки и прыжки вакхантов, фавнов, сатиров, козлиные ноги и рога которых показались ему особенно дьявольскими, и все сборище он счел слетом привидений и бесов, стремящихся своими кознями навлечь погибель на всех добрых христиан. Волосы встали у него дыбом, когда он увидел головоломную позу одной менады, которая, откинув голову с развевающимися волосами, лишь при помощи тирса сохраняла равновесие. И у него самого, у бедного нашего лодочника, помутилось в голове, когда он увидел корибантов, иступленно искавших сладострастного упоения в страдании и короткими мечами наносивших себе раны. Мягкие, нежащие и в то же время мучительные звуки музыки, допосившиеся до него, вторгались в его душу, подобно пламени, которое испепеляло, пожирало, ужасало. Но когда наконец бедняга увидел пресловутый египетский символ преувеличенных размеров и разукрашенный цветами, который обносила вокруг на высоком шесте одна бесстыдница, — тут отшибло у него и слух и зрение; он кипулся к своей лодке и, дрожа всем телом и стуча зубами, заполз под сети, словно сатана уже крепко держал его за ногу. Немного погодя вернулись в лодку и три монаха, и они отчалили. Когда они наконец пристали к другому берегу и вышли, рыбак ухитрился так ловко выскользнуть из своего тайника, что монахам показалось, будто он ожи-

дал их под ивами; после того как один из них опять сунул ему ледяными пальцами плату, они поспешно удалились.

Ради спасения своей души, находившейся, по его убеждению, в опасности, а также и для того, чтобы охранить прочих христиан от гибели, рыбак счел себя обязанным донести духовному суду о страшном происшествии, и так как настоятель соседнего францисканского монастыря был окружен высоким уважением, как председатель такого суда и особенно как ученый заклинатель, то он решился незамедлительно отправиться к нему. Поэтому на рассвете рыбак был уже на пути к монастырю и, смиренно опустив очи, вскоре предстал пред его высокопреподобием приором, который, низко надвинув на лицо капюшон, сидел в кресле в своей библиотеке, пребывая в состоянии неподвижной задумчивости все время, пока рыбак рассказывал ему ужасную историю. По окончании рассказа настоятель поднял голову, и, так как при этом откинулся его капюшон, остолбеневший рыбак увидел, что его высокопреподобие — это один из трех монахов, ежегодно переезжавших через озеро, и узнал в нем как раз того, который минувшей ночью в образе языческого демона правил колесницей, запряженной львами: это было то же мраморно белое лицо, те же прекрасные правильные черты, тот же рот с нежно изогнутыми губами. И на этих губах играла благоволяющая улыбка, и из этих уст исходили теперь сладкозвучные, елейные слова: «Возлюбленный сын во Христе! Охотно верим, что вы провели эту ночь в обществе бога Вакха, и ваш необычайный рассказ о чертовщине — лучшее тому свидетельство. Ни в коем случае не хотим мы сказать что-либо дурное об этом боге; он, без сомнения, нередко утишает скорбь и радуется сердце человеческое, но он очень опасен для тех, кто не обладает большой выносливостью, а вы, очевидно, принадлежите к таким людям. Посему преподаем вам совет отныне наслаждаться золотым соком винограда с должной умеренностью и не беспокоить духовное начальство бредом опьянения, а равно помалкивать, точнее — вовсе держать язык за зубами по поводу вашего последнего видения; в противном же случае вам будет отсчитано мирскою рукою палача двадцать пять ударов плетью. Теперь же, любезнейший сын во Христе, ступайте на монастырскую кухню, где брат келарь и брат трапезник дадут вам закусить».

Затем преподобный пастырь благословил рыбака, и когда тот в недоумении отправился на кухню и увидел там брата трапезника и брата келаря, он от испуга чуть не упал на землю, ибо эти двое были ночные спутники приора, два монаха, переправлявшиеся вместе с ним через озеро, и рыбак узнал толстое брюхо и лысину одного и издевательски-похотливые черты лица и козлиные уши другого. Но он ни о чем ни заикнулся и лишь много лет спустя рассказал эту историю своим близким.

Старинные хроники, сообщающие сходные сказания, переносят место действия в Шпейер на Рейне.

На восточнофрисландском побережье знают сходное предание, в котором отчетливейшим образом отражаются древнеязыческие представления о переправе покойников в царство теней, лежащие в основе всех этих сказаний. Правда, о Хароне, правящем ладьей, нигде не идет речь, да и вообще этот старый чудак сохранился не в народном предании, а только в кукольном театре; но гораздо более важный мифологический персонаж открывается нам в так называемом экспедиторе, заведующем переправой мертвых, уплачивающем обычную плату за проезд лодочнику, который исполняет обязанности Харона и является обыкновенным рыбаком. Несмотря на причудливую маскировку, мы скоро разгадаем действительное имя этой личности, и потому я передам здесь само предание со всей возможной точностью.

В Восточной Фрисландии, на побережье Северного моря, существуют бухты, называемые зиль и образующие как бы небольшие гавани. У самого входа в них стоит одинокий домик какого-нибудь рыбака, который, довольствуясь малым, тихо проживает здесь со своей семьей. Природа печальна в этих местах, ни одна птица не подает здесь голоса, кроме чаек, вылетающих иногда из своих песчаных гнезд, затерянных в дюнах, и зловещим криком предвещающих шторм. Однообразный гул прибоя и мрачные вереницы туч вполне соответствуют друг другу. И люди здесь тоже не поют, и на этом меланхолическом побережье вы никогда не услышите ни одной строфы народной песни. Люди в этих местах сосредоточены, честны, скорее рассудительны, нежели религиозны, и гордятся отважным духом и свободой своих предков. Такие люди не легко увлекаются полетом воображения и не особенно склонны к мудрствованию.

Главный заработок рыбака, живущего у своей одинокой бухты, это рыбная ловля да время от времени плата за перевоз проезжих, направляющихся на какой-нибудь из близлежащих островов Северного моря. Рассказывают, что в известное время года, ровно в полдень, как раз в тот час, когда рыбак сидит за обедом вместе со своей семьей, входит в большую общую горницу проезжий и просит хозяина уделить ему несколько минут, чтобы поговорить об одном деле. Рыбак, после тщетных приглашений прежде всего разделить с ними трапезу, в конце концов исполняет желание гостя, и оба отходят к столику у углового окна. Не стану, согласно праздной беллетристической манере, долго описывать наружность незнакомца; для моей цели достаточно определенных примет. Отмечу, стало быть, следующее: это пожилой, однако хорошо сохранившийся человек, моложавый старик, плотный, но не жирный; щечки у него красненькие, как борддорфское яблочко, глазки весело подмигивают во все стороны, на напудренной головке — треуголочка. Под ярко-желтым плащом с бесчисленным множеством воротничков виднеется старомодная одежда, какую мы находим на портретах голландских кушцов, говорящая об известном достатке: шелковый камзолчик зеленого, попугаечного цвета, расшитый цветочками жилет, коротенькие черные панталончики, полосатые чулки и туфли с пряжками, такие блестящие, что непонятно, как можно было сохранить их в такой чистоте, пробираясь по прибрежному илу. Голос у него сдавленный, пискливый, иногда переходящий в плач, но речь и повадка у этого человечка чинно-важные, как подобает голландскому купцу. Однако важность эта кажется скорее деланной, чем естественной, и временами ей противоречат любопытствующее метание глазок по сторонам и плохо сдерживаемая судорожная подвижность рук и ног. То, что незнакомец — голландский купец, видно не только по его платью, но и по той меркантильной точности и осмотрительности, с какою он умеет обделать дело к наибольшей выгоде для своего доверителя. Ибо, по его словам, он — экспедитор, получивший от одного из своих торговых друзей поручение перевезти с восточнофриландского берега на Белый Остров некоторое количество душ, — сколько вместит обыкновенная лодка. Вот для какой надобности, продолжает он, желательно ему знать, возьмется ли ло-

дочник этой же ночью перевезти упомянутый груз на своем судне на упомянутый остров. В таком случае он готов за проезд внести плату вперед в твердой уверенности однако, что тот, из христианской умеренности, не станет запрашивать слишком дорого. Голландский купец (это, собственно говоря, плеоназм, так как всякий голландец — купец) делает это предложение с величайшей непринужденностью, словно речь идет о грузе сыра, а не о душах умерших. Рыбак несколько ошеломлен словом «души», и у него по спине пробегает легкий мороз, так как он сразу замечает, что речь идет о душах умерших и что пред ним тот самый призрачный голландец, который уже не раз поручал его товарищам перевозку мертвых душ и хорошо платил за это. Однако, как я уже заметил выше, обитатели восточнофрисландского побережья отважны, здоровы и трезвы и лишены того болезненного воображения, которое делает нас столь восприимчивыми ко всему потустороннему и сверхчувственному. Поэтому тайный ужас нашего рыбака длится одно лишь мгновение; подавив тревогу, он тотчас овладевает собой и с видом величайшего спокойствия начинает набивать цену за переправу. Все же после некоторого торга и спора стороны договариваются относительно платы, бьют по рукам в подкрепление сделки, и голландец, вытащив грязный кожаный кошелек, набитый мелкими серебряными пфеннигами, самой мелкой монетой, какую чеканят в Голландии, уплачивает этими забавными монетками всю сумму за перевозку. Дав затем рыбаку указание, чтобы тот около полуночи, когда месяц выйдет из-за облаков, явился с лодкой в определенное место побережья для принятия груза, он прощается со всем семейством, тщетно повторяющим свои приглашения разделить с ними трапезу, после чего персона, еще недавно казавшаяся такой важной, удаляется, семеня мелкими шажкамп.

В условленный час лодочник является на условленное место в своей лодке, которую туда и сюда швыряют волны. Но когда показывается полный месяц, лодочник начинает замечать, что его суденышко кажется уже не таким легким и все глубже погружается в воду, так что наконец вода отстоит от края борта всего на ладонь. Это обстоятельство открывает ему, что души, его пассажиры, уже вошли на судно, и он отчаливает со своим грузом. Сколько



он ни напрягает свой взор, он не различает в лодке ничего, кроме полос тумана, которые движутся взад и вперед, не принимая, однако, определенной формы, и свиваются друг с другом. И сколько бы он ни вслушивался, он не слышит ничего, кроме невыразимо легкого пощелкивания и треска. Лишь временами с пронзительным криком проносится над его головой чайка или рядом с ним всплывает из волн рыба и тупо вглядывается в него. Зияет ночь, и морской воздух становится все холоднее. Повсюду лишь вода, лунный свет и безмолвие; и, притихший, как и всё вокруг, добирается наконец лодочник до Белого Острова и пристает к берегу. Там он не видит никого, но слышит резкий, астматически сдавленный и визгливый голос, в котором он узнает голос голландца. С особой ритмической монотонностью, как бы делая переключку, он зачитывает список собственных имен; из этих имен некоторые известны рыбаку и принадлежат лицам, умершим в этом году. По мере того как длится чтение списка, лодка становится все легче и легче, и если недавно еще она грузно сидела носом в прибрежном песке, то теперь, по окончании проверки, она внезапно и с легкостью всплывает; и рыбак, поняв, что его поклада принята, спокойно возвращается к жене и детям в свой милый домик у залива.

Так происходит всякий раз с перевозкой душ на Белый Остров. В качестве особого случая лодочник однажды отметил, что невидимый контролер, читая список, внезапно остановился и крикнул: «Где же Питер Янсен? Это не Питер Янсен». На это тоненький жалобный голосок ответил: «Ik bin Pitter Jansens Mieke und häb mi op mines Manns Noame inscreberen laten»<sup>1</sup> («Я Питера Янсена Мике и просила записать меня на имя моего мужа»). Выше я позволил себе, несмотря на ее хитроумную маскировку, изобразить важную мифологическую персону, появляющуюся в приведенной легенде. Это не кто иной, как бог Меркурий, былой вожатый душ, Гермес Психопомп. Да, под этим поношенным плащом и за этой прозаической фигурой купца скрывается блистательный юный бог язычников, хитроумный сын Майи. На его треуголочке нет ни единого перышка, которое могло бы напомнить о крыльях божественного шлема, и неуклюжие башмаки со стальными пружками ни

---

<sup>1</sup> Нижненемецкий диалект.

в малейшей степени не напоминают крылатых сандалий; этот по-голландски тяжеловесный свинец так отличен от подвижной ртuti, получившей даже название от этого бога! Но именно такой контраст свидетельствует о нарочитой преднамеренности, и бог избрал себе эту маску для того, чтобы тем увереннее за ней скрываться. Быть может, впрочем, он остановился на ней вовсе не по прихоти: Меркурий, как вам известно, был одновременно богом воров и торговцев, и вполне естественно, что при выборе маски, под которую он мог скрыться, и ремесла, которым он мог бы прокормиться, он считался со своим прошлым и со своими дарованиями. Последние были достаточно испытаны, — он был изобретательнейшим из олимпийцев: он изобрел черепаховую лиру и солнечный газ, он обкрадывал людей и богов и уже в младенчестве был маленьким Кальмонiuсом, ускользнувшим из колыбели, чтобы стибрить пару волов. Он должен был выбрать какое-либо из двух ремесел, по существу не очень различных, так как оба ставят себе одну задачу: возможно дешевле овладеть чужой собственностью; но лукавый бог сообразил, что воровское сословие не пользуется в общественном мнении столь высоким уважением, как торговое, что первое преследуется полицией, в то время как второе даже охраняется привилегиями, что купцы в наши дни достигают высочайшей ступеньки на лестнице почестей, между тем как представителям воровского сословия приходится подчас взбираться по менее приятной лесенке, что они ставят на карту свободу и жизнь, в то время как купец может потерять лишь свои капиталы или капиталы своих друзей, — и хитроумнейший из богов сделался купцом и даже, чтобы стать им полностью, — голландцем. Его продолжительная практика в качестве бывшего Психопомпа, вожатого теней, делала его особенно пригодным для экспедиции душ, транспортирование коих на Белый Остров совершается, как мы видели, через него.

Белый Остров иногда называется также Бреа, или Бритиниа. Не имеется ли тут в виду белый Альбион, известковые скалы английского берега? Вот была бы юмористическая идея — назвать Англию страной мертвецов, царством Плутона, преисподней! Иному иностранцу Англия действительно может представиться в этом облике.

В статье, посвященной легенде о Фаусте, я обстоятельно осветил народные верования, относящиеся к царству Плутона и к нему самому. Я показал там, как древнее царство теней обратилось в законченный ад, а древний мрачный повелитель его — в совершенного дьявола. Однако лишь на канцелярском языке церкви эти вещи звучат так резко; несмотря на христианскую анафему, положение Плутона по существу не изменилось. Он, бог преисподней, и брат его Нептун, бог моря, не эмигрировали, подобно другим богам, и после победы христианства остались в своих владениях, в своей стихии. Какие бы нелепости ни сочиняли о нем здесь, паверху, на земле, старик Плутон сидел себе внизу, в тепле, подле своей Прозерпины. Гораздо меньше клеветы, чем его брату Плутону, пришлось претерпеть Нептуну, и ни звон колоколов, ни звуки органа не способны были оскорбить его ухо в пучине океана, где он сидел спокойно подле своей белогрудой супруги Амфитриты, окруженный влажной свитой nereид и тритонов. Лишь изредка, когда какому-нибудь юному моряку случалось впервые пересекать экватор, он появлялся, вынырнув из своих глубин, с трезубцем в руке, в венке из водорослей и с ниспадающей до пупа волнистой серебряной бородой. Он совершал тогда над повичком страшный обряд крещения морской водой и держал при этом длинную елейную речь, пересыпанную забористыми матросскими остротами, которые он, к восторгу своих просмоленных слушателей, не столько высказывал, сколько выплевывал вместе со струями желтой жижи пережеванного табака. Один приятель, подробно описавший мне, как разыгрывается моряками на кораблях такая водяная мистерия, уверял меня, что как раз те матросы, которые бесшабашнее других хохотали над потешной карнавальной рожей Нептуна, все же ни на мгновение не сомневались в существовании этого морского бога и иногда, в минуту большой опасности, молились ему.

Таким образом, Нептун остался властителем водного царства, подобно тому как Плутон, несмотря на свое превращение в дьявола, остался государем преисподней. Им посчастливилось более, нежели их брату Юпитеру, третьему сыну Сатурна, который после свержения своего отца воцарился на небе, в качестве владыки вселенной правил с божественной жизнерадостностью сю с Олимпа, окружен-

ный блестящей свитой смеющихся богов, богинь и почетных нимф. Когда разразилась прискорбная катастрофа, когда провозглашено было верховенство креста и страдания, эмигрировал и великий Кронид, который так и исчез в сумятице переселения народов. Потерялся след его, и я напрасно обращал мои вопросы к старым летописям и к старым бабам — никто не мог дать мне сведений о его судьбе. С той же целью я перерыл множество библиотек, где мне показывали великолепные пергаментные рукописи, украшенные золотом и драгоценными камнями, — настоящие одалиски в гареме науки, — и я публично выражаю здесь благодарность ученым евнухам за беспрекословность и даже за предупредительность, с какою они открывали предо мною эти сверкающие сокровища. По-видимому, никаких народных преданий о средневековом Юпитере не сохранилось, и все, что мне удалось выловить, исчерпывается рассказом, сообщенным мне некогда моим приятелем Нильсом Андерсеном.

Я назвал Нильса Андерсена, и вновь, как живой, встанет в моей памяти его милый, забавный образ. Посвящу ему здесь несколько строк. Я охотно указываю мои источники и даю их характеристику, дабы предоставить благосклонному читателю возможность самому судить, в какой степени они заслуживают доверия. Итак, несколько слов о моем источнике.

Нильс Андерсен, уроженец Тронхейма в Норвегии, был одним из величайших китоловов, каких я знал. Я очень ему обязан. От него идут все мои познания по части китоловного промысла. Он познакомил меня со всеми уловками, к каким прибегает умное животное, чтобы ускользнуть от охотника; он открыл мне все военные хитрости, посредством которых справляются с этими уловками. Он научил меня приемам, применяемым при метании гарпуна, показал мне, как, бросая в кита гарпун, надлежит упереться коленом правой ноги в передний борт шлюпки, а левой ногой можно дать здоровенного пинка матросу, который недостаточно быстро разматывает привязанную к гарпуну веревку. От него я узнал все, и если я не сделался великим китоловом, то в этом не виноваты ни Нильс Андерсен, ни я, но моя злая судьба, не давшая мне встретиться на моем жизненном пути ни с одним китом, с которым я мог бы вступить в достойный бой. Я встречался только с обык-

новенной треской и паршивой селедкой. А против селедки что поделаешь с самым лучшим гарпуном? Теперь я вынужден отказаться от всяких охотничьих надежд — из-за моих парализованных ног. Когда я познакомился с Нильсом Андерсеном в Ритцебюттеле подле Куксхафена, у него тоже было неладно с ногами: близ устья Сенегала одна молодая акула, возможно приняв его правую ногу за конфетку, откусила ее, и бедному Нильсу пришлось с тех пор ковылять на деревяшке. Самым большим удовольствием для него в ту пору было сидеть на высокой бочке и колотить по ее пузу своей деревянной ногой. Я часто помогал Нильсу взобраться на бочку, но не раз отказывался помочь ему слезть, пока он не расскажет мне какое-нибудь из своих чудесных рыбацких сказаний.

Как Магомет Ибн-Мансур всегда начинал свои песни с похвалы лошади, так Нильс Андерсен все свои истории начинал панегириком киту. Не обходится без такого похвального слова и его легенда, которую мы здесь перескажем. Кит, говорил Нильс Андерсен, не только самый большой, но и самый красивый зверь. Из двух ноздрей на его голове бьют две громадные водяные струи, сообщающие ему вид чудесного фонтана и производящие, в особенности ночью, при лунном свете, волшебный эффект. При этом он добродушен, миролюбив и проявляет большую склонность к тихой семейной жизни. Трогательную картину представляет собою кит-отец, когда он возлежит в кругу своих близких на огромной льдине и стар и млад вокруг него соперничают друг с другом в любовных играх и беззаботном взаимном поддразнивании. Иногда все они разом прыгают в воду, чтобы играть в жмурки между большими льдинами. Чистота нравов и целомудрие китов в гораздо большей степени поддерживаются ледяной водой, в которой они неустанно плещутся плавниками, чем моральными принципами. Увы, невозможно отрицать, что они лишены религиозного чувства, что они существуют совершенно без религии...

— Мне кажется, что это ошибка, — перебил я моего приятеля, — я читал недавно отчет одного голландского миссионера, где он изображает великолепие мироздания, каким оно являет себя в далеких полярных областях, когда поутру восходит солнце и дневные лучи озаряют причудливые исполинские ледяные глыбы, Напоминая ска-

зочные алмазные замки, говорит он, они представляют собою столь внушительное свидетельство господнего величия, что не только человек, но и грубая морская тварь, потрясенная этим зрелищем, молитвенно славит создателя, и, так уверяет его преподобие, своими собственными глазами он много раз наблюдал китов, которые, прислонившись к ледяной стене, стояли выпрямившись и склоняли верхнюю часть тела, кланаясь, как богомольцы.

Нильс Андерсен недоверчиво покачал головой. Он не стал отрицать, ему и самому случалось видеть, как киты, стоя у ледяной стены, совершали движения, немногим отличавшиеся от тех поклонов, которые можно наблюдать в молельнях у некоторых сект, но он совершенно отказывался объяснять их религиозным усердием. Он объяснял это явление физиологически: он заметил, что у кита, этого Чимборасо среди животных, лежит под кожей такой невероятно толстый слой сала, что нередко один кит дает сто—полтораста бочек жира и ворвани. Этот слой сала до того толст, что многие сотни водяных крыс поселяются в нем, пока великан спит на льдине, и эти гости, несравненно более крупные и злобные, чем наши домашние крысы, ведут развеселую жизнь под кожей кита, где могут день и ночь, не покидая гнезда, услаждаться наилучшим салом. В конце концов эти пиршества могут оказаться несколько докучными и даже невыносимо мучительными для невольного их хозяина, а так как у него нет рук, как у человека, который, если его где кусает, слава тебе, господи, имеет возможность почесаться, то он старается смягчить свои глубокие страдания тем, что становится на острые края ледяной стены и, ерзая взад и вперед, яростно трет об нее спину, совсем так, как у нас чешутся собаки о кровать, когда их одолевают блохи. Эти вот движения и счел молитвенными поклонами почтенный служитель церкви, приписавший их набожному благоговению, тогда как они вызваны крысиными оргиями.

— Хоть и много в ките ворвани, — закончил Нильс Андерсен, — религиозного чувства в нем нет ни капли. Он не почитает ни святых, ни пророков, и, даже проглотив однажды по недоразумению маленького пророка Иону, такой кит не мог его никак переварить и через три дня выплюнул. Увы, милейшее чудище обходится без религии и столь же мало почитает нашего истинного господа,

проживающего на небе, как и ложного языческого бога, сидящего далеко у Северного полюса на Кроличьем острове, где оно иногда его навещает.

— А что это за место Кроличий остров? — спросил я Нильса Андерсена.

Он побарабанил деревянной ногой по бочке и ответил:

— Это и есть тот остров, где случилась история, которую я хочу вам рассказать. Настоящего местоположения острова я указать не могу. С тех пор как он открыт, никто не мог вновь побывать на нем; этому мешали огромные плавучие ледяные горы, громоздящиеся вокруг острова и, вероятно, лишь очень редко дающие возможность подойти к нему. Только команде одного русского китобойного судна, заброшенного северными бурями в такую даль, довелось вступить на землю острова, а с тех пор прошло сто лет. Когда эти моряки причалили туда на шлюпке, остров оказался диким и пустынным. Печально покачивались стебельки дрока над прибрежным песком; лишь там и здесь виднелись карликовые ели да у самой земли чах бесплодный кустарник. Множество кроликов прыгало вокруг, почему они и назвали эту землю Кроличьим островом. Только одна жалкая хижина указывала на присутствие человеческого существа. Войдя в нее, моряки увидели дряхлого старика, который сидел на камне у очага в отрепьях, сшитых из кроличьих шкурок, и грел у пылающего хвороста свои тощие руки и трясущиеся колени. Справа от него стояла громадная птица, с виду напоминающая орла, но так безжалостно обшипанного временем, что у него сохранились одни только длинные взъерошенные основы перьев вместо крыльев, что придавало ободранной этой птице чрезвычайно глупый и в то же время жуткий и безобразный вид. Слева от старика прикорнула на земле необычайно большая облезлая коза, казавшаяся совсем старой, хотя вымя ее с розовыми сосками было полно молока.

Вместе с русскими моряками, высадившимися на Кроличьем острове, было несколько греков, и один из них, не думая, что старик поймет его, сказал товарищу по-гречески: «Этот старикашка — либо привидение, либо злой демон». Но при этих словах старик вдруг поднялся с своего камешного сидения, и с великим изумлением моряки увидели пред собой его высокую, статную фигуру; несмотря на преклонный возраст, он выпрямился с властным, почти

царственным достоинством, едва не касаясь головой балок потолка. Черты его лица, хоть и истощенного и поблекшего, свидетельствовали о былой красоте; они отличались благородством и строгой соразмерностью; немногочисленные серебряные пряди волос скудно ниспадали на чело, изборожденное гордостью и годами, взгляд бесцветных и неподвижных глаз был пронизателен, и из высоко изогнутого рта полились звучные и гармонические слова старинной греческой речи: «Вы ошибаетесь, молодой человек, я не привидение и не злой демон; я несчастный, знавший некогда лучшие дни. А вы кто такие?»

Моряки рассказали старцу о злоключениях своего путешествия и пожелали получить сведения обо всем, что касается острова. Сведения эти, однако, были очень скудны. С незапамятных времен, рассказывал старик, живет он на этом острове, ледяная ограда которого дает ему надежное убежище от неумолимых врагов. Существует он по преимуществу ловлей кроликов, и ежегодно, когда замерзают плавающие льды, приезжают на санях толпы дикарей, которым он продает кроличьи шкурки, а они оставляют ему в уплату различные предметы первой необходимости. Киты, иногда приплывающие к острову, — приятнейшее для него общество. Тем не менее ему доставляет удовольствие вновь поговорить на родном языке, ибо сам он грек; он, в свою очередь, просил своих соотечественников сообщить ему некоторые сведения о нынешнем положении Греции. Что с башен греческих городов снесены кресты, явно доставило старику злобную радость; однако он был не особенно доволен, когда услышал, что на место креста водружен теперь полумесяц. Странно было, что ни один из моряков не знал названий городов, о которых осведомлялся старик и которые, по его уверению, находились в его времена в цветущем состоянии; с другой стороны, незнакомы ему были названия нынешних городов и сел Греции, о которых упоминали моряки. Поэтому старик не раз печально покачивал головой, а моряки удивленно переглядывались. Они заметили, что ему отлично знакомы все местности Греции, и, в самом деле, он с такой точностью и наглядностью описывал заливы, косы, горные выступы, даже маленькие холмики и незначительные скалы, что его неосведомленность в самых общеизвестных названиях повергла моряков в величайшее изумление. Так, с особен-



ным интересом, даже с некоторой боязливостью, расспрашивал он их об одном древнем храме, который, по его словам, в его время был самым красивым во всей Греции. Но никто из слушателей не знал названия, которое он с такой нежностью произносил, пока наконец, после того как старик со всей точностью вновь описал местоположение храма, один молодой матрос не догадался по описанию, о какой местности идет речь.

Деревня, где он родился, говорил молодой человек, расположена как раз в этой местности, и мальчиком он долго пас на описанном месте отцовских свиней. Действительно, говорил он, там сохранились развалины древнейших зданий, свидетельствующие об исчезнувшем великолепии; лишь кое-где возвышались еще большие мраморные колонны, то в одиночку, то связанные наверху плитами фронтона, из трещин которого, подобно заплетенным косам, свешивались цветущие побеги жимолости и красных колокольчиков. Другие колонны, — среди них многие из розового мрамора, — валялись разбитыми на земле, и драгоценные капители, на которых сплелись прекрасно высеченные листья и цветы, большие мраморные плиты, четырехугольные и треугольные обломки стен и крыш торчали там, наполовину уйдя в землю, осененные огромной дикой смоковницей, выросшей из щебня. Целые часы, продолжал молодой матрос, проводил он под этим деревом, рассматривая странные фигуры, выпукло высеченные на больших камнях и изображавшие различные игры и состязания; приятно и радостно было смотреть на них, хотя, к сожалению, по большей части они сильно пострадали от непогоды или же заросли мхом и плющом. Отец, которого он расспрашивал о таинственном значении этих колонн и изваяний, как-то сказал ему, что это развалины древнего храма, где некогда обитал проклятый языческий бог, который предавался не только самому откровенному разврату, но и противоестественным порокам и кровосмесительству; однако в честь его ослепленные язычники нередко приносили в жертву сотню быков пред его алтарем; выдолбленная глыба мрамора, в которую стекала кровь жертв, еще находится там, и это то самое каменное корыто, из которого он, сын его, иногда поил своих свиней скопившейся в нем дождевой водой или сохранял там всякие объедки для их корма,

Так говорил молодой человек. Старик же ответил глубоким вздохом, свидетельствовавшим о величайшем страдании; бессильно опустил он на свое каменное сидение, закрыл лицо обеими руками и заплакал как дитя. Большая птица отвратительно заклекотала, распустила свои огромные крылья и стала угрожать пришельцам когтями и клювом. А старая коза лизнула руки своего господина и заблеяла печально и как бы успокаивая его.

Жуткое беспокойство охватило моряков при виде этого; они поспешно покинули хижину и были рады, когда до слуха их больше не доносились рыдания старика, клекот птицы и блеяние козы. Возвратившись на судно, они рассказали там о своем приключении. Но среди экипажа находился один русский ученый, профессор философского факультета Казанского университета, и он объявил, что этот случай имеет очень большое значение; глубокомысленно приставив указательный палец к носу, он уверял моряков, что старик на Кроличьем острове — без сомнения, древний бог Юпитер, сын Сатурна и Реи, бывший царь богов. Птица подле него — это, очевидно, орел, некогда державший в своих когтях разящие молнии. А старая коза, по всей вероятности, не кто иная, как Амальтея, старая кормилица, еще на Крите вспоившая бога своим молоком и теперь в изгнании вновь питающая его.

Так рассказывал Нильс Андерсен, и, должен признаться, его повесть наполнила мою душу печалью. Уже сообщения о тайных муках китов возбудили мое сострадание. Бедное больное животное! От мерзостной крысиной сволочи, внедрившейся в тебя и неустанно тебя грызущей, нет спасения, и тебе приходится всю жизнь таскать ее за собою; и хотя ты в отчаянии мечешься от Северного полюса к Южному и чешешься о его ледяные края, ничто не помогает тебе, ты не можешь избавиться от них, от этих мерзостных крыс, да к тому же еще тебе не дано черпать утешение в религии! Все великое на этой земле грызут тайные крысы, и даже богам в конце концов уготован жалкий конец. Таков железный закон рока, и даже высочайший из бессмертных должен со стыдом склонить пред ним голову. Он, воспетый Гомером и изваянный Фидием из золота и слоновой кости; он, которому стоило повести очами, чтобы сотрясалась вся земля; он, любовник Леды, Алкмены, Семелы, Данаи, Каллисто, Ио, Латоны, Европы и т. д., —

он вынужден в конце концов прятаться на краю света, у Северного полюса, за ледяными горами, и, чтобы поддержать свое жалкое существование, торговать кроличьими шкурками, как обтрепанный савояр!

Не сомневаюсь, что есть люди, злорадно упивающиеся такого рода зрелищем. Эти люди, по-видимому, являются потомками тех самых злосчастных быков, которые сотнями были закланы в виде гекатомб на алтарях Юпитера. Радуйтесь, отомщена кровь ваших предков, этих жалких жертв суеверия! Нас же, свободных от наследственной ненависти, нас потрясает зрелище павшего величия, и мы приносим ему в дань наше глубочайшее сострадание. Эта чувствительность, быть может, и помешала нам вести наш рассказ с той холодной серьезностью, которая является украшением историка; лишь в некоторой степени удалось нам усвоить ту торжественность, какую возможно проникнуться только во Франции. Мы скромно препоручаем себя снисходительному читателю, которому неизменно изъявляли наше глубочайшее уважение, и таким образом закапчиваем здесь первую часть нашей истории богов в изгнании.

# **БОГИНЯ ДИАНА**

**(ДОПОЛНЕНИЕ К «БОГАМ В ИЗГНАНИИ»)**

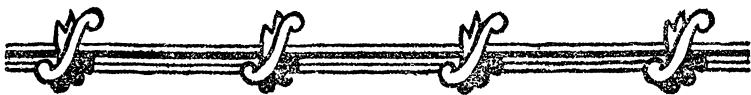




## ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Нижеследующая пантомима возникла точно таким же образом, как и моя поэма-балет «Фауст». Во время беседы с Лемлеем, директором лондонского Театра королевы, последний высказал пожелание, чтобы я предложил ему несколько балетных сюжетов, которые могли бы послужить основанием для большой постановки с пышными декорациями и костюмами, и когда я симпровизировал кое-что в этом роде, между прочим и легенду о Диане, последняя показалась, видимо, отвечающею намерениям остроумного, изобретательного импрессарио, и он попросил меня тотчас же набросать сценарий этой легенды. Это было выполнено в форме нижеследующего беглого эскиза, который так и не дождался дальнейшей разработки, поскольку он не был и позже использован для сцены. Я публикую его здесь не в заботе о собственной славе, но чтобы помешать упорно принимающим к моим следам воробьям слишком горделиво рядиться в чужие павлиньи перья. Ведь сюжет моей пантомимы в сущности содержится уже в третьей части моего «Салона», откуда некий маэстро Бартель зачерпнул не один жбан перебродившего вина. Эта легенда о Диане появляется здесь, впрочем, в самом подходящем для нее месте, так как она примыкает непосредственно к циклу сказаний о «Богам в изгнании», и, следовательно, я могу обойтись без особых оговорок.

Париж, 1 марта 1854 года.



## КАРТИНА ПЕРВАЯ

Древний полуразрушенный храм Дианы. Развалины его еще довольно хорошо сохранились, лишь кое-где обвалилась колонна или зияет дыра в крыше и сквозь нее виден край вечернего неба и на нем полумесяц. Направо виднеется лес. Слева — жертвенник со статуей богини Дианы. Нимфы богини небрежными группами полулежат на земле то тут, то там. Они чем-то раздражены, им скучно. Врeмя от времени одна из них вскакивает, танцует несколько па и как будто погружается в радостные воспоминания. Остальные присоединяются к ней, исполняя античные танцы. Затем они пляшут вокруг статуи богини, полусутоливо-полуторжественно, как будто готовясь к храмовому празднеству. Они зажигают светильники и вьют венки.

Вдруг со стороны леса стремительно вбегает богиня Диана в своем обычном наряде охотницы, точь-в-точь такая, какую она изображена тут же, на жертвеннике. Она кажется испуганною, точно убежавшая от охотника серна. Она рассказывает встревоженным нимфам, что кто-то преследует ее. Она в величайшем смятении от испуга, но не от одного только испуга. Сквозь ее суровое пeгoдoвaниe пробиваются более пeжныe чувства. Она все время оглядывается на лес, наконец, видимо, замечает своего преследователя и прячется за собственной статуей.

Входит юный немецкий рыцарь. Он ищет богиню. Нимфы вьются вокруг него в пляске, чтобы удержать подалеке от статуи повелительницы. Они ласкаются к нему,

угрожают. Они борются с ним, он защищается, поддразнивая их. Наконец он вырывается из их круга, видит статую, с мольбою простирает к ней руки, кидается к ее ногам, обнимает в отчаянии пьедестал и обещает вечно служить богине душой и телом. Он видит на жертвеннике нож и жертвенную чашу; страшная мысль пронзает его: он вспоминает, что богиня некогда любила человеческие жертвы, и в упоении страсти хватается нож и чашу; он готов совершить жертвенное возлияние, наполнив чашу кровью своего сердца; он уже приближает лезвие к своей груди, по тут настоящая, живая богиня прыжком кидается к нему из своего тайника, сжимает его руку, вырывает у него нож; они глядят друг на друга в течение долгой паузы, охваченные удивлением, трепетом восторга, томлением, дрожью, готовые умереть, полные любви.

В своем па-де-де они то убегают друг от друга, то ищут друг друга; первое — только для того, чтобы снова и снова встречаться и падать в объятия друг другу. Наконец они садятся на пьедестал богини, нежно шепчутся, точно счастливые дети, а нимфы пляшут вокруг наподобие хора и своєю пантомимую комментируют то, что нашептывают друг другу влюбленные.

(Диана рассказывает своему рыцарю, что древние боги вовсе не умерли, но лишь скрываются в горных пещерах и среди руин храмов, сходятся там по ночам и справляют свои радостные празднества.)

Вдруг раздается сладостно-нежная музыка и входят Аполлон и музы. Он наигрывает песню влюбленным, спутницы его ведут прекрасный мерный хоровод вокруг Дианы и рыцаря. Музыка становится все более взволнованной, из-за кулис доносятся сладострастные мелодии, звон цимбал и бубна — это Вакх, совершающий торжественный въезд со своими сатирами и вакхантами. Он восседает на ручном льве, по правую руку от него — толстобрюхий Силсн на осле. Бешеные, неистовые пляски сатиров и вакхантов. Последние, украшенные виноградными листьями, а некоторые — змеями в развевающихся волосах или золотыми венцами, потрясают тирсами и принимают вызывающие, невероятные, даже невозможные позы, какие мы видим на древних вазах и барельефах. Вакх подходит к влюбленным и приглашает их принять участие в его мистерии радости. Они встают и вдвоем исполняют пляску



бесконечного опьянения радостью жизни; к их танцу присоединяются Аполлон и Вакх вместе со своими спутниками и нимфами Дианы,

## КАРТИНА ВТОРАЯ

Большой зал в готическом рыцарском замке. Слуги в пестрых, расшитых гербами кафтанах заняты приготовлениями к балу. Слева — эстрада, на ней видны музыканты, они настраивают свои инструменты. Справа — высокое кресло, в нем сидит погруженный в задумчивость и меланхолию рыцарь. Рядом с ним стоит его супруга, на ней наряд шателенки: тесно облегающее платье с кружевным воротником; тут же шут в дурацком колпаке и с колотушкой в руке; оба они тщетно стараются развеселить рыцаря своими танцами. Владетельница замка выражает свою супружескую нежность в степенных, размеренных па, почти впадая в сентиментальность; шут как бы пародирует ее, в преувеличенном виде повторяя ее движения, и проделывает самые причудливые прыжки. Музыканты также тихо наигрывают мелодии пародийного характера. За стеной слышны трубные звуки; вскоре появляются приглашенные на бал рыцари и девицы, довольно нескладные пестрые фигуры в невероятно пышных средневековых туалетах; мужчины имеют воинственно-грубый и тупой вид, женщины чопорно благопристойны и манерны. При их появлении владетель замка, рыцарь, встает; следуют самые церемонные поклоны и книксены. Рыцарь и его супруга открывают бал. Степенные па немецкого вальса. Появляется канцлер с тяжелыми золотыми цепями на груди и его писцы в черных, присвоенных их званию одеждах с зажженными восковыми свечами в руках; они исполняют известный танец факелов, во время которого шут вскакивает на эстраду музыкантов и начинает дирижировать; он отбивает, кривляясь, такт. Снова слышатся за сценою трубные звуки.

Слуга докладывает, что неизвестные маски просят разрешения войти. Рыцарь в знак согласия кивает головой, в глубине сцены открывается дверь, и тремя процессиями вступают в зал замаскированные фигуры; у некоторых в ру-

ках музыкальные инструменты. Предводитель первой процессии играет на лире. Эти звуки, видимо, возбуждают в рыцаре сладостные воспоминания, все присутствующие внимают им в изумлении. Пока предводитель первой процессии играет на лире, его свита торжественно пляшет вокруг него. Из второй процессии выступают вперед танцоры с цимбалами и бубнами. При этих звуках рыцаря как бы охватывает ощущение величайшего счастья; он вырывает из рук одной из масок бубен, ударяет в него, исполняя при этом самые неистово ликующие танцы и как бы восполняя музыку. С таким же диким, безудержным ликованием пляшут вокруг маски второй процессии с тирсами в руках. Рыцарей и дам охватывает все большее удивление; особенно хозяйка замка не может прийти в себя от стыдливого изумления. Один только шут, соскочив с эстрады, невозмутимо выражает пляшущим свое полное одобрение и продельывает разнузданные прыжки. Но вдруг перед рыцарем встает маска, возглавляющая третью процессию, и повелительным жестом приказывает следовать за нею. Вне себя от ужаса и возмущения подходит хозяйка замка к этой маске, как бы спрашивая, кто она. Но та гордо идет ей навстречу, открывает лицо и сбрасывает плащ, и перед нею предстает Диана в своем обычном наряде охотницы. Спутники ее также снимают маски и сбрасывают плащи; это Аполлон и музы, составляющие первую процессию; вторую составляют Вакх и его спутники, третью — Диана и нимфы.

При виде Дианы рыцарь с мольбою кидается к ногам богини и заклинает не покидать его. Шут также восторженно кидается к ее ногам и заклинает взять его с собою. Диана требует, чтобы все замолчали, танцует самый благородный из своих божественных танцев и жестами объясняет рыцарю, что она отправляется к Венераиной горе, где он позже сможет найти ее. Владетельница замка даст полный простор излипаниям своего гнева и возмущения в самых безумных прыжках, и перед нами па-де-де, в котором язычески-греческая, ликующая жизнерадостность богов борется в пляске с германски-спиритуалистическою добродетелью домашнего очага.

Диана, пресытаясь борьбою, кидает на присутствующих презрительный взгляд и уходит наконец вместе со своими спутниками через среднюю дверь. Рыцарь в отчаянии

устремляется вслед за ними, но его удерживают супруга, се прислужницы и остальная челядь. За сценою — вакхически-ликующая музыка, а в зале возобновляется прерванный было неуклюжий факельный танец.

### КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Дикая горная местность. Справа — фантастические группы деревьев, видна часть озера. Слева — крутой выступ скалы, на котором виднеется высокий портик. Рыцарь блуждает, словно безумный, по сцене. Судя по его жестам, он заклинает небо и землю, всю природу, возвратит ему возлюбленную. Из озера выходят ундины и кружатся вокруг него в торжественном, манящем танце. На них длинные белые покрывала, убраны они жемчугом и кораллами. Они пытаются увлечь рыцаря в подводное царство, но из листвы деревьев спрыгивают к ним сильфы, духи воздуха, и удерживают его своим игривым и даже бурным весельем. Ундины скрываются в озере. Сильфы одеты в светлые цвета, на головах у них зеленые венки. Легко и весело пляшут они вокруг рыцаря. Дразнят его, утешают и хотят увлечь в свое воздушное царство; но вот возле самых его ног расступилась земля, и оттуда бурею вырываются духи земли — крохотные гномы с длинными белыми бородами, с короткими мечами в маленьких ручках. Размахивая ими, они набрасываются на сильфов, которые разлетаются, точно стая испуганных птиц. Некоторые спасаются на деревья, раскачиваются на ветвях и, прежде чем совершенно исчезнуть в воздушных струях, издеваются над гномами, которые остались внизу и жестами выражают свою ярость.

Гномы танцуют вокруг рыцаря, видимо стараясь разбудить в нем мужество и злобное упорство, которым воодушевлены они сами. Показывают ему, как следует наносить удары, исполняют танец с мечами, прыгают, точно они победили весь мир; но тут внезапно появляются саламандры, духи огня, и, едва завидя их, гномы в перепуге уползают в свои земные недра.

Саламандры изображают долговязые, тощие мужчины и женщины в плотно облегающих тело огненно-красных одеж-

дах. У всех большие золотые короны на головах, в руках скипетры и другие знаки царственной власти. Они танцуют вокруг рыцаря с огненной страстностью; протягивают ему корону и скипетр, и он против своей воли подхвачен и вовлечен в этот вихрь пламени, который испепелил бы его, если бы внезапно не раздались звуки охотничьих рогов и в глубине сцены не показалось в воздухе видение неистовой охоты. Рыцарь вырвался из объятий духов огня, которые, точно ракеты, рассыпались искрами и погасли; освобожденный страстно простирает руки к той, что ведет за собою эту неистовую охотничью рать.

Это Диана. Она скачет на снежно-белом коне и, приветливо улыбаясь, кивает рыцарю. За нею мчатся на таких же белых конях нимфы-богини, а также те боги, которых мы уже видели, когда они прибыли к древнему храму, то есть Аполлон с музами и Вакх со спутниками. В арьергарде на крылатых конях скачут некоторые великие поэты древности и средневековья, а также прекрасные женщины позднейших эпох. Обвиваясь лентой вокруг горных вершин, шествие достигает наконец переднего плана и вступает в широко распахнувшиеся ворота по левую сторону сцены. Диана одна сходит с коня и остается с упоенным радостью рыцарем. Влюбленные выражают свою радость в восторженных танцах. Диана указывает рыцарю на ворота в скалистой стене и поясняет ему, что это и есть прославленная Венераина гора, обитель роскоши и сладострастия. Она хочет торжественно ввести его туда как триумфатора, но навстречу выходит старый, седобородый воин, с ног до головы закованный в броню, и удерживает рыцаря, предостерегая его от опасности, которая угрожает его душе в языческой Венераиной горе. Когда же рыцарь пренебрегает благими предостережениями, престарелый воин, имя которому Верный Эккарт, хватается за меч и вызывает рыцаря на единоборство. Рыцарь принимает вызов, запретив охваченной страхом богине вмешиваться в борьбу. После первых же выпадов рыцарь падает, заколотый насмерть. Верный Эккарт уходит ковыляя, с выражением туповатого удовлетворения на лице, радуясь тому, что он спас хоть душу рыцаря. На труп последнего кидается в отчаянии безутешная богиня Диана.

## КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Венерина гора. Подземный чертог. Его архитектура и убранство во вкусе Ренессанса, только еще гораздо фантастичнее, напоминают видения арабских волшебных сказок. Коринфские колонны, капители которых превращены в деревья и образуют крытые аллеи. Экзотические цветы в высоких, украшенных античными барельефами мраморных вазах. На стенах — картины, изображающие любовные похождения Венеры. Золотые канделябры и лампы проливают магический свет, и все здесь полно волшебной роскоши. Кое-где виднеются группы людей, беспечно и небрежно покоящихся на земле или же склонившихся над шахматной доской. Другие играют в мяч или предаются воинским упражнениям и потешным боям. Рыцари и дамы прогуливаются парами, увлеченные любовной беседой. Костюмы этих людей принадлежат разнообразнейшим эпохам. А сами они — это те прославленные мужи и жены античного мира и средних веков, которых народное предание перенесло в Венерину гору в силу их сенсуалистической репутации или за их баснословные подвиги. Среди женщин мы видим, например, прекрасную Елену Спартанскую, царицу Савскую, Клеопатру, Иродиаду; тут же непонятным образом и Юдифь, убийца благородного Олоферна, а также героини бретонских рыцарских сказаний. Среди мужчин выделяются: Александр Македонский, поэт Овидий, Юлий Цезарь, Дитрих Бернский, король Артур, Ожье-Датчанин, Амадис Галльский, Фридрих Второй Гогенштауфен, Клингсор Венгерский, Готфрид Страсбургский и Вольфганг Гете. Все они в одежде своего времени и ранга, немало здесь и духовных облачений, выдающих самых высоких сановников церкви.

Музыка выражает самое сладостное *dolce far niente*,<sup>1</sup> но вдруг переходит в тона величайшей чувственности и сладострастия. Тогда появляется госпожа Венера с Тапгейзером, ее *cavaliere servente*.<sup>2</sup> Оба они, весьма обнаженные, с венками из роз на головах, танцуют чувственное па-де-де, кое-чем напоминающее наиболее запретные танцы новейшего времени. Они то как будто враждуют между со-

<sup>1</sup> Блаженное безделье (*итал.*).

<sup>2</sup> Галантным поклонником (*итал.*).

бою в танце, то осмеивают, то подзадоривают друг друга, то презрительно поворачиваются друг к другу спиной, то снова, как бы невзначай, соединяются силою непреодолимой любви, которая, однако, ни в коем случае не обусловлена взаимным уважением.

Еще несколько фигур присоединяются к танцу тех двух, все в той же необузданной манере, и так образуются самые рискованные кадрили.

Но внезапно бешеное веселье обрывается. Раздается очень грустная похоронная музыка. С распущенными волосами, с жестами самой дикой скорби вбегает богиня Диана; за нею шествуют нимфы, несущие тело рыцаря. Его опускают посредине сцены, и богиня с нежной заботливостью подкладывает под голову рыцарю шелковые подушки. Диана исполняет свой душераздирающий танец отчаяния, полный потрясающих проявлений подлинной трагической страсти, свободной от примеси кокетства и легкомыслия. Она заклинает милую ее сердцу Венеру пробудить рыцаря от смерти. Но Венера только пожимает плечами — она не властна над смертью. Как безумная бросается Диана на убитого и орошает слезами и поцелуями его окоченелые руки и ноги.

Снова меняется музыка, предвещающая успокоение и гармоническое блаженство. По левую сторону сцены во главе муз выходит бог Аполлон. И опять меняется музыка: чувствуется в ней переход к ликующей жизнерадостности, и по правую сторону сцены появляется Вакх со своей вакхической свитой. Аполлон настраивает лиру и, играя, танцует вместе с музами вокруг умершего рыцаря. Под эти звуки последний пробуждается, точно после тяжелого сна, протирает глаза, изумленно озирается, но вскоре снова впадает в оцепенение смерти. Тогда Вакх берет бубен и в сопровождении неистовствующих вакхантов пляшет вокруг рыцаря. Могучее, всепобеждающее вдохновение овладевает богом жизненной радости, он едва не разбивает тамбурин. Эти мелодии снова пробуждают рыцаря от смертного сна, он приподнимается медленно, с полуоткрытым жаждущим ртом. Вакх велит Силену наполнить кубок и вливает ему в рот вино. Едва выпив вина, рыцарь вскакивает с земли, встряхивается всем телом и принимается исполнять самые дерзновенные и упоенные танцы. И богиня снова светла и счастлива, она вырывает тирс из рук

вакханки и вторит ликующему в упоении рыцарю. Присутствующие разделяют радость влюбленных и, образуя новые кадрили, справляют праздник воскресения. Оба, рыцарь и Диана, в конце концов склоняют колени у ног госпожи Венеры, которая возлагает свой розовый венок на голову Дианы, а венок Тангейзера — на голову рыцаря. Апофеоз.

# **ПРИЗНАНИЯ**

(НАПИСАНО ЗИМОЮ 1854 года)







## ПРЕДИСЛОВИЕ

Нижеследующие страницы написаны мною для включения в новое издание моей книги «De l'Allemagne». <sup>1</sup> Предполагая, что содержание их может привлечь равным образом внимание отечественных читателей, я публикую эти «Признания» также на немецком языке и даже ранее появления французского текста. К этой предосторожности вынуждает меня ловкость рук так называемых переводчиков, которые, несмотря на то, что я недавно объявил в немецких газетах о предстоящем издании одного из моих трудов, все-таки не постыдились подцепить в одном парижском журнале появившееся уже по-французски начало моего произведения и издать его отдельной брошюрой по-немецки, нанося, таким образом, ущерб не только литературной репутации, но и имущественным интересам автора. Такие ворISHки гораздо презреннее разбойника с большой дороги, который смело подвергает себя опасности быть повешенным, тогда как эти, в трусливейшей безопасности пользуясь пробелами нашего законодательства о печати, имеют возможность совершенно безнаказанно красть у бедного писателя его столь же тяжелый, сколь скудный заработок. Не стану распространяться здесь о том частном случае, о котором говорю; гнусность эта, должен признаться, не удивила меня. У меня достаточно горького опыта, и моя былая вера в немецкую честность — или мое суеверие — очень ослабела. Не могу

<sup>1</sup> «О Германии» (франц.).

скрыть, что за время моего пребывания во Франции я очень часто бывал жертвой этого суеверия. Любопытно, что среди мошенников, с которыми мне, увы, к несчастью моему, приходилось встречаться, был всего лишь один француз, и мошенник этот оказался уроженцем одной из тех областей, которые, будучи некогда оторваны от германского государства, ныне затребованы нашими патриотами обратно. Если бы мне пришлось составлять в этнографической манере Лепорелло красочный список прохвостов, опустошавших мой карман, то, разумеется, все культурные страны были бы в нем представлены достаточно богато, но пальма первенства досталась бы все же любезному отечеству, достигшему в этой области невиданных высот, и я мог бы порассказать об этом в песне с припевом:

Но в Германии тысяча трп.

Характерно, что нашим немецким жуликам присуща некоторая сентиментальность. Это не холодные, рассудочные негодяи, но прохвосты, полные чувства. Они не лишены сердечности, принимают задушевнейшее участие в судьбе тех, кого обокрали, и от них невозможно отделиться. Даже наши важные рыцари деловой энергии не являются просто эгоистами, воюющими только лично для себя, но они стремятся завладеть презренным маммоном с целью делать добро; в свободные часы, когда они не заняты своей профессией, например директорством в Обществе газового освещения богемских лесов, они покровительствуют пианистам и журналистам, и кое-кто из них под пестро расшитым, отливающим всеми цветами Ириды жилетом носит также и сердце, а в сердце — грызущего солитера мировой скорби. Делец, издавший в виде брошюры так называемый перевод вышеупомянутого моего сочинения, сопроводил его заметкой о моей особе, где жалостно скорбит о печальном состоянии моего здоровья и, понадергав из всяческих газетных статеек, сообщает трогательнейшие сведения о моем нынешнем горестном виде, так что я описан здесь с головы до ног. Один остроумный мой приятель, читая все это, воскликнул со смехом: «В наше время все шиворот-навыворот, — теперь вор публикует приметы честного человека, которого он обокрал».

Написано в Париже в марте 1854 года.



Некий остроумный француз (несколько лет тому назад эти слова были бы плеоназмом) как-то назвал меня *romantique détroqué*.<sup>1</sup> Я питаю слабость ко всему, что отмечено умом, и, как ни зло это название, оно все же чрезвычайно позабавило меня. Оно очень метко. Несмотря на мои смертоубийственные походы на романтизм, я все же всегда оставался романтиком и был им в большей степени, нежели сам подозревал. После того как я нанес романтической поэзии в Германии сокрушительнейшие удары, меня самого вновь охватило беспредельное томление по голубому цветку в призрачной стране романтики, и я взялся за волшебную лютню и пропел песню, в которой снова отдался всем блаженным крайностям, опьянению лунным светом, всему захватывающему соловьиному безумию напева, некогда столь любимого.

Знаю, что

Ах, она — последний отзвук  
Вольных песен романтизма<sup>2</sup>

и что я его последний поэт: мною заканчивается у немцев старая лирическая школа, и мною же открывается новая лирическая школа, современная немецкая лирика. Это двойное значение приписывают мне немецкие историки литературы. Мне не подобает распространяться об этом

<sup>1</sup> Романтиком-расстригой (*франц.*).

<sup>2</sup> Перевод В. Левика.

подробно, но с полным правом я могу сказать, что в истории немецкого романтизма я заслуживаю обстоятельного упоминания. По этой причине в моей книге «De l'Allemagne», где я стремился изложить эту историю романтической школы с возможной полнотою, я должен был бы поговорить и о своей собственной персоне. Так как я этого не сделал, возник пробел, который мне нелегко восполнить. Составление собственной характеристики было бы работой не только неудобной, но попросту невозможной. Я был бы пошлым фатом, если бы стал грубо выставлять здесь все, что мог бы сказать о себе хорошего, и был бы большим дураком, если бы начал перебирать перед целым светом недостатки, которые, надо полагать, тоже мне известны. И затем, при всем желании быть искренним, ни один человек не может сказать правду о самом себе. Да это и не удавалось до сих пор никому — ни блаженному Августину, благочестивому епископу Гиппонскому, ни женевицу Жан-Жаку Руссо, — и менее всего последнему, именовавшему себя человеком природы и правды, в то время как по существу он был много лживее и неестественнее, чем его современники. Он, конечно, слишком горд, чтобы ложно приписывать себе достоинства или прекрасные поступки; напротив, он сочиняет отвратительнейшие вещи, чтобы опорочить себя. Клеветал ли он на себя для того, чтобы с тем большим правдоподобием клеветать и на других, например на моего бедного соотечественника Гримма? Или он делает лживые признания для того, чтобы скрыть под ними истинные проступки, ибо, как достаточно известно, гнусные сплетни, ходящие о нас, обыкновенно очень огорчают нас лишь в тех случаях, когда заключают истину, между тем как душа наша гораздо меньше бывает ими задета, если в них нет ничего, кроме выдумки. Так, я убежден, что Жан-Жак не крал ленты, стоившей места и чести напрасно обвиненной и выгнанной горничной; у него, без сомнения, не было никакого таланта к воровству; слишком был он для этого робок и неуклюж, он, этот будущий медведь Эрмитажа. Он, быть может, был повинен в каком-либо другом проступке, но это не было воровство. И в приют для подкидышей он отдавал не своих детей а всего только детей девицы Терезы Лсвассер. Еще тридцать лет тому назад один из крупнейших немецких психологов обратил мое внимание на одно место

в «Исповеди», из которого бесспорно следует, что Руссо не мог быть отцом этих детей; тщеславный ворчун решил, что лучше выдать себя за бессердечного отца, чем сносить подозрение, будто он вообще не способен быть отцом. Но человек, оклеветавший в своем собственном лице и человеческую природу, все же оставался ей верен в отношении нашей исконной слабости, заключающейся в том, что мы всегда хотим казаться в глазах света не тем, что мы есть на самом деле. Его автопортрет есть ложь, великолепная, по все-таки чистейшая ложь. Гораздо честнее был король племени Ашанти, о котором я недавно прочитал в одном путешествии по Африке много смешного, и я приведу здесь наивное словечко этого негритянского царька, так забавно отражающее указанную человеческую слабость. Майор Бодич, будучи отправлен английским губернатором мыса Доброй Надежды в качестве министра-резидента ко двору этого могущественнейшего монарха Южной Африки, старался снискать расположение царедворцев, в особенности же придворных дам, среди которых, несмотря на их черную кожу, были и чрезвычайно красивые, тем, что рисовал их портреты. Король, восхищенный разительным сходством, выразил пожелание также получить свой портрет и уже несколько раз позировал художнику, когда однажды тому показалось, что на лице короля, часто вскакивавшего, чтобы следить за успехом работы, замечается некоторое беспокойство и неловкое смущение человека, у которого есть на языке желание, но нет подходящих слов для его выражения. Однако художник до тех пор выспрашивал его величество, прося сообщить ему высочайшее пожелание, пока наконец бедный негритянский король не спросил с робостью, нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы он был нарисован белым.

В этом все дело. Черный негритянский король хочет, чтобы его писали белым. Не смейтесь, однако, над бедным африканцем: каждый человек — такой негритянский король, и каждому из нас хотелось бы предстать перед публикой в иной окраске, чем та, которая нам суждена. Благодарение богу, что мне это известно, и поэтому я остерегусь в этой книге изображать самого себя. Но пробел, созданный отсутствием этого портрета, я постараюсь до некоторой степени восполнить на дальнейших страницах тем, что не раз буду иметь случай представить свою

особу в самом сомнительном свете. Я ведь поставил себе задачей на пользу и благо читателя этого нового издания моей книги «De l'Allemagne» дополнительно изобразить здесь возникновение книги, равно как философские и религиозные изменения, происшедшие в мыслях автора со времени ее окончания.

Не беспокойтесь, я не парисую себя чересчур белым и не буду слишком чернить своих ближних. Со всей точностью буду я всегда сообщать мою окраску, чтобы все знали, в какой степени можно доверять моему суждению, когда я говорю о людях другой окраски.

Я дал моей книге то же заглавие, под которым г-жа де Сталь выпустила в свет свое знаменитое сочинение, посвященное тому же предмету, и сделал это с полемической целью. Нимало не отрицаю, что эта цель руководила мною; но, заявляя наперед, что я написал тенденциозное сочинение, я оказываю искателю истины, быть может, большую услугу, чем если бы лицемерно прикрывался известной вялой беспартийностью, которая всегда есть ложь и вреднее для критикуемого автора, чем самая решительная враждебность. Так как г-жа де Сталь — автор гениальный и так как некогда она сама высказала мысль, что гений не имеет пола, то я по отношению к этой писательнице могу обойтись без той галантной снисходительности, которую мы обычно оказываем дамам и которая, по существу, есть лишь сострадательное удостоверение их слабости.

Верен ли банальный анекдот, который передают об этом высказывании г-жи де Сталь и который я еще мальчиком слышал в числе иных остроумств времен Империи? Рассказывали, что в то время, когда Наполеон был еще первым консулом, к нему на дом явилась как-то с визитом г-жа де Сталь; несмотря на все уверения дежурного лакея, что он получил строгий приказ не допускать никого, она все же настойчиво требовала, чтобы он немедленно доложил о ней своему прославленному господину. Когда последний велел передать, что он, к сожалению, не может принять почтенную даму, поелику как раз в сие мгновение находится в ванне, то она будто бы ответила знаменитым изречением, что это несколько не мешает, так как у гения нет пола.

Не ручаюсь за достоверность этой истории; но если она неверна, то все же хорошо выдуманно. Она рисует назойливость, с которой пылкая особа преследовала императора.

Нигде не имел он покоя от ее обожания. Раз навсегда она вбила себе в голову, что величайший человек столетия должен вступить в более или менее идеальный союз с величайшей своей современницей. Но когда она однажды, в расчете на комплимент, обратилась к императору с вопросом, какую из женщин своего времени он считает величайшей, он ответил: «Ту, которая больше всех родила детей». Это было не особенно галантно, как и вообще нельзя отрицать, что император в отношениях с женщинами не проявлял той нежной предупредительности и того внимания, которое так любят француженки. Но они сами зато никогда не вызовут какой-либо неучтивости своим бестактным поведением, как это сделала знаменитая обитательница Женева, показавшая в этом случае, что, при всей своей физической подвижности, она не была свободна от некоторой неповоротливости, свойственной ее землякам.

Когда эта добрая дама заметила, что ничего не сможет добиться своей назойливостью, она сделала то, что обычно делают в таких случаях женщины, — она объявила себя противницей императора, начала разглагольствовать против его грубого и негалантного господства, и разглагольствовала до тех пор, пока полиция ее не выслала. Она бежала тогда к нам, в Германию, где занялась собиранием материала для знаменитой книги, которая должна была восславить немецкий спиритуализм как идеал всякого великолепия, в противоположность материализму императорской Франции. Здесь, у нас, она не замедлила сделать великую находку: она встретила с неким ученым, по имени Август-Вильгельм Шлегель. Это был гений без пола. Он сделался ее верным чичероне и сопровождал ее в путешествии по всем чердакам немецкой литературы. Она нахлобучила на голову необъятный тюрбан и сделалась таким образом султаншей мысли. Словно на умственном смотре, пропускала она мимо себя наших литераторов, пародируя при этом великого султана материи. Подобно тому как он обращался к людям с вопросами: «Сколько вам лет? Сколько у вас детей? Сколько лет на службе?» и т. д., так она спрашивала наших ученых: «Сколько вам лет? Что вы написали? Вы кантианец или фихтеанец?» и тому подобные вещи, почти не дожидаясь ответов, которые Август-Вильгельм Шлегель, ее верный мамелюк, ее Рустан, поспешно заносил в свою



записную книжку. Как Наполеон объявил самой великой женщиной ту, которая больше всех народила детей, так Сталь объявила самым великим человеком того, кто написал больше всего книг. Невозможно представить себе, сколько шуму она у нас наделала, и некоторые сочинения, лишь недавно появившиеся, как, например, «Воспоминания» Каролины Пихлер, письма Рахели Фарнхаген и Беттины Арним, равно как свидетельства Эккермана, забавнейшим образом рисуют затруднительное положение, в которое поставила нас султанша мысли в цору, когда султан материи причинял нам достаточно неприятностей. Это был умственный военный постой, бремя которого пало прежде всего на ученых. Те литераторы, которыми эта достойнейшая дама осталась особенно довольна и которые лично пришлись ей по вкусу чертами своего лица или цветом глаз, могли рассчитывать на почетное упоминание, то есть как бы на крест Почетного легиона в ее книге «De l'Allemagne». Эта книга всегда производит на меня столь же комическое, сколь раздражающее впечатление. Я вижу перед собой эту аффектированную женщину во всей ее воинственности, вижу, как этот ураган в юбке проносится по нашей мирной Германии, как она повсюду в восторге восклицает: «Каким освежающим покоем веет здесь на меня!» Она разгорячилась во Франции и явилась в Германию, чтобы прохладиться у нас. Целомудренное дыхание наших поэтов было так сладостно для ее горячей, пламенной груди! Она рассматривала наших философов, как различные сорта мороженого, и глотала Канта, как ванильный пломбир, Фихте — как фисташковое, Шеллинга — как «арлекин»! «О, какая приятная прохлада в ваших лесах, — восклицала она беспрестанно, — какое живительное благоухание фиалок, как мирно щебечут чижы в своем немецком гнездышке! Вы славный, добродетельный народ, и вы понятия не имеете об испорченности нравов, царящей у нас на rue du Vas».

Добрая дама видела у нас только то, что хотела увидеть: туманную страну духов, где бестелесные люди, ходячая добродетель, бродят по снежным равнинам, беседуя исключительно о морали и метафизике! Она видела у нас повсюду лишь то, что хотела увидеть, и слышала лишь то, что хотела услышать и пересказать, — и притом она вообще слышала мало и никогда не слышала истин-

ного, отчасти потому, что всегда говорила сама, а затем оттого, что, разговаривая с нашими скромными учеными, она своими резкими вопросами смущала и ошеломляла их. «Что есть дух?» — спросила она робкого профессора Бутервека, положив свою мясистую ногу на его тощие дрожащие бедра. «Ах, — писала она потом, = какой интересный человек этот Бутервек! Как потупляет он глаза! Этого никогда не случилось с моими собеседниками в Париже на rue du Vas!» Она повсюду видит немецкий спиритуализм, она восхваляет нашу честность, нашу добродетель, наше духовное развитие, она не видит наших тюрем, наших публичных домов, наших казарм, — можно подумать, что каждый немец достоин монтюновской премии. И все это для того, чтобы досадить императору, врагами которого мы тогда были.

Ненависть к императору — душа книги «De l'Allemagne», и хотя имя его нигде не названо в ней, все же ясно, что при каждой строчке писательница искоса поглядывает на Тюильри. Не сомневаюсь, что эта книга более чувствительно досадила императору, чем самое прямое попадание, ибо ничто не уязвляет мужчину сильнее мелких женских булавочных уколов. Мы готовы к могучим ударам меча, а нас щекочут в самых чувствительных местах!

О женщины! Мы должны многое им прощать, ибо они любят много и даже многих. Их ненависть, собственно, та же любовь, только переменившая направление. Иногда они стараются также причинить нам зло потому, что рассчитывают таким путем сделать приятное другому мужчине. Когда они пишут, один глаз у них обращен на бумагу, а другой на какого-нибудь мужчину, — и это относится ко всем писательницам, за исключением графини Ган-Ган, у которой только один глаз. У нас, писателей-мужчин, тоже есть наши предвзятые симпатии, и мы пишем за или против чего-нибудь, за какую-либо идею или против нее, за какую-либо партию или против нее; женщины же всегда пишут за или против одного-единственного мужчины, или, лучше сказать, ради одного-единственного мужчины. Характерна для них склонность к сплетне, к склоке, которую они переносят и в литературу и которая мне во много раз ненавистнее самого грубого неистовства мужской клеветы. Мы, мужчины, иногда лжем. Женщины же, как все пассивные натуры, редко могут что-нибудь изо-

брести, но зато умеют так извратить действительность, что вредят нам этим гораздо безошибочнее, чем настоящей ложью. Думаю, по совести, прав был мой друг Бальзак, как-то сказавший мне с глубоким вздохом: «La femme est un être dangereux». <sup>1</sup>

Да, женщины опасны; но я все же должен заметить, что красивые далеко не так опасны, как те, которые обладают умственными преимуществами более, чем физическими. Ибо первые привыкли к тому, чтобы мужчины ухаживали за ними, между тем как последние, играя на себялюбии мужчин и приманивая их лестью, приобретают больше поклонников. Я не хочу этим сказать, упаси боже, что г-жа де Сталь была уродлива; но красавица есть нечто совсем иное. В ней были приятные частности, которые, однако, слагались в пренеприятное целое; особенно невыносимой для нервных людей, к которым принадлежал покойный Шиллер, была ее привычка быстро вертеть в руках стеблек или бумажную трубочку. От этих манипуляций у бедного Шиллера начинала кружиться голова, и он в отчаянии хватал ее красивую руку, чтобы удержать ее, а г-жа де Сталь воображала, что чувствительный поэт увлечен чарами ее особы. У нее в самом деле были, как я слышал, очень красивые руки и прекраснейшие плечи, которые она всегда обнажала; разумеется, сама Венера Милосская не могла похвалиться такими прекрасными руками. Белизною ее зубы были блистательнее челюстей драгоценнейших скакунов Аравии. У нее были очень большие красивые глаза, дюжина купидонов уместилась бы на ее губах, и улыбка ее была, говорят, восхитительна. Таким образом она не была уродлива (уродливых женщин нет), но можно с полным основанием утверждать, что если бы прекрасная Елена из Спарты была похожа на эту даму, то не было бы вовсе Троянской войны, не сгорел бы град Приама и Гомеру не пришлось бы воспевать гнев Ахиллеса, Пелеева сына.

Как сказано выше, г-жа де Сталь объявила себя противницей великого императора и пошла на него походом. Однако она не ограничилась тем, что писала против него книги, — она пыталась бороться с ним и нелитературными средствами; некоторое время она была душой всех ари-

<sup>1</sup> Женщина — опасное существо (франц.).

стократических и иезуитских интриг, которые предшествовали созданию коалиции против Наполеона, и, как настоящая ведьма, сидела она на корточках у кипящего котла, в котором все дипломатические отравители, ее друзья — Талейран, Меттерних, Поццо ди Борго, Каслри и др. — варили яды на погибель великому императору. Шумовкой ненависти мешала эта женщина вареву в роковом горшке, где стряпалось несчастье для всего мира. Когда пал император, г-жа де Сталь победоносно вступила в Париж со своей книгой «De l'Allemagne» и в сопровождении нескольких сотен тысяч немцев, которых она прихватила в качестве пышной иллюстрации к своей книге. Иллюстрированное таким образом живыми фигурами, ее произведение должно было очень выиграть в достоверности, и здесь можно было собственными глазами убедиться в том, что автор изобразил нас, немцев, и наши отечественные добродетели с большой точностью. Каким великолепным, гравированным на меди фронтисписом был отец Блюхер, этот забубенный картежник, этот старый хрен, имевший как-то наглость объявить в очередном суточном приказе, что выпорот императора, если тот попадется ему живьем в руки. И нашего А.-В. Шлегеля привезла с собой г-жа де Сталь в Париж в качестве образца немецкого простодушия и героической доблести. Следовал за ней также Захария Вернер, этот образчик немецкого целомудрия, за которым с хохотом бегали сильно оголенные красотки Пале-Рояля. К любопытным фигурам, представившимся в ту пору парижанам в своих немецких костюмах, принадлежали также господа Геррес, Ян и Эрнст-Мориц Арндт, три знаменитых французода, забавная порода свирепых псов, получивших это прозвище от известного патриота Берне в его книге «Менцель-французод». Сей Менцель ни в коем случае не является, как полагают некоторые, вымышленным персонажем, но он в самом деле существовал, или, вернее, издавал в Штутгарте газету, в которой ежедневно ужокопывал полдюжины французов и пожирал их с кожей и волосами; слопав свою порцию французов, он иногда в дополнение закусывал еще евреем *pour se faire la bonne bouche* — чтобы во рту остался хороший вкус. Теперь он давно отлаял и, беззубый, паршивый, издыхает в какой-то швабской книжной лавчонке на макулатурной свалке. В числе об-

разцовых немцев, которых можно было видеть в Париже в свите г-жи де Сталь, находился также Фридрих Шлегель, являвшийся, разумеется, представителем гастрономического аскетизма или спиритуализма жареной курятины: его сопровождала его достойная супруга Доротея, урожденная Мендельсон и сбежавшая Фейт. Не могу здесь обойти молчанием также еще один экземпляр этой породы — одного замечательного аколита Шлегелей. Это некий немецкий барон, на которого по особой рекомендации Шлегелей была возложена обязанность представлять в Париже германскую науку. Он был родом из Альтоны, где принадлежал к одной из почтеннейших семей Израиля. Его родословное древо, восходившее до Авраама, сына Фаера и предка Давида, царя иудейского и израильского, давало ему вполне достаточные права именоваться дворянином, и, так как он отошел от синагоги, так же как отошел впоследствии от протестантства и, официально отрекшись от последнего, вошел в лоно римско-католической единспасающей церкви, то он с полным основанием мог посягать на титул католического барона. В качестве такового он основал в Париже для содействия феодальным и клерикальным интересам журнал под названием «Le catholique».<sup>1</sup> Не только на страницах этого издания, но и в салонах некоторых знатных благочестивых вдовиц аристократического предместья этот ученый дворянин неустанно разглагольствовал о Будде, и вновь о Будде, и обстоятельно и основательно доказывал он, что было два Будды, причем французы и так поверили бы ему на честное слово дворянина. Он доказывал также, что догмат троицы содержится уже в индусском тримурти, и ссылаясь на «Рамаяну», «Махабхарату», упанишады, корову Сабалу и царя Висвамитру, Снорриеву Эдду и еще множество неоткрытых ископаемых и мамонтовых костей, и был при этом допотопно сух и очень скучен, что всегда ослепляет французов. Так как он беспрестанно возвращался к Будде и, быть может, смешно выговаривая это слово, то насмешливые французы в конце концов прозвали его «барон Будда». Под этим именем я застал его в 1831 году в Париже и, слыша, как он с жреческой и почти синагогальной важностью крутит свою ученую шарманку, я вспомнил одного комического

---

<sup>1</sup> «Католик» (франц.).

субъекта в «Векфилдском священнике» Голдсмита, по имени, кажется, мистер Дженкинсон, который всякий раз, встретившись с каким-нибудь ученым, подходящим для надувательства, цитировал разные места из Манефона, Бероса и Санхуниатона; санскрит не был еще изобретен в те годы. Немецким бароном более идеального пошиба был мой бедный друг Фридрих де ла Мотт-Фуке, въехавший тогда в составе коллекции г-жи де Сталь в Париж на своем высоком Росинанте. Это был Дон-Кихот с головы до пят; при чтении его произведений нельзя было не восхищаться... Сервантесом.

Был, однако, среди французских паладинов г-жи де Сталь не один галльский Дон-Кихот, не уступавший в шутовстве нашим германским рыцарям, например ее друг виконт Шатобриан; шут в черном колпаке с бубенцами, как раз возвратившийся ко времени этого торжества романтики из своего благочестивого паломничества. Он привез с собою в Париж необъятных размеров бутылъ воды из Иордана и этой святой водой наново крестил соотечественников, сделавшихся язычниками за время революции, и окропленные французы стали теперь истинными христианами и отреклись от сатаны и его прелестей, получили в царстве небесном возмещение за отнятые у них на земле завоевания, например за прирейнские области, и при этом случае я сделался пруссаком.

Не знаю, верен ли рассказ, будто во время Ста дней г-жа де Сталь предложила императору поддерживать его своим пером, если он уплатит ей два миллиона, которые Франция осталась должна ее отцу, Император, который, очень хорошо зная французов, берег их деньги больше, чем их кровь, не согласился на эту сделку, и дочь Альпов осталась верна народной поговорке: «Point d'argent, point de Suisses», <sup>1</sup> Впрочем, содействие талантливой дамы мало помогло бы в то время императору, ибо вскоре после этого произошло сражение при Ватерлоо.

Я сказал уже, при каких печальных обстоятельствах сделался пруссаком. Я родился в последнем году прошлого столетия в Дюссельдорфе, столице герцогства Бергского, принадлежавшего тогда курфюрсту Пфальцскому.

---

<sup>1</sup> «Нет денег, не будет и швейцарцев» (франц.). (См. комментарии.)

Когда Пфальц достался баварскому дому и баварский князь Максимилиан-Иозеф был возведен императором в сан короля баварского, а королевство его было расширено присоединением части Тироля и других пограничных земель, король баварский отказался от герцогства Бергского в пользу зятя императора, Иоахима Мюрата; этот последний, после присоединения к его герцогству пограничных областей, стал именоваться великим герцогом Бергским. Но в те годы повышение происходило очень быстро, и прошло немного времени, как император сделал своего зятя Мюрата королем неаполитанским, и тот отказался от суверенитета над великим герцогством Бергским в пользу принца Франсуа, который был племянником императора и старшим сыном короля голландского Людовика и прекрасной королевы Гортензии. Так как Франсуа никогда не отрекался от престола и его герцогство, оккупированное пруссаками, после его смерти перешло де-юре к сыну короля голландского, принцу Луи-Наполеону Бонапарту, то последний, ныне также император французский, есть мой законный государь.

В другом месте, в моих мемуарах, я рассказываю подробнее, чем мог это сделать здесь, как я после Июльской революции переселился в Париж, где живу с тех пор, спокойный и довольный. Что я делал и что претерпел во время Реставрации, также будет рассказано со временем, когда бескорыстная цель таких сообщений не сможет наткнуться на сомнения и подозрения... Я многое сделал и многое претерпел, и когда солнце Июльской революции взшло над Францией, я почувствовал себя очень усталым и нуждался в отдыхе. Воздух отечества становился к тому же с каждым днем все пагубнее для меня, и я должен был серьезно подумать о перемене климата. У меня были галлюцинации; проносящиеся облака пугали меня и строили мне всякие страшные рожи. Иногда мне казалось, что солнце — прусская кокарда; по ночам мне снился отвратительный черный коршун, клюющий мою печень, и великая меланхолия удручала меня. К тому же я познакомился с одним старым берлинским советником юстиции, просидевшим много лет в крепости в Шпандау и рассказывавшим мне, как неприятно бывает носить зимой кандалы. Мне в самом деле показалось очень нехристианским, что людям не подогревают немного их цепи. Если бы нам

чутью подогревали оковы, то они не производили бы столь неприятного впечатления и даже зябкие натуры отлично переносили бы их; следовало бы также позаботиться о том, чтобы цепи были парфюмированы розами и лаврами, как это делается здесь. Я спросил моего советника юстиции, часто ли его кормили в Шпандау устрицами. Он отвечал, что нет, — Шпандау слишком далек от моря. Мясо, прибавил он, тоже там в редкость, а из крылатой породы не получаешь там ничего, кроме мух, падающих иногда в суп. Одновременно я познакомился с одним французским коммивояжером, который распространял вина какой-то фирмы и не мог нахвалиться, как весело теперь живет в Париже, какая там благодать, как с утра до вечера распевают там «Марсельезу» и «En avant marchons»,<sup>1</sup> и «Lafayette aux cheveux blancs»,<sup>2</sup> и на каждом углу написано: «Свобода, равенство, братство»; при этом он расхваливал шампанское своей фирмы, вручив мне целую пачку ее объявлений и обещая мне рекомендательные письма в наилучшие парижские рестораны, на случай если мне вздумается посетить для развлечения столицу. Так как мне в самом деле следовало развлечься, а Шпандау слишком далек от моря, чтобы там есть устриц, и супы со шпандауской птицей не особенно соблазняли меня, к тому же прусские цепи зимой очень холодны и не могли быть полезны для моего здоровья, то я решил отправиться в Париж и в отечестве шампанского и «Марсельезы» пить первое и слушать последнюю вместе с «En avant marchons» и «Lafayette aux cheveux blancs».

1 мая 1831 года я переехал через Рейн. Старого речного бога, отца Рейна, мне не пришлось повидать, и я удовольствовался тем, что забросил ему в реку мою визитную карточку. Он сидел, как сообщили мне, на самом дне и опять зубрил французскую грамматику Мейдингера, так как за время прусского владычества очень поотстал во французском языке и хотел на всякий случай опять подучиться. Мне как будто послышалось, как он там, впризу, спрягает: «J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons...»<sup>3</sup>

<sup>1</sup> «Марш вперед» (франц.).

<sup>2</sup> «Седовласый Лафайет» (франц.).

<sup>3</sup> Я люблю, ты любишь, он любит, мы любим... (франц.).



Но что он любит? Ни в коем случае не пруссаков. Страсбургский собор я видел лишь издали; он покачивал головой, как старый Верный Эккарт при виде юного молодчика, направляющегося в Венерину гору.

В Сен-Дени я пробудился от сладкого утреннего сна и впервые услышал возгласы кондукторов «кукушки»: «Париж! Париж!» и звонки продавцов коко. Здесь дышишь уже воздухом столицы, виднеющейся на горизонте. Какой-то старый плут-проводник старался убедить меня посетить королевские гробницы. Но не для того я приехал во Францию, чтобы смотреть мертвых королей; я удовольствовался тем, что позволил этому чичероне рассказать мне местную легенду о том, как злой король-язычник повелел отрубить голову святому Дени и как тот, неся свою голову в руке, прибежал из Парижа в Сен-Дени, чтобы там быть погребенным и дать местечку свое имя. Если принять во внимание дальность расстояния, добавил мой рассказчик, нельзя не удивиться чуду, что человек мог без головы пройти так далеко. Но затем он прибавил с особенной улыбкой: «Dans des cas pareils, il n'y a que le premier pas qui coûte». <sup>1</sup> Это стоило двух франков, каковые я и дал ему pour l'amour de Voltaire. <sup>2</sup> Через двадцать минут я был в Париже и въехал через триумфальные ворота бульвара Сен-Дени, первоначально воздвигнутые в честь Людовика Четырнадцатого, теперь же ознаменовавшие торжественность моего въезда в Париж. Я был поистине поражен толпой нарядных людей, одетых с большим вкусом, словно картинки модного журнала. Затем мне внушило почтение то, что все они говорили по-французски; у нас это считается признаком высшего света; здесь, значит, весь народ так же знатен, как у нас дворянство. Мужчины все были вежливы, а прекрасные женщины улыбались. Если кто-нибудь, нечаянно толкнув меня, не спешил попросить извинения, то я мог биться об заклад, что это мой соотечественник; и если какая-нибудь красотка имела слишком кислый вид, то она или наелась кислой капусты, или же умела читать Клопштока в подлиннике. Все это показалось мне таким занятным, и небо было такое синее, и воздух такой приветливый, такой щедрый, и при этом кое-где

---

<sup>1</sup> В подобных случаях труден только первый шаг (франц.).

<sup>2</sup> Из любви к Вольтеру (франц.),

еще мерцали огоньки июльского солнца; щеки прекрасной Лютеции еще горели от пламенных поцелуев этого солнца, и на груди ее еще не совсем увял свадебный букет. На углах улиц, правда, уже стерлись кое-где *liberté, égalité, fraternité*.<sup>1</sup> Я не замедлил побывать в ресторанах, к которым имел рекомендацию; эти трактирщики уверяли меня, что приняли бы меня хорошо и без рекомендательных писем, ибо моя пристойная и благородная наружность служит достаточной рекомендацией. Никогда немецкий харчевник не говорил мне ничего подобного, если даже так думал; такой грубиян полагает, что должен скрывать от нас приятное и что немецкая откровенность обязывает его говорить нам в лицо только неприятные вещи. В нравах и даже в языке французов так много восхитительной лести, которая стоит так мало и, однако, действует так благотворно и живительно! Моя душа, бедная мимоза, так съезжившаяся от боязни отечественной грубости, вновь раскрылась навстречу этим привстливым звукам французской вежливости. Бог дал нам язык для того, чтобы говорить нашим ближним приятное.

С французским языком у меня по приезде было немножко неладно, но после получасового разговора с маленькой продавщицей цветов в *Passage de l'Opéra*<sup>2</sup> мой французский язык, несколько закоченевший после сражения при Ватерлоо, вновь обрел беглость, я вновь втянулся в галантнейшие спряжения и очень понятно объяснил малютке систему Линнея, в которой цветы классифицируются по тычинкам; малютка придерживалась другой системы и разделяла цветы на такие, которые пахнут приятно и которые воняют. Кажется, и по отношению к мужчинам она придерживалась той же классификации. Она была поражена, что я такой ученый, несмотря на свою молодость, и раструбила мою ученую славу по всему *Passage de l'Opéra*. Я и здесь с упоением впивал ароматы лести и развлекался вовсю. Я разгуливал по цветам, и не один жареный голубь влетел мне в разинутый рот. Сколько занятного видел я здесь по приезде! Всех знаменитостей общественного развлечения и официальной смехотворности. Самыми смехотворными были серьезные французы.

<sup>1</sup> Свобода, равенство, братство (*франц.*).

<sup>2</sup> Проезде Оперного театра (*франц.*).

Я увидел Арналя, Буффе, Дежазе, Дебюро, Одри, мадемуазель Жорж и большой котел во Дворце инвалидов. Я видел морг, Французскую академию, где также выставлено множество неизвестных трупов, и, наконец, Люксембургский некрополь, где покоятся все мумии клятвопреступления вместе с набальзамированными ложными присягами, принесенными ими всем династиям французских фараонов. Я видел в Jardin des plantes<sup>1</sup> жирафа, трехногого козла и кенгуру, особенно позабавивших меня. Я видел также г-на Лафайета и его седые волосы; последние, впрочем, я видел отдельно, так как они находились в медальоне, висевшем на шее у одной красавицы, в то время как сам он, герой обонх полушарий, ходил в темном парике, как все старые французы. Я побывал в королевской библиотеке и видел здесь хранителя медалей, которые только что были украдены; в темном коридоре видел я там же Дендерский зодиак, некогда наделавший столько шуму, и в тот же день я видел г-жу Рекамье, знаменитейшую красавицу времен Меровингов, равно как г-на Балланша, который принадлежал к pièces justificatives<sup>2</sup> ее добродетели и которого она с незапамятных времен всюду таскала за собой. К сожалению, я не видел г-на де Шатобрлана, который, конечно, развлек бы меня. Зато я видел в «Grande chaumière»<sup>3</sup> папашу Лагира в тот момент, когда он был bougrement en colère;<sup>4</sup> он только что схватил за шиворот и выбросил за дверь двух Робеспьеров в белых жилетах добродетели с большими отворотами; одного маленького Сен-Жюста, пытавшегося хорохориться, он вышвырнул им вслед, и такая же участь едва не постигла нескольких хорошеньких гражданок Латинского квартала, жаловавшихся на нарушение человеческих прав. В другом подобном заведении я видел самого Шикара, знаменитого торговца кожей и канкаписта, коренастого господина, багровое одутловатое лицо которого превосходно оттенялось ослепительно белым галстуком; чопорный и сосредоточенный, он был похож на помощника мэра, готовящегося увенчать «розьеру». Я был восхищен его пляской и ска-

---

<sup>1</sup> Ботаническом саду (франц.). (См. комментарии.)

<sup>2</sup> Оправдательным документам.

<sup>3</sup> «Большой хижине» (франц.). (См. комментарии.)

<sup>4</sup> В страшном гневе (франц.).

зал ему, что она имеет большое сходство с античной пляской Силена, которую исполняли на дионисиевых празднествах и которая получила свое название от имени Силена, достойного воспитателя Вакха. Г-н Шикар сказал много лестного о моей учености и представил меня некоторым дамам своего круга, равным образом не преминувшим расхвалить мою основательную ученость, так что вскоре слава моя облетела весь Париж, и редакторы журналов являлись ко мне, чтобы приглашать меня сотрудничать у них. К лицам, которых я увидел вскоре после моего приезда в Париж, принадлежит также Виктор Бозн, и я с удовольствием вспоминаю этого жизнерадостного, остроумного человека, своей любезностью и своим поощрением много способствовавшего тому, чтобы разогнать тучи на челе немецкого мечтателя и приобщить его исстрадавшееся сердце к веселью французской жизни. Он основал в ту пору «Europe littéraire»<sup>1</sup> и в качестве редактора этого журнала явился ко мне с предложением написать для него несколько статей о Германии в жанре г-жи де Сталь. Я обещал доставить статьи, определенно указав однако, что хочу написать их в совершенно противоположном жанре. «Это мне безразлично, — отвечал он со смехом, — я, как Вольтер, разрешаю все жанры, кроме скучного». Для того чтобы я, бедный немец, не впал в этот genre ennuyeux,<sup>2</sup> друг Бозн приглашал меня к обеду и орошал мой дух шампанским. Никто не умел лучше его устроить обед, где можно было насладиться не только наилучшей кухней, но и увлекательнейшей беседой; никто не умел быть более гостеприимным хозяином, никто не умел так представлять, как Виктор Бозн, и, конечно, он с полным правом поставил в счет акционерам «Europe littéraire» сто тысяч франков за представительство. Его жена была очень хороша собой и имела прелестную левретку по имени Жижки. Юмору этого человека способствовала даже его деревянная нога, и когда он мило ковылял вокруг стола, подливая своим гостям шампанского, он походил на Вулкана, исполняющего обязанности Гебы в собрании ликующих богов. Где он теперь? Давно я ничего не слышал о нем. В последний раз, лет десять

<sup>1</sup> «Литературную Европу» (франц.).

<sup>2</sup> Скучный жанр (франц.).

тому назад, я встретил его в ресторанчике в Гранвиле; он приехал на один день в этот маленький портовый городок в Нижней Нормандии из Англии, где проживал для того, чтобы изучать колоссальный национальный долг Англии и при этом случае забыть о своих малых личных долгах, и здесь я увидел его у столика за бутылкой шампанского в обществе коренастого низколобого обывателя, с разинутым ртом выслушивавшего объяснения Боэна относительно проекта какого-то предприятия, в котором, как доказывал убедительнейшими цифрами Боэн, можно нажать миллион. Спекулятивному духу Боэна всегда был свойствен чрезвычайный размах, и когда он изобретал дело, то оно всегда обещало миллионы прибыли, никогда меньше миллиона. Друзья прозвали его поэтому Мессер Миллиони, как некогда называли в Венеции Марко Поло, когда он, по возвращении с Востока рассказывал под аркадами площади св. Марка своим разинувшим рты согражданам о сотнях миллионов и еще сотнях миллионов жителей, перевиденных им в странах, которые он объездил: в Китае, Татарию, Индии и т. д. Новая географическая наука восстановила честь знаменитого венецианца, которого долго считали вралем, и о нашем парижском Мессере Миллиони мы можем с полным правом сказать, что его промышленные проекты были задуманы с великолепной правильностью и осуществлению их мешали только случайности; многие из них приносили большие прибыли, когда попадали в руки людей, не столь эффектно обставлявших предприятия и не умевших так великолепно представлять, как Виктор Боэн. И «Europe littéraire» тоже была превосходна задумана, ее успех казался обеспеченным, и я никогда не мог понять, почему она погибла. Еще накануне того дня, который был началом конца, Виктор Боэн дал в помещении редакции журнала великолепный бал, где он танцевал со своими тремя акционерами совершенно так же, как некогда Леонид со своими тремя спартанцами накануне сражения при Фермопилах. Всякий раз, рассматривая в галерее Лувра картину Давида, изображающую эту сцену античного героизма, я вспоминаю о том последнем танце Виктора Боэна; точно так же, как презревший смерть царь спартанский на картине Давида, стоял он на одной ноге; это была та же классическая поза. Путник! Если когда-нибудь тебе при-

дется шагать в Париже вниз по Шоссе д'Антен по направлению к бульварам и ты в конце концов окажешься у грязной долины, носившей название Rue basse du rempart, то знай: ты стоишь здесь пред Фермопилами журнала «Europe littéraire», где Виктор Бюэн геройски пал со своими тремястами акционерами!

Статьи, написанные мною, как я сказал, для этого журнала и напечатанные в нем, послужили для меня поводом довольно обстоятельно высказаться о Германии и ее умственном развитии, и таким образом возникла книга, которую ты, дорогой читатель, держишь теперь в руках. Я предполагал раскрыть здесь не только ее цель, ее тенденцию, ее сокровеннейшее предназначение, но и происхождение этой книги, для того чтобы каждый мог с тем большей точностью определить, в какой степени мои сообщения заслуживают доверия. Я писал не в жанре г-жи де Сталь, и хотя я старался быть возможно менее скучным, я все же наперед отказался от всяких эфффектов стиля и фразы, которые в таком громадном количестве встречаются у г-жи де Сталь, крупнейшего писателя Франции времен Империи. Да, по-моему, автор «Коринны» стоит выше своих современников, и я без конца восхищаюсь блистательным фейерверком ее изложения; но, увы, этот фейерверк оставляет после себя тьму и дурной запах, и мы должны признать, что гений ее не такой бесполоый, каким, согласно более раннему утверждению г-жи де Сталь, полагалось бы быть гению; ее гений — женщина со всеми слабостями и капризами женщины, и я как мужчина обязан был воспрепятствовать блестящей свистопляске ума этого гения. Это было тем более необходимо, что сообщения в ее книге «De l'Allemagne» касались предметов, незнакомых французам и имевших прелесть новизны, — таким было, например, все относящееся к немецкой философии и романтической школе. Полагаю, что в своей книге я представил, в особенности что касается немецкой философии, достовернейшие сведения, и время подтвердило все, что в ту пору, когда я излагал это, казалось неслыханным и непонятным.

Да, в том, что касается немецкой философии, я без обиняков выболтал тайну школы, до тех пор укутанную в схоластические формулы и известную только посвященным в высшую степень. Мои разоблачения

вызвали здесь величайшее изумление, и я вспоминаю, как весьма выдающиеся французские мыслители наивно признавались мне, что они всегда считали немецкую философию неким мистическим туманом, где, точно в священной облачной твердыне, скрывается божество, а немецких философов — экстатическими провидцами, дышащими лишь благочестием и страхом божьим. Не моя вина, что это никогда не было так, что немецкая философия есть прямая противоположность тому, что мы до сих пор называли благочестием и страхом божьим, и что наши новейшие философы провозгласили как последнее слово нашей немецкой философии полнейший атеизм. Беспощадно, с вакхической жизнерадостностью сорвали они голубой покров с немецкого неба, возглашая при этом: «Смотрите, все божества сбежали, и там, наверху, сидит лишь одна старая дева со свинцовыми руками и печальным сердцем — Необходимость».

Ах, то, что звучало тогда так странно, проповедуется теперь со всех крыш по ту сторону Рейна, и фанатический пыл кое-кого из этих проповедников ужасен! У нас завелись теперь фанатические монахи атеизма, великие инквизиторы неверия, которые сожгли бы на костре г-на Вольтера за то, что в глубине души он все же был закоренелым деистом. Пока такие доктрины оставались сокровенным достоянием некоей аристократии умников и обсуждались на изысканном жаргоне кружка избранных, непонятном лакеям, стоявшим за нашими стульями, пока мы богохульствовали за нашими философскими *petits soupers*,<sup>1</sup> до тех пор и я принадлежал к легкомысленным *esprits forts*,<sup>2</sup> в большинстве своем напоминавшим тех либеральных знатных господ, которые незадолго до революции пытались новыми разрушительными идеями разогнать скуку своей праздной придворной жизни. Но когда я заметил, что плебейские низы, грубая чернь начала рассуждать о тех же вопросах на своих нечистоплотных пиршествах, где вместо восковых свечей и жирандолей горели сальные свечи и масляные лампы, когда я увидел, что всякие неумытые сапожные и портняжные подмастерья позволяют себе на своем пуклюжем кабацком наречии отрицать

<sup>1</sup> Интимными ужинами (франц.).

<sup>2</sup> Вольнодумцам (франц.).

бытие божье, когда атеизм начал очень сильно вонять сыром, водкой и табаком, тут у меня внезапно раскрылись глаза, и то, чего я не понимал рассудком, я понял теперь обонянием, понял посредством отвращения и тошноты, и атеизму моему, слава богу, пришел конец.

Сказать правду, пожалуй не одна только тошнота оттолкнула меня от учения безбожников и привела к отказу от него. Здесь сыграла роль и известная житейская тревога, которую я не мог преодолеть; я увидел, что атеизм вступил в более или менее тайный союз с жутко оголенным, лишенным всякого фигового листка грубым коммунизмом. Поистине, мой страх перед ним не имеет ничего общего ни с испугом баловня фортуны, дрожащего за свои капиталы, ни с раздражением состоятельных промышленников, опасющихся какой-либо помехи в деле эксплуатации; нет, меня удручает тайная боязнь художника и ученого, ибо мы видим в победе коммунизма угрозу всей нашей современной цивилизации, достоянию, добытому тяжким трудом многих столетий, плоду благороднейших усилий наших предшественников. Увлеченные потоком великодушных помышлений, мы все же готовы были бы пожертвовать интересами искусства и науки и даже всеми нашими личными интересами общим интересам страждущего и угнетенного народа, но мы не можем скрыть от себя, чего нам следует ожидать, как только широкая грубая масса, которую одни называют народом, а другие чернью и право которой на самодержавное верховенство провозглашено давно, придет к действительному господству. Особенно жуткий ужас пред воцарением этого неуклюжего самодержца ощущает поэт. Мы готовы принести себя в жертву ради народа, ибо самопожертвование относится к утонченнейшим нашим наслаждениям, — освобождение народа было великой задачей нашей жизни, и мы боролись и терпели за него несказанные страдания на родине и в изгнании, — но чистоплотная, чувствительная природа поэта противится всякому личному соприкосновению с народом, и еще сильнее трепещем мы при мысли о его ласках, от которых избави нас, боже! Один великий демократ как-то сказал, что если бы король пожал ему руку, он поспешил бы сузить ее в огонь, чтобы очистить ее. Я сказал бы подобным же образом: я вымыл бы руку, если бы самодержавный народ почтил меня рукопожатием.



О, у народа, этого бедного короля в лохмотьях, нашлись льстецы, кадившие ему гораздо более бесстыдно, чем царедворцы Византии или Версаля. Эти придворные лакеи народа непрестанно прославляют его достоинства и добродетели и восторженно восклицают: «Как прекрасен народ! Как добр народ! Как разумен народ!» Нет, вы лжете! Бедный народ не прекрасен; наоборот, он очень безобразен. Но безобразие это возникло от грязи и исчезнет вместе с нею, когда мы построим общественные бани, где его величество народ будет иметь возможность мыться бесплатно. Кусочек мыла не повредит при этом, и мы увидим чистенький народ, народ, который помылся. Народ, доброта которого так прославляется, совсем не добр; иногда он так же зол, как некоторые другие самодержцы. Но злость его происходит от голода; нам следует позаботиться о том, чтобы самодержавному народу всегда было что есть; как только его величество народ будет как следует накормлен и насыщен, он будет вам улыбаться благосклонно и милостиво, совсем как прочие величества. Его величество народ также не слишком разумен; он, быть может, глупее прочих, он почти так же скотски глуп, как его фавориты. Любовью и доверием он дарит только тех, кто говорит или рычит на жаргоне его страсти, но он ненавидит всякого честного человека, говорящего с ним на языке разума для его же просвещения и облагорожения. Так оно есть в Париже, так оно было и в Иерусалиме. Предоставьте народу свободу выбора между праведнейшим из праведников и гнуснейшим разбойником с большой дороги, и будьте уверены, он заорет: «Отдай нам Варавву! Да здравствует Варавва!» Причина этого извращения — невежество; к искоренению этого зла наций мы должны стремиться посредством общественных школ, где народ будет получать обучение бесплатно вместе с потребными для этого бутербродами и прочими съестными припасами. И когда каждый человек из народа получит возможность приобретать любые знания, вы не замедлите вскоре увидеть и разумный народ. Быть может, в конце концов он станет так же образован, так же тонок, так же остроумен, как и мы, то есть как я и ты, дорогой мой читатель, и у нас появятся еще новые ученые парикмахеры, сочиняющие стихи, как мосье Жасмен из Тулузы, и много еще иных философических портняжек, пишу-

щих серьезные книги, как наш земляк, превосходный Вейтлинг.

При имени этого превосходного Вейтлинга внезапно в памяти моей вновь всплывает во всей ее комической серьезности сцена моей первой и последней встречи с тогдашним героем дня. Господь бог, видящий все с высот своего небесного замка, вероятно от души посмеялся над кислой миной, которую я, должно быть, скорчил, когда в книжном магазине моего друга Кампе в Гамбурге ко мне обратился прославленный портняжный подмастерье и отрекомендовался как мой коллега, исповедующий те же революционные и атеистические воззрения, что и я. В этот миг мне в самом деле хотелось, чтобы господа бога вовсе не существовало, лишь бы он не видел моего замешательства и стыда, в которые повергло меня столь милое товарищество. Господь бог, конечно, от души простил мне все мои старые прегрешения, если принял во внимание унижение, испытанное мною при этом цеховом приветствии неверующей черни, при этой товарищеской встрече с Вейтлингом. Что более всего оскорбило мою гордость, так это полнейшее отсутствие почтения, проявленное этим малым в разговоре со мной. Он не снял шапки, и в то время как я стоял перед ним, он сидел на деревянной скамеечке, поддерживая рукой приподнятую и согнутую в колене правую ногу, так что она коленом почти касалась его подбородка; другой рукой он непрерывно тер эту ногу повыше лодыжки. Сперва я приписал эту непочтительную позу портновскому обыкновению сидеть поджавши ноги, но когда я спросил его, почему он непрестанно трет таким образом ногу, он объяснил мне, в чем дело. Самым равнодушным тоном, без всякого смущения, точно речь идет о совершенно естественных вещах, он сказал мне, что в разных немецких тюрьмах, где он сидел, его обыкновенно заковывали в цепи, и так как иногда железное кольцо слишком тесно, то у него сохранилось на ноге ощущение зуда, заставляющее его иногда чесать это место. Слушая это наивное признание, автор этих строк имел, вероятно, приблизительно такой же вид, как волк в Эзоповой басне, когда он спросил собаку, отчего у нее на шее так вытерта шерсть, и та ответила: «Меня ночью сажают на цепь». Да, признаюсь, я отступил на несколько шагов назад, когда портной заговорил таким образом, со своей против-

ной фамильярностью, о цепях, в которые временами его заковывали немецкие тюремные надзиратели, когда он сидел в каменном мешке. «Каменный мешок!» «Надзиратели!» «Цепи!» Все эти неприятные словечки — из жаргона замкнутого общественного круга, причастным к которому — какой ужас! — меня здесь предполагали. И речь здесь шла не о метафорических цепях, которые носит теперь весь мир, которые можно носить с величайшей пристойностью и которые у людей хорошего тона даже вошли в моду, — нет, у членов этого замкнутого общества подразумеваются цепи в самом что ни на есть железном их значении, цепи, которые прикрепляют к ноге железным кольцом, — и я отступил на несколько шагов назад, когда портной Вейтлинг заговорил об этих цепях. И то был не страх перед поговоркой: «Вместе пойманы — вместе повешены», нет, я испугался возможности быть повешенным рядом с ним.

Забытый теперь, этот Вейтлинг был, надо сказать, человеком талантливым; у него не было недостатка в мыслях, и книга его «Гарантии общества» была долгое время катехизисом немецких коммунистов. Число их невероятно увеличилось в Германии за последние годы, и эта партия в данный момент бесспорно является одной из сильнейших по ту сторону Рейна. Ремесленники образуют ядро армии неверия, быть может не слишком дисциплинированной, но превосходно вымуштрованной в знании доктрины. Эти немецкие ремесленники в большинстве своем придерживаются самого крайнего атеизма и как бы обречены на исповедание этого безрадостного отрицания, если не хотят впасть в противоречие со своим основным принципом и вместе с тем в полнейшее бессилие. Эти когорты разрушения, эти саперы, топор которых угрожает всему общественному зданию, бесконечно сильнее уравниателей и бунтарей в других странах вследствие ужасающей последовательности их доктрины, ибо в безумии, движущем ими, есть, как сказал бы Полоний, система.

Нет большой заслуги в том, что я в книге «De l'Allemagne» задолго предсказал чудовищные явления, наступившие лишь позднее. Мне нетрудно было пророчествовать о том, какие песни будут со временем насвистывать и чпикать в Германии, ибо на моих глазах вылуплялись птицы, впоследствии затянувшие эти новые напевы.

Я видел, как Гегель со своим почти до смешного серьезным лицом сидел наседкой на этих роковых яйцах, и слышал его кудяхтанье. По совести сказать, я редко понимал его и лишь путем позднейшего размышления добился разумения его слов. Мне кажется, он совсем и не хотел быть понятым, и отсюда его опутанное оговорками изложение, отсюда, быть может, и предпочтение, оказываемое им лицам, о которых он знал, что они его не понимают, и которых он тем охотнее удостаивал чести своего близкого знакомства. Так, всякий в Берлине изумлялся близости глубокомысленного Гегеля с покойным Генрихом Бером, братом прославленного повсюду и восхваляемого талантливейшими журналистами Джакомо Мейербера. Этот самый Бер, Генрих, был явно глуповатый малый, которого впоследствии его семья и в самом деле объявила слабоумным и взяла под опеку, так как он, вместо того чтобы при помощи своего большого состояния сделать себе имя в искусстве или науке, растрачивал свое богатство на всякую сумасбродную блажь, — так, например, он однажды купил тросточек на шесть тысяч талеров. Этот несчастный, не пожелавший прослыть великим драматургом, или великим астрономом, или же увенчанным лаврами музыкальным гением, соперником Моцарта и Россини, и предпочитавший тратить деньги на тросточки, этот непохожий на свою породу Бер был Гегелю ближе всех. Он был доверенным другом философа, его Пиладом, и повсюду следовал за ним, как тень. Столь же остроумный, сколь талантливый Феликс Мендельсон пытался однажды объяснить этот феномен, утверждая, что Гегель не понимает Генриха Бера. Но теперь я думаю: истинная причина этой близости заключалась в том, что, по убеждению Гегеля, Бер ничего не понимал из того, что говорил ему Гегель, который поэтому з его присутствии мог без стеснения отдаваться течению своей мысли. Беседа Гегеля вообще всегда была чем-то вроде монолога в прерывистых вздохах, произносимого беззвучным голосом; часто поражала меня причудливость выражений, из коих многие оставались у меня в памяти. Однажды в прекрасный звездный вечер стояли мы вдвоем у окна, и я, двадцатидвухлетний юнец, только что хорошо поужинавший и напившийся кофе, мечтательно говорил о звездах и называл их обителью блаженных. Но учитель проворчал себе

под нос: «Звезды, гм, гм! Звезды — только светящаяся сыпь на небе!» — «Ради создателя! — воскликнул я. — Значит, там, наверху, нет блаженной обители, где бы после смерти нам воздавалось за добродетель?» Но он, неподвижно устремив на меня свои бесцветные глаза, резко ответил: «Вы хотите, стало быть, еще получить на чай за то, что ухаживали за больной матерью и не отравили родного брата?» При этих словах он боязливо оглянулся, но тут же как будто успокоился, когда заметил, что за ним стоял всего только Генрих Бер, подошедший, чтобы пригласить его на партию виста.

Как трудно понимать сочинения Гегеля, как легко здесь ошибиться и вообразить себя всепонимающим, в то время как ты всего лишь научился конструировать по чужому образцу диалектические формулы, я заметил лишь много лет спустя здесь, в Париже, когда занялся переводом этих формул с отвлеченного жаргона этой школы на родной язык здравого смысла и общепонятности — на французский язык. Тут переводчик должен точно знать, что он хочет сказать, и самое стыдливое понятие вынуждено сбросить мистические одеяния и показаться в своей обнаженности. Дело в том, что я предполагал составить общедоступное изложение всей гегелевской системы, чтобы включить его в виде дополнения к новому изданию моей книги «De l'Allemagne». Я посвятил этой работе два года, и лишь с трудом и напряжением удалось мне осилить неподатливый материал и изложить самые отвлеченные места в возможно более популярной форме. Однако, когда работа была наконец готова, меня при ее виде объял жуткий трепет, и мне почудилось, будто рукопись смотрит на меня незнакомыми ироническими, прямо злобными глазами. Я оказался в странном затруднении: между автором и его сочинением уже не было согласия. Дело в том, что к тому времени душу мою уже охватило вышеупомянутое отвращение к атеизму, и так как я не мог не признать пред самим собой, что гегелевская философия оказала самую роковую поддержку всем этим кощунствам, она сделалась мне в высшей степени неприятной и чуждой. Слишком большого восторга никогда вообще не возбуждала во мне эта философия, и об убежденности в ее правоте не могло быть и речи. Я никогда не был абстрактным мыслителем и без проверки принимал синтез гегелевской

доктрины, потому что выводы ее льстили моему тщеславию. Я был юн и заносчив, и моему высокомерию было приятно, когда я узнал от Гегеля, что господь бог не тот, кто, как думала моя бабушка, восседает на небесах, но я сам здесь, на земле, и есть этот господь бог. Эта глупая гордыня вовсе не оказала, однако, тлетворного воздействия на мои чувства, — наоборот, она возвысила их до степени героизма, и я в ту пору расточал столько великодушия и самопожертвования, что, разумеется, совершенно затмил самые блестящие подвиги тех честных мещан добродетели, которые действовали лишь из чувства долга и повиновались только законам морали. Я ведь сам был теперь живым законом морали и источником всякой правды и всякого права. Я был первородной нравственностью, я был непогрешим, я был воплощенной чистотой; Магдалины с самой дурной репутацией очищались просветляющей и искупляющей силой моего любовного огня, и непорочными, как лилии, и зарумянившимися, как целомудренные розы, в совершенно новой девственности, выходили они из объятий бога. Это реставрирование потерпевшей ущерб девственности, должен сознаться, иногда истощало мои силы. Но я давал, не торгуясь, и неисчерпаем был источник моего милосердия. Я был весь любовь и был совершенно свободен от ненависти. И я уже не мстил больше своим врагам, так как по существу не имел врагов, или, вернее, никого таковыми не признавал; теперь для меня существовали только неверующие, сомневающиеся в моей божественности. Всякая обида, причиненная ими мне, была святотатством, и их хула — кощунством. Такое оскорбление божества я, разумеется, не всегда мог оставлять безнаказанным, но в таких случаях не человеческая месть постигала грешника, а божья кара. При отправлении этого высшего правосудия я не раз с большим или меньшим усилием подавлял в себе всякое пошлое сострадание. Как не было для меня врагов, так не было и друзей, но только паства, веровавшая в мое величие, поклонявшаяся мне, восхвалявшая мои произведения, как стихотворные, так и те, что написаны прозой; и этой общине истинно благочестивых и благоговейных я сделал много добра, в особенности молодым богомолкам.

Но неисчислимы расходы на представительство у бога, который не скряжничает и не щадит ни тела, ни кошелька;

для того чтобы с достоинством играть эту роль, особенно необходимы две вещи: много денег и много здоровья. Увы, случилось так, что однажды, в феврале 1848 года, у меня иссякли оба эти аксессуара, и потому моей божественности пришлось очень плохо. К счастью, достопочтенная публика была в это время поглощена столь великими, неслыханными, невероятными зрелищами, что могла не обратить большого внимания на перемену, происшедшую в ту пору с моей маленькой особой. Да, они были неслыханны и фантастичны, события этих безумных февральских дней, когда посрамлена была мудрость умнейших и избранники безумия были подняты на щит. Последние стали первыми, низы взобрались наверх, ниспровергнуты были и вещи и мысли, и мир действительно перевернулся. Будь я в это безрассудное, вверх ногами опрокинутое время человеком разумным, то, несомненно, от этих событий потерял бы рассудок, но так как я был тогда сумасшедшим, то должно было произойти противоположное, и, странное дело, как раз в дни всеобщего безумия я вновь обрел разум! Подобно многим другим павшим богам этого революционного периода, пришлось и мне бесславно выйти в отставку и возвратиться в состояние частного человека. Это было самое разумное из всего, что я мог предпринять. Я вернулся в низкий хлев божьих созданий и вновь уверовал во всемогущество высшего существа, которое правит судьбами этого мира и которому предстоит впредь управлять и моими личными земными делами. За то время, что я был моим собственным провидением, они пришли в опасное расстройство, и я был рад передать их, так сказать, небесному интенданту, который при посредстве своего всеведения, право, гораздо лучше справлялся с ними. С тех пор существование бога стало для меня не только источником благодати, но и избавило меня от всяких мучительных деловых расчетов, столь противных мне, и я обязан ему величайшими сбережениями. Как о себе, так и о других мне уже не приходилось теперь заботиться, и с тех пор как я принадлежу к числу людей благочестивых, я почти ничего не трачу на помощь нуждающимся; я слишком скромнен, чтобы, как раньше, поддерживать божественное провидение в его деле; я не попечитель паствы, не подражатель божий, и моим бывшим клиентам я с благочестивым смирением заявил, что я только жалкое человеческое суще-

ство, воздыхающая тварь, не имеющая больше никакого касательства к управлению вселенной, и что отныне им в беде и нужде надлежит обращаться к господу богу, проживающему на небесах и располагающему бюджетом столь же беспредельным, как его благодать, тогда как мне, бедному отставному богу, даже в самые божественные мои дни для удовлетворения моих благотворительных прихотей приходилось очень часто «тянуть черта за хвост».

«Tiger le diable par la queue»<sup>1</sup> — в самом деле одно из удачнейших выражений французского языка, но само по себе такое положение было чрезвычайно унижительно для божества. Да, я рад, что избавился от моего узурпированного ореола, и теперь никакому философу уже не удастся убедить меня в том, что я бог. Я всего лишь бедный человек, к тому же не совсем здоровый, и даже очень больной. В этом состоянии истинное благодеяние для меня, что есть кто-то на небесах, пред кем я могу непрестанно плакаться о своих страданиях, особенно после полуночи, когда Матильда уже отправилась на покой, который часто так нужен ей. Благодарение господу! В такие часы я не одинок и могу молиться и жаловаться сколько угодно и без стеснения могу изливать свою душу пред всемогущим и доверить ему кое-что из того, о чем мы обыкновенно умалчиваем даже и пред собственной женой.

После этих признаний благосклонный читатель легко поймет, почему моя работа о философии Гегеля перестала занимать меня. Я основательно понял, что появление ее не может принести ничего хорошего ни читателям, ни автору; я понял, что самые постные больничные супы христианского милосердия все же, вероятно, питательнее для изнемогающего человечества, чем серая разварная паутина гегелевской диалектики. Да, признаюсь уж во всем: я вдруг ужасно испугался вечного огня, — это, конечно, суеверие, но я испугался, — и тихим зимним вечером, когда мой камин пылал, я воспользовался удобным случаем и бросил мою рукопись о гегелевской философии в жаркое пламя; горящие листки взвились в трубу со страшным, хихикающим потрескиванием.

---

<sup>1</sup> Еле сводить концы с концами (буквально: «тянуть черта за хвост») (франц.).



Слава богу, я избавился от нее! Ах, если бы я мог таким же образом уничтожить все, что некогда печатал о немецкой философии! Но это невозможно, и так как я, как пришлось мне недавно с прискорбием убедиться, лишен даже возможности воспрепятствовать перепечатке уже распроданных книг, то мне не остается ничего, кроме публичного признания, что мое изложение немецких философских систем, то есть главным образом первые три части книги «De l'Allemagne», содержит самые греховные заблуждения. Я напечатал указанные три части в виде отдельной книги по-немецки, и так как последнее издание этой книги разошлось и моему издателю принадлежало право выпустить в свет новое издание, то я предпослал книге предисловие, из которого привожу здесь одно место, избавляющее меня от печальной необходимости давать особые объяснения насчет этих трех частей «De l'Allemagne». Вот это место: «Сказать по совести, мне было бы приятнее совсем не отдавать ее в печать. Дело в том, что после ее появления мои взгляды на некоторые вопросы, особенно на вопросы религиозные, изменились существенным образом, и многое из сказанного мною противоречит моим нынешним убеждениям. Но подобно тому, как раз выпущенная стрела, расставшись с тетивой, выходит из-под власти стрелка, так и слово, слетевшее с уст, не принадлежит сказавшему его, особенно если оно распространено по свету печатью. Кроме того, не печатать этой книги и исключить ее из полного собрания моих сочинений — значило бы нарушить чужие права, с точки зрения которых мне могли быть сделаны возражения весьма принудительного характера. Я, конечно, мог бы, как делают некоторые писатели в подобных случаях, прибегнуть к смягчению выражений, к прикрытию фразой, но я всей душой ненавижу двусмысленные слова, лицемерные цветочки, трусливые фиговые листки. Но во всяких обстоятельствах у честного человека остается неотъемлемое право открыто признать свои заблуждения, и этим правом я хочу здесь безбоязненно воспользоваться. Поэтому я безоговорочно признаю, что все относящееся в этой книге к великому вопросу о божестве столь же ложно, сколь необдуманно. Равным образом ложно и необдуманно повторенное мною вслед за школой утверждение, будто теория совершенно покончила с деизмом и лишь в мире

явлений он влачит свое жалкое существование. Нет, неправда, будто критика разума, опровергнув доказательств бытия божьего, известные нам со времен Ансельма Кентерберийского, положила конец и самому бытию божьему. Деизм живет, живет самой живучей жизнью, он не умер, и менее всего убила его новейшая немецкая философия. Эта паутинообразная берлинская диалектика неспособна выманить собаку из-под печки, она неспособна даже кошку убить, не то что бога. На самом себе я испытал, как опасны ее смертоносные удары; она только и делает, что убивает, а жертвы ее продолжают жить. Некогда швейцар гегелевской школы, лютый Руге, твердо и бесповоротно объявил в «Галлеских ежегодниках», что убил меня насмерть своей привратничьей булавой, и, однако, в это самое время я разгуливал по парижским бульварам, целый и невредимый и более бессмертный, чем когда-либо. Милый бедный Руге! Он сам впоследствии не мог удержаться от самого искреннего смеха, когда я именно здесь, в Париже, признался ему, что в глаза не видал этих ужасных, смертоубийственных страниц «Галлеских ежегодников», и как мои полные, румяные щеки, так и превосходный аппетит, с которым я глотал устриц, убедили его в том, сколь мало подходило ко мне слово «труп». В самом деле, я был еще тогда здоров и дороден, находился в зените своей полноты и был надменен, как царь Навуходоносор перед падением.

Ах, несколько лет спустя произошла телесная и духовная перемена! Как часто с той поры возвращаюсь я мыслью к истории того вавилонского царя, который возомнил себя господом богом, но позорно пал с вершины своего высокомерия, ползал зверем по земле и ел траву (думаю, что это был салат). В великолепно-грандиозной книге пророка Даниила рассказана эта легенда, и я рекомендую ее для назидательного размышления не только милейшему Руге, но и еще гораздо более непримиримому моему другу Марксу и даже господам Фейербаху, Даумеру, Бруно Бауэру, Генгстенбергу и как они там еще зовутся, все эти обожествившие себя безбожники! В библии вообще есть множество прекрасных и достопримечательных рассказов, заслуживающих их внимания, как, например, помещенное в самом ее начале сказание о запретном древе в раю и о змее, маленькой приват-доцентке, за шесть тысяч лет

до рождения Гегеля излагавшей всю Гегелеву философию. Этот безногий спный чулок с чрезвычайным остроумием показывает, каким образом абсолют заключается в тождестве бытия и познания, как путем познания человек становится богом, или, что то же, как бог в человеке доходит до самопознания. Эта формула не так ясна, как первоначальные слова: «Если вкусите от древа познания, то будете как бог!» Из всего рассуждения госпожа Ева поняла лишь одно — что плод запрещен, а раз он запрещен, то она и вкусила его, эта милая женщина. Но, едва отведав соблазнительного яблока, она утратила свою невинность, свою наивную непосредственность, она сочла себя слишком обнаженной для особы ее положения, для родоначальницы стольких будущих кесарей и королей, и она потребовала себе платье. Правда, речь шла только о платье из фиговых листков, ибо в те времена еще не было японских фабрикантов шелка, да к тому же в раю еще не знали портных и модисток. О, этот рай! Удивительное дело: едва женщина поднялась до мышления и самосознания, как первой ее мыслью было: новое платье! И этот библейский рассказ, особенно речь змеи, не выходит у меня из головы, и я склонен поставить ее эпиграфом к этой книге, подобно тому как над садами знатных особ часто высится предостерегающая надпись: «Здесь расставлены западни и капканы».

За местом, процитированным здесь, следуют признания, касающиеся влияния, произведенного чтением Библии на мое позднейшее духовное развитие. Воскрешением моего религиозного чувства я обязан этой священной книге, и она была для меня в столь же великой степени источником благодати, сколь предметом самого набожного умиления. Удивительное дело! После того как я всю жизнь прощатался по всевозможным тапцулькам философии, предавался всем оргиям ума, состоял в любовном сожителстве со всевозможными системами, — не испытывая, как Мессалина после распутной ночи, удовлетворения, — я вдруг оказываюсь на той самой точке зрения, на которой стоит и дядя Том, на точке зрения Библии, и преклоняю колена рядом с черным собратом в том же благоговении...

Какое унижение! Со всей моей наукой я не ушел дальше бедного, невежественного негра, едва умеющего читать по складам! Правда, бедный Том как будто видит

в священной книге еще более глубокие вещи, чем я, которому не вполне ясно кое-что, особенно последняя часть. Том, быть может, понимает ее лучше, чем я, потому что в ней встречается больше побоев, а именно тех нескончаемых ударов бичом, которые не раз при чтении евангелий и деяний апостолов отталкивали меня своей неэстетичностью. Этаким жалкий негритянский раб читает одновременно своей спиной и потому понимает гораздо лучше, чем мы. Зато я, в свою очередь, хочу польстить себя уверенностью, что лучше уяснил себе характер Моисея в первом разделе священной книги. Этот великий образ внушил мне немалое почтение. Какой исполин! Не могу себе представить, чтобы Ог, царь Васанский, был выше. Каким маленьким кажется Синай, когда на нем стоит Моисей. Гора эта — только пьедестал, на котором стоят ноги этого человека, а голова его высится в небесах, где он разговаривает с богом. Да простит мне господь мое прегрешение, но мне иногда казалось, что этот Моисеев бог — только отраженный отблеск самого Моисея, с которым он так схож в гневе и в любви. Было бы великим грехом, было бы антропоморфизмом предполагать такое тождество бога и его пророка, но сходство поразительно.

Прежде я недолюбливал Моисея, вероятно потому, что эллинский дух преобладал во мне и я не мог простить иудейскому законодательству его ненависти ко всякой образности, к пластике. Я не понимал, что, несмотря на враждебное отношение к искусству, Моисей все же сам был великим художником и обладал подлинным художественным духом. Но этот художественный дух был у него, как и у его египетских соотечественников, обращен лишь на исполинское и несокрушимое. Только он творил свои художественные создания не из кирпича и гранита, как египтяне, — он воздвигал пирамиды из людей, он высекал человеческие обелиски, он взял бедное пастушеское племя и создал из него народ, которому также дано было преодолеть столетия, великий, вечный, священный народ, божий народ, который мог служить всем прочим народам образцом и даже всему человечеству прототипом: он создал Израиль! С большим правом, чем римский поэт, может этот художник, сын Амрама и повитухи Иохаведы, похвалиться тем, что воздвиг себе памятник, который переживет все бронзовые монументы.

Как о создателе, так и о его создании, евреях, я никогда не говорил с достаточным уважением, и тоже, конечно, из-за моей эллинской природы, которую отталкивал иудейский аскетизм. С той поры уменьшилось мое пристрастие к Элладе. Я вижу теперь, что греки были лишь прекрасными юношами, евреи же всегда были мужами, могучими, непреклонными мужами, и не только в былые времена, но и до сего дня, несмотря на восемнадцать веков гонений и страданий. С той поры я научился лучше ценить их, и если бы всякая гордость происхождением не была дурацкой несообразностью в борце за революцию и ее демократические принципы, то пишущий эти строки мог бы гордиться тем, что предки его принадлежали к благородному роду Израиля, что он — отпрыск тех мучеников, которые дали миру бога и нравственность и сражались и страдали на всех боевых полях мысли.

История средних веков и даже нового времени редко заносила имена таких рыцарей святого духа в свои реляции, ибо они сражались обычно с опущенным забралом. Подвиги евреев столь же мало известны миру, как их подлинное существо. Люди думают, что знают их, потому что видели их бороды, но ничего больше им не открылось, и, как в средние века, евреи и в новое время остаются бродячей тайной. Она раскроется, вероятно, в тот день, о котором сказано пророком, что будет тогда единый пастырь и единое стадо, и праведный, страдавший за спасение человечества, удостоится возвышенного признания.

Итак, я, прежде имевший обыкновение цитировать Гомера, теперь, как видите, цитирую библию, как дядя Том. В самом деле, я многим ей обязан. Она, как я сказал уже, вновь пробудила во мне религиозное чувство; и этого возрождения религиозного чувства было достаточно поэту, который, быть может, гораздо легче прочих смертных обходится без положительных догматов веры. На нем лежит благодать, и духу его раскрывается символика неба и земли; ему для этого нет надобности в каком-либо церковном ключе. Глупейшие и противоречивейшие слухи распространились на этот счет обо мне. Очень благочестивые, но не очень умные люди протестантской Германии докучали мне настойчивым вопросом, не обратился ли я, с тех пор как заболел и стал верующим, с большим, чем прежде, сочувствием к евангелически-лютеранскому ис-

поведанию, которого до сих пор держался лишь официально и равнодушно. Нет, друзья любезные, в этом отношении со мной не произошло никакой перемены, и если я вообще продолжаю оставаться протестантом, то лишь потому, что эта религия теперь меня не стесняет, как и раньше никогда особенно не стесняла. Правда, откровенно признаюсь, проживая в Пруссии и даже в Берлине, я охотно, подобно многим моим друзьям, открыто разорвал бы всякие церковные узы, если бы тамошние власти не отказывали в праве проживания в Пруссии, особенно в Берлине, всякому, не принадлежащему к одной из положительных, государством признанных религий. Подобно Генриху IV, однажды со смехом сказавшему: «Paris vaut bien une messe»,<sup>1</sup> я имел бы право сказать: «Berlin vaut bien un prêche»,<sup>2</sup> и мог бы, как и раньше, довольствоваться весьма просвещенным, профильтрованным и очищенным от всякого суеверия христианством без божественности Христа, — вроде черепашьего супа без черепахи, — какое в ту пору можно было получить в берлинских церквях. В то время я сам еще был богом, и ни одна из положительных религий не представлялась мне более ценной, чем другая; из вежливости я мог носить их мундиры, подобно тому как, например, русский император одевается прусским гвардейским офицером, когда оказывает королю Пруссии честь присутствовать на смотре в Потсдаме.

Теперь, когда, вследствие возрождения религиозного чувства, равно как вследствие физических страданий, во мне произошли различные перемены, соответствует ли теперь хоть в какой-то степени лютеранский вероисповедный мундир моим сокровеннейшим помышлениям? В какой мере официальное исповедание стало для меня истиной? Обойдусь без прямого ответа на этот вопрос; пусть он только послужит мне поводом осветить заслуги, которые протестантизм, согласно моему нынешнему взгляду, имеет перед спасением мира, и по этому можно будет судить, в какой мере усилилась моя симпатия к нему.

Раньше, когда философия представляла для меня преимущественный интерес, я ценил протестантизм только за то, что он завоевал свободу мысли, ставшую той почвой,

---

<sup>1</sup> Париж стоит обеды (*франц.*). (См. комментарии.)

<sup>2</sup> Берлин стоит проповеди (*франц.*).

на которой впоследствии могли двигаться Лейбниц, Кант и Гегель; Лютер, могучий муж с топором в руке, должен был пройти впереди этих бойцов и прорубить для них дорогу. В этом смысле я и определил Реформацию как начало немецкой философии, оправдывая этим мое воинствующее пристрастие к протестантизму. Теперь, в годы поздней зрелости, когда религиозное чувство вновь с захватывающей силой подымается во мне и потерпевший крушение метафизик цепляется за библию, теперь я особенно ценю протестантизм за его заслуги в деле открытия и распространения священной книги. Я говорю: «открытия», потому что евреи, спасшие ее из великого пожара второго храма и в течение всех средних веков таскавшие ее в изгнании с собою в виде портативного отечества, тщательно скрывали это сокровище в своих гетто, куда немецкие ученые, предшественники и зачинатели Реформации, прокрадывались для того, чтобы учиться древнееврейскому языку, чтобы добыть ключ к ларцу, где хранилось сокровище. Таким ученым был славный Рейхлин, и противник его — Гоогстратен и К<sup>о</sup> в Кельне, — которых принято обычно изображать в виде тупоголовых обскурантов, совсем не были такими уж болванами. Наоборот, это были дальновидные инквизиторы, конечно предвидевшие ту беду, которою грозило церкви знакомство паствы со священным писанием. Отсюда то рвение, с каким они преследовали еврейские книги, советуя сжечь их все без исключения и стремясь путем науськивания черни истребить переводчиков этих священных книг, евреев. Теперь, когда мотивы их действий вскрыты, ясно, что каждая из сторон по существу была права. Кельнские обскуранты считали, что спасению души во всем мире угрожает опасность, и все средства, начиная от лжи и кончая убийством, казались им позволительными, особенно по отношению к евреям. Обездоленные народные низы, порождение наследственной нищеты, ненавидели евреев уже за накопленные ими богатства, и то, что в наши дни называется ненавистью пролетариев к богатым вообще, некогда называлось ненавистью к евреям. И в самом деле, так как этим последним прегражден был доступ к земельной собственности и ко всякому ремесленному заработку и не оставалось ничего, кроме торговли и денежных операций, воспрещенных церковью правоверным, то они, евреи, самим

законом обрекались на то, чтобы быть проклятыми, богатыми, ненавидимыми и убиваемыми. Такие убийства, правда, еще прикрывались в те времена религиозным покровом, и считалось, что убивать должно тех, кто некогда убил нашего Спасителя. Удивительное дело! Тот самый народ, который подарил миру бога и вся жизнь которого была проникнута исключительно благоговением пред господом, был ославлен как богоубийца! Кровавую пародию на такого рода безумие видели мы в начале революции в Сан-Доминго, когда во главе толпы негров, предававших палачам огню и мечу, шествовал черный фанатик, который нес огромное распятие в руках и кровожадно кричал: «Белые убили Христа, перебьем всех белых!»

Да, евреям, которым мир обязан богом, обязан он также его словом, библией; они спасли ее, когда обанкротилась Римская империя, и в кровопролитную, безумную эпоху переселения народов хранили они бесценную книгу, пока протестантизм не отыскал ее у них, перевел найденную книгу на местные языки и распространил по всему свету. Это распространение принесло благодатнейшие плоды и продолжается до наших дней, когда пропаганда «Библейского общества» исполняет провиденциальную миссию, гораздо более значительную и, во всяком случае, имеющую в будущем совсем иные последствия, чем те, которых ожидают благочестивые джентльмены этой британской компании по экспорту христианства. Они надеются установить господство мелкой, узкой догматики и, вслед за морем, монополизировать также и небо, сделать его владением британской церкви; и вот, сами того не зная, они способствуют гибели всех протестантских сект, которые все черпают жизнь в библии и растворяются во всеобщем проникновении библейским духом. Они способствуют возникновению великой демократии, в которой каждому человеку предстоит стать не только царем, но и епископом в крепости своего дома; распространяя библию по всей земле посредством торгашеских уловок, контрабанды и обмена, так сказать навязывая ее и предоставляя ее толкование индивидуальному разуму, они устанавливают великое царство духа, царство религиозного чувства, любви к ближнему, чистоты и истинной нравственности, которой возможно научить не догматическими, рассудочными формулами, но образом и примером, какие содер-



жаты в прекрасной священной педагогической книге для малых и больших детей — в Библии.

Удивительное зрелище разворачивается пред вдумчивым мыслителем при взгляде на страны, население которых уже со времен Реформации подвергалось воспитательному влиянию Библии, что и наложило на их нравы, образ мыслей и чувства отпечаток палестинского духа, выраженного как в Ветхом, так и в Новом заветах. На севере Европы и Америки, особенно в скандинавских и англосаксонских, вообще в германских и отчасти также в кельтских странах, палестинский отпечаток так силен, что чувствуешь себя как бы перенесенным в иудейскую среду. Разве, например, не иудеи эти протестанты-шотландцы, у которых имена сплошь библейские, *sant*<sup>1</sup> которых отдает совершенно иерусалимским фарисейством и религия которых есть иудейство, только жрущее свинину? То же и в некоторых областях Северной Германии и в Дании, не говоря уже о большинстве новых общин в Соединенных Штатах, где педантично копируют ветхозаветный быт. Последний словно воспроизведен здесь дагерротипом. Контуры рабски верны, но все изображено серым по серому, и нет солнечной красочности обетованной земли. Однако карикатура когда-нибудь исчезнет; подлинное, непреходящее и истинное, а именно нравственность древнего еврейства, расцветет в этих странах столь же благодатно, как некогда на берегах Иордана и на высотах ливанских. Не требуется ни пальм, ни верблюдов, чтобы быть добрым, и доброта лучше красоты.

Быть может, не только восприимчивостью упомянутых народов к культуре объясняется та легкость, с которой они усвоили нравы и воззрения еврейской жизни. Причины этого явления следует искать, быть может, также и в характере еврейского народа, всегда отличавшемся большим внутренним сродством с характером германской и отчасти также кельтской расы. Иудея всегда представлялась мне куском Запада, затерявшимся на Востоке. В самом деле, своей спиритуалистической верой, своими строгими, целомудренными, даже аскетическими нравами, словом своей отвлеченной глубиной эта страна и ее народ всегда самым удивительным образом противоречили соседним

---

<sup>1</sup> Ханжество (англ.).

странам и соседним народам, которые, исповедуя яркое и чувственное поклонение природе, проводили жизнь в вакхическом ликовании плоти. Израиль благочестиво сидел в тени своей смоковницы, вознося хваления незримому богу, являя добродетель и справедливость, в то время как в храмах Вавилона, Ниневии, Сидона и Тира свершались те оргии крови и распутства, при рассказе о которых еще и теперь у нас волосы встают дыбом! Когда вспоминаешь об этом окружении, не можешь надивиться раннему величию Израиля. О свободолюбии Израиля в эпоху, когда не только вокруг него, но у всех народов древности, даже у склонных к философии греков, оправдывалось и процветало рабство, не стану говорить, чтобы не скомпрометировать библию пред нынешними владыками. Право, самым радикальным среди социалистов был господь наш и спаситель, и уже Моисей был таким социалистом, хотя как человек практический он старался только преобразовать существующие порядки, особенно в отношении права собственности. Да, вместо того чтобы добиваться невозможного, вместо того чтобы сумасбродно декретировать отмену собственности, Моисей стремился лишь морализовать ее, он старался согласовать собственность с нравственностью, с истинно разумным правом, и этого он достиг установлением юбилейного года, в который всякая отчужденная наследственная собственность, — а она у народа земледельческого всегда есть собственность земельная, — переходит к первоначальному собственнику, независимо от того, каким образом она передана другому. Этот институт представляет собою разительную противоположность римскому закону давности, в силу которого фактический владелец имущества по истечении известного срока не может быть принужден к ее возвращению законному собственнику, если тот не в состоянии доказать, что в продолжение этого срока по установленной форме ходатайствовал о восстановлении своего права. Условие это открывало широкое поле всякому кляузничеству, тем более в таком государстве, где процветали деспотизм и юриспруденция и где к услугам неправомерного владельца имелись всевозможные средства устрашения, в особенности по отношению к бедняку, которому не под силу были расходы на суд. Римлянин был солдатом и адвокатом одновременно, и чужое добро, добытое силой меча, он умел

отстаивать посредством словесной изворотливости. Только народ разбойников и казуистов мог изобрести проскрипцию, закон давности и освятить его в мерзостнейшей книге, заслуживающей название «библии дьявола», — в кодексе римского гражданского права, господствующем, увы, и ныне.

Я говорил выше о сродстве между свреями и германцами, которых я некогда назвал «двумя народами нравственности», и в этой связи напомним как черту замечательную то этическое негодование, с каким древнее германское право клеймит давность; в устах нижнесаксонского крестьянина до сих пор живет трогательно прекрасное изречение: «Сто лет неправды не делают года правды». Моисеево законодательство установлением юбилейного года еще более решительно восстает против давности. Моисей не хотел уничтожить собственность; он, напротив, хотел, чтобы она была у всякого и чтобы таким образом бедность никого не вынуждала быть рабом с рабскими помышлениями. Свобода была всегда основной мыслью великого эмансипатора, и эта мысль горит и дышит во всех его законах, касающихся пауперизма. Самое рабство он ненавидел сверх всякой меры, ненавидел чуть ли не бешено, но и эту бесчеловечность он не мог уничтожить целиком, — она слишком глубоко коренилась в жизни той первобытной эпохи, и поэтому он вынужден был ограничиться законодательным смягчением участи рабов, облегчением выкупа и ограничением срока рабской службы. Если, однако, раб, освобожденный наконец законом, упорно не желал покинуть дом своего господина, то по повелению Моисея такого неисправимого раболепного негодяя прибивали за ухо к косяку господского дома и, опозоренного таким образом, держали в рабах пожизненно. О Моисей, Моше Рабену — учитель наш, величавый борец против рабства, подай мне молоток и гвозди, чтобы я мог наших благодушных рабов в черно-красно-золотой ливрее пригвоздить за их длинные уши к Бранденбургским воротам!

Расстаюсь с океаном общих религиозно-морально-исторических размышлений и скромно направляю вновь корабль моих мыслей в тихие внутренние воды, в которых автор с такой верностью отражает свой собственный образ.

Я упомянул выше о протестантских голосах с родины, в крайне нескромных вопросах выражавших предположение, что во мне при пробуждении моего религиозного чувства усилилась также приверженность к церкви. Не знаю, насколько мне удалось дать понять, что я не испытываю чрезмерного влечения ни к какой-либо догме, ни к какому-либо культу и что в этом отношении я остался таким же, каким был всегда. Делаю теперь это признание также для того, чтобы вывести некоторых друзей, с чрезвычайной ревностью преданных римско-католической церкви, из заблуждения относительно нынешних моих воззрений, в которое впали также и они. Удивительное дело! В то самое время, когда в Германии протестантизм оказал мне незаслуженную честь, предположив в душе моей евангелическое просветление, распространился также слух, будто я перешел в католичество; некоторые милые люди утверждали даже, что переход этот совершился уже много лет тому назад, и они подкрепляли свое утверждение самыми точными подробностями: они обозначали время и место, они указывали день и число, они называли ту церковь, в которой я клятвенно отрекся от протестантской ереси и принял единоспасающую римско-католическо-апостольскую веру; недоставало только указания, сколькими ударами колокола и звяканьями колокольчика почтил это торжество причетник.

До какой степени слух этот укоренился, я вижу из газет и писем, получаемых мной, и прихожу чуть ли не в горестное смущение, видя неподдельную любовь и радость, так трогательно выраженные в некоторых из этих обращений. Приезжие рассказывали мне, что спасение моей души послужило даже предметом церковного красноречия. Молодые католические священники готовы поручить свои первые проповеднические статьи моему покровительству. Во мне видят будущее светило церкви. Не могу смеяться над этим, ибо набожные бредни столь благожелательны, и в чем бы ни обличали католических фанатиков, одно несомненно: они не эгоисты, они пекутся о ближних, и, увы, подчас даже слишком сильно. Я приписываю эти ложные слухи не злой воле, но лишь ошибке; конечно, только случайность извратила здесь невиннейшие факты. Совершенно, например, правильно названы время и место; в указанный день я действительно был в указанной церкви,

некогда бывшей даже иезуитской церковью; это была церковь св. Сульпиция, и я подвергся там некоему религиозному акту. Но акт этот был не каким-либо злостным отречением, а весьма невинным соединением: дело в том, что, сочетавшись с моей супругой гражданским браком, я обвенчался с нею и в церкви, так как супруга моя, происходящая из коренной католической семьи, без такой церемонии не считала бы свое замужество достаточно богоугодным. А я ни за что не хотел внести какое-либо волнение или замешательство в прирожденные религиозные взгляды этого дорогого мне существа.

Да и вообще очень хорошо, когда женщины привержены какой-нибудь положительной религии. Не стану обсуждать вопрос, более ли верны своим мужьям жены евангелического вероисповедания. Во всяком случае, католичество жен весьма благотельно для мужей. Согрешив, женщины не слишком долго сокрушаются и, как только получают от священника отпущение, вновь весело распевают и не портят мужу ни хорошего настроения, ни супа унылыми размышлениями о грехе, искупить который они, — не будь он им отпущен, — старались бы до конца своих дней посредством злой чопорности и сварливой архидобротели. Еще и в другом отношении полезна здесь исповедь: грешница не так долго носится с гнетущей мыслью о своей ужасной тайне, и так как женщины должны в конце концов все выболтать, то лучше, чтобы они в некоторых вещах признавались своему духовнику, чем подвергались опасности внезапно в порыве нежности, или словоохотливости, или угрызений совести сделать роковое признание бедному супругу!

Неверие, во всяком случае, опасно в супружестве, и каким бы я сам ни был свободомыслящим, в моем доме никогда не разрешалось кощунственное слово. Я жил в Париже жизнью почтенного обывателя, и поэтому, когда я женился, я пожелал обвенчаться также и церковно, несмотря на то, что установленный законом гражданский брак в достаточной степени признан здесь обществом. Мои либеральные друзья негодовали на меня за это и осыпали меня упреками, будто я сделал слишком большую уступку поповству. Их воркотня по поводу моей слабости еще значительно возросла бы, если бы они знали, насколько большие уступки я сделал в ту пору

ненавистному им духовенству. В качестве протестанта, вступающего в брак с католичкой, я должен был для того, чтобы венчаться церковно у католического священника, получить от архиепископа особое разрешение, которое, однако, в таких случаях дается лишь при условии, что супруг письменно обязуется воспитывать рожденных им детей в религии их матери. Об этом составляется особая запись, и сколько бы протестантский мир ни вопил против такого насилия, католическое духовенство, сдается мне, совершенно право, ибо кто добивается его благословенных гарантий, тот должен подчиняться его требованиям. Я подчинился им совершенно *de bonne foi*<sup>1</sup> и, разумеется, честно исполнил бы свое обязательство. Но, между нами говоря, так как я отлично знал, что рождение детей — не моя специальность, то я с совершенно спокойной совестью мог подписать это обязательство, и когда я положил перо, в моей памяти звучали насмешливые слова прекрасной Нинон де Ланкло: «O, le beau billet qu'a Lachastre!»<sup>2</sup>

Как венец моих признаний открою, что для того, чтобы получить разрешение архиепископа, я тогда готов был предать католической церкви не только своих детей, но и самого себя. Но *ogre de Rome*,<sup>3</sup> подобно чудовищу в детских сказках требующий за свои услуги будущих детей, удовольствовался бедными малютками, которые, конечно, не родились, и, таким образом, я остался протестантом, каким был прежде, протестующим протестантом, и я протестую против слухов, которые, не будучи позорящими, все же могут быть использованы в ущерб моему доброму имени.

Да, я, который всегда беззаботно сносил бессмысленнейшую болтовню на свой счет, полагал, что я обязан сделать указанную поправку, чтобы не подать партии благородного Атта Тролля, все еще продолжающей свою возню в Германии, повода оплакать в своей неуклюжей и вероломной манере мою неустойчивость и при этом вновь указывать на свою собственную непоколебимость, обшитую толстейшей медвежьей шкурой. Таким образом,

---

<sup>1</sup> Искренне (*франц.*).

<sup>2</sup> «О, какую отличную записку получил Лашатр!» (*франц.*).

<sup>3</sup> Римский людоед (*франц.*).

не против бедного ogre de Rome, не против римской церкви направлено это опровержение. Давным-давно отказался я от всяких нападений на нее, и давно покоится в ножнах меч, некогда обнаженный мною во имя идеи, а не во имя личной страсти. Да, в этой борьбе я был, так сказать, officier de fortune,<sup>1</sup> который храбро дерется, но после битвы или перестрелки не сохраняет в сердце ни капли злобы ни против враждебного дела, ни против его приверженцев. О фанатической враждебности моей к римской церкви не может быть и речи, так как мне всегда не хватало ограниченности, необходимой для такого озлобления. Мне слишком хорошо известен мой собственный масштаб, чтобы понимать, как мало вреда могли бы причинять самые яростные мои наскоки такому колоссу, как церковь св. Петра; лишь скромным чернорабочим мог бы я быть при медленной разборке ее плит, а это дело, конечно, займет еще много столетий. Я слишком хорошо разбираюсь в истории, чтобы не сознавать грандиозности этого гранитного здания; называйте его сколько угодно Бастилией духа, уверяйте сколько угодно, что его защищают теперь только инвалиды, — бесспорным, однако, остается, что и эту Бастилию не так-то легко было бы взять и что еще не один молодой воин сломит себе шею под ее стенами. Как мыслитель, как метафизик, я всегда принужден был отдавать дань восхищения последовательности римско-католической догматики; могу также похвалиться, что я никогда не нападал остротами или насмешкой ни на догматы, ни на культ, и мне оказывают одновременно слишком много чести и слишком много бесчестия, называя меня духовным родичем Вольтера. Я всегда был поэтом, и потому мне гораздо глубже, чем другим людям, раскрывается поэзия, цветущая и пламенеющая в символике католической догмы и культа. Нередко в годы моей юности бесконечная сладость этой поэзии, ее блаженная и таинственная патетика, ее жуткое упоение смертью оказывали и на меня непреодолимое влияние. И я мечтал иногда о благодатной царице небесной; легенды о кротости ее и милосердии и я перелагал изящными стихами; в первом собрании моих стихотворений можно найти следы этого прекрасного периода поклонения мадонне — следы, в более

---

<sup>1</sup> Офицером из рядовых (*франц.*).

поздних собраниях уничтоженные мною с поистине смешной тщательностью.

Минуло время тщеславия, и я разрешаю всякому смеяться над этими признаниями.

Вероятно, мне незачем прибавлять, что точно так же, как не было во мне слепой ненависти к римской церкви, не могла гнездиться в душе моей и мелочная злоба против ее пастырей; кому известно мое сатирическое дарование и моя потребность в пародийном озорстве, тот, несомненно, удостоверит, что я всегда щадил человеческие слабости духовенства, хотя за последние годы святошествующие, но притом очень ядовитые крысы, снующие по баварским и австрийским ризницам, это гнусное поповское отребье, не раз вынуждали меня к самообороне. Но и в самом гневном отвращении я все же сохранял почтение к истинному священству, потому что, обращаясь воспоминанием к прошлому, не мог забыть о былых его заслугах предо мной. Ибо именно католическим священникам был обязан я в детстве начальным образованием, — они направляли первые шаги моей мысли. Также и на следующей ступени, в дюссельдорфской школе, которая при французской власти называлась лицеем, учителя почти сплошь были католические священники, и все они серьезно и благожелательно заботились о моем духовном развитии; со времен прусского вторжения, когда и это училище получило прусско-греческое название гимназии, священники были постепенно заменены светскими учителями. А заодно были устранины и их учебники — краткие, по-латыни составленные руководства и хрестоматии, ведшие свое начало еще от иезуитских школ; и они также были заменены новыми грамматиками и компендиями, написанными на чахоточном, педантическом берлинском немецком языке, на абстрактном научном жаргоне, менее доступном юным умам, чем удобопонятная, естественная и здоровая латынь иезуитов. Как ни судить об иезуитах, нельзя не признаться, что они всегда сохраняли практический здравый смысл в учебном деле, и, хотя при их методе знание древности сообщалось в весьма искаженном виде, они все же очень широко распространили, так сказать демократизировали, это знакомство с древностью; оно переходило в массы, тогда как при нынешней системе отдельный ученый, духовный аристократ, научается лучше понимать древность и древних,



но в голове у широкой народной массы лишь изредка застревают какие-нибудь классические крохи, какой-нибудь отрывок из Геродота, или Эзопова басня, или стих Горация. В былые времена, напротив, бедные люди могли еще долго впоследствии сосать старую школьную корку своей юности. «Крупица латыни, а как это красит человека!» — говорил мне когда-то один старик сапожник, сохранивший в памяти несколько красивых цитероновских периодов из речей против Катилины. Он помнил их еще с того времени, когда в черной накидочке ходил в иезуитскую коллегию; эти отрывки он часто забавно и весьма кстати цитировал, используя их против нынешних демагогов. Педагогика была специальностью иезуитов, и хотя они хотели заниматься ею в интересах своего ордена, однако не раз страсть к самой педагогике, единственная человеческая страсть, сохранившаяся в них, все же брала верх; они забывали свою цель — подавление разума в пользу веры, и вместо того чтобы, согласно своему намерению, делать людей снова детьми, они, наоборот, вопреки собственной воле, своим обучением делали детей людьми. Величайшие люди революции вышли из иезуитских школ, и, не будь школьной плетки последних, великое умственное движение пришло бы, может быть, лишь столетием позже.

Бедные отцы Иисусова ордена! Вы сделали пугалом и козлом отпущения для либеральной партии; однако при этом поняты были не ваши заслуги, а только опасность, которую вы несли с собой. Что касается меня, то я никогда не мог присоединиться к отчаянным крикам моих единомышленников, всегда приходивших при имени Лойолы в неистовство, подобно быкам, которых дразнят красной тряпкой. И затем, неуклонно оставаясь на страже интересов моей партии, я не мог иногда, рассуждая, в глубине души не сознаться себе, как часто от мельчайших случайностей зависело то, что мы попали в ряды той, а не другой партии и не оказываемся теперь в совершенно противоположном лагере. В этой связи мне часто вспоминается один разговор с моей престарелой матерью, лет восемь тому назад, когда я навестил в Гамбурге старушку, которой уже тогда было восемьдесят лет. Удивительные слова вырвались у нее, когда мы говорили о школах, где я учился мальчиком, и о моих католических учителях, среди которых, как я узнал теперь, было немало бывших членов

иезуитского ордена. Мы много говорили о нашем милом старом Шальмайере, руководившем при французах в должности ректора дюссельдорфским лицеем. Он читал в старшем классе лекции по философии, в которых он без стеснения разбирал самые вольнодумные греческие системы, сколь резко ни отличались они от ортодоксального догмата, в качестве служителя которого он в духовном облачении иногда выступал пред алтарем. Конечно, знаменательно и, быть может, будет мне некогда зачтено судом присяжных в Иосафатовой долине как *circonstance atténuante*<sup>1</sup> то, что мне, тогда еще мальчику, разрешалось присутствовать на этих лекциях. Эта опасная льгота была дана мне главным образом потому, что ректор Шальмайер в качестве друга нашей семьи особенно интересовался мною. Один из моих дядюшек, учившийся с ним вместе в Боннском университете, был там его школьным Пиладом, а дед мой однажды спас ему жизнь от смертельной болезни. Поэтому старик очень часто беседовал с матушкой о моем воспитании и будущей карьере, и вот в такой беседе, как рассказала мне впоследствии в Гамбурге мать, он посоветовал ей посвятить меня служению церкви и отправить в Рим для изучения католического богословия в одной из тамошних семинарий; благодаря влиятельным друзьям среди римских прелатов высшего разряда ректор Шальмайер, так уверял он, имел возможность продвинуть меня на значительный церковный пост. Рассказав мне это, моя мать выразила сожаление, что не последовала совету умного старика, рано прозревшего мою натуру и тогда уже правильно понявшего, какой духовный и физический климат был бы самым живительным для нее. Старушка очень сожалела теперь, что отклонила столь разумное предложение; но в те времена она мечтала об очень высоких светских званиях для меня; к тому же, она была ученицей Руссо, строгой деисткой, и, кроме того, ей не хотелось напялить на своего старшего сына ту самую сутану, которую немецкие священники носили на ее глазах так неловко и неуклюже. Она не знала, как совсем иначе, с каким изящным шиком носит ту же сутану какой-нибудь римский аббат, как кокетливо он набрасывает на плечи свою черную шелковую накидочку, которая есть

---

<sup>1</sup> Смягчающее обстоятельство (*франц.*).

церковный мундир галантности и остроумия в вечно прекрасном Риме.

О, какой счастливый смертный такой римский аббат, служащий не только церкви Христовой, но и Аполлону и музам! Он сам их любимец, и три божественные грации держат пред ним черпильницу, когда он сочиняет свои сонеты, которые, изысканно скандируя, декламирует в Академии аркадийцев. Он знаток искусства, и ему достаточно только пощупать шею молодой певицы, чтобы предсказать, будет ли она когда-нибудь *celeberrima cantatrice*,<sup>1</sup> дивой, мировой примадонной. Он знает толк в древностях и по поводу извлеченного из земли торса греческой вакханки пишет на изящнейшей пиццеровской латыни рассуждения, которые благоговейно посвящает главе христианства, *pontifex maximus*,<sup>2</sup> как он его называет. И какой знаток живописи этот *signor abbate*,<sup>3</sup> посещающий художников в их мастерских и сообщаящий им самые утонченные анатомические наблюдения об их натурщицах! Пишущий эти строки имел большие задатки к тому, чтобы сделаться таким *abbate* и в сладостнейшем *dolce far niente* слоняться по библиотекам, галереям, церквам и руинам вечного города, изучая с наслаждением и наслаждаясь изучением; и я служил бы обедню пред самой изысканной паствой и на страстной неделе выступал бы на церковной кафедре строгим проповедником нравственности, но и здесь, разумеется, никогда не доходя до аскетической грубости; я наставлял бы в благочестии главным образом римских дам, и, быть может, благодаря такому покровительству и заслугам я достиг бы высших почестей в церковной иерархии; я сделался бы *monsignore*,<sup>4</sup> фиолетовым чулком; даже красная шапка могла бы упасть мне на голову, и, как говорится в пословице,

Такого попа мир не видал,  
Который бы папой стать не мечтал.

В конце концов, чего доброго, и я добрался бы даже до одного высочайшего почетного сана, ибо хотя я от природы не честолюбив, но все же я не отказался бы стать папой,

<sup>1</sup> Знаменитой певицей (*итал.*).

<sup>2</sup> Верховному жрецу (*лат.*).

<sup>3</sup> Господин аббат (*итал.*).

<sup>4</sup> Его преподобием (*итал.*).

если бы на меня пал выбор конклава. Это, во всяком случае, весьма приличная и притом связанная с хорошими доходами должность, которую я, наверное, мог бы исправлять с достаточным искусством. Я спокойно уселся бы в Петрово кресло, протягивая для поцелуя ногу всем пабожным христианам, как духовенству, так и мирянам. С подобающим душевным спокойствием я также дал бы во славе носить себя по колоннадам большой базилики и лишь в случае очень большой неустойчивости чуточку цеплялся бы за ручки золотого кресла, несомого на плечах шестью рослыми ярко-красными камеръерами, между тем как рядом шествуют плешивые капуцины с горящими свечами и ливрейные лакеи, которые вздымают безмерно огромные опахала из павлиньих перьев, обвевая ими голову владыки церкви, как это премо изображено на картине Ораса Верне. С такой же нерушимой жреческой серьезностью, — ибо ведь я могу, когда это совершенно необходимо, быть очень серьезным, — я ниспосылал бы с высоты Латерана всему христианскому миру мое ежегодное благословение; *in pontificalibus*,<sup>1</sup> с тройной короной на голове, окруженное генеральным штабом красных шляп и епископских шапок, парчовых облачений и ряс всевозможных цветов, предстало бы на высоком балконе мое святейшество народу, который, склонив голову и преклонив колена, не-обозримой толпой расположился бы глубоко внизу, и я спокойно простер бы руки и благословил бы город и весь мир.

Но, как тебе известно, благосклонный читатель, я не сделался ни папой, ни кардиналом, ни даже римским нунцием и не добыл ни должностей, ни сана как в светской, так и в духовной иерархии. Я, что называется, ничего на этой прекрасной земле не достиг. Ничего из меня не вышло, ничего, — только поэт.

Нет, поддавшись лицемерному смирению, не стану при-внжать это имя. Ты нечто большее, раз ты поэт, да еще крупный лирический поэт в Германии, у народа, превзошедшего все прочие нации в двух вещах: в философии и в поэзии. Я не стану с ложной скромностью, изобретенной ничтожествами, отрекаться от моей поэтической славы. Ни одному из моих соотечественников не достались лавры

---

<sup>1</sup> В папском облачении (лат.).

в столь раннем возрасте, и, если мой коллега Вольфганг Гете самодовольно поет о том, что

...рисует китаец  
Вертера с Лоттой вдвоем робкой рукой на стекле,

то, раз уж дело дошло до хвастовства, я могу противопоставить китайской славе еще гораздо более невиданную, а именно, японскую. Когда лет двенадцать тому назад я был здесь, в «Hôtel des Princes», у моего друга Г. Вермана из Риги, он представил мне одного голландца, только что, после тридцатилетнего пребывания в Нагасаки, приехавшего из Японии и горячо желавшего познакомиться со мной. Это был доктор Бюргер, издающий теперь в Лейдене вместе с ученым Зибольдом обширный труд о Японии. Голландец рассказал мне, что он давал уроки немецкого языка одному молодому японцу, который впоследствии напечатал мои стихотворения в японском переводе, и что это первая европейская книга, появившаяся на японском языке, — впрочем, я мог бы найти обстоятельную статью об этом любопытном переводе в калькуттской английской газете «Review». <sup>1</sup> Я не замедлил запросить разные cabinets de lecture, <sup>2</sup> но ни одна из ученых заведующих не могла достать мне этой калькуттской «Review», и тщетно обращался я также к Жюльену и Потье.

С тех пор я не производил дальнейших разысканий насчет моей японской славы. В настоящую минуту она занимает меня не больше, скажем, моей финляндской славы. Ах, слава, эта столь сладостная мишура, сладкая как ананасы и лесья, вообще давно уже не доставляет мне радости; теперь она мне кажется горькой, как полынь. Могу сказать, как Ромео: «Я шут счастья». Я стою теперь перед большой миской каши, но у меня нет ложки. Что мне в том, что на торжественных банкетах пьют за мое здоровье лучшие вина из золотых бокалов, между тем как в это время я сам, отрезанный от всякого людского веселья, смею увлажнять губы только в пресном отваре! Что мне в том, что восторженные юноши и девушки венчают мое мраморное изображение лаврами, если в это самое время увядшие руки старой сиделки прилепляют шпанскую мушку

---

<sup>1</sup> «Обозрение» (англ.).

<sup>2</sup> Читальни (франц.).

к моему живому затылку! Что мне в том, что все розы Ши-  
раза так нежно горят и благоухают для меня, — ах,  
две тысячи миль отделяют Шираз от rue d'Amsterdam,  
где в тоскливом одиночестве моей комнаты я не обоняю  
ничего, кроме разве аромата подогретых полотенец! Ах,  
тяжело гнетет меня насмешка господа бога! Великий  
автор вселенной, этот Аристофан неба, захотел достаточно  
ярко показать маленькому земному, так называемому не-  
мецкому Аристофану, что остроумнейшие сарказмы послед-  
него были лишь жалким школярством в сравнении с его  
насмешкой, показать, как позорно далеко мне до его юмора,  
до его исполинской буффонады.

Да, чудовищно едка щелочь презрения, изливаемая  
на меня творцом, и ужасающе жестока его шутка. В сми-  
рении признаю я его превосходство и склоняюсь пред ним  
во прахе. Но если и нет у меня такой высшей творческой  
силы, то все же сверкает в моей мысли молния вечного  
разума, к суду которого смею призвать даже божью шутку,  
чтобы подвергнуть ее почтительной критике. И тут я осме-  
ливаюсь сделать всеподданнейшее замечание, что, как  
я смею думать, немножко чересчур затягивается жесто-  
кая шутка, ниспосланная учителем на злосчастного уче-  
лика. Она длится уже более шести лет, что прямо-таки  
становится скучно. Затем я позволил бы себе также и  
другое скромное замечание — что шутка эта не нова,  
что великий Аристофан неба уже пускал ее в ход в другом  
случае и что он таким образом совершает плагиат у самого  
себя. В подтверждение этого указания приведу одно место  
из «Лимбургской хроники». Хроника эта очень интересна  
всякому, кто желал бы ознакомиться с нравами и обычаями  
немецкого средневековья. Подобно модному журналу,  
она описывает одежды как мужские, так и женские, при-  
ятные в каждом периоде. Она дает также сведения о пес-  
нях, которые насвистывались и распевались в каждом  
году, причем не раз приводятся начальные строки излюб-  
ленной песни того или иного времени. Так, о 1480 годе  
мы узнаем, что в этом году во всей Германии насвисты-  
вались и распевались песни, более сладостные и восхи-  
тительные, чем все напевы, дотоле известные в землях  
немецких; и стар и млад, особенно женщины, совсем оду-  
рели от них, так что распевали их с утра до вечера; сочи-  
нил же эти песни, прибавляет хроника, молодой клирик,

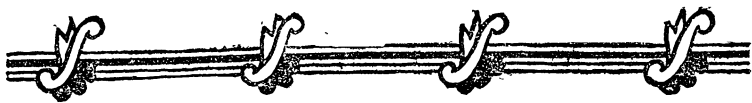
который страдал проказой и, скрываясь от света, жил в пустыне. Ты, конечно, знаешь, любезный читатель, каким ужасающим недугом была в средние века проказа и как несчастные, пораженные этой неизлечимой болезнью, изгонялись из всякого гражданского общества и не смели приблизиться ни к одному человеческому существу. Живыми трупами скитались они, укутанные с головы до ног, в накинутаю на лицо капюшоне, с трещоткой — так называемой трещоткой св. Лазаря — в руке, предупреждая стуком о своем приближении, дабы всякий мог вовремя уйти с их пути. Бедный клирик, о славе которого как сочинителя песен рассказывала упомянутая «Лимбургская хроника», был таким прокаженным, и вот он скорбно сидел в пустыне своего страдания, в то время как вся Германия, торжествуя и ликуя, распевала и насвистывала его песни! О, эта слава была хорошо известное нам издевательство, свирепая шутка бога, который и здесь остается все тем же, хотя на этот раз он является в романтическом наряде средневековья. Правильно сказал пресыщенный царь иудейский: «Ничего нет нового под солнцем». Быть может, само солнце — это есть лишь старая, подогретая шутка, которая, заштопанная теперь новыми лучами, сверкает столь величаво.

Иногда среди моих мрачных ночных видений как будто мелькает предо мной бедный клирик «Лимбургской хроники», мой брат во Аполлоне, и его страдальческию глаза со странной неподвижностью устремляются на меня из-под капюшона; но в тот же миг он исчезает, и, замирая, отголоском сновидения доносится до меня резкое дребезжание трещотки св. Лазаря.

**МЫСЛИ, ЗАМЕТКИ,  
ИМПРОВИЗАЦИИ**







## І. ЛИЧНОЕ

Над моей колыбелью играли последние лунные лучи восемнадцатого и первая утренняя заря девятнадцатого столетия.

\*

Мать рассказывает, что во время беременности она увидела в чужом саду на дереве яблоко, но не захотела сорвать его, чтобы ее дитя не стало вором. В течение всей своей жизни сохранял я тайную страсть к красивым яблокам, связанную, однако, с уважением к чужой собственности и с отвращением к воровству.

\*

Я человек самого мирного склада. Вот чего я хотел бы: скромная хижина, соломенная кровля, но хорошая постель, хорошая пища, очень свежее молоко и масло, перед окном цветы, перед дверью несколько прекрасных деревьев, и, если господь захочет вполне осчастливить меня, он пошлет мне радость — на этих деревьях будут повешены этак шесть или семь моих врагов. Сердечно растроганный, я прощу им перед их смертью все обиды, которые они мне нанесли при жизни. Да, надо прощать врагам своим, но только после того, как их повесят.

\*

Я не мстителен — я очень хотел бы любить своих врагов; но я не могу их полюбить, пока не отомщу, —

только тогда открывается для них мое сердце. Пока человек не отомстил, в сердце его все еще сохраняется горечь.

\*

В том, что я стал христианином, повинны те саксонцы, которые под Лейпцигом внезапно перебежали к противнику, или Наполеон, которому вовсе ведь незачем было ходить в Россию, или его учитель, который преподавал ему в Бриенне географию и не сказал, что в Москве зимою очень холодно.

\*

Если бы Монталамбер стал министром и ему захотелось бы выгнать меня из Парижа, я бы принял католичество. «Paris vaut bien une messe». <sup>1</sup>

\*

Я отказался натурализоваться из боязни, что стану тогда, чего доброго, меньше любить Францию, как становишься холоднее к любовнице, законно сочетавшись с нею в мэрии. Я буду и дальше жить с Францией в незаконном браке.

\*

Мой дух чувствует себя во Франции изгнанником, сосланным в чужой язык.

\*

Бог простит мне глупости, которые я наговорил про него, как я моим противникам прощаю глупости, которые они писали против меня, хотя духовно они стояли настолько же ниже меня, насколько я стою ниже тебя, о господи!

## II. РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Земля — это та большая скала, к которой приковано человечество, этот подлинный Прометей, терзаемый коршуном сомнения. Оно укратило свет и ныне терпит муки за это.

\*

---

<sup>1</sup> См. сноску на стр. 123.

Искусство и философия, образ и понятие были разоб-  
щены впервые греками. Слияние их в религии предшест-  
вовало им обоим.

\*

Мысль о личном бытии бога как духа так же абсурдна,  
как грубый антропоморфизм: ибо духовные атрибуты  
не имеют никакого значения и смешны без телесных.

\*

Бог лучших спиритуалистов — это своего рода без-  
воздушное пространство в царстве мысли, озаренное лю-  
бовью, которая есть опять-таки отблеск чувственности.

\*

Ангел, рисующий карикатуры, — таков образ пап-  
теиста, который носит своего бога в груди.

\*

*Необходимость деизма.* Господь бог и Луи-Филипп —  
оба необходимы: господь — это Луи-Филипп неба.

\*

Мысль — это невидимая природа, природа — это ви-  
димая мысль.

\*

В древности не существовало веры в призраки. Труп  
сжигали, человек уносился ввысь в виде дыма, он раство-  
рялся в самой чистой, самой духовной стихии, в огне.  
Христиане (в насмешку ли или в знак презрения?) возвра-  
щают тело земле, — оно подобно зерну и прорастает снова  
в качестве призрака (ссеется физическое тело, прорастает  
духовное), сохраняя ужас тления.

\*

Бог не открыл нам ничего, что бы указывало на про-  
должение существования после смерти; и Моисей тоже  
не говорит об этом. Быть может, бога вовсе не устраивает,  
что благочестивые так твердо верят в продолжение  
существования. В своей отеческой благодати он, быть мо-  
жет, не прочь сделать нам сюрприз.

\*

Ни у одного народа вера в бессмертие не была так сильна, как у кельтов; у них можно было занимать деньги, с тем что возвратишь их в ином мире. Богобоязненным христианским ростовщикам следовало бы взять с них пример.

\*

Земные блага давало и сулило язычество, и поэтому счастливые, которых осуществление их желаний и удача в делах убеждали, что властвуют боги милосердные и к ним благосклонные, оказывались более набожными, чем несчастные. Ср. А р и с т о т е л ь, Риторика, кн. II, гл. 17, стр. 240, том IV (изд. Бипон).

\*

Отчаянным состоянием человечества во времена цезарей объясняется успех христианства. Самоубийство гордых римлян, уход из мира сразу, стало столь частым в это время. У кого не доставало мужества разом распротиться с миром, тот избирал медленное самоубийство религии отречения (страсти Христовы тоже ведь были своего рода самоубийством). Рабы и несчастный народ были первыми христианами. Благодаря своей многочисленности и новому фанатизму они стали силой, что и понял Константин, и воля Рима к мировому господству вскоре подчинила себе эту силу и дисциплинировала ее с помощью догмы и культа.

\*

Во время полемики между христианами и языческими философами противники в пылу сражения нередко обменивались оружием: здесь видим мы шлем христианского провидения на голове грека, там — меч греческих богов в руке христианина. Возникают ереси. Герои веры впадают в заблуждение и сомнение.

\*

Апологетам христианства пришлось в борьбе с язычеством тем скорее осмелиться выйти на поле философов, что философия в то время (от Марка Аврелия до Юлиана) восседала на троне, — полемика способствует выработке догмата.

\*

Разница между язычеством (индийцев, персов) и иудаизмом: всем им свойственна мысль о бесконечном, вечном, исконном существе, но у первых оно пребывает в мире, которому оно идентично и вместе с которым развивается согласно закону необходимости, бог же иудеев пребывает вне мира и творит его актом свободной воли.

\*

Еврейство — аристократия: единый бог сотворил мир и правит им; все люди — его дети, но евреи — его любимцы, и их страна — его избранный удел. Он — монарх, евреи — его дворянство, и Палестина — экзархат божий.

\*

Христианство — демократия: единый бог, который все сотворил и всем управляет, но который всех людей любит равно и все страны равно охраняет. Это уже не национальный, а всемирный бог.

\*

Христианство возникает как утешение: те, кто в сей жизни наслаждался обильным счастьем, в будущей поплатятся за него несварением желудка; тех же, кто слишком мало ел, ждет впоследствии превосходнейший пиршественный стол; и ангелы будут поглаживать сияйки от земных побоев.

\*

Те, кто здесь, на земле, пил чашу радости, расплатятся там, наверху, похмельем.

\*

В христианстве человек приходит к духовному самосознанию через страдание, — болезнь одухотворяет даже животных.

\*

Христианство ухитрилось омрачить даже голубой воздух Прованса и наполнило его своим колокольным трезвоном.

\*

Шестьсот лет строили его, и вот ты вкушаешь сразу покой после шестисотлетней работы. Подобно морским волнам пронеслись мимо него поколения, и еще ни один камень не дрогнул. Этот мавзолей католичества, который оно еще при жизни построило себе, камнем облекает угасшее чувство (проничны вверху часы). Внутри этого каменного здания цвело некогда живое слово; теперь здание мертво внутри и живет лишь своей наружной каменной корой (дуплистое дерево).

\*

В ЦЕРКВИ

Унылые звуки органа, последние вздохи умирающего христианства.

\*

ПОЧИТАНИЕ РИМА

Сколь многие начинали с намерения опорочить церковь, восстать против нее — и внезапно изменяли свои взгляды, и падали на колени, и поклонялись. Со многими случилось то же, что с Валаамом, сыном Боеровым, который пустился в путь, чтобы проклясть Израиль, и вопреки своим намерениям благословил его. Отчего? Ведь услышал он всего-навсего ослиный глас.

\*

Глупцы полагают, будто для того, чтобы завладеть Капитолием, необходимо сначала напасть на гусей.

\*

Католические писатели обладают хорошим оружием, но не умеют им пользоваться. У них, как у китайцев, есть хорошие пушки и даже порох и ядра, но стрелять — это совсем другое дело. Они дети с большими саблями, которых они не в силах поднять, в шлемах, которые дают им на темя. А с пушками им и подавно не справиться.

\*

Католическая церковь не доверяет нынешним своим сендам — она боится, как бы какой-нибудь из этих рев-

нителей не впился в безумном усердии ей в ногу, вместо того чтоб приложиться к туфле.

\*

Римская церковь умирает от болезни, от которой не излечился никто: она истощена могуществом времени. В присутствии ей мудрости она отказывается от всяких врачей, — за свою долгую практику она перевидала немало старцев, испустивших дух раньше, чем полагалось, оттого, что за лечение их принимался энергичный врач. Однако ее агония затянется надолго. Она переживет нас всех: автора этой статьи, типографщика, набирающего ее, и даже того маленького ученика, который уносит отпечатанные листы.

\*

Евреи были единственными, кто отстаивал свободу своей религии в то время, когда Европа становилась христианскою.

\*

Иудея, этот протестантский Египет.

\*

Германцы избрали христианство в силу духовного родства с иудейским моральным принципом, вообще с иудаизмом. Евреи были немцами Востока, и теперь протестанты в германских странах (в Шотландии, Америке, Германии, Голландии) представляют собой не что иное, как древневосточных евреев.

\*

Ненависть к евреям начинается лишь с романтической школы, с ее любованием средними веками, католицизмом и дворянством, и все это усугубляется тевтономанами (Рюс).

\*

История еврейства прекрасна, однако современные евреи вредят древним, которых можно было бы поставить гораздо выше греков и римлян. Мне думается, если бы евреев не стало и если бы кто-нибудь узнал, что где-то



находится экземпляр представителей этого народа, он бы пропутешествовал хоть сотню часов, чтобы увидеть его и пожать ему руку, — а теперь нас избегают!

\*

История современных евреев трагична, но вздумай кто-нибудь написать об этой трагедии, его еще осмеют. Это трагичнее всего.

\*

Характерно для гамбургского еврейского погрома (в сентябре 1830 года), что эти революционеры сначала закончили свои текущие дела, а затем устроили свою вечернюю революцию.

Во время этих беспорядков я был у ван Акена; лев был спокойнее всех и величаво негодовал, обезьяны ликовали, змеи извивались, гиена проявляла беспокойную жадность, белый медведь удобно растянулся в ожидании, хамелсон ежеминутно менял свою окраску (красная, синяя, белая, наконец даже трехцветная), у зверей был человеческий, разумный вид, в противоположность людям, которые неистовствовали по-зверски дико.

Один еврей сказал другому: «Я был слишком слаб». Эти слова рекомендуются в качестве эпиграфа к истории сврейства.

Некая Фрина, стоявшая у Даммтор в Гамбурге, сказала: «Если сегодня оскорбляют евреев, то скоро доберутся до сената, а там и до нас». Кассандра с Дрейбан, как скоро исполнились твои слова!

\*

Будьте до конца терпимы или, наоборот, вовсе нетерпимы, ступайте путем добра или путем зла; но стоять в нерешительности у перекрестка — для этого вы слишком слабы, это было не по плечу и Геркулесу. Даже ему пришлось спешно избрать свой путь.

\*

Свидетельство о крещении служит входным билетом к европейской культуре.

\*

Никогда не говорить об отношении к евреям! Испанец, который каждую ночь во сне беседует с божьей матерью, из деликатности ни за что не коснется ее отношений к богу-отцу: самое беспорочное зачатие все-таки остается зачатием.

\*

В моей любви к ним (к евреям) есть что-то личное.

\*

Б. Если бы я принадлежал к тому племени, из которого вышел наш спаситель, я бы скорее этим гордился, чем стыдился.

А. Ах, и я также, если бы наш спаситель был единственным, кто произошел от этого племени. Но ведь от этого племени произошло еще столько всяких проходимцев, что признаваться в этом родстве — весьма сомнительное дело.

\*

Евреи лучше христиан, если они хороши; если же плохи, то хуже.

\*

За фарфор, который саксонских евреев когда-то силой заставляли покупать, те из них, кто его сохранил, получают теперь стократную стоимость. В конце концов Израиль будет вознагражден за свои жертвы признанием во всем мире, славою и величием.

\*

Евреи, этот народ-призрак, неотступно стерегли библию, свой клад! Напрасны были все их старания отпугнуть заклинаниями дьявола, — немцы завладели кладом.

\*

Окончена ли миссия евреев? Я полагаю, она будет окончена, когда придет земной спаситель — индустрия, труд, радость. Земной спаситель прибудет по железной дороге, Михель проложит ему путь, который будет усыпан розами.

\*

Сколько много совершил уже господь, чтобы излечить мир от зла! В Моисеевы времена он творил чудо за чудом, ноже он допустил, чтобы его самого бичевали и распяли во образе Христа, наконец в образе Анфантена он ради спасения мира сделал самое невероятное: он выставил себя в смешном виде, — но тщетно! В конце концов им, быть может, овладет безумие отчаяния и он разобьет свою голову об мироздание, и тогда и он и мироздание — оба обратятся в прах.

\*

Язычеству приходит конец, как только философы реабилитируют богов, возведя их к мифам. Христианство уже достигло этой точки. Штраус — это Порфирий нашего времени.

\*

В Германии именно богословы приканчивают господя бога, — *on n'est jamais trahi que par les siens.*<sup>1</sup>

\*

В Германии христианство разрушается одновременно и в теории и в действительности, — развитие индустрии и благосостояния.

\*

Философы в своей борьбе против религии разрушили язычество, но тогда возникла новая религия — христианство. С последнею тоже будет скоро покончено, но тогда, верно, явится еще новая, и философам будет задана новая работа, и опять-таки она окажется бесплодной: мир — огромный скотный двор, очистить который вовсе не так легко, как конюшни Авгия, ибо, пока его метут, быки остаются в цем и наваливают новые кучи навоза.

\*

В темные времена народами лучше всего руководили с помощью религии, — ведь в полной темноте слепой является лучшим проводником: он различает дорогу и тропы лучше зрячего. Однако поистине глупо, когда уже

---

<sup>1</sup> Предают всегда только свои (*франц.*).

наступил день, все еще пользоваться в качестве проводников старыми слепцами.

\*

Подобно тому как люди науки в средневековый период христианства пытались извлекать научные истины из Библии, так теперь служители религии пытаются извлечь богословские истины из науки, из истории, из философии, из физики: триединство — из индийской мифологии, учение о воплощении — из логики, всемирный потоп — из геологии и т. п.

\*

В прежних религиях дух времени возвещался отдельными людьми и подтверждался чудесами. В современных религиях дух времени возвещается многими и подтверждается разумом. Чудес нынче больше не бывает, с тех пор как развилась физика: Океан зорко следит за манипуляциями господина бога, и последнему вовсе не хочется состязаться с Боско.

\*

Всякая религия по-своему утешает в несчастье. У евреев надежда: «Мы в изгнании, Иегова гневается на нас, но он же пришлет спасителя». У магомстан — фатализм: «Никому не уйти от своей судьбы, все расписано там, наверху, на каменных скрижалях, снесем же покорно предписанное роком. Алла иль алла!» У христиан — спиритуалистическое презрение к тому, что приятно, что дарует радость, болезненное стремление к небу: на земле — искушения дьявола, там, наверху, — награда. Что же предложит новая религия?

\*

Совершенство мира всегда адекватно совершенству того духа, который созерцает его. Добрый находит на земле рай для себя, злой уже здесь вкушает свой ад.

\*

Наши моральные понятия вовсе не висят в воздухе: облагорожение человека, право и бессмертие реальны

в природе. То, что мы называем священным, имеет реальность, не есть пустая мечта.

\*

Святые, подобные Столпнику, в наше время невозможны, ибо филантропия тотчас же упрятала бы их в сумасшедший дом.

\*

Существуют ли в истории день и ночь, как в природе? С третьим веком христианства начинаются сумерки, тоскливая вечерняя заря неоплатоников; средневековье было непроглядной ночью; сейчас восходит утреннее светило. Я приветствую тебя, Феб-Аполлон! Что за страшные сны снились той ночью, какие призраки, какие ночные бродяги, уличные беспорядки, как убивали друг друга, — я расскажу обо всем этом.

\*

Мне ясно видны чудеса прошлого. Покров лежит на будущем, но он отливает розовым, и сквозь него мерцают золотые колонны, роскошные драгоценности и слышатся сладостные звуки.

### III. ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА

Книге необходимы сроки, как ребенку. Все наскоро, в несколько недель написанные книги возбуждают во мне известное предубеждение против автора. Порядочная женщина не производит ребенка на свет до истечения девятого месяца.

\*

Предаваясь творчеству, поэт чувствует себя, как будто он, согласно учению пифагорейцев о скитаниях души, в предшествующем существовании прошел через самые различные воплощения; его интуиция подобна воспоминанию.

\*

В древности не могло быть философии истории. Лишь современность обладает материалами для нее: Гердер, Боссюэ и др. Думается мне, философам придется ждать еще тысячу лет, прежде чем им удастся построить целостное понимание истории; до тех пор, полагаю, придется довольствоваться только следующим. Основой я считаю человеческую природу и внешние условия (почва, климат, переданное предками законодательство, война, непредусмотренные и неучтенные потребности); то и другое в их столкновении или согласии создают фон истории, но они всегда находят свое отражение в сознании, и та идея, которая служит их представительницей, опять-таки оказывает на них влияние в качестве третьей силы; последнее происходит преимущественно в наши дни, но происходило также и в средние века. Шекспир показывает нам в истории только взаимодействие человеческой природы и внешних условий; идея, третье начало, никогда не выступает в его трагедиях; вследствие этого его образность гораздо более отчетлива, и в развитии характеров у него наблюдается нечто вечное, неизменное, поскольку ведь человеческое остается одним и тем же во все времена. Так же точно обстоит дело у Гомера. Творения обоих поэтов непреходящи. Я не думаю, что они получились бы столь же удачными, если бы им пришлось изображать эпоху, когда какая-нибудь идея утверждала свое влияние, например в начале возникновения христианства, во время Реформации, во время революции.

\*

У греков царило тождество жизни и поэзии. Поэтому у них не было таких великих поэтов, каких имеем мы, у которых жизнь часто является противоположностью поэзии. В большом пальце ноги Шекспира поэзии больше, чем у всех греческих поэтов, за исключением Аристофана. Греки были великими художниками, но не поэтами; у них было больше чутья к изобразительным искусствам, чем к поэзии. В пластике они добились столь многого именно потому, что здесь им приходилось только копировать действительность, которая сама была поэзией и поставляла им лучшие свои образцы.

\*

Если греки изображали жизнь цветущей и радостной, а после нее, как они считали, человек вступал в печальный, призрачный мир смерти, то, напротив, по христианским представлениям печально и призрачно земное бытие, и только после смерти наступает радостный расцвет жизни. Это может утешить в несчастье, но ничего не дает пластическому поэту. Вот почему все так радостно ликует в «Илиаде»: жизнь воспринимается тем радостнее, чем ближе наш отход в иной мир, мир теней. Так, например, у Ахилла.

\*

Греки дали христианству искусство: искусство слова (догматику и мифологию) и искусство чувств (живопись и зодчество). Готика — не что иное, как больное искусство. Когда в тулузском соборе (св. Сернена) у меня стало двоиться в глазах, я увидел, что центр переломлен по середине, и понял, что стрельчатая готическая арка происходит из римской дугообразной.

\*

#### ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Видимое произведение гармонически выражает невидимую мысль, поэтому искусство жизни также является гармонией между поступками и нашим образом мыслей.

Художественное произведение *прекрасно*, когда божественное ласково склоняется к человеческому — Диана целует Эндимiona; оно *возвышенно*, когда человеческое мощно возносится до божественного — Прометей противится Юпитеру, Агамемнон приносит в жертву свое дитя. Миф о Христе и прекрасен и высок одновременно.

\*

В искусстве форма все, материал ничего не стоит. Штауб берет за фрак, сшитый из собственного сукна, столько же, сколько за фрак, сшитый из сукна заказчика. Он говорит, что требует плату за фасон, материю же дарит.

\*

По вопросу о врожденных идеях, пожалуй, правильно следующее решение: существуют люди, к которым все приходит извне, так называемые таланты, подобные Лес-

сигну. Они заставляют вспомнить обезьян, у которых преобладает внешняя подражательность, — в их сознании нет ничего, что бы они не восприняли через органы чувств. Но существуют также люди, у которых все исходит от души, гении, подобные Рафаэлю, Моцарту, Шекспиру, которым, однако, рожать труднее, чем так называемым талантам. У тех — ремесленная работа, без жизни, без интимности, механизм, у этих — органическое возникновение.

\*

Гений носит в душе отображение природы и благодаря ее напоминаниям производит на свет это отображение; талант подражает природе и творит аналитически то, что гений творит синтетически. Но встречаются еще характеры, остановившиеся между тем и другим.

\*

Дагерротипия свидетельствует против ложного взгляда, будто искусство есть подражание природе. Природа здесь сама доставила доказательство того, как мало она понимает в искусстве, каким жалким получается все у нее, когда она начинает заниматься искусством.

\*

Филарет Шаль как историк литературы группирует писателей не по внешним признакам (национальность, эпоха, род произведений — эпос, драма, лирика), а по внутреннему, духовному принципу, по родству душ. Так Парацельс хотел классифицировать цветы по запаху. Насколько это глубокомысленнее, чем у Линнея, — по тычинкам. Пожалуй, не столь уж странным было бы и писателей классифицировать по их запаху: те, что пахнут табаком, те, что — луком, и т. п.

\*

Легенда о ваятеле, которому выкололи глаза, чтобы он не создал еще одну подобную статую, покоится на той же основе, что и обычай разбивать стакан, из которого пили за здоровье дорогого человека.

\*



Скульптор, запятый одновременно ваянием статуй Наполеона и Веллингтона, представляется мне чем-то вроде священника, который в десять часов готов служить мессу, а в двенадцать — петь в синагоге. Почему бы и нет! Он в состоянии это сделать, однако там, где подобное возможно, в скором времени никто не станет посещать ни церкви, ни синагоги.

Поэтам еще труднее говорить на двух языках. Ах! Большинство едва в состоянии говорить на одном.

\*

Принято прославлять драматурга, умеющего извлекать слезы. Этим талантом обладает и самая жалкая луковица. С нею он делит свою славу.

\*

Театр неблагосклонен к поэтам.

\*

Новая пора наступила для искусства: в природе открыты те же законы, что управляют нашим человеческим духом, их очеловечивают (Новалис), в человеческом духе открывают законы природы, магнетизм, электричество, положительный и отрицательный полюсы (Генрих фон Клейст). Гете показывает взаимосвязь природы и человека; Шиллер — вполне спиритуалист, он абстрагирует от природы, он соблюдает верность Кантовой эстетики.

\*

Нежелание Гете поддаваться энтузиазму столь же неприятно, сколь и ребячливо. Такая сдержанность является в большей или меньшей степени самоубийством; она подобна пламени, которое не хочет разгораться из страха погаснуть от истощения. Великодушное пламя, душа Шиллера, пылало жертвенно. Всякое пламя жертвует собою; чем прекраснее оно горит, тем ближе его уничтожение, угасание. Я не завидую тихим ночникам, столь скромно влачащим свое существование.

\*

У Шиллера мысль справляет свои оргии: трезвые понятия, увенчанные виноградными листьями, размахивают

тирсами, пляшут, подобно вакханкам. Это допьяна упившиеся рефлексии.

\*

Якоби, этот плаксивый, брюзгливый характер, эта лишняя душа, этот религиозный червяк, точивший плод познания, чтобы вызвать у нас отвращение к нему.

\*

Унылое, приниженное время, которому запрещено было все громкое и которое само страшилось громкого, приглушенно чувствовало, мыслило и шептало, находя в этой приглушенной поэзии свою приглушенную радость. Оно уныло разглядывало старые, разрушенные башни и улыбалось сверчку, который меланхолически поскрипывал внутри.

\*

В древнедатских балладах все могилы любви — героические могилы; громады скал навалены над ними неистовою от боли исполинскою рукою. В стихотворениях Уланда могилы любви убраны красивыми цветочками, бессмертниками и крестиками, точно руками чувствительных пасторских дочек.

Герои датских воинских песен — норманны, герои Уланда — всегда швабы, эти Желтоногие.

\*

Сонетное неистовство настолько свирепствует в Германии, что следовало бы установить сонетный налог.

\*

Клаурен стал нынче так знаменит в Германии, что вас не впускают ни в один публичный дом, если вы его не читали.

\*

Ауффенберга я не читал. Полагаю, что он напоминает Арленкура, которого я тоже не читал.

\*

Мы искали физическую Индию и нашли Америку. Теперь мы ищем духовную Индию, — что же мы найдем?

\*

Желательно, чтобы изучением санскрита занялся гений; когда это делает заурядный комментатор, мы получаем в результате всего-навсего хороший компендиум.

\*

Эпические поэмы индийцев — это их история; однако мы получим возможность пользоваться ими как историей лишь тогда, когда откроем законы, согласно которым индийцы превращали подлинные события в фантастическо-поэтические. Мы этого еще не добились по отношению к мифологии греков, но возможно, что у последних это труднее, ибо они превращали события в вымысел, постепенно приобретающий все большую определенность и пластичность. У индийцев, напротив, переработанное фантазией все еще остается символом, обозначающим бесконечное, и не принимает более определенно изваянных по произволу поэта форм.

\*

«Махабхараты», «Рамаяны» и подобные исполинские фрагменты — это духовные мамонтовы кости, уцелевшие на Гималаях.

\*

Индиец мог создавать только чудовищно огромные поэмы, ибо он, как человек созерцательного склада, не был в состоянии выделить что-либо из целостного мироздания. Весь мир для него единая поэма, «Махабхарата» же — только одна из глав ее. Сравнение индийской и нашей мистики: последняя изощряется в дроблении и сочетании материи, но неспособна свести все к понятию; идеи, вытекающие из созерцания, — вот то, чего мы совсем не знаем. Индийская муза — это погруженная в сны сказочная принцесса.

\*

Гете в начале «Фауста» использовал «Сакунталу».

\*

Подобно тому как каждый по-иному видит данный предмет в чувственном мире, так каждый видит в данной книге нечто иное, чем другой. Следовательно, и переводчик должен быть духовно одаренным человеком, способным увидеть в книге самое значительное и самое лучшее и воспроизвести это. Буквальный смысл, телесную сущность способен передать каждый, кто прочитал грамматику и приобрел словарь. Но духа не передаст первый встречный. Пусть об этом поразмыслит тот трезвый, прозаический переводчик романов Скотта, что так похвально своей переводческой точностью. Насколько важно передать дух произведения, показывает прежде всего форстеровский повторный перевод «Сакунталы».

\*

В эпоху романтиков в цветке любили только аромат, — в наше время в нем любят прорастающий плод. Отсюда склонность к практическому, к прозе, к тривиальному.

\*

Основная черта нынешних поэтов — здоровье: вестфальское, австрийское, даже венгерское здоровье.

\*

Прекраснейшие цветы немецкого духа — философия и песня. Но пора расцвета их миновала; она требовала идиллического спокойствия; Германия нынче захвачена движением, мысль перестала быть бескорыстной, в ее абстрактный мир вторгается грубый факт, паровоз и железная дорога вызывают в нас иное, суетливое душевное возбуждение, на основе которого не расцвести песне: дым от угля отпугивает певчих птиц, изловоние газового освещения отравляет аромат лунной ночи.

\*

Наша лирика — продукт спиритуализма, хотя материал ее и сенсуалистичен: страстное стремление обособленного духа к слиянию с миром явлений, *to mingle with nature*.<sup>1</sup> С победой сенсуализма эта лирика должна умолкнуть, тогда возникнет тоска по духу: сентименталь-

<sup>1</sup> Смешаться с природой (англ.).

пость, расплывающаяся все больше в водянистом сумраке, нигилистическая мелкотравчатость, туман пустопорожних фраз, промежуточная станция между былым и грядущим, тенденциозная поэзия.

\*

Наивный поэт, который внезапно становится политическим, напоминает мне ребенка в колыбели: «Папа, не ешь того, что мама сварила!»

\*

Как только демократия действительно достигнет власти, всякой поэзии придет конец. Переходом к этому концу является тенденциозная поэзия. Вот почему, а не только потому, что она служит ее тенденции, демократия покровительствует тенденциозной поэзии. Они знают, что после Гофмана фон Фаллерслебена, или, лучше сказать, вместе с ним, поэзии придет конец.

\*

В мире поэтов *tiers état*<sup>1</sup> не полезно, а вредно.

\*

Демократия влечет за собою гибель литературы: свободу и равенство стиля. Всякому-де дозволено писать все что угодно и как угодно скверно, и все же никто не имеет права превзойти другого в стиле и посметь писать лучше него.

\*

Демократическая ненависть к поэзии: Парнас следует срыть до основания, сравнять, на месте его проложить макадам, и там, где некогда карабкался ввысь досужий поэт, подслушивая соловьев, вскоре ляжет ровная столбовая дорога, пройдут железнодорожные рельсы, на которых будет ржать паровой котел, обгоняя суetsyщую толпу.

\*

Демократическая ярость против воспевания любви: к чему воспевать розу, аристократ ты этакий? Воспой демократический картофель, которым кормится народ!

\*

---

<sup>1</sup> Третье сословие (франц.).

В политическую, по преимуществу, эпоху редко возникает чисто художественное произведение. Поэт в такое время напоминает шкипера среди бушующего моря, который видит вдали на берегу монастырь, возвышающийся на утесе; монахини в белом стоят там и поют, но буря заглушает их пение.

\*

В произведениях некоторых модных писателей мы находим сыскные приметы природы, но никак не ее описание.

\*

То вовсе не бедный венгерец Нимбш и не приказчик из Липпе-Детмольда создают превосходные стихотворения, а мировой дух. Только ему одному принадлежит слава, и достойно смеха, когда те что-то на сей счет воображают о себе, подобно отцу Рашели, который так гордится успехами своей дочери. Вот в партере «Théâtre français»<sup>1</sup> стоит старый еврей и воображает, будто это он — Ифигения или Андромаха, будто это его декламацией тронуты все сердца, и когда начинают аплодировать, он, краснея, раскланивается.

\*

Савиньи — римлянин? Нет, он прислужник римско-католического духа, un valet du romanisme.<sup>2</sup>

\*

Элегантный стиль Савиньи напоминает липкую серебристую слизь, которую насекомые, ползая, оставляют после себя на земле.

\*

С произведениями Иоганнеса фон Мюллера происходит то же, что с Клопштоком: никто его не читает, но всякий почтительно отзывается о нем. Он наш великий историк, как тот был нашим великим эпическим поэтом, которым мы с гордостью козыряли перед иностранцами. Он непро-

---

<sup>1</sup> «Французского театра» (франц.).

<sup>2</sup> Лакей римско-католической церкви (франц.).

ходимо скучен, — Альпы, и над ними ни единой идеи. Мы воображали, будто у нас имеется и свой эпос и свой историк.

\*

Раумер — банальность, разводящая резоны, литературный мальчик на побегушках в «Брокгаузовской книготорговле»; когда он подрастет — станет сторожем при магазине.

\*

#### «ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ» ГЕРВИНУСА

Условие задачи таково: то, что Г. Гейпе дал в маленькой книжке с большим остроумием, дать ныне в большой книге, совершенно лишенной остроумия. Задача решена правильно.

\*

Историки, которые сами хотят делать историю, похожи на немецких актеров, одержимых страстью самим сочинять пьесы. Галлер замечает, что актеры играют тем лучше, чем хуже пьеса. Уж не писали ли они скверно для того, чтобы показать себя хорошими актерами? Или, быть может, они играли плохо, чтобы произвести впечатление хороших писателей? Такие же точно вопросы можно было бы задать нашим историкам.

\*

Берегитесь Генгстенберга — он только притворяется таким дураком, — на самом деле это Брут, который когда-нибудь сбросит личину, покажет себя правоверным рационалистом и разрушит ваше царство.

\*

Руге — это филистер, который однажды беспристрастно взглянул на себя в зеркало и признал, что Аполлон Бельведерский все же красивее его. В душе своей он уже носит свободу, но она никак не хочет войти в его тело, и, сколько бы он ни вздыхал по эллинской наготе, он все же не может решиться скинуть варварские современные штаны или тем более христианско-германские под-

штанники нравственности. Грации с улыбкой следят за этой внутренней борьбой.

\*

#### ЯКОБ ВЕНДЕЙ

Природа создала тебя чистильщиком отхожих мест. Не стыдись же этого, немецкий патриот, ибо ты чистишь отхожие места твоего немецкого отечества!

\*

Я промолчу о нем, ибо не могу его использовать в качестве комической фигуры, как Масмана. Забавнее всего то, что последний знал латынь, Вендей же ее не знает. В скуке нет ничего комического.

\*

Король Людвиг не принимает Лютера в свою Валгаллу. Не следует на него сердиться: он чувствует сердцем, что если бы Лютер построил Валгаллу, он бы не принял его туда как поэта.

\*

Эсте, Медичи, Гонзага, Скала знамениты как меценаты. У наших князей, несомненно, столь же прекрасные намерения, однако им недостает образованности для того, чтобы произвести отбор подлинных талантов и гениев, ибо последние не являются сами к их камердинерам, прося доложить о себе. Они покровительствуют лишь тем, кто стоит на одной ступени развития с ними, и подобно тому, как мы ныне судим об итальянских князьях по именам тех, кому они покровительствовали, так когда-нибудь сразу будут узнавать наших князей по именам лиц, которых они награждали табакерками, кубками, пенсиями и орденами. Говорят, будто неумно поступают великие писатели, сохраняя имена неизвестных людей для потомства, даже если они делают это в сатирических произведениях, — но мы делаем это, чтоб опозорить их покровителей.

\*

Этих людей надо бить палками при жизни: ведь после смерти их нельзя наказывать, их имена невозможно опозо-



рить, заклеить, обесчестить, ибо от них не остается даже имени.

\*

Вольфганг Менцель обладает весьма острым умом; интересно и важно для науки произвести со временем френологическое исследование его черепа. Я хочу, чтобы, избивая его, щадили его голову, дабы вновь приобретенные шишки не могли быть приняты за шишки остроумия или поэзии.

\*

И этот невежественный заяц ведет себя как чемпион немецкого народа, самого храброго и самого ученого народа, народа, который доказал свое мужество на тысяче полей сражения и свое глубокомыслие в сотне тысяч книг, народа, широкая грудь которого покрыта славными рубцами и под челом которого пронеслись все великие мысли мира, оставив после себя достойные глубочайшего уважения морщины.

\*

#### ГУЦКОВ

Природа была очень скромна, когда создавала его — его, самого нескромного.

Он хотел подражать Гейне, но он был чужд всякой поэзии и дошел только до подражания Берне. В манере изображения и в языке его есть нечто полицейское. Он вечно настороже: выслеживает очередные слабости публики, чтобы затем использовать их в личных интересах. Потворствуя и лстя этим слабостям, он может обходиться без таланта, знаний и характера; он это знает. Публика не получает от него никаких импульсов, наоборот, он заимствует их у нее; он напяливает ливрею модной идеи, он ее лакей и ее канцелярский служитель, он по-кошачьи изгибает спину перед ней и требует причитающиеся ему чаевые.

\*

Жиске в третьей части своих мемуаров рассказывает о полицейском агенте, который распознал вора, укравшего медали, по тонкости, с которой был произведен взлом: хорошо сплетенная веревка, огарок восковой свечи

вместо сала в фопаре вора и т. д. Точно так же угадываю я г-на NN в анонимной статье.

\*

Зачем мне теперь спорить? Еще немного лет, и я умру, и тогда мне все-таки придется сносить всю эту ложь. NN нечего бояться, что на его счет будут лгать после смерти.

\*

#### «ГОТЛАНД» ГРАББЕ

Порою вереница страшных и отвратительных мыслей, точно шествие галерных рабов, и на каждом из них клеймо... Автор ведет их на цепи на каторгу поэзии!

\*

#### ФРЕЙЛИГРАТ

Сущность новейшей поэзии сказывается прежде всего в ее иносказательном характере. Предчувствия и воспоминания составляют ее главное содержание. Этим чувствам соответствует рифма, музыкальное значение которой особенно важно. Необычайные, яркие рифмы как бы содействуют более богатой инструментовке, которая призвана особенно выделять то или другое чувство в убаюкивающем напеве, подобно тому как нежные тона лесного рога внезапно прерываются трубными звуками. Гете, например, умело пользуется необычными рифмами для резких и причудливых эффектов; так же Шлегель и Байрон; у последнего намечается уже переход к комической рифме. Сравните с этим злоупотребление чуждо звучащими рифмами у Фрейлиграта, варварство непрерывной какофонии, порожденной неумелостью мастера. Красивые рифмы нередко служат костылями хромым мыслям. Фрейлиграт не принадлежит к посвященным в таинство, не слышится у него голоса природы, выражение и мысль возникают у него не одновременно. Он пользуется молотком и резцом и обрабатывает язык, точно камень; мысль при этом служит материалом, и не всегда материал этот добыт из каменоломен собственного духа. Так, например, это нередко плагиат у Граббе или у Гейше. Он способен сма-

стерпеть все, только не *песню*, а песня есть критерий самобытности. Собственно стихотворение (то, что мы обычно так называем, — полуэпическое-полулирическое) всегда в той или иной степени заимствует что-то у песни, даже при самых широких ритмах, но у Фрейлиграта это не так: его благозвучие главным образом риторического порядка.

Существует некоторое сходство между Фрейлигратам и Платеном. Последний более тонко улавливает мелодию слов, удачнее избегает жесткости, он музыкальнее, но не владеет цезурою. Здесь Фрейлиграт сильнее, так как чувствует сильнее. Цезура — это биение сердца творящего духа, ее нельзя перенять у другого, что возможно в благозвучии.

Фрейлиграт подражает Виктору Гюго. Он художник-жанрист, он дает жанровые картины моря, а не большие полотна живого океана. Его восточные жанровые картины — это турецкая голландщина.

Для него характерно страстное тяготение к Востоку и мечтательное проникновение в быт и природу Юга. Но Восток не раскрылся в его поэзии, как у других поэтов, перед которыми постоянно маячит тот сказочный, причудливый Восток, какой мы воссоздали в наших мечтах, опираясь на воспоминания о крестовых походах и на «Тысячу и одну ночь», реально ложный, но по идее своей истинный Восток поэзии. Нет, он точен, как Буркгардт и Нибур, его стихотворения служат как бы приложением к «Чужим странам», альбому, изданному Коттой, и эта издательская фирма восхваляет его значительные познания в географии и науке о пародностях. Отсюда его ценность для широкой толпы, требующей реалистической пищи; признание его — тревожный признак вторжения прозы.

\*

Немецкий язык, в сущности, богат, но в немецкой разговорной речи мы пользуемся только десятой долей этого богатства; таким образом, мы фактически бедны словом.

Французский язык, в сущности, беден, но французы умеют использовать в разговоре все, что в нем имеется, и поэтому они на деле богаты словом.

Только в литературе немцы полностью раскрывают свои языковые сокровища, и французы, ослепленные ими,

воображают, будто мы бог весть как блещем у себя дома. Они и понятия не имеют, как мало мыслей обращается в нашем домашнем обиходе. У французов как раз наоборот: в живом общении людей между собой ходит больше мыслей, чем в книгах, а самые одаренные из них вовсе не пишут или же пишут только от случая к случаю.

\*

Вольтер смело поднимается ввысь, — благородный орел, глядящий прямо на солнце; Руссо — благородная звезда, глядящая вниз с вышины; оттуда он шлет людям свою любовь.

\*

Вольтер признает папу (прочтите его посвящение к «Магомету») иронически и добровольно.

Руссо не удалось убедить представиться королю, — им руководил правильный инстинкт; это был энтузиаст, не способный на сделки.

\*

Старшие французские писатели имели определенную точку зрения: свет и тени у них всегда распределены верно, по законам принятой точки зрения. Новейшие писатели перепрыгивают с одной точки зрения на другую, и в их картинах господствует непригляднейшая путаница света и теней: здесь — замечание, вытекающее из пантеистического мировоззрения, там — чувство, выросшее из материализма, сомнение и вера попеременно — куртка арлекина.

\*

Во французской литературе царит в настоящее время квалифицированное плагиаторство. Здесь один гений запускает руку в карман другого, и таким образом между ними образуется известная общность. При подобном таланте мыслекрадства, где один стащил у другого мысль, прежде чем тот ее додумал до конца, ум становится всеобщим достоянием. В *république des lettres*<sup>1</sup> существует общность умственных достояний.

\*

---

<sup>1</sup> Республике литературы (франц.).

Современная французская литература походит на рестораны Пале-Рояля. Стоит только узнать секреты кухни, — из чего кушанья состоят и способ их приготовления, — как сразу же пропадет аппетит, но грязный повар надевает перчатки, подавая на сверкающих блюдах свою пачкотню.

\*

Современные французские писатели напоминают рестораны, в которых обедаешь за два франка. Поначалу кушанья кажутся вкусными, впоследствии делаешь открытие, что припасы добыты из вторых и третьих рук, к тому же уже несвежими или гнилыми.

\*

Современные французские романтики — дилетанты христианства; они страстно вздыхают по церкви, но не принимают покорно ее учения. Они — *catholiques marrons*.<sup>1</sup>

\*

Возможно ли, что Франция тянется назад к христианству? Неужели Франция настолько больна? Она требует сказочек... Неужели она собирается каяться на смертном одре?.. Жаждет причастия?.. Нemoщность — имя тебе, человек!

\*

Шатобриан собирается проповедовать христианство в противовес блеску неверия, перед которым преклоняется мир. Его случай обратен случаю с тем неаполитанским капуцином, который протягивает людям крест: «Ессо il vero p̄cinella!»<sup>2</sup> Шатобриан — это полишинель, протягивающий людям свою погремушку: «Ессо il vero stuce!»<sup>3</sup>

\*

Шатобриан — пустомеля, роялист по принципу, республиканец по склонности, рыцарь, ломающий копья за девственность любой лилии, а вместо шлема Мамбрина носит он красный колпак с белой кокардой.

\*

<sup>1</sup> Беглые католики (франц.).

<sup>2</sup> Вот истинный полишинель! (итал.)

<sup>3</sup> Вот истинный крест! (итал.)

Бюффон утверждает, что стиль — это сам человек. Вильмен — живое опровержение этой аксиомы: стиль его красив, строен и опрятен.

\*

Кого, как Шарля Нодье, в молодости не раз гильотинировали, тому весьма естественно в старости обходиться без головы.

\*

Блез де Бюри разглядывает мелких писателей в увеличительное стекло, а великих — в уменьшительное.

\*

Амори — покровитель писательниц, он помогает страждущим, он их *petit manteau blanc*,<sup>1</sup> их духовник; его статьи — маленькая ризница, куда они прокрадываются под вуалями; даже мертвые исповедуются ему в своих грехах; Ева признается ему в том, что ей поведал змий и о чем мы ничего не знаем, так как она скрыла это от Адама.

Он критик не для больших, а для мелких писателей — под его лупой не помещаются киты, но зато помещаются интересные блохи.

\*

У Леона Гозлана убивает не буква, а дух.

\*

Мишель Шевалье — консерватор и крайний прогрессист одновременно: одною рукою он поддерживает ветхое здание, дабы оно не рухнуло людям на головы, другою — рисует план нового, более просторного общественного здания будущего.

\*

Тьерри можно было бы сравнить с Мерлином: он лежит, точно погребенный заживо, — плоть уже не существует,

---

<sup>1</sup> Короткая белая накидка (*франц.*). (См. комментарии.)

вует, только голос остался. Историк — это всегда некий Мерлин. Он — голос погребенной эпохи; его вопрошают, и он дает ответ, этот пророк, обращенный в прошлое.

\*

Французское искусство есть воспроизведение реальности. Но так как и французам пришлось за пятьдесят лет много пережить и увидеть, их художественные творения, благодаря воспроизведению пережитого и увиденного, оказались гораздо значительнее, чем произведения немецких художников, обретающих свои воззрения лишь в сновидениях души.

Французы отстали только в архитектуре, где природу нельзя воспроизводить.

В музыке они передают тон своей национальности: рассудочность и сентиментальность, ум и грацию; в драме — страсть. Эклектицизм в музыке был введен Мейербером.

\*

Мейербер — музыкальный *maître de plaisir*<sup>1</sup> аристократии.

Мейербер сделался настоящим евреем. Если он намерен снова возвратиться в Берлин, к прежнему своему положению, ему придется сначала принять крещение.

\*

«Отелло» Россини — Везувий, извергающий лучистые цветы.

Лебедь из Пезаро не мог далее выносить гусиное готание.

Поэзия иссякает в художнике, и венчик исчезает с его головы.

В его *pasticcio*<sup>2</sup> есть для меня что-то жуткое, напоминающее святого Иеронима в испанской галерее, — уже мертвый, он записывает псалмы. Дрожь пробирает, как будто прикасаешься к статуе.

\*

---

<sup>1</sup> Распорядитель развлечений (*франц.*).

<sup>2</sup> Мешанине (*итал.*). (См. комментарий.)

Все картины Ари Шефера показывают мечтательное стремление уйти из постороннего мира, без подлинной веры в потустороннее... Туманный скептицизм.

\*

Лессинг говорит: «Если Рафаэлю отрезать руки, он все же останется живописцем». Точно так же мы могли бы сказать: «Если господину \*\* отрезать голову, он все же остался бы живописцем, — он продолжал бы писать и без головы, и никто бы не заметил, что головы у него и вовсе нет».

\*

Шекспир получил драматическую форму от современников. Отличие этой формы от французской.

Содержание своих трагедий он всегда до деталей заимствовал; он сохранял даже грубые штрихи, напоминающие первые удары резца ваятеля.

Приносит ли пользу распределение труда также и в умственной работе? Наивысшее достигается только таким путем.

Как Гомер не один сложил «Илиаду», так и Шекспир не один создал свои трагедии — он придал им лишь дух, ожививший работу предшественников.

У Гете мы видим нечто подобное — его плагиаты.

\*

Юний — рыцарь свободы, боровшийся с опущенным забралом.

\*

Данте — общественный обвинитель в поэзии.

#### IV. ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

Общество — всегда республика, одиночки всегда стремятся вверх, а общая масса оттесняет их обратно.

\*



В древности патриоты постоянно выставляли напоказ свое величие, например Цицерон. Люди нового времени, в эпоху наивысшей свободы, поступают точно так же, например Робеспьер, Камилл Демулен и др. Если и для нас настанет такая пора, мы будем величаться подобным же образом. Люди, ничем не замечательные, конечно правы, проповедуя скромность. Им так легко осуществлять эту добродетель, им нечего преодолевать, и благодаря тому, что они не возвышаются над всеобщим уровнем, никто не заметит, что они ничего не свершили.

\*

Нужно знать всю Германию, знать одну ее часть опасно. Это как в рассказе о дереве, листья и плоды которого служат противоядиями друг против друга.

\*

Лютер встряхнул Германию, однако Френсис Дрэйк вновь успокоил ее: он дал нам картофель.

\*

Елей, что проливается на королевские головы, — успокаивает ли он идейные бури?

\*

Не существует немецкого народа: дворянство, бюргерство, крестьянство более разнородны, чем у французов до революции.

\*

Прусское дворянство есть нечто абстрактное; его определяет исключительно момент происхождения, а не собственность. У прусских юнкеров нет денег.

\*

Ганноверские юнкеры — ослы, вечно твердящие о лошадях.

\*

Слуги, не имеющие господина, не становятся от этого свободными людьми, — лакейство у них в душе.

Нсмец подобен рабу, который повинуется своему господину без воздействия оков, без кнута, по первому его слову, даже по первому взгляду. Рабство — в нем самом, в его душе; оно неизменнее, чем материальное рабство, это рабство, перешедшее в сознание. Немцев нужно освободить внутренне, внешнее освобождение ничего не дает.

\*

Собака в наморднике лает задом. Мышление на окольных путях проявляется еще более зловонно — лживостью выражения.

\*

Немцы хлопочут сейчас над выработкой своей национальности; однако они запоздали с этим делом. Когда они с ним наконец справятся, национальное начало в мире уже перестанет существовать и им придется тотчас же отказаться и от своей национальности, не сумев извлечь, в отличие от французов или британцев, никакой пользы из нее.

\*

Я всегда воспринимал дело достройки собора как детскую забаву; думалось: такому исполину-ребенку, как немецкий народ, нужна соответствующая гигантская игрушка — Кельнский собор, но теперь я думаю иначе. Я уже не верю, что немецкий народ — это ребенок-исполин; во всяком случае, он уже не ребенок, он большой парень с богатыми природными данными, из которого, однако же, не выйдет ничего путного, если он не использует по-серьезному настоящее и не будет иметь в виду будущее. У нас уже не остается времени ни для игры, ни для того, чтобы упиваться сновидениями прошлого.

\*

#### ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФЛЮГЕРЫ

Они заклинают бури и полагаются на собственную подвижность: они забывают, что гибкость не поможет, если ураган когда-нибудь опрокинет башню, на которой они стоят.

\*

\*

Когда я говорю о черни, я исключаю из нее, во-первых, всех, кто значится в адрес-календаре, и, во-вторых, всех тех, кто в нем не значится.

\*

Современное буржуазное общество торопится в вихре наслаждений осушить последний кубок, подобно старому дворянству накануне 1789 года, и оно также слышит уже в коридоре мраморную поступь новых богов, которые, не постучавшись, войдут в зал и опрокинут столы.

\*

Юный свинопас мечтает разбогатеть и пасти своих свиней, сидя верхом на лошади.

Эти банкиры уселись на высоких коней и по-прежнему предаются старому грязному ремеслу.

\*

\*\* не любит евреев. Когда я его спросил об этом, он сказал: «Они подлы без всякой грации, поэтому всякая подлость становится из-за них отвратительной, и вреда мне от них больше, чем пользы».

\*

И Ротшильд также мог бы построить своего рода Валгаллу — пантсон для всех князей, бравших у него в долг.

\*

Основную армию врагов Ротшильда составляют те, кто ничего не имеет; все они думают: «Чего нет у нас, есть у Ротшильда». К ним присоединяется толпа тех, кто потерял свое состояние; вместо того чтобы отнести потерю за счет собственной глупости, они обвиняют в проницательности тех, кто сохранил свое состояние. Чуть у кого иссякли деньги, он становится врагом Ротшильда.

\*

Коммунист, который хочет, чтобы Ротшильд поделил с ним свои триста миллионов. Ротшильд посылает ему его долю, составляющую девять су. «А теперь оставь меня в покое».

\*

Коммунисты полны какого-то равнодушного пренебрежения к патриотизму, славе и войне.

\*

За тучными коровами следуют тощие, за тощими — полное отсутствие говядины.

\*

Мне хочется пророчествовать: вам придется когда-нибудь в зимнюю пору пережить революцию более ужасную, чем все бывшие до сего дня. Когда кровь потечет по снегу...

\*

Народный поток подобен взбаламученному морю: тучи придают ему только оттенок; кое-где мелькают в них белые гребни волн (это мельники и пивовары); писатели с помощью слова расцветивают стихии возмущения, уже вызванные к жизни.

\*

Ассоциация идей, в том же смысле, в каком мы говорим об ассоциации в промышленности. Например, связь философских идей с политико-экономическими дала бы поразительные, небывалые результаты.

\*

Старая сказка о трех братьях ныне сбывается. Один пробегает за несколько часов сто миль, другой видит на расстоянии ста миль, третий палит на то же расстояние, четвертый дуновением сметает армии — железная дорога, зрительная труба, пушки, порох или печать.

\*

Хотелось бы знать, прорастет ли зерно, если посеять его на этом месте.

\*

Массовые казни на Гревской площади и на площади Людовика Пятнадцатого были своего рода *argumentum ad hominem*: <sup>2</sup> всякий мог убедиться здесь в том, что дворянская кровь ничуть не лучше крови представителей буржуазии. Некий обезумевший буржуа не пропускает ни одной казни, видя в них род практических экспериментов, доказывающих идеальную теорию.

\*

#### ВИДЕНИЕ

Площадь Людовика Шестнадцатого. Труп, рядом отрубленная голова. Врач пробует срастить их, качает головой: «Невозможно» и, вздыхая, уходит. Придворные пытаются привязать мертвую голову к телу, но она все отпадает.

Если король потерял голову, ему уже не поможешь.

\*

Сумасшедший отказывается гулять в Тюильри; правда, он видит на деревьях приятную зелень, но корни в земле красны как кровь.

\*

Чем ближе к Наполеону стояли люди, тем больше восхищались им. С другими героями происходит обратное.

\*

Наполеон не был из того дерева, из которого делают королей, — он был из мрамора, из которого делают богов.

\*

<sup>1</sup> Площадь Согласия (*франц.*). (См. комментарии.)

<sup>2</sup> Доводом применительно к человеку (*лат.*). (См. комментарии.)

Наполеон ненавидит лавочников и адвокатов — он расстреливает первых из митральез, а вторых выгоняет из храма. Они подчиняются, но ненавидят его (они полагали, что совершили революцию для себя, Наполеон же воспользовался ею для себя и для народа). Они с удовольствием встречают Реставрацию.

\*

Император был целомудрен, как железо.

Его враги — туманные призраки, пляшущие по ночам вокруг Вандомской колонны и вгрызающиеся в нее.

\*

Они поносят его, но всегда с известной почтительностью: когда правой рукой они кидают в него дерьмо, левая тянется к шляпе.

\*

Составители Code Napoleon<sup>1</sup> жили, к счастью, в революционные времена и смогли тогда еще сочувствовать страстям и высшим жизненным целям.

\*

Нацию нельзя возродить, если ее правительство не проявляет высокой нравственной силы. Эта сила возрождает. Поэтому-то и было необходимо пятнадцатилетнее правление Наполеона. Он целил огнем и железом больную нацию, правление его было курсом лечения. Он был Моисеем французов; как тот таскал свой народ взад и вперед по пустыне, чтобы дать ему возможность успешно пройти курс лечения, так и Наполеон гонял французов по Европе... Этой власти противостояла в качестве оппозиции партия «гнилых», к ней принадлежала г-жа де Сталь. Ее кружок блистал умом, остроумием, любезностью, но отдавал гнилью. Талейран — мастер разложения, Нестор лжи, клятвопреступник двух веков; Шатобриан — мы почитаем, мы любим его, но он был великий путаник, бессмертный простофиля, поэт, пилигрим со склянкой воды из Иордана, ходячая элегия, выходец с того света, но вовсе не мужчина. Остальные ее друзья, несколько

---

<sup>1</sup> Наполеонова кодекса (франц.).

дворян из аристократического предместья, рыцарственные призраки, любезные, но хилые, страждущие, бесильные. Бенжамеи Копстан был самый лучший из них, но и он еще на смертном одре брал деньги у Луи-Филиппа!

\*

«Le style c'est l'homme — c'est aussi la femme!»<sup>1</sup> Фальшь г-жи де Сталь: целая цепь фальшивых мыслей и цветов красноречия, подобных дурным испарениям. Она восхваляет Веллингтона, ce héros de cuir avec un socot de bois et un cerveau de papier maché!<sup>2</sup>

Г-жа де Сталь была швейцарка. Швейцарцам свойственны чувства столь же возвышенные, как их горы, но взгляды их на общество столь же узки, как их долины.

Ее отношение к Наполеону: она хотела воздать кесарю кесарево, но когда тот отказался от последнего, она стала фрондировать, она воздала богу вдвое больше.

Она не обладала остроумием и впала в пелешость, назвав Наполеона Робеспьером на коне. Робеспьер был всего-навсего Руссо в действии, тогда как сама г-жа де Сталь была Руссо бездеятельным, и скорее ее самое можно было бы назвать Робеспьером в юбке.

Всюду твердит она о религии и морали, но нигде не объясняет, что разумеет под сказанным.

Она говорит о нашей честности, и о наших добродетелях, и о нашей образованности, — она не видела наших публичных домов, наших тюрем, наших казарм, не видела наших книгоиздателей, наших Клауренов, наших лейтенантов.

\*

Поццо ди Борго и Штейн — вот это настоящие герои! Один — ренегат, за несколько рублей продавший родину, друзей и собственное сердце, другой — высокомерный провинциальный дворянин, скрывавший под плащом патриотизма гербовый кафтан минувшей эпохи — предательство и ненависть.

\*

---

<sup>1</sup> Стиль — это человек (мужчина), это также женщина (франц.).

<sup>2</sup> Этого героя из кожи, с сердцем из дерева и мозгом из картона (франц.).

Люди удивляются, по какой причине наши монархи доживают до такой старости. Но ведь они боятся умереть, они боятся в загробном мире снова повстречаться с Наполеоном.

\*

Как у Гомера герои обменивались на поле битвы своими доспехами, так в нынешних битвах народы обменялись своими шкурами: французы напялили на себя нашу, медвежью шкуру, мы же — их, обезьянью. Они приобрели торжественные повадки, мы же карабкаемся на деревья. Они бранят нас вольтерьянцами. Будьте спокойны, на нас ведь только ваша шкура, сердцем мы все те же медведи.

\*

Чего только не случается в наше сказочное время! Даже Бурбоны становятся завосвателями!

\*

Парижский парод освободил мир и даже не взял за это на водку.

\*

Да, Париж снова стяжал себе величайшую славу. Но боги, завистливые к величию людей, пытаются их унижить, смирить, хотя бы с помощью омерзительных происшествий.

\*

Печать подобна некоему сказочному дереву: вкусивший от его плода заболевает, поев листьев — выздоравливает от этой болести, и наоборот. Так бывает, когда считаешь легитимистские и республиканские газеты во Франции.

\*

Каждый французский журнал имеет воинственную окраску: они отвергнут любую статью, если она не посвящена текущим интересам дня, так называемым актуальным темам. В Германии — совсем наоборот, и если я подчас и улыбаюсь тому, что немецкие газеты так основа-



тельно обсуждают множество предметов, не имеющих даже отдаленнейшего касательства к современным отечественным проблемам, как, например, вопросы китайской или ост-индской культуры, то меня все же радует этот космополитизм немецкой печати, ее интерес даже к самым фантастическим нуждам сего мира, ее гостеприимство по отношению ко всем статьям, посвященным общечеловеческим вопросам!

\*

#### ЛАФАЙЕТ

Мир дивится тому, что некогда жил честный человек, — его место остается вакантным...

\*

Некий англичанин разъезжает повсюду за ван Амбургом, присутствует на всех его представлениях. Убежденный, что лев все же в конце концов растерзает укротителя, он желает во что бы то ни стало созерцать это зрелище. Он подобен историку, который дожидается в Париже момента, когда французский народ наконец растерзает Луи-Филиппа, и который покамест изо дня в день наблюдает за этим львом.

\*

Если бы для королей была установлена монтионовская премия, Луи-Филипп оказался бы первым кандидатом. При нем господствовали счастье и свобода, — это был настоящий Roi d'Ivetot<sup>1</sup> свободы.

\*

Гизо вовсе не англичанин, а шотландец; он пуританин, но только по отношению к себе. Такова его природа. Но так как он способен постигать самые противоположные натуры, то он проявляет терпимость даже к фривольности.

Наиболее выдающееся его свойство — гордость. Попав к господу богу на небо, Гизо сделает ему комплимент за то, что тот так удачно его создал.

\*

---

<sup>1</sup> Король Ивето (франц.). (См. комментарии.)

Благодаря железным дорогам происходят внезапно переменны в имущественном состоянии. Последнее во Франции опаснее, чем в Германии. Поэтому правительство со страхом подходит к железным дорогам.

\*

Не благодаря превосходству их учения, а в силу его вульгарности, а также потому, что широкие массы неспособны воспринять более высокую доктрину, думается мне, республиканцы прежде всего во Франции понемногу одержат верх и на некоторое время утвердят свою власть. Я говорю: «на некоторое время», ибо те плебейские республики, о которых мечтают наши радикалы, долго продержаться не могут. Предвидя с уверенностью кратковременность их существования, мы не впадаем в уныние из-за прогресса республиканизма. Возможно, что он — необходимая переходная форма, и мы с готовностью простим ему это неприглядное, мрачное состояние гусеницы, превратившейся в куколку, в надежде, что бабочка, которая в один прекрасный день выпорхнет из нее, тем богаче и ярче развернет свои крылья и в радостном сиянии солнца отдастся игре со всеми цветами жизни. Собственно говоря, нам следовало бы отнестись к вам как к сварливым отцам, чей педантический, чопорный характер, правда, не нравится жизнерадостным сыновьям, но зато пригодится им в их будущем жизнеустройстве. Поэтому, если не по соображениям политики, то хотя бы из уважения мы должны были бы до известной степени сдержанно критиковать этих мрачных чудаков. Мы готовы даже почитать вас, и — куда ни шло — поддерживать, только не требуйте от нас слишком многого и не становитесь по отношению к нам Брутами, когда ваша чрезмерно грубая похлебка не лезет нам в горло и когда мы подчас страстно мечтаем об ушедшей в прошлое кухне времен Тарквиниев.

Странно! Мы убаюкиваем себя и утешаемся этой гипотезой кратковременности республиканского правления точь-в-точь так же, как те седовласые приверженцы старого режима, которые, отчаявшись в современности, ждут спасения только от победы республиканцев и, чтобы воз-

вести на трон Генриха V, презирая смерть, затягивают «Марсельёзу»...

Où allez-vous, monsieur l'abbé?  
Vous allez vous casser le nez! <sup>1</sup>

\*

В пользу высоких качеств здешнего государства можно было бы привести то же доказательство, которое Боккаччо приводит в пользу религии: оно держится вопреки своим чиновникам.

\*

Тайная ненависть высших государственных чиновников к государству подобна тайной ненависти тех знатных римлян, которым пришлось во имя сохранения своей власти стать христианскими епископами и прелатами.

Французы более уверены в обращении с людьми именно потому, что они положительны, а не мечтательны. Какой-нибудь мечтательный немец скорчит тебе в одно прекрасное утро мрачную физиономию, потому что ему приснилось, что ты его обидел или что его дедушка когда-то получил шинок цогой от твоего дедушки.

\*

Французам настолько чужды всякие сновидения, что даже их самих никогда не увидишь во сне, — снятся одни только немцы.

\*

Подобно экспортированному пиву, немцы за границей не становятся лучше.

\*

Среди живущих здесь маленьких пророков мало немцев — большинство едет во Францию, чтобы показать, что они не пророки даже на чужбине.

\*

Некая девушка решила: «Это, должно быть, очень богатый господин, раз он так безобразен». Публика рас-

---

<sup>1</sup> Куда вы идете, господин аббат? Вы ведь разобьете себе нос! (франц.).

суждает так же: «Это, должно быть, очень ученый человек, раз он такой скучный». Отсюда успех многих немцев в Париже.

\*

По-видимому, миссия немцев в Париже — предохранить меня от тоски по родине.

\*

Точно в кукольном театре теней, проходят здесь передо мною проезжие немцы, и ни один не превращается в живую плоть.

\*

Немцы опасны! Они внезапно извлекают из кармана стихи или же заводят разговор о философии.

\*

#### НЕМЕЦКИЕ И ФРАНЦУЗСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Немецкие печи согревают лучше, чем французские каминны, но в последних приятнее то, что видишь пылающий огонь. Радостное зрелище, но за спиною мороз. Немецкая печь, как преданно и скромно ты грешь!

\*

В союзе между Францией и Россией не было бы, при сродстве обеих сторон, ничего особенно неестественного. В обеих странах правит дух революционный: тут — в массе, там — сконцентрированный в одной личности; тут — в республиканских, там — в абсолютистских формах; здесь — имея в виду свободу, там — цивилизацию; здесь — во имя идеальных принципов, там — во имя поклонения практической необходимости; но в обеих странах — выступая революционно против прошлого, которое они презирают, даже ненавидят. Те самые ножницы, которыми в Польше режут бороды у евреев, остригли волосы Людовика Капета в Консьержери. Это ножницы революции, ножницы ее цензуры, с помощью которых она вырезает из книги бытия не отдельные фразы или статьи, а целых людей, целые сословия, даже целые народы. Николай был против Франции, так как она представляла собой пропагандистскую опасность для формы его власти, для абсолютизма, а не для принципов его

власти; в Луи-Филиппе ему не понравилось ограничительное начало буржуазной монархии, которое казалось ему только пародией на подлинное королевское величие, но это недовольство в случае войны отступает перед необходимостью, наивысшим для него законом, — цари ему неизменно подчиняются, пусть им приходится при этом жертвовать даже личными своими симпатиями. В этом их мощь, оттого-то они всегда так сильны; если же один из них оказывается слабым, то он вскоре умирает от фамильной болезни и уступает место более сильному.

Правильно подметил Кюстин их равнодушие к прошедшему, к старине. Он правильно также обратил внимание на склонность знати к насмешке; последняя должна была достигнуть особой остроты у царя: с высоты, на которой он стоит, ему виднее контраст между жалкими жизненными условиями и торжественными фразами, и в сознании своего огромного могущества он естественно доходит до издевки в своем презрении ко всякой фразеологии. (Этого маркиз не понял.) Какими жалкими должны казаться царю рыцарственные поляки, эти мертвецы средневековья с современными фразами на устах, которых сами они не понимают; он хочет сделать их русскими, вдохнуть в них жизнь; и евреев, эти мумии, он тоже пытается оживить; а что для него эти простые русские, как не двуногая скотина, которую он хочет кнутом поднять до уровня человека! Его средства ужасны, но стремления благородны.

\*

В России проявляется тенденция к укреплению единства власти через достижение политического, национального и даже религиозного единообразия. Власть, осуществляемая высокими умами, даже к самой себе применяет террористические методы, очищая себя от всего слабосильного: погибает Петр Третий, погибает Павел, отрекается Константин; после Петра Первого появляется целый ряд превосходных правителей: Екатерина Вторая, Александр, Николай. Революция выступает здесь в короне, и она так беспощадна по отношению к себе самой, как едва ли когда-нибудь был Comité du salut publique.<sup>1</sup>

\*

---

<sup>1</sup> Комитет общественного спасения (франц.).

Николай — так сказать, наследственный диктатор. Он проявляет совершеннейшее безразличие ко всему традиционному, устарелому, историческому.

\*

Жестоко поступили русские, отняв у польских евреев лапсердак (в нем можно обходиться без сорочки, и так удобно было почесываться!), и еще бороду (главное было вот в чем: еврей как бы шествовал вслед за нею), и еще пейсы, эти священные локоны на висках, их единственную гордость!

\*

Нам предлагают нынче опереться на Россию, на ту самую палку, которую нас когда-то поколотили!

## У. ЖЕНЩИНЫ, ЛЮБОВЬ И БРАК

Где кончается женщина, там начинается дурной мужчина.

\*

Когда я читаю мировую историю и меня поражает какой-нибудь подвиг или событие, у меня часто возникает желание увидеть женщину, являющуюся тайной пружиной этих событий (их непосредственной или косвенной двигательной силой). Правят женщины, несмотря на то, что «Moniteur»<sup>1</sup> публикует одни только мужские имена, — они творят историю, хотя историкам знакомы лишь имена мужчин. Геродот начал гениально.

\*

Объясняя любовь, следует исходить либо из физического феномена, либо из исторического факта. Симпатия ли действует тут, вроде того, как глухой магнит притягивает к себе грубое железо? Или существует какая-то предыстория, смутное воспоминание о которой сохранилось в нас, проявляясь в необъяснимых отталкиваниях и притяжениях?

\*

<sup>1</sup> «Указатель» (франц.). (См. комментарий.)

В молодости любовь проявляется более бурно, но она не так сильна, не так всемогуща, как позже. К тому же, в молодости она не столь устойчива, так как тогда и тело тоже любит, жаждет плотских откровений в любви и отдает как бы в долг душе все неистовство своей крови, весь избыток своей мускульной силы. Позже, когда последняя иссякает, когда кровь медленнее течет в жилах, когда тело уже не влюбляется, любит одна только душа, бессмертная душа, и так как к ее услугам вечность, и так как она не столь немощна, как тело, она любит не спеша и уже не так бурно, зато прочнее, еще бесконечно глубже, еще сверхчеловечнее.

\*

Достойно удивления, что супруг Ксантипы мог стать таким великим философом. Среди этаких дряг — да еще думать! Но *писать* он не мог, это было невозможно: после Сократа не осталось ни одной книги.

\*

Насколько выше положение женщины у Моисея по сравнению с положением ее у других восточных народов, например, еще вплоть до сегодняшнего дня, у магометан! Последние определенно говорят, что женщина даже в рай не попадет: Магомет изъясил ее оттуда. Уж не полагал ли он, что рай не будет раем, если каждый найдет там собственную жену?

\*

Всякий, кто женится, подобен дожу, сочетающемуся браком с Адриатическим морем: он не знает, что скрывается в той, кого он берет в жены, — сокровища, жемчуга, чудовища, неизведанные бури?

\*

Музыка свадебного шествия всегда напоминает мне военный марш перед битвой.

\*

Немецкие женщины опасны своими дневниками, которые может найти муж.

\*

Немецкий брак не есть подлинный брак. Супруг приобретает не супругу, а служанку и продолжает свою изолированную духовную жизнь холостяка даже в кругу семьи. Я не хочу этим сказать, что он господин; напротив: он иной раз всего только слуга своей служанки, и даже дома он не отрывается от навыков рабства, от раболепства.

\*

## VI. НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Мудрецы придумывают новые мысли, а глупцы распространяют их.

\*

Рядом с мыслителем — прозаический человек, спокойно занимающийся своими делами; рядом с каждым яслями, в которых рождается на свет спаситель, искушающая мир идея, стоит свой бык, спокойно жующий жвачку.

\*

Каждый приносит финикийскую азбуку, искусство письма, в Грецию. Это те драконовы зубы, которые он посеял; возникшие из них закованные в латы люди уничтожают друг друга.

\*

Есть на свете благородные души, которые возвышаются над всяким материальным великолепием и воспринимают трон всего-навсего как стул, покрытый красным бархатом. Бывают души низменные, которым все идеальное представляется не имеющим значения и для которых позорный столб — всего только железный ошейник: они не боятся этого железного галстука, лишь бы они могли хоть таким путем собрать вокруг себя публику; они стараются импонировать ей своей наглостью, приобретенною в результате привычки к бесчестью.

\*

Время оказывает смягчающее влияние на наши убеждения благодаря нашим постоянным столкновениям с тем, что им противоречит. Муниципальный гвардеец, который наблюдает, чтоб не канканировали слишком бесстыдно,



в конце концов перестает находить канкап столь неприличным и не прочь даже присоединиться к пляске. Протестант после долгой полемики с католицизмом перестает воспринимать его как нечто столь ужасное и, быть может, не без удовольствия прослушал бы мессу.

\*

Мы понимаем развалины не ранее, чем сами станем развалинами,

\*

De mortuis nil nisi bene,<sup>1</sup> но о живых следует говорить только дурное,

\*

#### ПРИДВОРНЫЙ ЭТИКЕТ

Когда вы дубасите какого-нибудь короля, кричите во всю глотку: «Да здравствует король!»

\*

Существуют люди, воображающие, будто они совершенно точно знают птицу, если видели яйцо, из которого она вылупилась.

\*

Изготовителю яда приходится надевать стеклянные перчатки.

\*

Талант мы угадываем по одному-единственному проявлению, но чтобы угадать характер, требуется продолжительное время и постоянное общение. «Покамест человек жив, остерегайтесь называть его счастливым», — говорит Солон. И мы вправе также сказать: «Покамест человек жив, не восхваляйте его характер». Господин \*\* еще молод, и ему остается достаточно времени для будущих гадостей. Обождите несколько годков, он окрестится в такой-то церкви, станет адвокатом и будет защищать мошенников; может быть, он и сейчас занимается этим в свободные минуты, а мы только не знаем о его делах, ввиду его незаметного положения в свете.

\*

---

<sup>1</sup> О мертвых следует говорить только хорошее (лат.).

Почему бывает так, что богатство приносит своему обладателю чаще несчастье, чем счастье, если не самую ужасную гибель? Древние мифы о золотом руне и о кладе Нибелунгов полны значения. Золото — талисман; в нем гнездятся демоны, они исполняют все наши желания, и, тем не менее, ненавидят нас за рабскую покорность, с которой им приходится нам служить; они мстят нам, прибегая к тайным козням; именно исполнение наших желаний они обращают в несчастье и так готовят нам всевозможные беды.

\*

Как театры сгорают по несколько раз, прежде чем, точно феникс из пепла, вознестись в роскошной постройке, так же бывает и с некоторыми банкирами: нынче дом \*\* после трех или четырех банкротств блистает наиболее блистательно. После каждого пожара он подымался еще в большем великолепии — кредиторы не были застрахованы.

\*

«Воздайте богу богово, кесарю — кесарево». Однако это относится только к дающим, но не к берущим.

\*

Как разумные люди бывают часто очень глупы, так глупцы подчас отличаются сообразительностью.

\*

Я читал скучную книгу, заснул над нею, мне приснилось, что я продолжаю читать, проснулся от скуки, и так три раза подряд.

\*

Фрейлейн \*\* находит, что начало в книгах всегда так скучно, что только с середины становится интересно; хорошо бы иметь кого-нибудь, кто бы читал за нас сначала, подобно тому как вышивальщицы за плату начинают вышивку на коврах.

\*

Красивая, юная \*\* выходит замуж за старого А. Голд заставил ее так поступить — ей предстоял выбор

между ним и смертью, которая еще костлявее и отвратительнее. А., гордись тем, что она предпочла твой скелет!

\*

Когда порок столь грандиозен, он меньше возмущает. Англичанка, стыдившаяся голых статуй, была менее шокирована при виде огромного Геркулеса: «При таких размерах вещи не кажутся мне такими уж неприличными».

\*

В Гамбурге были повышены налоги в связи со срытием укреплений и с устройством променадов, которые очень хороши. Да и вообще Гамбург стремится приобрести красивую внешность и устраивает променады так, чтобы всякий, кому стало нечего есть во внутренних кварталах города, мог прогуляться в обеденные часы вокруг города; тут же скамейки (чтобы почитать, например, поваренную книгу) и эстетические плакучие ивы.

\*

#### ФИЛОЛОГИЯ В ТОРГОВЫХ ГОРОДАХ

Быть нужно либо ремесленником, либо филологом, — ведь штаны всегда будут нужны людям и всегда будут существовать школьники, которым необходимо склонять и спрягать.

\*

Британки танцуют, точно скачут верхом на ослах.

\*

Обезьяны глядят на людей свысока, усматривая здесь вырождение своей расы, подобно тому как голландцы считают немецкий язык испорченным голландским.

\*

Э. больше дружит с идеями, чем с людьми. В нем есть нечто от Абеляра. Нашел ли он свою Элоизу?

\*

\*\* принадлежат к числу тех ангелов, которых Иаков видел во сне и которым понадобилась лестница, чтобы

спуститься с небес на землю, — их крылья недостаточно спильны.

\*

Прежде чем стать мистиком, \*\* был скромным разумным человеком.

Как Магомет был всего-навсего погонщиком верблюдов, пока ангел не посвятил его в пророки, так и \*\* был, правда, не погонщиком верблюдов, но просто верблюдом, пока не загорелся перед ним новый свет.

\*

Автор трусливо держится в пределах церковного верования, ему знаком ужас, который овладевает самыми одаренными умами за пределами последнего. Он подобен волшебнику, не дерзающему переступить за круг, в который он добровольно себя заключил и внутри которого он чувствует себя в безопасности.

\*

\*\* называют вторым Дюпре, но скоро г-на Дюпре назовут вторым \*\* — так дурно стал он петь.

\*

Была ли она добродетельна, я не знаю; однако она была всегда безобразна, а безобразие у женщины — добрая половина пути к добродетели.

\*

В деревне был бык, такой старый, что он в конце концов впал в детство, и когда его зарезали, мясо отдавало престарелой телятиной.

\*

Солнце и луна — скамеечки бога, на которых он грест свои дряхлеющие ноги. Небо — его расшитая звездами серая шерстяная куртка.

\*

Мосье Колумб, откройте нам еще один Новый Свет!  
Мадемуазель Таис, сожгите еще один Персеполь!  
Мосье Иисус Христос, устройте так, чтоб вас еще раз распяли!

\*

Он явился мне out side of a stage-coach. <sup>1</sup>

\*

Тогда-то и тогда-то мне пришла в голову великая мысль, но я не упомянул ее. Что бы это могло быть? Теряюсь в догадках.

\*

Алмаз имел бы право возгордиться, если бы какой-нибудь поэт сравнил его с человеческим сердцем.

\*

Восклицание после рассказа о каком-нибудь благородном поступке: «Человеческое сердце выше, чем все пирамиды, чем Гималаи, чем все леса и моря, оно прекраснее, чем солнце, и луна, и все звезды, оно лучезарнее и пышнее, оно бесконечно в своей любви, бесконечно, как божество, оно само есть божество!»

## ВИ. КАРТИНЫ И МАЗКИ КИСТЬЮ

Старая арфа лежит в высокой траве. Арфист умер. Талантливые обезьяны спускаются с деревьев и бренчат на ней, сова сидит на суку, ворчливо критикуя, соловей поет розе свою песню; когда совсем темнеет, им овладевает любовь и он кидается на розовый куст и истекает кровью, весь израненный шипами. Месяц восходит, ночной ветер тихонько звенит в струнах арфы; обезьянам кажется, что это мертвый арфист, и они спасаются бегством.

\*

Сон Меттерниха: он видит себя в гробу, на голове у него красный якобинский колпак.

Сон Ротшильда: ему снится, что он роздал сто тысяч франков нищим, и заболевает от этого,

\*

---

<sup>1</sup> На крыше пассажирской кареты (англ.).

## КАРТИНА

Внутренность дома Иосифа и Марии. Он сидит возле колыбели, качая младенца, и при этом напевает баюшки-баю — проза. Мария сидит у окна среди цветов и ласкает свою голубку.

\*

### К «ВОЗНЕСЕНИЮ»

Директор показывает мне свою коллекцию редкостей, например первый зуб Агасфера.

Маленькие ангелы, они курят,

\*

Слепой шарлатан на рынке продает воду, предохраняющую от слепоты. Он не верил в нее и ослеп. Трагическое изображение слепоты.

\*

Безумная еврейка баюкает лампадку, зажженную в день смерти ее ребенка в память о нем,

\*

### ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ В ГЕРМАНИЮ

Первое — белые волосы; белое всегда вызывает представление о сказочном, призрачном, потустороннем: белые тени, пудра, саван.

Дородность, — толстые привидения много страшнее, чем тощие.

Кладбище, там милые могилы.

При первом же: «Кто идет?» я восклицаю: «Чистые духом восхваляют господа!»

\*

В бутылках мне видятся ужасы, которые будут порождены их содержимым: мне представляется, что я в естественнонаучном музее и передо мною склянки с уродцами, змеями и эмбрионами.

\*

Англичанин, который вечно бродит со своей мисс по пляжу, чтобы вид голых мужчин притупил ее чувственность.

\*

Притча об актере. Собака, осел: «Изволь лаять, жри солому!»

Бедняга \*\*, он уже стал лаять!

\*

#### КАЛЬМОНИУС

Его страсть к орденским лепточкам — грызущий червь его души. Солитер, от которого страдает его тело, не так смешон.

\*

Если \*\* возвратится, гризетки растерзают его, как фракийские женщины его коллегу, Орфея.

\*

Фавии Эльслер, танцовщица обоих полушарий.

\*

Критическая статья о трагедии, предполагающая, что герой стремится не к тому, о чем говорит. Прием развернутого умолчания.

\*

Надежда — прекрасная дева с детским лицом, но с увядшими грудями, у которых...

\*

Я нахожу в уединенном садике розу, которая будит много воспоминаний — ее рот en coeur,<sup>1</sup> все ее грациозное существо, ее легкомыслие, ее искренность.

\*

Ее улыбка — точно лучезарная сеть; она раскинула эту сеть, и моя душа запуталась в ней и уже годы бьется в нежных силках, точно рыба.

\*

<sup>1</sup> Сердечком (франц.).

Полный чувства, светлый взгляд, спокойные, умные губы, — красивый, улыбающийся цветок, — глубокая мысль в голосе.

\*

Приторно расплывшееся, точно фрукты в варенье, лицо с испуганными, ничтожными глазками.

\*

Улыбающаяся походка.

\*

Из него ключом била глупость.

\*

Лицо — точно зародыш в спирту.

\*

Дама, уже начавшая быть немолодой.

\*

Она шурила глаза, как часовой, которому солнце светит в лицо.

\*

Она писала анонимные письма, подписываясь: «Прекрасная душа».

\*

Он восхваляет себя так настойчиво, что церковные свечи растут в цене.

\*

Наибольшего он достиг в невежестве.

\*

Что касается \*\*, то о нем говорят, будто он происходит от *многих* евреев.

\*

Жирный, на убой откормленный бритт.

\*



Тщательно причесанные, подвитые мысли,

\*

Нисходит широкая ночь, и с нею — смелые звезды,

\*

Я видел волка. Он лизал желтую звезду, пока на языке у него не показалась кровь.

\*

Луну, отливавшую бледным, мертвенным сиянием, обступила груда желтоватых облаков, подобно свинцовому венчику, который окружает глаза, обильно орошаемые слезами.

\*

Утесы, не столь жесткие, как человеческие сердца, к которым я взывал тщетно, раскрываются, и из них струится утоляющий боль родник,

# **МЕМУАРЫ**





Я действительно, сударыня, сделал попытку с возможною откровенностью и правдивостью описать досто-  
памятные события моего времени, поскольку собственная  
моя особа соприкасалась с ними в качестве зрителя или  
жертвы.

Однако отчасти по досадным соображениям семейного  
характера, отчасти же вследствие религиозных сомнений  
мне пришлось почти наполовину уничтожить эти записки,  
самоуверенно названные мною «Мемуарами».

Впоследствии я пытался сколько-нибудь восполнить  
возникшие пробелы, но боюсь, что мысль о посмертных обя-  
занностях или же болезненная щепетильность вынудит  
меня перед смертью предать мои мемуары новому  
аутодафе, а то, что уцелеет от огня, все же, быть может,  
никогда не увидит дневного света.

Я, конечно, остерегусь назвать имена друзей, которым  
завещаю сохранение моей рукописи и исполнение послед-  
ней воли по отношению к ней; я не хочу подвергать их  
после моей кончины навязчивости праздной публики, что  
могло бы привести к нарушению полученных ими полномо-  
чий.

Такого рода неверность всегда казалась мне непрости-  
тельной; это недопустимый и безнравственный поступок —

опубликовать хотя бы одну строчку писателя, не предназначенную для широкой публики. В особенности это относится к письмам, обращенным к частным лицам. Тот, кто отдает их в печать или издает, совершает предательство, достойное презрения.

После этих признаний, сударыня, вы без труда убедитесь в том, что я не могу исполнить ваше желание — дать вам прочесть мои мемуары и переписку.

Однако, оставаясь поклонником вашей прелести, каким я был всегда, я в конце концов не в силах полностью отказать вам ни в единой просьбе и, чтобы доказать мою добрую волю, готов иным способом удовлетворить ваше милое любопытство, порожденное сердечным участием к моей судьбе.

Такова была цель, ради которой я написал нижеследующие страницы, и вы найдете в них в изобилии интересующие вас биографические данные. Здесь правдиво передано все наиболее значительное и характерное, а во взаимодействии внешних событий и внутренних движений души вам раскроется шифр моего бытия и моей сущности. Оболочка ниспадет с души, и ты можешь созерцать ее в прекрасной наготе. Здесь нет пятен, одни только раны. Ах, и только раны, нанесенные рукою друзей, а не врагов!

Ночь нема. Только хлещет по крышам дождь и жадно стонет осенний ветер.

Печальная комната больного в эту пору восхитительно уютна, и я сижу в большом кресле, не чувствуя боли.

Тогда входит ко мне твой милый образ, хотя ручка двери даже не дрогнула, и ты устраиваешься на подушке у моих ног. Положи ко мне на колени свою прекрасную голову и слушай, не подымая глаз.

Я расскажу тебе сказку моей жизни.

Если порою на твои кудри упадут крупные капли, оставайся все же спокойной: это не дождь просочился сквозь крышу. Не плачь, только молча пожми мою руку.

.....  
Какое возвышенное чувство должно воодушевлять такого князя церкви, когда он смотрит сверху на кишачую людьми торговую площадь, где тысячи, обнажив головы и благоговейно преклонив перед ним колена, ожидают его благословения!

Когда-то я прочитал в «Итальянском путешествии» гофрата Морица описание сцены, во время которой произошел случай, вспомнившийся мне сейчас.

Мориц рассказывает, что среди поселян, которых он видел стоящими на коленях, особое его внимание привлек один из тех странствующих по горам продавцов четок, которые вырезают превосходнейшие четки из какого-то коричневого дерева и продают их повсюду в Романье тем дороже, что умеют добиться освящения их самим папой в вышеупомянутый праздничный день.

С величайшим благоговением стоял этот человек на коленях, однако свою широкополую войлочную шляпу с находившимся в ней товаром — четками — он все время подымал вверх, и когда папа, простирая над толпой руки, произносил благословения, он встряхивал шляпу и что-то ворошил в ней, как это обычно делают продавцы каштанов, поджаривая их на жаровне; по видимому, он честно заботился о том, чтобы лежавшим на дне шляпы четкам тоже перепало кое-что от папского благословения и чтобы все они были в равной мере освящены.

Я не мог не упомянуть здесь об этой трогательной черте благочестивой наивности и снова возвращаюсь к нити моих признаний, поскольку все они имели значение для того духовного процесса, который мне пришлось пережить впоследствии.

Последующие явления находят объяснение в самых ранних начатках. Существенно, конечно, что уже на тринадцатом году жизни я услышал изложение систем всех вольнодумных мыслителей, да к тому же еще из уст почтенного духовного лица, ни в малейшей степени не пренебрегавшего священническими обязанностями своего сана, так что я уже рано увидел, что религия и сомнения могут спокойно, нисколько не лицемеря, шествовать рядом, в результате чего во мне возникло не только неверие, но и самое терпимое равнодушие.

Время и место также имеют важное значение: я родился в конце скептического восемнадцатого века и в городе, где в пору моего детства господствовали не только французы, но и французский дух.

Нашлись французы, познакомившие меня, должен в этом сознаться, с книгами, в которых было много грязи

и которые внушили мне предубеждение против всей французской литературы.

Я даже впоследствии никогда не любил ее так, как она того заслуживает, и всего несправедливее продолжал относиться к французской поэзии, которая с детства была мне противна.

В этом повинен прежде всего, конечно, проклятый аббат Донуа, преподававший французский язык в дюссельдорфском лицее, пытавшийся во что бы то ни стало заставить меня слагать французские стихи. Еще темного, и он внушил бы мне отвращение не только к французской поэзии, но и к поэзии вообще.

Аббат Донуа, священник-эмигрант, был дряхлый человек с весьма подвижными лицевыми мускулами и в коричневом парике, съезжавшем набок всякий раз, когда он сердился.

Он сочинил для различных своих классов несколько французских грамматик, а также хрестоматий для переводов, с выдержками из немецких и французских классиков; для старшего класса он издал также «*Art oratoire*»<sup>1</sup> и «*Art poétique*»<sup>2</sup> — две книжонки, из коих первая содержала рецепты красноречия по Квинтилиану, приспособленные к примерам из проповедей Флешье, Массильона, Бурдалу, Боссюэ, которые не казались мне слишком скучными.

Но зато другая книга, заключавшая в себе определение поэзии как *l'art de peindre par les images*,<sup>3</sup> безвкусные объедки старой школы Батте, а также французскую просодию и вообще всю метрику французов, — какой это был ужасный кошмар!

Я и до сих пор не знаю ничего безвкуснее метрической системы французской поэзии, этого, по определению французов, *art de peindre par les images*, каковое ложное понятие, быть может, и содействует тому, что они неизменно впадают в картинную перифразу.

Их метрику, несомненно, изобрел Прокруст; это подлинная смирительная рубашка для мыслей, которые в силу своей кротости, несомненно, в ней не нуждаются.

---

<sup>1</sup> «Ораторское искусство» (франц.).

<sup>2</sup> «Поэтическое искусство» (франц.).

<sup>3</sup> Искусства живописать образами (франц.).

Утверждение, будто прелесть стихотворения возникает из преодоления метрических трудностей, — смехотворный тезис, вытекающий из того же нелепого источника. Французский гекзаметр, эта рифмованная отрывка, мне поистине отвратителен. Французы всегда сами чувствовали его гадкую противоестественность, гораздо более безнравственную, чем мерзости Содомы и Гоморры; их прекрасным артистам приходится произносить стихи так отрывисто, как будто это проза. К чему же, в таком случае, весь этот ничтожный труд версификации!

Так думаю я нынче, и то же самое ощущал я, будучи еще мальчиком, и легко себе представить, что между мною и старым коричневым париком дело должно было дойти до открытых военных действий, когда я заявил ему, что совершенно не в состоянии сочинять французские стихи. Он ответил, что я вовсе лишен вкуса к поэзии, и назвал меня варваром из Тевтобургского леса.

Я еще до сих пор с ужасом вспоминаю, что мне приходилось переводить по хрестоматии этого профессора речь Каиафы к синедриону, перелагая гекзаметры Кловишковой «Мессиады» на французские александрийские стихи! Это была утонченнейшая пытка, которая превзошла все страстные муки самого Мессии и которую даже он не вынес бы спокойно. Да простит мне господь, я проклял мир и чужеземных угнетателей, пытавшихся наложить на нас иго своей метрики, и был недалек от того, чтобы стать французоедом.

За Францию я готов был умереть, но сочинять французские стихи — ни за что!

Благодаря ректору и моей матери этим раздорам был положен конец. Последняя вообще была недовольна тем, что я учился сочинять стихи, хотя бы даже французские. Дело в том, что в те годы она страшно боялась, как бы я не стал поэтом: это было бы, всегда говорила она, пахучее из всего, что может со мною случиться.

Надо сказать, что представления, которые в те времена сочетались со званием стихотворца, были не слишком лестны: поэт — это был жалкий бедняк в лохмотьях, изготавливающий за несколько талеров стихи на торжественные случаи жизни и в конце концов умирающий в больнице.

Но моя мать мысленно связывала со мной всякие свои великие, высокого полета замыслы, и ее воспитательные



планы были направлены именно к этой цели. Мать играла главную роль в истории моего развития, она составляла программы всех моих учебных занятий, и ее воспитательные планы возникли еще до моего рождения. Я послушно исполнял все ее желания, но, сказать правду, именно она повинна в бесплодности большинства моих попыток и стремлений на поприще гражданской службы, ибо служба никогда не соответствовала моей натуре. Последнее обстоятельство обусловило мою будущность в гораздо большей степени, чем мировые события.

В нас самих светят звезды нашего счастья.

Вначале мать соблазнилась ослепительным блеском Империи, и когда дочь одного фабриканта-металлурга из наших мест, очень дружившая с матерью, став герцогиней, поведала ей, что ее муж выиграл очень много сражений и скоро будет произведен в короли, ах, тогда моя мать стала мечтать для меня о самых золотых эполетах и о самых ослепительных должностях при дворе императора, служению коему она предполагала всецело меня посвятить.

Поэтому я принужден был в то время заниматься преимущественно науками, способствующими карьере такого рода, и несмотря на то, что в лицее уделялось достаточно много внимания математическим наукам, и что у любезного профессора Бревера меня совершенно перекармливали геометрией, гидростатикой, гидравликой и им подобными предметами, и что я утопал в логарифмах и алгебре, все же мне пришлось еще брать частные уроки по дисциплинам, которые должны были сделать из меня великого стратега или, в случае необходимости, администратора завоеванных провинций.

После падения Империи матери моей пришлось отказаться от мечтаний о моей блестящей карьере; учению, имевшему в виду эту цель, наступил конец, и — странное дело! — в сознании моем от него не осталось и малейшего следа, до такой степени было оно ему чуждо. Это были всего-навсего механические достижения, отброшенные мною, точно никчемный хлам.

Мать стала теперь мечтать о блестящей будущности для меня совсем на другом поприще.

В то время уже начался сказочный расцвет Ротшильдова дома, с главою которого был дружен мой отец;

возвысились по соседству с нами еще и другие князья банков и индустрии, и мать утверждала, что нынче пробил час, когда человек с хорошей головой может достигнуть самых невероятных результатов на поприще торговли и подняться таким образом до высочайших вершин мирового могущества. Поэтому она решила, что я должен стать денежной державой, и я был вынужден отныне изучать иностранные языки, в особенности английский, географию, бухгалтерию, короче говоря — науки, имеющие отношение к сухопутной и морской торговле и к промышленности.

Чтобы хоть немного ознакомиться с вексельным делом и с колониальными товарами, мне пришлось затем посещать контору банкира моего отца и подвалы одного крупного торговца пряностями; первое продолжалось самое большее три недели, последнее — месяц, и, тем не менее, благодаря этим обстоятельствам я узнал, как надо составлять векселя и какого вида мускатные орехи.

Знаменитый коммерсант, к которому я хотел поступить в качестве *apprenti millionnaire*,<sup>1</sup> заявил, что у меня нет дара наживы, и я, смеясь, признал, что он, пожалуй, прав.

Поскольку вскоре разразился тяжелый кризис в торговле и мой отец, подобно многим нашим друзьям, лишился состояния, то мыльный пузырь меркантильности лопнул еще быстрее и плачевнее, чем мыльный пузырь имперского величия, и матери, естественно, пришлось предаться мечтам еще о какой-нибудь карьере для меня.

Теперь она решила, что я должен во что бы то ни стало изучать юриспруденцию.

Она, очевидно, подметила, что в Англии уже с давних пор, и даже во Франции и в конституционной Германии сословие юристов стало всемогущим и что в особенности адвокаты благодаря привычке к публичным выступлениям играют главные роли болтунов и добираются таким образом до высших государственных должностей. Мать подметила это совершенно правильно.

Так как тогда именно был только что основан Боннский университет, юридические кафедры которого заняли знаменитейшие профессора, то мать незамедлительно

---

<sup>1</sup> Ученика миллионера (*франц.*).

послала меня в Бонн, где я вскоре уже сидел у ног Макельдея и Велькера и вкушал манну их знаний.

Из семи лет, проведенных мною в немецких университетах, три прекрасных, цветущих года жизни я загубил на изучение римской казуистики, юриспруденции, этой бездушнейшей из наук.

Какая ужасная книга *Corpus juris* — эта библия эгоизма!

Навсегда остались мне ненавистны и сами римляне и правовой их кодекс. Эти разбойники хотели с помощью законов обеспечить за собою то, что приобрели мечом; вот почему римлянин был одновременно и солдатом и адвокатом, что дало смесь самого отвратительного свойства.

Поистине, этим римским грабителям обязаны мы теорией собственности. До того собственность существовала только как факт. Развитие же этого учения в его омерзительнейших выводах и есть то прославленное римское право, которое положено в основу всех наших нынешних узаконений, более того — всех современных государственных учреждений, хотя оно и находится в самом резком противоречии с религией, моралью, чувством человечности и разумом.

Я довел до конца изучение этих богом проклятых наук, но никогда не решился использовать это приобретение и, быть может, еще и в силу предчувствия, что другие с легкостью превзойдут меня в адвокатской болтовне и крючкотворстве, повесил на гвоздь шляпу доктора прав.

Лицо матери стало еще серьезнее, чем обычно. Но я был уже совсем взрослым человеком, достигшим того возраста, когда обходятся без материнского надзора.

Добрая женщина, в свою очередь, постарела и, отказавшись после стольких фиаско от верховного руководства моей жизнью, раскаивалась, как мы видели выше, в том, что не посвятила меня духовному званию.

Теперь она — восьмидесятисемилетняя матрона, но ум ее несколько не пострадал от старости. Она никогда не посягала на подлинный образ моих мыслей и была для меня всегда воплощенная деликатность и любовь.

Ее религией был строгий деизм, вполне соответствующий основному направлению ее ума. Она была ученицей Руссо, читала его «Эмилия», детей своих кормила собствен-

ной грудью, и все относящееся к воспитанию было ее коньком. Сама она получила серьезное образование и была товарищем по занятиям своего брата, который стал превосходным врачом, но рано умер. Когда она была еще совсем юной девушкой, ей приходилось читать своему отцу латинские диссертации и всякого рода ученые сочинения, причем она нередко приводила старика в изумление своими вопросами.

Ее разум и чувства были чрезвычайно здравы, и не от нее унаследовал я склонность к фантастическому и к романтике. В ней, как я уже упоминал, жил страх перед поэзией; увидав у меня в руках роман, она вырывала его, не разрешала мне посещать театральные представления, запрещала всякое участие в народных играх, следила за моими знакомствами, бранила служанок, когда они рассказывали в моем присутствии истории о привидениях, одним словом делала все возможное, чтобы оградить меня от суеверия и поэзии.

Она была бережлива, но только в отношении собственной особы: ради удовольствия других она могла быть расточительной, и так как денег она не любила, хотя и знала им цену, то охотно делала подарки и часто приводила меня в изумление своей добротой и щедростью.

Какое самопожертвование проявила она по отношению к сыну, снабдив его в самое трудное время не только программой научных занятий, но и средствами для них! Когда я поступал в университет, дела моего отца находились в очень плачевном состоянии, и мать продала свои драгоценности, ожерелье и дорогие серьги, чтобы обеспечить мне содержание в течение первых четырех университетских лет.

Впрочем, я был не первым в нашей семье, кто съел за годы университетского учения драгоценные камни и проглотил жемчуга. Отец моей матери, как она сама мне как-то рассказывала, проделал тот же фокус. Драгоценными камнями, украшавшими молитвенник покойной матери деда, были покрыты расходы по его пребыванию в университете, после того как его отец, старый Лазарь де Гельдерн, впал в большую бедность в результате тяжбы из-за наследства с одной из замужних сестер, хотя он и унаследовал от своего отца богатство, о разме-

рах которого старая бабушка рассказывала мне так много чудес.

Мальчику казалось, будто он слышит сказку из «Тысячи и одной ночи», когда старуха рассказывала о больших дворцах, о персидских тканях на стенах, о массивной золотой и серебряной посуде, и все это столь плачевным образом потерял этот добрый человек, пользовавшийся таким почетом при дворе курфюрста и курфюрстины. Его городской дом был самым большим среди особняков на Рейнштрассе; нынешняя больница в новой части города также принадлежала ему, как и замок близ Гравенберга, а в конце концов он дошел до того, что ему негде было приклонить голову.

Мне хочется вплести сюда еще одну историю, под статью рассказанной выше, так как она даст мне возможность реабилитировать в общественном мнении оклеветанную мать одного из моих коллег. Дело в том, что я однажды прочитал в биографии несчастного Дитриха Граббе, что загубивший его порок пьянства был с малолетства привит ему собственной матерью, которая будто бы давала водку мальчику чуть ли не в младенческом возрасте. Обвинение это, услышанное биографом из уст враждебно настроенных родственников, представляется мне совершенно ложным, когда я вспоминаю выражение, с которым покойный Граббе многократно говорил о своей матери, часто самым убедительным образом предостерегавшей его против *dat Suppen*.<sup>1</sup>

Это была грубая женщина, жена тюремного надзирателя, и, лаская юного своего Вольфа-Дитриха, она, вероятно, иной раз слегка царапала его своими лапами волчицы. Однако у нее было подлинно материнское сердце, и она доказала это, когда сын отправился в Берлин учиться.

На прощание, рассказывал мне Граббе, мать сунула ему в руку сверток, в котором находились мягко укутанные ватой полдюжины серебряных ложек, и еще шесть, тоже серебряных, маленьких кофейных ложечек, и такая же суповая ложка — гордость семьи, сокровище, которое женщины из народа уступают только с кровью своего сердца, так как оно как бы является серебряным орденом,

---

<sup>1</sup> Пьянства (нижненемецкий диалект).

отличающим их от заурадной оловянной черни. Когда я познакомился с Граббе, он уже успел съесть суповую ложку Голиафа, как он ее называл. Когда я, бывало, спрашивал его, как ему живется, он лаконически, с омраченным челом отвечал: «Я принялся за третью ложку» или: «Я принялся за четвертую ложку». «Большие кончаются, — вздохнул он однажды, — и, когда очередь дойдет до маленьких, до кофейных ложечек, — придется подтянуть живот! Когда их тоже не станет, совсем нечего будет есть!»

Он был, к сожалению, прав, и чем хуже приходилось ему питаться, тем больше он налегал на питье и стал пьяницей. Вначале нужда, а затем семейное горе побуждали несчастного искать бодрости или забвения во хмелю, и в конце концов он, вероятно, ухватился за бутылку, как другие хватаются за пистолет, чтобы положить конец своему злополучному существованию.

— Поверьте, — сказал мне однажды один наивный вестфалец, земляк Граббе, — он мог много вынести и не умер бы от того, что пил, наоборот, он пил потому, что хотел умереть; он убил себя этим самооплаиванием.

Проявленная мною выше забота о восстановлении одной материнской репутации, конечно, никак не может быть признана неуместной; я до сих пор избегал говорить о ней, так как рассчитывал сделать это в характеристике Граббе, но последняя так и не была написана, и в своей книге «De l'Allemagne»<sup>1</sup> я тоже мог лишь бегло упомянуть о Граббе.

Вышеизложенные замечания обращены скорее к немецкому, чем к французскому читателю; последнему я хотел бы только указать, что упомянутый Дитрих Граббе был одним из величайших немецких поэтов и среди всех наших драматических поэтов является одним из наиболее родственных Шекспиру. Пускай на его лире струн меньше, чем у других, быть может и превосходящих его в этом отношении, но струны, которыми он обладает, издают звук, какой можно услышать только у великого британца. Граббе присущи такие же неожиданные вспышки, тот же непосредственный голос природы, каким нас устрашает, потрясает, восхищает Шекспир,

---

<sup>1</sup> «О Германи» (франц.).

Однако все эти достоинства омрачены безвкусицей, цинизмом и распущенностью, превосходящими все самое дикое и отвратительное, что когда-либо порождал человеческий мозг. Однако это вовсе не была болезнь вроде лихорадки или слабоумия, вызывающая подобные явления, а духовная интоксикация гения. Подобно тому как Платон очень метко назвал Диогена сумасшедшим Сократом, так и нашего Граббе, к сожалению, можно было бы с еще большим правом назвать пьяным Шекспиром.

В изданиях его драм эти уродства очень смягчены, но они были ужасающе резки в рукописи его «Готланда», трагедии, которую он однажды, когда я совсем еще его не знал, передал мне, или, вернее, швырнул мне под ноги со словами: «Я хотел знать, чего я стою, и поэтому отнес эту рукопись профессору Губицу, который покачал над нею головою и, чтобы отделаться от меня, послал к вам, так как в вашей голове будто бы бродят такие же дикие фантазии, как и в моей, и потому вы меня лучше поймете, — ну, вот вам эта мазня!»

Затем чудак, не ожидая ответа, удалился, и так как в ту минуту я собирался идти к г-же фон Фарнхаген, то я и захватил с собою манускрипт, чтобы поднести ей первенца, рожденного поэтом; ибо по прочитанным отрывкам я сразу понял, что это был поэт.

Мы узнаем поэтическую добычу уже по запаху. Но на этот раз запах оказался слишком сильным для женских нервов. Было уже совсем поздно, около полуночи, когда г-жа фон Фарнхаген вызвала меня, заклиная ради самого господа бога убрать ужасный манускрипт, так как она ни за что не уснет, пока он находится в ее доме. Такое впечатление производили произведения Граббе в первоначальном своем виде.

Предыдущее отступление оправдано самою его темою.

Восстановление материнской чести уместно всегда и повсюду, и чувствительный читатель, конечно, не сочтет за досужее отступление приведенные выше отзывы Граббе о родившей его на свет бедной, пезаслуженно оклеветанной женщине.

А теперь, отдав дань уважения несчастному поэту, я хотел бы снова возвратиться к моей матери и к ее родне, продолжив обсуждение влияния, оказанного с этой стороны на мое умственное развитие

После матери моим духовным воспитанием особенно много занимался ее брат и мой дядя Симон де Гельдери. Он умер двадцать лет тому назад. Это был оригинал с невзрачной, даже смешной внешностью. Маленькая, толстенькая фигурка с бледноватым строгим лицом, на котором, правда, помещался прямой греческий нос, однако был он не менее, чем на треть, длиннее тех носов, которые обычно носят греки.

Говорят, будто в юности нос его был обыкновенных размеров и вытянулся столь непристойным образом только в результате дурной привычки — дядюшка вечно его дергал. Когда мы, дети, спрашивали его, правда ли это, дядюшка настойчиво запрещал нам столь неспочтительные речи и снова дергал себя за кончик носа.

Он одевался до последней мелочи старомодно: носил короткие панталоны, белые шелковые чулки, башмаки с пряжками и, по старинной моде, довольно длинную косу, которая, когда этот маленький человечек семенил по улицам, перепрыгивала с плеча на плечо, выделявая всяческие забавные скачки, и, казалось, исподтишка подсмеивалась над собственным своим хозяином.

Часто, когда добрый дядя сидел, погружаясь в размышления или читая газету, мною овладевало кощунственное желание исподтишка схватить его за косичку и подергать, точно звонок у подъезда, что также чрезвычайно возмущало дядюшку, причем он, горестно ломая руки, сокрушался над молодым поколением, которое ни к чему на свете не питает уважения, не считается ни с божеским, ни с человеческим авторитетом и готово в конце концов посягнуть на святейшую из святынь.

Но если этот человек не внушал почтения своей внешностью, то тем более достойны уважения были его душевные качества, его сердце, — это было честнейшее и благороднейшее сердце из всех, какие я познал на этой земле. Честность этого человека доходила до предела и ригоризмом своим напоминала честь в староиспанских драмах, подобно тому как верностью своей он тоже был равен героям этих последних. Он никогда не имел повода стать «врачом своей чести», а будучи «стойким принцем», проявлял такое же рыцарское величие, хотя и не декламировал четырехстопными трохеями, отнюдь не жаждал надгробных палм и не тосковал по ним, а вместо блестящего



рыцарского плаща носил невзрачный сюртучок с фалдами, напоминавшими точь-в-точь хвост трясогузки.

Он вовсе не был аскетом, ненавидящим все чувственное: любил ярмарки по престольным праздникам, винный погребок трактирщика Разиа, где с особым удовольствием ел серых дроздов под можжевелевым соусом, но готов был с гордою решимостью пожертвовать всеми дроздами сего мира и всеми его житейскими радостями, когда дело касалось идеи, которую он признавал истинной и справедливой. И он совершал это с особой неприязательностью, даже со смущением, отчего никто и не замечал, что под забавной оболочкой, собственно говоря, скрывается тайный мученик.

По светским понятиям, он был неудачником в жизни. Симон де Гельдерн прошел в иезуитской школе курс так называемых гуманитарных наук, *humaniora*, однако, когда после смерти родителей у него явилась возможность вполне свободно выбрать жизненную карьеру, он не выбрал ничего, отказался от так называемой учебы «ради хлеба насущного» в заграничных университетах и предпочел остаться у себя дома, в Дюссельдорфе, в «Ноевом ковчеге» — как назывался небольшой, оставленный ему отцом домик, над дверью которого виднелось изображение очень красиво вырезанного и пестро раскрашенного Ноева ковчега.

Отличаясь неутомимым прилежанием, он отдался полностью своим научным увлечениям и чудачествам, библиомании и в особенности страсти к писательству, которой давал выход главным образом в газетах и второстепенных журналах.

Кстати сказать, ему стоило величайших усилий не только писать, но даже думать.

Не развилась ли эта неистовая страсть к писательству в результате стремления быть общественно полезным? Он интересовался всеми текущими вопросами, и чтение газет и брошюр доходило в нем до болезненной мании. Соседи величали его доктором, но, собственно говоря, не за ученость, а потому, что и отец его и брат были докторами медицины. И старых женщин никак нельзя было убедить в том, что старый доктор, столь часто лечивший их, не передал свой дар врачевателя по наследству сыну; едва захворав, они бежали к нему со склянками мочи и,

рыдая, умоляли все же поглядеть на нее и открыть им, что же с ними случилось. Когда бедного дядю отрывали таким забавным образом от научных занятий, он способен был впасть в ярость и с проклятиями отправить к черту старых баб вместе с их склянками и мочою.

Вот этот-то дядя и оказал большое влияние на мое умственное развитие, и в этом отношении я ему бесконечно многим обязан. Как ни расходились мы с ним во взглядах и как бы жалки ни были его литературные устремления, все же, пожалуй, именно он пробудил во мне охоту к литературным опытам.

Дядюшка писал тем старинным, не гибким, канцелярским слогом, которому учат в иезуитских школах, где главное — латынь, и ему нелегко было примириться с моей манерой выражения, представлявшейся ему слишком легковесной, слишком игривой, слишком непочтительной. Но старательность, с какою он отыскивал для меня то, что должно было способствовать моему умственному развитию, как и сами эти пособия, принесла мне величайшую пользу.

Он дарил мне, еще мальчику, самые лучшие, самые дорогие книги; он предоставил мне в пользование собственную библиотеку, столь богатую классическими произведениями и важнейшими брошюрами на современные темы, и даже позволил рыться на чердаке «Ноева ковчега» в сундуках, в которых хранились старые книги и рукописи покойного деда.

Каким жутким восторгом переполнялось сердце мальчика, когда ему удавалось целые дни просиживать на этом чердаке, или, вернее, в просторной комнате под самой крышей.

Убежище это было, впрочем, не так уж прекрасно, а его единственная обитательница, толстая ангорская кошка, не придавала особого значения опрятности и только изредка слегка сметала хвостом пыль и паутину со старого, сваленного беспорядочной грудой хлама.

Но сердце мое было таким цветуще юным и солнце так весело светило в маленькое слуховое оконце, что все мне казалось залитым каким-то фантастическим светом, и старая кошка представлялась заколдованною принцессою, которая, разумеется, возродится когда-нибудь в своей былой красе, во всем своем блеске, освобожденная от зве-

риного облика, а чердак превратится в роскошный дворец, как это обычно случается в подобных волшебных историях.

Однако добрые старые сказочные времена миновали, кошки остались кошкам, и комната на чердаке «Носа ковчега» так и осталась пыльным чуланом, госпиталем для неизлечимо больного домашнего скарба, «Сальнетриром» старой мебели, которая достигла предела дряхлости и которую все же никто не решался выкинуть за дверь из-за сентиментальной привычки или в силу связанных с нею трогательных воспоминаний.

Тут стояла развалившаяся от ветхости люлька, в которой когда-то укачивали мою мать; теперь в ней покоился парадный парик деда, истлевший до последнего волоска и от старости как бы обратившийся в детство.

На стене висели заржавевшая бутафорская шпага деда, каминные щипцы с одною клешнею и другие отслужившие свой век металлические принадлежности. Рядом, на шаткой доске, стояло чучело попугая покойной бабушки; попугай весь облез и был уже не зеленого, а пепельно-серого цвета, у него уцелел один только стеклянный глаз, что придавало ему весьма жуткий вид.

Тут же стоял большой зеленый фарфоровый мопс, пустой внутри; у него была отбита часть зада, и кошка, казалось, питала великое почтение к этому произведению китайского или японского искусства; она набожно, на все лады, изгибала перед ним спину и, вероятно, считала его божеством, — ведь кошки так суеверны.

В одном углу лежала старая флейта, когда-то принадлежавшая моей матери; мать играла на флейте, будучи еще совсем юной девушкой, и как раз эту чердачную комнату она избрала в качестве своего концертного зала, чтобы музыка не мешала занятиям старого господина, ее отца или чтобы он не сердился на сентиментальную трату времени, которую позволяла себе его дочь. Теперь флейта стала любимой игрушкой кошки — уцепившись за блеклый розовый бант, которым была повязана флейта, кошка катала ее по полу взад и вперед.

К числу древностей чердачной комнаты относились также глобусы, странные изображения планет, колбы и реторты, свидетельствовавшие о занятиях астрологией и алхимией.

В сундуках, среди дедушкиных книг, находилось немало сочинений, посвященных этим тайным наукам. Правда, бóльшая часть книг была просто-напросто медицинским старьем. Не было недостатка и в философских произведениях; однако рядом с архипрассудительным Картезием лежали фантасты, как Парацельс, ван Гельмонт и даже Агриппа Неттесгеймский, «*Philosophia occulta*»<sup>1</sup> которого я впервые здесь узрел воочию. Уже мальчиком меня забавляла посвятельная эпистола этой книги, адресованная аббату Тритхейму, и приведенный тут же ответ последнего, в котором этот хитрец с процентами возвращает другому шарлатану его же высокопарные комплименты.

Однако самой замечательной и драгоценной находкой, которую я сделал в тех пыльных сундуках, была записная книжка, исписанная рукою одного из братьев моего деда, которого называли Шевалье или Восточным человеком и о котором старые мои тетушки накопили так много рассказов и анекдотов.

Этот двоюродный дед, также носивший имя Симона де Гельдерна, был, очевидно, своеобразным чудачком. Прозвище Восточного человека он получил оттого, что много путешествовал по Востоку и, возвратясь, продолжал неизменно носить восточную одежду.

Дольше всего он пробыл, по-видимому, в приморских городах Северной Африки, особенно в марокканских государствах, где выучился у какого-то португальца ремеслу оружейника и удачно занимался этим ремеслом.

Он совершил паломничество в Иерусалим, где ему было видение во время молитвенного экстаза на горе Мориа. Что ему привиделось? Этого он не открыл никому.

Одно независимое бедуинское кочевое племя, исповавшееся не ислам, а нечто вроде мозаизма и пользовавшееся одним из затерянных в североафриканской пустыне оазисов в качестве временного убежища, избрало его своим предводителем, или шейхом. Этот воинственный народец враждовал с соседними племенами и был грозой караванов. Говоря языком европейцев, мой блаженной памяти двоюродный дедушка, благочестивый визионер со священной горы Мориа, стал разбойничьим атаманом.

---

<sup>1</sup> «Оккультную философию» (лат.). (См. комментарии.)

В этой прекрасной стране он приобрел также знания по коневодству и мастерство в верховой езде, которые возбуждали такое изумление после его возвращения на Запад.

Он подолгу жилав при различных дворах, блистая красотой и статностью, а также пышностью восточной одежды, производившей, особенно на женщин, чарующее впечатление. Но больше всего он, вероятно, импонировал своими мнимыми тайными знаниями, и никто не дерзал колебать авторитет всемогущего некроманта пред его высокими покровителями. Дух интриги пасовал перед духами кабалы.

Погубить его могло только собственное высокомерие, и старые тетки покачивали так странно и таинственно седыми головами, рассказывая шепотком о некоей галаитной связи, в которой Восточный человек состоял с одной чрезвычайно сиятельной дамой и раскрытие которой заставило его самым поспешным образом покинуть двор и страну. Только благодаря бегству, — причем он бросил все свое добро, — удалось ему ускользнуть от верной смерти, и спасением он был обязан как раз своему испытанному искусству верховой езды.

После этого приключения он, по-видимому, обрел в Англии надежное, но убогое убежище. Я сужу об этом по изданной в Лондоне двоюродным дедом брошюре, которую случайно открыл в дюссельдорфской библиотеке, забравшись на самые верхние книжные полки. Это была французская оратория в стихах, называлась она «Моисей на Хориве» и была, быть может, связана с упомянутым выше видением; предисловие, однако, было написано на английском языке и помечено Лондоном; стихи, как все французские стихи, — рифмованная тепленькая водица, но в английской прозе предисловия прорывалось негодование обездоленного гордого человека.

Из записной книжки двоюродного деда я почерпнул лишь немного достоверных сведений. Записи в ней, возможно из осторожности, были сделаны большей частью арабскими, сирийскими и коптскими буквами, среди которых, как это ни странно, встречались французские цитаты; например, очень часто повторялся стих:

Où l'innocence périt c'est un crime de vivre.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Там, где гибнет невинность, жить — преступление.

Меня поразили еще некоторые рассуждения, также написанные по-французски; автор, видимо, обычно пользовался этим языком.

Этот двоюродный дед был загадочным, трудно поддающимся пониманию явлением. Он вел одно из тех странных существований, какие были возможны лишь в начале и в середине восемнадцатого столетия; это был наполовину мечтатель, проповедник космополитических утопий, суливших миру счастье, наполовину авантюрист, в сознании своей индивидуальной силы опрокидывающий гнилые барьеры гнилого общества или перепрыгивающий через них. Во всяком случае, это был человек в полном смысле слова.

Его шарлатанство, которого мы не станем отрицать, не было низкопробным. То не был заурядный шарлатан, вырывающий крестьянам зубы на базаре, напротив, он смело пробивался во дворцы сильных мира сего, чтобы вырвать у них самый крепкий коренной зуб, как некогда рыцарь Гюон де Бордо у султана вавилонского.

«Ремеслá без шума не справить!» — говорится в пословице, а жизнь — такое же ремесло, как и всякое другое.

И в каком выдающемся человеке не скрывается немножечко шарлатанства! Самые ужасные — это шарлатаны скромности, с их смирением паче гордости. Тот, кто хочет влиять на толпу, нуждается в шарлатанской приправе.

Цель оправдывает средства. Ведь даже сам господь бог, издавая свои заповеди на горе Синай, не упустил случая основательно посверкать молниями и погромоухать, хотя этот закон был так превосходен, так божественно хорош, что мог отлично обойтись без приправы из вспыхивающей канифоли и оглушительных звуков литавр. Но господь знал свою публику, которая, разинув рты, стояла со своими быками и овцами у подножия горы и которой физический фокус мог, несомненно, внушить больше благоговения, чем все мистерии вечной мысли.

Как бы там ни было, этот двоюродный дедушка чрезвычайно занимал воображение мальчика, Все рассказы о нем производили неизгладимое впечатление на мою юную душу, и я так глубоко уходил в его скитания и превратности его судьбы, что иной раз среди бела дня меня охватывало жуткое чувство и мне представлялось, будто покой-

ный дед — я сам и будто жизнь моя — всего-навсего продолжение жизни этого давно умершего человека.

По ночам все это ретроспективно отражалось в снах. Жизнь моя походила в то время на большой журнал, верхний отдел которого был отведен современности, сегодняшнему дню, с его текущими новостями и текущими дебатами, в то время как в нижнем разделе в связанных между собой почных сновидениях, точно в серии продолжений романа, который печатается в газете, фантастически всплывало поэтическое прошлое.

В этих снах я полностью отождествлял себя с дедом и в то же время с ужасом чувствовал, что я — некто другой и принадлежу другой эпохе. Там были страны, которых я никогда не видел; существовали отношения, о которых я не имел раньше ни малейшего представления, и все-таки я бродил там твердыми стопами и с непоколебимой уверенностью.

Мне встречались там люди в огненно-пестрых, странных одеждах, со сказочно страшными физиономиями, и все-таки я пожимал им руки, как старым знакомцам; их до дикости чуждый, никогда не слыханный мною язык казался понятным; к изумлению моему, я даже отвечал им на том же языке, причем жестикулировал с никогда не свойственной мне стремительностью и даже высказывал вещи, до отворачивания контрастировавшие с моим обычным образом мыслей.

Это странное состояние длилось около года; и хотя я затем снова восстановил единство самосознания, в моей душе все же остались тайные следы. Кое-какие идиосинкразии, разные странные симпатии и антипатии, совсем не соответствующие моему характеру, и даже некоторые поступки, стоящие в противоречии с моим образом мыслей, я объясняю себе как следствие той мечтательной поры, когда я был моим собственным двоюродным дедом.

Когда я совершаю ошибки, происхождение которых мне представляется непонятным, я с удовольствием отпущу их за счет моего восточного двойника. Когда я однажды, желая загладить незначительный промах, сообщил эту гипотезу отцу, он лукаво заметил, что, как он надеется, мой двоюродный дед не подписывал векселей, которые когда-нибудь могут быть предъявлены мне к оплате.

Такого рода восточные векселя мне никогда не были предъявлены, однако у меня достаточно возни с моими собственными векселями западного происхождения.

Но существуют, несомненно, долги похуже денежных, доставшиеся нам для погашения от наших предков. Каждое поколение — продолжение предшествующих и ответственно за их дела. В писании сказано: отцы ели незрелый виноград, внукам же придется страдать от оскомины.

Между сменяющимися друг друга поколениями существует солидарность; даже целые народы, вступающие друг после друга на арену, признают такого рода преемственность, и все человечество в целом ликвидирует в конце концов великую задолженность прошлого. Великая долговая книга будет за ненадобностью уничтожена в Иосафатовой долине, если только это не произойдет раньше, по причине всемирного банкротства.

Законодатель евреев глубоко познал эту преемственность и особо санкционировал ее в постановлениях о праве наследования; он, по-видимому, совсем не признавал индивидуального бытия после смерти, он верил только в бессмертие рода; всякое имущество было собственностью рода, и никто не имел права настолько его отчуждать, чтобы оно через определенное время не возвратилось к членам рода.

Резкою противоположностью этой гуманной идее Моисеева закона является римский закон, который и в наследственном праве выявляет эгоистический характер римлян.

Я не стану пускаться в изыскания по этому поводу и, продолжая личные свои признания, воспользуюсь лучше представившимся мне случаем еще раз показать на примере, как враги мои подбирали невиннейшие факты для самых злобных инсинуаций. Они утверждали, будто им удалось раскрыть по моим биографическим заметкам, что я очень много говорю о родне со стороны матери и ни единого слова — о свойственниках и кровных родственниках с отцовской стороны, причем объясняли это сознательным подчеркиванием и замалчиванием и обвиняли меня в тех же суетных задних мыслях, в коих упрекали также моего покойного коллегу Вольфганга Гете.

Без сомнения, соответствует действительности, что он в своих мемуарах очень часто и с особым удовольствием



заводит речь о своем деде с отцовской стороны, который председательствовал в качестве его милости старшины во франкфуртской ратуше, и ни единым словом не упоминает деда с материнской стороны, вечно сидевшего скрестив ноги на рабочем столе в Бокенгеймском переулке в качестве почтенного заплаточника-портняжки и починявшего старые штаны всей республике.

Не мое дело вступаться за Гете в связи с этим замалчиванием; что же касается меня самого, то я хотел бы доложить в ответ на все злостные и столь многократно враждебно использованные толкования и инсинуации, что не моя вина, если в моих писаниях ничего не говорится о деде с отцовской стороны. Причина очень простая: я мало что знал о нем. Покойный отец совсем чужим человеком приехал в мой родной город Дюссельдорф; у него не было родственников, ни одной из тех старых теток и двоюродных сестриц, этих бардов женского пола, которые из дня в день с эпической монотонностью напевают юному поколению древние фамильные предания и заменяют при этом обязательный у шотландских бардов аккомпанемент волынки сопением собственных носов. Моя юная душа могла воспринять с этой стороны только ранние впечатления о великих бойцах материнского клана, и я благоговейно внимал рассказам старой Бройнле или Брунгильды.

Сам-то мой отец был очень молчалив по натуре, рассказывал неохотно, и однажды, когда я еще маленьким мальчиком проводил будни в унылой школе при францисканском монастыре, а воскресения — дома, я как-то воспользовался удобным случаем и спросил его, кто был мой дедушка. На этот вопрос отец ответил мне полусмеясь-полусердито: «Твой дед был маленький еврей с большой бородой».

Придя на следующий день в класс, где к тому времени уже собрались мои юные товарищи, я тотчас же поспешил сообщить им важную новость, — что мой дедушка был маленький еврей с большой бородой.

Едва я поделился этим сообщением, как оно понеслось из уст в уста; его твердили на разные лады, подражая при этом крику различных животных. Мальчишки стали прыгать по столам и скамейкам, срывали со стен классные доски, обрушивая их на пол вместе с чернильницами,

и при этом хохотали, блеяли, хрюкали, лаяли, каркали — адский спектакль, неизменным рефреном к которому служил дедушка, оказавшийся маленьким евреем с большой бородой.

Учитель, в ведении которого был класс, услышав шум и крики, появился в зале с пылающим от гнева лицом и тотчас же спросил, кто зачинщик этого безобразия. Как всегда бывает в подобных случаях, каждый малодушно старался свалить вину на другого, и в конце следствия я, несчастный, был изобличен в том, что своим сообщением о дедушке дал повод ко всей этой кутерьме, и искупил свою вину основательным количеством палочных ударов.

То были первые побои, воспринятые мною на этой земле, и уже по данному поводу я сделал философическое наблюдение, что господь бог, сотворивший побои, в своей благостной мудрости позаботился также о том, чтобы тот, кто их наносит, в конце концов утомлялся, ибо иначе они стали бы невыносимы.

Орудие, которым меня избивали, была желтая трость, однако полосы, которые она оставила на моей спине, были темно-синего цвета. Я их запомнил.

Запомнил я также имя учителя, избившего меня столь немилосердно: это был патер Дикершейт; вскоре его удалили из школы по причинам, которые тоже не забыты мною, но которых я не хочу разглашать.

Либералы достаточно часто возводили напраслину на духовенство, но в наши дни следовало бы проявлять некоторую снисходительность, когда один из недостойных его членов совершает преступления, которые, в сущности, правильнее отнести за счет человеческой природы, или, вернее, ее уродливого искажения.

Вместе с именем человека, наградившего меня впервые побоями, в памяти моей сохранился также повод, а именно — мое злополучное генеалогическое сообщение, и следы этих ранних впечатлений детства настолько сильны, что каждый раз, когда в моем присутствии заходила речь о маленьких евреях с большими бородами, у меня по спине пробегал холодок жутких воспоминаний. «Обжегшись на молоке, дуют на воду», — говорит половица, и всякий легко поймет, что я с тех пор не чувствовал особой склонности ни к тому, чтобы приобретать

более точные сведения об этом опасном дедушке и его родословном древе, ни к тому, чтобы делиться этими сведениями с взрослой публикой, как я некогда поделился ими с детворой.

Не могу все же не упомянуть о бабушке с отцовской стороны, о которой знаю также очень немного. Это была необыкновенно красивая женщина и единственная дочь гамбургского банкира, широко известного своим богатством. Эти обстоятельства заставляют меня предполагать, что маленький еврей, взявший прекрасную особу из дома состоятельнейших родителей и водворивший ее на место своего жительства, в Ганновер, обладал, кроме большой бороды, еще какими-то весьма похвальными качествами и был, очевидно, очень респектабелен.

Он рано умер, оставив после себя молодую вдову с шестью детьми — все это были мальчики, притом в самом пещном возрасте. Она возвратилась в Гамбург и умерла также не в очень преклонных годах.

В спальне моего дяди Соломона Гейне, в Гамбурге, я как-то видел портрет бабушки. Художник, в погоне за эффектами светотени в рембрандтовской манере, изобразил ее на картине в черном монашеском головном уборе и почти такой же строгой, темной робе на совершенно темном, смолистого оттенка, фоне, так что круглое, с двойным подбородком лицо мерцало неясным блеском, точно полная луна среди ночных облаков.

Лицо ее сохраняло следы большой красоты, черты его были одновременно и кротки и серьезные, и особенно *morbidezza*<sup>1</sup> оттенков кожи придавала ее лицу выражение своеобразного благородства; если бы художник выписал на груди дамы большой бриллиантовый крест, можно было бы, несомненно, подумать, что перед тобою портрет какой-то сиятельной аббатисы протестантского дворянского монастыря.

Из сыновей бабушки только двое, насколько я знаю, унаследовали ее необычайную красоту, а именно мой отец и дядя Соломон Гейне, покойный глава гамбургского банкирского дома, носившего его имя.

В красоте моего отца было нечто чересчур мягкое, бесхарактерное, почти женственное. Его брат, напротив,

---

<sup>1</sup> Мягкость (*итал.*).

отличался мужественной красотой и был вообще человеком, сила характера которого сказывалась imponирующим образом, а иногда даже с поразительной яркостью в его благородно-правильных чертах.

Его дети, все без исключения, расцвели очаровательнейшей красотой, но смерть похитила их в расцвете лет, и из всего этого прекрасного букета человеческих образов уцелели только двое — нынешний глава банкирского дома и его сестра, редкое явление с . . . . .

Я очень любил всех этих детей и любил также их мать, которая тоже отличалась красотой и рано скончалась, и все они стоили мне немало слез. Право, мне придется в это мгновение тряхнуть моим дурацким колпаком, чтобы звоном бубенцов заглушить мысли, от которых хочется плакать.

Я сказал выше, что в красоте моего отца было нечто женственное. Я ни в коем случае не хочу этим намекнуть на недостаток мужественности: ее он доказывал не однажды, особенно в молодости, и сам я в конце концов живое ее свидетельство. В сказанном не следует видеть ничего неуважительного; я имел в виду лишь формы его телесного существа, которые не были ни упругими, ни напряженными, а скорее мягкими и нежно округлыми. Контурам его облика недоставало отчетливости, они расплывались в неопределенности. В позднейшие годы он стал тучным, но и в юности, видимо, не отличался худобой.

Мое предположение подтверждает портрет, который впоследствии погиб у матери во время пожара; отец изображен на нем молодым человеком лет восемнадцати или девятнадцати, в красном мундире, с напудренной головой и с кошельком для волос.

Этот портрет, к счастью, написан пастелью. Я говорю: «к счастью», так как последняя обладает свойством гораздо лучше, чем масляная краска с добавлением лака, передавать ту цветную пыль, которую мы замечаем на лицах людей, употребляющих пудру, и которая выгодно скрашивает неопределенность черт.

Благодаря тому, что художник на упомянутом портрете поместил чуть розовое лицо в раме из белых как мел напудренных волос и такого же белого галстука, он придал ему при помощи контрастов более отчетливый колорит, и оно выступает с большою силою.

И пурпурово-красный пвст сюртука, столь неприятно ухмыляющийся нам с картин, писанных маслом, здесь, напротив, дает хороший эффект, поскольку благодаря ему розовый цвет лица приятно смягчен.

Тип красоты, сказавшийся в его чертах, не напоминал ни строгой, целомудренной идеальности греческих произведений искусства, ни спиритуалистически-мечтательного, но оплодотворенного языческим здоровьем стиля ренессанс; нет, напротив, упомянутый портрет был полностью характерен для эпохи, которая как раз вовсе не обладала характером и любила красоту меньше, чем краснота, миловидность, кокетливость и нарядность, — эпохи, возводившей приторность до высот поэзии, той слащавой, вычурной эпохи рококо, которую называли также «эпохой кошельков для волос» и которая на самом деле поместила свой знак отличия — кошелек для волос — не на лбу, а на затылке. Если бы изображение отца на упомянутом выше портрете больше приближалось к миниатюре, можно было бы подумать, что его написал чудесный Ватто, для того чтобы, обрамленный фантастическими арабесками из разноцветных камней и золотых блесток, он красовался на веере г-жи де Помпадур.

Достоинo, пожалуй, упоминания то обстоятельство, что отец даже в позднейшие годы сохранил верность старинной моде пудриться и заставлял себя пудрить ежедневно, вплоть до своей кончины, хотя у него были самые замечательные волосы, какие только можно себе вообразить. Они были светлые, почти золотистые, и такой мягкости, какою, по-моему, отличается только невыделанный китайский шелк.

Он, наверное, с удовольствием сохранил бы также кошелек для волос, однако прогрессивный дух эпохи был неумолим. Отец нашел следующий выход, который легко успокоил его. Он пожертвовал одной только формой, черным мешочком, кошельком; длинные же локоны стал с этих пор сплетать широким шиньоном, который укреплялся на голове маленькими гребеночками. Благодаря мягкости волос и пудре этот узел оставался почти незаметным, и, таким образом, отец, по существу, все-таки не отрекся от древнего кошелька для волос, но, подобно иным криптоортодоксам, лишь внешне покорился жестокому духу времени.

Красный мундир, в котором отец изображен на вышеупомянутом портрете, раскрывает нам его ганноверские служебные отношения. В начале французской революции отец был в свите принца Эрнста Кумберлендского и проделал с ним поход во Фландрию и Брабант в качестве провиантмейстера, или комиссара, или, как их называют французы, *officier de bouche*; пруссаки называют их «мучными червями».

Подлинной же должностью этого юнца была должность фаворита при принце, как бы Бреммеля *au petit pied*<sup>1</sup> и без туго накрахмаленного галстука; в конце концов он также разделил участь такого рода игрушек княжеского благоволения. Правда, отец всю свою жизнь был твердо уверен в том, что принц, ставший впоследствии ганноверским королем, никак не мог его забыть, однако он никогда не умел себе объяснить, почему же принц ни разу не позвал его к себе, ни разу не приказал о нем справиться, — ведь не мог же он быть уверен в том, что его бывший фаворит не нуждается в силу обстоятельств в поддержке.

Во время этого похода зародились некоторые сомнительные пристрастия отца, отучить от которых моей матери удалось его только постепенно. Например, его легко было втянуть в крупную игру, он охотно протезировал драматическому искусству, или, вернее, его жрицам, а сверх того, его страстью были лошади и собаки. Отправляясь в Дюссельдорф, где, из любви к матери, отец сделался купцом, он взял с собой двенадцать прекраснейших лошадей. Однако он отказался от них, согласно настойчивому желанию юной супруги, убедившей его, что этот четвероногий капитал пожирает слишком много овса и не приносит никакого дохода.

Труднее было матери удалить и шталмейстера, дюжего олуха, который вечно валялся на конюшне и картежничал с каким-нибудь бог знает где обретенным оборванцем. В конце концов он ушел добровольно, прихватив с собою отцовские золотые часы с репетицией и еще кое-какие драгоценности.

Отделавшись от этого негодяя, мать уволила в отставку также охотничьих псов отца, за исключением одного-

---

<sup>1</sup> Более мелкого масштаба (*франц.*).

единственного, который назывался Joli,<sup>1</sup> по был архибе-  
зобразен. Он списал ее благоволение именно потому,  
что ничем решительно не походил на охотничью собаку,  
и потому, что мог стать бюргерски-порядочным и добро-  
детельным дворовым псом. Он поселился в старой карете  
отца, стоявшей посреди пустой конюшни, и когда отец и  
Joli встречались там, они обменивались многозначитель-  
ными взглядами. «Так-то, Joli», — вздыхал отец, а Joli  
грустно вилял хвостом.

По-мосму, пес был лицемером, и однажды, когда этот  
любимец отца слишком жалобно взвизгнул, получив  
пинок ногою, отец, будучи в дурном настроении, при-  
знал, что каналья притворяется. В конце концов Joli  
совсем опаршивел; поскольку он превратился в ходячую  
блошиную казарму, его пришлось утопить, что не вызвало  
возражений со стороны отца. Люди жертвуют четвероно-  
гими фаворитами с таким же равнодушием, с каким  
князья — двуногими.

Очевидно, в эпоху походов зародилось в отце и его  
безграпичное пристрастие к военным, или, вернее, к игре  
в солдаты, вкус к той веселой, праздной жизни, где золо-  
тая мишура и пунцовые тряпки скрывают внутреннюю  
пустоту, а пьяное тщеславие может сойти за мужество.

В среде окружавшего его юнкерства не было ни серьез-  
ности воинского духа, ни подлинного стремления к славе:  
о героизме не могло быть и речи. Самым главным для  
него были вахтпарады, бряцание портупей и столь наряд-  
ный на красивых мужчинах, плотно облегающий мундир.

Как счастлив был поэтому отец, когда в Дюссельдорфе  
учредили гражданскую гвардию и он в качестве офицера  
последней получил возможность носить прекрасный темно-  
синий мундир с небесно-голубыми бархатными отворотами  
и дефилировать мимо нашего дома во главе своих колонн!  
Он салютовал с очаровательнейшей галантностью моей  
матери, которая, краснея, стояла у окна; при этом султан  
на его треугольной шляпе развевался так гордо и эполеты  
радостно блестели в солнечных лучах.

Еще более счастлив бывал отец, когда до него дохо-  
дила очередь быть дежурным начальником гауптвахты  
и блюсти безопасность города. В такие дни на гауптвахте

---

<sup>1</sup> Красивый (*франц.*).

лились рюдесгеймеры и асмансхойзеры самых удачных урожаев, полностью за счет командира, щедрость которого неустанно прославляли его гражданские гвардейцы, все эти его друзья-приятели.

И отец пользовался среди них популярностью, наверное не уступавшей тому воодушевлению, с каким старая гвардия приветствовала императора Наполеона. Правда, последний умел воодушевлять солдат другими способами. Гвардейцы отца не были лишены известной храбрости, в особенности когда приходилось брать штурмом батарею винных бутылок с жерлами самого крупного калибра. Однако героизм их был совсем иного сорта, чем тот, которым отличалась старая императорская гвардия. Последняя умирала, но не сдавалась, отцовские же гвардейцы всегда оставались в живых, но частенько сдавали.

Что же касается безопасности города Дюссельдорфа, то в те ночи, когда отец начальствовал на гауптвахте, положение бывало весьма сомнительным. Отец, правда, заботился о рассылке патрулей, которые с пением и звоном обходили город в различных направлениях. Однажды случилось, что два таких патруля столкнулись и пытались в темноте арестовать друг друга как пьяниц и буянов. К счастью, соотечественники мои — народец беззаботный и веселый, к тому же они «добродушны во хмелю» — «ils ont le vin bon», — и никакой беды на этот раз не произошло: они сдались друг другу.

Основной чертой отца была безграничная жизнерадостность: он жадно стремился к наслаждениям, был весел, никогда не терял розового настроения духа. В его душе была вечная ярмарка, и если музыка, призывавшая к танцу, звучала порою не слишком увлекательно, зато для нее постоянно настраивались скрипки. Вечная небо-сно-голубая жизнерадостность и фанфары легкомыслия. Беззаботность, не помнившая о прошедшем дне и никогда не желавшая подумать о завтрашнем.

Этот нрав самым причудливым образом противоречил важности, разлитой на его строго-спокойном лице и проявлявшейся в осанке и в каждом движении. Тот, кто его не знал и впервые видел эту серьезную напудренную фигуру с многозначительным выражением лица, мог в самом деле подумать, что узрел одного из семи греческих мудрецов. Однако при более близком знакомстве пельзя было



не заметить, что он не Фалсс и не Лампсак, мудрствующий над космогоническими проблемами. Правда, эта важность вовсе не была у него напускной, но все же она напоминала античные барельефы, на которых изображен веселый ребенок, прикрывающий лицо большой трагической маской.

Он был действительно большим ребенком, с ребяческой наивностью, которая у плоских виртуозов рассудочности могла весьма легко сойти за глупость, но которая подчас благодаря какому-нибудь глубокомысленному изречению обнаруживала значительную способность к созерцанию (к интуиции).

Он улавливал своими духовными щупальцами то, до чего умники лишь медленно доходили путем размышления. Он думал не столько головою, сколько сердцем, а сердце у него было самое приветливое и ласковое, какое только можно себе представить. Улыбка, игравшая иногда на его устах и весьма забавно и мило контрастировавшая с упомянутой выше важностью, была трогательным отражением его сердечной доброты.

И в голосе его, хотя и мужественном, полнозвучном, было тоже что-то ребяческое, я сказал бы, даже что-то напоминающее голоса леса, вроде звуков, издаваемых красношейкой; когда он говорил, голос его проникал прямо в сердце, как будто он был освобожден от необходимости проходить через уши.

Говорил он на диалекте Ганновера, где, как и южнее, по соседству с этим городом, всего лучше говорят по-немецки. Это было большой удачей для меня, ибо благодаря отцу я уже с детства был, таким образом, приучен к хорошему немецкому произношению, между тем как у нас в городе говорят на том сквернейшем нижнерейнском тарабарском наречии, которое до известной степени еще выносимо в Дюссельдорфе, но в соседнем Кельне становится поистине отвратительным. Кельн — это Тоскана классически дурного немецкого произношения, и Кобес изъясняется с Мариццебилль на наречии, которое звучит как тухлые яйца и даже чуть ли не пахнет ими.

В говоре дюссельдорфцев чувствуется уже некий переход к лягушинуму кваканию голландских болот. Я ни в коем случае не собираюсь оспаривать своеобразные красоты голландского языка, но сознаюсь, что мой слух

их не улавливает. Быть может, справедливо даже и то, что наш немецкий язык, как это утверждали патристически настроенные лингвисты в Нидерландах, есть всего-навсего испорченный голландский. Возможно.

Это напоминает мне утверждение одного космополита зоолога, провозгласившего обезьяну родоначальницей человеческого рода: люди, по его мнению, всего только образованные, даже сверхобразованные обезьяны. Если бы обезьяны умели говорить, они, вероятно, утверждали бы, что человек — всего-навсего выродившаяся обезьяна, что человеческий род — это испорченный обезьяний род, подобно тому как, по мнению голландцев, немецкий язык это испорченный голландский.

Я сказал: «если бы обезьяны умели говорить», хотя на самом деле далеко не уверен, что они говорить не могут. Сенегальские негры упорно настаивают на том, будто обезьяны совсем такие же люди, как мы, только умнее, потому что они воздерживаются от разговоров, чтобы их не признали за людей и не заставили работать; забавные обезьяньи проделки — просто-напросто хитрость, с помощью которой они хотят добиться, чтобы земные владыки признали их негодными для эксплуатации, какой подвергаемся все мы, прочие люди.

Подобный отказ от всякой суетности мог бы внушить мне самое высокое представление об этих людях, сохраняющих молчаливое инкогнито и даже, возможно, потешающихся над нашим скудоумием. Они охраняют свободу в своих лесах и никогда не выходят из первобытного состояния. Поистине, они вправе были бы утверждать, что человек — выродившаяся обезьяна.

Быть может, наши предки в восемнадцатом столетии уже догадывались об этом, и, чувствуя инстинктивно, что наша лащенная сверхцивилизация — всего только лакированная гниль и что нам крайне необходимо вернуться к природе, они попытались снова приблизиться к нашему прототипу, к естественному обезьяньему бытию. Они сделали все, что было в их силах, и когда им наконец недоставало только хвоста, чтобы стать законченной обезьяной, они возместили этот недостаток косою. Таким образом, мода на косы является знаменательным симптомом серьезнейшей потребности, а вовсе не пустою прихотью... Понапрасну трясу я, однако, бубенцами своего

колпака, чтобы заглушить их звоном тоску, охватывающую меня всякий раз, когда вспоминаю покойного отца.

Я любил его больше всех на свете. Прошло уже более двадцати пяти лет, с тех пор как он умер. Я никогда не думал, что могу потерять его, и даже сейчас лишь с трудом верю, что в самом деле потерял его. Трудно примириться со смертью людей, которых мы горячо любили. Но они ведь и не умерли, они продолжают жить в нас, они обитают в нашей душе.

С тех пор не проходило ни одной ночи без того, чтобы я не думал невольно о покойном отце, и, когда я просыпаюсь утром, мне часто чудится, будто я еще слышу звук его голоса, как бы эхо сновидения. Тогда мне приходит в голову, что надо поскорее одеться и поспешно спуститься к нему в большую комнату, как я это делал когда-то мальчиком.

Отец имел привычку и зимою и летом вставать очень рано и тотчас же приниматься за дела, и я чаще всего уже заставал его за письменным столом, причем он, не поднимая глаз, протягивал мне руку для поцелуя. Прекрасная, тонко выточенная, благородная рука, которую он неизменно мыл миндальными отрубями. Я еще вижу ее перед собою, вижу каждую голубую жилку, струйкой извивающуюся по этой ослепительно белой, мраморной руке. И кажется, будто запах миндаля забирается, щекоча, в нос, и глаза становятся влажными.

Иногда дело не ограничивалось одним только целованием руки, и отец ставил меня между колен и целовал в лоб. Однажды утром он обнял меня с совершенно необычайною нежностью и сказал: «Прошлою ночью мне приснилось кое-что хорошее о тебе, и я очень тобою доволен, милый мой Гарри». Когда он произносил эти наивные слова, на его губах мелькнула улыбка, которая, казалось, говорила: пускай Гарри шалит в действительности сколько ему вздумается, все же, чтобы любовь моя оставалась неомраченной, мне всегда будет сниться о нем что-нибудь приятное.

Гарри — у англичан домашняя кличка для тех, кто носит имя Генри, и она вполне соответствует данному мне при крещении немецкому имени Генрих. Уменьшительные от последнего крайне неблагозвучны на языке моей родины и отдают чем-то шутовским, например Гейнц,

Гейнцхеп, Гинц. К тому же, Гейнцхенами часто называют маленьких домашних кобальдов, а кот в сапогах на кукольном театре и вообще кот народной сказки называется Гинце.

Однако отец англизировал мое имя не с целью избежать этого неблагозвучия, а для того, чтобы оказать внимание одному из лучших своих английских друзей. Мистер Гарри был поверенным отца по торговым делам в Ливерпуле: он знал там лучшие фабрики, производящие вельветин — товар, которым очень интересовался отец, скорее из тщеславия, чем из корысти, ибо, хотя он и утверждал, что зарабатывает на этом товаре много денег, это оставалось все же весьма проблематичным, и возможно, что отец еще свои приплачивал, если это давало ему возможность продавать вельветин лучшего качества и в больших количествах, чем это делали его конкуренты. Да и вообще отцу, собственно говоря, чужд был дух купеческой расчетливости, хотя он и занимался всегда расчетами, и торговля была для него скорее игрою, подобно тому как у детей существует игра в солдатики или в кухонную страшню.

Деятельность его, собственно говоря, состояла только в непрерывной суете. Вельветин стал его коньком, и он бывал счастлив, когда разгружались большие фургоны и когда еще раньше, чем кончится распаковка, переднюю заполняли все окрестные еврей-торговцы: они ведь были лучшими его клиентами, его вельветин находил у них не только широкий сбыт, но и почтительное признание.

Возможно, что ты, дорогой читатель, даже не знаешь, что такое вельветин, поэтому я позволю себе разъяснить, что это — английское слово, означающее «схожий с бархатом», и что так называется вид бумажного бархата, из которого изготавливаются очень хорошие брюки, жилеты, даже камзолы. Этот материал, идущий на одежду, носит еще название манчестер, от имени фабричного города, где его впервые начали изготавливать.

И вот именно потому, что друг моего отца, обладавший даром наилучшим образом покупать вельветин, носил имя Гарри, мне тоже было дано это имя, и домашние, и близкие друзья, и соседи стали называть меня Гарри.

Мне и сейчас еще очень приятно, когда меня называют этим именем, несмотря на то, что я обязан ему серьезной

обидой, быть может глубочайшей обидой моего детства. И только теперь, когда я уже не живу среди живых и, следовательно, в душе моей угасает всякая светская суетность, я в состоянии без стеснения говорить об этом.

Здесь, во Франции, мое немецкое имя Heinrich<sup>1</sup> перевели тотчас же после моего прибытия в Париж как Henri,<sup>2</sup> и мне пришлось приспособиться к этому и в конце концов называть себя этим именем, оттого что французскому слуху неприятно слово Heinrich и оттого, что французы вообще устраивают все на свете так, чтоб им было поудобнее. Henri Heine они тоже никак не могли произнести правильно, и у большинства из них я называюсь мосье Анри Эн, многие сливают это в Анрьен, а кое-кто прозвал меня мосье Un rien.<sup>3</sup>

Это вредит мне в разного рода литературных делах, но приносит также и кое-какую пользу. Так, например, кое-кто из моих благородных соотечественников, приезжающих в Париж, очень хотел бы поклеветать на меня, но так как они обычно произносят мое имя по-немецки, то французы даже не подозревают, что злодей и отравитель колодцев невинности, поносимый столь ужасным образом, есть не кто иной, как их друг, мосье Анрьен, и те благородные души тщетно растрачивают свое добродетельное рвение, — раз французы не угадали, что речь идет обо мне, зарейнская добродетель даром расстреляла все свои клеветнические стрелы.

Но есть, как я уже говорил, и что-то неприятное в том, что наше имя произносят неправильно. Некоторые обнаруживают в подобных случаях большую чувствительность. Я как-то шутя спросил старого Керубини, правда ли, что император Наполеон обычно называл его Шерубини, хотя император был достаточно силен в итальянском языке, чтобы знать, где итальянское «ch» произносится как «que», то есть «к». Вопрос этот неизменно вызывал в старом маэстро приступы самой комической ярости.

Я ничего подобного никогда не ощущал.

Гебрих, Гарри, Анри — все эти имена звучат прекрасно, когда их произносят прекрасные уста.

---

<sup>1</sup> Гебрих.

<sup>2</sup> Анри.

<sup>3</sup> Пустьак (*франц.*). (Произносится: эн рьен.)

Лучше всего звучит, несомненно, синьор Энрико. Так пазывали меня в эти светло-синие летние, затканые большими серебряными звездами ночи в той благородной и несчастной стране, которая и есть отчизна красоты, которая создала Рафаэля Санцио из Урбино, Джакомо Россини и principessa<sup>1</sup> Христину Бельджойозо.

Поскольку мое физическое состояние отнимает у меня всякую надежду когда бы то ни было снова жить в обществе и последнее поистине перестало для меня существовать, то я заодно скинул оковы личного тщеславия, которым заражается всякий, кому приходится возвращаться среди людей в так называемом свете.

Поэтому я могу теперь без стеснения рассказать о злоключениях, связанных с моим именем Гарри и наполнивших желчью и ядом прекраснейшие весенние годы моей жизни.

Дело в следующем. В моем родном городе жил человек, которого прозвали Михель-золотарь, так как он каждое утро объезжал городские улицы с тележкой, запряженной ослом, и останавливался возле каждого дома, чтобы забрать мусор, который горничные сгребали в изящные кучки, и вывезти его за город, на свалку. По внешности этого человека можно было судить о его ремесле, и осел, в свою очередь похожий на хозяина, останавливался возле домов или пускался рысью, в зависимости от интонации, с какой Михель покрикивал на него:

— Га-арю!

Я не знаю, была ли то подлинная кличка осла или просто окрик, но несомненно одно: благодаря сходству между этим словом и моим именем Гарри мне пришлось перенести очень много обид от школьных товарищей и соседских детей. Чтобы задеть меня, они произносили мое имя точь-в-точь так, как Михель-золотарь покрикивал на своего осла, и когда я возмущался, плуты иной раз с самым невинным видом требовали, чтобы я сам показал, во избежание всяких недоразумений, как надо произносить наши имена — мое и осла, но при этом притворялись очень непонятливыми и утверждали, будто Михель всегда очень долго тянет первый слог, второй же быстро проглатывает; иногда он будто бы проделывает

---

<sup>1</sup> Княгиню (итал.).

все это наоборот, от чего его окрик звучит опять совсем как мое имя. При этом мальчишки так бессмысленно путали то меня с ослом, то осла со мною, что получалась дикая соq à l'âne,<sup>1</sup> заставлявшая других смеяться, а меня плакать.

Я жаловался матери, но она советовала мне одно: получше учиться и постараться быть умницей; тогда, мол, никто не спутает меня с ослом.

Однако созвучность моего имени с именем паршивого длинноухого продолжала оставаться для меня кошмаром. Мальчики постарше, проходя, здоровались со мною: «Га-арю». Те, что были поменьше, приветствовали тем же криком, но отойдя подальше. В школе та же тема разрабатывалась с рафинированной жестокостью: едва заходила речь о каком-нибудь осле, как все начинали коситься в мою сторону, я же неизменно краснел; просто невероятно, как ловко умеют школьники найти или придумать подходящий случай.

Например, кто-нибудь спрашивал: «Чем зебра отличается от ослицы Валаама, сына Боэрова?» Ответ гласил: «Первая говорит по-зебррейски, вторая говорила по-еврейски». Затем следовал вопрос: «А чем осел нашего золотаря отличается от его тезки?» На это следовал дерзкий ответ: «Мы не знаем, в чем разница». Я лез в драку, но меня укрощали. А мой друг Дитрих, изготовлявший чрезвычайно красивые образки и действительно ставший впоследствии знаменитым художником, попытался как-то в подобном случае меня утешить, посулив картинку. Он нарисовал мне святого Михаила, однако мерзко насмеялся надо мной. Архангел всеми своими чертами походил на Михеля-золотаря, конь был точь-в-точь тот осел, а копьём он пронзал не дракона, а дохлую кошку.

Даже белокурый, кудрявый, тихий, похожий на девочку Франц, которого я так любил, однажды предал меня: он заключил меня в объятия, нежно прижался щекой к моей щеке, долго сентиментально лежал у меня на груди — и вдруг с хохотом заорал мне в ухо: «Га-арю», а затем помчался прочь, бесконечно модулируя на бегу это оскорбительное слово, так что оно далеким эхом раскатилось по монастырским переходам.

---

<sup>1</sup> Нелепость (буквально: «петух-осел») (франц.).

Еще грубее обходились со мной некоторые соседские дети, уличные мальчишки пизшего сорта, которых мы в Дюссельдорфе называли галютами — словом, происхождение которого какой-нибудь любитель этимологии, наверное, вывел бы от спартакских плотов.

Таким галютом был маленький Юпп, точнее говоря — Йозеф, которого я буду называть также по фамилии — Фладер, чтобы его ни в коем случае не спутали с Юппом Рёрнем, весьма благонаправленным соседским мальчиком, проживающим теперь, как я случайно узнал, в Бонне в качестве почтового чиновника. Этот Юпп Фладер не расставался с длинным удлинцем, которым неизменно хлопал меня при встречах; кроме того, он с удовольствием запускал мне в голову навозом, притом подбирал его на местовой горяченьким, каким он выходил из естественной своей пекарни. И, конечно, он никогда при этом не упускал случая выкрикнуть проклятое «Га-арю», модулируя его на все лады.

Злой мальчишка приходился внуком старой фрау Фладер, принадлежавшей к числу клиенток моего отца. Насколько гадок был мальчик, настолько добросердечна была бедная бабушка, олицетворение нищеты и несчастья, но не отталкивающих, а надрывающих сердце. Ей было, вероятно, больше восьмидесяти лет; громоздкая трясущаяся старуха с белым сухим лицом и выцветшими скорбными глазами, она мягким, хриплым, плаксивым голосом просила милостыню, но просила ее без всяких громких слов, что всегда производит ужасное впечатление.

Когда она приходила за ежемесячной подачкой в дни, которые отец как попечитель о бедных назначал для приемов, он неизменно подавал ей стул.

Из этих приемов у отца как попечителя о бедных в моей памяти сохранились только те, что происходили ранним утром, зимою, когда бывало еще темно. Отец садился за большой стол, покрытый разнокалиберными пакетиками с деньгами; вместо восковых свечей в серебряных подсвечниках, которыми отец обычно пользовался и которыми он, обладая таким большим сердечным тактом, не хотел чваниться перед нищетою, ставились на стол два медных шандала с сальными свечами, весьма уныло озарявшими присутствующих красноватым пламенем грубых, дочерна нагоревших фитилей.



Бедняки всех возрастов стояли чередой до самой передней. Они подходили один за другим за своими пакетиками, а иные получали сразу по два: в большом свертке была милостыня лично от моего отца, в маленьких — деньги кассы для бедных.

Я сидел на высоком стуле рядом с отцом и подавал ему пакетики. Ибо отец мой хотел, чтобы я выучился, как следует подавать, а по этой части у него было чему поучиться.

У многих людей сердце находится там, где ему полагается быть, но они не умеют давать, и проходит много времени, прежде чем веления сердца проложат дорогу к карману: время между добрым намерением и осуществлением тянется медленно, как почтовая колымага. Между сердцем отца и его карманом была уже как бы проложена железная дорога. Само собой разумеется, акции этой железной дороги не принесли ему богатства. Северная дорога или Лионская давали более крупные барыши. Клиентами отца были главным образом женщины, притом старые, и он очень долго, даже тогда, когда его дела стали далеко не блестящими, сохранял эту клиентуру, состоявшую из пожилых особ женского пола, которым он выдавал маленькие пенсии. Они подкарауливали его всюду, по какой бы дороге он ни шел, и у него была, таким образом, тайная гвардия из старух, как некогда у покойного Робеспьера.

Среди этой седовласой гвардии было несколько старых ведьм, бегавших за ним вовсе не по бедности, а от искреннего восхищения его особой, его приветливой и неизменно сердечной манерой.

Он был ведь воплощенною любезностью не только по отношению к молодым, но и по отношению к старым женщинам, а старые бабы, столь ожесточенные, когда их задевают, оказываются самым благодарным народом на свете, когда им оказывают некоторое внимание и предупредительность, и тот, кто рассчитывает на вознаграждение в виде лесты, убедится в их щедрости, тогда как молоденькие дерзкие девчонки в ответ на всяческую нашу предупредительность едва удостаивают нас кивком головы.

А так как лесть является настоятельной потребностью красивых мужчин, специальность которых в том и заклю-

чается, что они красивые мужчины, и так как им при этом безразлично, исходит ли фимиам из розовых или увядших уст, лишь бы он струился обильно и бурно, то всякому понятно, что мой дорогой отец, не спекулируя непосредственно, все же наживал капитал на этом общении со старыми женщинами.

Трудно себе представить, как подчас огромны бывали дозы фимиама, которым они ему кадили, и как хорошо он выносил самые сильные его порции. В этом сказывался его счастливый темперамент, а вовсе не ограниченность. Он очень хорошо понимал, что ему льстят, но знал также и то, что лесть всегда сладка как сахар, и был похож на ребенка, который просит мать: «Похвали меня немножко, похвали даже немножко чересчур».

Однако отношения отца к упомянутым женщинам имели, кроме того, и более серьезные основания. А именно, он был их советчиком, и удивительно, что человек, так плохо справлявшийся с собственными делами, становился воплощением житейской мудрости, когда в затруднительных обстоятельствах к нему обращались за советом другие. Тут он тотчас же разбирался в положении и, узнав от расстроенной клиентки, что дела ее идут все хуже, разрешался наконец изречением, которое я так часто слышал из его уст, когда все кругом не ладилось: «В таком случае надо бы почать новый бочонок».

Он как бы этим советовал не цепляться упрямо за проигранное дело, а взяться за что-нибудь новое, пойти в другом направлении. Лучше сейчас же выбить дно у старой бочки, в которой осталось только прокисшее вино, да и то оно едва сочтется, и «почать новый бочонок». Но вместо этого люди обычно лениво укладываются, разинув рот, под пересохшим отверстием бочки и надеются что из нее вдруг польется нечто более сладкое и густое.

Когда старая Ганне пожаловалась отцу, что у нее побавились заказчики и что ей нечего не только в тарелку покрошить, но, что гораздо чувствительнее, и в рот положить, он дал ей сначала талер, а затем задумался. Старая Ганне была когда-то одной из лучших повивальных бабок, но под старость стала немножко зашибать и нюхать табак, и так как в ее красном носу стояла вечная оттепель и белые простыни родильниц становились от капли совсем коричневыми, женщину эту не стали никуда звать.

Итак, поразмыслив основательно, отец в конце концов сказал: «Надо почать новый бочонок, и на этот раз пускай это будет бочонок с водкой: советую вам открыть маленькую ликерную, кабачок на более или менее приличной улице, поближе к гавани, где бывают матросы».

Экс-повитуха последовала этому совету, обзавелась кабачком неподалеку от гавани, дела ее пошли хорошо, и она наверняка разбогатела бы, если бы, по несчастью, сама не стала лучшей своей клиенткой.

Она продавала также табак, и я часто видел ее перед лавкой с красным, раздувшимся от табака носом, — живая реклама, привлекавшая немало чувствительных мореходов.

Одним из основных прекрасных качеств отца была его замечательная учтивость, которую он, как подлинно благородный человек, проявлял одинаково и к бедным и к богатым. Я замечал это особенно во время упомянутых выше приемов, когда он, вручая бедным пакетики с деньгами, всегда произносил несколько любезных слов.

Здесь и я мог кое-чему поучиться, да и многие из прославленных благотворителей, тех, что привыкли швырять свертки прямо в головы бедным людям, так что, получив талер, человек приобретал и дыру в голове, могли бы действительно поучиться у моего учтивого отца. Он расспрашивал большую часть бедных женщин об их здоровье и так привык пользоваться оборотом «имею честь», что прибегал к нему, даже указывая на дверь какой-нибудь слишком требовательной или наглой ведьме.

Учтивее всего он был по отношению к старой Фладер и всегда предлагал ей стул. И в самом деле, она едва держалась на ногах и с трудом ковыляла, уходя со своим костылем.

Придя в последний раз к отцу за месячным пособием, она была так слаба, что внуку Юппу пришлось ее вести. Увидав меня у стола, рядом с отцом, он кинул в мою сторону какой-то странный взгляд. Старуха получила, кроме маленького пакетика, еще очень основательный пакет лично от отца и разлилась потоком благословений и слез.

Страшно бывает, когда такая дряхлая бабушка вдруг разрыдается так горько. Я сам чуть было не заплакал, и старуха, вероятно, это заметила. Она бесконечно по-

вторяла, какое я красивое дитя, и сказала, что непременно попросит божью мать позаботиться о том, чтобы мне никогда в жизни не пришлось терпеть голод и побираться по людям.

Отца от этих слов слегка покорило, но старуха ведь говорила от всей души; во взгляде ее было что-то жуткое и в то же время смиренное и нежное, и напоследок она сказала внуку: «Иди, Юпп, поцелуй руку милому мальчику». Юпп скроил кислую гримасу, но послушался приказания бабушки. Я почувствовал, как к моей руке прикоснулись его горячие губы — точно жало гадюки. Сам не знаю почему, я извлек из кармана всех своих «толстячков» и отдал их Юппу, который с грубым и идиотским видом пересчитал их один за другим и наконец совершенно равнодушно сунул в карман штанов.

В поучение читателю замечу, что «толстячок» — название толстенькой медной монеты, ценою около одного су.

Старуха Фладер вскоре после этого умерла, но Юпп, наверное, еще жив, если только его не повесили. Злой мальчишка после нашей встречи у моего отца несколько не переменялся. На следующий же день я повстречался с ним на улице. С ним было столь знакомое мне длинное удлище. Он, как всегда, хлопнул меня этой жердью, и снова кинул в меня навозом, и снова крикнул проклятое «Га-арю», и притом так звонко и так точно подражая голосу Михеля, что осел последнего, оказавшийся случайно вместе с тележкой в одном из ближайших переулков, принял его за окрик хозяина и издал радостное «и-а».

Как я уже сказал, бабушка Юппа вскоре умерла, и притом с репутацией колдуньи, каковой она вовсе не была, несмотря на то, что наша Циппель слепо и упорно утверждала обратное.

Циппель было прозвище одной еще не очень старой особы, которая, собственно, называлась Спиллой, была моей первой няней и затем осталась у нас в доме. Она случайно находилась в комнате во время упомянутой утренней сцены, когда старая Фладер столь щедро осыпала меня похвалами и восхищалась моей красотой. Циппель слышала эти речи, и ей припомнилось старинное народное поверье, будто детям опасны такие неумеренные похвалы и будто они могут от этого заболеть или их может постигнуть какая-нибудь беда, и, чтобы отвести

угрожавшую мне, по ее мнению, беду, она прибегла к надежному, по народному поверью, средству, согласно которому надо трижды плюнуть в испорченного похвалами ребенка. Она немедленно же подскочила ко мне и стремительно плюнула мне трижды на голову.

Однако это оплевывание было только предварительной мерой, ибо опытные люди утверждают, что если опасные похвалы исходят от колдуньи, то разрушить злые чары может только другая колдунья. Циппель решила в тот же день отправиться к женщине, которую она почитала колдуньей и которая, как я позже узнал, оказывала и ей кое-какие услуги с помощью своего таинственного и запретного искусства. Колдунья, послунявив большой палец, помазала мне макушку, потом срезала там несколько волосков; потом таким же образом помазала пальцем и другие места, бормоча при этом нелепейшую абракадабру, и так я, может быть, уже в детстве был посвящен в служители дьявола.

Во всяком случае, эта женщина, мое знакомство с которой продолжалось и позже, когда я стал взрослым, приобщила меня к тайному знанию.

Правда, я не стал настоящим колдуном, но знаю, как колдуют, и даже умею сам колдовать, но особенно хорошо я разбираюсь в том, что такое ловкость рук.

Эту женщину называли Мастерницей, или еще Гохепкой, так как она была родом из Гоха, где проживал также ее покойный супруг, занимавшийся презренным ремеслом палача, и откуда его вызывали во все концы для исполнения служебных обязанностей. Известно было, что он оставил вдове всякого рода тайные средства, и она умела извлекать пользу из этой молвы.

Лучшими ее клиентами были содержатели пивных, которым она продавала пальцы мертвецов, уверяя, будто они достались ей по наследству еще от мужа. Это пальцы повешенных воров, а употребляются они для того, чтобы пиво в бочке стало вкуснее и чтобы количество его увеличилось. Ведь если опустить в бочку привязанный к бечевке палец повешенного, в особенности невинно повешенного, пиво не только станет вкуснее, но его можно выкачать из упомянутой бочки вдвое, а то и вчетверо больше, чем из обыкновенной бочки того же объема. Просвещенные содержатели пивных пользуются обычно

более рациональным средством, чтобы увеличить количество пива, но оно теряет при этом долю своей крепости.

Мастерицу очень часто посещали также влюбленные молодые люди, и она снабжала их любовным напитком, который называла *philtrarium*, так как, страдая латиноманией шарлатанов, она стремилась к тому, чтобы латынь звучала еще более по-латински: мужчину, который подносил такой напиток своей возлюбленной, она называла *philtrarius*, дама же называлась в таких случаях *philtrariata*.

Иногда случалось, что *philtrarium* не производил пужного действия или даже производил противоположное. Так, например, некий бурш, неудачник в любви, уговорив свою неприступную красавицу распить с ним бутылку вина, незаметным образом влил ей в стакан *philtrarium*, и как только она его выпила, он тотчас же заметил в поведении своей *philtrariata* какую-то странную перемену, как бы некоторое беспокойство, которое он принял за вспышку любовного пламени и вообразил, что близка желанная минута. Но увы! Когда он насильно обнял покрасневшую девушку и в нос ему ударил некий аромат, не имеющий ничего общего с парфюмерией Амура, он сообразил, что *philtrarium* подействовал скорее как *laxarium*,<sup>1</sup> в результате чего страсть его была охлаждена чрезвычайно противным образом.

Мастерица спасла репутацию своего искусства, заявив, будто неправильно поняла злополучного *philtrarius* и предполагала, что он искал исцеления от любви.

Надежнее, чем любовные напитки, были советы, которые Мастерница добавляла к своим *philtraria*: а именно, она советовала всегда держать в кармане немного золота, так как золото очень полезно для здоровья и, главное, приносит счастье любящему. Кто не вспомнит здесь слов, которые честный Яго в «Отелло» говорит влюбленному Родриго: «Take money in your pocket!»<sup>2</sup>

Вот с этою-то великою мастерицею и поддерживала интимное знакомство наша Циппель, и хотя она уже перестала приобретать у нее любовные напитки, но все же обращалась к искусству Гохенки, если нужно было,

---

<sup>1</sup> Слабительное (лат.).

<sup>2</sup> Клади деньги к себе в карман! (англ.). (См. комментарии.)

например, отомстить счастливой сопернице, вышедшей за бывшего ее возлюбленного, причем требовала, чтобы на соперницу было пущено бесплодие, а на неверного — позорнейшее мужское бессилие. Бесплодие достигалось путем нарушения брачного обряда. Это очень легко: надо отправиться в церковь, в которой венчаются молодые, и в ту минуту, когда священник произносит над ними формулу венчания, быстро защелкнуть железный замок, заранее припрятанный под передником; подобно этому замку, отныне замкнутся и недра новобрачной.

Обряды, соблюдаемые при лишении мужественности, до того грязны и умопомрачительно страшны, что я не считаю возможным сообщать о них. Коротко говоря, пациент становится бессильным не так, как это обычно понимается, а в буквальном смысле слова лишается признаков пола; колдунья же, завладев добычей, следующим образом сохраняет это *corpus delicti*,<sup>1</sup> этот предмет без названия, который и сама она именуется попросту предметом; помешанная на латыни Гохенка называла его чаще всего *Numa Pompilius*<sup>2</sup> — должно быть, в память царя Нумы, мудрого законодателя, питомца нимфы Эгерии, который, конечно, никак не предполагал, сколь мерзко будут некогда злоупотреблять его честным именем.

Колдунья поступает нижеследующим образом. Завладев предметом, она укладывает его в опустевшее птичье гнездо и пристраивает последнее к какому-нибудь дереву, как можно выше среди зеленых ветвей; в это же гнездо она укладывает также предметы, которые ей удалось похитить у владельцев позднее, однако с таким расчетом, чтобы их ни в коем случае не набралось в гнезде более полудюжины. Вначале предметы очень болезненны и хилы, должно быть от волнений и тоски по родине, но свежий воздух укрепляет их, и они начинают издавать звуки, напоминающие стрекотание кузнечиков. Птицы, порхая над деревом, впадают в заблуждение, вообразив, будто это еще не оперившиеся птенцы, и из сострадания приносят в своих клювиках пищу, чтобы накормить покинутых матерью сирот, что последние приемлют с полным удовольствием и от чего они укрепляются, становятся из-

---

<sup>1</sup> Вещественное доказательство преступления (*лат.*).

<sup>2</sup> Нума Помпилий (*лат.*).

рядно жирными и здоровыми, уже не потихоньку стрекочут, но звонко чиркают. Колдунья этому очень радуется, и в прохладные летние ночи, когда месяц столь по-немецки сентиментально озаряет землю, садится под деревом, внимая пению предметов, и называет их в такие минуты своими «милыми соловьями».

Шпренгер также упоминает в своем «Молоте ведьм» — «*Malleus maleficarum*» — в связи с вышеуказанным колдовством о кощунственных деяниях этих мерзких существ, а один древний автор, имя которого я позабыл, которого Шейбле цитирует в своем «Монастыре», рассказывает о том, что колдуньи часто бывают вынуждены возвращать оскoпленным свою добычу.

Однако в большинстве случаев колдуньи похищают мужественность, чтобы вымогать у оскoпленных вознаграждение за реституцию под предлогом понесенных издержек. При возвращении похищенных предметов происходят иной раз забавные ошибки и недоразумения, и мне известна история одного капошика, коему был возвращен чужой *Numa Pompilius*, принадлежавший, по словам экономки этой духовной особы, его нимфы Эгерии, скорее турку, чем человеку христианской веры.

Когда однажды такой скопец потребовал реституцию, колдунья приказала ему взять лестницу, следовать за ней в сад, взобраться на четвертое дерево и в прилаженном к дереву гнезде разыскать утраченное добро. Несчастный занялся точным выполнением инструкции, но ведьма кинула ему со смехом: «Вы слишком высокого о себе мнения. Вы ошиблись: то, что вы оттуда извлекли, принадлежит счень сановной духовной особе, и я не оберусь хлопот, если оно пропадет».

Но, сказать правду, не колдовство влекло меня время от времени к Гохенке. Я поддерживал знакомство с нею, и мне было, должно быть, уже лет шестнадцать, когда я стал чаще, чем прежде, бывать в ее жилище, захваченный колдовством более могучим, чем все ее высокопарные латинские *philtraria*. Дело в том, что у Гохенки была племянница, которой тоже едва исполнилось шестнадцать лет, но которая вдруг развернулась в высокую стройную девушку, казавшуюся гораздо старше своего возраста. Благодаря этому бурному росту она стала необычайно худой. Талия у нее была такая же тонкая, как у кварта-



ронок Вест-Индии, и так как она не носила ни корсета, ни доброй дюжины юбок, платье тесно облегалo ее, точно влажный покров какой-нибудь статуи. Но ни одна мраморная статуя не могла, конечно, соперничать с нею в красоте, так как она была сама жизнь и каждое движение передавало ритмы ее тела, я сказал бы даже — музыку ее души. Ни одна из дочерей Ниобеи не обладала столь благородно изваянным лицом; цвет его, как и вообще ее кожа, отличался слегка изменчивой бледностью. Ее большие, чрезвычайно темные глаза глядели так, как будто они только что задали какую-то загадку и спокойно ждут разрешения, а рот с тонкими, круто изогнутыми губами и белыми-белыми, чуть продолговатыми зубами, казалось, говорил: «Ты слишком глуп и только зря будешь трудиться».

Волосы у нее были красные, совсем кроваво-красные, и падали длинными локонами на плечи, так что она могла завязывать их у подбородка. И тогда казалось, будто ей перерезали горло и кровь хлещет из него алым потоком.

Голос у Иозефы, или Рыжей Зефхен, как называли красивую племянницу Гохенки, был не особенно благозвучный, а иногда он тускнел, становился почти беззвучным, но внезапно, когда ею овладевала страсть, прорывался богатейший металлический тон, производивший на меня особенно сильное впечатление еще оттого, что голос Иозефы был необычайно похож на мой.

Когда она говорила, мне становилось иногда страшно и казалось, будто я слышу собственный голос, а пение ее напоминало мне сны, когда мне чудилось собственное пение, причем пел я точь-в-точь как она.

Она знала много старинных народных песен, и, быть может, именно она пробудила во мне вкус к этому роду поэзии, как и вообще, несомненно, имела величайшее влияние на пробуждающегося поэта, так что первые мои стихотворения — «Сновидения», написанные вскоре после этого, носят мрачный и жестокий колорит, подобно любовной связи, бросавшей в то время свои кровавые тени на жизнь и сознание юноши.

Среди песен, которые пела Иозефа, была одна народная песня, которой она выучилась у Циппель и которую последняя часто напевала мне в пору моего детства, так что в моей памяти сохранились две строфы, и я приведу

их тем охотнее, что этого стихотворения я не нашел ни в одном из существующих сборников народной поэзии. Вот что поется в них. Сначала говорит злой Трагиг:

Оттилия, ах свет ты мой!  
Не с первой расчет у меня с тобой!  
Милей ли тебе на суку висеть,  
Милей ли тебе в пруду утонуть,  
Или милей вострый меч целовать,  
Господню последнюю благодать?

На это Оттилия отвечает:

Немилу мне на суку висеть,  
Немилу мне в пруду утонуть,  
Милее мне вострый меч целовать,  
Господню последнюю благодать! <sup>1</sup>

Однажды, когда Рыжая Зефхен, напевая эту песню, дошла до конца последней строфы и я подметил, какое душевное волнение овладело ею, я был тоже до того потрясен, что неожиданно разразился слезами, и мы, рыдая, упали друг другу в объятия и не промолвили ни слова в течение доброго часа, а слезы все текли из наших глаз, и мы видели друг друга как бы сквозь покрывало из слез.

Я попросил Зефхен записать для меня эти строфы, и она исполнила мою просьбу, но написала их не чернилами, а кровью: красный автограф впоследствии затерялся, но строфы неизгладимо остались в памяти.

Муж Гохенки приходился братом отцу Зефхен, который тоже был палачом, но рано умер, и Гохенка взяла дитя к себе. Когда же вслед за тем умер ее муж и она переселилась в Дюссельдорф, девочку пришлось передать деду, который тоже был палачом и жил в Вестфалии.

Здесь в «вольном доме», как обычно называют усадьбу палачей, Зефхен оставалась до четырнадцати лет, когда дед ее тоже умер и Гохенка снова взяла к себе совсем осиротевшую девочку.

Так как считалось, что Зефхен принадлежит к бесчестному роду, ей пришлось с детских лет и до девичества вести уединенную жизнь, и даже в «вольном доме» своего деда она была лишена какого бы то ни было общения с людьми. Отсюда ее нелюдимость, ее чувствительность и крайняя застенчивость при всяком соприкосновении

<sup>1</sup> Церевод С. Петрова.

с чужими, тайная мечтательность, сочетавшаяся с самым своевольным упрямством, вызывающей строптивостью и дикостью.

Удивительно! Даже в свидениях, как она мне однажды призналась, она не жила с людьми, и ей снились только животные.

В этом одиночестве, в усадьбе палача, ее могли занять только старинные книги деда, который, правда, сам выучил ее читать и писать, но был чрезвычайно скуп на слова.

Иногда он отлучался надолго вместе со своими подручными; ребенок оставался один в «вольном доме», стоявшем очень уединенно среди лесистого края, недалеко от того места, где совершались казни. Дома оставались только три старухи с седыми трясущимися головами; они жужжали на своих прялках, кричали, ссорились и пили много водки.

Особенно в зимние ночи, когда ветер качал старые дубы и что-то страшно завывало в огромном пылающем камине, бедной Зефхен становилось очень жутко в уединенном доме: в ту пору ведь приходилось опасаться посещения воров, не живых, а мертвых, тех, что были повешены, что срывались с виселицы и стучались в нижние окна дома, требуя, чтобы их впустили и дали немножко погреться. Они так жалобно гримасничали от холода! А прогнать их можно, только вынув из железного хранилища меч правосудия и погрозив им этим мечом; тогда они вихрем кидаются прочь.

Иногда их привлекает не только огонь очага, — им хочется отобрать свои украденные палачом пальцы. Если дверь не заперта как следует на засов, ими даже в смерти владеет былая страсть к воровству, и они крадут простыни из шкафов и с кроватей. Одна из старух, вовремя заметив покражу, кинулась вслед за мертвым воров и, ухватившись за уголок развевавшейся на ветру простыни, выхватила у него добычу в то самое мгновение, когда он добрался до виселицы и хотел укрыться на ее перекладинах.

Только в те дни, когда дед готовился к какой-нибудь особенно важной казни, к нему из соседних мест сходились товарищи по ремеслу, и тогда в доме без устали варили, пекли, объедались, бражничали, мало разговаривали и совсем не пели. Пили из серебряных кубков, и тут не

могло случиться, как бывало в харчевнях, куда они иной раз заглядывали и где бесчестному вольному мастеру и его бесчестным подручным подают кружки с деревянной крышкой, между тем как все остальные гости пьют из кружек с оловянными крышками. Во многих местах принято разбивать стакан, из которого был палач; никто с ним не разговаривает, все избегают малейшего соприкосновения с ним. Позор этот тяготеет над всем его родом; оттого дети палача женятся и выходят замуж только за детей палача.

Зефхен, как она мне рассказывала, было уже восемь лет, когда в один погожий осенний день в усадьбе деда собралось необычайное количество гостей, хотя в тот раз не предстояло ни казней, ни каких-либо иных тяжких служебных дел. Пришло их, должно быть, больше дюжины, почти всё древние старички с седыми или лысыми головками, а под длинными красными плащами у них были мечи, и нарядились они в самые праздничные, хотя сплошь старинные, одеяния. Собрались они, по их выражению, «посоветаться», и за обедом им подавали все, что было самого дорогого на кухне и в погребе.

Это были старейшие палачи из самых отдаленных краев; они давно не виделись, непрестанно трясли друг другу руки, мало говорили, но часто прибегали к какому-то таинственному языку знаков и веселились по-своему, то есть *moult tristement*,<sup>1</sup> как выразился Фруассар об англичанах, пировавших после битвы при Пуатье.

Когда настала ночь, хозяин отослал слуг из дому, приказал старой ключнице принести из погреба три дюжины бутылок лучшего, что у него был, рейнвейна и поставить их на каменный стол, который находился во дворе, перед большими, полукругом росшими дубами; туда же он приказал отнести еще железные шандалы для смоляных факелов, а затем под каким-то предлогом удалил из дому и эту старуху и двух других ведьм. Даже отверстие, сделанное в досках небольшой собачьей конуры, он заткнул попоною; собаку заботливо посадили на цепь.

Рыжую Зефхен дед оставил дома, только приказал ей вымыть большой бокал с изображением морских богов, дельфинов и раковин, в которые они трубят, точно

<sup>1</sup> Весьма печально (*старофранц.*).

в трубы, и поставить его на упомянутый уже стол, а потом, прибавил он смутившись, пускай она немедленно отправляется спать в свою спаленку.

Бокал с Нептуном Рыжая Зефхен послушно сполоснула и поставила на каменный стол рядом с винными бутылками, но спать не пошла и, влекомая любопытством, спряталась за каким-то кустом, поближе к дубам; и хотя здесь было плохо слышно, но видеть она могла все происходящее.

Чужие люди, с дедом во главе, торжественно приблизились, выстроившись парами, и расселись на высоких деревянных обрубках вокруг каменного стола, на котором пылали смоляные факелы, жутко озарявшие их сосредоточенные, суровые, точно каменные, лица.

Долго сидели они и молчали, или, вернее, что-то бормотали про себя, возможно молились. Затем дед наполнил вином бокал, и каждый, выпив, наполнял его снова и ставил перед соседом; всякий раз, опорожнив бокал, они простодушно трясли друг другу руки.

Напоследок дед держал речь, из которой Зефхен мало что расслышала и совсем ничего не поняла и которая, видимо, касалась очень печальных предметов, так как из глаз старика закапали крупные слезы и другие старики тоже принялись горестно плакать; а было это очень страшно, так как обычно эти люди казались такими суровыми и источенными временем, подобно серым каменным изваяниям какого-нибудь церковного портала; сейчас из их окаменевших глаз лились слезы, и они всхлипывали, как дети.

Луна при этом так меланхолически глядела с беззвездного неба сквозь туманное свое покрывало, что сердце у подслушивавшей Зефхен чуть не разорвалось от жалости. Особенно тронула ее скорбь маленького старичка, плакавшего горестнее других и так громко выкрикивавшего свои жалобы, что она совсем явственно разобрала некоторые слова. Он непрестанно взывал: «О господи! О господи! И когда кончится эта мука, не снести этого дольше душе человеческой! О господи, несправедлив ты, да, несправедлив». Товарищам деда, видимо, лишь с большим трудом удалось его успокоить.

В конце концов все собравшиеся снова встали, скинули красные плащи и двинулись попарно, каждый со своим

мечом под мышкой, к дереву, возле которого стоял заранее приготовленный железный заступ, и один из них в несколько мгновений вырыл этим заступом глубокую яму. Тогда к ней подошел дед Зефхен, не снявший, в отличие от других, красного плаща, извлек из-под него какой-то очень узкий белый, завернутый в простыню предмет, длиною, вероятно, выше одного брабантского локтя; он бережно уложил его в открытую яму и с чрезвычайной поспешностью ее засыпал.

Бедная Зефхен не могла дольше усидеть в своем убежище; при виде таинственного погребения волосы встали у нее дыбом; в глубоком страхе кинулась бедная девочка прочь, юркнула в спальню, забилась под одеяло и уснула.

На другое утро происшедшее представилось Зефхен сном, но, увидав за знакомым деревом свежевскопанную землю, она поняла, что все это было явью. Долго ломала она голову над тем, что же там захоронено: ребенок? животное? клад? Но никому не проронила она ни словечка о ночном происшествии, и, так как годы уходили, оно отодвинулось в ее памяти на задний план.

Только пять лет спустя, когда умер дед и Гохенка приехала за девочкой, чтобы увезти ее в Дюссельдорф, решилась она раскрыть свое сердце. Гохенка, однако, не была ни удивлена, ни обеспокоена этой своеобразной историей, а, напротив, крайне обрадовалась и сказала, что не ребенок, не кошка и не клад зарыты в яме, а старый дедов меч, которым он отсек головы ста злосчастным грешникам. И вот, сказала она, у палачей существует обычай: они не хранят у себя, а тем более не употребляют, меча, с помощью которого совершено сто казней, потому что такой меч правосудия не похож на другие мечи: он приобретает с течением времени тайное сознание и, подобно человеку, в конце концов нуждается в могильном покое.

К тому же, такие мечи, как утверждают многие, ожесточаются от обильно пролитой крови, иногда тоскуют по ней, и не раз около полуночи можно явственно слышать, как они страстно звенят и бьются в шкафу. Да, иные из них становятся такими коварными и свирепыми, совсем как наш брат человек, и так оплетают несчастного, который возьмет их в руки, что тот способен искалечить

ближайших своих друзей. Так, будто, однажды в собственной семье Гохенки таким мечом брат заколол собственного брата.

Гохенка, однако, признала, что с помощью стократного убийцы-меча можно творить совершенно неопределимые чудеса, и в ту же ночь с величайшей поспешностью выкопала захороненный возле указанного дерева меч и с той поры хранила его в чулане вместе с другими орудиями колдовства. Как-то, когда ее не было дома, я попросил Зефхен показать мне эту достопримечательность. Она не заставила себя долго просить, пошла в упомянутый чулан и тотчас же предстала предо мною с огромным мечом, которым, несмотря на то, что у нее были такие слабые руки, взмахнула с большою силою и, шутливо угрожая, пропела:

Мило ль тебе вострый меч целовать,  
Господню последнюю благодать?

Я ответил ей в том же тоне: «Немило мне целовать вострый меч — милее мне целовать Рыжую Зефхен», и так как она не могла защищаться, боясь, как бы не поранить меня проклятым клинком, ей пришлось примириться с тем, что я с великим мужеством обвил ее тонкий стан и поцеловал в непокорные губы. Да, наперекор мечу правосудия, обезглавившему сотню злополучных мошенников, и несмотря на позор, который угрожает за всякое соприкосновение с бесчестным родом, я целовал прекрасную дочь палача.

Я поцеловал ее не только потому, что нежно ее любил, но еще из презрения к старому обществу и ко всем его темным предрассудкам, и в это мгновение во мне вспыхнули огни тех двух страстей, которым я посвятил всю свою последующую жизнь: любовь к прекрасным женщинам и любовь к французской революции, к тому *l'utop francese*<sup>1</sup> нашего времени, которым охвачен был и я в борьбе с ландскнехтами средневековья.

Мне не хочется подробнее говорить о моей любви к Иозефе. Сознаюсь только в том, что эта любовь все же была лишь прелюдией, предшествовавшей великим трагедиям более зрелого моего периода. Так Ромео бредил Розалиндой до тех пор, пока не встретил свою Джульетту.

<sup>1</sup> Французскому энтузиазму (*лат., итал.*).

В любви, как и в римско-католической религии, существует предварительное чистилище, в котором, прежде чем попасть в подлинный вечный ад, привыкаешь к тому, что тебя поджаривают.

Ад? Допустимы ли по отношению к любви столь неучтивые выражения? Что ж, если вам угодно, я сравню ее также и с раем. К сожалению, никогда нельзя точно установить, когда именно любовь приобретает наибольшее сходство с адом и когда — с раем, подобно тому, как не знаешь, переряженные ли чертями ангелы встречают тебя там, или, пожалуй, черти могут иной раз оказаться переряженными ангелами.

Откровенно говоря, какая ужасная болезнь — любовь к женщине! Тут, как мы, к сожалению, видели, не помогает никакая прививка. Очень разумные и опытные врачи рекомендуют перемену места и полагают, что с удалением от чародейки рассеиваются и чары. Гомеопатический принцип, согласно которому от женщины нас излечивает женщина, пожалуй более всего подтверждается опытом.

Во всяком случае, ты, вероятно, заметил, дорогой читатель, что прививка от любви, которую в детстве попыталась мне сделать мать, не дала благоприятного результата. Было предопределено, что я тяжелее, чем прочие смертные, буду поражен великим недугом, этой оспой сердца, и у меня на сердце такое великое множество дурно зарубцевавшихся ран, что оно напоминает гипсовую маску Мирабо, или фасад дворца Мазарини после славных Июльских дней, или даже репутацию величайшей трагической актрисы.

Но неужели же нет каких-либо целебных средств против этой роковой болезни? Недавно один психолог заявил, что ее возможно преодолеть, применяя надлежащие средства в самом начале вспышки. Однако же этот рецепт напоминает старый, наивный молитвенник, в котором содержатся молитвы против всех бедствий, угрожающих человеку, и среди них — длинная, растянутая на много страниц молитва, которую полагается произносить кровельщику, как только он ощутит головокружение, угрожающее падением с крыши.

Столь же нелеп совет больному человеку бежать от лица прекрасной и искать исцеления в одиночестве на груди у природы. Ах, у этой зеленой груди его ждет



только скука, и если в нем угасла не вся энергия, ему гораздо полезнее поискать если не покоя, то целительной тревоги совсем у иных и очень белых грудей; ибо самое действительное противоядие против женщин — это женщины; правда, это означает изгонять Сатану Вельзевулом, и, к тому же, такое лекарство часто пагубнее самой болезни. Но это все же шанс, и, несомненно, лучшее, что можно посоветовать, когда любовные дела обстоят безнадежно, — это переменить возлюбленную. И отец мой даже в этом случае имел бы основание сказать: «Теперь следовало бы почать новый бочонок».

Да, давайте возвратимся к милому моему отцу, которому какая-то сострадательная женская душа, несомненно, донесла о моих частых визитах к Гохенке и о моей склонности к Рыжей Зефхен. Доносы эти, однако, не имели других последствий, кроме одного, — они дали отцу повод проявить милую свою учтивость. Ибо Зефхен вскоре мне рассказала, что с нею повстречался на прогулке с виду очень важный, напудренный господин, которого провожал другой, и когда его спутник шепнул ему несколько слов, тот ласково взглянул на нее и, поравнявшись, снял перед нею в знак приветствия шляпу.

По более подробному описанию я узнал в господине, который ей поклонился, моего милого, ласкового отца.

Совсем не столь снисходительным оказался он, когда ему сообщили о нескольких допущенных мною антирелигиозных выходках. Меня обвиняли в безбожии, и отец произнес по этому случаю речь, несомненно самую длинную из когда-либо произнесенных им и гласившую следующее: «Дорогой сын! Мать посылает тебя к ректору Шальмайеру изучать философию. Это ее дело. Лично я не люблю философии, так как она — сплошное суеверие, а я купец, и мне нужна моя голова, чтобы торговать. Философствуй, сколько тебе вздумается, но, прошу, не говори публично о том, что думаешь, так как, если покупатели узнают, что мой сын отрицает бога, от этого пострадают мои дела; в особенности евреи перестанут покупать у меня вельветин, а они порядочные люди, платят исправно и имеют все основания держаться религии. Я твой отец, и, значит, старше тебя, следовательно и опытнее. Поэтому ты должен верить мне на слово, если я позволяю себе заявить, что атеизм есть великий грех».

# **ПИСЬМА**

**1816 — 1836 годов**





## 1. ХРИСТИАНУ ЗЕТЕ

Гамбург, 6 июля [1816 г.]

Его . . . . . Христиану Зете!

(Не знаю, что ты предпочитаешь — «его высокородню» или «высокоблагородню». Можешь сам это приписать к своему имени.)

Да! Я хочу написать моему другу Христиану. Правда, сейчас для этого не совсем подходящее время. Чудное, удивительное чувство владеет мною, я слишком взволнован, и мне нужно следить, чтобы у меня не вырвалось ни единого словечка, которое могло бы выдать мое внутреннее состояние. Я уже вижу, как на меня уставились бы два больших, хорошо знакомых голубых глаза; я их, правда, очень люблю, только, мне кажется, они слишком холодны.

Я снова сел тебе писать и излил из своего сердца все то, что для тебя всегда останется тарабарщиной. Я тебя чуточку очень люблю. Как поживаешь, старик? Ты меня щедро, по-царски обрадуешь, если напишешь по-настоящему. Сделай это. Но долго молить я не умею, даже самого господа бога. Живу я хорошо. Я сам себе хозяин, ни о ком не забочусь, и стою так гордо, и прочно, и высоко, и смотрю на людишек подо мною, таких маленьких, совсем карликов; и в этом для меня радость. Христиан, ты ведь знаешь тщеславного хвастунишку. Но

Когда подступают волшебный миг  
И ширится грудь, вдохновенья родник,

Берусь за перо я, поспешен и дик, —  
И образ чудесный из слова возник! <sup>1</sup>

Но и это — проклятое хвастовство; похоже, что муза мне изменила и отпустила меня одного на север, а сама осталась. Тоже ведь женщина. Или ее пугают ужасные торговые дела, которыми я занят? Верно то, что здесь гнусная купеческая дыра. Девочек сколько угодно, а муз нет. Не один немецкий певец уже нажил здесь горловую чахотку. Должен тебе кое-что рассказать:

Когда в Оттензене я был,  
Могилу Клопштока я посетил.  
Нарядные люди шли вереницей  
И возлагали цветы на гробницу,  
И все глядели друг другу в глаза,  
Как будто вершились тут чудеса.  
А я над святыней, безмолвен и тих,  
Тоскуя, один стоял среди них,  
Прикованный сердцем к могиле той,  
Где спал немецкий певец святой. <sup>1</sup>

Вот видишь? Даже на могиле Клопштока моя муза немеет. Я могу еще только срифмовать «мизерный» и «мерзкий».

Особенно прошу тебя, дорогой Христиан, помочь бедному Леви. Это к тебе обращается голос гуманности. Умоляю тебя всем, что тебе свято, *помоги ему. Он в величайшей нужде.* Мое сердце истекает кровью; слова обжигают мне жилы.

Я, невинный, умываю руки, все ложится на твою душу.

Мой адрес: Гарри Гейне у вдовы Родбертус на Гроссе-Блейхе в Гамбурге.

Радуйся, радуйся: через месяц я увижу Молли. С нею вернется и моя муза. Уже два года я ее не видел; старое сердце, зачем ты радуешься и бьешься так громко? Будь здоров, Христиан, думай обо мне.

Твой друг

*Гарри Гейне.*

Привет Пельману, а особенно доброму Цукальмально (попроси Цукальмально написать мне и перешли его письмо

<sup>1</sup> Перевод В. Зоргенфрея.

вместе с твоим). Не забудь также Унцера, Лотнера и Вюннеберга. Играйте честно, обставляйте друг друга.

Привет твоим почтенным родителям, братьям и сестрам.

## 2. ХРИСТИАНУ ЗЕТЕ

Гамбург, 27 октября 1816 г.

Студиозусу Христиану Зете в Дюссельдорфе.

Она меня *не* любит. *Предпоследнее* словечко, дорогой Христиан, произнеси тихо, совсем тихо! В последнем словечке заключено вечное блаженство, а в предпоследнем — вечный ад. Если бы ты только мог заглянуть в лицо твоему бедному другу, — оно такое бледное, страшно расстроенное и безумное, — твой праведный гнев на долгое его молчание тотчас бы утих, но еще лучше, если бы ты хоть раз заглянул в глубину его души, — только тогда ты полюбил бы меня по-настоящему. В сущности, ты должен знать, дорогой Христиан, что каждая моя мысль — письмо к тебе, по крайней мере так она пробует воплотиться, и недавно я намарал аршинное скучное письмо, в котором, вздыхая, открыл тебе всю свою душу — от яйца Леды до падения Трои. Но это письмо я благоразумно уничтожил; оно непременно попало бы в чужие руки и могло бы окончательно доконать меня. А помочь мне ты все равно не сможешь.

Хочу рассказать тебе забавную историю. Знаешь, Христиан, с того самого мгновения, как я тебя увидел, меня невольно к тебе потянуло, я даже не могу себе дать отчет, почему ты мне всегда так бесконечно мил и дорог. Кажется, я уже давно говорил тебе, что в чертах твоего лица, и особенно в глазах, я часто замечал *нечто*, странным образом и отталкивающее меня от тебя и притягивающее со всей силой, — мне чудились в твоих глазах и нежное доброжелательство и в то же время горькая, оскорбительная, леденящая насмешка. И, ты подумай, то же самое загадочное *нечто* я открыл и во взоре Молли. И вот это-то меня так смущает. Пусть у меня имеются самые несомненные, самые неопровержимые доказательства того, что она меня совсем не любит; но хотя сам ректор Шальмайер признал бы эти доказательства логичными

до конца и без колебаний поставил бы их на первое место в своей собственной системе аргументов, бедное любящее сердце все еще не хочет произнести своего *concedo*<sup>1</sup> и все еще твердит: «Что мне до твоей логики? У меня своя собственная логика».

Я слова се видел,

А если я в награду  
Красотку получу, —  
Дарю я душу аду,  
А тело — палачу.<sup>2</sup>

У! Ты не дрожишь, Христиан? Дрожи! Я тоже дрожу. Сожги это письмо. Да смилуется господь над бедной моей душой! Не я написал эти слова. Какой-то бледный человек сидел на моем стуле, это он их написал. А все оттого, что сейчас полночь. О господи! Безумие не грешит. Эй, ты! Не дыши так сильно; я только что выстроил чудесный карточный домик, я сам стою на его кровле и держу ее в своих объятиях! Послушай, Христиан, только *твой* друг осмелился поднять свои взоры к наивысшему (узнаешь его в этом?). Правда, похоже, что здесь он найдет и свою погибель. Но ты себе и представить не можешь, Христиан, как великолепно, как обаятельна моя погибель. «*Aut Caesar, aut nihil*»<sup>3</sup> всегда было моим девизом. *Всё во всем.*

Я шахматный игрок, сошедший с ума. Я потерял королеву с первого хода, и все же продолжаю играть, и играю, чтобы отыграть королеву. Продолжать ли игру?

Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir,  
La vie est un opprobre et la mort un devoir.<sup>4</sup>

Молчи, проклятый злоязычный француз со своим трусливым, безнадежным хныканьем! Разве ты не знаешь немецкую любовь! Она смело и твердо покоится на двух вечных, непоколебимых столпах — мужестве и *вере*! Только да оградит меня господь своим святым покровом

<sup>1</sup> Признаю (*лат.*). (См. комментарии.)

<sup>2</sup> Перевод В. Левица.

<sup>3</sup> Либо Цезарь, либо ничто (*лат.*).

<sup>4</sup> Когда погибло все, когда надежды нет,

Жизнь — беспросветный мрак, и только в смерти свет.

(Перевод Е. Эткинда.)

от коварной, мрачной власти мгновенья. Долгие годы вдали от нее носить в сердце жгучую тоску — вот адская мука, исторгающая крик адской боли. Но быть *вблизи* — и все же бесконечные недели напрасно изнывать по ее неповторимому, дарящему блаженство облику — и-и-и-о-о-о-о! О Христиан! Даже самая набожная и чистая душа может вспыхнуть диким, безумным безбожием.

Ах, ты ведь умница, Христиан, и, конечно, не станешь меня наказывать за долгое молчание. Ты не знаешь, какую невероятную боль причиняет мне тот острый крик, который вырывает из моей души каждое слово. Другим людям эти черные значки не стоят ничего. Они переставляют их как угодно, они встают на котурны, чтобы лучше перейти через грязь. То, что ты можешь счесть моими котурнами, на самом деле — лишь гигантские образы боли, встающие из широко разверстых кровавых ран сердца.

Не сердись, Христиан, ведь ты мне так дорог, так дорог, а я так несчастен! Неужели ты тоже оттолкнешь меня? Ах, голос сердца уже раз обманул меня; неужели он снова окажется обманщиком!

Скажи, Христиан, — да или нет? Во имя всего святого, скажи мне правду. Да? Тогда у меня есть надежда, что голос сердца не лжет и о Молли. Нет? Тогда... Напиши сейчас же, милый Христиан. Напишешь, да?

Сердцу больно и оттого, что *она* так жестоко и надменно унизила чудные песни, которые я слагал для нее одной, и оттого, что она вообще сыграла с ними прегадкую штуку. Но представь себе, несмотря на все это, муза мне сейчас гораздо милее, чем раньше. Она стала моей преданной подругой-утешительницей, она так таинственно нежна, и я люблю ее всем сердцем. Как глубоко волнуют меня теперь слова Гете в «Тассо»:

Нет, конечно! Одно осталось мне:  
Природа людям слезы даровала  
И вопль страданья, если не снести  
Страданья им... А я еще богаче —  
В страданье я мелодией владею,  
Дано мне скорбь излить в словах, и если  
Немеет в горькой муке человек,  
Бог дал мне выразить, как я страдаю.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Перевод В. Зоргенфрея.



Я пишу много: ведь времени у меня достаточно, а «*грандиозные торговые спекуляции*» не доставляют мне больших хлопот. Не знаю, лучше ли мои теперешние стихи, чем прежние; несомненно одно — они стали мягче и слаще, словно боль, погруженная в мед. Я решил вскоре отдать их в печать, правда до этого может пройти еще много месяцев. Но это чертовски сложное дело: прежде всего, это сплошь любовные песни, и они мне страшно повредят как купцу. Я не могу тебе объяснить все как следует; ты не знаешь *духа*, который здесь царит. Могу тебе откровенно признаться: в этом торгашеском городе не только нельзя встретить и капли интереса к поэзии — кроме разве только к специально заказанным и чистогадном оплаченным свадебным, похоронным и крестинным виршам, — но с некоторых пор тут возникли еще тяжелые, натянутые отношения между крещеными и некрещеными евреями (я зову евреями всех гамбургцев; а те, кого я, чтобы отличить их от обрезанных, зову крещеными, называются в просторечии христианами). При таком положении вещей нетрудно предвидеть, что христианская любовь не оставит своей ненавистью любовные песни еврея. Как здесь найти выход? Кроме всего, я не знаю, как устраивают издание книги; ты должен меня научить, Христиан; ты в этом гораздо больше понимаешь.

Я живу здесь очень замкнуто, почему — ты легко поймешь из того, что я уже сказал. Мой дядя живет за городом. Там царят лезть и жеманство, и вольнолюбивый, простосердечный поэт часто грешит против этикета. Дипломатические птицы, миллионеры, высокоумные сенаторы *etc.*, *etc.* — не общество для меня. Но недавно здесь был по-гомеровски божественный, великолепный Блюхер, и я имел счастье обедать у дяди в его обществе. Смотреть на такого молодца — удовольствие.

Племянника великого (???) Гейне, конечно, охотно встречают и принимают *всюду*; прекрасные девушки строят ему глазки, и косынки на их груди вздымаются выше, и маменьки строят расчеты, но-но-но оставайся-ка, друг, одиноким; у меня никого нет, кроме *себя самого*. А кто такой этот чудак, — это Христиан знает лучше, чем я. Я очень сомневаюсь, что это письмо застанет тебя еще дома, более вероятно, что оно будет послано тебе вслед.

Во всяком случае, если ты сохранил еще хоть искру дружбы, напиши сейчас же, получил ли ты его. Иначе, при мысли о его содержании, я не смогу спокойно спать. Как ты живешь? Напиши. Конечно, для меня большое удовольствие *расшифровывать* твои письма, но немножко больше ясности им не повредило бы. Впрочем, я рад и каракулям.

Кажется, скоро я сообщу тебе нечто весьма поразительное о своих религиозных воззрениях. «Что? Гейне спятил!» — воскликнешь ты. Но ведь *должен* же я иметь мадонну. Заменит ли мне небесная земную? Я хочу отуманить свое сознание. Только в бездонных глубинах мистики смогу я избыть свою бесконечную боль. Каким жалким кажется мне сейчас знание в его нищенских одеждах. То, что некогда казалось прозрачно ясным, теперь предстает предо мной во всей своей неприкрытой наготе.

«Будьте как дети». Я долго старался понять это, — о, я, жалкий глупец. Дети *веруют*.

*Гейне.*

Это письмо лежит в моем столе уже почти месяц, так как я сперва написал в Дюссельдорф, чтобы справиться, уехал ли ты. Только что получил твое милое письмо. Бог свидетель — еще *не все* радости умерли для меня! Прости меня, добрый, великодушный Христиан. Правда, я тебя всегда любил всем сердцем, но часто, может быть даже всегда, недостаточно ценил. Несмотря на свою гордость, ты трижды написал бедному Гарри, даже не зная, получишь ли ответ. Ну, бог свидетель. Бедный Гарри теперь уже не так беден!

Из письма ты увидишь, что было у меня на сердце; сейчас еще все то же. Но теперь я переношу боль гораздо *мужественнее*. Я только чувствую внутреннее умирание; даже поэзия расплывается в бледных, туманных образах. О, М...., ты дорого мне стоишь! Я обнимаю тебя, Христиан, только не сжимай меня так сильно. На обнаженной груди висит черная железная цепь, а на ней, как раз там, где бьется бедное сердце, — зубчатый, острый, черный железный крест. В нем локон М...и. О, как он жжет... О Христиан!

Больше писать не могу — сейчас отходит почта. Дядя хочет спровадить меня; отец также жалуется, что от меня толку мало, несмотря на большие затраты; но *coûte que coûte*<sup>1</sup> — я остаюсь здесь. Напиши мне скорей.

Как только представится оказия, я пришлю тебе табак.

### 3. АМАЛИИ ГЕЙНЕ

Оттензен, 19 ноября 1817 г.

Но мое последнее пожелание неизменно одно: знать, что вы счастливы.

*Гарри Гейне.*

### 4. ШАРЛОТТЕ ГЕЙНЕ

Бонн, 22 марта 1820 г.

Милая Лоттхен!

Напоминаю тебе то, что я повторяю во всех своих письмах. Напиши мне, как вы там живете и как проходил ваш отъезд. Уж наверно зал музыкального собрания завесили черным крепом, и в нем недели две не прозвучало ни одного аллегро, а только адажио. А улицы, вероятно, совсем вымерли! Ты плакала, когда уезжала? И все ли было благополучно во время поездки? Не одну ночь просидел я на своем деревянном стуле, машинально читая свои большие ученые книги, а в это время мои мысли блуждали по Люнебургской степи и тревожно следили за тем, не заснул ли ваш кучер, находится ли ваша коляска на правильном пути, не сломалось ли у вас колесо... Заслуживаешь ли ты, чтобы я тебя так любил?

*Гарри Гейне,*  
студент-юрист.

---

<sup>1</sup> Чего бы это ни стоило (*франц.*).

## 5. ФРИДРИХУ ФОН БЕЙГГЕМУ

Бонн, 15 июля 1820 г.

Фрицу фон Бейггему

Мой Фриц, как все, привержен ты к свинине  
В стране, богатой свежлой кормовою,  
Где хлеб просушен печью огневою,  
Где глухи к поэтической святые.

Мой Фриц, ключом священным вспоен, ныне  
С коровами шагает к водопою,  
Он, слышу я, Фемиде стал слугою, —  
Боюсь, что он вконец погрязнет в тине.

Мой Фриц, кого носил в былое время  
Послушный конь, крылатый, быстроногий,  
И ввысь вздымал, туда, где коршун вьется,

Мой Фриц теперь, чтоб грусти сбросить бремя,  
На кляче прозаической дорóгой  
От Мюнстера до Дорстена трясется.<sup>1</sup>

Очень мне было приятно, дорогой Фриц, получить от тебя письмо. С удовольствием узнал я, что ты хорошо себя чувствуешь; однако я с огорчением заметил, что ты, обычно столь охотно воспевавший «музы и груди», теперь навсегда хочешь оторваться от груди муз. Выше я уже высказал тебе свои тщательно срифмованные и честно продуманные мысли об этом предмете. Поистине, я должен вхлестнуть в тебя былую бодрость четырнадцатихвостной плетью сонета. Ведь я на собственном опыте узнал, что музы, как и все тщеславные женщины, умеют весьма чувствительно мстить за всякое умышленное пренебрежение. И мне случалось пренебрегать музами для прекрасных грудей. Ты видел сам, как я был наказан поэтическим бесплодием прошлой зимы. Оно тем более злило меня, что я считал себя навсегда покинутым музами и не был даже в состоянии сложить об этом жалобную песнь. Но старик *Шлегель*, который вообще умеет обращаться с дамами, примирил со мной разгневанных красавиц; и так как ему уже надоели хорошо знакомые прелести, а может быть, и потому, что он не способен

<sup>1</sup> Перевод В. Зоргенфрея.

больше оплодотворять их сам, он любезно сосводничал меня с ними, и теперь все девять сестер уже брюхаты от меня.

Я мог бы написать тебе много утешительного о моих отношениях с Шлегелем. Он очень одобрил мои стихи и был чуть ли не приятно поражен их оригинальностью. Я слишком тщеславен, чтобы удивляться этому. Но я был очень польщен, когда недавно Шлегель официально пригласил меня к себе, и за чашкой дымящегося кофе мы проболтали несколько часов. Чем чаще я к нему прихожу, тем яснее вижу, какая это замечательная голова. О нем действительно можно сказать:

Над ним незримо грации летают  
И звукам гимнов сладостных внимают.<sup>1</sup>

Его первый вопрос всегда один и тот же: как обстоит дело с изданием моих стихов, и, кажется, он очень ждет этого. Но и ты, дорогой Фриц, меня, кажется, об этом спрашиваешь. К сожалению, из-за множества переделок, совершенных мной по совету Шлегеля, мне придется заново переписать несколько стихотворений и, кроме того, приписать к ним еще много совсем новых стихов и стихотворных переводов с английского. Переводы удаются мне особенно хорошо, они явятся свидетельством моего поэтического мастерства. Но довольно самовосхвалений!

Ты не можешь себе представить, милый Фриц, как часто и как живо я тебя вспоминаю. Тем более, что я теперь веду в высшей степени *печальную, хворую и одинокую* жизнь. Поиски новых друзей при нынешнем положении вещей — занятие щекотливое и нецелесообразное, а что касается моих старых друзей, то, кажется, им кажется, что я уже не стою дружбы. Его великолепие Статский советник давно не удостоивает меня своим посещением. Я только вижу иногда, как он — величественное ничтожество — изволит следовать мимо меня со снисходительным поклоном. Его обскурантство господин консистерский советник Беллинг, которого прошлой зимой, пока он болел чесоткой, я изо дня в день спаивал, а во время каникул часто целыми днями таскал за собой, чтобы усмирить обуявших его дьяволов, — упомянутый Беллинг, слава богу, выздоровел. Однако мы видимся теперь только

<sup>1</sup> Перевод Е. Эткинда.

в здании университета; ведь сейчас болен и одержим дьяволом я, а он здоров. Так что все это в порядке вещей. Даниэльс и Шоппен торчат обычно вместе, и едят вместе, и читают вместе, и злословят вместе. Это тоже в порядке вещей. С Пелманом я теперь снова на короткой ноге, и мы часто здороваемся при встрече на улице. Все остальные радуются своему бытию.

Штейнман, Еврей, Поэт, принц Витгенштейн и его гофмейстер — вот и все мое общество; каникулы я хочу еще провести и прозубрить здесь. Но в октябре я отправляюсь в Геттинген и проездом навещу тебя в Гамме.

Это будет одной из милых роз, которые так скупно рассыпаны на моем тернистом жизненном пути.

О, милый Фриц! Тернии ранят меня ежеминутно; но они уже не в силах причинить мне такую боль, как прежде. Теперь я вижу, что люди глупы, когда жалуются на сильные страдания. Боль не так уж велика, вот только грудь, которая должна ее вместить, обычно слишком тесна.

Твой друг

*Г. Гейне.*

С сегодняшней почтой я отправляю тебе давно обещанную головку для трубки.

## **6. ФРИДРИХУ ШТЕЙНМАНУ И ЖАНУ-БАТИСТУ РУССО**

Геттинген, 29 октября 1820 г.

Нахмурив лоб и вращая очами, я только что собрался разразиться сотрясающим небо и ад проклятьем, которым хотел закончить третий акт моей трагедии, — как вдруг королевский ганноверский чиновник в алом мундире открыл мою дверь и вручил мне твое письмо. От души, от всей души обрадовался я ему; просветлело, чудесно просветлело все мое существо; но проклятье, великолепное проклятье из-за этого пошло к чертям. Впрочем, потеря не так уж велика, Гейне не может долго оставаться в радужном настроении, и, вероятно, уже ближайший час принесет мне много неприятностей, злые духи снова воцарятся в моем мозгу, и вышеупомянутое трагедийное проклятье прогремит еще страшнее.

В самом деле, пока я пишу эти строки, приятное настроение постепенно улетучивается; старые боли устремляются в свой старый кабачок, которым — увы! — является моя собственная грудь, и все это семейство болей принимается опять за старое: слышу и как тащится слепая бабушка *Грусть* и как плачет новорожденная дочурка, *фрейлейн Раскаянье*, — так окрестили малютку, — и в ее вечном плаче я различаю слова: «*Тебе следовало бы остаться в Бонне*». Эти слова меня раздражают. Но разве поможет, если я тоже начну ныть на все лады и перебирать гамму вздохов? Ведь я поступил не лучше и не умнее, чем тот мальчик, который нечаянно уронил в Рейн свои башмаки и с досады бросил им вслед и чулки.

Да, хоть и стыдно признаться, все же я должен вам честно сказать, что я здесь ужасно скучаю... Чопорность, глупая молодцеватость, пошлость — таков здешний тон. Любой человек здесь вынужден жить как отщепенец. Только зубрить тут хорошо — это-то меня сюда и привлекло.

Часто, когда я сумерничал в сумерки в аллеях плакучих ив моего райского Бейля, мне являлся в сиянии своего ореола светлый гений зубрежки в шлафроке и почных туфлях. Одной рукой он возносил над собой «Институции» Макельдея, а другой указывал на башни Георгии-Августы. И тогда даже звучные волны Рейна наставительно шептали мне:

Знай зубри, юнец, упорно,  
Нагоняй свои хвосты:  
Кайся в том, что так позорно  
Убивал досуги ты!<sup>1</sup>

Разве это не звучит высоко трагично? Понистине, в этих строках заключен болсе серьезный и мрачный смысл, чем в лебединой песне Сафо г-на Грильпарцера из Вены.

Мое письмо, как вы можете увидеть по заголовку, предназначается вам обоим сразу; я просто не знаю, как мне писать каждому отдельно, тем более что мне прекрасно известно, что все написанное одному небезразлично и для другого. Как я жил перед отъездом, что сказал и что пропел в Бейле и, наконец, как болтался в Бонне, — это ты, дорогой [Штейнман], уже, наверное,

<sup>1</sup> Перевод В. Зоргенфрея.

рассказал [Руссо]. Ныне, если не считать нескольких строк, я закончил третий акт моей трагедии. Это был самый трудный и самый длинный акт. Надеюсь, что этой зимой закончу и оба другие; если пьеса даже и не понравится публике, она, во всяком случае, возбудит большое внимание. Я вложил в нее собственное «я» вместе с моими парадоксами, моей мудростью, моей любовью, моей ненавистью и всем моим безумием. Как только она будет совсем готова, я без долгих размышлений отдам ее в печать. Уж она-то будет поставлена на сцене, когда — это неважно, ведь вещь эта стоила мне достаточных трудов. По правде говоря, я почти готов поверить, что написать хорошую трагедию гораздо труднее, чем быть хорошим бойцом на эспадронах, хотя при фехтовании на бойца приходится двенадцать реприз, в трагедии же их только пять. Я целиком придерживался Аристотелева дуэльного кодекса и сознательно вернулся на его фехтовальную площадку трех единств: места, времени и действия. Кроме того, я постарался ввести в свою трагедию немножко поэзии; правда, ее в ней меньше, чем в «Сервантесе» надворного советника Г. Деринга. О стихах моих — в следующий раз. Ты видишь, мой милый Штейнман, что я, против обыкновения, написал сразу много. Надеюсь то же самое услышать от тебя. Сколькими сотнями стансов разрешилась твоя муза? Хорошо ли сложены детки? Не жалей хирургического ножа критики даже для самого любимого ребенка, если он появился на свет с каким-нибудь горбиком, шишечкой или другим наростом. Будь строг к самому себе. Это первая заповедь художника. Думаю, что я часто подавал тебе в этом пример. С нашим Поэтом все, слава богу, благополучно. До сих пор, как ты знаешь, он был с музой в незаконной связи и рожал ублюдков от своей уличной девки — Демагогии, а ежели он когда и брюхатил настоящую музу, то никогда не задумывался над тем, хочет ли он мальчика или девочку, мопса или мартышку. Я могу похвастаться, что привел его наконец в священный храм искусства, вложил его руку в руку настоящей музы и произнес над обоими брачное благословение. Я, конечно, недостойн творить это посвящение в таинства поэзии, но часто, когда нет священника, неотложную помощь может оказать и простая повитуха. Честное слово, дорогой [Штейнман], ты



вытаращишь глаза от удивления, когда увидишь, каким отличным поэтом стал теперь наш Поэт. Он внял моим наставлениям и избавился наконец от обоих недостатков: творчества без мысли и злоупотребления сильными выражениями во вкусе Фолленов. Я давно уже не читал ничего столь красивого и нежного, как один из его сонетов; в его апологии «Песни о Нибелунгах» есть настоящие поэтические красоты и захватывающие места, наконец веночек сонетов, которым он обвил голову больного друга, благоухает и блещет, как золотой иоганнисбергер в граненом хрустальном бокале. Ты знаешь, Штейнман, я хвалю редко, но когда есть основание для похвал, они неудержимо вырываются у меня из глубины сердца. Бейся мужественно и весело, мой милый поэт, лавры ты заслужишь, а о том, чтобы тебя ими не обошли, позволь позаботиться мне. Но ты должен меня слушаться. Не обращай внимания на лающих псов. Месяц будет сиять все тем же светом, когда собаки, лаявшие на него, уже давно замолкнут. Его золотое сияние разливается над всей землей. А далеко ли разносится собачий лай? Я провел несколько дней в Гамме; там я наконец лично познакомился с доктором Шульцем. С его *associé*<sup>1</sup> я тоже подружился во время нескольких приятных совместных прогулок. Оба они очень хорошо меня приняли. Но моя прелестнейшая невестушка, девица Романтика, урожденная Поэзия, томилась там отчаянно. Я отказался от намерения пересадить в песчаные степи графства Марк несколько цветочков из нашего поэтического сада и размножить там их потомство. С «Занимательным журналом» ничего не выйдет. Доктор Шульдц совсем не интересуется стихами, даже, пожалуй, питает к ним отвращение, а Вундерман любит в лучшем случае стихи одной глеймовской школы. Все-таки я передал ему стихи, которые ты мне вручил, милый Штейнман, но не сомневаюсь, что при таком положении вещей печатание их очень затянется.

Кто знает, милые друзья, быть может тоска по вас пригонит меня обратно в Бонн ближайшим летом. Не сомневаюсь, что вы оба благотворно повлияли друг на друга. Руссо, наверное, приучился к достойным похвалы

---

<sup>1</sup> Компаньоном (*франц.*).

пластическим контурам Штейнмана, а Штейнман — к романтическим переливам красок и к словесной пылкости Руссо. Но пусть ни один из вас не посягает на поэтическое своеобразие другого. Вскоре я напишу вам больше о моих занятиях, моем стихотворстве, моем обществе и т. д. Я точно исполнил все поручения доктора Хундесхагена, о чем вскоре напишу ему лично; почта сейчас отходит, и слишком поздно писать еще что-нибудь. Подумайте только, гофрат Бенеке — единственный, кто здесь читает древнюю немецкую литературу, и (*horribile dictu!*)<sup>1</sup> у него только 9 (девять) слушателей. К ним принадлежит и мое ничтожество. Если Хундесхаген ближайшим летом будет читать о «Нибелунгах», то это, вероятно, перетянет меня обратно в Бонн. Тебе, дорогой Штейнман, замечу только еще, что письмо твое я получил вскрытым (в Англии за это полагается веревка) и что твой золингенский друг лишь натянул новый конверт с моим адресом поверх вскрытого письма... Пиши мне побольше, милый Штейнман, я давно ждал письма от тебя и после столь долгого ожидания получил только несколько строк. Кланяйся от меня всем нашим друзьям. Будьте здоровы, а то еще почта уйдет. Пишите! Пишите! Пишите скорей!

Г. Гейне,

## 7. ФРИДРИХУ-АРНОЛЬДУ БРОКГАУЗУ

Геттинген, 7 ноября 1820 г.

Прилагаю к настоящему письму рукопись, под заглавием «Сон и песня», которую я предлагаю вам для издания. Я прекрасно знаю, что широкую публику не интересуют сейчас стихи, и, следовательно, они, вероятно, не слишком излюбленная издательская статья. Поэтому-то я и обратился именно к вам, г-н Брокгауз. Мне, разумеется, не осталось неизвестным, что, издавая поэтические произведения, вы отчасти проявляете заботу

<sup>1</sup> Страшно сказать (*лат.*).

и об интересах самой поэзии и что вы умеете так же деятельно покровительствовать всему, что в нашей изящной словесности ценно и непритязательно, как и испровергать и, ко всеобщей радости, смирять раздутые самомнения.

Вот почему я, по примеру многих моих друзей, решаюсь целиком предоставить на ваше усмотрение размеры гонорара. Замечу только, что он интересуется меня гораздо меньше, чем хорошая бумага и печать, которыми вы обычно столь щедро украшаете ваши издания.

Мне бы очень хотелось, чтобы вы сами прочли мою рукопись, и я уверен, что при вашем верном, общепризнанном поэтическом чутье вы не станете отрицать совершенную самобытность, по крайней мере, первой половины стихотворений. Это их свойство, которое в наши дни, право, кое-чего стоит, вынуждены были признать самые упрямые в делах искусства судьи, и прежде всего мой паставник А.-В. фон Шлегель, который (прошлым летом и зимой в Бонне) неоднократно критически разбирал по косточкам мои стихи, превосходно устранял некоторые их изъяны, выгодно оттеняя кое-какие красоты, а в целом, благодаренье богу, изрядно похваливал их.

Так как прискорбные обстоятельства принуждают меня отказаться от опубликования любого стихотворения, которому можно приписать политический смысл, я отобрал для этого сборника почти одни только любовные произведения; поэтому он и вышел, разумеется, довольно тощим. Однако все стихотворения рукописи, кроме шести, напечатанных четыре года тому назад в гамбургском журнале «Страж», не появлялись еще нигде; они могут служить наглядной иллюстрацией моих воззрений на новейшую поэзию, которые в сжатом виде изложены в прилагаемой статье.

Очень прошу вас как можно скорее известить меня, намерены ли вы воспользоваться моею рукописью; если нет — пожалуйста, верните мне ее почтой по прилагаемому адресу.

Остаюсь с глубочайшим почтением преданный вашему высокоблагородию

*Г. Гейне.*

## 8. ФРИДРИХУ ШТЕЙНМАНУ

Геттинген, 4 февраля 1821 г.

Дивись! Дивись! Дивись! Я получил *Consilium abeundi*.<sup>1</sup>

Из-за различных трений я уже три месяца жил в постоянной тревоге, меня преследовали всякие роковые неудачи, и наконец на прошлой неделе

*за нарушение закона о дуэли*

я исключен на полгода. Только под предлогом того, что я слишком болен, чтобы выходить, мне разрешили остаться здесь еще несколько дней. Ты можешь сообщить это известие\*\*\*, но сначала возьми с него слово, что он не проболтается. Иначе об этом узнают тамошние дюссельдорфцы, напишут домой и все дойдет до моей семьи, от которой я хочу это скрыть. Теперь ты можешь себе представить мою досаду: в мучительном ожидании денег из дома, занятый разборкой своих бумаг, я вынужден сидеть взаперти. Так провел я уже все утро и только что написал кому-то в альбом:

Чуждый скорби, чая нег,  
Дни проводит человек —  
И консилиумом высшим  
Вдруг сражен, над ним нависшим.  
И приходится бедняге  
Дальше плыть, забрав бумаги.<sup>2</sup>

Но куда мне плыть? В Бонн, по различным обстоятельствам, я ни за что не вернусь. Жду, чтобы из дому назначили, в какой университет направиться. Вероятно, это будет в Берлин. Вскоре сообщу вам точнее.

С удовольствием вижу, что ты подбил свои башмаки железными гвоздями, дабы легче было взобраться на Геликон. С искренним удовольствием читал я и перечитывал твои драматические опыты, присланные мне. Но ты требуешь моего мнения, а это смущает меня.

Я слишком хорошо знаю людей, я знаю, что они ждут только похвал, даже когда смиреннейше просят высказать свое истинное мнение и дать самую суровую оценку. Если эта оценка оказывается отрицательной или вовсе

<sup>1</sup> Совет уйти (*лат.*). (См. комментарий.)

<sup>2</sup> Перевод В. Зоргсифрея.

уничтожающей, то, конечно, в душе ее считают несправедливой, а честного критика за это если не возненавидят, то, во всяком случае, сильнее любить не станут. Ведь люди — тщеславнейшие из созданий, а поэты — тщеславнейшие из всех людей. Оскорбивший тщеславие поэта повинен в *двойном* оскорблении величества.

Вот в этом и выражается мое безумие, тем-то и вызываю я постоянно ненависть, что, хотя мне все это отлично известно, я все же практического вывода из своего знания не делаю. Но я вижу, милый Штейнман, ты схватился за мой сюргук и упорно требуешь, чтобы я высказался о твоих драмах. Сделаю это в немногих словах, но сначала, раз уж ты настаиваешь, поговорю о своей собственной трагедии.

Я работал над ней с напряжением всех сил, не жалея ни крови сердца, ни пота мозга, и закончил все, за исключением половины одного акта. Но, к своему ужасу, я нахожу, что это восхищавшее меня божественное, великолепное произведение не только не *хорошая* трагедия, но что оно вообще не заслуживает названия трагедии. Да, в ней есть чудесные места и сцены, оригинальность видна во всем, она так и блещет на редкость поэтическими образами и мыслями, она вся горит и светится, словно окутанная волшебным алмазным покрывалом. Так говорит тщеславный автор, энтузиаст поэзии. Но строгий критик, непреклонный драматург, носит совсем иначе отшлифованные очки: он покачивает головой и объявляет эту трагедию красивой марionеткой.

«*Трагедия должна быть действенной*», — бормочет он, и это смертный приговор моей пьесе. Может быть, у меня нет драматического таланта? Вполне возможно. Может быть, французские трагедии, которыми я когда-то восхищался, неведомо для меня оказали свое прежнее действие? Последнее несколько более вероятно. Представь себе, в моей трагедии чрезвычайно строго соблюдены все три единства, действуют почти всегда только четыре лица и диалог почти так же жеманен, вылощен и гладок, как в «Федре» или «Заире». Ты удивлен? Загадку разгадать легко. Я и в драме пытался соединить романтический дух со строго пластической формой. Поэтому мою трагедию постигнет та же судьба, что и «Иона» Шлегеля. Ведь и «Ион» был написан с полемической целью.

Судя по первым пробным сценам, мне кажется, что в твоей драме этой ошибки не будет. (Твой подзаголовок — «Драматическая поэма» — я оставляю без внимания. Он меня не убеждает.) По крайней мере, ты, видимо, сумеешь писать настоящие трагедии. *Хорошие ли?* «Вот в чем вопрос», — говорит наследный принц Дании. Сомневаюсь. Может быть, виной тому четырехстопный трохей, которого я вообще не выношу в драме. Возможно, это предрассудок, но я признаю в ней только пятистопный ямб. Он не должен, однако, быть рифмованным; разве только в особо лирических местах, например, как в разговоре Ромео и Джульетты, но никак не в спокойно-сдержанных вступительных сценах твоей «Анны Клевской». Начало ее нравится мне чрезвычайно. Твой ямб куда лучше, чем я ожидал. Прогони только хромой сброд трохеев с костылями «слов-заплаток», например частое у тебя словечко «прелестно», которое для меня, ты это знаешь, совершенно лишено прелести. Поэтические образы тех двух пробных сцен похожи на тощих фараоновых коров. В твоих вещах меня особенно удивляет отпечаток небрежности, который лежит на всем. Доработай «Анну Клевскую»! Я думаю, ты сможешь поставить ее на сцене, если вплетешь в нее намеки на процесс нынешней английской королевы. Изучи этот процесс. Но главное — будь строг к самому себе. Это совет, который надо давать без конца молодым поэтам. Чудесно поет персидский Гете, божественный Саади:

Строгость к себе самому! Срезай отягченные лозы.  
Тем веселей по ветвям сок животворный пойдет.

Но разумная строгость к самому себе совсем не то, что безрассудное аутодафе собственных стихов, которое можно произвести разве что спяна. Впрочем, я слишком хорошо знаю душу поэта и понимаю, что он скорее отрежет себе нос, чем сожжет свои стихи. Слово «сжечь» служит здесь лишь условной заменой выражения «отложить на время».

Только Медея способна убить своих детей. Но разве духовные дети не должны быть нам гораздо дороже телесных? Ведь последних мы без особого труда зачинаем в одну ночь, а создание первых требует страшного напряжения и много времени. Как понравилось тебе стихотворение Поэта о Нибелунгах? Я прочел его в печати несколько дней тому назад и не могу вдоволь им насладиться.

Я прочел его, вслух по меньшей мере раз двадцать и, напустив на себя критическую мину, разобрал все его красоты.

«Рейнско-вестфальский альманах муз» я не мог здесь получить. Что поделывает Поэт? Прибрать бы мне его снова к рукам! А что ты делаешь? Я очень часто говорю о тебе с твоим другом [Функе]. Знакомство с ним доставило мне большое удовольствие. Он отличный малый. Правда, в его стихах главную роль играют древние языческие боги, а его героиня — прекрасная Дафна; но в этих стихах есть что-то ясное, чистое, крепкое, доброе. Он с очевидной пользой читал Гете и понимает, что прекрасно.

Его «домашняя фуфайка» [Вальдек] — очень хороший поэт и когда-нибудь добьется многого. Я хорошенько подстегнул их обоих и словом и примером, ясно изложил им свое мнение о поэзии и думаю, что семена эти, по крайней мере у [Вальдека], прорастут и принесут хорошие плоды. Скажи-ка мне откровенно, кто из студентов в Бонне перешел в католичество? Ну, теперь я должен наконец вкусить кислого плода и сказать, как обстоит дело с моими стихами. Ты напрасно думаешь, что я сам виноват в задержке издания. Я получил их обратно от Брокгауза с чрезвычайно изящным и вежливым ответом: в настоящий момент он слишком перегружен рукописями. Вот я и подумываю, как мне их пристроить. Великий Гете со своим первым произведением испытал то же самое. Спроси Поэта, что он посоветует. Мою трагедию, несмотря на ее недостатки, я все же напечатаю.

Будь здоров!

*Г. Гейне.*

Я, вероятно, послезавтра отправлюсь в путь. Но не в Берлин. Хочу пройти пешком по Гарцу. Так что ты и Поэт, вы не сможете написать мне раньше, чем я вам напишу. Это будет через месяц.

## 9. ГЕНРИХУ ШТРАУБЕ

Геттинген, 5 февраля 1821 г.

Когда солнце светит равней весной,  
Распускаются пышно кругом цветы;  
Когда месяц плывет дорогой nocturnой,  
Высыпают и звезды, прозрачны, чисты;

Когда ясные глазки видит поэт,  
Он песнью славит их сладостный цвет.  
По и пссии, и звезды, и луна,  
И глазки, и солнечный свет, и весна,  
Как бы ими ни наполнилась грудь,  
В этом мире — не вся еще суть.<sup>1</sup>

Да, мир состоит еще из других составных частей. Если ты когда-нибудь в моем большом эпосе о природе прочтешь о бесчисленных золотых жилках, пронизывающих тело вселенной, то знай, что я понимаю под этим дукаты, луидоры и ффридрихсдоры. Я думаю сегодня привести в порядок свои денежные дела. Теперь я укладываюсь. Пришли мне немедленно: 1) письмо Руссо, 2) «Мацфреда» и 3) английскую книгу. Не забудь, паршивец.

Твой горячо любящий  
друг и доброжелатель

*Г. Гейне,*  
студент-юрист.

## 10. ГЕНРИХУ ШТРАУБЕ

[Ольдесло (?), между февралем  
и апрелем 1821 г.]

Милейший!

Ведь я же это наперед знал и даже предсказал тебе, что будет так.

Едва я переступил городскую черту Гамбурга, как тотчас же мне показалось, будто я и не покидал этой дыры, и все, что я пережил, передумал и перечувствовал за два года отсутствия, погасло в моем сознании. Целый час я провел в молчании и, собственно, почти ни о чем не думая.

Этот час — незначительное и, в то же время, многозначительное тире в книге моей жизни. Чем закончится эта книга? Что хотел написать божественный автор —

<sup>1</sup> Перевод В. Зоргенфрея.



трагедию или комедию? Dieu merci,<sup>1</sup> тут придется посчитаться и с моим мнением, и катастрофа зависит от моей воли; мне хватит одного лота пороха, чтобы сбить шутовской колпак с головы героя пьесы. Что мне за дело, свистит или аплодирует галерка? Пусть даже и партер шипит. Я над этим смеюсь! Пусть и милый коротенький человечек с волшебной палочкой в руках скулит: «Пьеса плоха!» Я смеюсь. Пусть шумит все небесное воинство! Я смеюсь!!!...

Да, я смеюсь! Мне пошлый фат смешон,  
Уставивший в меня баранье рыло.  
Смешна лиса, что ухо наострила  
И нюхает меня со всех сторон.

Привявшая судьи надменный тон,  
Смешна высокомудная горилла,  
Смешон и трус, готовящий кадило,  
Хотя кинжал и яд припрятал он.

Когда судьба, нарушив наш покой,  
Игрушки счастья пестрые сломала  
И в грязь швырнула, черни на потеху,

Когда нам сердце грубою рукою  
Разорвала, разбила, растерзала, —  
Тогда черед язвительному смеху.<sup>2</sup>

И если бы зияющая смертельная рана в моем сердце могла заговорить, и она бы сказала: «Я смеюсь».

Но наверху, в боковой ложе, сидит нарядно одетая воскресная куколка; фабрикуя ее, небесный токарь превзошел самого себя. Вот эта очаровательная мордочка не должна бы смеяться; право, я был бы рад, если бы из этих акватофановых глазок вдруг брызнули хрустальные капельки. Да, вот она, та подводная скала, о которую разбился мой разум и за которую в смертельном страхе я все же хотел ухватиться. Старая история! Но французский королевский действительный тайный изготовитель максим герцог Франсуа Ларошфуко совершенно справедливо говорит, что «l'absence diminue les médiocres passions et augmente les grandes, comme le vent éteint les bougies et allume le feu».<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Слава богу (*франц.*).

<sup>2</sup> Перевод В. Левица.

<sup>3</sup> Разлука уменьшает мелкие страсти и увеличивает большие, подобно тому, как ветер гасит свечи, но раздувает пламя (*франц.*).

Vous avez raison, monseigneur! <sup>1</sup>

Было уже около полуночи, и я направился к дому моей Дульсиной Тобосской, чтобы под ее окном взаправду разыграть роль моего Альманзора. Но, к сожалению, у меня не было плаща, который был у моего Альманзора, и мне пришлось мерзнуть, как портяжке. Кроме того, вместо звездного сияния андалузской летней ночи палицо имелось лишь пепельно-серое небо, сырой, национально-гамбургский ветер и пронизывающий ледяной дождик. Желтый сводник, так часто меня обманывавший, скрылся со стыда за батареями своих туч и только редкими лучами освещал жилище всех жилищ. Не стану тебе рассказывать, милейший нытик, как я ныл. Все призраки безумия вырвались из домов умалишенных и гнались за мной по пятам. И этот безумный сброд справлял Вальпургиеву ночь в моем мозгу, зубы мои выстукивали музыку к их пляске, и из груди моей струились горячие потоки алой-преалой крови сердца. Жутко шумели вокруг меня эти кровавые волны; меня дурманил аромат близости любимой, и она сама, она сама появилась вверху, у окна, и кивала мне, и улыбалась во всем сиянии своей сверкающей красоты, и я думал, что умру от беспредельного желания, и грусти, и блаженства.

Но вдвое острейшая боль пронзила мое сердце, когда я понял, что это была первоапрельская шутка моей фантазии. Прелестная кудрявая головка, так благосклонно мне кивавшая, принадлежала старой гувернантке, закрывавшей ставни, изумительный аромат, туманивший мне сознание, был просто запахом соседней сырной лавки, а низвергшийся поток крови был только содержимым..., которое какая-то ... вылила из окна. Я мог бы еще многое написать тебе о моем бедном безумном сердце, но я нездоров, пишу эти строки в комнате родителей, боюсь, как бы кто-нибудь не заглянул в письмо через мое плечо; короче говоря, мне сейчас неудобно.

Я нашел свою семью в плачевнейшем состоянии. Отец все еще страдает душевной болезнью, мать носитя с мигренями, у сестры — катар, а оба брата пишут плохие стихи. Вот уже это просто разрывает мне сердце. Но относительно младшего я еще не окончательно потерял

---

<sup>1</sup> Вы правы, ваша светлость! (франц.)

надежду. Ему не нравятся мои стихи. Это хороший признак. Сестра благосклонно отзывается о моих поэтических заслугах. Недавно, когда я прочел ей одно из своих лучших произведений, она заметила: «Что ж, ничего себе». Девушка эта поет как ангел. Мой младший брат поступит на медицинский факультет. Старший изучает сейчас на практике сельское хозяйство. Из братской любви я не стану докучать обоим своими теориями об искусстве.

## 11. ИОАННУ-ВОЛЬФГАНГУ ГЕТЕ

Берлин, 29 декабря 1821 г.

Я пашел бы сотни оснований послать вашему превосходительству мои «Стихотворения». Но приведу только одно: я люблю вас. Думаю, что это достаточное основание. Я знаю, что мое стихотворство еще не имеет большой цены. В нем только изредка можно найти признаки, свидетельствующие о том, что я смогу дать впоследствии. Я долго не мог решить, в чем сущность поэзии. Мне сказали: «Спроси Шлегеля». Тот сказал: «Читай Гете». Я честно выполнил его совет, и если когда-нибудь из меня выйдет что-либо путное, я буду знать, кому я этим обязан.

Целую священную руку, указавшую мне и всему немецкому народу путь к вечности,  
и остаюсь

вашего превосходительства  
покорнейшим и преданнейшим слугой.

*Г. Гейне,*  
кандидат прав.

## 12. АДЛЬФУ МЮЛЬНЕРУ

Берлин, 30 декабря 1821 г.

Господин надворный советник!

Если я стал поэтом, то виною тому «Вина» вашего высокоблагородия. Она была моей любимой книжкой, и я так любил ее, что в знак любви преподнес своей возлюбленной. «Напивите что-нибудь похожее», — насмеш-

ливо сказала красавица. Понятно, что я поклялся всем святым, что напишу еще лучше.

Но, ваше высокоблагородие, поверьте мне на слово, до сих пор мне не удалось еще исполнить свое обещание. Однако я нисколько не сомневаюсь, что в самые ближайшие годы я вытесню самодержца царства драмы с его дощатого трона. «И тебя не страшат ни окровавленные головы NN-а и MM-а, выставленные как предостережение на страницах критических журналов, ни даже гибель многих тысяч, потерпевших позорное поражение при столь же дерзкой попытке?» Нет, я неустрашим!

Лес рубят — щепки летят; вот они-то и есть стихи, которые я имею смелость вручить сегодня вашему высокоблагородию. Делаю это не из уважения к вашему высокоблагородию; я всячески стараюсь, чтобы уважение это не было заметно. Дело тут и не в благодарности за прекрасные вечера, которыми я обязан вашему высокоблагородию; во-первых, я неблагодарен по природе, ибо я есмь человек, во-вторых, по отношению к поэтам я неблагодарен по привычке, ибо я немец, и в-третьих, о моей благодарности вашему высокоблагородию не может быть и речи, ибо теперь я себя тоже считаю поэтом.

Посылаю прилагаемый том стихов вашему высокоблагородию просто потому, что хочу иметь на него рецензию в «Литературной газете». Я много выиграю, если рецензия будет благожелательной, то есть не слишком злой. Дело в том, что я держал пари в одном здешнем литературном клубе, что надворный советник Мюльнер напишет обо мне беспристрастно, даже если я признаюсь, что принадлежу к его противникам.

Остаюсь с почтением  
искренне преданный  
вашему высокоблагородию

*Г. Гейне.*

### 13. ХЕЛЬФРИХУ-БЕРНГАРДУ ХУНДЕСХАГЕНУ

Берлин, 30 декабря 1821 г.

Ваше высокоблагородие!

Посылаю экземпляр сборника моих стихов в знак благодарности за высказанное вами благоволение. Желаю,

чтобы оно никогда не уменьшилось и чтобы я был в состоянии доказать, что не вовсе его недостойн.

Знаю: стихи этого сборника немногочисленны; большая часть их — балласт. Но знаю также, что такой знаток, как Хундесхаген, найдет в них и знание народной песни, и борьбу против салонной поэзии, и стремление к самобытности.

Если ваше высокоблагородие пожелает поспособствовать известности моей книги через свои литературные знакомства, это доставит мне большую радость и еще больше обяжет меня вашему высокоблагородию.

С исключительным почтением  
остаюсь вашему высокоблагородию  
совершенно преданный

Г. Гейне,  
кандидат прав.

#### 14. ХРИСТИАНУ ЗЕТЕ

Берлин, 14 апреля 1822 г.

Дорогой Христиан!

Ты знаешь, я редко пишу короткие письма; поэтому приготовься прочесть нечто чрезвычайно важное, может быть даже чрезвычайно умное.

Сегодня ночью, во время бессонницы, я передумал о многом и перечислил все, что я люблю. Это:

№ 1. Тень одной женщины, тень, которая живет еще только в моих стихах.

№ 2. Замечательная идея, которая засела в Поляке.

№ 3. Один человек, которым до сих пор я считал тебя.

№ 4. Моя новая трагедия.

№ 5. Оля подрида из: семьи, истины, французской революции, прав человека, Лессинга, Гердера, Шиллера, и т. д., и т. д.

С № 3 — теперь дело особое. Я тебя все еще буду любить.

Это зависит не от меня. В этом я уже давно убедился. Но *друзьями* мы остаться не можем.

Объявляю, что с пятнадцатого апреля я уже не буду твоим другом, что с этого числа освобождаю себя от всех обязательств по отношению к тебе, и ты можешь требовать от меня лишь обычной вежливости и учтивости. Если ты действительно был моим другом, — во что я никогда до конца не верил, — освобождаю и тебя на будущее время от всех обязательств по отношению ко мне. Надеюсь, что согласно законам международного права, действующим в отношениях между бывшими друзьями, ты будешь молчать обо всем, о чем мы с тобой говорили до пятнадцатого апреля, — мне не хотелось бы, чтобы это стало известно. Но все, что я стану тебе рассказывать после пятнадцатого числа, — кажется, оно наступит уже завтра, — ты можешь рассказывать кому угодно, даже Клейну, а Клейн — своему брату, а тот — всей клике, а она — Берлину, а Берлин — всей Германии. Тебе разрешается также провозгласить меня, образованнейшего из всех ныне живущих, невеждой, глупцом и недоучкой. Только, пожалуйста, всегда прибавляй, что мы с тобой больше не друзья: пусть люди знают, как им следует понимать твой отзыв. Честное слово, я совершенно уверен в том, что никто в Германии не знает так много, как я. Только я не хвастаю своими знаниями. И, дорогой Христиан, не думай, что я сержусь на тебя. Я говорю, что не могу быть больше твоим другом, только потому, что всегда был честен и прям с тобой до конца и не хочу тебя обманывать и сейчас. У меня теперь совсем особое настроение, и оно, пожалуй, главная причина всему. Все немецкое мне отвратительно, а ты, к сожалению, немец. Все немецкое действует на меня как рвотное. Немецкий язык режет мне ухо. Временами мне противны собственные стихи; я вдруг понимаю, что они написаны по-немецки. Мне тошно писать даже эту записку, потому что немецкие буквы действуют мне на нервы. *Je n'aurais jamais cru que ces bêtes qu'on nomme allemands, soient une race si ennuyante et malicieuse en même temps. Aussitôt que ma santé sera rétablie je quitterai l'Allemagne, je passerai en Arabie, j'y menerai une vie pastorale, je serai homme dans toute l'étendue du terme, je vivrai parmi des chameaux qui ne sont pas étudiants, je ferai des*

vers arabes, beau comme le Mo'allakat, enfin je serai assis sur le rocher sacré, où Medchnun a soupiré après Leila.<sup>1</sup>

О Христиан, если бы ты знал, как душа моя жаждет покоя и как ее с каждым днем все больше терзают. Я уже почти не сплю по ночам. Во сне я вижу так называемых друзей; они рассказывают историйки и отпускают замечания, которые жгут мой мозг расплавленным свинцом. Днем меня преследуют вечные подозрения, повсюду я слышу свое имя и вслед за ним презрительный смехок. Если хочешь отравить меня, вызови немедленно перед моим духовным взором лица Клейна, Симонса, Беллинга, Штукера, Плюккера, боннских студентов и земляков. Жалкая сволочь тоже сделала все, чтобы отравить мне берлинский воздух. И тебе я тоже многим обязан. О, Христиан! Христиан!

Но только не думай, что я сержусь на тебя, что какой-нибудь особый повод вызвал это письмо.

Надеюсь, дорогой Христиан, что, пока я в Берлине, мы будем часто видеться и беседовать. Я хочу, чтобы ты навещал меня, — по крайней мере мне не нужно будет часто видеть тебя в обществе жутких рож. На днях я навещу тебя и принесу тебе «Озорные годы». Мне очень жаль, дорогой Христиан, что девять талеров я смогу тебе вернуть только первого мая и что я, возможно, причина твоих денежных затруднений. Просто возмутительно с моей стороны, что я не вернул их тебе несколько месяцев тому назад, когда получил вексель. Верность слову обычно принадлежала к числу моих добродетелей. На днях я навещу твою семью. Будь здоров, дорогой Христиан, и люби меня, как только сможешь при сложившихся обстоятельствах.

Твой друг до завтра

Г. Гейне.

---

<sup>1</sup> Я бы никогда не подумал, что животные, именуемые песцами, принадлежат к такой скучной и в то же время к такой коварной породе. Как только мое здоровье восстановится, я покину Германию, я переселюсь в Аравию, я буду там вести пастушескую жизнь, я стану человеком в полном смысле слова, я буду жить среди верблюдов, которые не студенты, я буду слагать арабские стихи, столь же прекрасные, как Моаллакат, и, наконец, я воссяду на священную скалу, где Меджнун мечтал о Лейле, (*франц.*). (См. комментарии.)

## 15. ЭРНСТУ-ХРИСТИАНУ-АВГУСТУ КЕЛЛЕРУ

Берлин, 27 апреля 1822 г.

Гартману с Рейна, бывшему старшине вестфальского землячества, ныне члену общества распространения разума, представителю здравого человеческого смысла, защитнику свободы промышленности и прочая, рыцарю света, и прочая, и прочая, а также правительственному референдарию в Потсдаме.

Как скучается вашему высокородию в Потсдаме? Поверьте, что отсутствие ваше зачастую очень для меня чувствительно. Скоро я вас павещу.

Меня тянет в Потсдам, так как там живет и моя возлюбленная — одна из мраморных статуй, что стоят на террасе в Сан-Суси. Я привезу вам ваш «Вестник», а также целый короб берлинских новостей. От Шульца я получил письмо. Он совершенно погряз в изучении древностей. Мое второе «Письмо из Берлина», наверное, уже попало к вам на глаза; хотелось бы, чтобы оно понравилось вам больше, чем первое. Ведь все, что мы пишем, обращено преимущественно к людям, с которыми мы близки. Если вы читаете брокгаузовский «Листок бесед», то вы увидите, что некто в корреспонденции из Берлина осыпал колкостями мое первое письмо и «глубокомысленных портье погребков и кофеен с их *физиогномическими* замечаниями» и в лютой злобе обругал мои бедные невинные стихи. Они заслуживают брани, это я и сам знаю, но я знаю также, что брань должна быть подкреплена аргументами и что ей не следует опираться всего лишь на песколько бессодержательных фраз, и мне очень хотелось бы, чтобы этот ругатель дал разбор моих стихов *по существу*.

Вы очень обяжете меня, милый Келлер, если придете мне на помощь и подсунете брокгаузовскому «Листку бесед» следующий запрос:

«Автора корреспонденции из Берлина от 18 апреля в № 90 данной газеты просят ответить на простые вопросы: есть ли *поэзия* в стихах Гейне, и если стихи совершенно неудобоваримы, то почему их вкушают столь многие?»



Мне будет очень приятно, если вы лично подпишете запрос. Но, милый Келлер, если это вызывает у вас сомнения, поставьте под ним первую попавшуюся и еще никем не использованную закорючку. Мне не хотелось бы показывать, что я придаю значение этому выпадку, но в то же время мне очень важно получить ответ на приведенный выше запрос. Вы окажете мне большую услугу.

Окс здоров и невредим. Время от времени он еще бодается; но когда тебя бодают, ты сразу догадываешься, что на тебя набросился бык. Я ничего не имею против его рогов и даже не прочь насадить ему еще пару.

Здесь все спокойно, если не считать правительственного распоряжения. У короля два новых повара; один из них, Луи, получает на шестьсот талеров больше, чем тайный советник, и готовит совершенно великолепные блюда.

Если у вас есть поручения, я буду счастлив точно их исполнить. Мой адрес: Г. Гейне из Дюссельдорфа, студенту-юристу.

Будьте здоровы и любите меня.

Ваш друг

*Г. Гейне*

## 16. ЭРНСТУ-ХРИСТИАНУ-АВГУСТУ КЕЛЛЕРУ

Гнезно, 1 сентября 1822 г.

Мой славный, храбрый Гартман с Рейна!

Вы удивитесь, получив от меня письмо из *Польши*. Хотя я долго медлил с ответом на ваше последнее милое письмо, но я часто о вас думал. Я делал это тем чаще, что ежедневно упрекал себя за свое молчание. Меня изо дня в день водил за нос некто, обещавший доставить нужный вам номер «Геттингенского ученого вестника». А тем временем — месяц тому назад — я уехал из Берлина. Мне надо бы ехать в Дрезден и Теплиц для восстановления здоровья. Однако мой дикий характер погнал меня в леса Польши. Мне захотелось узнать страну и поглядеть некоторых друзей-поляков. Какая ужасная страна:

польские деревни являют собой печальное зрелище люди живут в них как скоты. Признаюсь, милейший доктринер, у меня стало очень тоскливо на душе, когда я увидел бедственное положение польского крестьянина — это следствие высокоразвитой аристократии. Любимая наша Германия никогда не придет в такое состояние и никогда не вернется к средневековью — тому мне порукой все бесчисленные борцы за право и правду, чьи громовые голоса еще звучат повсюду, тому мне порукой такие мужи, как доктринер с Красной земли. Он — строгий страж божий в великом храме природы; он каждому указывает предназначенное ему место: растоптанному червю-еврею помогает взобраться на человеческое место, а наглого дворянчика гонит хлыстом с ложа лени, устланного мягкими привилегиями.

Но люди в Польше прекрасные. Дворяне добропорядочны, честны и достойны уважения. Те немцы, которые, возвращаясь в Германию из Польши, составили себе иное мнение об этой стране, обычно рассматривали Польшу сквозь немецкие очки, или же в груди их жили национальные предрассудки.

Я уже исколесил все кругом. Завтра снова еду в Познань, хочу еще раз осмотреть некоторые древности и копии старонемецких рукописей, которые профессор Шоттки привез из Вены. Недели через три-четыре вернусь в Берлин. Я все еще твердо намерен посетить вас в Потсдаме. Доктор Шульц писал мне месяц тому назад, что в октябре он будет в Берлине. Если вы, любезный Келлер, собираетесь скоро ему писать, передайте, что сейчас я слоняюсь по Польше, но в октябре вернусь в Берлин. Я забыл сообщить ему об этом, а писать ему буду теперь только через месяц. Будущую зиму я думаю провести еще в Берлине. Срок, положенный мне для учения в университете, — три года, — уже истек. Но полагаю, что мне прибавят еще несколько лет. Я посвящу их изучению источников по средней истории. Надеюсь, что впоследствии смогу занять кафедру, и тогда я покажу желторотым юнцам прошлое в свете истины. Уповаю, что через несколько лет ваше высокоблагородие составит обо мне мнение более благоприятное, чем то сомнительное мнение, которое вы сооблаговостили составить себе в прошлом году. Благородной поэзией я по-прежнему занимаюсь

очень много. Надеюсь вскоре поставить что-нибудь на сцене. Только не в Берлине. Зимой снова выйдет том моих произведений. Со всех сторон я слышу, что вызвал и продолжаю вызывать большие толки (как поэт). Хвалят ли меня, бранят ли, мне это безразлично. Я не схожу с той дороги, которую раз навсегда признал наилучшей. Некоторые говорят, что она заведет меня в нищету, другие — на Парнас, а третьи — что она ведет прямо в ад. Как бы там ни было, путь этот новый, а я ищу приключений. И все же меня тронула любовь, с которой меня приняли мои земляки. Право, со мной обращаются лучше, чем я заслуживаю.

Г-жа Окс чувствует себя хорошо, она корпит. У нее давно готов «Айвенго» Скотта, который скоро выйдет. Она все еще предается духовному разврату с Байроном. То, что вы, милый Келлер, в своем письме говорите о Байроне, прекрасно, но... «кошку бьют, а невестке наветки дают». Много ли вы трудитесь для брокгаузовского «Листка бесед»? Много ли пишете? Я хочу сделать вам одно предложение. За несколько недель до отъезда из Берлина я познакомился с доктором Эдуардом Гансом. Он оказался славным, энергичным молодым человеком, который во всех отношениях заслужил мое безграничное уважение. Он, несомненно, стоит куда больше, чем те господа, которые из христианской любви нападают на него, как на иудея. Его здравые убеждения я ценю едва ли даже не выше той учености, веские доказательства которой он дал нам. Ученость эта, насколько я могу судить о человеческих знаниях, поистине незаурядна; доктор Ганс обладает основательными познаниями, острым и самостоятельным взглядом; он проникает в науку, идеи его всегда поразительно новы и плодотворны. Вероятно, я в его присутствии редко попадал впросак, и Ганс составил себе слишком лестное мнение о моей учености. Он предложил мне издавать с ним и некоторыми другими лицами в Берлине критический журнал по юриспруденции и политическим наукам. В успехе журнала он меня почти убедил, в Берлине действительно не хватает настоящих критических обзоров научной литературы. Ганс вызвался позаботиться и об издателе, так что я ничем не рискую, кроме нескольких рецензий на политико-юридические сочинения. Как и следовало ожи-

дать, я, со свойственной мне честностью, которая вам, милый Келлер, известна, признался ему, насколько знания мои не соответствуют этой затее, и обещал привлечь вас — прекрасного экономиста. Прошу вас сообщить мне ваше мнение о моем предложении. В том случае, если вы согласны стать соредактором проектируемого журнала, Ганс просит вас сообщить мне поскорее, кого вы предполагаете привлечь в качестве сотрудников. Выбор он всецело предоставляет вам. Со своей стороны, Ганс известит вас, чье сотрудничество может обеспечить он. Хотелось бы по возвращении в Берлин застать ваш ответ на мое предложение. Пошлите его по адресу: студенту-юристу Г. Гейне, передать доктору Эдуарду Гансу в Берлине. Но лучше было бы, если бы вы лично приехали в Берлин и переговорили о моем предложении с Гансом. Он живет на Нойе Фридрихштрассе, кажется в доме 48.

Здоровье мое все еще плохо. Путешествие вряд ли поставит меня на ноги. Мое третье «Письмо из Берлина» непростительно искромсано. Шульц пишет — это сделала цензура. Мало того, что письмо это носило следы моего болезненного состояния и было само по себе не слишком удачно, а тут еще ножницы цензуры постарались, чтобы я нагородил бессмыслицу. Я напишу еще письма два, не больше. Будьте здоровы, славный Келлер, любите меня и верьте, что я душой и телом

ваш друг

*Г. Гейне.*

## 17. КАРЛУ ИММЕРМАНУ

Берлин, 24 декабря 1822 г.

Давно уже следовало мне послать вам письмо. Когда я прошлым летом прочел в «Вестнике» ваши исполненные любви к человечеству строки о моих «Стихотворениях», я решил написать вам. Тем временем наш общий знакомый доктор Шульц прислал мне ваши «Трагедии», и вместо того, чтобы заняться восхвалением и прочим пустословием;

мне захотелось отплатить вам добром за добро, став приемником вашего духовного дитяти в критическом Берлине, этом храме литературы, создав ему подобающую, заслуженную репутацию и поручив его особым попечениям и заботам женщин. Когда вскоре (слово «храм» здесь, конечно, не годится; вместо него надо бы поставить: «склад», «биржа», «чулан», «конюшня», «кузня», «тюрьма», «танцевальный зал», и бог знает что еще, — но я не люблю зачеркивать и лучше уж стану продолжать), когда вскоре после того я предпринял большое путешествие, я захватил с собою ваши трагедии и «Бумажное окно». Всю дорогу я был духовно занят вами и очень с вами сроднился, но письмо было отложено. По возвращении я с радостью тотчас хотел вам написать о том, что всюду, где я посеял семена вашей славы, меня встретили теперь тысячи волнующихся, тяжелых колосьев, но болезнь и дурное настроение снова помешали мне написать. Полтора месяца тому назад мой лучший друг, референдарий Христиан Зете, уехал в Мюнстер, куда он прибыл, вероятно, только теперь, так как ему приходилось отклоняться от своего пути. Я хотел вам передать письмо через него, но адреса его я еще не знаю, а медлить больше не хочу, так как вчера случайно узнал, что вы вскоре приедете в Берлин. Правда, я этому не верю, — ведь то, что мне милей всего, обычно не сбывается. Мне и самому неясно, почему именно то, что, в сущности, должно было бы продлить мое молчание, как раз подгоняет меня поскорее вам написать. Может быть, я боюсь, что, когда вы приедете, я не смогу прямо смотреть вам в лицо, потому что так долго собирался заверить вас в своем величайшем уважении и сердечной любви. Да, я жажду сказать вам об этом лично, и если вы не приедете сюда весной, я сам приеду к вам в Мюнстер. Если мое письмо застанет вас еще в Мюнстере и мой друг Зете уже там, то я бы хотел, чтобы вы с ним познакомились. Вас он уже знает, и он скажет вам, что я способен проделать целое путешествие ради такого дела, которое другие люди сочтут простым капризом. Может быть, он даже скажет вам, что у меня давно уже был проект приехать ради вас и ради него этой весной в Мюнстер.

На днях я прочитал о том, что вышла в свет ваша маленькая пьеса о Гете и Пусткухене. Скажите же Шульцу или Вундерману, чтобы они тотчас мне ее прислали.

«Стихотворения» ваши не удовлетворили меня потому, что «Трагедии» я прочел до них. В другой раз выскажусь по этому вопросу обстоятельно. Вероятно, слова мои прозвучали резче, чем следует. Это со мной часто случается, — я говорю вам это откровенно, потому что считаю вас человеком, которому можно высказать свое мнение открыто, без уверток. Но как мне уместить на этой четвертушке бумаги мои похвалы вашим «Трагедиям»? Ведь для похвал этих потребовался бы целый фолиант! Я вынужден отложить это прекрасное занятие до тех лучших времен, когда болезнь моя не будет угнетать меня так сильно, как теперь. А пока примите мои священные заверения в том, что после Эленшлегера я считаю вас лучшим среди современных драматургов (ведь Гете мертв). Я никогда не забуду того прекрасного дня, когда я получил ваши «Трагедии» и прочитал их и, почти обезумев от радости, рассказывал о них всем своим друзьям. Благодушная рецензия на них Фарнхагена фон Энзе в «Собеседнике» меня не удовлетворила. Я готов вступить с ним в соревнование. Я должен передать вам привет от вашей почитательницы, г-жи фон Гогенхаузен, которой я *от вашего имени* преподнес экземпляр «Трагедий». Надеюсь, вы не осудите этот своевольный поступок. Эта славная женщина честно сдержала свое обещание содействовать распространению «Трагедий». Правда, то, что она написала в нескольких газетах, особенно в лейпцигском «Листке бесед», по чести говоря, довольно плоско. Рецензию получше она послала Мюльнеру, который ее просто использовал в своей смеси. В постановку ваших «Трагедий» на местном театре я не верю: они слишком хороши. Мой друг Кехи вскоре поместит в «Листке бесед» лучший отзыв о ваших трагедиях, чем тот, что в нем уже напечатан, он передал экземпляр, который я дал ему с собой, когда он поехал в Брауншвейг, тамошнему директору театра Клингеману. От него он получил обещание поставить «Петрарку». Мое письмо растянулось бы сверх меры, если бы я стал подробно рассказывать вам, как здесь нравятся ваши «Трагедии», как их хвалят, а также как критикуют и ругают их разные поэтики. Последние — естественные враги всех хороших поэтов, и этот сброд не замедлит подгрызть и ваши прекрасные лавры. До сих пор вам еще везло; в невежественном Мюнстере мало кто знает вашу особу. Впрочем,

где бы ни находился истинный поэт, его всегда ненавидят и травят. Грошковые душонки не прощают того, что он хочет быть немного выше их, и самое большее, чего он может добиться, — это только мученичество. Меня глубоко потрясли полные значения слова, высказанные вами о моих стихах на страницах «Вестника». Признаюсь, до сих пор вы единственный, кто догадался об источнике моих темных страданий. Надеюсь, что вскоре вы меня узнаете по-настоящему. Может быть, мне удастся дать в следующем моем поэтическом произведении ключ к лазарету моих чувств. Эту книжку я сдам скоро в печать, и одной из моих самых больших радостей будет сообщить вам об этом. Ведь, в сущности, пишешь только для немногих, особенно когда замыкаешься в себе, как я. В эту книгу войдут мои маленькие чувствительно-иронические песенки, полная красочных образов южная романсная драма и очень маленькая мрачная северная трагедия. Глупцы полагают, что мы должны соперничать с вами вследствие общей для нас связи с Вестфалией (до сих пор вас считали вестфальцем). Они не знают, что прекрасный, светлый, сияющий бриллиант нельзя сравнивать с черным камнем, который только по форме причудлив и из которого молот времени выбивает злые, дикие искры. Но что вам до глупцов? Я всегда буду повторять, что недостойно стоять рядом с вами. Профессор Губиц давно уже дал мне задание завербовать вас для «Собеседника». Но я не советую вам размениваться на газетную работу, хотя и поражаюсь вашей литературной работоспособности. Кроме поэзии, природа, очевидно, одарила вас и хорошим здоровьем. Вы можете создать много, бесконечно много прекрасного. На днях я нашел маленькое произведение во вкусе буршей — «Обращение Иммермана к своему времени». Думаю, что оно ваше. С удовольствием вижу, что уже и прежде вы обладали твердой волей к добру и правде. Война закопселей несправедливости, царящей глупости и всему злumu! Если хотите взять меня в боевые товарищи в этой священной войне, то я с радостью протяну вам руку.

Поэзия в конце концов только прекрасное, но второстепенное дело.

*Г. Гейне,*

Берлин, 14 января 1823 г.

Дорогой Иммерман!

Мне хочется внушить вам хорошее мнение о моей точности в письмах, донесениях, извещениях и т. п.; поэтому я не медлю с ответом на ваше милое письмо от 31-го. Правда, друзья мои не склонны находить у меня это похвальное качество, и добрый Зете (передайте ему, что с ближайшей почтой я ему напишу), конечно, не затянет хвалебной песни в честь моей корреспондентской аккуратности; но это все сплошное предубеждение.

Хотя ваше дружеское письмо и приблизило нас друг к другу не меньше чем на двадцать почтовых перегонов; то есть примерно до Потсдама, все-таки расстояние, разделяющее нас, еще слишком велико, а за центнер корреспонденции почтовый сбор еще слишком высок, и писание писем слишком утомительно, а моя лень слишком грандиозна, чтобы я мог с должными подробностями рассказать вам, как взволновало, тронуло, обрадовало, утешило и ободрило меня ваше письмо.

Поэтому буду лучше держаться деловой стороны и сообщу вам свое мнение о делах издательских.

При посредничестве профессора Губица Мауреровское издательство *решилось* выпустить мои «Стихотворения», но, кроме сорока авторских экземпляров, — причем до настоящей минуты эти скаредники мне все еще недодали десяти книг, — я не получил ни пфеннига. Сообщаю это *sub rosa*<sup>1</sup> в утешение вам, так как я сомневаюсь, что гонорар за ваше первое произведение особенно велик. Но Мауреровское издательство (фамилия его директора Ф[еттер]) так опротивело мне своими безобразными увертками и грязными, оскорбительными интригами, что на днях я самым недвусмысленным образом дал ему почувствовать свое негодование, и вторая моя книга выйдет, конечно, не у Маурера; я постараюсь на этой же неделе найти нового издателя. При моей врожденной беспомощности во всех делах меркантильного порядка это будет мне, конечно, очень нелегко.

Пишу вам обо всех этих подробностях, чтобы вы поняли, почему в настоящее время я не могу предложить

<sup>1</sup> По секрету (лат.).



Мауреру ни вашей трагедии, ни вашего журнала; но мне хотелось бы, чтобы вы указали, должен ли профессор Губиц предложить от вашего имени этому издательству «Периандра». Правда, не думаю, что Мауреры склонны издавать сейчас беллетристические произведения; что касается гонорара, они всегда были отъявленными скрягами; надеюсь однако, что найду издателя для моих драм еще в этом месяце, и тогда не премину предложить ему вашу драму и журнал. Кроме Маурера, я незнаком здесь лично ни с одним книгоиздателем, но, впрочем, для моих поисков в этом нет необходимости. Здесь принято, что писатель делает издательству предложение в письменном виде. Если вы хотите, чтобы я сделал его от вашего имени некоторым издательствам, дайте мне определенное поручение. Но я советую вам лучше написать из Мюнстера здешним известным издательствам и указать, что вы поручили мне лично переговорить с ними о ваших предложениях, то есть о «Периандре» и о журнале. Надеюсь, что, несмотря на бестолковое письмо, вы меня поняли. Поиски издательства относятся уже к началу страстей писательских. После издательского надругательства и оплевывания наступает черед бичевания писателей «за чашкой чая» в светских салонах, затем возложение тернового венца из тупых и претенциозных похвал, наконец литературно-газетное распятие на кресте между двумя раскритикованными разбойниками — всего этого не выдержать, если бы не мысль о конечном вознесении на небо!

Надеюсь, что в поисках издателя вам будет полезен дипломатический советник Фарнхаген фон Энзе, если вы захотите прибегнуть к нему именно как к консультанту по этой части. Благодаря своему общественному положению, характеру, критическому чутью, порядочности этот человек заслуживает полного доверия; я завоевал его расположение с помощью прекрасной посредницы — поэзии. В общем он единственный человек, на кого я могу положиться в этом царстве лжи, и его дружеское участие к вашим делам было бы самым лучшим и прекрасным из всего, что может вам дать мое посредничество. Советуясь с ним об издательских делах, я тотчас же показал ему ваше письмо и «Пусткухениану», и, чтобы порадовать вас и в то же время избавиться от необходимости сообщить вам свое мнение об этих двух брошюрах, я посы-

лаю вам записку, присланную мне третьего дня женой Фарнхагена.

В пояснение замечу только, что «Письма о «Годах странствий», столь высоко оцененные Гете и напечатанные в «Современнике» за подписью *Фридерика*, принадлежат перу г-жи фон Фарнхаген и что в одном из них (в первом) встречаются те же выражения, что и в ее письме. Кстати, это самая умная женщина, которую я когда-либо знал, и при случае я хотел бы получить ее письмо обратно. Содержание его словно извлечено из глубины моей души; впрочем, это понятно само собой. Мнение Фарнхагена о вашем критическом произведении вы найдете в его заметке в «Собеседнике». Он просит вас передать, чтобы вы не забыли послать экземпляр вашей брошюры Гете и Тику. Третьего дня вечером мы долго говорили о вас; г-н фон Фарнхаген тоже много ждет от журнала, в котором вы в известной мере будете вершить критическое правосудие. Я тоже интересуюсь этим проектом, но в отношении сотрудничества ничего определенного обещать не могу. Все будет зависеть от состояния моего здоровья.

Я с радостью прочел ваши милые слова о моих поэтических пробах пера; ваша чудесная откровенность доказывает, что вы желаете мне добра. Напишу вам, как только смогу сообщить более утешительные сведения об издательских делах; все сказанное сегодня да послужит вам тактической линией в отношениях к вашему теперешнему издателю. Доктор Шульц всегда казался мне очень честным и благородным человеком.

Дружеский привет Зете; передайте ему, что мне очень его не хватает.

От всей души расположенный к вам

*Г. Гейне.*

## 19. ХРИСТИАНУ ЗЕТЕ

Берлин, 21 января 1823 г.

Дорогой Христиан!

Собственно говоря, мне не следовало бы вовсе тебе писать потому, что мне пришлось бы написать тебе все. Кроме того, ты и сам можешь себе представить, как

я теперь живу и какое у меня настроение. Тебя здесь уже нет. Вот тема, все остальное — комментарии.

Больной, одинокий, затравленный и неспособный наслаждаться жизнью, — вот как я живу здесь. Я теперь почти ничего не пишу, а только принимаю душ. Друзей у меня здесь почти нет; шайка негодяев всеми возможными способами старается мне повредить; они связываются со старыми так называемыми друзьями и т. д. Мои драмы определенно появятся через шесть--восемь недель. Вероятно, их будет издавать Дюмлер. Я пошлю тебе со следующей почтой мою статью о Польше, которую я написал для Бреза под струєю душа и которую профессор Губиц постыдным образом искажил суррогатными остротами, а цензура изрядно сократила. Эта статья навлекла на меня ненависть баронов и графов; и кое-где повыше меня тоже успели основательно очернить. Познакомь Иммермана со статьей в «Собеседнике», где идет речь о его критическом сочинении. Иммермана я очень полюбил за честную натуру, которая в нем чувствуется. Я хотел бы услышать твое суждение о нем. А еще больше хотел бы, чтобы вы подружились. Ему я также высказал это желание. Если оно исполнится, то я навещу вас в Мюнстере. Будь здоров и люби меня.

Мой адрес: Г. Г. из Д., Таубенштрассе, д. 32.

Ты не поверишь, как мне тебя недостает, тебя, которого я так люблю и который не внушает мне боязни, что я могу перед ним оскандалиться.

Будь здоров и не забывай меня.

*Г. Гейне.*

## 20. КАРЛУ ИММЕРМАНУ

Берлин, 21 января 1823 г.

По вопросу об издателе, дорогой Иммерман, мне надо кое-что добавить к моему последнему письму. Г-н фон Фарнхаген напишет на днях Брокгаузу в Лейпциг, что он посоветовал вам обратиться к нему по издательским делам. Фарнхаген тогда же даст понять вышеупомянутому книготорговцу, как выгодно для него взять на

себя издание ваших литературных произведений. Вы можете поэтому написать Брокгаузу уже с обратной почтой и предложить ему вашего «Периандра» и журнал для издания. Относительно «Периандра» вы уж сами решите, о чем целесообразно ему написать помимо гонорара и остальных условий, а что касается журнала, необходимо будет сообщить ему обо всем плане и направлении его. Мне представляется, что Лейпциг для ваших целей находится не так уж далеко. Литературные расстояния нельзя измерять милями.

Я консультировался по этому поводу с профессором Губицем, которого я использовал для своих собственных издательских дел; он предлагает устроить вашего «Периандра» в одно только что основанное книготорговое предприятие, располагающее крупным капиталом (кажется, это Объединенная книжная торговля). Оно уже сейчас печатает много выдающихся вещей, будет заниматься главным образом изданием книг и заручилось официальным согласием лучших немецких писателей. Поэтому Губиц просит, чтобы вы познакомили его с вашими условиями относительно гонорара и с вашей рукописью. Предоставляю вам использовать это предложение по вашему усмотрению.

Фарнхаген и Губиц — пока единственные люди, которым я сообщил о вашем желании найти издателя. Для своей собственной продукции я теперь связался с Дюмлером, но я не буду говорить с ним о вашем «Периандре», пока вы этого не потребуете: его издательство незначительно. Мне же важно напечататься побыстрее. Я радуюсь как ребенок выходу моей собственной книги; именно потому, что на меня нападает столько подлого сброда. Подождите, и на вашу голову обрушатся пасынки музыки. Вашего «Эрвина», как я слышал, безбожно ругают, «Петрарку» считают пиже всякой критики. Я усвоил принцип игнорировать всю ругань по моему адресу, настоящую и будущую. Знаю, что организовано целое общество, которое намерено систематически доводить меня до белого каления при помощи гнусных сплетен и публичного оплевывания. Прилагаю образчик из «Прямодушного». Мне кажется, что это сочинение одного бедного дворянина, по имени Юхтриц, который воображал, что, как только он выступит, все будут на него молиться, как на единственное

драматическое светило нашего времени, и который не может мне простить, что я нанес ему удар из-за угла, возвестив в кругу его знакомых о существовании некоего Иммермана. Могу себе представить, как вы при вашей здоровой натуре посмеялись бы над подобным убожеством и скудоумием.

Вашу брошюру о Гете и Пусткухене я перечитал еще раз и не могу вдоволь насладиться ею. Вы заслуживаете высшего признания. Оно будет вскоре высказано неким единомышленником в литературном приложении к «Утренней газете».

Будьте здоровы, думайте обо мне доброжелательно. Если вы, на основании отдельных выражений и жалоб, сочтете меня мелочным человеком, то я вам охотно сознаюсь, что я и в самом деле таков. Быть может, это объясняется состоянием моего здоровья, а может быть, тем, что я еще наполовину ребенок. Это просто хитрая уловка — мне хочется сохранить детство как можно дольше, потому что в ребенке отражается все: зрелость, старость, божество, даже испорченность и условности.

Любящий вас

Г. Гейне.

## 21. МОРИЦУ ЭМБДЕНУ

Берлин, 2 февраля 1823 г.

Любезный Эмбден!

Ваше письмо от 23 числа прошлого месяца наполнило меня радостью; поздравляю вас по случаю помолвки с моей сестрой. Хотя эта весть сильно меня взволновала, сильнее, чем можно подумать, я все-таки не воспринял ее как «причуду судьбы». Мне даже показалось, что это давно мне известно, известно уже много лет и только вытеснено из памяти внешними и внутренними бурями моей жизни. Надеюсь, что вы и сестра моя будете счастливой четой; Лоттхен в состоянии оценить ваш характер, а вы знаете цену характеру моей сестры, потому что, разумеется, цените женщину не за односторонние достоинства разума, сердца или тела, как это делает наше просвещенное избран-

ное общество, но, наверное, насколько я вас себе представляю, считаете подлинной образованностью чудесное равновесие душевных сил и подлинным очарованием — гармонию души и тела. Моя Лоттхен — музыка, она вся — равновесие и гармония; брату можно не бояться таких выражений в разговоре с женихом.

Политическая часть вашего письма очень меня порадовала; мне приятно, что будущий муж моей сестры не революционер. Я нахожу также вполне естественным, что человек *à son aise*<sup>1</sup> и счастливый жених не желает ниспровержения существующего строя и заботится о своем и европейском покое. У меня другое отношение к событиям, и, кроме того, на меня находит несколько странное настроение, когда я случайно читаю в газете, что на улицах Лондона замерзло несколько человек, а на улицах Неаполя несколько человек умерло голодной смертью. Но хотя в Англии я радикал, а в Италии — карбонарий, в Германии я не принадлежу к демагогам по той совершенно случайной и маловажной причине, что, если они победят, здесь будет перерезано несколько тысяч еврейских глоток, и притом самых лучших.

Но пусть воззрения наши на современные события резко различны и даже противоположны, я все-таки убежден, что это несколько не повредит нашей дружбе, дружбе родственников. Проявляясь даже на расстоянии (глухая вражда навсегда удержит меня вдали от Гамбурга) в сердечном участии, разумных предостережениях, доброжелательном ободрении, она будет часто утешать, поучать и успокаивать меня, живущего среди огорчений, борьбы и заблуждений.

*Г. Гейне.*

## 22. ИММАНУЭЛЮ ВОЛЬВИЛЮ

Берлин, 1 апреля 1823 г.

Вольфу, по прозванию Вольвиль!

Не думай, любезнейший, что запоздание моего письма свидетельствует об охлаждении моих дружеских чувств

---

<sup>1</sup> Живущий в довольстве (*франц.*).

к тебе; нет, хотя, правда, в эту суровую зиму некоторые дружбы и позамерзли, твой милый, толстый образ еще не сумел протиснуться наружу сквозь тесные врата моего сердца, и имя Вольфа, или, лучше сказать, Вольвиля, наполняет мою память жизненным теплом. Еще вчера мы (под «мы» ты должен всегда подразумевать меня и Мозера) проговорили о тебе полтора часа. Прямо удивительно, до чего ты похож на г-на Хан Э, одного из двух китайских ученых, которых за шесть грошей можно увидеть на Бернштрассе. Ганс находит, что они очень интересны, и в новой его книге, в разделе о наследственном праве в Китае, ты найдешь следующую сноску: «Смотри китайцев на Бернштрассе, д. 65, а также мои нанковые панталоны, и сопоставь с этим «Да Цин-люйли», том V, разд. X, глава 8».

Правда, здесь утверждают, что эти два китайца — переодетые австрийцы, присланные Меттернихом для участия в разработке нашей конституции... Цунц китайцев еще не видел, жена его тоже; она все еще не наглядится на своего мужа, восхищается им со дня на день все больше и утверждает, что его оспины — крохотные плевательницы бога любви. Цунц мне нравится, и мне до боли обидно, когда я вижу, что этого чудесного человека недооценивают из-за его резкости и неприятной внешности. Я возлагаю большие надежды на его проповеди, которые должны вскоре выйти; конечно, они не вызовут умиления и не явятся нежным пластырем для души, однако, — и это гораздо более ценно, — они пробуждают силы. Последнего как раз и не хватает Израилю. Несколько мозольных операторов (Фридлендер и компания) пробовали при помощи кровопускания излечить тело иудаизма от роковых парывов, разъедающих его кожу. Из-за неумелости этих людей, из-за непригодности тонких, как паутинка, бинтов здравого смысла, наложенных ими на рану, Израиль истекает кровью. Скоро ли исчезнет ослепление, будто самая краса заключается в нашей слабости, в отказе от силы, в одностороннем отрицании, в прекраснородушном ауэрбахманстве? Мы больше не ощущаем в себе сил, чтобы носить длинные бороды, поститься, ненавидеть и из ненависти терпеть; вот источник нашей реформации. Те из нас, кто заимствует культуру и просвещение у комедиантов, хотят дать еврейству

повые декорации и кулисы, и суфлер вместо длинной бороды нацепит белые брыжи; они и океан хотели бы влить в хорошенький бассейн из папье-маше, и на Геркулеса с Вильгельмовой горы в Касселе напаялить коричневую курточку маленького Маркуса. Другим хочется уютнейшего евангелического христианства под вывеской иудейской фирмы, и они шьют себе талес из шерсти агнца божьего, фуфайку из перьев святого духа и кальсоны из христианской любви; и вот они терпят крах, а их наследники выступают уже под вывеской «Господь бог, Христос и К<sup>о</sup>». К общему благу, эта фирма не долго существует, ее вексель на философию будет опротестован, и она обанкротится в Европе, даже если ее отделения, организованные миссионерами в Африке и Азии, продержатся еще несколько столетий.

Прости мне эти горькие слова; тебя не коснулся удар, который нанесли нам, отменив эдикт. Не следует принимать всерьез мои слова, даже то, о чем я писал выше. У меня тоже нет сил носить бороду, чтобы мне вдогонку кричали: «Еврейчик!», нет сил поститься и т. д. У меня даже нет сил как следует есть мацу. Я живу сейчас у еврея (напротив Мозера и Ганса), и получаю вместо хлеба мацу, и ломаю себе о нее зубы. Но я утешаю себя и думаю: «Мы ведь в изгнании». Моим колкостям в адрес Фридлиндера тоже не нужно придавать большое значение. Я недавно еще кушал у него прекрасный пуддинг; он мой визави; я даже вижу сейчас, как он стоит у окна, и чинит перо, и собирается писать Элизе фон дер Рекке, и на его лице уже можно прочесть: «Благородная дама, право же, я не так невыносим, как говорит профессор Фойхт, потому что...»

Берлин, 7 апреля 1823 г.

Прошло восемь дней, как меня прервали, и я уже забыл об этом письме; тем временем я получил твоё письмо от 1 апреля (это наша взаимная первоапрельская шутка) и хочу еще кое-что приписать, несмотря на боль, которая горячим свинцом льется мне в голову и наполняет меня острой и злой горечью.

Меня радует, что ты начинаешь находить удовольствие в объятиях прелестной Гаммонии... Мне эта красавица опротивела. Меня не обманет ее шитое золотом платье,



я знаю, что она носит грязную сорочку на желтом теле и, тая в любовных вздохах, с возгласом «Заплатишь ассигнациями, говядина!» склоняется на грудь того, кто больше даст.

Однако бывают там два сорта говядины: сырая и вареная. Последняя хуже всего, потому что она лишена соков и силы: это — говядина просвещенная.

Но, может быть, я несправедлив к доброму городу Гамбургу; настроение, которое мною владело, когда я там некоторое время жил, не способствовало тому, чтобы я стал беспристрастным судьей; моя *внутренняя* жизнь была меланхолическим нисхождением в мрачный рудник сновидений, озаряемый лишь молниями фантазии, моя *внешняя* жизнь была безумна, беспутна, пуста, цинична, отвратительна; словом, я превратил внешнюю жизнь в прямую противоположность внутренней, чтобы последняя не раздавила меня своей тяжестью. Да, *amicè!*<sup>1</sup> счастье мое, что в цирк житейской суеты я вступил прямо из философской аудитории и мог философски конструировать и объективно оценивать свою жизнь, хотя мне и не хватало того высшего спокойствия и рассудительности, которые необходимы, чтобы полностью охватить все пространство огромной арены жизни. Не знаю, понял ли ты меня. Если когда-нибудь ты прочтешь мои мемуары и найдешь в них описание толпы гамбургских обывателей, из которых я кое-кого люблю, большую часть ненавижу и еще большую — презираю, ты поймешь меня лучше. Пока же все сказанное пусть служит только ответом на некоторые вопросы в твоём милом письме и объяснением, почему я не могу, исполнив твоё желание, приехать этой весной в Гамбург, хотя и буду находиться всего в нескольких милях от него. Через месяц я еду в Люнебург, где живет моя семья, пробуду там недель шесть, а потом поеду на Рейн и, если только будет возможно, — в Париж. Мой дядя дал мне еще два года на занятия, и у меня нет необходимости согласно прежнему своему плану добиваться профессуры в Сарматии. Думаю, что вскоре многое изменится, и я без труда смогу обосноваться на Рейне. Если это не выйдет, я натурализуюсь во Франции, буду писать на французском языке и прокладывать себе дипломатическую дорожку.

---

<sup>1</sup> Друг мой! (*лат.*).

Главное — восстановить здоровье, без которого все мои планы — просто глупость. Послал бы только мне бог здоровья, об остальном я позабочусь сам. Врач подает мне надежду, что путешествие, особенно пешком, восстановит мои силы. Лечение душем я прекратил, оно мне ничуть не помогло и стоило невероятных денег. Больше всего меня злит, что мой врач и сейчас еще предписывает мне абсолютную добродетель. Кроме того, мне следует избегать умственного напряжения. Этой зимой я почти только и делал, что изучал песемитическую часть Азии, читал немного Шеллинга и Гегеля, перелистывал хроники и наслаждался чистой красотой, веявшей на меня из произведений греков. *Scmpiterna solatia generis humani*<sup>1</sup> называет ее старик Вольф. Для общества я был непригоден; писал немного; мои исторические занятия выиграли от этого мало, а меньше всего — мое «Историческое государственное право немецкого средневековья». Последнее было летом почти готово к печати, но большое количество новых идей, почерпнутых мною из изучения Азии, далее пример того, как Ганс работает над своим «Наследственным правом», а особенно философские импульсы, идущие от Мозера, привели к тому, что большую часть своей книги я предал огню и буду писать все сызнова в Париже, и притом по-французски.

Очень благородно с твоей стороны, что моя статья «О Польше» тебе понравилась. Моя критическая точка зрения на Польшу вызвала повсюду много похвал. Только я один не могу к этим хвалам присоединиться. Зимой я находился, да и сейчас еще нахожусь, в слишком жалком состоянии, чтобы создать что-нибудь хорошее. Статья взбудоражила все Великое герцогство Познанское. В познанских газетах написано, то есть наругано, в три раза больше всего объема статьи; особенно постарались тамошние немцы, которые не могут мне простить, что я так верно изобразил их, а евреев возвел в *tiers état*<sup>2</sup> Польши.

Мои «Стихотворения» все еще служат предметом внимания в Вестфалии и на Рейне, и я слышу о них много

---

<sup>1</sup> Вечным утешением рода человеческого (лат.).

<sup>2</sup> Третье сословие (франц.).

лестного. Но как ты можешь считать достойной упоминания болтовню в лейпцигской «Литературной газете»? Это самое поверхностное и незначительное из всего, что обо мне говорилось. На днях я пришлю тебе свои «Трагедии». Я посвятил их моему дяде Соломону Гейне. Видел ли ты его? Этот человек — один из тех, которых я особенно уважаю. Он благороден и обладает природной силой. Ты знаешь, последнее для меня важнее всего.

Видел ли ты мою сестру? Она славная девушка. Много ли ты бываешь среди женщин? Берегись, гамбургские дамы красивы. Но тебя это не трогает, ты тихий, порядочный, уравновешенный человек и если иногда и пылаешь, то лишь во имя всего человечества. У меня все по-иному. К тому же ты имеешь счастье быть человеком нравственным, ты рассуждаешь, предаешься этическим раздумьям, и ты доволен, и честен, и добр, и потому, что ты такой хороший малый, я и написал тебе столь длинное письмо.

*Гейне.*

### 23. КАРЛУ ИММЕРМАНУ

Берлин, 10 апреля 1823 г.

Дорогой Иммерман!

Я давно ответил бы на ваше письмо от 3 февраля, если бы не хотел послать вам одновременно и мои «Трагедии». Не раз я подумывал о том, чтобы послать вам пять первых листов, то есть «Ратклифа». Но я превозмог себя и рад, потому что в рубрику «обмен чувствами» могла вкратце и мелкая страстишка — обычное тщеславие поэта. И все же мне жаль, что я этого не сделал; ведь жизнь обычно коротка, а когда она затягивается, она, собственно уже перестает быть жизнью, и нужно не упускать мгновения, когда можешь открыть свое сердце другу-сдиномышленнику или развязать косынку на груди красивой девушки. Прошло много времени, прежде чем я смог понять мастерские строки: «Быть вдали ты хочешь вечно...» и т. д. Да, обещаю, что мелкое чувство бо-

язни показаться мелким никогда больше не удержит меня, когда явится желание исповедаться перед вами. Именно такую генеральную исповедь представляет «Ратклиф», и я крепко вбил себе в голову, что вы принадлежите к тем немногим людям, которые его поймут. Поэтому сделайте мне одно-единственное одолжение — прочтите его, когда у вас будет настроение, и не прерывайте чтения. Я убежден в ценности этой драмы (hark! hark! <sup>1</sup>), потому что или она (драма) правдива, или же я сам — ложь. Все остальное, что я написал и еще напишу, может исчезнуть и исчезнет. Мне хотелось бы подробно объяснить вам все это; мое смятение побуждает меня к тому; к счастью, у меня нет времени — переплетчик как раз принес новые экземпляры «Трагедий», надо послать их домой, нужно написать письма, а почта уходит уже в шесть часов, и на душе у меня сейчас, как у женщины, у которой начались роды. Принесет ли мне радость поворожденный шалуи? Вряд ли эта радость будет так же велика, как та боль в сердце, которую я предчувствую заранее. Местные содружества жаб и паразитов уже подарили меня грязными знаками своего внимания. Мою книгу ухитрились раздобыть еще до того, как она полностью вышла из печати, и вот, по слухам, «Альманзору» собираются приписать некую тенденцию и опорочить его так, что это возмущает все мое существо и наполняет его царственным отвращением.

Вероятно, хотя я этого и не сознавал, такое положение существенно повлияло на мое решение уехать отсюда через две недели. Поэтому прошу вас, если вы будете мне писать, то пишите по следующему адресу: Г. Гейне, передать через М. Мозера, Нойе Фридрихштрассе, д. 47. Мозер перешлет мне письмо. Я еду отсюда в Люнебург, где проведу несколько месяцев в лоне своей семьи; оттуда через Вестфалию и, как вы легко можете себе представить, через Мюнстер — на Рейн; нынче осенью я буду в Париже. Там я позанимаюсь еще некоторое время науками и затем начну дипломатическую карьеру. О ней я думаю давно и потому совершенно согласен со всем, что вы мне насчет этого писали. Предмет этот дает такой обширный материал для размышлений, что я не могу высказаться о нем

---

<sup>1</sup> Слушайте! Слушайте! (англ.).

вкратце. Если бы вы захотели пойти по дипломатическому пути, вам это было бы не слишком трудно. Лучшее и наиболее действенное средство, которое я рекомендовал бы вам для достижения такой цели, написать в удачно выбранный момент брошюру, которая привлекла бы внимание дипломатов. *Entre nous*,<sup>1</sup> это — главное средство, на которое я возлагаю надежды. Когда мы лично подробнее поговорим об этом деле и когда я буду наконец в Париже, на самой родине дипломатии, тогда найдется многое, что благоприятно для нашего начинания. Для меня будет огромной радостью способствовать человеку, в силы которого я так верю, в расширении круга его деятельности. Ваша книжка о дуэлях показала мне, чего можно ждать от вас в великой битве против легитимистского вздора. У меня лично не хватает для этого смелости, и я успокаиваю себя и оправдываю перед самим собою свою трусость тонкими размышлениями о том, что, если я пойду по такому пути, очень многое можно будет истолковать превратно, и т. п.

Зимой я говорил с кавалером Блажь де ла Мотт-Фуке, и коварно (вернее, шутки ради; я ведь люблю ум этого человека) спросил его, как он ценит ваши «Трагедии». Разумеется, он не мог отказать вам в таланте, но мне пришлось выслушать длинную-предлинную историю, которая сводилась к тому, что некий неизвестный г-н фон Лист пришел к нему, показал ваше сочинение о дуэлях и спросил, как он, рыцарственный барон, может поддерживать с вами отношения. После этого он, само собой разумеется, вынужден был эти отношения порвать. Я рассказываю вам эту историю потому, что, может быть, она до вас не дошла и, может быть, вы даже не знаете, что из-за этой старой университетской истории у вас до сих пор имеются здесь враги, распространяющие сплетни. Наш друг Фарнхаген, которому я все это рассказал, воскликнул с досадой: «Рыцарственный барон — дурак!»

Но я слишком отклонился в сторону. Я верю в ваш большой талант политического писателя и думаю, что нож, который так хорошо распотрошил Пусткухена, сможет разделать и дипломатического зайца. Письмо о «Годах странствий», обнаружившее столь счастливый талант

---

<sup>1</sup> Между нами (франц.).

изображения, критического анализа, проницательнейших сопоставлений, имело здесь большой успех. Отклик на него в «Утренней газете», помеченный Франкфуртом, на самом деле написал здесь братом г-жи фон Фарнхаген. Любопытно, что как раз в Вестфалии, где написаны подложные «Годы странствий», вышло и такое сочинение, как ваше. Недавно в гостях я привел по этому поводу американскую поговорку: «В странах, где водится много змей, растет и много трав-противоядий». Голова моя раскалывается от боли и, к сожалению, не позволяет мне, храбрый Иммерман, принять, подобно вам, участие в походе против рати ханжей из Лемго, но, рано или поздно, вы все же услышите мой голос, и в Париже, где сейчас пробуждается любовь к немецкой литературе, к Гете особенно, я надеюсь внести и свою лепту. С величайшим терпением жду вашего «Периандра»; возлагаю на него огромные надежды и не сомневаюсь, что он окажется свободен от единственного недостатка, в котором можно упрекнуть ваши «Трагедии». Этот недостаток заключается в том, что реплики действующих лиц зачастую чересчур длинны, и в том, что «поэзии» в них отведено слишком много места. Еще ни один молодой поэт, создавая своих первенцев, не сумел обойти эти рифы. Упрек этот относится и к моему «Альманзору», но, к сожалению, здесь он не единственный; в «Ратклифе» я полностью избежал этого недостатка, может быть даже и перестарался. Проклятые цветистые метафоры, которые я принужден был вложить в уста Альманзора и всей восточной братии, сделали меня многословным. Кроме того, боюсь, что *местные ханжи* упрекут эту вещь за многое. Г-н фон Фарнхаген сказал мне вчера, чтобы я попросил вас оказать мне поддержку, а именно написать рецензию. Не хочу быть мелочным и признаюсь вам, что и без этого совета попросил бы вас о рецензии в «Вестфальском вестнике». Но если вы очень заняты и это может лечь на вас тяжелым бременем, то в таком случае, прошу вас, не делайте этого. Я также прошу вас от всей души быть по-настоящему строгим, и, бога ради, не думайте об авторе, когда вы будете разбирать его произведение. Мне было бы очень приятно, если бы вы пожелали послать экземпляр вашей рецензии Фарнхагену.

Большое спасибо за присылку ваших портретов, это

было для меня приятным подарком. О журнале вы уже, вероятно, писали Брокгаузу; следует указать, что журнал будет выходить раз или два в месяц, иначе ему пришлось бы конкурировать с «Гермесом». Ваши элегии мне очень понравились. Против метрической их стороны могу многое возразить, очень-очень многое. Признаюсь вам в этом честно, но признаюсь также и в том, что за всю жизнь я не был в состоянии написать и шести строк этим античным размером, отчасти потому, что подражание античности внутренне чуждо мне, отчасти же потому, что я предъявляю слишком строгие требования к немецкому гекзаметру и пентаметру, и, наконец, потому, что я слишком неискусен в их изготовлении. Мне уже давно хочется спросить вас: какая из ваших трех трагедий написана раньше? Я всегда думал, что это «Долина Ронсевалея». Сцена, где Зорава уговаривает Ролаанда бежать, всегда трогает меня до слез. Мне кажется, что я сам хотел ее написать, но не смог это сделать из-за невыносимой боли. В «Альманзоре» я как бы вновь попробовал совершить нечто подобное, но усилия мои были тщетны. Вы сами узнаете это место. Странно, сколько сходства в обеих пьесах, даже в сюжете и в месте действия.

*Г. Гейне.*

Я был так рассеян в день последней почты, что забыл вложить прилагаемое письмо в ваш пакет. Если я совершил еще большую оплошность и случайно запечатал в пакет чужое письмо, прошу вернуть его мне. Я пробуду здесь, вероятно, до 8 мая. Не сможете ли вы подарить мне еще один экземпляр вашего портрета? Что вы подумаете обо мне, если я признаюсь, что подарил экземпляр, который вы мне так любезно прислали? Но я никогда не владел искусством отказывать женщинам в чем бы то ни было.

Будьте счастливы и не лишайте меня своего расположения.

*Г. Гейне.*

## 24. РАХЕЛИ ФАРИХАГЕН ФОН ЭНЗЕ

*(Подпись на экземпляре  
„Трагедий с лирическим интермеццо“)*

Берлин, 12 апреля 1823 г.

Скоро я уезжаю и прошу вас не выбрасывать мой образ окончательно в чулан забвения. Ведь я не могу отомстить вам тем же, и если бы даже я сто раз на день твердил себе: «Ты должен забыть госпожу фон Фарнхаген!», из этого все-таки ничего бы не вышло. Не забывайте меня! Плохою памятью вам не оправдаться. Дух ваш заключил договор с временем, и если, может быть, через несколько столетий я буду иметь удовольствие снова встретить вас, прекраснейший и роскошнейший из всех цветков в прекраснейшей и роскошнейшей из всех райских долин, будьте снова добры ко мне, бедному чертополоху (может быть, я буду еще чем-нибудь похуже?), и приветствуйте меня, как старого знакомого, ласковым блеском своей красоты и нежным дыханием аромата. Я знаю, вы это сделаете; ведь в 1822 и 1823 годах вы уже сделали почти то же самое, обращаясь со мной, больным, желчным, ворчливым, поэтическим и невыносимым человеком, с такой добротой и лаской, которых в этой жизни я, конечно, не заслужил и которыми, вероятно, обязан благосклонному воспоминанию о прежнем знакомстве.

С уважением и преданностью остаюсь, милостивая государыня,

*Г. Гейне.*

## 25. ИОГАННУ-ВОЛЬФГАНГУ ГЕТЕ

*(Подпись на экземпляре  
„Трагедий с лирическим интермеццо“)*

[Берлин, май (?) 1823 г.]

В знак глубочайшего почитания посылает эту книгу

*Астор.*

## 26. ЛЮДВИГУ УЛАНДУ

Берлин, 4 мая 1823 г.

Любовь, с которою я читал и, что вы, вероятно, не будете отрицать, воспринял ваши произведения, сходство воззрений на жизнь и искусство, — все это побуждает



меня, вняв совету общих друзей, послать вам эту книгу как внешний знак глубокого почитания,

Преданный вам  
Г. Гейне,

## 27. ЛЮДВИГУ ТИКУ

*(Надпись на экземпляре  
„Трагедий с лирическим интермеццо“)*

[Берлин, май (?) 1823 г.]

В знак глубокого уважения и преданности, с особой просьбой к великому знатоку английского духа удостоить своим вниманием трагедию «Ратклиф», посылает эту книгу

*Автор.*

## 28. ВИЛЬГЕЛЬМУ МЮЛЕРУ

*(Надпись на экземпляре  
„Трагедий с лирическим интермеццо“)*

[Берлин, май (?) 1823 г.]

В знак уважения и с особой просьбой к любителю охотничьего рога удостоить своим вниманием «Лирическое интермеццо» — шлет эту книгу

*Автор.*

## 29. МАКСИМИЛИАНУ ШОТТКИ

Берлин, 4 мая 1823 г.

Дорогой профессор!

Плачевное состояние моего здоровья и связанное с этим подавленное настроение помешали мне раньше ответить на ваше любезное письмо, написанное в феврале; я и теперь еще не написал бы вам, если бы некий внешний повод не заставил меня наконец взяться за перо. Кроме того, мне хотелось дождаться вашего возвращения из Вены, а теперь оно, вероятно, уже состоялось,

Поклонитесь от меня вашей избраннице, чей прекрасный портрет, увиденный мною в вашей комнате, в этот момент витает у меня перед глазами. Музыка в чертах лица и в душе и, как вы мне говорили, музыка в голое и в кончиках пальцев — чего большего может сын земли требовать от женщины? Разве такая женщина не является воплощением рая? Желая вам счастья в обладании им. Я же, рыцарь печального образа, никогда не смогу приобщиться к этому и, подобно женщинам корана, вынужден довольствоваться одним созерцанием рая. Теперь вас уже, наверно, меньше тяготит то, что вы отрезаны от Германии; в Германии об этом очень сожалеют, особенно на Рейне и в Вестфалии, где у вас теперь много друзей; впрочем, сожалеют больше из патриотического эгоизма; недавно, например, в «Вестфальском вестнике» очень горячо жаловались на то, что человек, больше всех способный с пользой потрудиться для немецкой истории, вынужден теперь дрессировать юных медведей в Сарматии. То, что я высказал по этому поводу в «Собеседнике», было лишь выполнением обязанности немца, не более; в частных разговорах я говорил об этом удачнее, и вы убедитесь впоследствии, как близко меня затрагивает все, что касается или может коснуться вас. С насмешливым равнодушием прочитал я глупое письмо против моего очерка о Польше, которое было напечатано в «Собеседнике»; вскоре после этого я услышал о том, что со страниц познанских газет против меня раздаются еще более бранные выпады, во вкусе рыночных торговки, и на днях мне удалось достать эти экземпляры. Вы, конечно, понимаете, что в ответ на это я тоже лишь пожимал плечами; но меня охватило негодование и отвращение при виде того, каким неслыханным среди цивилизованных людей образом бумагомаратель из этой газеты заодно со мной забрызгал грязью и вас, дорогой Шоттки. Предоставляю на ваше усмотрение назвать мое имя; я сделал бы это сам, если бы не считал ниже своего достоинства обращать хотя бы малейшее внимание на брань жалкого писаки.

Непосредственным поводом для моего сегодняшнего письма послужила прилагаемая книга, которую я вам посылаю в знак моей дружбы. Кроме того, с этой посылкой связано и корыстное намерение: хотелось бы, чтобы вы посодействовали успеху книги. У меня нет абсолютно

никаких театральных знакомств, и я слишком досажаю на наших директоров театров, которые ставят на сцене одно плохое, и поэтому я счел более разумным отдать в печать «Ратклифа», которого я писал для театра, чем предложить его какой-нибудь дирекции; при этом я рассчитываю на то, что широкое общественное обсуждение этой пьесы побудит ту или иную дирекцию поставить ее на сцене. Надеюсь, дорогой Шоттки, что вы можете сделать что-либо в этом отношении в Вене через ваших тамошних друзей, и полностью предоставляю это на ваше усмотрение. Если бы вы согласились написать подробную и, разумеется, нелицеприятную рецензию на нее в «Венском ежегоднике», это меня бы очень обрадовало; но только при том условии, что это вас несколько не затруднит и что вообще это предложение не будет вам неприятно. Я прошу вас сказать мне об этом чистосердечно, и если понадобится, я обращусь еще к кому-нибудь из своих друзей. Поэтому не насилюйте себя; вы видите, как я с вами откровенен, искренно показывая вам, как сильно меня интересует судьба моей книги из-за того влияния, которое она должна оказать на мое положение, а особенно из-за упорной травли, которой я здесь подвергаюсь в течение шести месяцев и которая может принять еще более щедрые размеры.

Я надеюсь, что «Трагедии» вам понравятся и что вы будете довольны моей теперешней трактовкой народной песни, которую я дал в «Лирическом интермеццо». При создании маленьких песен мне часто слышались ваши короткие австрийские танцевальные стишки с эпиграмматической концовкой. Предложение о присылке материалов в ваш журнал (я еще его и не видел) я не мог выполнить из-за своей болезни; еще меньше был я в состоянии написать для вас корреспонденцию. То, что я думаю в настоящее время о духовной жизни Берлина, я пока напечатать не смею; но вы это еще прочитаете, когда меня больше не будет в Германии и когда я, свободный от всяких авторских опасений, выскажусь о ново-древне-немецкой и древне-новонемецкой литературе в специальном трактатике.

Дело в том, что через несколько дней я уеду отсюда, некоторое время постраниствую по Вестфалии и Рейнской области, а этой осенью надеюсь быть в Париже. Я думаю

пробыть там много лет, прилежно заниматься в библиотеке и в то же время содействовать распространению немецкой литературы, которая теперь пускает корни во Франции. По этому поводу я мог бы многое вам написать, но мое письмо и так становится чересчур длинным. Напишите мне поскорее ответ, дорогой профессор, по следующему адресу: Г. Гейне из Дюссельдорфа, передать через г-на М. Мозера, Нойе Фридрихштрассе, д. 47. Письма мне пересылают аккуратно. Будьте здоровы и благосклонны к преданному вам

*Г. Гейне.*

### 30. ФРИДРИХУ ДЕ ЛА МОНТ-ФУКЕ

Люнебург, 10 июня 1823 г.

Господин барон!

Не могу выразить, что я почувствовал, получив ваше милое письмо. Оно застало меня здесь, в лоне семьи, которую я приехал навестить, чтобы присутствовать на свадьбе сестры, оправиться после хворостей и попрощаться с родителями перед моим отъездом в Париж. Отъезд теперь, правда, откладывается, потому что болезнь удручает меня сейчас больше, чем когда бы то ни было. В этом состоянии, господин барон, письмо ваше потрясло и тронуло меня особенно сильно. Едва я прочел ваше дорогое имя, как в душе моей всплыли все ослепительные истории, написанные вами, которые я читал в свои лучшие дни и которые я так люблю. Я опять исполнился былой грусти и снова услышал чудесные песни о разбитом сердце, несокрушимой верности в любви, пламенном томлении, блаженстве смерти; но громче всего, казалось мне, звучит ласковый голос г-жи Любви-Утешительницы. Бедного ученика в искусстве потому так обрадовало и привело в восторг признание испытанного и прославленного мастера, что этот мастер был именно тем поэтом, чей гений много пробудил в нем когда-то, мощно потряс его душу и преисполнил ее великим уважением и любовью. Я не в силах поблагодарить вас как следует за прекрасную песнь, которой вы прославили мои темные страдания и заклини их злое пламя. Мне очень хотелось бы показать стихотво-

рение некоторым друзьям, но я боюсь, что они окажутся нескромными и пустят его по рукам; ведь это поистине одно из самых прекрасных ваших стихотворений, и я не сомневаюсь, что оно может исторгнуть слезы и у посторонних.

Я живу очень одиноко, потому что родители мои недавно поселились в Люнебурге и избегают знакомств, а я здесь никого не знаю. Чтобы развлечься, я намереваюсь недели через две поехать в Гамбург и пробыть там неделю, а если будет весело, то и две. Если в Гамбурге у вас есть добрые друзья, знакомство с которыми вы мне можете доставить, написав несколько строк, вы чрезвычайно меня обяжете.

«Пасхальный псалом» я прочел; это не просто стихотворение, а нечто большее и, следовательно, лучшее. Мой «Альманзор» вам, наверное, не очень понравился. Это произведение я раньше и сам отвергал, и только упорные настояния друзей побудили меня его напечатать, но и теперь, когда оно имеет некоторый успех, гораздо больший, чем «Ратклиф», я все же не стал о нем лучшего мнения. Не знаю почему, но, когда я думаю об этом светлом, нежном произведении, мне становится не по себе, между тем как о мрачном, каменном «Ратклифе» мне приятно думать. Припоминаю, что романс о донне Кларе и доне Газайросе из «Волшебного кольца», который я живо вспоминал в самых значительных случаях моей жизни, — иногда мне кажется, что я сам его написал, — этот прелестный романс часто витал предо мной, когда я писал «Альманзора». То, что в вашем милом стихотворении, обращенном ко мне, говорится о змеях, к сожалению правда.

Да и мог ли я понять эту песнь превратно! Ясный майский день, когда я получил ее, долго еще будет сиять в моей памяти. Сохраните мне ваше расположение, великий, благородный Фуке, и не лишайте меня вашей дружеской благосклонности, даже если бы сплетни или действительные мои заблуждения могли бы разрушить ее, и будьте уверены, что ничто — ни убеждения, ни внешние обстоятельства — не помешает мне всегда несказанно любить вас.

Преданный вам

Г. Гейне.

Люнебург, 10 июня 1823 г.

Ваше письмо от 13 мая, дорогой Иммерман, доставило мне большое удовольствие. Я услышал в нем язык сердечного расположения и почерпнул духовную поддержку. Пусть вас не пугает, что я снова обрушиваюсь на вас с письмом, — вам не нужно отвечать мне немедленно, и поэтому вопросов в нем будет немного; просто я пользуюсь оказией, чтобы просить вас передать по адресу прилагаемое письмо. Если как-нибудь вскоре вам представится случай сообщить мне, здоров ли Зете и не случилось ли с ним чего-нибудь плохого, я буду вам очень обязан.

Вы никогда не упоминаете его имени, и это обстоятельство заставляет меня предположить, что вы с ним не очень близки, может быть из-за различия во взглядах на университетскую жизнь — любимый конек Зете. Только не думайте, что я опираюсь на что-нибудь, кроме простого предположения. Но я потому так беспокоюсь, что до сих пор ничего не получил от Зете из Мюнстера и ничего о нем не слышал. Это, вероятно, несколько удивит вас, дорогой Иммерман, ведь я представил вам Зете как лучшего своего друга; но, тем не менее, это так. Мы были закадычными друзьями целых двенадцать лет; уже на школьной скамье сидели вместе, да и впоследствии были всегда вместе, а теперь он целых шесть месяцев не отвечает мне.

Вот уже несколько недель, как я живу в Люнебурге, в лоне семьи, и останусь здесь до тех пор, пока моей голове не станет лучше. Дело это идет очень медленно, и да сжалются боги над бедными моими дорожными планами. Предвижу, дорогой Иммерман, что еще много воды утечет, прежде чем я попаду в город Книппердоллинга и пожму руку поэту, с *которым надеюсь вместе дожить до старости*. Вы сами употребили это выражение, и вы не поверите, как глубоко взволновали меня слова, естественно выразившие ваше возвышенное самоощущение. Бессмертным богам известно, что в тот самый час, когда я впервые стал читать ваши трагедии, я понял, кто вы! Не менее уверен я в правильности моей оценки самого себя. Уверенность эта возникла не из мечтательного самобмана — нет, она исходит скорее из ясного осознания,

из точных представлений о поэтическом и о его естественной противоположности — пошлости. Да, все явления постигаются нами через их противоположность. Для нас вообще не существовало бы поэзии, если бы мы не видели повсюду пошлость и тривиальность. Мы сами познаем свою сущность только потому, что чужеродная сущность другого человека привлекает наше внимание и служит нам для сравнения. Те свихнувшиеся, напыщенные, высокопарные молодчики, которые с первых же шагов порешили считать самих себя Шекспирами и Ариосто, обнаруживают иногда перед нами свою часто неосознанную неуверенность именно тем, что боязливо гонятся за похвалами и испускают громоподобные боевые клики, утверждая, что они-де поэтичны до мозга костей, что они никогда вообще не вылезают из поэзии и что во время стихотворства божественное безумие постоянно реет вокруг их чела.

Припоминаю, что последние строчки — доподлинные слова одного берлинского щеголя, которые я слышал в обществе; я рассказал вам об этом и откровенно изложил свои взгляды, дабы уверить вас, дорогой Иммерман, что, когда я говорю: «Я знаю свои ошибки и охотно в них признаюсь», — это больше, чем обычная фраза. Из вашего письма я с удовольствием увидел, что вы напишете критический разбор моих «Трагедий», и повторяю: вы несколько не обидите меня, даже если выскажетесь самым суровым образом. Я охотно открою вам основной недостаток моего творчества, назвать который, вы, вероятно, боитесь, чтобы не задеть меня: это односторонность моих произведений. Все они только вариации одной и той же маленькой темы. Вы заметите это скорей, чем кто бы то ни было, потому что тема вашей поэзии — весь мир в его бесконечном многообразии. Еще недавно я высказал это г-ну фон Фарнхагену. Тут у вас общее с Шекспиром; вы вобрали в себя всю вселенную, и если в ваших произведениях есть недостаток, то это только то, что вы не умеете концентрировать свое великое богатство. Шекспир делает это лучше, на то он и Шекспир. Но и вы постепенно достигнете это искусство концентрации, и каждая ваша трагедия будет лучше предыдущей. С этой точки зрения «Петрарка» нравится мне больше, чем «Эдвин», хотя «Эдвин» богаче. (Здесь кроются причины вашей плодовитости и того, что при богатстве наблюдений вы часто не знаете, куда с ними

даться, и там, где Шекспир создал бы образы, вы вынуждены искать спасения в нагромождении размышлений; здесь кроются причины того, что одни горе-поэты и грошковые критики стремятся выдать вас за подражателя Шекспира, а другие — за подражателя Гете. С последним у вас, правда, больше общего, чем с Шекспиром, потому что свое великое мировоззрение Шекспир воплощал художественно только в *одной* форме — в драме, а Гете — в самых различных формах: в драме, в романе, в песне, в эпосе, даже в отвлеченном понятии!)

В самом деле, только потому, что вы не сумели строго сконцентрировать свое безмерное богатство, не всякий может обозреть его, и ваши трагедии не обладают сокрушающей силой сомкнутой боевой фаланги, подобно трагедиям некоторых наших современных драматургов, которые в поте лица своего запикивают в пять актов весь запас своей чудосочной поэзии.

Мне было легче применять искусство концентрации именно потому, что я изображал лишь кусочек мира, только одну-единственную тему. С тех пор, особенно прошлой зимой, во время моей болезни, мой кругозор значительно расширился, и трагедия, которую я, может быть, создам через несколько лет, покажет, сумею ли я, рисовавший до сих пор только всевозможные варианты истории Амура и Психеи, представить столь же хорошо Троянскую войну. Вот она, печальная тайна моей поэтической мощи; возможно, что нездоровье наложило печать болезненности на последние мои произведения. О господи! Многое в моей новой книге не выдерживает настоящей критики, и, конечно, я не буду уязвлен, если в ней откроют и такие недостатки, которых я сам еще не осознал. Только одно может задеть меня самым чувствительным образом — попытка объяснить дух моих произведений из биографии (вы знаете, что значит это слово), из биографии автора. Я был глубоко и горько оскорблен, когда вчера в письме одного знакомого увидел, что он пытается истолковать всю мою поэтическую сущность из наспех понатасканных отовсюду анекдотов и делает самые неутешительные замечания о моих *жизненных впечатлениях, политических взглядах, религии* и т. д. Если бы такие суждения были высказаны публично, они вывели бы меня из себя, и я от души рад, что этого никогда еще не случилось. Как ни



легко найти в биографии поэта ключ к его произведению, как ни легко доказать, что политические взгляды, религия, личная ненависть, предрассудки и осторожность часто действительно влияли на его стихи, на это все-таки никогда не следует ссылаться, особенно же при жизни поэта. Мы как бы лишаем стихотворение девственности, разрываем его таинственное покрывало, если влияние биографии, на которое мы указываем, действительно существует. Если же мы искусственно примысливаем это влияние, мы искажаем стихотворение. А как мало совпадает иногда внешняя канва биографии с нашей внутренней, кодлинной биографией! У меня, по крайней мере, они не совпадали *никогда!*

Я так много наболтал в этом письме, и вы догадаетесь, дорогой Иммерман, что здесь, в Лüneбурге, я живу в полном уединении.

Наверное, по рассеянности я много наболтал и в предыдущем письме. Из вашего письма вижу, что написал чепуху о бароне Фуке. Перед моим отъездом из Берлина, а теперь и в письме ко мне, он показал себя с самой лучшей стороны. Я должен признать, что у него чудесное и благородное сердце. Возможно, конечно, что впоследствии я буду об этом судить иначе. Но, тем не менее, я считаю, что его справедливо бранят за его ультрареакционные взгляды. Как ни люблю я его как человека, но все-таки я считаю благим делом бичевание унылых идей, которые он пытается внушить народу с помощью своего прекрасного таланта. У меня сердце обливается кровью, когда я вижу как огорчается Фуке, и я все-таки рад, что есть люди, которые без всякого снисхождения издеваются над затуманиванием мозгов. Меня до глубины души возмущают притязания той убогой клики, догматы которой разделяет Фуке, и вы вполне можете поверить, что я тоже жажду высечь до крови этих благородных рыцарей, которые хотели бы обратить нам подобных в своих псарей, а меня даже, пожалуй, во что-нибудь еще похуже, например просто в пса.

С нетерпением жду «Периандра». То, что вы пишете о журнале, меня огорчает. Право, не знаю, что тут можно поделывать. С Рейна я уже четыре месяца не получаю вестей. Г-н фон Фарнхаген занят составлением книги о Гете. Я хотел бы, чтобы Фарнхаген прочел ваш отзыв о моих

«Трагедиях». Но для этого им нужно попасть в «Листок бесед». «Немецкие листки» до него не доходят, как, впрочем, и до меня. Поэтому, если ваш отзыв будет напечатан в «Листках», я буду вам очень обязан за отправку одного экземпляра журнала г-ну фон Фарнхагену. Думаю, что и Губиц охотно примет отзыв в «Собеседник», — он говорил мне, что ему хотелось бы, чтобы кто-нибудь более подробно разобрал мои «Трагедии» в «Собеседнике», чем г-н фон Фарнхаген; краткая заметка последнего была помещена в этом журнале.

Желаю, чтобы нынешнее лето принесло нам много прекрасных плодов вашей поэзии, но прежде всего желаю, чтобы оно подарило вам много радостей (они редко связывались с литературой).

Уважаю вас и люблю всей душой,

*Г. Гейне.*

## 32. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭИЗЕ

Люнебург, 17 июня 1823 г.

Господин фон Фарнхаген! Посылаю вам обещанную статью о Гете, которую я не мог представить раньше, так как все еще очень болен и сумел написать ее только третьего дня, переживая при этом ужасные страдания. Вы это сами заметите, потому что свойственный мне лаконичный, сдержанный стиль уступил здесь место неопределенной, тягучей путанице образов и понятий. Надеюсь, что статья придет еще вовремя и войдет в вашу книгу; простите, что посылаю ее так поздно, и не сочтите это признаком лени или, более того, равнодушия. Я живу сейчас совсем уединенно, без какого бы то ни было общения с людьми и, тем не менее, по вине своего недуга, в полной праздности; поэтому вполне естественно, что большую часть дня я думаю о вас и вашей жене и всегда живо вспоминаю, как добры и ласковы были ко мне вы оба; вы ободряли, возвышали и отесывали меня, угрюмого, больного человека, поддерживали словом и делом, услаждали макаронами и духовной пищей. В жизни я встречал так мало истинной доброты и был уже так часто обманут, и только вы и ваша великодушная жена дали мне возможность испытать

настоящее человеческое обращение. Я тем крепче должен запечатлеть в себе ваши дорогие образы, что сейчас на меня ползет столько грязи, злобы и дикости, а голова моя все еще болит, и сердце все еще не выздоровело.

В последнее время благодаря счастливым обстоятельствам мои родители, братья и сестры живут так радостно и спокойно, что и я мог бы рассчитывать на более безмятежное будущее, если бы не знал, что судьба редко отказывается от злых козней против немецких поэтов. О моем ближайшем будущем, дорогой Фарнхаген, не могу еще сообщить вам ничего определенного, так как лишь на будущей неделе, на свадьбе моей сестры, буду говорить с дядей, от которого зависит многое. Если в этом разговоре положению мое не выяснится, я добьюсь этого в Гамбурге; я собираюсь поехать туда вскоре после свадьбы, хотя уже один вид этого города пробуждает во мне мучительные ощущения. Там я позволю себе вручить ваше письмо вашей сестре. Я отыщу и доктора Ульриха, он сможет быть мне полезен; вообще я намереваюсь завязать там обширные знакомства, из которых некоторые, вероятно, пригодятся мне впоследствии. Хотя для такого нелюдима, как я, это и не особенно весело, все же благоразумие не велит мне пренебрегать ими во имя будущего.

Если у вас, господин Фарнхаген, есть друг в Гамбурге, знакомство с которым было бы мне полезно, то я буду рад, если вы познакомите нас.

Вообще я намерен стать очень благоразумным и осторожным. Недоразумение с дядей, которого я опасался, действительно существует, только родители мои этого как будто не замечают.

Однако успех книги действует успокоительно и примиряюще.

Заметка в гамбургской газете имела благотворное влияние — особенно обрадовала она моего отца. Я получил письмо от Иммермана, которое пересылаю вам. Я просил его позаботиться, чтобы рецензия, в случае если она будет напечатана не в «Листке бесед», была послана вам; знаю, что «Немецкие листки» не попадают на глаза. Фуке, которому я послал из Берлина «Трагедии», ответил мне сердечным письмом и стихотворением, которое я посылаю вам и которое, *ради бога, не показывайте никому, кроме г-жи фон Фарнхаген*, Сердце этого человека прекрасно,

глупость засела только в его голове. Мой адрес: Г. Гейне, кандидату прав, в Люнебурге.

Кланяюсь сердечно г-же фон Фарнхаген; скоро напишу ей отдельно. Передайте привет также Роберту и его жене и скажите, что я очень люблю его вместе с его женой, то есть люблю его так же, как я люблю его жену. Ведь по-немецки невозможно выразиться точно, я же особенно не справляюсь с этим языком и вынужден, как, например, в этом письме, подавлять свои самые сильные чувства.

Votre dévoué<sup>1</sup>

Г. Гейне.

### 33. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Люнебург, 18 июня 1823 г.

Ты и за миллион, конечно, не напишешь мне, прежде чем я по всем правилам не отвечу или, лучше сказать, не откликнусь на твое письмо!

Отучись от этого филистерства. Вчера я жадно ждал почты и письма от тебя и позабыл, что мне самому следовало тебе ответить. Я уже давно сделал бы это, если бы не головные боли, которые все еще продолжают, и связанное с ними, а также с разными другими неприятностями раздражение. Я не стал бы писать и сегодня, если бы не хотел внушить тебе как можно скорее, что ты должен писать мне, пусть коротко, но очень часто, не дожидаясь, покуда я сам удостою подобающим ответом каждое твое уважасмое послание. Если мне захочется тебе написать, я не буду особенно беспокоиться о том, пришло ли письмо, на которое можно ответить, и, наверное, пошлю тебе несколько писем, одно за другим, не справляясь в правилах этикета, прилично ли и тактично ли писать кому бы то ни было, не дожидаясь положенных ответов. Из вышесказанного, особенно из путаницы, с которой это выражено, ты поймешь, что я раздражен, ворчлив, *enfin*<sup>2</sup> невыносим. Поэтому, если у тебя сейчас хорошее настроение, отложи это письмо.

---

<sup>1</sup> Преданный вам (франц.).

<sup>2</sup> Наконец (франц.).

Теперь тебе легче спастись от моей угрюмости, чем во время моего пребывания в Берлине, когда я сваливался тебе на голову собственной высокой персоной. Я живу здесь очень уединенно, не вижу ни одной живой души; родители мои совершенно отказались от общества. Евреи здесь, как и всюду, — невыносимые торгаши и грязнули, христиане из среднего класса скучны и настроены чрезвычайно антисемитски, высший класс обладает теми же свойствами, только еще в большей степени. На улице посторонние собаки усиленно обнюхивают и обижают нашего песика, а христианские собаки явно по-юдофобски обращаются с еврейским псом. Итак, я свел тут знакомство только с деревьями; они сейчас вновь облакаются в прежний зеленый наряд и напоминают мне былые дни. Их шелест воскрешает в моей памяти старые, забытые песни и навеивает на меня грусть. Так много печального всплывает в душе, и снова овладевает мною, и, может быть, усиливает или, лучше сказать, затягивает мои головные боли. Они уже не так сильны, как в Берлине, зато длительнее. Я почти не в состоянии заниматься, а тем более писать. В воскресенье написал статью о Гете, примерно в печатный лист, и отослал вчера Фарнхагену для его книги о Гете. Я обещал ее давно, но сейчас, желая, чтобы она все-таки поспела вовремя, писал ее en pleine carrière.<sup>1</sup> В этой статье ты найдешь с четверть дюжины твоих собственных мыслей; я был настолько честен, что вставил их в чистом виде, ведь если бы я обвешал их своими пурпурными тряпками, честное слово ты бы сам их не узнал. Статью ты скоро увидишь. Вообрази, моя праздничная пьеса осталась ненаписанной (я напишу ее позже), а трагедия, между тем, все больше и больше облакается плотью в моем воображении. Мне очень хочется выразить в статье для нашего журнала великую скорбь еврейства (как ее называет Берне), что и будет сделано, как только позволит моя голова.

Со стороны господ бога весьма неучтиво мучить меня сейчас такими болями; просто неразумно это со стороны старика, ведь он знает, как много я хотел бы сделать для него. Может быть, старый барон Синая и самодержец Иудеи тоже стал просвещенным, сложил с себя свою национальность и отрекается от своих пртензий и своих

---

<sup>1</sup> Во весь дух (франц.).

приверженцев в пользу нескольких смутных космополитических идей? Боюсь, что старый господин потерял голову, и le petit juif d'Amsterdam <sup>1</sup> может с полным правом шепнуть ему на ухо: «Entre nous, monsieur, vous n'existez pas». <sup>2</sup> А мы? Мы существуем? Во имя неба, не повторяй, что я являюсь только идеей! Меня это злит до бешенства. По мне, вы все можете превратиться в идеи, только оставьте меня в покое. Из-за того, что ты, старый Фридендер и Ганс обратились в идеи, вы теперь хотите и меня совратить и тоже сделать идеей. Хвалю Рубо — его вы не смогли обработать; Леман очень хочет стать идеей, да не может. Какое мне дело до маленького Маркуса с его доказательствами, что я — идея; его служанка лучше знает, как обстоит дело. Докторша Цунц со слезами на глазах жаловалась мне, что ее мужа хотят сделать идеей, а она из-за этого лишится его силы и сока; Иост, говорила она, из-за этого отошел от «Общества», а Ауэрбах, кажется, даже заболел. Я не потерплю также никаких других обидных намеков, вроде того, что ты еще не знаешь, какая именно я идея. Ведь из этого следует, что я странная идея, а за слово «странный» вызывают на дуэль.

Ну, хватит сумасбродной болтовни. Через несколько дней я еду на свадьбу сестры, которая состоится между Люнебургом и Гамбургом. А затем (*только ни одной живой душе не говори и не пиши об этом*) поеду на неделю в Гамбург.

.....

Здесь я вырезал кусок, потому что у меня вырвалось слишком резкое выражение, не подобающее для письма. С моим дядей я еще не наладил таких отношений, как мне хотелось бы, чтобы с уверенностью начертать твердый план моей жизни на ближайшее время. Только после возвращения из Гамбурга я смогу сказать об этом что-нибудь определенное. Если мне удастся, я попытаюсь еще раз приехать в Берлин, чтобы обнять тебя и всех друзей. В Гамбурге я навещу Кона. От тебя я жду письма (только краткого), о том, как мне там держаться в «Обществе», кого навестить и т. п. Если нужно выполнить поручение

---

<sup>1</sup> Маленький амстердамский еврей (*франц.*).

<sup>2</sup> Между нами говоря, сударь, вы не существуете (*франц.*).

«Общества», то поручение, о котором шла речь в Берлине, я охотно возьмусь за это. Я рад повидаться с Монадой. Гансу ты все-таки можешь сказать, что я еду на неделю в Гамбург; может быть, он надумает, что мне там делать; только пусть он туда об этом не пишет. Гамбург пробудит во мне много скорбных воспоминаний, но эта поездка будет мне очень полезна.

Враждебная мне сволочь осаждает моего дядю в Гамбурге. Я, быть может, заведу знакомства, которые в этом отношении послужат противовесом. Но предчувствую, что моя холодная вежливость, ирония и честность доставят мне больше врагов, чем друзей.

Трубный глас гамбургской газеты о моих «Трагедиях» позабавил меня. Что об этом говорят? Если бы мои «Трагедии» остались незамеченными, мне это было бы безразлично, мой дражайший! Газетные похвалы в лучшем случае доставляют мне мимолетное удовольствие; они не освежают, не ободряют меня, и все-таки они мне очень важны. Но не беспокойся, газеты не замедлят усиленно заговорить о моих «Трагедиях»: если этого не сделают другие, я позабочусь об этом сам. Иммерман сообщил мне, что напишет основательную рецензию на «Трагедий», в которой выскажет и немало неприятного. Поэтому письмо его содержало только кое-какие общие замечания о моих «Трагедиях» (похвалы) и других предметах, из которых самым важным является его желание видеть меня в Мюнстере и приглашение остановиться у него. Последнее из полученных мною писем было от Бломберга; оно переполнено эстетическими рассуждениями. Письма от Руссо я еще не получил, но твой намек на «Развлекательное чтение», юдофобский выпад которого мне бросился в глаза, и еще некоторые явления служат определенным признаком того, что на Рейне католическая партия чрезвычайно недовольна «Альманзором». Она охотно игнорировала бы его, однако его обсуждают повсюду и настраивают Руссо против меня. Я слишком презираю такое скудоумие, чтобы возмущаться, и давно предчувствовал, что чрезмерно пламенный восторг по отношению к моей личности должен наконец обуглиться; когда же на угли падает дождь, тогда энтузиазм уступает место черной грязи. Ожидаю комьев этой грязи и буду без горечи смотреть, как люди, превозносившие меня до небес, для разнообразия начнут кидать в меня павозом.

Недавно я написал заметку о стихотворениях Руссо, которую без изменений напечатаю в «Собеседнике».

Скажи Леману, чтобы он изъяс из альманаха стихотворение «Мне спился сон, что я господь...», если он даст кому-нибудь почитать альманах, — ведь я, может быть, вернусь на некоторое время в Берлин. Не смейся!

Большой чемодан и книги я все еще не получил.

Фуке написал мне недавно очень сердечное письмо и посвятил мне прекрасное стихотворение; я тебе его покажу при случае. Фуке тоже еще пожалеет о том, что написал это стихотворение, когда подробнее исследует мою родословную. Прими меры, чтобы письма ко мне не пропадали по глупости почтальона, и напиши мне тотчас, если в какой-нибудь газете найдешь намек на мою родословную.

После возвращения из Гамбурга у меня будет многое, о чем тебе написать! Поклонись от меня Гансу, Цуицу и его жене. Передай им, что я часто о них думаю; это вполне естественно, потому что я живу здесь совершенно уединенно и последние берлинские впечатления еще ничем не вытеснены. Ты, дорогой Мозер, мерещишься мне повсюду, и мною овладевает мучительное желание опять жить с тобою, а это, пожалуй, больше, чем болезненная чувствительность. Да исполнят боги мое желание! Гамбург? Найду ли я там столько радостей, сколько мук я там перенес? Это, впрочем, невозможно.

К счастью, мой брат зовет меня к столу, и вместо сентиментальности я заканчиваю письмо предчувствием хорошего обеда.

Г. Гейне.

### 31. ИОЗЕФУ ЛЕМАНУ

Люнебург, 26 июня 1823 г.

Милый Леман!

Вы очень порадовали меня вашим письмом и присланными газетами. Все, что там написано о своеобразии моего стихотворства, прекрасно и утешительно. Как поживает мадемуазель Зобернгейм? Искренне жалею, что я сейчас не в Берлине, и поручаю вам передать от меня сердечный



привет милой девушке. Она принадлежит к самым лучшим, то есть самым отрадным знакомствам, сделанным мною в Польше; вы ведь знаете, милый Леман, что я там охотился за чистыми, здоровыми человеческими характерами, которые я отлично умею отыскивать, потому что мне очень хорошо знакомо все нечистое и больное. Наиболее здоровые женские характеры я всегда встречал среди евреек; я никак не могу упрекнуть бога-отца за то, что виффлеемской Марии он сделал ребенка.

Ваши догадки о Руссо, вероятно, справедливы. Целых три месяца, если не больше, я не получаю от него писем, и до меня дошли слухи, что он уже собирает грязь, чтобы забросать меня ею. Я давно знал, что он связался с моими злейшими старыми противниками, со старогерманцами; а недовольство, которое вызывает на Рейне тенденция «Альманзора», — в том, что она имеется, он и сам теперь убедится, — поможет ему излить на меня внушенную ими злобу.

Мое молчание о его стихотворениях здесь ни при чем; он знает, что я собирался только позднее высказаться о них. Теперь суждение уже написано, без хвалы и без горечи; таким оно и останется.

Надеюсь, милый Леман, что письмо это застанет вас еще в Берлине. Как вы могли подумать, что причина моего молчания — равнодушие? Если вы признаете за мной хоть какие-нибудь добрые качества, вы не должны так думать. Вы знаете, я вам кругом обязан, и вычеркнуть вас из памяти было бы черной неблагодарностью. Вы чуть ли не первый в Берлине сблизился и подружился со мной и, зная мою беспомощность, в самых разных случаях самым бескорыстным образом оказывали мне дружескую и любезную поддержку. Моим характером, или, вернее, моей болезнью, объясняется то, что в минуты скверного настроения я не щажу своих друзей и даже издеваюсь над ними и оскорбляю их. Вам уже знакома эта милая черта моего характера, и есть надежда, что впоследствии вы узнаете ее еще лучше. Только не забывайте, что ядовитые растения обычно появляются там, где плодородная почва покрыта пышной и мощной растительностью, и что бесплодные степи, где нет этих ядовитых растений, так и остаются бесплодными степями. Если бы я был доктором Гансом, я сослался бы здесь на бразильские или африканские леса и на Люнебургскую степь,

Теперь перейдем к постоянному началу моего письма. Я бы написал вам раньше, милый Леман, если бы меня не удерживали дурное настроение и нездоровье. Я действительно все еще очень болен, и поэтому у меня скверное настроение, и поэтому я не пишу ни строчки. Только изредка я не в силах устоять против маленьких песен. В голове моей набирается много поэтического материала. *Сновидения* стоят передо мной и требуют, чтобы я их выразил в стихах. Целая новая пятиактная и, несомненно, со всех точек зрения оригинальная трагедия встает передо мной, правда туманно, но все-таки уже в основных своих очертаниях. Множество чисто научных статей желают быть написанными, а я ничего не могу делать.

Я читаю древних, преимущественно римлян, и самое современное — «Гамбургского корреспондента». Через восемь — десять дней поеду в Гамбург и надеюсь по возвращении написать вам много приятного. Очень возможно, что на некоторое время я вернусь в Берлин.

Напишите мне поскорей, милый Леман, как обстоит дело с вами, с вашей музой и нашими друзьями. Прежде всего, расскажите мне, что делает Ганс; я не решаюсь ему писать; если бы я ему что-нибудь сообщил, он бы тотчас напечатал это в «Газете для интеллигенции». Скажите ему, что я люблю его, это главное, а все остальное ерунда!

Надеюсь также, что вы, читатель всех газет, тотчас же поставите меня в известность, если где-нибудь найдется выпад против меня, особенно затрагивающие мою религию. Вы знаете, как это меня интересует. Газеты здесь доходят до меня только изредка и случайно.

Я еще не потерял надежды увидеть «Ратклифа» на сцене, хотя и не льщу актерам, не ухаживаю за актрисами и вообще не умею что-либо мучительно протаскивать на подмостки.

Полагаю, что статьи и разговоры о пьесе доведут ее до сцены.

Будьте здоровы и сохраните расположение к любящему вас другу

Г. Гейне.

Кланяйтесь от меня господам Фейт.

Мой адрес остается тот же, даже если я уеду отсюда.

Люнебург, 27 июня 1823 г.

Прошу также передать мой сердечный привет г-же докторше Цунц. Будьте здоровы и верьте моей искренней дружбе. Если я могу быть вам чем-нибудь полезен (разумеется, так, чтобы это не стоило мне большого труда), сообщите мне об этом. В конце будущей недели я совершу маленькое путешествие в Гамбург, и если вы или «Общество» можете использовать мое бездействие, то напишите мне об этом на имя Вольвиля или по адресу: Кандидату прав Гарри Гейне, на Рыночной площади в Люнебурге, — письмо мне перешлют. Намереваюсь пробыть в Гамбурге всего одну неделю. Я получил от Мозера журнал и только что разрезал его, перелистал и прочел с некоторой досадой. Я вовсе не оспариваю того, что в нем напечатаны хорошие вещи, но должен честно сказать, — пусть это будет известно и редактору, — большая часть, а точнее, даже три четверти третьего номера неудобоваримы из-за небрежения формой. Я требую не гетевского языка, а только понятного, и твердо убежден, что то, чего не понимаю я, не поймут Давид Леви, Израэль Мозес, Натан Итциг, даже, пожалуй, и Ауэрбах. Я изучил все сорта немецкого языка: саксонско-немецкий, швабско-немецкий, франконско-немецкий, но наш журнально-немецкий приводит меня в величайшее затруднение. Если бы я случайно не знал, чего, собственно, хотят Людвиг Маркус и доктор Гапе, я бы ничего не понял. Но кто достиг высшей коррумпции стиля во всей Европе, так это Л. Бернгардт. Бендавид ясен, но то, что он пишет, не годится ни для современности, ни для повременного издания. Его статьи подошли бы для теологического журнала 1786 года от рождества Христова. Журнал меня порадовал только с 523-й до 539-й страницы. Я отлично знаю, что не должен вам жаловаться, раз не могу указать, где же взять лучшие статьи; знаю, что мне, который еще ничего не дал и даже ничего еще не подготовил, вообще надо бы помолчать. Кроме того, знаю, что вы прочтете мои замечания с полнейшим равнодушием, но прочесть вы все-таки должны. Нажмите, пожалуйста, на культуру стиля у сотрудников журнала. Без этой культуры нельзя насаждать никакой другой. Впрочем, мне хотелось бы по этому поводу

вспомнить слова, сказанные вами при появлении первого тома истовской «Истории». Вы сказали, что воздерживаетесь от всякого суждения об этом труде; ведь возможно, что первый том так скверно написан нарочно, для того чтобы дальнейшие казались особенно блестящими!

Точно так же я хочу предположить, что вы нарочно расположили особым образом статьи в журнале, чтобы впоследствии, просматривая выпуски по годам, можно было убедительно показать, как мы, ученые евреи, постоянно совершенствовались немецкий стиль. Об этом значении журнала я бы хотел написать статью под названием «Естественная история журнала».

Не сердитесь на меня за все вышесказанное, милый Цунц: во-первых, я подписчик журнала, а во-вторых, я люблю вас. Последнее не фраза, поверьте. Я знаю это.

Ваш друг

Г. Гейне.

### 36. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Ритцебютель, 23 августа 1823 г.

Дорогой Мозер!

Будь доволен, что я так долго тебе не писал. Я мог сообщить тебе мало веселого. В Гамбург я попал в плохое время. Мои страдания привели меня в прескверное настроение, а смерть одной из моих кузин опечалила всю нашу семью, и я не нашел большой отрады и в окружающих. К тому же, магия мста страшно подействовала на мою душу, и в ней возник совершенно новый принцип; этот духовный принцип, вероятно, будет долгие годы руководить мною и определит мое поведение и поступки. Если бы я был немцем (но я не немец — смотри многие страницы у Рюса и Фриса), я стал бы писать тебе на эту тему длинные письма, пространные реляции о моем душевном состоянии; и все-таки я страстно жажду в час интимной беседы приподнять перед тобой занавес моего сердца и показать, как *новая глупость выросла на старую*. Кто был мне добрым другом в Гамбурге, и я очень люблю

бил его. Тамашние евреи — жалкая сволочь; если хочешь проявить к ним участие, то не надо на них глядеть, и, по-моему, лучше держаться от них подальше. Доктора Заломона я навестил, он не совсем мне не поправился, но все-таки он ауэрбахианец. У Клея я не был; ты знаешь, он всегда был мне противен, и он действительно отвратителен. Монада все еще прежний, я люблю его и охотно излечил бы от сентиментальности, которую он сам на себя напустил; она же его теперь и расстраиивает. Я слушал проповедь Бернайса; он шарлатан, никто из евреев его не понимает, у него нет никакой цели, и он никогда не будет играть другой роли; но все-таки он остроумен, и у него больше ума, чем у доктора Клея, Заломона, Ауэрбаха I и II. Я не посетил его, хотя имел для этого достаточно поводов. Я уважаю его постольку, поскольку он надувает гамбургских мошенников, но покойного Картуша ставлю гораздо выше. Ганс в Гамбурге слывет дураком, и меня это не удивляет. Мне с трудом удалось внушить гамбуржцам, что ты не таков. Они имели о тебе совсем неверное представление. Меня тоже считают, вероятно, не бог весть чем. И мне это безразлично. Однако я уже вывел их из заблуждения, будто я являюсь энтузиастом еврейской религии. Признаюсь, я буду с энтузиазмом бороться за права евреев и их гражданское равноправие, и в тяжкие времена, которые неизбежно наступят, немецкая чернь услышит мой голос, эхо которого прогремит в немецких пивных и дворцах. Но прирожденный враг всех позитивных религий никогда не назовет себя паладином религии, которая первая провозгласила неравноценность людей, что причиняет нам теперь столько страданий. Но если это так или иначе все же случится, то только в силу особых побуждений: из мягкосердечия, упрямства и в заботе о сохранении противоядия. Если же я захочу помочь населению Штейнвега, я никогда и ничего не стану обещать заранее, оно никогда ничего не должно от меня ждать, и оно никогда не посмеет сказать, что я обманул его ожидания. Я всегда так поступал, и очень жалею, что гансовская глупость, его болтливость в разговорах с друзьями и врагами могла выбить меня, хотя бы на мгновение, из колеи. Ганс получает по заслугам, когда евреи ругают его и ставят ему в вину все свои беды. Зачем он столько болтает о своих

намерениях, зачем обещает и дает право надеяться? В самом деле, ведь и я собираюсь кое-что сделать, может быть даже делаю одним фактом своего существования, но все-таки в будущем я приму меры, чтобы оградить себя от гансовской общительности, так как моя деятельность с ней несовместима. Я сейчас выразил свое мнение в резкой форме; если бы я мог при встрече с тобой высказаться подробнее, ты бы согласился со мной; пока же я только могу прибавить, что это мнение порождено любовью, именно любовью к нашему правому делу. Ганса я по-прежнему люблю, и ты увидишь в дальнейшем, как он дорог моему сердцу, как я ценю его благородство и как сильно на него рассчитываю. Я не пишу ему отчасти из-за того, что редко на меня находит светлое настроение, отчасти из опасения, что он способен втихомолку показывать мои бесхитростные письма всем своим слишком уж многочисленным истинным друзьям. Я бы и тебе не написал сегодня, дорогой Мозер, если бы у меня не было эгоистических побуждений, — вечные дружеские услуги, вечные хлопоты, беспокойство, затруднения; советую тебе порвать со мною дружбу. Право же, я написал бы тебе, только позднее, если бы не вынужден был поспешить ради собственной выгоды. Сейчас я совсем разбит, всю ночь я проплавал по Северному морю, стремясь добраться до Гельголанда, но почти у самого острова капитану пришлось повернуть обратно — слишком страшен был шторм.

Рассказы о ярости моря не преувеличены. Говорят, что вчерашний шторм был одним из самых неистовых; море превратилось в колышущийся горный кряж, водяные горы вдребезги разбивались друг о друга, волны сталкивались над кораблем и швыряли его то вверх, то вниз, звуки блевания из пассажирской каюты, крики матросов, глухой вой ветра, рев, гудение, свист, дьявольский шум; дождь льет так, точно небесное воинство опрокинуло все свои ночные горшки, а я лежал на верхней палубе, и совсем не набожные мысли владели мной. Уверю тебя, что хотя в шуме ветра мне слышались трубы страшного суда, а в волнах мне виделось широко разверстое лоно Авраамово, я все-таки чувствовал себя гораздо лучше, чем в обществе разговаривающих на жаргоне гамбургцев и гамбурганок. Гамбург!!! Элизиум мой и мой Тартар! Место, которое я ненавижу и обожаю, место,

где меня терзают самые ужасные чувства, и куда я все-таки стремлюсь, и где я все-таки часто буду появляться, и...

Мой дядя Соломон Гейне принял меня прекрасно, был от меня в восторге и позволяет надеяться на лучшее будущее. Я этому очень обрадовался, потому что финансы мои в плохом состоянии; раньше он давал мне только раз в три месяца по сто талеров; этой суммы мне никогда не хватало, и она так незначительна, что даже от самых близких друзей я скрывал, как мало получаю от этого хвастунишки. В октябре прошлого года Липке известил меня, что в течение *двух лет* ему поручено выдавать мне по четыреста талеров ежегодно. Следующие сто талеров, срок которым был 1 октября, я просил перевести на твое имя, и представь себе мое изумление и возмущение, когда я получил от Соломона Гейне письмо, в котором он писал: «Надеюсь, ты в добром здравии; к моему огорчению, г-да Липке и К<sup>о</sup> перевели с моего счета и те последние сто талеров, которые согласно моему распоряжению должны были быть выданы только 1 января 1824 года. Я не чувствую благодарности к г-ну Липке за то, что он действовал вопреки моему приказу, хотя в свое время я дал слово уплатить пятьсот талеров, и, как честный человек, я свое слово сдержал».

Это подлинные его слова, и из всего письма, которое, по-видимому, является плодом капризного настроения и враждебных нашептываний, следует, что денег, как он дает мне понять вышеприведенными словами, мне от него больше ждать не приходится. Не правда ли, великолепно, бесподобно! На это я ничего ему не ответил, кроме того, что он заблуждается относительно денег, которые я получил от Липке, в чем он убедится, если ознакомится с копией моего письма к последнему. Остальная часть моего письма к Соломону Гейне представляла собой несомненный шедевр; она написана с чувством собственного достоинства и одновременно с издевкой, так что вряд ли вызовет у читателя добродушное настроение. Я понимаю, это глупо, но во всем виновата моя служанка, которая не принесла мне третьего стакапа воды, пока я писал письмо. Я отлично знаю крещеные и некрещеные источники, из которых этот яд, собственно, и вытекает. Я знаю также, что дядя мой, несмотря на проявленную им сейчас низость, бывает в другое время воплощением великодушия, но

все-таки я намерен сделать все возможное, чтобы поскорее перестать зависеть от сего щедрот. Сейчас, конечно, я в нем еще нуждаюсь, и, как ни скверна та поддержка, которую он мне оказывает, я все-таки не могу обойтись без нее. Посылаю тебе письмо к Липке, чтобы ты сего прочел, *запечатал* и передал. Как видишь, я не написал в нем, что мой дядя собирается игнорировать свое денежное обещание, данное мне на два года. Но мне совершенно необходимо, чтобы Липке в письме к моему дяде категорически напомнил, что гарантии эти были даны именно на два года. Пораздумай, как тебе это устроить. Липке в таких отношениях с моим дядей, что ему незачем с ним церемониться, и он должен сказать ему правду. Поэтому ты должен так настроить Липке, чтобы в этой скверной истории он встал на мою сторону. Всем прочим ты, конечно, *ничего не скажешь* о нашем деле. Оно слишком унизительно.

Купанье в море действует на меня прекрасно, но как избавиться от проклятых душевных треволнений? Мои нервы очень окрепли, и если головные боли пройдут, то я еще в этом году напишу много замечательного. Трагедию я уже разработал в уме и начну писать, как только позволит здоровье и я стану спокойнее. Она получится очень глубокой и мрачной. Мистика природы! Не знаешь ли, что мне прочесть о любовной ворожке и о чародействе вообще? Мне нужно изобразить старую итальянку, которая занимается чародейством. Я много читаю об Италии. Если тебе попадетя что-нибудь о Венеции, особенно о венецианском карнавале, вспомни обо мне.

Не знаю еще, где проведу эту зиму; из письма ты видишь, что я сегодня еще не знаю, на что буду существовать послезавтра. На днях уезжаю отсюда, и в Гамбурге, у Кона, буду ждать от тебя писем; пиши мне побольше. Скоро я снова напишу тебе. Кланяйся Маркусу; я напишу ему как только смогу. Привет Леману, Гансу и, само собой разумеется, Цунцу. Я здесь читаю биографию Гофмана, написанную Гитцигом; кланяйся Гитцигу, может быть я и сам ему напишу. С Фарнхагеном я говорил в Гамбурге, мы с ним уже больше не добрые друзья, поэтому я не имею права писать о нем ничего плохого. Ему не понравилось, что я приехал в Гамбург. О твоей статье напишу тебе в следующий раз, сейчас у меня голова кружится. Моя статья



о Гете не напечатана; Фарнхаген говорит, что она опоздала, но думаю, что она ему не понравилась. Если она действительно плоха, то в этом повинны твои мысли, вошедшие в нее. Правда, мои статьи всегда становятся плохи, если в них попадает разумная мысль. Я хотел бы, чтобы ты взял по прилагаемой записке у Дюмлера шесть *непереплетенных* экземпляров моих «Трагедий» и *возможно скорее* послал их в Гамбург на имя Вольвиля.

Будь здоров, люби меня, оставайся моим другом и будь исключением среди множества тех, кто уже называл себя моими друзьями. Но ведь ты исключение во многом, и я люблю тебя.

Г. Гейне.

### 37. ШАРЛОТТЕ ЭМБДЕН

Люнебург, октябрь [почтовый штемпель  
от 12 октября] 1823 г.

Дорогая Лоттхен!

Твое милое маленькое письмецо от 7 октября я получил на прошлой неделе и долго целовал его. Все, что ты пишешь, так изящно, как будто вылеплено самым искусным кондитером. Пиши мне почаще, ты мне этим каждый раз доставляешь большое удовольствие. Мы все здоровы. Мать стала спокойнее, чувствует себя хорошо и уже мягче отзывается о тебе. Отец ездил на днях в Мекленбург. Густав чувствовал себя хорошо, даже *слишком* хорошо. Максхен прилежен, это *большой педант*. Но он очень положительный, и за него можно не беспокоиться. У нас новая кухарка. Ибекельхен очень дерзка. Не отпускай свою служанку, советую тебе.

Моя голова с каждым днем поправляется. Как ты могла подумать, что я не прилагаю стараний, чтобы выполнить установленный юридический план? Я невыразимо люблю тебя и томлюсь по встрече с тобой; ведь на свете нет никого, в чьем обществе я чувствовал бы себя лучше, чем с моей сестрой. Мы так хорошо понимаем друг друга, мы одни разумны, а весь свет помешался. Ты все еще на меня сердисься? *Ну, и глупо же!* Напиши побольше, что у вас

пового. Береги свое здоровье; тебе вредно много суетиться. Будь уступчива со своим мужем, он поистине прекрасный человек. Разница между нами обоими в том, что у него винтики в голове слишком туго завинчены, а у меня слишком слабо. Сейчас я получил извещение о присылке книг. За ними ходит Ибекельхен. Здесь очень скучно, но я доволен.

Будь здорова и люби меня.

Твой преданный брат

*Г. Гейне.*

Мать, отец и особенно Макс шлют тебе привет.

### 38. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Люнебург, 5 [6?] ноября 1823 г.

Дорогой Мозер!

Мне не о чем писать, кроме как о том, что я хочу как можно скорее получить от тебя письмо. Здесь не найдешь материала для сообщений, а у вас его много, и, следовательно, тяготы корреспонденции лягут на тебя. Мой эгоизм проявляется даже в этом. Требовать все, не давать ничего. Поистине я эгоист, я тот, кто всегда накладывает на своих друзей контрибуцию, а сам никому не приносит пользы, кто не возлагает жертвы на алтарь добра, а, наоборот, жертвует алтарем вместе с добром ради своей прихоти. Прихоть ли это? Вот в чем вопрос, сказал бы принц Гамлет. Что такое в конце концов мы сами, если не прихоть создателя? А с точки зрения эгоизма следует назвать скрягой того, кто копит всякий грош, скопидомничает, скаредничает, может быть крадет из кружки для бедных, и все для того, чтобы на все свои деньги построить монастырь или, если тебе угодно, синагогу! Да не судит никто о прихотях других людей! Вот ответ на твой вопрос, почему я à tout prix<sup>1</sup> хочу добиться твердого и обеспеченного положения и целюсь на адвокатуру и не желаю

<sup>1</sup> Любой ценой (*франц.*)

больше прозябать в нищете и бедах. Мне трудно выразиться яснее; когда-нибудь ты получишь ключ ко всем моим поступкам, *passé par tout*<sup>1</sup> на обозрение всей моей жизни и поймешь тогда, насколько невозможно и... [дефект рукописи] было давать мне теперь советы, а тем более осуждать меня. Но довольно об этом.

Я был возмущен, узнав из твоего письма, что из Гамбурга распространяются обо мне, устно и письменно, дурные слухи. В письме Ансельми я тоже нашел намек, который не предвещает ничего доброго. Жду, что ты мне откровенно напишешь обо всем. Мне *бесконечно* важно знать, что говорят обо мне в Гамбурге. Честное слово, в Гамбурге я действовал не как эгоист. Вопреки всем приходящим соображениям, у меня не хватило решимости преклониться перед отвратительным бессилием и поносить силу. Я имею в виду высказывания о Клее и Бернайсе, объявленные столь еретическими. Если ты меня знаешь, ты поймешь, что Клей с его глупой должен быть мне очень противен, а мощный Бернайс, несмотря на отсутствие в нем негативных ветхозаветных добродетелей, кажется мне весьма достойным уважения. Мое пристрастие к последовательному и суровому раввинату сложилось уже много лет тому назад, и не как априорное приятие или коновский житейский расчет, а как результат исторических разысканий. Если бы я не был великим человеком, я бы, как настоящий студент, не отказал себе в удовольствии разбить камнями «окна господни». Но именно потому, что я великий муж, или по крайней мере мужчина, или, хотя ты с этим и не согласен, настоящий человек, я не мог понравиться в Гамбурге. Это я понял тотчас же и поэтому держался в стороне от еврейского сброда. И тем не менее эта сволочь смеет рассуждать обо мне? Люди, о существовании которых мне неизвестно, рассказывали моему брату, будто я беседовал с ними и говорил бог знает что. Эти еврейские, или, вернее сказать, только во Израиле возможные мерзости лезут на меня отовсюду. Все-таки я непременно хочу, чтобы ты сообщил мне, о чем там говорили. Может быть, какое-нибудь измышление вредит моей чести. никоим образом не вступайся за меня при встрече с такими друзьями, как Коц,

<sup>1</sup> Пропуск (*франц.*).

Я почти ничего не пишу. Меня занимают исключительно головные боли и юриспруденция. Готова тьма песен, но напечатаны они будут еще не скоро. Ты пишешь о «прилагаемых строчках Фарнхагена», но в твоём письме их не было: *qu'est que ça?*<sup>1</sup>

«Пария» Михаэля Бера — шедевр; теперь я охотно это признаю, — ведь он считает меня великим поэтом. Поклонись ему. Сердечно кланяюсь доктору Гансу. Жду его «Наследственное право». В романсе, который тебе послан, нужно заменить второй стих пятой строфы словами: «Вспоминая вздох героя». Известен Авраам из Сарагоссы, но имя Израэль показалось мне более выразительным. В общем этот романс является сценой из моей собственной жизни, только Тиргартен превратился в сад алькальда, баронесса — в сеньору, а я сам — в святого Георгия или даже в Аполлона! Это только первая часть трилогии; во второй героя отвергает его собственное дитя, которое не знает, что перед ним его отец, в третьей этот ребенок изображен уже взрослым доминиканцем, который пытается на смерть своих еврейских братьев. Рефрен обсих этих частей перекликается с рефреном первой части, но может пройти еще много времени, прежде чем я их напишу. Во всяком случае, я включу этот романс в следующий сборник своих стихов. У меня имеются очень веские причины желать, чтобы до тех пор романс не попал в чьи-нибудь христианские руки; поэтому рекомендую тебе быть чрезвычайно осторожным, если ты будешь говорить о нем.

Кланяйся от меня Роберту, я его очень уважаю. Напиши мне поскорее о моем брате; право же, нехорошо, что я еще не имею от тебя ответа на мой вопрос о нем. Передай Мейеру Якобсону, что он очень обяжет меня, если использует моего брата в своих поместьях, безразлично в качестве кого, только бы у него была работа. Будь здоров. Кланяюсь Цунцу много раз. Его письмо я получил как раз через месяц после того, как оно было написано. Кланяйся Гильмарсу и Леману. Не забудь того, что я писал относительно «Газеты для любителей изящного».

---

<sup>1</sup> Что это означает? (франц.).

Теперь я тебе еще вот что хочу сказать: люби меня, как только можешь, а если я тебе не нравлюсь, пожми плечами, но не качай укоризненно головой.

Любящий тебя друг  
Г. Гейне,

Ты не отвстил мне относительно «Вестфальских листов». Что подделывают Гогенхаузены?

### 39. ШАРЛОТТЕ ЭМБДЕН

Люнебург, ноябрь [почтовый штемпель  
от 6 ноября] 1823 г.

Милая Лоттхен!

Ты, конечно, на меня сердишься! И все-таки я и сегодня не стал бы тебе писать, если бы не нужно было послать тебе список библиотечных номеров, который я забыл приложить к книгам. Пришли мне поскорее еще книг.

Да и о чем мне писать? Как мы живем, тебе известно; я здесь в большом почете. Особенно часто я бываю в гостях у суперинтендента Христиани; доктор Христиани прославил меня по всему Люнебургу, и мои стихи здесь курсируют. Но я всегда стараюсь по возможности не бывать в обществе; меня слишком занимают мои головные боли, которые все еще не проходят, и моя юриспруденция. Культуры здесь нет никакой; я думаю, что на здании ратуши стоит культууроотвод. Но люди здесь неплохие.

О тебе я думаю очень часто, добрая ты, милая, по-детски прозрачная душа! Как часто мне хочется расцеловать твои маленькие алебастровые лапки! Люби меня крепко-крепко, как только можешь!

То, что ты мне пишешь о Метфесселс, меня порадовало. Передай ему сердечный привет. Мне хотелось бы разок послушать мои стихи в пении. Я постараюсь достать также и музыку Клейна к ним.

Мы все здоровы; Амишкин кавалер теперь черный пудель здешнего дроста.

Скажи мне, собираешься ли ты отелиться? Передай от меня сердечный привет Морицу, а также всем Эмбденам,

Когда ты пойдешь к дяде Генри, передай ему большой привет и скажи ему, что я его люблю. И еще напиши мне, как поживает дядя Соломон Гейне и его семья. Будь здорова, маленькая, нежная, хрустальная куколка, Сшей мне пару шерстяных туфель,

Твой любящий брат

Г. Гейне.

#### 40. ЛЮДВИГУ РОБЕРТУ

Люнебург, 27 ноября 1823 г.

«Немезида среди животных», поверни ко мне голову и жадно слушай!

Но ничего нового я не скажу, милый Роберт, кроме того, что я еще живу и люблю вас. Последнее продлится столько же, сколько и первое, но продолжительность первого весьма неопределенна. За гранью жизни я не обещаю ничего. С последним вздохом исчезнет все: радость, любовь, злоба, лирика, макароны, нормальный театр, липы, малиновые конфеты, «Власть условностей», сплетни, собачий лай, шампанское, и от могущественного Толбота, наполнявшего театры Германии своей славой, не останется ничего, кроме легкой горсточки макулатуры. Aeterna nox<sup>1</sup> сыр-ной лавки поглотит «Дочь Иевфая» вместе с освистанным «Альманзором». Поистине, мрачное настроение владеет мной в течение двух месяцев; я вижу только отверстые могилы, дураков и двуногие арифметические примеры. Лишь изредка солнечный луч проникает в мое сердце, солнечный луч в виде привета прекрасной швабки, который мне любезно передал Мозер, или вести о том, что и Людвиг Роберт не забыл меня. Его я должен еще поблагодарить за благожелательные высказывания в «Утренней газете». Они были мне любезны вдвойне, по ним я увидел, что не ошибся в вас и что вы не мелочны, как все остальные. Отсутствие мелочности я люблю больше, чем все прочие душевные качества, расхваленные нашими учебниками морали. Но не считайте и меня мелочным, если даже

<sup>1</sup> Вечная ночь (лат.).

я кажусь часто таким. Может быть, вы еще доживете до того, что прочтете мою исповедь и увидите, как я смотрел на свою эпоху и своих современников и как вся моя мрачная, полная невзгод жизнь растворялась в самом бескорыстном, в идее. Мне очень, очень важно признание толпы, и все-таки никто так не презирает ее одобрение и не охраняет так свою личность от ее суждений, как я.

Я вовсе не забыл своего обещания в отношении «Рейнских цветов». Мне очень приятно, что вы хотите взять для них стихотворение, которое вам показал Мозер. Поэтому я предназначаю его для «Рейнских цветов» и прошу подписать это стихотворение просто значком «— е» и озаглавить «Дочь алькальда». Может быть, его еще надо немного отшлифовать, — я писал наспех и отослал его, не перечитывая. Мне очень приятно, что оно понравилось вам; сам я сомневался в его достоинствах. Дело в том, что в стихотворении не вполне удачно выражено то, что я, собственно, хотел сказать; пожалуй, даже выражено нечто совсем другое. Право, мне вовсе не хотелось, чтобы оно вызывало смех, а тем более носило насмешливый характер. Я хотел передать в стихотворении просто, непредвзято, эпически объективно некое действительное происшествие и вместе с тем нечто всеобщее, всемирно-историческое, что предстало передо мной с полной ясностью. В моем восприятии это стихотворение печально и серьезно, смеха здесь нет, и оно предназначено было даже стать первой частью трагической трилогии. Я слишком много говорю об этом маленьком стихотворении, но со мною всегда случается то же, что с вашей сестрой Фарнхаген: она мне говорила, что ей всегда приходится писать длинные письма, чтобы выразить одну-единственную мысль. Клапайте от меня милой, доброй маленькой женщине с великой душой. Скажите ей, что только в редких случаях я о ней не думаю. Всю прошлую неделю я был занят, а именно — читал «Коринну» де Сталь. До той великой жизненной эпохи, когда я познакомился с вашей сестрой, я бы вообще не понял этой книги. И, милый Роберт, вы едва сможете поверить, как я сейчас послушен г-же фон Фарнхаген: я прочел всего Гете, за исключением кое-каких мелочей!!! Ныне я уже не слепой язычник, а прозревший. Гете мне очень нравится. Мне бы очень хотелось написать г-же фон Фарнхаген, но мне было бы слишком больно: не покрывив ду-

ною, я бы не мог не упомянуть о г-не фон Фарнхагенс. Этот человек выказал себя по отношению ко мне настолько добрым и милым, что я никогда не смогу достаточно его отблагодарить и, конечно, буду ему благодарен всю жизнь; но боль, по сравнению с которой зубная боль (знаете ли вы, что это такое?), испытываемая мною в настоящую минуту, — блаженное ощущение, раздирает мне душу, когда я думаю о Фарнхагене. Собственно, его вина тут, надо думать, невелика; ему просто пришло на ум разыграть по отношению ко мне роль Антонио и показать, что дипломат, мастер плести тонкую нить, привыкший всегда что-то *расшифровывать*, стоит много выше бедного кандидата в госпиталь святой Анны, который бесхитростно, не взвешивая своих слов, высказывает друзьям все, что ему диктует настроение; я способен перенести многое, и, конечно, сумел бы, как обычно, стряхнуть с себя и эту обиду, но случилось это как раз в такую минуту, когда я вообще ничего не мог перенести и когда все грубое — слово ли, взгляд ли, движение — наносило мне неисцелимую рану. Вы знаете жизнь, милый Роберт, и знаете, что в жизни есть такие часы, когда именно те, кого мы больше всего любим, способны особенно глубоко оскорбить нас, и от этих оскорблений у нас постепенно возникает незабываемое чувство, которому нет имени на нашем языке, чувство, в котором еще жива былая любовь, но эта любовь смешана с ревенем, негодованием и смертью.

Не знаю, какие мне подыскать выражения, и я в отчаянии от этого — у меня только что прошла зубная боль.

Будьте здоровы, не лишайте меня вашего расположения, кланяйтесь вашей прекрасной жене. Скажите ей, что я прочел «Рейнские цветы на 1824 год», но говорить о них не решаюсь, так как извел бы на это слишком много бумаги. Один только «Юлиан» вызывает у меня некоторые возражения. И будьте уверены, что я люблю вас.

Г. Гейне.

С тех пор как я вернулся из Гамбурга, я не видел газет и не читал еще вашей пьесы ко дню рождения Гете, о которой мне рассказывали много замечательного. «Утренняя газета» — очень хорошая газета, и в будущем я собираюсь напечатать там несколько стихотворений, Я очень



хотел бы услышать от вас, следует ли мне предложить свое сотрудничество редакции, прежде чем я пошлю туда свои стихи,

*Он же.*

Книжечку Гитцига о Вернере я прочел. Гной! Сплошной гной! С сего же «гофмановскими посмертными гримасами» я тоже ознакомился и едва не заболел от них морской болезнью. Далее я прочел «Периандра» Иммермана. Это — худший из всех шедевров, которые я знаю. Фарнхагенский компендиум о Гете я держал в руках; это литературная триумфальная арка. Слова: «Я для нее сейчас, считая по самой божеской цене, стал на шесть тысяч талеров дороже» — лучшие из всех, какие я когда-либо произносил. У Фридерики я нашел кое-что, под чем охотно поставил бы свое имя. Я перелистал еще и толстую книгу профессора Шютца о Гете и Пусткухене и тотчас же был вынужден распахнуть окна из-за мерзкого запаха. Только что я получил книгу Эккермана. Ах, с какой охотой в качестве вольного стрелка я принял бы участие в войне за освобождение Гете, но я по горло увяз в болоте римского права. Я не обеспечен материально и принужден заботиться о хлебе насущном; и при этом я держусь с таким достоинством, что вам, наверное, жаловался на это наш милый ученый Мозер.

Еще раз кланяйтесь вашей жене.

*Он же.*

#### 41. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Ганновер, 21 января 1824 г.

Да хранят боги твою главу!

Из этого восклицания ты видишь, что я еще верю в богов и не столь безбожен, как говорят, а из пометки в начале письма ты поймешь, что я сейчас нахожусь в том самом городе, где пытки отменили лишь несколько лет назад. Я прибыл сюда вчера вечером и остался здесь на день, потому что совсем разбит после ночи, проведенной в пути в прескверную погоду и в еще более скверном обществе. Послезавтра приеду в Геттинген и буду приветствовать

почтенный карцер, дурацких львов на Вендских воротах и розовый куст на могиле прекрасной Цецилии.

Быть может, в Геттингене я не найду ни одного из моих прежних знакомых; в этом есть что-то жуткое. Думаю также, что на первых порах мне будет очень неприятно и то-скливо здесь жить; потом я привыкну к моему положению, сдружусь peu á peu<sup>1</sup> с неизбежным и в конце концов полюблю это место, и мне будет больно покидать его. Со мною всегда так бывало, отчасти так было в Люнебурге. Lorsque mon départ de cette ville s'approchait les hommes et les femmes, et principalement les belles femmes s'empressaient de me plaire et de me faire regretter mon séjour de Lunenburg. Voilà la perfidie des hommes, ils nous font des peines même quand ils semblent nous cajoler.<sup>2</sup>

Свеча догорает, уже поздно, я слишком сонный, чтобы писать по-немецки. Ведь, собственно, я не немец, как ты, вероятно, знаешь (см. Рюс и Фрис, в ряде мест). Я бы не слишком гордился, если бы и был немцем. Oh, ce sont des barbares!<sup>3</sup> Существуют лишь три образованных, цивилизованных народа: французы, китайцы и персы. Я горжусь тем, что я перс! То, что я пишу немецкие стихи, объясняется особыми причинами. Дело в том, что прекрасная Гюльнара услышала от одного ученого дурака, что в немецком есть сходство с ее родным языком, с персидским, и вот прелестная девушка сидит в Испагани и изучает немецкий язык, а для упражнения в грамматике занялась тем, что перевела несколько моих песен, которые я сумел тайком подсунуть ей в гарем, на свой сладкий, розовый, сияющий язык бюльбюля.

Ах! Как я томлюсь по Испагани! Ах я, несчастный! Далеки от меня его чудесные минареты и душистые сады. Ах, сколь ужасна судьба персидского поэта, которому приходится страдать от вашего изменного, тряского немецкого языка и которого до смерти умучили ваши столь же тряс-

---

<sup>1</sup> Мало-помалу (*франц.*).

<sup>2</sup> Когда приблизился день моего отъезда из этого города, мужчины и женщины, особенно красивые женщины, старались мне поправиться и заставить меня пожалеть о том, что я уезжаю. Таково коварство людей — они нам причиняют страдания даже тогда, когда они как будто ласкают нас (*франц.*).

<sup>3</sup> О, это варвары! (*франц.*).

кие почтовые дилижансы, ваша скверная погода, ваши глухие, табачные рожи, ваши римские пандекты, ваша философская тарабарщина и прочее ваше убожество. О Фирдуси! О Низами! О Саади! Как страдает брат ваш! Ах, как я томлюсь по розам Шираза! В Германии есть свои хорошие стороны, их я не буду порочить. У нее есть и свои великие поэты: Карл Мюхлер, Клаурен, Губиц, Михаэль Бер, Ауффенберг, Теодор Хель, Лаун, Гее, Гувальд, Рюккерт, Мюллер, Иммерман, Уланд, Гете.

Да что они все перед Хафизом и Низами! И хотя я перс, я признаю открыто: величайший поэт — это ты, о великий пророк Мекки, и коран твой, хотя я знаю его лишь в переводе Бойзена, я не скоро забуду.

О большом успехе «Парии» Михаэля Бера в Берлине я вчера утром услышал в Целле, и, что довольно странно, от старого еврея, у которого разменивал дукаты. Он узнал об этом от одного мозольного оператора, который приехал прямо из Берлина и самолично убедился в том, что «Пария» там *à la mode*<sup>1</sup> с творениями Шиллера и Гете. Я любопытствую, милый Мозер, узнать твое мнение об этой вещи, к которой ты, наверное, проявил большое участие, поскольку Бер и Френкель принадлежат к твоим последователям. Я знаю эту вещь уже давно, автор прочитал мне ее сам. Она мне очень понравилась, но понравилась бы еще больше, если бы в ту пору я не был хорошо осведомлен об Индии и индийском духе. Не годится, совсем никуда не годится основное сопоставление, заложенное в произведении, то есть что пария — замаскированный еврей. Надо приложить все старания, чтобы сходство еврея с индийским парией никому не пришло в голову, и, право, очень глупо нарочно подчеркивать это сходство. Но глупее и вреднее всего — поистине достойна палок — вот какая любопытная идея: пария догадывается, что предки его сами предопределили свою печальную участь, совершив какое-то кровавое злодеяние.

Этот намек на Христа кое-кому понравится, особенно потому, что он исходит от еврея, от водяного поэта. (*Tu n'oses pas mal interpreter cette expression:*<sup>2</sup> «еврей, водяной поэт», *that will not say a jew who is a waterpoet,*

<sup>1</sup> Стоит в одной цене (*итал.*).

<sup>2</sup> Только не вздумай ложно истолковать это выражение (*франц.*).

but a jew, who is not yet baptised, a water-proove-jew!)<sup>1</sup>

Я предпочел бы, чтобы Михаэль Бер крестился, но зато судил бы о христианстве резко, по-альманзоровски, вместо того чтобы трусливо щадить его и даже, как показано выше, строить ему глазки.

Я наговорил об авторе и его произведении больше, чем *мне подобает*; но это случилось главным образом из-за указанного выше сопоставления, которое не может быть для нас безразличным. Жду от тебя вскоре письма в Геттинген. Пиши мне по адресу: Г. Г. из Д., студенту-юристу, спросить у педеля в Геттингене.

Будь здоров, *пиши мне побольше* и люби меня.

Кланяйся Цупцу, Гансу, Леману и другим знакомым.

Остаюсь

Г. Гейне.

## 42. РУДОЛЬФУ ХРИСТИАНИ

Геттинген, 26 января 1824 г.

Христиани!

Если бы я постарался, то мне, пожалуй, удалось бы сочинить несколько грациозных периодов подлинной великогерцогской веймарской придворной прозы, дабы подобающим образом выразить сердечные чувства, которые я к вам питаю, особенно же мою благодарность за всю доброту и любезность, проявленные вами в Люнсбурге; на них я до сих пор не откликнулся ни единым признательным словом, но тем не менее прочувствовал их до глубины души. Вы хорошо знаете, что такие упражнения даются мне с трудом, а я не люблю лишних хлопот. Поэтому вы, надеюсь, не посетуете на меня за то, что и сейчас я пишу на своем обычном отрывистом, путаном жаргоне. Пусть моя писательская слава принесет мне хоть ту выгоду, что мне разрешат писать так, как мне заблагорассудится, не опасаясь стилистической или грамматической инквизиции. Кроме того, в данный момент — сейчас восемь часов вечера — я слишком утомлен, чтобы делать какие-нибудь

---

<sup>1</sup> Это не значит, что этот еврей — водянистый поэт; наоборот, еврей, который не крещен, является водонепроницаемым (англ.).

усилия, да я и не хочу напрягаться; к тому же, я слишком люблю вас и не хочу писать вам официальное письмо. Итак, отмечу совсем кратко, что мадам Цвиккер — ангел. Ангел? Жалкое сравнение! Она квинтэссенция всего небесного воинства. К устам ее бог любви приложил свою алую печать, в очах ее — гибель и воскресение, она сама любезность во плоти, и так далее. Цвиккер сначала произвел на меня неблагоприятное впечатление. Я застал его погруженным в бумаги и выдал себя за странствующего студента; я передал ему ваше письмо, которое он отложил в сторону, не читая; мы поговорили о берлинском обществе; я откланялся. На следующее утро он нанес мне ответный визит в трактир «У зайца», где я квартировал, и был весьма любезен. Мы много говорили о немецкой литературе, много о Христиани (этого молодого человека он, кажется, очень любит), много об Арниме, Штраубе, Brentano, о романтизме; моего он еще ничего не читал, так как давно уже не читает ничего нового. Он пригласил меня к обеду вместе с Арнсвальдом. Арнсвальд сначала тоже не показался мне привлекательным, но затем он мне понравился; постепенно он становился теплее, общительнее, был очень предупредителен ко мне и прочел несколько стихотворений Фалька. Голос у него плохой, но чтение его мне все-таки понравилось. Произведений Цвиккера под рукой не оказалось. В моем чемодане лежали «Трагедии» Гейне, которые я и принес на просмотр Цвиккеру, — жаль, что вы еще не отослали ему экземпляра, — и я сидел напротив мадам Цвиккер и читал «Вильяма Ратклифа». Арнсвальд тоже еще не знал этих трагедий, он только видел их как-то у своего друга в Париже. Я у них пробыл с половины третьего до половины двенадцатого. Арнсвальд был так любезен, что проводил меня до моей квартиры, и я обещал навестить его. Но на другой день я был так болен, что не мог выйти в назначенный час, остальную часть дня Арнсвальд был занят похоронами, и т. п., и я повидался еще только с Цвиккером, жена которого была нездорова, вечер провел у Мейера и в пять часов утра уехал.

Пожалуйста, устройте, чтобы Цвиккер поскорее получил экземпляр «Трагедий». Он подарил мне роскошное английское издание «Lady of the Lake»<sup>1</sup> и рукопись одного

---

<sup>1</sup> «Девы озера» (англ.). (См. комментарии.)

из своих стихотворений. Арнсвальд справлялся о вас с большим участием; я сказал, что мы часто о нем говорим, и это, кажется, его порадовало. Мадам Цвиккер тоже с большим интересом говорила о докторе Христиани, которого она только мельком видела и который ей понравился. Мейер был очень рад снова со мной встретиться, и я тоже был искренне рад, увидев этого славного малого. Вы с ним, вероятно, не сойдетесь. Вы стали бы часто ссориться, — Мейер все такой же спорщик, а вы, добрый Христиани, в этом ему не уступите. Со мною дело обстоит иначе: я легко соглашаюсь с людьми, если это хорошие люди; и, в сущности, все люди правы. Мейер стал для меня еще интереснее, с тех пор как я увидел его сестру. О Иохма! Прекрасный оазис люнебургской пустыни! Я вижу, у вас на языке вертится вопрос: а мадам Цвиккер красивее? О, как можно сравнивать индийскую задумчиво-прозрачную игру лунных лучей с победным восходом солнца над ширазской равниной роз! Как можно сравнивать Сакунталу с несравненной Зораидой среди ее золотого гарема! О султанша Люне, как она прекрасна! Только Джами мог бы описать ее! Мне пришлось бы брать частные уроки персидского у Эйхгорна, если бы я вздумал испытать себя в таком описании! Но довольно чепухи, я только хочу сказать, что завидую вам, потому что вы часто видите эту прекрасную женщину. В этом скудном красотою Геттингене я еще долго буду жить одним лишь воспоминанием о Сакунтале и Зораиде.

Пожалуйста, не забудьте послать в Берлин то, о чем я вас просил. Иначе я действительно оскандалюсь, и, кроме того, мне это чрезвычайно важно. Я здесь уже совсем устроился и дышу воздухом пандектов и скуки. Скука поощряет меня к работе, и я надеюсь кое-чего добиться. Я проживаю... Или, вернее, мой адрес таков: Г. Г., студенту-юристу, у вдовы Брандиссен, на Ротенштрассе, в Геттингене.

Кроме нескольких профессоров, я никого здесь не знаю. Сарториус все еще не научился говорить по-немецки, а Бенекке улыбается так же деревянно, как раньше. Я завел себе парочку сорванцов-студентов, архиглухих парней, с которыми бражничаю; они обступают меня, когда я встаю из-за рабочего стола, и не подпускают ко мне ни одной разумной мысли; они мои паладины и почитают меня, как

primus inter pares.<sup>1</sup> Парни отлично рассуждают о янцах и сыре, и их беседа мне гораздо милее эстетической болтовни за чайным столом в столице. Я чувствую себя не слишком плохо, я чувствую себя даже очень хорошо и по-сему опять хочу написать несколько бессмертных строк. Стараюсь не приобретать здесь поэтической известности и всякого, кто говорит со мной о «Ратклифе», обзываю дураком. Впрочем, я сомневаюсь, знают ли здесь другого Гейне, кроме филолога с этой фамилией на Вендском кладбище.

Будьте здоровы, любите меня, кланяйтесь всем знакомым и будьте уверены, что я никогда не перестану быть

вашим другом

Г. Гейне

### 13. РУДОЛЬФУ ХРИСТИАНИ

Дюра Геттинген, 29 февраля 1824 г.

Дорогой Христиани!

Кто из нас двоих ленивый корреспондент? Я или великий гетеанец? Но я не обижаюсь на вас, — вышел новый номер «Искусства и древности», и, вероятно, это запыло вас целиком. Однако у меня есть новость, которая, может быть, порадует вас: здоровье Г. Гейне улучшается поразительно! И этим я обязан скучному, как свиная кожа, трижды педанту рыцарю Гуго, который ежедневно на два часа изгоняет из моей головы всякую работу мысли, что влияет на меня благотворно, так же как свежий воздух и геттингенское пиво. Я много работаю и мало думаю. Живу очень тихо, солидно и даже добродетельно. Часто вспоминаю вас, очень часто, и мне страшно жаль, что вы не знали меня здоровым. Я так мало значил для вас, и в моем тогдашнем состоянии я не мог ни раскусить тех счастливых качеств, которые заключены в вашей особе и которые я распознал окончательно только вчера на Вендском шоссе, ни переварить их, ни насладиться ими. Да, я только теперь понял, что вы принадлежите к тем немногим, которые мне под пару. Остальные слишком глупы или слиш-

<sup>1</sup> Первого среди равных (лат.).

ком уміны для меня, слишком требовательны или слишком высокомерны. Да, здоровье возвращается, а вместе с ним и бывшее мужество. Я все еще старый Тангейзер, и таинственная мелодия снова манит меня к знаменитой горе Венеры; и весьма возможно, что я воспользуюсь капризным месяцем, чтобы съездить в Берлин. Как ни наскучила мне эта дыра в ту пору, сколь часто ни восклицал я тогда с досадой:

Венера, нежная жепя,  
Ведь вы же дьяволица —

я все-таки опять думаю о том, как «к Венере в гору я вернусь», в эту славную гору чудес. Я снова тоскую по образованным людям; кроме того, эта поездка может и в практическом смысле оказаться полезной. Мне следует поухаживать за некоторыми лицами, от которых зависит мое будущее положение, и вообще появиться вновь среди живых. Но не говорите никому о моем намерении, — у меня есть основания желать, чтобы родители мои не узнали об этом. Пишу вам только потому, что помню о своем обещании заранее сообщить вам о своей поездке в Берлин. Хотя сейчас я и сомневаюсь, что вы пожелаете стать моим попутчиком, я все же думаю, что смогу выполнить в Берлине какое-нибудь ваше поручение, особенно если оно касается литературы. Я полностью к вашим услугам.

Кроме того, я хочу поместить у Губица кое-какие из моих новых стихотворений, особенно морских; тогда в Берлине убедятся, что я еще не разучился писать стихи. Но какие! Помилуй бог, ведь мало того, что берлинцы не оценят новой, небрежной манеры, в которой я теперь пишу, но они еще смогут справедливо упрекнуть меня в том, что я стараюсь сбить слабые стихотворения. Теперь, когда снова во мне заиграла сила, я, к сожалению, это вижу и сам. Тем не менее я сейчас ничего не пишу. набросок новой драмы пролежит еще долго. У меня сейчас слишком много хлопот с юриспруденцией. От Руссо я наконец получил письмо; он жалуется на мое молчание, пишет трогательно и сердечно; как возникло недоразумение — один бог ведает.

Будьте здоровы, напишите скорее и будьте уверены в моем уважении и любви к вам.

*Г. Гейне.*



#### 44. РУДОЛЬФУ ХРИСТИАНИ

*Проклятая дыра Геттинген, 7 марта 1824 г.*

Милый Христиани!

Прилагаемое письмо от 29-го еще только собралось отправиться на почту, а я уже получил ваше письмо от 26 февраля, обрадовался ему до небес и тут же адски разозлился, потому что мне приходится теперь писать вам новое письмо. Все же посылаю вам и старое; оно восполнит то, чего не будет в сегодняшнем, а кроме того, каждое мое письмо — термометр, по которому можно узнать мое душевное состояние. В конце концов это главное, что хочешь узнать из письма друга, и потому письмо в домашнем халате мне в тысячу раз милее, чем в парадном мундире. Правда, я отлично угадываю настроение моих друзей в данный момент, когда они в своих письмах размышляют; предмет и характер размышления дают мне немало намеков. Но мне гораздо милее находить живые личные черты и факты, пусть даже незначительные; и хотя меня глубоко интересует, как доктор Христиани понимает народный характер литературного произведения, но мне так же интересно, нет, даже еще интереснее, знать, носил ли он на некоем *redoute*<sup>1</sup> (от слова *redoutable*<sup>2</sup>) в Люнебурге свои неэстетичные брюки из трико, часто ли он по-прежнему ходит в Винебуттель и невесть что еще. Все, что я сейчас говорю, собственно, направлено против одного берлинского друга; от него я вчера получил длинное письмо, в котором не было ничего о нем самом, хотя он интересует меня больше, чем его аршинные размышления. Да, сейчас я перечел ваше милое письмо; сказанное только в малой степени относится к вам, но пусть оно запомнится на будущее.

Со здоровьем моим опять плохо; вероятно, я по почам слишком много думаю о Венере Медицейской из здешней библиотеки и о служанке гофрата Бауэра. У гофрата я прослушаю этим летом уголовное право, а у Мейстера — пандекты. Я все еще изучаю право, но, будь оно проклято, до сих пор ничего не могу в нем понять. Титулы скоттовских романов и новеллы Боккаччо и Тика я все еще знаю

<sup>1</sup> Балу (*франц.*).

<sup>2</sup> Опасный (*франц.*).

куда лучше, чем титулы и новеллы в «Corpus juris». О святой Юстиниан, смилуйся надо мной! Столько барапов постигло тебя, а я прихожу в отчаяние! О римские императоры, смилуйтесь надо мной! О Кай, Павел, Папиниан, вы, проклятые язычники, вот вы и горите в аду за то, что так растянули право. И какая жан-полевская, то есть тяжеловесная латынь! Я каждый день проклиная Арминия и битву в Тевтобургском лесу. Не случись она, мы бы все сейчас были римлянами и говорили бы по-латыни, и «Corpus juris» был бы нам так же привычен и легок, как клауреновская «Мимили». Не стану продолжать, — какой-нибудь старогерманец мог бы напасть на меня врасплох и всадить кинжал в мое ненемецкое сердце с патетическим возгласом: «Умри, раб насильников, презирающий отечество!» Но тут я схвачу лежащую возле меня «Песнь о Нибелунгах» и, как щит, подниму ее навстречу иенскому Дон-Кихоту, и кинжал выпадет из его рук, и он молитвенно сложит длани: «O sancta Chrimhilda, Brunhilda et Utha, oga pro nobis!»<sup>1</sup> О вы, благородные, черные дурни, не могу петь созвучно с вами, потому что колпак мой дурасти другого цвета. В этой жизни между нами нет ничего общего, но там, наверху, мы сядем в братском единении и споем:

Ах, где для немца светлый рай,  
Где родина германца?  
То прусский край иль швабский край  
Любви, веселья, танца?

Х о р: О, зеленый край отцов,<sup>2</sup> и т. д. и т. д.

Вы говорите в письме, что мне трудно дается стремление совсем сбросить с себя немецкое начало, а то, что я написал выше, вероятно еще больше укрепит вас в мысли, что я сознательно стремлюсь к этому. И все-таки вы ошибаетесь. Я знаю, что я одно из самых наимемецких животных; я знаю отлично — немецкое для меня то же, что рыбе вода, знаю, что для меня невозможно уйти из этой стихии и что (продолжаю рыбные сравнения) я иссохну, как треска, если (развиваю водную метафору) выпрыгну из вод немецкого патриотизма. По существу, я даже люблю немецкое больше всего на свете, я горд и счастлив тем, что грудь

---

<sup>1</sup> О святые Кримхильда, Брунхильда и Ута, молитесь за нас (лат.). (См. комментарии.)

<sup>2</sup> Перевод Е. Эткинда.

моя — архив немецких чувств, так же как две мои книги — архив немецких песен. Моя первая книга — немецкая даже по внешности, потому что любви к немецкому тогда никто еще во мне не замутил; моя вторая книга — немецкая только внутренне, во внешности ее больше чужеземных черт. Вероятно, муза моя с досады на немцев перекроила свое немецкое платье на более чужеземный лад. Поводом к этой досаде послужили основательные причины, законная *ennui*.<sup>1</sup> И потом — донкихотство этих молодчиков! Я вижу, что сам внал в ошибку, которую осуждал, что сам втянулся в серые, как пепел, рассуждения, и лучше коротко изложить все, что я хотел. Итак, слушайте! Я поеду в Берлин, если в начале будущего месяца буду чувствовать себя хорошо. Думаю, что так и будет, если нет — не поеду. Пока же это только очень вероятно. Если в Берлине я смогу вам быть чем-нибудь полезен, хотя бы в ваших гетевских начинаниях, издательских делах, в наведении справок и т. п., то сообщите мне об этом не позже 1 апреля.

Я печатаю в «Собеседнике» «Тридцать три стихотворения» — большую часть их вы уже знаете. Представьте, какое несчастье: пакстик с морскими стихотворениями я потерял во время бесконечных переездов, а по памяти (а как это было трудно!) смог восстановить только три. Не смейтесь, это большое несчастье. Но я смеялся, и смеялся от всего сердца. Послушайте, не познакомил ли я вас с одним длинным стихотворением? Оно начинается так:

В Куксхафене у верфи  
Местечко есть одно,  
Оно «Былой любовью»  
Давно окрещено<sup>2</sup> и т. д. п т. д.

И вот я стою перед «Былой любовью» и созерцаю бурю, грозу, корабли и т. д. Это замечательное стихотворение, а я, при всем напряжении, могу вспомнить только первую строфу. Теперь можете и вы посмеяться. На этой неделе я посылаю стихи Губицу; если они провалятся у широкой публики — а провалятся они без сомнения, — это будет ваша вина, потому что вы меня соблазнили снова писать

<sup>1</sup> Досада (*франц.*).

<sup>2</sup> Перевод Е. Эткинда.

стихи. Наверное, они будут последними, которые резчик по дереву и поставщик театральных рецензий Губиц получит от меня в этой жизни.

Ваши слова о Губице и о вашей статье для него мне следовало бы, из чувства такта, обойти молчанием. Но так как это молчание было бы неестественным, а я всегда чистосердечно высказываю друзьям все, что думаю, то я и должен вам признаться: мне приятно было узнать из вашего письма, что вы все еще всерьез намерены написать эту статью. Однако я так же откровенно должен вам сказать, что мне было бы приятно, если бы вы ее совсем выкинули из головы или отложили ее написание до тех времен, когда рак на горе свистнет, если только оно вам доставляет малейшее *gên*.<sup>1</sup> По понятным причинам я бы очень хотел ее увидеть в печати *ко времени моего приезда в Берлин*. Но так как я знаю, что это не удастся, то пусть она совсем не появляется в печати; позднее она уже не будет иметь для меня особого значения. И, кроме того, мне всегда тяжело быть слишком обязанным друзьям, а вы, милый Христиани, выказали мне столько любви и дружбы, что я не знаю, как и отплатить вам. Надеюсь, что вскоре я увижу напечатанным какой-нибудь ваш поэтический опус и прочту его с любовью и вниманием, а это, право, лучшее доказательство благодарности и дружеских чувств, которое можно дать поэту. Благодарю вас за «Св. Иоанна»; у меня есть причины не хвалить вас сегодня; вероятно, я сделаю это в ближайшем будущем. Сильно сомневаюсь, что мои трагедии и стихотворения нравятся Цвиккеру. Тон, который в них царит, должен быть противен всему его существу. Не помню, говорил ли он об этом. Но, может быть, я и ошибаюсь. Право же, я не тщеславный поэт и способен поверить, что я не нравлюсь. Мадам Цвиккер стихи мои очень понравились. О, она мила и приветлива. Кланяйтесь моим люнебургским друзьям и покровителям. Особый привет передайте прекрасной султанше, повелительнице Люне. Я писал Августу Мейеру. Сердечный привет капитану Мейеру. Прилагаемое письмо сразу же перешлите моим родителям; я им пишу не много, но часто. Думаю, что меня никто не превзойдет в *pietas*.<sup>2</sup> Молчу,

---

<sup>1</sup> Неподобство (*франц.*).

<sup>2</sup> Почтительности (*лат.*).

молчу. Будьте здоровы, любите меня и будьте уверены, что я ценю и люблю вас.

Г. Гейне.

Еще раз напоминаю, чтобы вы никому не говорили о моей предполагаемой поездке в Берлин, Казанову (5 том) я еще не прочел.

#### 45. ФРИДРИХУ-ВИЛЬГЕЛЬМУ ГУБИЦУ

Геттинген, 9 марта 1824 г.

Дорогой профессор Губиц, высокочтимый коллега!

Желаю, чтобы письмо это застало вас в полном здравии и обычном настроении. Мое здоровье сейчас несколько лучше. Ça ira!<sup>1</sup>

При сем посылаю вам для «Собеседника» последних детей моей музыки, озаглавленных «Тридцать три стихотворения Г. Гейне».

Вас очень удивит небрежная и странная форма некоторых стихотворений; может быть, они даже побудят вас и других людей осуждающе покачать головами, но я все-таки знаю, что эти стихотворения принадлежат к самому самобытному из всего, что я до сих пор написал. Поэтому я требую, чтобы вы, если только вообще найдете их достойными печати, воздержались от всякого *губицевания*, — вы понимаете, что я под этим разумею, — чтобы, печатая их, вы не изменили ни одного слова, ни единого слога. Если это для вас невозможно, не печатайте стихотворений вовсе, и я пришлю за ними кого-нибудь из моих друзей. Совершенно необходимо также, чтобы весь цикл появился в течение одной недели, то есть в четырех номерах подряд. Некоторые стихотворения, которые я карандашом заключил в скобки, должны быть напечатаны, как вы сами увидите, в одном и том же номере, как, например, морские стихи. Надеюсь, что все присланное мной будет напечатано без большой задержки, конечно если только у вас не лежат рукописи Гете или Вальтера Скотта. Ставлю непре-

<sup>1</sup> Дело пойдет! (франц.).

менным условием, чтобы вы дали мне восемь оттисков «Тридцати трех стихотворений». Я пришлю к вам за ними. Поэтому не забудьте заказать эти оттиски в типографии. Мне они очень нужны — я должен их разослать родным и друзьям.

Я редко пишу для «Собеседника», но это зависит не от меня, а от моего теперешнего состояния: я подавлен болезнью и юриспруденцией. Но это пройдет, и будьте уверены, что я всегда буду интересоваться «Собеседником». Хотел бы, чтобы и он мною интересовался, и поэтому делаю следующее интересное предложение: не хотите ли вы сразу же оплатить своим обычным гонораром мою сегодняшнюю рукопись и поступать таким же образом в дальнейшем? Предоставляю это на ваше любезное усмотрение и замечу только, что я представляю собой противоположность миллионеру. Я живу здесь тихо, работаю много и становлюсь невыносимо ученым. Как может пасть человек!

Храните обо мне добрую память, хвалите меня при случае, потому что вчера я тоже похвалил вас, и даже в погребке, и целая куча студентов, из которых каждый способен выдержать восемь кружек двойного пива, присутствовала при этом.

Если вам нужно что-нибудь мне сообщить, пошлите ваше письмо известному вам, вероятно, г-ну Мозеру по адресу: Фридлендер и К<sup>о</sup>, Нойе Фридрихштрассе, д. 47. Он так любезен, что выполняет мои мелкие поручения.

Будьте здоровы и верьте, что я никогда не перестану быть

вашим другом

*Г. Гейне.*

#### 46. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Магдебург, 4 апреля 1824 г.

Дорогой Мозер!

Я нахожусь здесь уже несколько дней, и мой друг Иммерман, который теперь живет здесь, не отпускает меня. Но, может быть, я завтра вырвусь и поеду в Берлин с оказией или со скорой почтой. В последнем (скоропочтовом) случае я адресую свой чемодан на твое имя. Будь

так добр, свими мнс где-нибудь комнату, если возможно — с *понеделной* оплатой, не слишком дорогую, но и не плохую. Только не у еврея (из-за пасхи) и не там, где поблизости живет слесарь или вообще какой-нибудь стучащий ремесленник; посмотри также, чтобы комната не была смежной с другой комнатой, в которой громко разговаривают. Извини меня, что я доставляю тебе столько хлопот, за которые я не могу вознаградить тебя ничем, кроме своей любви.

Я чувствую себя очень плохо. Провел печальную ночь на Гарце — там одни только снежные горы, пусть бы черт побрал свой любимый Блоксберг! Вóроны еще летают вокруг Кифгейзера, и старому господину с рыжей бородой придется некоторое время потерпеть.

О Магдебурге я ничего не могу тебе сказать, кроме того, что в его стенах высится великолепный собор, а в настоящий момент там находятся еще и два выдающихся поэта.

Один из них —

твой друг  
Г. Гейне.

#### 47. ШАРЛОТТЕ ЭМБДЕН

Геттинген, 8 мая 1824 г.

Любимая сестра! Сегодня я хочу тебя только известить, что я здоров, снова прибыл в Геттинген и жду от тебя подробного письма о твоём самочувствии.

Все остальное неважно, я только хочу знать, как ты себя чувствуешь. Когда предполагаешь родить? Видишь теперь, как хорошо, когда научишься считать! Только береги себя, не бегай слишком много, не лакомься, иначе твое дитя будет лакомкой, не читай также стихов, иначе ребенок, который у тебя родится, будет поэтом, что, конечно, можно назвать большим несчастьем. Я не подумал о твоей беременности, иначе не послал бы тебе «Тридцать три песни». Еще я советую тебе не смотреть слишком много на штейнвегские физиономии.

Путешествие в Берлин я проделал при очень скверной погоде: было холодно и шел страшный снег. Обрат-

ный путь прошел гораздо лучше — при хорошей погоде и за сорок восемь часов,—так быстро едет дилижанс-экспресс! Меня очень поразило, что горы Гарца, которые я покинул покрытыми снегом, я увидел в веселой весенней зелени. Как раз в горах Гарца на пути в Берлин мне повстречалась дама, очень похожая на тебя лицом и осанкой. Я ехал из Штольберга в Гарцгероде через высокую, покрытую снегом гору, где дилижанс каждую минуту грозил опрокинуться; печальный, опасный для жизни путь. Когда наконец в полночь мы прибыли на гарцгеродскую почтовую станцию, мы нашли там комнату для проезжих, переполненную пассажирами, которые частью прибыли в других дилижансах, частью — с экстренной почтой и здесь пили кофе, надевали и снимали шубы, громко бранились со зрителем, проклинали погоду и корчили пренесчастные физиономии. У печки, не слишком горячей, сидела изумительно красивая дама, казавшаяся очень изысканной, но и чрезвычайно расстроенной; она выглядела точно как ты, когда ты раздражена. И она превратилась в олицетворенное огорчение, когда узнала от нашего почтальона, что дорога в Штольберг очень плоха; а эlegantный господин в великолепной меховой шубе, который робко успокаивал даму и, внимая малейшему ее знаку, хлопотал вокруг нее, должен был выдержать весь поток ее недовольства, и, не то плача, не то браня, она заявила ему: «Зачем не убили вы меня раньше? Разве вы не знали, что я больна?» и т. д. Я попытался, насколько возможно, успокоить расстроенную даму и пропел из «Jean de Paris»: <sup>1</sup> «О, как приятно ездить по свету!» Как только она это услышала, очаровательно печальная улыбка скользнула по красивому лицу этого воплощенного огорчения, она не бушевала уже так громко, говоря с эlegantным, но несчастным меховым господином, и когда, вскоре после этого, я предложил ей руку и грациозно проводил ее до дилижанса, она часто еще оборачивалась ко мне с приветом и, вздыхая, напевала: «О, как приятно ездить по свету!»

Эти слова сегодня все утро звучали у меня в ушах, и поэтому я рассказываю тебе сию историю. Но если бы я захотел рассказать о Берлине, я бы управился не так скоро. Хочу сказать только, что пользуюсь там еще

---

<sup>1</sup> «Парижанина Жана» (франц.). (См. комментарии.)



достаточной любовью и уважением. Но люди здесь немало удивлялись моему героизму, тому, что во имя трудолюбия я выбрал местом своего пребывания скучный Геттинген вместо полного привлекательности Берлина. Еще больше удивлялись тому, что у меня хватило духу уехать своевременно, чтобы не опоздать к занятиям. В Берлине я пережил много прекрасных часов, приобрел немало стимулов для работы мысли, а также бодрости, и это путешествие, несомненно, было для меня полезно во всех отношениях.

Благодарю тебя, дорогая Лоттхен, за то, что ты была так добра и выполнила мое поручение в отношении дяди Генри; ты снова обяжешь меня, если и на этот раз передашь славному Генри мой привет. Среди бесконечной внешней и внутренней сутолоки, которая меня захватила, я еще до сего часу не собрался написать доброму дяде, а мне важно довести до его сведения, что я пробыл в Берлине не слишком долго и что это путешествие было для меня благотворным — телесно и духовно. Я чувствую себя так хорошо, как давным-давно не чувствовал. Если только будет возможно, я сегодня же напишу в Люнебург. Что поделывает дядя Соломон Гейне? Я очень встревожился, когда недавно узнал, что у дяди Гейне все были так больны. Слава богу, что они опять поправились. Я рад, что не знал этого раньше. Но, пожалуйста, напиши мне подробно, что они теперь делают. Мой адрес: Г. Г., студенту-юристу из Дюссельдорфа, в Геттингене. Кланяйся от меня Путанику, — часть этого письма относится только к нему — я часто и охотно думаю о нем. Кланяйся от меня семье Эмбден. Напиши мне поскорее — люби меня по-прежнему. Ты, право, не представляешь себе, как сердечно я тебя люблю.

Твой брат

*Г. Гейне.*

#### 48. АДАМУ-ГОТЛОБУ ЭЛЕНШЛЕГЕРУ

Берлин, [май] 1824 г.

Милостивый государь! Среди драматургов нашего времени вы — мой самый любимый автор, которого я почитаю больше всех других. Я рад тому, что посылка при-

‘ложенной к сему книги предоставляет мне удобный повод высказать вам мою любовь и восхищение.

Преданный вам

Г. Гейле.

#### 49. РУДОЛЬФУ ХРИСТИАНИ

Геттинген, 24 мая 1824 г.

Дорогой Христиани!

Когда надо написать слишком много, то не пишешь вовсе; так всегда бывает, и, следовательно, долгое мое молчание не требует особых извинений. В сущности, я не собирался писать и сегодня: погода сырая, а в голове моей еще более сыро и душно; но надо же мне оживить нашу переписку; итак, сообщаю вам, что я еще жив, вот и все. Может быть, в следующем письме я расскажу вам, что я путешествовал, видел много людей и скотов и т. д. А ргорос: <sup>1</sup> я побывал также и в Берлине. Город стоит на Шпрее, имеет сто пятьдесят тысяч жителей и двадцать пять душ. И среди них есть одна душа, которая могла бы подарить мне блаженство! Боги всеильные, неужели я еще недостаточно безумен!

В Берлине я много толкался в приемных, подвергался снисходительному сиянию высокомиловидных взоров, укрепил старые дружественные связи, хорошо ел, еще лучше, а-ля Хафиз, пил, предостаточно надыхался фимиамом, получил несколько поцелуев, истратил тридцать луидоров, слышал до ужаса много глупой болтовни и чудесно провел время. Право, я не стою того, чтобы столько хороших людей проявляли терпение, стараясь ободрить и развлечь меня, раздражительного, мрачного, страдающего головными болями человека. Должен, однако, добавить, что бедная моя голова в самом деле еще не позволяет мне вступать в общение со слишком большим кругом людей, и, право, я не из каприза отклонил некоторые проявления любви и намеренно отказался от многих прекрасных, отличных вещей. Vous me connaissez. <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Кстати (франц.).

<sup>2</sup> Вы меня знаете (франц.).

По дороге в Берлин я проезжал через Магдебург и прожил там четыре дня с Иммерманом. Мы отлично подходим друг к другу и искренне друг друга любили.

Перед музой моей Иммерман чрезвычайно почтительно снимает шляпу. Он с трогательным смирением открыл мне некоторые свои слабые стороны, и тут я увидел, что духовно он еще гораздо выше, чем я раньше думал. Внешность Иммермана непривлекательна; я выгляжу куда лучше. Вообще ему, кажется, не хватает молодости. Но зато у него гигантские запасы силы и покоя. Он задумал написать «Гогенштауфенов», цикл из девяти трагедий, и собирает сейчас материалы. Я бы умер при одной мысли о такой колоссальной работе. Сейчас Иммерман работает над трагедией на тему о Магдалине; новую комедию «Око любви» он печатает у «Шульца и Вундермана», так же как перевод скоттовского «Айвенго», который он хочет сопроводить статьей, где сопоставит Шекспира и Скотта. Его критический очерк, посвященный характеру Фальстафа, появится в мюнхенском журнале «Орфей». Он начал писать еще некоторые критические статьи, и среди его бумаг я видел также начало характеристики трагедий Гейне. Свою брошюру о Гете он сам считает незначительной. И вообще он еще не знает, в чем, в сущности, его сила. Мы много говорили о Гете; само собой понятно, что я при этом часто упоминал о неистовом гетеанце, сидящем на служебной цепи в Лüneбурге. Ваше имя связано теперь с таким множеством моих мыслей, дорогой Христиани. Характеристика Иммермана, написанная бароном фон Зюдов, совсем не похожа на оригинал. Но Иммерман сыграл с беднягой очень скверную штуку. У одной красивой дамы, к которой оба они пламенели, происходило чтение гетевского «Тассо», с распределением ролей, и, разумеется, рыцарственный декламатор, рассчитывая блеснуть, взял роль Тассо и читал ее совсем по-ученически скверно, а злобный Иммерман, взявший роль Антонио, читал ее в несколько подчеркнуто наставническом тоне, вкладывая при помощи иронических взглядов и ударений в некоторые места текста язвительные намеки и, в сущности, от лица Антонио отчитывал бедного барона, покуда тот, чувствуя себя все более и более задетым, не вышел из себя и не взбесился по-настоящему,

Пока я это писал, мне сообщили, что мой кузен лорд Байрон умер в Миссолунгах. Вот и это великое сердце перестало биться! Оно было великим и было сердцем, а не мелкой яичной скорлупкой чувств. Да, этот человек был велик, он в муках открывал новые миры, по-прометеевски восставал против жалких людей и их еще более жалких богов, и слава его имени достигла и снеговых гор Фуле и жгучих песков Леванта.

Take him all in all, he was a man,<sup>1</sup>  
Ему подобных нам уже не встретить.<sup>2</sup>

Я велел объявить траур повсюду. У английской литературы теперь осталось только два глаза: Скотт и Мур. Наша литература совершенно слепа.

Погода так исключительно плоха, точно ее изготовил Клаурен. Мои «Тридцать три» в Берлине постигла очень странная судьба. Они превознесены до небес как нечто ультрановое в поэзии, а затем втоптаны в грязь как нелепое заблуждение века. Сетуют, что слава развратила меня, и я написал эти легкие произведения так быстро и небрежно, что следы этой спешки видны повсюду. Об этом мне писал из Люнебурга и мой брат, который слышал в Гамбурге много отрицательных суждений обо мне. Говорят, например, что я не знаю немецкого языка. Редактор «Познанской газеты», поляк, также утверждал это в своих полемических статьях против меня.

На Рейне и в Вестфалии мои трагедии, по слухам, читают очень многие, но их еще как следует не понимают и не ценят. Тем усерднее там пощипывают мои стихи, на грубость которых по-прежнему все жалуются.

Кричат, негодуя, кастраты,  
Что я не так пою.  
Находят они грубоватой  
И низменной песню мою.

Но вот они сами запели  
На свой высокий лад,  
Рассыпали чистые трели  
Тончайших стеклянных рулад.

---

<sup>1</sup> Он человек был, человек во всем (англ.). (См. комментарии.)

<sup>2</sup> Перевод М. Лозинского.

И слушая вздохи печали,  
Стенанья любовной тоски,  
Девы и дамы рыдали,  
К щекам прижимая платки.<sup>1</sup>

С «Книгой изречений» Руссо и его журналом вы, наверное, познакомились благодаря моему брату. Руссо пишет мне бесконечно много ласковых слов и просит вербовать сотрудников для его журнала. Вот вы и слышите первые звуки барабана вербовщика, и я надеюсь получить через две недели от доктора Христиани для пересылки в Кельн пакетик с прозой или стихами. Прошу вас, принудьте себя разок и вытащите что-нибудь; у вас столько добра под сукном, что если вы захотите, то сможете дать отличные вещи. Пришлите отрывки перевода с датского или статью о Гете. Шлите! Шлите!

В Берлине меня тоже очень приглашали дать поскорее что-нибудь крупное, и я обещал прислать два тома к ближайшей пасхальной ярмарке. Но в запасе у меня еще ничего нет, кроме пустяков; сейчас сижу над большой новеллой, которая мне очень трудно дается. Как только она будет готова, я примусь за трагедию, а потом за одну давно задуманную научную работу. Вот только я слишком еще страдаю головными болями и слишком перегружен юридическими работами. Вскоре я наконец развяжусь с папдектами у старого Мейстера и в этом году надеюсь кончить.

Тогда поэзия пойдет полным ходом, потому что, в сущности, голове моей все лучше и лучше. Индия и средние века меня тоже занимают. Живу совершенно уединенно, замыкаясь от всех. Ведь нет ничего слаще покоя! Это еще Цицерон сказал.

Ваше последнее письмо я получил за полчаса до своего отъезда в Берлин и легко мог бы сослаться на то, что оно пришло слишком поздно и что поэтому я не смог выполнить ваше поручение относительно перевода из Иона; тогда мне не пришлось бы признаваться, что, несмотря на все усилия, это оказалось невозможным. Я напрасно говорил о нем с моими знакомыми книгоиздателями. «Христиани незначителен, — отвечал каждый из них, — его не знают, и вообще я не думаю, чтобы какой-либо берлинский издатель заинтересовался такой устарелой француз-

---

<sup>1</sup> Перевод С. Маршака.

ской рукописью». Я тоже считаю, что выступить в литературе с *таким* переводом совершенно недостойно вас. Дайте-ка лучше что-нибудь стоящее.

Смерть Байрона привела меня в такое смятение, что я не знаю, о чем пишу, и вам трудно будет разобраться в моей вялой тарабарщине. И все-таки я умею хорошо писать по-немецки, если захочу.

Напишите мне, как вам понравился г-н Шпитта. Он неиспорченный юноша, что вам, конечно, по душе, а кроме того, он сочинил тьму песен, романсов, новелл, опер, трагедий и т. д., и когда-нибудь все чувствительные сердца немецких юношей и дев, под сладкие звуки его лютни...

Меня опять прерывают. Будьте здоровы, Байрон умер, скверная погода, работаю с пяти утра, приступ пиетизма, напишите скорее и будьте уверены, что я всей душой остаюсь

вашим другом

Г. Гейне.

## 50. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Геттинген, 25 июня 1824 г.

Милый Мозер!

Сегодня утром я сообразил, что мне печего ждать от тебя письма, покуда я не отвечу на твое письмо от 31 мая, так как, при твоей большой многосторонности, ты все-таки, конечно, филистер. Это досадно; в сущности, мне трудно сегодня писать тебе, потому что ничего определенного сказать не могу, хотя многое и хочет вырваться из моего сердца в каких-то неопределенных звуках. Но пусть черт поберет неопределенность, если только черт не есть сама неопределенность. Я живу здесь по-старому, то есть восемь раз в неделю у меня головные боли, по утрам я встаю в половине пятого и раздумываю, с чего бы мне начать. Тем временем медленно подкрадывается девятый час, и я со своей папкой спешу на лекцию божественного Мейстера. Да, этот малый божествен, он совершенен в своей деревянности, он полная противоположность всему поэтическому и именно поэтому превращается в поэтическую фигуру. И когда материя, о которой он читает, особенно суха и бескровна, тут-то он по-настоящему и воодушев-

ляется. Серьезно, я вполне доволен Мейстером и с его и божьей помощью освобожусь от пандектов.

Кроме того, я много занимаюсь хрониками и особенно много *historia judaica*.<sup>1</sup> Последнее связано с «Раввином», а может быть, отвечает и внутренней потребности. Совсем особые чувства овладевают мной, когда я перелистываю эти печальные анналы, богатые поучением и страданием. Сущность еврейской истории все больше и больше раскрывается передо мной, и это духовное вооружение, конечно, очень пригодится мне впоследствии. Моего «Раввина» я написал только на одну треть, боли самым неприятным образом прервали мою работу, и бог знает, смогу ли я ее скоро и успешно завершить. Работая над «Раввином», я заметил, что совершенно лишен дара повествования. Но, может быть, я несправедлив к себе и всему виною просто хрупкость сюжета.

Описание празднования пасхи мне удалось. Благодарю тебя за пересказ «Агады». И прошу еще прислать мне дословный перевод «Кехи лахма» и маленькой легенды Маасе бе Рабби Лезера. Пришли мне также дословный перевод отрывка из псалма в ночной молитве: «Десять тысяч воинов стоят перед Соломоновым одром». Быть может, я напишу на английский манер, в качестве добавления к «Раввину», несколько листов приложений, которые явятся экстрактом собственных моих мыслей о еврействе и о его истории. Вениамин из Туделы, который странствует сейчас у меня по столу, просит передать тебе сердечный привет. Он хочет, чтобы Цунц когда-нибудь обработал его и выпустил в переводе. Вольный перевод, сделанный французским доктором Витте, лежит передо мной. Но это ниже всякой критики, это смог бы сделать и школьник.

В вопросе о франкфуртских евреях мне очень помог Шудт; я прочел оба тома полностью и не знаю, злился ли я больше на ненависть к евреям, разлитую на каждой странице, или забавлялся скотской тупостью, с какой эта ненависть преподносится. О, сколь мы, немцы, усовершенствовались! Теперь мне не хватает сведений об испанских евреях пятнадцатого века, и особенно об их академиях в Испании того времени, или, вернее, за пятьдесят лет до их изгнания. Где я могу что-нибудь найти? Инте-

---

<sup>1</sup> Еврейской историей (лат.).

ресно, что в том же году, когда их изгнали, была открыта новая страна религиозной свободы — Америка.

Мало поэтической продукции принесет этот год: я почти не пишу стихов, время мое уходит на головные боли и на занятия. Бог знает, кончу ли я в этом году! И да поможет мне бог, если этого не будет. Я ни за что не хочу больше обращаться к дяде с *captationes benevolentiae*,<sup>1</sup> да я и не писал ему уже девять месяцев. Право же, я не такой негодяй, как думают гамбургцы. Твое сообщение о переменах в министерстве вероисповеданий очень меня заинтересовало — ты, конечно, понимаешь, в каком отношении. Но теперь в прусском государстве такая неразбериха, что не поймешь, кто кучер, а кто колюх. Я хотел бы знать, к кому в министерстве я мог бы обратиться по своему делу с надеждой на успех. Об этом мы с тобой говорили еще в Берлине. Время осуществить мои намерения приближается, и я очень и очень прошу тебя помнить об этом. Ты ведь знаешь, что сам я не умею ни обдумывать, ни предпринимать такие шаги, поэтому друзья всегда являлись моими естественными опекунами. Вот если бы у государственного кормила сидели женщины, я был бы достаточно мужем, чтобы сделаться вскоре преуспевающим человеком.

Я никогда не добился бы такого успеха у муз, если бы они не были женщинами. Разумеется, и эти дамы заставляют меня теперь часто чувствовать их капризы, но, право же, они презабавные создания. Эти старые девы в юности были красавицами и пользовались правами гражданства в Афинах, а летом отдыхали на даче в Фессалии и отказывали самым лучшим женихам. Когда же они постарели и весь мир признал афинский *connubium*,<sup>2</sup> никто уже не хотел на них жениться. Они, нищенки, мечутся по всему миру, и одна из них в отчаянии хотела недавно выйти за богатого еврея, который готов был жениться на ней только из тщеславия, но, как я слышал, сватовство расстроилось.

Что подельывает твой визави г-н Норман? Мой дядя Генри Гейне проводит это лето в Пирмонте. Вернулся ли Михаэль Бер из Парижа?

---

<sup>1</sup> Домогательствами милости (лат.).

<sup>2</sup> Брак (лат.).



Ad vosem, <sup>1</sup> Михаэль Бер; не забудь, если он сейчас там, передать ему мой сердечный привет. Скажи ему, что за это время я, конечно, написал бы ему, если бы знал, где его застанет мое письмо. Мне очень хотелось бы узнать у него о Париже, например познакомился ли он с Берне, и получить его адрес.

Роберты, конечно, уже давно уехали. Говорил ли ты еще раз с красавицей?

Я все время с нетерпением ждал тетради Мейстера и прошу поскорей мне сообщить, получу я ее или нет.

Как здоровье (или нездоровье) нашего «Общества»? Не забудь написать об этом. С Гамбургом вы, наверное, совершенно разошлись? Что там нового? Я здесь месяц кряду злился на Ганса — ведь в Берлине у меня на это не было времени. Ну, разве не обидно, что один из самых крупных мыслителей нашего времени так мало думает о себе самом и о своем внешнем виде? Конечно, нехорошо с моей стороны, что я его дразнил, хотя и делал это совершенно безобидно и хотя он сам невольно вызывает на это поддразнивание. Было бы лучше, если бы я говорил ему суровую правду всякий раз, когда он выставлял напоказ свои недостатки и становился притчей в устах целого света. Его друзьям следовало бы всегда так поступать. Еще на днях я слышал такие анекдоты о Гансе, какие следовало бы знать разве только тем людям, которые понимают, как надо ценить его ум и любить его лично. Но свет видит в комете лишь ее хвост.

Леман передаст тебе для меня экземпляр книги Руссо. Ты увидишь, что, против ожидания, в ней много хорошего. В своем журнале он тоже поместил кое-что, заслуживающее похвалы, и, в общем, нельзя отрицать, что он поэт. Кажется, он еще сохранил свое прежнее восторженное отношение ко мне; это тоже очень похвально. Мне безразлично в высшей степени, *правятся* ли мои стихи толпе или избранному кругу, но в данный момент мне небезразлично, что о них пишут, и я отнюдь не снимаю с тебя обещания написать в «Утренней газете». Роберт охотно пристроит статью. Байрон умер, и слово о нем придется теперь кстати. Не забудь об этом; ты сделаешь мне очень большое одолжение: ведь это единственная беллетристическая газета, которую

---

<sup>1</sup> К слову сказать (лат.).

здесь читают. Смерть Байрона меня очень потрясла. Он был единственным человеком, в родстве с которым я себя ощущал, и во многом мы, вероятно, были схожи. Пути над этим сколько хочешь. Я мало читал его в последние годы. Охотнее общаешься с людьми, характер которых противоположен твоему собственному. Но с Байроном я всегда чувствовал себя свободно, как с равным себе соратником. С Шекспиром я совсем не могу общаться запросто — слишком чувствую, что я ему не ровня. Он всемогущий министр, а я только надворный советник, и мне кажется, что он каждую минуту может меня сместить.

Г. Гейне.

### 51. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Геттинген, 20 июля 1824 г.

Дорогой Мозер!

Право, не могу найти достаточно крепкие слова, чтобы пожаловаться на твое молчание. Что тому причиной? В неаккуратности я тебя заподозрить не могу, так как ты аккуратнейший человек нашего века. Дело и не в недостатке дружбы; не так-то легко представить себе, что твой плащ, плащ маркиза Позы, разъела моль времени. Господи боже, ведь не прошло еще и трех месяцев, как мы виделись. Неужели Ганс, который демонстративно заявил Рейнгануму, что не шлет мне поклона, продырявил своей болтовней этот твой прекрасный плащ? Или, может быть, новая философия или какой-нибудь унгеровский тезис занимают тебя так, что ты не в состоянии обо мне думать?

У меня все обстоит совсем иначе! Несмотря на многочисленные мои работы, страдания и осложнения, я постоянно о тебе думаю. Еще этой ночью я видел тебя во сне. В древнеиспанском костюме и верхом на андалузском жеребце, ты ехал среди громадной толпы евреев, которые шли в Иерусалим. Маленький Маркус со своими большими географическими картами и описаниями путешествий шел впереди в качестве проводника. Цунц en escarpins<sup>1</sup> нес наш журнал в красном сафьяновом переплете;

<sup>1</sup> В открытых туфельках (франц.).

докторша Цунц, маркитантка, трусила рядом, с бочонком настоящего ионтефского вина на спине. Это была великая еврейская армия, и Ганс бегал от одного к другому, чтобы наводить порядок. Леман и Вольвиль несли знамена с изображениями щита Давида и тезисов Бендавида. Сахар-Кон вел храмовников. Бывшие мальчишки из «Общества» несли останки Саула Ашера. Все крещеные евреи следовали в качестве военных поставщиков, и множество карет заключало шествие; в одной находились трипперный доктор Оперт в роли полевого врача и Иост, историк предстоящих подвигов, в другой коляске сидел Фридлиндер с г-жой фон дер Рекке; а в одной из роскошнейших парадных карет восседал Михаэль Бер, представляя технические войска, и рядом с ним — Вольф и мадам Штих, дабы незамедлительно поставить «Парию» в Иерусалиме и списать заслуженную хвалу.

Вероятно, я заснул вчера вечером над книгой Банажа.

Ad vosem, Банаж; не могу достаточно выразить свое восхищение этим писателем. Это человек очень одаренный, с глубоким пониманием истории, благородным сердцем, безусловно беспристрастный человек, заслуги которого трудно оценить по достоинству. Я только теперь, когда мне стало ясно, как малы были его средства и как велики усилия, начинаю видеть его заслуги.

Что делает Цунц? Передай ему мой сердечный привет.

Я по горло залез в свою юриспруденцию, и, слава богу, вся эта бесформенная громада постепенно влезает в мою голову. Я очень напрягаю силы, преодолеваю свои боли и не позволяю себе писать ничего поэтического. Мой брат, вероятно, приедет к дню святого Михаила в Берлин; он изучает медицину. Я живу теперь в постоянном страхе из-за предстоящих родов моей сестры. Много вожусь со студентами. В большинстве здешних дуэлей я секундант, или свидетель, или посредник, или, по крайней мере, зритель. Это нравится мне за неимением лучшего. И, в сущности, это все-таки лучше, чем поверхностная болтовня молодых и старых преподавателей нашей Георгии-Августы. Я избегаю этих людей, где только могу. Со старым Эйхгорном я познакомился. Он завербовал меня в сотрудники геттингенского «Ученого вестника» и тут же дал мне на рецензию «Путешествие Арджуны к небу Индры. Из „Махабхараты“» Боппа (Берлин, изд. Вильгельма

Ложье). На днях я получил очень дружеское письмо и от Боппа. Надеюсь, ты прочтешь названное произведение и напишешь мне о нем очень учено и глубоко, и притом как можно скорее, дабы я мог тебя духовно ограбить. Когда рецензия будет готова и напечатана, я хочу, чтобы ты послал ее Боппу и передал ему несколько слов от меня лично. Я пошлю ее тебе в свое время вместе с письмом к Боппу.

Почта уходит, а мне нужно тебе еще многое сказать, например чтобы ты за «Литературной газетой» не забыл об «Утренней».

Будь здоров и напиши мне скорее. Сообщи, пожалуйста, издательству Маурера мой адрес. Ради бога, не забудь об этом, я твердо обещал им сообщить свой адрес и забыл.

Твой истинный друг

*Г. Гейне.*

Скажи Леману, что меня удивляет отсутствие письма от него. Кланяйся от меня Лессману,

## 52. ИОГАННУ-ВОЛЬФГАНГУ ГЕТЕ

Веймар, 1 октября 1824 г.

Ваше превосходительство!

Прошу о счастье предстать перед вами на несколько мгновений. Я не буду докучать вам, я только поцелую вашу руку и уйду. Меня зовут Г. Гейне, я родился на Рейне, с недавних пор живу в Геттингене, до этого несколько лет прожил в Берлине, где встречался со многими вашими старыми знакомыми и почитателями (покойным Вольфом, Фарнхагенами и др.) и где с каждым днем росла моя любовь к вам. Я тоже поэт, и три года назад я имел смелость послать вам свои «Стихотворения», а полтора года назад — «Трагедии с лирическим интермеццо» («Ратклиф» и «Альманзор»). Кроме того, я болен и поэтому три недели тому назад, чтобы поправить свое здоровье, предпринял путешествие по Гарцу. На Брокене меня охватило желание совершить паломничество в Веймар во славу Гете. Я пришел сюда именно как паломник, в точном

смысле слова, пешком, в запыленной одежде. Жду исполнения моей просьбы

и остаюсь с восторженным почитанием  
и преданностью

Г. Гейне.

### 53. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Геттинген, 30 октября 1824 г.

Дорогой Мозер!

Ты, конечно, уже получил мое письмо, которое я написал тебе на прошлой неделе. И все-таки я пишу, не дожидаясь ответа, и хочу просить тебя о дружеском одолжении. Да, к несчастью, я всегда требую от тебя услуг, хотя не имею возможности отплатить за них ничем, кроме братской моей любви. Из этого не следует, что я ценю ее слишком низко. И некрасивый камень имеет ценность, если он своеобразен и редок.

Маркиз! Я снова посягаю на твои знания и твое время. Ты должен написать за меня рецензию на книгу Боппа «Путешествие Арджуны к небу Индры» (Берлин, изд. Ложье). Я обещал прислать ее примерно в этих числах, но на каникулах, в путешествии у меня не было под рукой книги, чтобы написать рецензию, а теперь, когда я хотел за нее приняться, мне мешают непредвиденные препятствия. Я написал свое «Путешествие по Гарцу» уже до половины и не хочу прерывать работу. Я пишу книгу живым, восторженным языком, и, если прерву работу, мне не только будет трудно потом вернуться к такому языку, но и сейчас мне тяжело перейти от этого стиля к сухой, ученой, справочной прозе.

Кроме того, при первой возможности я должен заняться одной диссертацией, лежащей в совсем иной, чем Индия, сфере, и она не позволит мне, человеку, который так легко теряет нить, думать о другой научной работе. А диссертацию эту, которую я пишу для одного из моих друзей, я должен сделать во что бы то ни стало, иначе очень милый человек попадет в отчаянную беду. Очень смешно: ко мне пристают, чтобы я писал за других, а я, в свою очередь, пристаю к тебе, чтобы ты писал за меня; так люди и мучают друг друга по известной системе

Белла—Ланкастера. К тому же, у меня все еще очень болит голова, и я ежедневно слушаю лекции Гуго, Бауэра и Мейстера.

Думаю, этого достаточно, чтобы побудить тебя взяться за работу. Конечно, мне не нужно учить тебя, как писать рецензии. Главное — это спокойное, ясное, толковое изложение. Пусть она будет написана очень основательно, да наспигой ее по возможности новыми мыслями и взглядами об Индии вообще и о книге в частности. Я знаю, тебе будет это совсем нетрудно: стиль — дело несущественное, статья должна быть просто ясной и понятной, и — прошу тебя об этом — пусть она будет готова через две недели.

Если ты не сможешь исполнить мою просьбу, то, пожалуйста, немедленно сообщи мне.

В ожидании ответа остаюсь твоим очень замученным и мучающим другом

Г. Гейне.

#### 54. ФРИДРИХУ-ВИЛЬГЕЛЬМУ ГУБИЦУ

Геттинген, 30 ноября 1824 г.

...Что касается меня, то я все никак не вылезу из старого болота — юриспруденция, головные боли, разные напасти со стороны — vous connaissez cela...<sup>1</sup> Однако не оставляю надежды вскоре блеснуть еще раз в литературе... Пишу эти строки, так как у меня к вам просьба: хочу просить вас, чтобы вы поместили в «Собеседнике» полемическую статью против меня, написанную доктором Петерсом. Дело в том, что этот господин сам просил меня написать вам, так как он опасается, что ваши дружеские чувства ко мне могут внушить вам сомнения насчет того, стоит ли включать в номер его статью, в которой он собирается сказать кое-что резкое в мой адрес. Профессор! Как отстали эти люди от современной цивилизации, они не знают даже, что для поэта нападки часто бывают полезнее, чем похвалы и поглаживание по шерстке...

Ваш  
Г. Гейне.

---

<sup>1</sup> Вам это знакомо (франц.).

Геттинген, 11 января 1825 г.

Дорогой Мозер!

Почему ты не можешь мне написать, не дожидаясь моего письма? Неужели так необходимо ждать, пока я отвечу на твое письмо от 10 ноября? Для этого не надо быть ни гением, ни ослом. Я, который льщу себя надеждой не быть ни тем, ни другим, поступил бы именно так, если бы я был тем Мозером, который сидит на Нойе Фридрихштрассе, д. 48, в первом этаже, в кофторе Фридлиндера, и другом того Гейне, который изнемогает на Еврейской улице, д. 21 на лекциях Гуго. Я не хвастаю, заявляя, что я не осел и не гений. Будь я ослом, меня давно произвели бы, например, в экстраординарные профессора Боннского университета. А что касается гения—о господи, я сделал открытие: все люди в Германии гении, а я, единственный, не гений. Я не шучу, я говорю серьезно.

Мне с трудом дается все то, что постигают самые дюжинные люди. Я поражаюсь, как они удерживают в голове то, что они поняли только наполовину и вырвали из системы знаний, как могут они с чистосердечной миной пересказывать это в своих книгах или со своих кафедр. Того, кто это умеет, я считаю гением. А вместо этого, ввиду редкости их, имя гения дается тем, кто этого не умеет. Здесь заключена великая прония. Здесь основная причина моей гениальности. И это также основная причина моих смертельных мучений с юриспруденцией; именно поэтому я все еще не справился с нею и справлюсь только к пасхе.

Гениальность в поэзии — тоже весьма двойственное понятие. Талант ценнее. Талант нужен для любого свершения. Чтобы быть поэтическим гением, необходимо еще иметь и талант к этому. В этом основная причина величия Гете. В этом и основная причина того, что столько поэтов гибнет, — я, например!

Друг души моей! Душа моего друга! Дружеская душа! Ты видишь, у меня сквернейшее настроение в мире! «Дружеская душа» — нет! Это выражение слишком горько. Никогда не давай мне повода употреблять его. Большинство моих друзей убивали меня дружбой. Разозлились на меня и дай мне почувствовать твою злобу. Слава богу!

я вижу, ты уже сердишься на то, что, вместо определенных слов о моем теперешнем положении, я несу сплошную ерунду. Но я никогда не раздражаю своих друзей долго, поэтому сейчас я кратко сообщу о себе.

Как уже было сказано выше, я напряженно работаю над моей юриспруденцией. Живу, в общем, совершенно отшельником. Меня здесь не любят, и я не знаю, стоит ли добиваться степени к пасхе. Три дня тому назад я написал моему дяде Соломону Гейне, что хочу здесь остаться еще на полгода. Я написал ему решительно и без обиняков. С нетерпением жду его ответа. Как видишь, я не могу сказать определенно, что стану делать в ближайшем будущем. Да это и неважно; самое скверное слишком ясно: а именно, меня мучают невыносимые и притупляющие ум головные боли, например в данную минуту. Пишу я мало, читаю много. Все еще хроники и источники. Не успел я оглянуться, как залез в историю Реформации, и сейчас на моем столе лежит второй фолиант гардтовской «Hist. liter. reformationis»;<sup>1</sup> вчера вечером я с большим интересом прочел в ней сочинение Рейхлина против сожжения еврейских книг. Для изучения истории религии горячо рекомендую тебе «Историю церкви» Шрека, она чрезвычайно основательно составлена. С начала каникул я изглодал уже две дюжины томов этой истории. А ты еще на годы завяз в восточных мифах. Кроме того, я читаю французские водевили.

Свое «Путешествие по Гарцу» я закончил уже давно, в конце ноября, закончил, насколько это было возможно при моей занятости. В прошлом месяце я послал его моему дяде Генри Гейне, чтобы доставить особое удовольствие ему и женщинам. В книге много хорошего, особенно хорош новый род стихов; ее напечатает, как только я получу ее обратно из Гамбурга; она будет иметь успех, но, в сущности, это пестрое лоскутное одеяло. За продолжение моего бедного «Раввина» я теперь взяться не могу. Только изредка удастся мне написать клочок моих мемуаров, и когда-нибудь я сошью все эти клочки. О, лоскутная поэзия! Кроме того, ношусь с идеями множества поэтических и непозетических шедевров. Между прочим собираюсь написать по-латыни сочинение о смертной казни. Разу-

---

<sup>1</sup> «Истории литературы эпохи Реформации» (лат.).



меется, *против* нее. Беккариа умер и уже не сможет обвинить меня в плагиате. Я намерен систематически заниматься кражей чужих идей.

Кланяйся от меня Гансу, по-братски и сердечно. Я часто говорю о нем с Дондорфом (прежде он звался доктором), с которым я здесь встречаюсь. Если он по-прежнему, как ты пишешь, часто бывает у Фарнхагенов, пусть окажет мне услугу и попросит г-на Фарнхагена дать мне домашний адрес Котты. Не забудь об этом и сделай это как можно скорее. Передай от меня сердечный привет Лессману. С индийской рецензией ты меня подводишь, и это просто бессердечно. Книга все еще у меня, но так как я не могу сейчас написать и отослать рецензию, предвижу, что ее очень скоро потребуют обратно. Не можешь ли ты помочь? Если бы ты это сделал тотчас, ты бы меня очень выручил. Все дело сводится только к сухой учености. Газеты до меня совсем не доходят. Об «Обществе» ты мне ничего не пишешь. Кланяйся Цунцу и его жене, а также И. Леману, если ты видишься с ним, и славному Маркусу. Напиши мне поскорее и побольше. Я изнываю по письмам от тебя. Ты знаешь ведь, как мне здесь живется. Если можешь сискать мне благорасположение Гитцига, которого я очень ценю, сделай это. Кланяйся ему от меня при случае. В заключение, прошу тебя, сохрани и ты свои добрые чувства ко мне и верь, что я всей душой

твой друг

Г. Гейне,

Г-на Вейса из Познани я не помню.

Руссо основал теперь в Ахене новый журнал — «Флора».

Меня просят справиться у тебя, в Берлине ли еще доктор Рейнганум,

## 56. ЛЮДВИГУ РОБЕРТУ

Геттинген, 4 марта 1825 г.

Дорогой Роберт! Ввиду того что мне трудно сейчас писать вашей милой жене, а я все же хотел бы сообщить ей о том, что касается ее письма от 18 февраля, я пишу вам, так как вам я могу писать проще,

Скажите же нашей милой турчанке: во-первых, что я люблю вас и ее, во-вторых, что я, конечно, не подведу ее в отношении «Рейнских цветов». Вы не можете себе представить, как тягостно мне будет выполнить это обещание. Не говорю уж о моей антипатии к альманахам вообще, а также о тех опасениях, с которыми мне теперь приходится считаться при каждой строчке, которую я отдаю в печать. Укажу лишь, что из-за головных болей, которые только теперь начинают постепенно исчезать, мне за этот год удалось написать очень мало значительного. Я писал только нечто вроде «Поэзии и правды», что сможет появиться лишь гораздо позднее, и моего «Раввина», который еще не готов даже наполовину и также не предназначен для немедленного обнародования. Самое удачное, что я написал за это время, — это описание путешествия по Гарцу, совершенного мною прошлой осенью, — смесь из описаний природы, юмора, поэзии и наблюдений в стиле Вашингтона Ирвинга, Новелла, которую я начал было для «Рейнских цветов», лежит полузаконченная и вряд ли будет закончена. Я более, чем когда-либо, погряз в своей юриспруденции, ибо хочу покончить с нею в будущем месяце, и поэтому мне приходится теперь заниматься исключительно сводом законов.

Итак, если, как я предвижу, мне не удастся закончить новеллу, то я пошлю вам через пять недель свое «Путешествие по Гарцу», которое составит от трех до трех с половиной печатных листов формата «Рейнских цветов» и которое, я уверен, вы прочтаете так же охотно, как я неохотно его пошлю. Дело в том, что это новое назначение рукописи нарушит некоторые важные для меня расчеты и принудит меня кое-что изменить и выпустить в моей рукописи. Я послал бы ее раньше, если бы мне не пужно было сначала затребовать ее обратно от своих родственников, которым я передал ее для зимнего чтения. Собственно, собирать материал для альманаха уже сейчас безбожно рано. И все же я ответил бы вам еще несколько дней тому назад, но я хотел сперва дождаться письма от Иммермана, которому написал сразу же, настоятельно прося его незамедлительно сообщить мне, хочет ли он дать что-нибудь для «Рейнских цветов» или нет. Но я еще не получил от него ответа, так что мне придется написать вам снова, как только он ответит. Впрочем, я объяснил ему, что

г-н Браун даст ему такой же гонорар за его произведения, как и всякий другой издатель альманахов. Что же касается меня самого, то я припоминаю, что вы предлагали мне гонорар в четыре карolina за печатный лист, когда незадолго до моего отъезда из Берлина приглашали меня сотрудничать в «Рейнских цветах». Поэтому, если мое «Путешествие по Гарцу» будет принято для «Рейнских цветов», то я ожидаю такого гонорара и желал бы располагать им через три месяца после отсылки рукописи. В лучшие времена я не стал бы даже упоминать об этом. Но они станут лучше!

Ваша новая комедия, говорят, является Вальпургиевой ночью остроумия. Она еще не попадалась мне в руки; тем более наслаждался я, дорогой Роберт, вашими ксениями в «Рейнских цветах». Они всё еще звучат у меня в голове. Они несравненны, и все ими восхищаются и восторгаются. Я с удовольствием узнал от вашей жены, что вы прилежно пишете. Право, если вы будете хорошо себя вести, вы еще, пожалуй, можете стать знаменитостью. Даже в Геттингене вас начинают знать, а этим немало сказано! Так, например, мой друг, великий Сарториус, у которого я сегодня вкусно поужинаю, с большим жаром осведомлялся об авторе посланий к Тику и «Празднования дня рождения Гете».

Из Берлина ничего не слышно, кроме того, что туда приедет Вальтер Скотт, чтобы впитать в себя новые красоты природы и лично познакомиться с Клауреном.

Поддельной турчанке передайте от меня самый сердечный привет. Скажите ей также, что я не получал от нее никакого письма, «которым она, пожалуй, могла бы даже гордиться», если только она не имела в виду делового письма, посланного ею в мае прошлого года из Берлина. Объясните ей также, что значит готовиться к диспуту на соискание степени в эпоху деканства рыцаря Гуго, и если она это поймет, то поймет также и то, как возможно человеку не ответить прекраснейшей женщине в Европе на ее очаровательнейшее письмо.

Но времена станут лучше!

К одиннадцати человекам, которых я люблю, принадлежат г-н и г-жа Роберт, а я остаюсь вашим

страдающим от недостатка времени

*Г. Гейне,*

## 57. ЭДУАРДУ ГИТЦИГУ

[Геттинген, март (?) 1825 г.]

Ваш совет распротиться с юстицией я обдумаю. Но сперва я сдам экзамены, чтобы лето у меня было совсем свободно для моих любимых занятий и здоровья. В Берлин я хочу приехать в начале зимы и там как следует потрудиться в области поэзии и публицистики. Поклонитесь от меня Фуке, Шамиссо и...

## 58. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Геттинген, 1 апреля 1825 г.

Дорогой Мозер!

Очень мило с твоей стороны, что ты еще не совсем меня забыл. Я мало интересного сообщаю о себе моим друзьям, и при моей угрюмости или, вернее, при нынешнем моем состоянии не было бы ничего сверхъестественного, если бы все они постепенно от меня отвернулись. Я этим ровно ничего не хочу сказать, потому что, ей-богу, я в настоящий момент не способен думать ни о чем другом, кроме своих физических страданий. Они очень мучили меня в течение двух последних недель, почти так же, как я мучаю своих друзей постоянным упоминанием об этих страданиях. Главная цель этого письма — рекомендовать твоему вниманию моего брата, который собирается поехать в Берлин изучать медицину. Лучшее, что ты можешь для него сделать, это познакомить его с толковым медиком, который указал бы ему, что слушать, а также с хорошим экономистом, который бы ему сказал, как поэкономнее прожить в Берлине. Познакомь его также с Цунцом и Гансом, а если захочешь, то и со старым Фридлендером. Брат еще настолько молод, что сможет с восхищением гутировать его. Прошу отрекомендовать его и Хильмару. Мой брат — порядочный, усердный человек, внешне не очень привлекательный, весь начиненный греческими и римскими авторами; его нужно особенно оберегать от эстетики, венерических и других заразных болезней.

Уж раз я взялся за рекомендации, то хочу заново отрекомендовать тебе самого себя. Не оставляй меня,

потому что вряд ли ты найдешь еще такого друга, который дал бы тебе столько поводов проявить дружеское терпение и заботу, как я. Право, это так, мой дражайший, милый маркиз!

Мое положение внешне не очень изменилось. Я трудился всю зиму над юриспруденцией; было много здоровых дней, и если бы в данный момент у меня не было столь тяжелого рецидива боли, то я бы уже теперь подал заявление о готовности к диспуту на соискание степени. Но в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, об этом нечего и думать, а это тем печальнее, что после получения степени я хотел много писать, между прочим закончить «Раввина», который лежит на моей душе стопудовой тяжестью. Это самое бескорыстное мое произведение будет и самым удачным.

У меня есть надежда хорошо поправиться за это лето, мой врач очень старается, и я тоже. Много денежных расходов и глотанья невкусных медикаментов!

Мой дядя в Гамбурге прибавил мне еще полгода. Но все, что он делает, совершается малоприятным образом. Я ему до настоящей минуты еще не ответил, потому что мне претит показать ему, как нелепо и гнусно ему клеветают на меня. Из отвращения я и сейчас обхожу эту гниющую тему. Если буду здоров, у меня хватит силы все изменить; а до тех пор я запасусь терпением.

Робертам в Карлсруэ я написал. Я хочу отдать свое «Путешествие по Гарцу» в «Рейнские цветы». Поэтому я затребовал его обратно от моего дяди Генри Гейне, которому я его послал, и как только получу его, отошлю в Карлсруэ. Прежде я намеревался передать его в «Утреннюю газету» и собирался написать об этом Котте. Я неохотно отдаю его в «Рейнские цветы», — альманахи мне в высшей степени противны. Но я не умею отказывать красивым женщинам. В сущности, мне противна вся наша нынешняя литература, и поэтому я больше ношусь с замыслами книг, рассчитанных на будущее (например, начатый «Фауст», мои мемуары и тому подобное), чем таких, которые пригодны для современности. Мне отвратительна современность с ее хвалой, а еще больше — с ее хулой. А моя внешняя зависимость от этой современности — самое для меня неприятное.

О том, что думает Иммерман и каковы его дела, я лучше всего могу тебе сообщить, передав тебе его последнее пись-

мо. Но прошу тебя, не показывай его никакому третьему лицу, в особенности из-за его суждения о Роберте. Я еще не читал его «Райской птицы», но я знаю «Кота в сапогах» Тика, с которым у нее, по-видимому, есть излишнее сходство.

Михаэль Бер в Берлине? У меня к нему есть пустяковое поручение.

Если то, что некий Петерс написал обо мне в «Собеседнике», тебе хоть сколько-нибудь понравилось, то мне очень жаль — жаль тебя. Это пошлейший и нелепейший человек на белом свете, осел под изюмным соусом, которого я иногда дурачу на потеху и радость моим друзьям. Но самое восхитительное в том, что этот субъект судит о моих произведениях, да еще в печати, как он мне часто грозил; а я ему охотно это разрешал, даже поощряя его; например, по его просьбе рекомендовал его Губицу. Право, нужно иметь в теле изрядную дозу мышьяка ироники, чтобы не злиться на претензии и глупое хамство подобного субъекта и соглашаться на то, чтобы за тебя отомстили таким способом публике. Что касается последней, то она ниже всякой критики.

Будь здоров. Я кончаю, потому что кончается бумага. Следующий раз напишу побольше и, наверно, настроение станет лучше. При случае передай от меня привет советнику юстиции Гитцигу; вероятно, он недавно получил от меня привет через Мюллера.

*Г. Гейне.*

## 59. ФРИДЕРИКЕ РОБЕРТ

Геттинген, 15 мая 1825 г.

Прекрасная, добрая!

Наконец-то, наконец я уже настолько отделался от своих юридических мытарств, что мне бы можно написать вам длинное, хорошее письмо. И, однако, это не получается, ибо не успею я сбросить с себя одну обузу, как на меня обрушивается другая, и для того чтобы написать по-настоящему, мне пришлось бы дожидаться благоприятного часа, а время не ждет, поскольку я не могу дольше откла-

дывать отсылку своей рукописи. Да удостоится она вашего одобрения! Я насколько возможно окорнал ее для «Рейнских цветов». Многое мне пришлось вычеркнуть; а для заполнения некоторых пробелов, особенно в конце длинных стихотворений, мне не хватило свободного времени. Но это незаметно. Если пародия на балет покажется чересчур резкой, то я охотно разрешаю выбросить все, что с этим связано и что я отчеркну карандашом. Если по аналогичным соображениям политической необходимости понадобится опустить какое-нибудь другое место в моей рукописи, то я прошу заполнить этот пропуск обычным пунктиром. Прошу, однако, редакцию «Рейнских цветов» сверх этого ни в коем случае не допускать в моем «Путешествии по Гарцу» никаких самовольных изменений или пропусков по эстетическим соображениям. Поскольку оно написано в субъективном стиле и появится в свет с моим именем, что возлагает на меня ответственность как на человека и поэта, то я не могу столь же равнодушно терпеть чужой произвол, как это делают по отношению к анонимным стишкам, которые часто сокращают наполовину. Но чтобы все же предоставить некоторое поле действия дружеским стараниям, я укажу, что в моей рукописи можно найти некоторые легко исправимые описки; по крайней мере, так мне сказал приятель, только что прочитавший ее, а у меня нет сейчас ни времени, ни охоты для нового просмотра. При сем прилагаю также шесть новых песенок в старом стиле, обозначенных только моим инициалом (...e); из них мне до некоторой степени нравятся три первые, а три последние гораздо меньше; их можно будет вычеркнуть, и, может быть, я с этой целью их и вписал.

Стихи в моем «Путешествии по Гарцу» — великолепная новинка. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь. Мне было бы очень жаль, если бы моя рукопись не оправдала ваших ожиданий, не ради меня самого, а потому, что мне бы очень хотелось, чтобы ваши желания были выполнены. В этом случае, или если вы за это время получите другое, лучшее произведение либо не сможете дать напечатать мою рукопись из-за моих собственных указаний, я желал бы, чтобы вы без большого промедления переслали мне ее обратно по почте в Геттинген доплатным письмом. Я с удовольствием послал бы вам хорошую новеллу, но это не удалось;

да будут музы ко мне благосклоннее в будущем году! А теперь дополнительно еще одна просьба: в случае, если мое «Путешествие по Гарцу» удостоится напечатания в «Рейнских цветах», то я хотел бы, чтобы мне как можно скорее послали за мой счет по почте несколько оттисков «Путешествия» и четыре полных экземпляра «Рейнских цветов», содержащих «Путешествие», по адресу: Г. Гейне, у Герольда и Вальштаба в Люнебурге.

А теперь признайтесь, прекрасная, добрая, — разве вы не сделали только что вполне естественное замечание, что люди, которые в жизни вообще кажутся вполне покладистыми и непритязательными, становятся весьма тщеславными и трудными, как только к ним обращаются как к поэтам? Но к чему это я, проницательный глупец, рассказываю это поэтессе и жене поэта? А что пишет этот поэт? Трагедии или комедии? Папавианов или мамавианов? Мужу мадам Роберт нелегко, должно быть, писать трагедию. Бедный счастливец! Не успеет он яростно пахмурить чело в трагической серьезности, как ее рассеивает ласковая улыбка прекрасной супруги, и он раздраженно хватается за чулок, который она вяжет, вместо меча Мельпомены.

Здесь все тихо и безрадостно, ни одного красивого лица, и я живу, зарывшись в научные занятия. Доктор Ганс, побывав здесь проездом, прервал их на несколько дней. Он будет иметь счастье, мадам, увидеть вас во время своего путешествия. О Берлине я слышу мало. Еще меньше о тамошней литературе. Ганс сказал мне, что наш «Пария» все еще вызывает большое сочувствие. Времена такие плохие, все люди жалуются, и со стороны наших правительств очень политично, что они повсеместно поощряют постановку «Парии», дабы мы видели, что в Индии есть люди, которым приходится еще больше страдать и переносить, чем нам, немцам.

Почта уходит, и это вынуждает меня писать быстрее.

Я теперь сдал свой юридический экзамен; если буду здоров, то диспут состоится в будущем месяце, и когда вы мне напишете в следующий раз, то мой адрес будет: доктору прав Г. Гейне из Дюссельдорфа, в Геттингене. В середине августа я, наверно, покину этот город и поеду ненадолго в Люнебург, а потом в Берлин. Там я пробуду долго и буду изучать Клаурена. А вы с Робертом не приедете



ли туда опять в скором времени? Приезжайте, сделайте что-нибудь для бедной Бранденбургской марки, иначе мы погибнем от засухи и превратимся в прах, прежде чем умрем. Но главное, будьте здоровы, поцелуйте от меня Роберта и скажите ему, что я очень люблю его и его жену. Остаюсь, мадам, вашим преданным

*Г. Гейне.*

## 60. РУДОЛЬФУ ХРИСТИАНИ

Геттинген, 26 мая 1825 г.

Дорогой Христиани!

Если во всем христианском мире существует человек, имеющий основания быть мною недовольным, то это доктор Христиани в Люнебурге. Чего вам еще нужно после столь откровенного признания? Раскройте «Каролину» и назначьте мне наказание. Оно не будет слишком суровым. Во-первых, я знаю, что все еще нахожусь у вас в большой милости, во-вторых, вы знаете, или, вернее, чувство собственного достоинства подсказывает вам, что я часто о вас думаю, что вообще писание писем — совсем особая статья и что часто полудрузья или даже мнимые друзья пишут друг другу ежедневно, а истинные — только изредка. Иногда даже и вовсе не пишут. О последнем можно было бы написать длинное и очень скорбное ученое рассуждение.

Однако я не стану ссылаться на все это. Оправданием мне служит только мое скверное физическое состояние и его влияние на мое настроение. Я болел всю зиму, а теперь страдаю постепенным выздоравливанием.

Прошлым летом здоровье мое тоже не было блестящим, и, кроме того, на мне тяжелым грузом лежали пандекты. Моим отдыхом были холодные ванны, изучение хроник, скандалы, Шекспир, сад Ульриха, а также кое-какая собственная пачкотня в области литературы. Правда, она была очень незначительна: работа над одной из частей мемуаров, начало романа и несколько маленьких, задиристо твякующих, коварных стихотворений. Осенью я пешком путешествовал по Гарцу, исходил его вдоль и поперек, посетил Брокен и Гетс, — последнего на об-

ратном пути через Веймар. Путешествовал я через Эйслебен, Галле, Иену, Веймар, Эрфурт, Готу, Эйзенах и Касель и оттуда вернулся сюда. Много прекрасного видел я по пути, долины Боде и Зельке останутся в моей памяти. При умелом хозяйничании я всю жизнь смогу украшать свои стихи деревьями Гарца.

Вид Гете испугал меня до глубины души: желтоватое лицо, лицо мумии, тревожно шевелящийся беззубый рот, вся фигура — воплощение человеческой дряхлости. Может быть, это следствие его последней болезни. Только глаза его были ясными и блестящими. Этот взор — ныне единственная достопримечательность Веймара. Меня тронуло глубоко человеческое беспокойство Гете о моем здоровье. Ему говорил о нем покойный Вольф. По многим чертам узнал я того Гете, для которого жизнь, ее украшение и сохранение, да и вообще все чисто практическое является наиболее существенным. Тогда впервые я совершенно ясно почувствовал, как эта натура противоположна моей собственной, которой все практическое отвратительно, которая, в сущности, мало ценит жизнь и могла бы наперекор всему отдать ее за идею. Внутренний разлад мой в том и состоит, что мой рассудок находится в непрерывной борьбе с врожденной склонностью к энтузиазму. Теперь я совершенно точно знаю, почему произведения Гете меня всегда отталкивали в глубине души, хотя и я преклонялся перед их поэтичностью и хотя мой обычный взгляд на жизнь почти совпадал с гетевскими воззрениями. Итак, я нахожусь в состоянии настоящей войны с Гете и его произведениями, подобно тому как мировоззрение мое воюет с моими врожденными склонностями и тайными движениями души. Но не тревожьтесь, милый Христиани; война эта никогда не проявится, и я всегда буду принадлежать к гетевскому полку волонтеров, и все, что я напишу, всегда будет возникать на почве артистического благоразумия, а не бешеного энтузиазма.

Итак, повсюду ты известен людям,  
А прошлого мы повторять не будем.<sup>1</sup>

Занятно, что всегда и везде, даже в Люнебургской степи, я попадаю к заядлым гетеанцам. К ним принадлежит и Сарториус с женой, которую в просторечии кличут

<sup>1</sup> Перевод Е. Эткинда.

«одаренной особой»; с ними я здесь преимущественно и общаюсь. Я привез им привет от Гете, и с этих пор я вдвойне мил им. Гетеанцы встречаются даже среди студентов.

В Касселе я побывал несколько раз, разыскал там Штраубе и Гакстхаузена. Последнего — только прошлой осенью, па обратном пути с Гарца. «Сова сидела и пряла». Мы очень много говорили о вас и о старых временах «Волшебной палочки». Гакстхаузен совершенно прокис, стал сельским дворянчиком, одет ультрамодно, и, как мне кажется, я ему поправился. Он был со своей сестрой, или, вернее сказать, высокородной сестрицей, в гостях в Касселе.

Штраубе там прокуратор Гессенского курфюршества. Он тоже женат и тоже прокис. С прошлого лета мы много раз виделись по целым суткам. Мы ощущаем большое удовольствие, смотря друг на друга, вспоминая о старых временах и болтая об общих друзьях. Он вас очень ценит, милый Христиани, и многого от вас ожидает, мне пришлось немало ему о вас рассказать. И все-таки он прокис; побеги, обещавшие когда-то так много, задавлены кипами актов и ленью, а то хорошее, что в нем еще шевелится в хорошие минуты, пожирает огромная женщина, которой он себя нагрузил и которая в своем белом платье имеет сходство скорее с конем бледным из Апокалипсиса, чем с музами Геликона.

Мной и моей поэтической продукцией Штраубе чрезвычайно доволен. И даже (о чудо!) он в восторге от «Альманзора».

Свое «Путешествие по Гарцу», я, как вам известно, написал еще в начале этой зимы. Но, к сожалению, едва довел его до половины, потому что, как, впрочем, и всю зиму, я чувствовал себя чрезвычайно плохо. Когда я вспоминаю, в какое мрачное время написан этот фрагмент, я начинаю сомневаться, вышло ли из него что-нибудь путное. Я послал его в южную Германию, и, если он не опоздал, то будет напечатан в «Рейнских цветах». По совести говоря, я очень боюсь вашего суда, и в глубине души мне хочется, чтобы этот опус никогда не попадался вам на глаза. Вы найдете в нем много старых острот, пестро перемешанных с плохими новыми, небрежную, нехудожественную прозу, беспомощное изображение природы, неудавшиеся восторги. Однако — и на этом я твердо стою — стихи там божественны.

Этой зимой, дорогой Христиани, я страдал ужасно. Мне было очень плохо. До отчаяния плохо. Я жил среди болей и лекарств. Теперь мне лучше, но я все еще очень болен, ужасно измучен страданиями этой зимы и поэтому все еще никак не могу двинуться отсюда. Только не говорите об этом моим родителям. Несмотря на трудные условия, я все-таки много сделал, преимущественно в области юриспруденции, так что 3 мая, в *правление декана Гуго*, я рискнул держать экзамен. Все сошло прекрасно, и теперь у меня одним камнем на душе меньше. Этот камень, заставлявший меня непрестанно зубрить, и болезнь мешали мне написать. Ну, теперь я оправдался перед вами.

Через шесть недель состоится диспут, а затем я серьезно подумаю о приезде в Люнебург.

Мне очень больно, что я лишен удовольствия свидеться там с моей сестрой.

Из Берлина ко мне долетает очень много заманчивых звуков. Вероятно, они снова завлекут меня туда.

Кланяйтесь от меня Шпитта, если он еще в Люнебурге. Он человек, не лишенный поэзии, и я его уважаю. Вопрос теперь только в том, что из него получится. Однако думаю, что в нем таится нечто более значительное, чем весенняя песенка, наигранная на мальчишеской дудке. Что касается его безносого друга Петерса [рисунок: голова без носа с очень длинными ушами], мне хотелось бы как следует помистифицировать вас, дорогой Христиани, но я слишком вас люблю. Поэтому признаюсь вам честно, что это один из забавнейших скотов, порожденных нашим временем. Он всегда при мне, я держу его на потеху себе и своим друзьям. Он точь-в-точь осел, бряцающий на лютне. Но с каким чувством собственного достоинства и с какими претензиями! Его песенки, правда, не обладают особой ценностью, но они и не вовсе плохи, и это придаст забаве особую соль. Он в высшей степени чванлив, падут сознанием своей поэтической значимости, ужасно слабо-волен, но разыгрывает отчаянного демагога, слащаво сентиментален и одновременно сух и рассудочен, вечно живет в цветах и цветении, но воняет, как пудель курляндца. Так он вполне заслужил мои постоянные мистификации: сегодня я хвалю его стихи и привожу его в восхищение, а завтра оскорбляю в нем немецкого патриота и всячески треплю его поношенную пошлую мораль:

Прошлой зимой Пстертс доставил нам божественное развлечение, когда, попав на попойку, он, не дожидаясь приглашения, прочел свои стихи десятку почти незнакомых ему людей, которые, впрочем, уже слышали о нем; в ответ раздался взрыв смеха, дикая критика и еще более дикие замечания, и высмеяли его также самым диким образом. Разумеется, он ничего не заметил, по обыкновению довольный самим собой и тем, что ему представилась возможность читать. Он мнит о себе невесть что, считая, что творит в согласии со своими взглядами на искусство. Его тщеславие доходит до того, что, как он мне однажды вполне серьезно рассказывал, он во сне был в гостях у Гете и имел удовольствие слышать, как Гете восторженно хвалит его стихи.

Его статья обо мне в «Собеседнике» очень меня позабавила, хотя некоторые и думают, что я ею глубоко задет. Все же, если говорить правду, этот субъект заслужил хорошую порку. Но не хочу больше говорить об этом, — уж если таким людям, как Христиани, не противно подобное ничтожество, — что же говорить мне?

Будьте здоровы, старый вождь «Волшебной палочки». Дайте как-нибудь знать о себе, напечатайте что-либо поскорее, чтобы дать пищу критической деятельности петерсов и чтобы я мог от всей души посмеяться. В самом деле, скажите, издаете вы что-нибудь? И не могу ли я чем-либо помочь ускорить печатание? Можете располагать мною совершенно.

Бумага кончается, и я могу еще только сказать, что люблю вас.

*Г. Гейне.*

## 61. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Геттинген, 1 июля 1825 г.

Милый Мозер!

Письмо твое от 11 числа прошлого месяца я получил и с радостью заключил по его тону, что у тебя хорошее настроение. Я живу неплохо. Голова моя постепенно поправляется, и я делаю все, что для этого нужно. Снял себе домик в саду, по вечерам гуляю среди розовых кустов, а по утрам, в три четверти шестого, меня будят соловьи. Конечно, лучше, когда это делают соловьи, чем

чистильщики сапог. Затем я работаю так усердно, как только возможно, над юриспруденцией, историей, «Раввином» и т. д. Последний подвигается медленно, каждую строчку приходится отвоевывать, и все же что-то неумоимо влечет меня вперед, так как я уверен, что только я могу написать эту книгу и что создание ее — дело нужное и угодное богу. Но довольно об этом, иначе эта тема, чего доброго, доведет меня до кокетничанья и хвастовства величию собственной души.

Хотя Цунц уже раз сообщил мне через тебя, где находилась лучшая школа испанских евреев в XV столетии, — оказывается, в Толедо, — я хотел бы знать, относится ли это также и к концу XV века? Он назвал также Севилью и Гранаду, но, мне кажется, я читал у Банажа, что школа уже раньше была изгнана из Гранады. Как я тебе писал, мне хотелось бы узнать об Абарбанелях кое-что такое, чего я не могу почерпнуть из христианских источников. Вольф привел все эти источники в своей «Библиотеке». Багл скуден. Шудт тоже недостаточно систематичен. Бартолуччи я еще не читал. Мало, до странности мало пишут испанские историки о евреях. Вообще здесь тьма египетская.

К концу года думаю закончить «Раввина». Это будет книга, которую Цунцы всех веков назовут *источником*.

Повторяю еще раз, ты можешь не торопиться с чтением моего «Путешествия по Гарцу». Я написал его из денежных и прочих соображений. Может быть, тебя позабавит некролог Саулу Ашеру, который ты в нем найдешь. Я напишу в ближайшее время в Карлсруэ, чтобы они за мой счет послали несколько экземпляров «Рейнских цветов» с моим «Путешествием по Гарцу», а также и гонорар за него по твоему адресу в Берлин. Я нахожусь в большом денежном затруднении, но, по легко понятным тактическим соображениям, не могу требовать от дяди денег, покуда не представлю ему своего докторского диплома. Если ты расположен, дорогой Мозер, одолжить мне немедленно десять луидоров, ты окажешь мне величайшую дружескую услугу. Из денег, которые ты получишь для меня из Карлсруэ, а их будет почти вдвое больше этой суммы, ты сможешь вернуть себе мой долг через два-три месяца. Это будет мне чрезвычайно удобно. Кроме того,

порукой будет мое честное слово, и я поручился бы еще большим, если бы не боялся обидеть тебя своим недоверием к твоему доверию. Все же, признаюсь, хотя мне известно, что ты слишком хорошо знаешь себя и меня, чтобы не знать, что ты не рискуешь, одалживая мне деньги, и хотя мне известно, что ты охотно помогаешь, я предпочел бы занять деньги у кого-нибудь другого, если бы не был сейчас так расстроен, одинок и подавлен. Поэтому прошу тебя возможно скорее прислать мне десять луйдоров. Лучше всего, по-моему, почтой, банкнотами.

Когда я напишу дяде, я попрошу денег и для поездки на воды и, если эта просьба будет уважена, приеду в Берлин раньше, чем полагал.

Ты ничего не потерял от того, что я не писал тебе о Гете, о том, как мы поговорили с ним в Веймаре, как он высказал мне много приветливых и снисходительных слов. Ныне он уже только оболочка, под которой некогда цвело прекрасное содержание, а только последнее меня и интересовало в нем. Он пробудил во мне грустное чувство и стал мне милее с тех пор, как я пожалел его. Но, по существу, мы с Гете натуры, которые в силу внутренней противоположности взаимно отталкиваются. Он по природе своей легкий, жизнерадостный человек, для которого самое высшее — наслаждение жизнью и который иногда, правда, чувствует и догадывается, что значит жить ради и во имя идеи, и выражает это в поэзии, но никогда не понимает ее глубоко и, конечно, не живет ею. Я, напротив, по природе энтузиаст, то есть предан идее до самопожертвования и всегда стремлюсь погрузиться в нее. Но в то же время я понимаю и наслаждение жизнью, я нахожу в нем удовольствие, и тогда во мне возникает великая борьба между моей ясной разумностью, которая ценит жизненные блага и отменяет как глупость все жертвенное воодушевление, и склонностями мечтателя, которые зачастую внезапно вырываются и охватывают меня с отчаянной силой и когда-нибудь низведут, или, лучше сказать, *вознесут* меня вновь, в свое древнее царство. Ведь еще большой вопрос, не живет ли энтузиаст полнее и счастливее в тот единственный миг, когда он отдает за идею самую жизнь свою, чем г-н фон Гете в течение всей своей семидесятишестилетней эгоистически спокойной жизни.

В другой раз поговорим подробнее об этом. Сегодня у меня голова совсем не работает от несказанных трудов. Да, эту тему ты найдешь и в «Равнине».

Сафир, о котором ты говоришь, кажется еще очень мало отшлифован. Я недавно читал одну его безделку в «Собеседнике». Острота, взятая сама по себе, вообще лишена ценности. Остроту я готов принять только тогда, когда она покоится на серьезной основе. Поэтому так потрясают остроты Берне, Жан-Поля и шута в «Лире». Обычная же острота — просто умственное чихание, охотничья собака, которая гонится за собственной тенью, обезьяна в красной куртке, гримасничающая между двумя зеркалами, ублюдок, зачатый среди улицы, на ходу, безумием и мыслью. Нет! Я выразился бы еще более ядовито, если бы не вспомнил, что мы с тобой по временам сами опускаемся до острот. К письму я приложил стихотворение из «Путешествия по Гарцу». Прошу тебя не показывать его никому из наших друзей, даже моему брату. У меня имеются серьезные основания для такого запрета.

Во всяком случае, жду, что ты сразу же напишешь мне. Мой адрес: Г. Г. студенту-юристу из Дюссельдорфа; живет в саду ректорши Зейферт, у ворот Альбани.

Твой друг  
Г. Гейне.

## 62. РУДОЛЬФУ ХРИСТИАНИ

[[Люнебург,] 10 октября [1825 г.].

Не могу еще выходить и поэтому прошу вас прислать мне «Вертера», или Бенвенуто Челлини, или еще что-нибудь, или «Одиссею», или Шлегелеву «Историю литературы», или вторую часть журнала Шубарта. Я совсем раскис.

Ваш друг  
Г. Гейне.

Гамана, Сегюра и «Дельфинку» возвращаю. Последняя мне не нравится. Образов нет.



### 63. ФРИДЕРИКЕ РОБЕРТ

Люнебург, 12 октября 1825 г.

Прекраснейшая, добрейшая, очаровательнейшая!

Я солгал бы, если бы в принятых среди друзей гиперболических выражениях написал вам, что время, которое я не видел вас, показалось мне тысячелетием и что я горю нетерпением увидеть вас вновь. Наоборот, мне кажется, что я покинул вас только вчера, даже, сказать по правде, я не чувствую, что нахожусь не рядом с вами: ведь передо мной все еще как живая стоит прекрасная поддельная турчанка, во всей ее прелести и очаровании. Не считите, ради бога, это довольство воспоминаниями признаком ленивого чувства или недостатка чувств, — просто таков уж я, хвала богам!

Я вообще не написал бы вам, прекрасная, если бы не несчастный альманах. Он так долго не появляется, и я уже начинаю думать, что он, быть может, и вовсе не появится. Для меня это было бы теперь в высшей степени неприятно, так как мое «Путешествие по Гарцу», полное разнообразных злободневных намеков, следует печатать, пока оно не утратило своей актуальности. Неохотно, и только потому, что повелле моей не хватало окончания, я решился напечатать «Путешествие по Гарцу» в альманахе, который появится лишь осенью. Прибавлю еще, что я пишу очень мало вещей, интересных для современности, и уж если я изредка высиживаю что-нибудь в этом роде, то разные семейные и общественные соображения заставляют меня не откладывать опубликования этих вещей. Наконец, некоторые сомнительные друзья (интимные враги, сказал бы Роберт), имевшие в руках «Путешествие по Гарцу» и списавшие из него отрывки, могут сыграть со мной шутку, напечатав их в искаженном виде. Но, право, я упоминаю обо всем этом не потому, что сержусь, а потому, что хочу избежать упреков в мелочном беспокойстве по пустякам. И если я все же сейчас сердит, то, конечно, не на милую, прекрасную Роберт, а на самого себя и на нашего Людвига Роберта, «Райскую птицу» которого я наконец прочел. Друг мой доктор Христиани, местный житель, ученейший муж во всем королевстве Ганноверском, рекомендовал мне ее, разразившись восторженными похвалами; я прочел ее на прошлой неделе и не пришел в восторг.

Говорю это вам и Роберту, но ни за что не выскажу этого посторонним. Они и представления не имеют о том, чего мне не хватает в этой вещи, и как раз то, что мне в ней не нравится, радует их больше всего. Но вам, — оглянитесь-ка, нет ли в комнате кого-нибудь, кроме Роберта, — вам я откроюсь. Незадолго до чтения «Райской птицы» я узнал совсем других птиц, а именно «Птиц» Аристофана. Возможно, прекрасная, что вы еще никогда о них не слышали или слышали мало верного. Даже мой учитель, человек до того тонкий, что он мог бы пролезть сквозь игольное ушко, А.-В. Шлегель в своих лекциях о драме высказал о них непростительно поверхностное, неверное суждение, объявив эту пьесу веселой, причудливой шуткой: там, мол, слетаются птицы, строят воздушный город и отказывают в покорности богам и т. д., и т. п. Но в этом произведении заключен глубокий, гораздо более серьезный смысл, и в то время как оно страшно потешало экзотерических кехенейцев (что значит афинские ротозеи) фантастическими образами, шутками, остротами и намеками, хотя бы на тогдашних послов, эзотерический читатель (то есть я) открывает в этом произведении грандиозное мировоззрение. Я вижу в нем подлинную трагедию, противоборствующее богам безумие людей, и она тем трагичнее, что безумие в конце концов побеждает и оно счастливо в своей иллюзии, будто воздушный город действительно существует, будто безумие покорило богов и добилось всего, даже обладания всепокоряюще прекрасной Базилеей.

Отлично знаю, прекрасная, что вы все еще не понимаете, чего я, в сущности, хочу, и если даже вы прочтете топорный фоссковский перевод «Птиц», вы все-таки ничего не увидите, потому что никто на свете не может перевести эти безмерно сладкозвучные, штурмующие небо дерзкие хоры птиц, эти по-соловьиному ликующие, пьяняще-победные песни безумия.

И все-таки я должен был все это написать, чтобы вы не рассмеялись мне в лицо, когда я скажу: «Райская птица» Роберта, в сущности, не трагедия». «Неслыханное требование! Комедия должна быть трагедией!» — слышу я ваше удивленное восклицание. Но Роберт становится серьезным. Он знает, что я не предъявляю такого требования к легкой, разговорной французской пьесе, но что оно вовсе не неуместно, если речь идет о романтической комедии. Он очень

хорошо понял различный характер этих обоих видов комедии, а именно то, что романтическая комедия совершенно отрывается от земли и дерзко парит в воздухе; ведь древнее народное предание рассказывает, что у райской птицы нет ног и она не может ходить по земле. Это вполне уместно привести в похвалу и «Райской птице» Роберта, но в ней отсутствует грандиозное мировоззрение, которое всегда трагично. Его нельзя заменить воззрением на мир подмостков, театрального убожества и убожества правов в придачу. Это могло бы послужить материалом для традиционной разговорной комедии, но не для комедии романтической. Каким значительным и удачным кажется по сравнению с этим «Павиан», настоящая аристофановская комедия! В нем более глубокое мировоззрение, и он, по существу, трагичнее самого «Парии». Как бы громко ни смеялись вначале над Павианом, который горько жалуется на притеснения и обиды со стороны привилегированных существ, однако при более глубоком взгляде нас потрясает жуткая правда, мы видим, что жалоба эта, в сущности, справедлива. Именно в этом и заключается прония, которая всегда является главным элементом трагедии. Все самое чудовищное, самое ужасное, самое страшное можно, дабы не сделать его непоэтическим, изобразить только под пестрой одеждой смешного, как бы смягчая и примиряя смехом. Поэтому в «Лире» Шекспира самое жуткое говорит устами шута, поэтому и Гете выбрал для самого страшного материала — для «Фауста» — форму кукольного представления, поэтому еще более великий поэт («прапоэт», как говорит Фридерика), именно наш господь бог, всыпал во все страшные сцены этой жизни добрую порцию смешного. Однако я больше пишу мужу, чем жене. Сделайте все, что можете, устройте, чтобы «Павиан» был поскорее напечатан.

Конечно, не следует, как это часто бывает, жертвовать другом ради красного словца. Но для целого корабля острот это, разумеется, стоит. Что пишет сейчас Роберт?

Я с удовольствием узнал, прекрасная, что вы познакомились с моим дядей Соломоном Гейне. Как он вам понравился? Не стесняйтесь, не стесняйтесь! Он значительный человек, который наряду с большими недостатками обладает и величайшими достоинствами. Мы, правда, постоянно ссоримся, но я люблю его необычайно, вероятно больше

чем сам сознаю. У нас много общего в уме и в характере. Та же упрямая дерзость, бездонная мягкость души и капризнейшее сумасбродство. Только судьба сделала его миллионером, а меня его противоположностью, то есть поэтом. По мыслям и образу жизни она создала нас в высшей степени различными. Ну, скажите мне, пожалуйста, как он вам понравился? Я увижу дядю на будущей неделе, так как отправляюсь в Гамбург, чтобы обосноваться там в качестве адвоката. Мое здоровье все улучшается. Этим летом я пользовался морскими купаньями на Нордернее. Я пришлю вам описание нескольких поездок по морю, которые я между делом совершил. Дамы на Нордернее меня очень отличали, и вполне заслуженно. Я держался очень благородно и был любезен.

Будьте здоровы, прекрасная, напишите по возможности сразу же, появится ли альманах в этом году, а если нет, пришлите мне рукопись с ближайшей почтовой каретой по адресу: доктору прав Г. Гейне, у Герольда и Вальштаба в Люнебурге. Не ставьте меня в затруднительное положение. Пошлите пакет заказным, чтоб он не пропал и чтоб мне не пришлось переписывать черновик сызнова. И прежде всего сохраните ко мне дружеское расположение. В будущем году я, может быть, навещу вас. Мне хочется много путешествовать и много видеть. Этого требует и моя поэзия. Если будете писать Фарихагену, не забудьте поклониться ему от меня. Роберту, который, конечно, не сердится за то, что я его критикую, прошу передать мой сердечный привет. Ведь я люблю его и знаю, что он большой человек. Наконец остаюсь

преданнейшим слугою  
очаровательнейшей женщины —  
*Г. Гейне.*

#### 64. ФРИДРИХУ-ВИЛЬГЕЛЬМУ ГУБИЦУ

Гамбург, 23 ноября 1825 г.

Дорогой профессор!

Вы были бы неправы, полагая, будто я стал равнодушен к «Собеседнику», колыбели моей славы. За последнее время я просто был слишком занят, чтобы принимать в нем живое

участие. Теперь у меня стало больше досуга, я обрабатываю материалы, собранные в геттингенской библиотеке, и мало-помалу извлекаю на свет божий кое-что ценное. С этим письмом отсылаю вам для «Собеседника» рукопись «Путешествие по Гарцу Г. Гейне. Написано осенью 1824 года». Уверен, что эта вещь вам чрезвычайно понравится, особенно вторая часть. Я работал над ней весьма усердно, затем отложил ее на год, как и следует поступать с хорошими книгами, сейчас снова отшлифовал все от начала до конца, и мне кажется, что по материалу и легкой манере письма все это очень подходит для нашего журнала; ведь недаром относящийся к ней фрагмент «Путешествие по Нижнему Гарцу» должен появиться даже в одном из дамских альманахов — в «Рейнских цветах на 1827 год». Поставленное мною ранее, дорогой профессор, условие — ничего не менять и не исправлять в моем тексте — вам уже известно, и я еще раз напоминаю о нем. Правда, в книге немало резкого, но так как за последнее время (к нашему всеобщему удивлению) «Собеседник» очистился от подозрения в либерализме и изо дня в день становится все более ручным, то я питаю надежду, что в связи с этим цензура не будет так уж строга к моему «Путешествию» и кое на что посмотрит сквозь пальцы.

Наверно, вас не удивит сообщение, что многие газеты не раз приглашали меня сотрудничать, в особенности «Утренняя газета»; однако мои симпатии к «Собеседнику», лояльность редактора и желание видеть все мои рукописи в печати, и притом вскоре после их отсылки, — все это побуждает меня послать «Путешествие по Гарцу» именно вам; и мне кажется, что это дает мне право просить вас, дорогой профессор, чтобы вы поддержали меня перед цензурой. Ведь я знаю, что вы там можете сделать немало. А если все-таки будут вычеркивать, прошу ставить черточки, какими принято обозначать выпущенные места. Больше всего я боюсь за балетные каламбуры на стр. 56; если их вычеркнут, то мне хотелось бы опустить и всю предыдущую сцену на стр. 55 внизу, которая начинается словами: «Молодой саксонец, недавно съездивший и т. д.» Надеюсь также, что вы не станете печатать эту вещь слишком мелкими кусками (особенно нежелательно обрывать ее на описаниях природы) и что к рождеству я получу ее целиком. Кроме того, настоятельно прошу вас выслать два-

дцать пять экземпляров журнала, этим вы окажете мне величайшую услугу. Когда будете подсчитывать, во что они вам обойдутся, исходите *только* из гонорара за мое «Путешествие». Этот гонорар (из расчета двенадцать талеров за лист, как вы мне писали в прошлом году) я со временем попрошу перевести на мое имя. Тогда можете добавить к этим деньгам и гонорар за мои последние стихи. Я не хотел писать вам нарочно из-за этой мелочи.

Если я могу быть вам полезен здесь, вы можете вполне на меня рассчитывать. Ведь я собираюсь остаться здесь навсегда. Как ни чуждо здесь все искусству и словесности, литератор все же найдет кое-какое полезное подспорье, например великое множество английских газет и др. Выдержки из них представляют известный интерес, и, если вы пожелаете использовать меня на этом поприще, мои таланты всегда *к вашим услугам*.

В начале августа я расстался с Геттингеном, отправился на Нордерней, успешно лечился там морскими купаньями, *много ездил по морю*, побывал на Восточнофризских островах и премило описал все это в целой серии «Морских стихов». После «Путешествия по Гарцу» надо будет напечатать и их. Еще раз прошу вас *позаботиться о том*, чтобы «Путешествие по Гарцу» не было изуродовано цензурой, чтобы оно было побыстрее напечатано и чтобы я получил мои двадцать пять экземпляров. Я твердо рассчитываю на них, так как, желая напомнить о себе моим старым друзьям и намереваясь приобрести новых, я мысленно уже распределил эти экземпляры. Желая вам пребывать в добром здравии и прошу сохранить неизменное расположение

к вашему другу

Г. Гейне.

## 65. РУДОЛЬФУ ХРИСТИАНИ

Гамбург, *такого-то* декабря [почтовый штемпель  
от 6 декабря] 1825 г.

Дорогой Христиани!

Скверная здесь жизнь. Дождь, снег и слишком много еды. И я очень зол. Гамбург днем — большая бухгалтерия, а ночью — большой бордель. Здесь все люди глядят

на меня так, словно собираются пародировать «Лирическое интермеццо». И сам я преисполнен иронией и сентиментальностью. Я посетил твоего друга, доктора Галле. Он очень любезен, очень предупредителен и настоящий еврей. Уже в первую минуту он сразу выказал всю еврейскую предупредительность в вопросе: «Вы ведь будете моим коллегой?» Будучи столь раздраженным, как я (клепостовский оборот), я сказал: «Да», и все теперь думают, что я остаюсь здесь для адвокательства. Но я знаю меньше, чем кто-либо, что я здесь стану делать. Ты только не думай, что я бездельничаю, — напротив, где бы я ни находился, я пишу стихи. Следующую замечательную песню я сочинил вчера вечером. Разве она не изумительна?

Но ведь для того чтобы ты с этим согласился, мне придется ее здесь записать, что я и делаю:

Они любили друг друга,  
Но встреч избегали всегда.  
Они истомились любовью,  
Но их разделяла вражда.

Они разошлись, и во сне лишь  
Им видется было дано.  
И сами они не знали,  
Что умерли оба давно.<sup>1</sup>

Знаешь ли ты во всей немецкой литературе лучшее стихотворение?

«Петерс, это лучшее, что ты написал!»

Послушай, Христиани, неужели, прочтя эту песнь, ты все еще серьезно веришь, что я сделаюсь здесь адвокатом? Вероятно, я поеду в Берлин. Мои друзья пишут мне оттуда убийственные письма и собираются извлечь меня при помощи жандармов. Messieurs!<sup>2</sup> Я уступаю насилию.

«Путешествие по Гарцу» отправилось теперь к Губицу,<sup>1</sup> и мне любопытно, сколько верхнегарцских елей вырубит у меня цензура.

Не забудь рукописи о Казанове. Я прочел седьмую часть, и если бы я не был слишком морален, то это влетело бы мне в копейку.

Письмо к молодому коммерсанту ты тоже мне не прислал. Будь здоров, насколько это возможно; кланяйся от

<sup>1</sup> Перевод В. Левика.

<sup>2</sup> Господа (франц.).

меня всем знакомым. Извинись за меня еще раз перед Гагсеном в том, что я не повидался с ним перед отъездом. Но прекрасная, богинеподобная Йохма, что скажешь ты ей обо мне, если увидишь ее? Скажи ей, что я негодяй, который не стоит того, чтобы на него светило солнце. Скажи ей, что, если не считать Целле, то во всем Ганноверском королевстве она — самая прекрасная женщина.

Я несчастный или, что еще выразительнее, осел. Ты не поверишь, как сильно меня мучает то, что я не видел жену судьи. Кланяйся от меня и ассессорше Мелис, а также твоей семье, г-ну фон Пенц и совершенно особо — маленькой мистичке.

Твой друг  
Г. Гейне.

## 66. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

*Проклятый* Гамбург, 14 декабря 1825 г.

Дорогой Мозер! Милое, благословенное создание!

Ты очень несправедлив ко мне. Ведь я не требую больших писем, мне довольно будет нескольких строк, но даже их я не получаю. А никогда я не нуждался в них больше, чем именно теперь, когда в моей груди вновь разразилась гражданская война, восстали все чувства — за меня, против меня, против всего мира. Уверяю тебя, это вовсе не весело. Довольно об этом.

Вот я снова все начинаю с азов, усталый от бесцельной беготни, чувств, мыслей, а на дворе ночь и туман, чертова кутерьма, и все от мала до велика бегают по лавкам, покупая рождественские подарки. В сущности, очень мило, что гамбургцы уже за полгода думают о том, как одарить друг друга. Ты тоже, дорогой Мозер, не сможешь пожаловаться на мою скупость, но ввиду того, что сейчас я как раз не при деньгах, да и не хочу покупать тебе слишком обыкновенную игрушку, то я подарю тебе к рождеству нечто совсем особенное, а именно обещание, что в ближайшее время я не застрелюсь.

Если бы ты знал, что со мной делается, ты бы понял, что мое обещание действительно большой подарок, и ты бы не смеялся, как смеешься сейчас, а был бы так же серьезен, как серьезен в эту минуту я сам.



Недавно я прочел «Вертера». Для меня это истинное счастье.

Недавно я прочел также «Кольхааса» Генриха фон Клейста; восторгаюсь автором, страшно жалею о том, что он застрелился, но вполне понимаю, почему он это сделал.

Что касается моего образа жизни, то не стоит труда рассказывать о нем. Ведь в ближайшие дни ты увидишься с Коном, пусть он расскажет тебе, как я приехал в Гамбург, хотел стать адвокатом и не стал. Вероятно, Кон не сможет назвать тебе причину; да и я не могу. Сейчас у меня в голове, или, скажем лучше, в сердце, совсем другое; и я не желаю мучить себя установлением причин своих поступков.

До весны я намерен остаться здесь, занимаясь самим собою и, вероятно, также подготовкой к лекциям, которые собираюсь читать в Берлинском университете.

Могу ли я отложить уплату тебе десяти луидоров до моего возвращения в Берлин? Ответ мне точно. Меня очень злит, что я задерживаю твои деньги дольше, чем предполагал. Альманах, с помощью которого я хотел с тобой расплатиться, в этом году не вышел, а тут расходы за расходами, крушение моих надежд остаться здесь и т. д. — все это виной тому, что теперь я не знаю, как вылезти, как выкрутиться.

Мы очень много говорим о тебе, и Вольвиль недавно сказал, что если бы друг обокрал тебя, ты все-таки не перестал бы дружить с ним и только сказал бы: «Что делать, есть у него такой недостаток, но давайте лучше обратим внимание на хорошие его качества!» Толстый почтитель монады сам не догадывается, как метко он тебя охарактеризовал, тебя и высоту духа, на которую надо подняться разумом и сердцем, чтобы быть способным на такую терпимость. Правда, и я дошел до чего-то подобного, но не потому, что смотрю с высоты вниз, а потому, что смотрю снизу вверх.

Прямо не знаю, что сказать. Кон уверяет меня, что Ганс проповедует христианство и пытается обратить сынов Израиля. Если он делает это по убеждению, то он дурак; если он делает это из лицемерия, то он подлец. Я, конечно, не перестану любить Ганса, но тем не менее признаюсь, что мне было бы гораздо приятнее, если бы вместо этой новости я узнал, что Ганс украл серебряные ложки. Я не

в состоянии поверить, дорогой Мозер, что ты разделяешь мысли Ганса, хотя Кон это утверждает и даже будто слышал об этом от тебя самого. Мне было бы очень жаль, если бы мое собственное крещение явилось тебе в благоприятном свете. Уверяю тебя, если бы законы разрешали кражу серебряных ложек, то я бы не крестился. Подробнее об этом — при встрече.

В прошлую субботу я был в синагоге и имел удовольствие слышать собственными ушами, как доктор Заломон бранил крещеных евреев и особенно язвил их тем, что «они из-за одной только надежды на получение *места* (*ipsissima verba* <sup>1</sup>) поддаются соблазну изменить вере своих отцов».

Уверяю тебя, что проповедь была хороша, и на днях я собираюсь нанести визит доктору Заломону. Кон относится ко мне великодушно. Я ем у него в шаббес, на мою голову собирает он раскаленные «бомбы», и, сокрушенный сознанием своей вины, я поглощаю это священное национальное блюдо, которое больше сделало для сохранения еврейства, чем все три номера журнала. Впрочем, оно всдь имело и бóльший сбыт.

Пятница [15 декабря].

Вчера, пока я тебе писал, я получил твое милое письмо от 13 декабря. Я мог бы многое тебе о нем сказать, но вынужден ограничиться тем, что в данную минуту кажется мне наиболее существенным.

К ближайшей пасхе мне хочется под заглавием «Книга странствий, часть первая» напечатать следующие произведения:

1. Новое «Интермеццо» — примерно восемьдесят небольших стихотворений, преимущественно путевые картины, из которых тридцать три ты уже знаешь.

2. «Путешествие по Гарцу», которое на днях ты увидишь в «Собеседнике», хотя и не полностью.

3. Известную тебе статью о Польше, совершенно переработанную и снабженную предисловием.

4. «Морские картины», часть которых я тебе посылаю.

Если бы советник по уголовным делам Гитциг пожелал сделать мне большое одолжение, то он мог бы оказать

---

<sup>1</sup> Его собственные слова (лат.).

поддержку этому изданию. Я написал бы ему сам, но просить об услуге в самом начале, только еще вступая в переписку, было бы слишком некрасиво.

Теперь задача состоит в том, чтобы, во-первых, предложить Дюмлеру издать книгу, а во-вторых, условиться с ним о возможно большем гонораре. Думаю, что он заплатит мне по два луидора за печатный лист. Я ему еще остался должен за экземпляры моих «Трагедий»; эти деньги он сможет с меня удержать, хотя он и обещал взять с меня по дешевке, когда я объяснил ему, что книги отправлены в редакции литературных газет, а также литераторам, исключительно и единственно для того, чтобы снискать «Трагедиям» покровителей и славу.

С Дюмлером стоило бы поговорить и о том, не будет ли целесообразно еще раз напечатать «Лирическое интермеццо», разделяющее трагедии; к нему можно присоединить новое «Интермеццо» (1) и выпустить отдельной книжкой в десять—одиннадцать листов под заглавием «Большое интермеццо». Из этой книжечки получилось бы чрезвычайно оригинальное целое, и она нашла бы много покровителей. Не так-то легко найти книгу, равную ей.

Трех остальных названных выше произведений (2, 3, 4) было бы вполне достаточно, чтобы они тоже составили книгу. Во всяком случае, дорогой Мозер, если Дюмлер из издательского эгоизма отклонит вышеприведенный план «Интермеццо», предложи ему следующее: за новое издание старого «Интермеццо» я не потребую гонорара, и ему придется заплатить только примерно за половину книги. Думаю, что Гитциг легко сумеет убедить Дюмлера.

«Путешествие по Гарцу», которое я предварительно печатаю в «Собеседнике», цензура порядком изуродует. Однако я надеюсь, что в «Книге страствий» его можно будет напечатать целиком; в добавочных украшениях тоже недостатка не будет.

Очерк о Польше будет совершенно переработан и расширен. Письма из Варшавы и последние события побуждают меня выпустить это произведение именно теперь; правда, сам я никогда не придавал ему большого значения (а ты и вовсе никакого), но другие (например, Сартorius) уверяют меня, что оно значительно по своему содержанию и что я могу рассчитывать на всеобщее внимание. Еще многое мог бы я сказать по этому поводу, если

бы не знал, что эта статья тебе никогда не нрави-  
лась.

Надеюсь, что «Морские картины», рукопись которых ты получишь через Кона, понравятся тебе несколько больше. Мне бы хотелось, чтобы ты не показывал ее никому, кроме советника юстиции Гитцига, но его тоже попроси никому о ней не говорить. Тик и Роберт хотя и не создали форму этих стихов, но, во всяком случае, они ввели ее в обиход; зато содержание стихов относится к самому своеобразному из всего, что я написал. Видишь, каждое лето я вылупляюсь из кокона, и на свет вылетает новая бабочка. Значит, мое творчество вовсе не ограничится одной только манерой двухстрочного лирического коварства.

Вторую и третью части «Книги странствий», если богу будет угодно, составят «Путевые картины» в новом роде, «Письма из Гамбурга» и «Раввин». Последний, увы, сейчас опять не двигается с места.

Сегодня утром я с неприятным чувством прочел новый июльско-августовско-сентябрьский номер «Венских ежегодников». Там помещена рецензия, не столько на мои «Трагедии», сколько на меня. Тебе следует ее прочитать, она затрагивает и тебя; во-первых, потому, что я и Ауэрбах представляем тебя, а во-вторых, потому, что ты кусок меня самого. Я предвижу еще худшие выпады. Меня мало трогает, что меня развенчивают как поэта, но очень удручают грубые намеки, или, лучше сказать, наскоки, на мою личность и частную жизнь. В моей-де собственной семье имеются христианские авантюристы, и т. д.

Я никогда не был в более щекотливых обстоятельствах, чем сейчас. А проpros,<sup>1</sup> хочешь написать предисловие к «Большому интермеццо»? Это было бы славно, и ты мог бы сказать много интересного. Ответь мне на мой вопрос.

Попедельник [18 декабря].

Кон, с которым я хотел переслать тебе это письмо, задержался здесь на несколько дней, и я могу приписать еще несколько строк.

Мадам Беллу Фейт я навестил. Милая женщина, у которой мне хочется бывать почаще. Она увидела меня

<sup>1</sup> Кстати (франц.).

не в самом розовом моем настроении, и мне хочется показать ей, что не всегда мне свойственно мрачно вытянутое лицо. Ее беседа приятна и согревает так, как мне того хочется в эту сырую, туманную погоду. У нее очень милый, игривый ум. Мы говорили о Гансе. Разве можно в этом мире разговаривать о чем-нибудь другом? Всякий его видит, всякий его слышит. Аллилуйя!

Кланяйся моему брату, Цунцу, И. Леману, Гильмарсу. Будь у меня время, я написал бы докторше Цунц красивое еврейское письмо. Я становлюсь теперь истинным христианином, то есть состою паразитом при богатых евреях.

Будь здоров, ответь мне поскорей и будь уверен, что я люблю тебя и что я очень зол.

Всецело твой друг  
*Г. Гейне.*

## 67. КАРЛУ ЗИМРОКУ

Гамбург, 30 декабря 1825 г.

Дорогой Зимрок!

Ты, помнится, писал мне, что один из наших земляков, Рис, положил на музыку некоторые из моих песен. Не мог бы ты раздобыть для меня эти пьесы? Ты оказал бы мне огромную услугу. Дело в том, что вчера вечером одна славная певица три четверти часа мучила меня своими просьбами достать ей какую-нибудь музыку на мои стихи. Как видишь, дорогой друг, я пишу людям тогда, когда они мне нужны. Но тебе я должен был бы написать несколько пораньше: ты этого, несомненно, заслужил. Ведь сколько времени прошло с тех пор, как я увидел в «Альманахе муз» несколько стихотворений и понял, что их автор, в котором я сразу же признал тебя, все еще помнит меня и питает ко мне дружеские чувства, несмотря на то, что прошлой зимой я не ответил на его любезное письмо. Извинений у меня найдется достаточно: болезнь, юриспруденция и лень. Болезнь долго держала меня в подавленном состоянии, но теперь мне лучше. В августе я распростился с Геттингеном, ездил на остров Нордерней, где успешно лечился морскими купаньями; сейчас думаю остаться на зиму здесь, а с первыми ласточ-

ками вернусь в Берлин. Там надеюсь увидеть тебя. Все еще занимаюсь историческими изысканиями и подготовительными работами для будущих трудов. Поэтические строки вытекают из-под моего пера довольно редко.

Хороший прием, оказанный моим первым сочинениям, не убаюкал меня, как это, к сожалению, сплошь и рядом случается, сладкими грезами о том, что теперь-де я раз навсегда заделался гением, которому остается только преспокойно созерцать, как поэзия струится из него таким ясным, чистым ручейком, да милостиво разрешать всему свету восхищаться ею. Никто не чувствует лучше меня, как трудно сказать что-нибудь новое в литературе и какую неудовлетворенность испытывает всякий мыслящий писатель, вынужденный развлекать праздную публику. Ты легко можешь представить себе, что, устремившись к подобным идеалам, я способен удовлетворить далеко не все требования и ожидания, которые на меня возлагают. Так, например, мой друг Руссо очень рассердился на меня за то, что я не оказал ему энергичной поддержки в его поэтических затеях, а полгода тому назад, когда я без обиняков сказал ему, что считаю его журнальную деятельность пустой и никчемной возней, он торжественно заявил, что больше не считает меня своим другом. Нет, что бы ты ни говорил, а у него все-таки есть настоящий талант, и он заслуживает, — хотя бы потому, что он славный малый, — чтобы его литературная судьба сложилась более счастливо. Но черт бы побрал его бесцельную возню в журналах! Мне, по крайней мере, представляется, что человеку с серьезным талантом менее неприятно делать что-нибудь плохое, чем заниматься пустяками.

Дорогой Зимрок, не смейся над моей суровой серьезностью; со временем, когда тебе успеют надоесть многие вещи, которые сейчас ты еще находишь забавными, на тебя тоже найдет такое. У меня есть основания предполагать, что в наших взглядах есть много общего, и этим-то я и объясняю, почему некоторые из моих стихов нравятся тебе и почему, увидев в «Собеседнике» или «Альманахе муз» кое-что из твоих стихов, я, в свою очередь, почувствовал в них что-то очень близкое мне, какое-то духовное родство. Первые поэтические излияния поры мальчишества и мальчишеской любви для нас обоих уже позади,

и если порой у нас все еще преобладает лирика, то эта лирика пронизана другим, болсе рациональным началом — иронией, причем у тебя она еще звучит по-гетевски радостно, бьет светлым и чистым ключом, у меня же, напротив, перехлестывает через край и несет в себе привкус мрачной горечи. Я от души желаю, чтобы твоя ирония сохранила этот ясный колорит, однако я не верю в это и даже опасуюсь, что когда-нибудь от твоих стихов на меня повсет не столько ароматом роз, сколько запахом белладонны.

Впрочем, я ведь пишу тебе только из-за пьес Риса. Изданы ли они или же находятся еще в рукописи и их надо переписывать, — в любом случае я готов заплатить что следует. Я хочу только, чтобы ты побыстрее прислал мне их, как только пойдет почта. Мой адрес: доктору прав Г. Гейне, у Морпца фон Эмбдена, Нойерваль, д. 167, в Гамбурге.

А теперь будь здоров и все так же дружески расположен к твоему другу и земляку

*Г. Гейне.*

## 68. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Гамбург, 24 февраля 1826 г.

Хотя голова моя и устала, я все-таки не могу не написать тебе несколько строчек. Я вижу, ты распрощался с маркизом Позой и теперь охотно взял бы на себя роль Антонио. Поверь мне, я не Тассо и не помешанный, и если в отчаянии я высказал свое возмущение, то у меня были достаточные причины. Мне совершенно неважно, что обо мне думают, и говорить обо мне можно тоже все что угодно; но совсем другое дело, когда эти мысли и речи приписывают мне, выдают за мои мысли и речи. Тут задета моя личная честь. В университете я дважды дрался на эспадронах, потому что на меня косо взглянули, и один раз на пистолетах, потому что мне сказали непристойность. Это покушения на личность, без полноценности которой я не мог бы теперь существовать. Вот что я тебе расскажу: муж моей сестры, раздраженный вполне заслуженным презрением, которое я ему выказывал, попытался отомстить мне, оклеветав меня и мой образ жизни перед

целым светом. Между прочим он подбил Кона рассказать моему дяде, якобы для моей же пользы, о моем дурном поведении, для того чтобы тот заставил меня уехать отсюда. И вот Кон, — для того ли, чтобы придать себе весу, или по глупости, думая оказать мне этим услугу, — будто бы рассказал в доме моего дяди, что я игрок, бездельник, бесхарактерен, попал, должно быть, в плохие руки, и т. д. Так как эти люди, которые любят принимать важный вид покровителей и спасителей душ, опаснее и вреднее откровенных врагов, то я вынужден просить тебя ничего им обо мне не рассказывать, пусть даже из самых лучших побуждений; ведь они будут рады подкрепить свою болтовню, сославшись на то, что, мол, интимнейшие друзья просили их «чем-нибудь да помочь человеку». Уже одно это выражение способно меня свести с ума. Мозер, я знаю, ты любишь меня, в моей душе нет ни малейшей злобы против тебя, но скажи мне откровенно: что это за сплетня, будто тебя просил Кон, а ты, в свою очередь, просил советника Гитцига приискать для меня занятия в Берлине? Да, я взбешен. Моя честь задета глубочайшим образом; и, что мне обиднее всего, я сам все это натворил своей слишком откровенной и ребяческой доверчивостью к друзьям или к друзьям друзей. Больше это не повторится; я сумею, когда это понадобится, держаться так же натянуто и серьезно, как и все вы. То, что я не порываю с Коном официально и выскажу ему свое мнение только 1 августа, тоже имеет серьезные основания. Он завез телегу в грязь, пусть он и вытаскивает ее. Если ты еще питаешь дружбу к старому другу, то ты поддержишь Кона в таком намерении — по крайней мере, он выразил желание исправить свою глупость, — учти, что ты, пусть только косвенно, но все же помог причинить мне невыразимое страдание. Я совершенно болен от негодования. Я почти не в силах писать.

Глупо с твоей стороны говорить, что я серьезно хочу... [дефект рукописи] свою дружбу; моя дружба зависит не от... [дефект рукописи], а от несломленных чувств, которые владеют мною. Это совсем как в любви, в моей, в генрихгейневской. Ты думаешь иначе; можешь, по мне, хоть завтра снова изменить свое мнение; это ни в чем не нарушит моей дружбы. Такова моя терпимость.

Напиши мне, потому что в письме твоём действительно нет ни слова.



Кланяйся от меня нашим друзьям. Рецензию Ганса в «Утренней газете» я прочел и первую половину, к сожалению, не понял. Тем лучше немецкий язык Ганса будет достигнут потомством. Печатание моей новой книжечки сейчас в самом разгаре; как только она выйдет, я пришлю ее тебе. Судьба ее мне совершенно безразлична, и вообще большинство вещей не доставляет мне больше удовольствия.

В эти дни я потерял мою сестру. Будь здоров, напиши скорее.

*Г. Гейне.*

### 69. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Гамбург, 14 мая 1826 г.

Ну вот, после того как я так долго откладывал, сегодня мне приходится писать вам неожиданно для самого себя, и притом писать наспех. Но и это, собственно, не письмо: я только посылаю книгу и прошу вас вручить ее от моего имени нашей славной, доброй, прекрасной Фридерике, передав ей при этом мои наилучшие пожелания. Настоящее же письмо я вам все еще должен, вы вскоре получите его, и в нем я расскажу во всех подробностях о себе, о своем здоровье, о своих делах, о том, что я пишу и чего я не пишу. Пока что скажу только несколько слов: с моим здоровьем дело все больше идет на лад, и особенно полезен для меня здешний воздух. Внешне в жизни моей все по-прежнему, мне все еще не удалось свить себе где-нибудь гнездо; этого таланта, которым так щедро наделены насекомые и некоторые из здешних ученых-юристов, у меня не было и нет. Поэтому мне пришлось отказаться от намерения заняться здесь адвокатской практикой; не думайте, однако, что я собираюсь так скоро уехать отсюда; мне здесь как-то удивительно хорошо: ведь именно здесь классическая почва моей любви, здесь все для меня точно зачаровано, в груди вновь пробуждается много угасших было живых чувств, в сердце вновь расцветает весна, и если я окопчательно расстанусь с моими давнишними головными болями, вы можете ожидать от меня еще много хороших книг.

Хотя внешне мое положение не из приятных, но моя слава все же ограждает меня от разного рода грубых нападок. К сожалению, — я и сам признаюсь себе в этом, — выход в свет первого тома «Путевых картин» не слишком приумножит эту славу. Но что поделаешь, ведь что-то *надо было* издавать, и тогда я подумал так: пусть эта книга не вызовет всеобщего интереса, пусть она не является выдающимся произведением, однако все, что в ней написано, все-таки никак нельзя назвать плохим. А кроме того, «Путешествие по Гарцу» в «Собеседнике» так не понравилось мне, что я решил переделать его и выпустить в свет в более пристойном обличье. Сейчас оно полностью переделано. Прошу вас, дайте мне парижский адрес Роберта, я хочу настоятельно попросить его, чтобы он сделал что-нибудь для моей книги. Я отпугнул от себя много всегда готовых помочь мне друзей, — отчасти по моей, отчасти не по моей вине, — и нажил себе вместо этого немало недругов. К тому же, как я уже сказал, совесть моя в отношении этой книги не совсем чиста, а между тем слава нужна мне сейчас больше, чем когда-либо. На следующей неделе, когда книга выйдет здесь, у нас (до этого времени прошу вас никому не показывать высланный мною экземпляр), я пришлю вам еще несколько экземпляров «Путевых картин», с тем чтобы вы на благо книги роздали их по своему усмотрению, как мы это сделали с «Трагедиями». Я сильно озабочен всем этим, но не столько из-за убожества царящих в нашей литературе порядков, где ничтожеству так легко восторжествовать над нами в глазах общественного мнения, сколько потому, что во втором томе «Путевых картин» я собираюсь открыто и без обиняков высказаться об этом убожестве, слегка поработать своим критическим бичом и навсегда рассориться с глашатаями общественного мнения. Сделать это необходимо, ведь лишь немногие имеют мужество сказать все; мне уже не приходится теперь бояться невысказанных мнений, и вы увидите, какая пойдет кутерьма. В этом отношении «Венские ежегодники» подействовали на меня благотворно.

Я был бесконечно рад, прочтя в «Собеседнике» ваш, господин фон Фарнхаген, отзыв на «Карденио» Иммермана, и я готов подписаться под вашими словами, что Иммерман стоит намного выше всех своих литературных сверстников.

Эта пьеса стала теперь моей любимой книгой. Мне все кажется, что я ее сам написал.

Медоточивый шаркун барончик фон Юхтриц снискал себе, как я слышал от многих, лавры в Бранденбурге. В его лице Александр нашел наконец своего Гомера, желание, высказанное им на могиле Ахилла, исполнилось, и теперь Александру не надо больше завидовать Ахиллу. Через берлинскую «Экстренную почту» мы ежедневно узнаем о несчастье, постигшем Дария, которого насмерть проволокли по земле дурными ямбами, а также о том, как удобно разместилась на троне Ксеркса широкая задняя часть Крюгера. Однако хватит об этом, а то я, пожалуй, еще начну злословить, к тому же почта вот-вот отойдет, мне надо спешить, и вообще я хотел написать лишь несколько строк. Впрочем, я и г-жа фон Фарнхаген, мы оба положительно не умеем писать коротких писем, так что мой дорогой друг, очевидно, понимает, почему я не пишу ей вовсе. Сначала я хотел поместить на первой странице книги посвятельное письмо к ней, однако оно получилось слишком пылким и длинным, второе послание вышло слишком кратким и сухим, и вот, после троекратной перепечатки, вы видите наконец перед собой нынешний шедевр посвятельного красноречия. Прилагаю к настоящему письму также отвергнутые мною неудачные варианты. Гораздо хуже было другое — внушавшая мне страх мысль о том, что книга, пожалуй, вообще слишком плоха, чтобы я мог посвятить ее самой остроумной женщине во всей вселенной. Но я утешал себя мыслью, что г-жа фон Фарнхаген не потеряет веру в меня, что бы я ни писал, — хорошие или плохие вещи. С вами, любезный Фарнхаген, дело обстоит не совсем так, — для вас недостаточно, чтобы я показал, сколько звуков издает моя лира, вам хочется услышать, как эти звуки сливаются в целостный большой концерт. Таким концертом будет мой «Фауст», который я пишу для вас. И в самом деле, кто имеет больше прав на мои поэтические произведения, чем тот, кто внес стройность во все мое поэтическое творчество и искание и направил его по благому пути? За последнее время я несколько раз ссорился с вами, особенно полгода тому назад; вы этого и не заметили, так как я вам ничего не писал. Однако туман подобных мыслей рассеялся окончательно и без следа еще три недели тому назад, когда я узнал от матери

актрисы мадемуазель Бауэр, что в эту зиму вы были серьезно больны. Вот когда происходит что-нибудь подобное, лишь тогда мы и чувствуем, как дорог нам тот или иной человек. И каждый раз, когда я бывал с вами в ссоре, я был в то же время не в ладу и с самим собой. Очень метко сказал Лихтенберг, что мы способны не только любить, но и ненавидеть себя в другом человеке. Вот так я повздорил недавно с нашим Гансом. Если увидите его, расскажите ему об этом и передайте самый теплый привет от меня. Я очень люблю его, и он вспоминался мне, когда я писал первые страницы «Путешествия по Гарцу», относящиеся к Геттингену. Передайте также привет Шамиссо. Когда он проезжал через Геттинген, нас обоих постигло невезение а-ля Шлемиль, так что мы разошлись друг с другом; в гостинице мне сказали только, что он поехал в какой-то одноколке по направлению к Клаусталю. Однако туда он пришел пешком!

С вашими родными я здесь дружу, и мы хорошо понимаем друг друга. Все они здоровы. С моим незлобивым характером я, как мне кажется, произвел отнюдь не дурное впечатление также и на вашу сестру. Я общаюсь здесь лишь с немногими людьми. Мой дядюшка, Циммерман, синдик Зивекинг, несколько заштатных писателей, кое-кто из банкиров — вот и вся моя компания. Зятя моего я настолько не перевариваю, что вынужден был из-за него совсем отказаться от моей сестры.

Прошлым летом был я на острове Нордерней. В другой раз расскажу вам, как я познакомился там с княгиней Сольмс-Лих и, проведя в ее обществе некоторое время, услышал от нее, при весьма странных обстоятельствах, ваше имя. Однако почта уходит. Остаюсь

вашим преданным

*Г. Гейне.*

## 70. ЭДУАРДУ ГАНСУ

Гамбург, май 1826 г.

Милый Ганс! Дорогой коллега!

Слово «коллега» относится к юриспруденции, а не к теологии. Слово же «милый» относится к моему сердцу, которое все еще очень тебя любит, и любит поистине

сердечно quand même.<sup>1</sup> Может быть, я бы вовсе не стал тебе писать, не будь этого quand même. Ты меня не понимаешь? Я хотел тебе намекнуть, что меня злит до глубины души то, что наши книги перестали быть *источниками*, что я за это досажую на тебя и на самого себя и что именно из-за этой досады у меня явилась потребность сказать тебе, что я тебя все-таки люблю, что я тебя люблю quand même. Отправка книги — просто предлог, чтобы тебе написать. Сама книга, право, немногого стоит; в данный момент в моей груди любви больше, чем во всей этой книжке, такой усталой, бесцветной, ручной. А самое лучшее в этой книге — это предпосланное ей имя г-жи Фарнхаген. Это имя, которое мне так мило, я прибил у входных дверей своей книги, и благодаря ему мне стало уютнее, и я почувствовал себя под надежной охраной. Книгам тоже нужна своя мезуза.

Будь здоров, люби меня,

твоего друга

Г. Гейне.

## 71. ИОГАННУ-ВОЛЬФАНГУ ГЕТЕ

(Надпись на экземпляре «Путевых картик»)

[Гамбург, май (?) 1826 г.]

Его превосходительству г-ну тайному советнику фон Гете посылает в знак величайшего уважения и любви эту книгу

Автор.

## 72. ЛЮДВИГУ БЕРНЕ

(Надпись на экземпляре «Путевых картик»)

[Гамбург, май (?) 1826 г.]

Доктору Берне посылает эту книгу в знак уважения и сердечной любви

Автор.

---

<sup>1</sup> Вопреки всему (*франц.*).

Гамбург, 26 мая 1826 г.

Дорогой Зимрок!

Разреши мне обойтись без извинений за мой запозданный ответ на твое любезное письмо. Спасибо тебе за красивую музыку к песне, что ты прислал, а также за проявленное тобой теплое участие. Написал бы тебе раньше, но хотел приложить к письму что-нибудь из напечатанных мною вещей, а этого до сегодняшнего дня все никак нельзя было сделать. Зато сегодня посылаю тебе мою последнюю книжку, свеженькую, только что с печатного станка. Ознакомившись с ее содержанием, ты увидишь, что она не рассчитана на возбуждение любопытства читателя и что я имел в виду не одну только злободневность. Поэтому я изгнал отсюда всякую полемику, хотя меня сейчас так и подмывает высказать свое мнение насчет некоторых вещей, особенно насчет литературы. В следующих частях «Путевых картин» я надеюсь добиться прозой того же, чего ты и твои друзья стремитесь достичь в ваших ксениях и гексаметрах. Ведь я в самом деле одинокий чудак, и мне приходится пробовать свои силы без чьей-либо помощи. Но сохрани мне свое расположение и готовность помочь, когда надо. Если бы ты высказался в печати по поводу первой части «Путевых картин», мне это было бы особенно приятно, так как я уверен, что ты способен высказать ценное суждение, и я считаю, что ты понимаешь меня лучше, чем другие. Несмотря на все твои возражения, я никак не могу расстаться с мыслью о том, что даже и в дурном ты духовно схож со мной, и хотя это и смешно, но я должен предупредить тебя, что если ты вздумаешь судить обо мне слишком сурово, то тем самым ты произнесешь приговор и самому себе.

Ты не поймешь меня превратно, дорогой Зимрок, а если бы ты мог видеть, как весело я сейчас смеюсь, ты уж наверняка понял бы мои слова правильно. Приглашая тебя быть моим критиком, я ожидаю от тебя строгости.

Не знаю уж, по какой ассоциации мыслей мне сейчас пришел на ум Руссо. Я давным-давно ничего о нем не слышал, а писать к нему тоже нет охоты. Может быть, ты мне скажешь, жив ли он? О, скажи мне, есть ли еще вообще жизнь на Рейне?

В следующей части моих «Путевых картин» ты увидишь, как заструится у меня Рейн. Ты, надеюсь, одобряешь, что я переделал «Путешествие по Гарцу» и выпустил его в свет в более пристойном обличье. В «Собеседнике» оно выглядело каким-то заплесневелым и нудным, так что я счел делом чести для себя преподнести его публике в более приятном виде. А вот придется ли ей по вкусу мои «Картины Северного моря» — это весьма сомнительно. Наш обычный, сугубо пресноводный читатель может заболеть морской болезнью от одного только непривычного, укачивающего размера. Уж на что лучше добрый старый, протоптанный путь, разъезженные колеи на столбовой дороге поэзии! Ты не представляешь себе, дорогой Зимрок, как я люблю море! Вскоре я опять собираюсь куда-нибудь поближе к воде и вернусь в Берлин еще не очень скоро. Впрочем, это не займет у меня так уж много времени, Твои письма всегда дойдут до меня, если ты будешь адресовать их «Гофману и Кампе» в Гамбурге.

С моим здоровьем дело обстоит все еще не блестяще, но все же лучше, чем прежде.

Будь здоров, не теряй дружбы со мной и расскажи мне, что ты подслывашь.

*Г. Гейне.*

Передай от меня привет всем нашим единомышленникам.

#### 74. ВИЛЬГЕЛЬМУ МЮЛЛЕРУ

Гамбург, 7 июня 1826 г.

Посылая вам свои «Путевые картины», пользуюсь случаем присоединить к ним несколько вдущих из сердца слов. Мне давно уже следовало бы написать вам и поблагодарить за любезный прием, который встретили у вас мои трагедии и песни. Но мне хотелось подождать, покуда рассеются печальные туманы, окутывавшие мою душу; я долгое время был болен и несчастен. Теперь мне уже вдвое лучше, и такое состояние на нашей земле, пожалуй, уже можно назвать счастьем. С поэзией дело обстоит еще лучше, и я лелею немало радостных надежд на будущее.

«Северное море» принадлежит к последним моим произведениям, и вы увидите в нем, каких новых струн я коснулся, какие новые песни запеваю. Я не настолько мелочен, чтобы не признаться открыто: размер моего «Интермеццо» не случайно похож на ваш обычный размер, и, вероятно, это произведение обязано вашим песням своими сокровеннейшими ритмами. Ведь именно в то время, когда я писал «Интермеццо», я ознакомился с милыми мюллеровскими песнями. Уже очень рано я воспринял влияние немецких народных песен; позднее, когда я учился в Бонне, Август Шлегель открыл мне много метрических секретов, но мне кажется, что только в ваших песнях я нашел то чистое звучание, ту подлинную простоту, к которым я всегда стремился. Как чисты, как ясны ваши песни, и все они песни народные. В моих стихах, напротив, до некоторой степени народна только форма; содержание же их принадлежит «цивилизованному» обществу, проникнутому условностями. Да, я достаточно зрел, чтобы подчеркнуть это, и когда-нибудь вы прочтете мое публичное признание в том, что, узнав ваши «Семьдесят семь стихотворений», я впервые понял, как из старых, существующих форм народных песен можно создать новые формы, которые тоже народные, хотя в них нет ни подражания устарелой языковой неуклюжести, ни беспомощности. Во второй части ваших стихотворений форма, по-моему, еще чище, еще прозрачнее и яснее. Но к чему говорить так много о форме, когда мне не терпится сказать вам, что ни одного поэта-песенника, кроме Гете, я не люблю так, как вас? Напевы Уланда недостаточно самобытны и, собственно, свойственны тем старинным стихам, из которых он заимствует сюжеты, образы и обороты речи. Бесконечно богаче и оригинальнее Рюккерт, но в нем мне не нравится все, что я осуждаю в самом себе: мы родственны по заблуждениям, и часто он мне так же несносен, как я сам. Вы один, Вильгельм Мюллер, во всей вашей нетленной свежести и юношеской самобытности доставляете мне чистую радость. Со мною, как я уже сказал, дело обстоит плохо: видимо, поэт-песенник во мне уже погиб, что вы и сами, вероятно, заметили. Проза принимает меня в свои широкие объятия, и в ближайших томах «Путевых картинок» вы найдете много прозаически дикого, жесткого, колкого и гневного, и особенно много полемики. Время наше уж очень скверное;



и тот, в ком есть сила и прямотушие, обязан мужественно вступать в борьбу с надутый скверной и с несносно кичливой посредственностью, которые все больше распространяют свое влияние.

Прошу вас, сохраните мне ваше расположение, никогда не сомневайтесь во мне, и пусть мы вместе составимся в общих стремлениях. Я настолько самонадеян, что верю: когда нас обоих уже не будет на свете, мое имя станут называть рядом с вашим. Так пусть же дружеский союз свяжет нас и при жизни. Мне не хочется перечитывать того, что я написал; неотступно думая о вас, я просто предоставил перо его быстрому бегу, и я слишком люблю вас, чтобы долго раздумывать над тем, чересчур ли мало или чересчур много я вам сказал.

*Г. Гейне.*

## 75. ФРИДРИХУ МЕРКЕЛЮ

Нордерней, 25 июля 1826 г.

Дорогой Меркель!

Большое тебе спасибо за письмо, которое я получил в Ритцебютеле вместе с романом Скотта. Вчера в полдень я сюда приехал; неделю торчал в Куксхафене. Гольдшмидт — очень красивая женщина; а все прочее в Куксхафене было очень скучным, и вышеуказанную дыру, не находишь она под покровительством Гамбурга, я назвал бы несколько более грубым именем. Но Гольдшмидт очень красива.

Позавчера в час ночи я выехал из Куксхафена. Царила дикая тьма, и настроение мое было тоже не из самых нежных. Судно стояло далеко на рейде, и шлюпку, в которой я отплыл, чтобы добраться до него, неразумные волны трижды отбрасывали обратно в гавань.

Маленькая лодчонка вздыбливалась, как лошадь, и мало не хватало, чтобы груды ненаписанных «Морских картин» вместе с их автором пошли ко дну. Тем не менее — да простит мне властелин атомов мое прегрешение! — у меня в это мгновение было отлично на душе. Мне нечего было терять!

Тут очень оживленно. Красавица уже здесь, а также и княгиня Сольмс, с которой в прошлом году я провел очень приятные дни. Я уже играл, и притом с бóльшим счастьем, чем в Куксхафене, где потерял пять луидоров. Я написал бы тебе сегодня больше, но мне трудно писать согнувшись. Стол в маленькой рыбацкой хижине, в которой я сейчас сижу за письмом, слишком низок. Бог знает, писали ли вообще когда-нибудь за этим столом. Он выкрашен в черный и зеленый цвета — наблюдение это я сделал совершенно случайно.

Поклонись от меня Кампе. Спасибо ему за присылку Скотта, который вчера на море неплохо развлекал меня. Если у него есть что послать или сообщить мне, то письмо и пакеты застанут меня здесь по меньшей мере до конца августа.

Если газеты гамбургских подонков опять напечатали что-нибудь против меня, то прошу тебя сообщить мне об этом. Мне было жаль, что в пакете я не нашел «Илиады». Проклятый стол!

В ближайшие дни напишу тебе больше. Проклятый стол! Я надеюсь скоро получить письмо и от тебя. Любезное участие, которое ты принимаешь в скверном Гейне, радует меня несказанно.

Удивительно приятно  
Юношу такого встретить  
В наши дни, когда нетрудно  
Убыль лучших сил заметить.<sup>1</sup>

Из этих строк ты видишь, какой я скверный человек и как мало заслуживаю доброго отношения и любви своих друзей! Но, к утешению нашему будь замечено, вместо этих стихов я собирался сказать нечто глубоко дружеское и душевное, однако бес иронии опять, как обычно, подсунул мне совершенно противоположные слова.

Будь здоров и счастлив, насколько это возможно сейчас для честного человека, кланяйся Циммерману, читай рассказы Г. фон Клейста.

28 июля 1826 г.

Почта еще не ушла, и я могу дослать еще несколько строк.

---

<sup>1</sup> Перевод В. Гиппиуса.

Здесь очень всеело. Рокот волн, прекрасные женщины, хорошая еда и божественный покой. Тем не менее я себя чувствую очень подавленным. Это апатия, которая наступает после великих бурь. Мысли из папье-маше и прокисшие ощущения. В таком мертвенном состоянии я все же воспринимаю много впечатлений от природы, и фантазия работает над несколькими начатыми произведениями: «Морскими картинами» и новыми сценами к моему «Фаусту». Я пробуду здесь, вероятно, с месяц и, когда наверстаю свой проигрыш, — вчера фортуна опять отвернулась от меня, — должно быть, поеду в Голландию. Есть своеобразная сладость в таком неустойчивом образе жизни, где все зависит от каприза внешней удачи. Только, ради бога, не рассказывай никому об этом безумстве. Мне доставляет удовольствие раскрываться перед тобой во всех моих слабостях. Если только я не отпугну тебя, то, уж конечно, сохраню к тебе дружбу и любовь на всю жизнь. Боже! Какие дурацкие различия ввели мы, немцы! «Любовь и дружба», «шпик и свиное сало».

В этот миг на меня находит сентиментальность. Душа моя грустит! Тем быстрее кончаю.

Мой адрес: Г. Г., доктору прав, передать через Рупперсберга на Нордернее, острове в Северном море. Я чувствую себя довольно хорошо. Здесь есть несколько дам из Берлина, которые читали мои «Путевые картины», и одна из этих дам недурна. Впрочем, я до сегодняшнего дня пребываю в том дурацком настроении, которое было у меня еще в Гуксхафене.

*Г. Гейне.*

## 76. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Нордерней, 29 июля 1826 г.

Дорогой Фарнхаген!

Пусть эти строки застанут вас наконец в полном здравии! Некая советница юстиции Эмпих, которая проживает здесь со своими дочерьми, сказала мне, что вы все еще хвораете. Она рассказала мне также, как наша божественная Фридерика ухаживала за вами во время вашей жестокой болезни. Мы, глупые поэты, всегда сравниваем женщин

самое большее с ангелами; право, нам следовало бы последних сравнивать с первыми.

Здоровье мое все улучшается. Для полного его восстановления я пользуюсь здешними морскими купаньями и снова плаваю в волнах Северного моря, которое теперь очень ко мне благосклонно, так как знает, что я его воспеваю. Море — честная стихия. Когда я долго бываю вдали от него, я испытываю настоящую тоску по родине. Мои «Картины Северного моря» написаны *con amore*,<sup>1</sup> и меня радует, что они вам нравятся. Вообще я так рад, что мои «Путевые картины» встретили у вас хороший прием! В восторг, настоящий восторг привело меня, почти опьянило письмо г-жи фон Фарнхаген. Действительно, я никогда в ней не ошибался. Я ее немножко знаю. При этом я признаю, что никто не понимает и не знает меня так глубоко, как г-жа фон Фарнхаген. Когда я читал ее письмо, мне казалось, будто я поднялся во сне, встал перед зеркалом, говорю сам с собой и при этом немножко хвастаю. Особенно хорошо, что мне не надо писать г-же фон Фарнхаген длинных писем. Раз она знает, что я жив, она знает и все, что я чувствую и думаю. Мотивы моего посвящения она угадала, я думаю, лучше, чем я сам. Мне кажется — в нем я хочу выразить, что принадлежу кому-то. Я, одичалый, мечусь по всему свету; иногда встречаю людей, которые, по-видимому, охотно сделали бы меня своею собственностью, но именно они не особенно мне нравятся, и пока дело обстоит так, на моем ошейнике всегда будет написано: «*J'appartiens à madame Varnhagen*»<sup>2</sup>.

## 77. ФРИДРИХУ МЕРКЕЛЮ

Пордерней, как будто  
16 августа 1826 г.

Дорогой Меркель!

Почта только что доставила мне твое письмо от 11 августа, а так как один из моих молодых приятелей как раз собирается отплыть с попутным ветром в Бремен, то я могу

<sup>1</sup> С любовью (*итал.*).

<sup>2</sup> Я принадлежу г-же Фарнхаген (*франц.*).

ответить тебе сразу же, чтобы отблагодарить тебя хотя бы в нескольких строках за твое внимание.

Светлый образ, мелькнувший передо мной на морском пляже, занимает в моей жизни вовсе не такое уж важное место, как это показалось тебе, а также и моему сентиментальному и чересчур живому воображению; то была лишь звезда, скатившаяся по ночному небосклону так стремительно и не оставившая по себе следа, ибо я по-прежнему тоскую и чувствую какой-то гнет на душе. Но все-таки это была звезда!

За присланного тобою Гомера благодарю. Я читаю его во время одиноких прогулок на берегу, и тогда мне приходит в голову много разных мыслей. Вообще я часто гуляю у моря, особенно ночью, при лунном свете. Живу я очень уединенно и даже не ухаживаю, как в прошлом году, за хорошенькими женщинами. Мне думается, что моя печаль — осадок несчастного прошлого; она пройдет.

Я пробуду здесь еще дней десять или недели две, а затем отправлюсь в Голландию. Но сначала мне надо еще получить двенадцать луидоров, которые обещал выслать Кампе; я просил его дать их мне авансом. Я не мог поступить иначе, сумма такая ничтожная, что мне не хотелось обращаться из-за нее к другим; к тому же, я знаю, что Кампе с удовольствием окажет мне эту любезность, а, кроме того, я сейчас не расположен считаться с разными мелочными соображениями.

Передай Кампе мои извинения за то, что мое последнее письмо было таким кратким (кроме просьбы насчет денег в нем ничего больше не было); я еще напишу ему перед отъездом или уже из Голландии.

Спасибо тебе также и за твое письмо от 4 августа. Я сильно сомневаюсь в том, что заслужил внимание, с которым ты относишься ко всему, что касается меня, вплоть до мелочей. Известие насчет мадемуазель Мейер очень удивило меня, хотя я и считал, что от этой маленькой женщины-кентавра можно ожидать подобных экстравагантностей; я часто беседовал с ней в Куксхафене.

С позавчерашнего дня я больше не играю. Не потому, что деньги вышли, — у меня еще кое-что есть, — а потому, что игра стала мне надоедать. К тому же, меня разозлили вечные проигрыши, и я дал кое-кому честное слово, что не стану больше играть.

Твой рассказ о красивой даме, которая справлялась обо мне у Кампе, очень интригует меня. А может быть, ты меня мистифицируешь?

Мой брат пишет мне, что в Берлине все еще многие читают «Путевые картины» и поругивают их; и вообще меня там распинают.

Очень рад, что ты принялся за чтение Клейста. Он обладает в еще большей степени тем, что тебе нравится у меня. Он романтик всем своим существом, хочет писать только о романтическом и выражает его только в пластических образах, так что внешне является поэтом пластического склада.

Передай привет Циммерману. Ты можешь еще раз написать мне сюда; если меня здесь не будет, письмо твое пошлют вслед за мной. Очень рад, что газеты не толкуют больше о «Путевых картинах». Во втором томе будут помещены «Морские картины», которые должны всем понравиться.

Твой друг  
Г. Гейне.

## 78. ФРИДРИХУ МЕРКЕЛЮ

Люнебург, 6 октября 1826 г.

Дорогой Меркель!

Я тебе давно не писал, зато очень часто вспоминал тебя. Потом я все думал получить что-нибудь от тебя, — ведь одно письмо ты мне все еще должен.

Ты, наверно, уже знаешь от Кампе, как мне жилось, с тех пор как я сюда приехал. Я побоялся ехать на Фрисландские острова и в Голландию из-за лихорадки, которая там свирепствует, однако я еще не отказался от мысли совершить это путешествие. Когда-нибудь я отправлюсь на пароходе из Гамбурга прямо в Амстердам. И все-таки мне хочется описать мою последнюю поездку. В сущности, не все ли равно, что именно я описываю? Ведь все вокруг нас есть частичка мира божьего и достойно внимания; а то, чего нельзя вывести из своих наблюдений, всегда можно ввести от себя. На мою беду, головные боли

все еще мучают меня, хотя купанья удивительно хорошо помогли мне.

Здесь я уже написал восемь больших стихотворений для «Картин Северного моря», в высшей степени оригинальных; быть может, они и не представляют такой уж большой ценности, но все-таки это нечто примечательное, и я ручаюсь, что их заметят. Если только с моим здоровьем дело пойдет на лад, вторая часть «Путевых картин» станет самой прекрасной, самой интересной книгой из всех, какие могут появиться в это время. Я вовсе не спешу. Ведь даже Люнебург не в один день построен. А Люнебургу еще далеко до Рима. Книги Кампе я хотел отослать обратно с твоим братом, но он уехал, прежде чем я успел выбраться к нему. Но все же я с ним познакомился, и он очень мне понравился. С Христиани я здесь встречаюсь, как и всегда; из всех друзей он для меня самый удобный.

Попроси у Кампе выслать мне тот номер «Полуночной газеты», в котором есть упоминание обо мне; я его не читал. То, что написал портновский подмастерье, Христиани дал мне прочесть. Показалось мне довольно забавным.

Будь добр, поддержи еще некоторое время у себя мой чемодан; во-первых, он мне пока что не нужен, во-вторых, я еще не знаю, долго ли пробуду здесь, а если уж задержусь здесь подольше, тогда попрошу тебя подыскать оказию, чтобы переслать его мне, не входя в расходы. Циммерману от меня привет. С моим братом мы много говорим о тебе. Напиши мне поскорей. Кампе тоже передай привет. Стиль, в котором Кампе пишет свои письма, совершенно очарователен. Он и впрямь мог бы тоже написать свои «Путевые картины». Только не надо говорить ему об этом, а то я останусь не у дел.

Не слыхал ли ты, много ли еще наврал обо мне Черномазый, которого все еще не повесили? Вообще было бы очень хорошо, если бы я узнал поточнее, перед кем это он грозился избить меня. Это для меня очень важно на будущее. *Помни об этом.* (NЗ. Я редко подчеркиваю.) А теперь будь здоров, не забывай своего друга и помни о том, что в душе я применяю к тебе репрессии.

Твой друг

*Г. Гейне.*

Мой брат шлет привет.

Люнебург, 14 октября 1826 г.

Милый Мозер, хороший мой Мозер!

Глубочайшее недовольство виною тому, что я не дописал письма с Нордернея. К чему писать тебе иеремиады? Многое теперь уже зажило, и я могу определенно сказать: я чувствую себя лучше, чем всегда, и мое положение внешне довольно сносно.

До середины сентября я оставался на Нордернее. С начала прошлого месяца и до отъезда я был почти единственным гостем, остававшимся на купаньях. Я нанял шлюпку и двух лодочников и целыми днями плавал по Северному морю. Море было моим единственным собеседником, и лучшего у меня никогда не было. Ночи на море величественны, великолепны. Я часто думал о тебе. Да, мне казалось даже, что я только теперь начинаю тебя понимать. Для того чтобы мы могли целиком постичь большого человека, необходимо сначала расширить свою душу огромными впечатлениями природы. Только люби меня, только никогда не сомневайся во мне. Я охотно сознаюсь во всех своих грехах и склонюсь пред тобою.

Но обидно, что ты больше меня и все же так замкнуто скромна, а я много меньше, но постоянно требую признания.

Я много страдал в последнее время и только теперь чувствую себя в состоянии спокойно думать и творить. В январе я, вероятно, снова ненадолго приеду в Гамбург. К пасхе там должна выйти из печати вторая часть моих «Путевых картин». Эта часть явится выдающейся книгой и наделает много шума. Я должен создать нечто мощное. Вторая часть «Северного моря», которой откроется второй том, гораздо оригинальнее и смелее, чем первая, и, наверное, понравится тебе. С опасностью для жизни я пошел в ней по совсем новой дороге. Я попытался также дать чистый юмор в одном автобиографическом отрывке. До сих пор мне удавались только остроумие, ирония, каприз, но никогда еще — чистый, спокойный юмор. Во второй том войдет также и ряд «Путевых писем с Северного моря», где я говорю «обо всех вещах и еще о некоторых». Не подарить ли ты мне для них несколько новых идей? Мне может



здесь пригодиться все: краткие афоризмы о состоянии наук в Берлине, или Германии, или Европе, — кому же легче набросать их, чем тебе? И кто бы мог лучше сплести их воедино, чем я? Гегель, санскрит, доктор Ганс, символика религий, история — какие богатые темы! Тебе никогда больше не представится такой удобный случай; ведь я предвижу, что ты никогда не напишешь законченной книги, и особенно такой, которую станет читать весь мир. С моей стороны это не столько желание вырядиться в твои перья, сколько намерение духовно воспринять тебя в свое духовное естество, тебя, самого созвучного мне среди всех моих друзей. Но если ты хочешь написать на эту тему что-нибудь законченное, например целое, полное значения «письмо», то я — разумеется, не называя тебя — включу его как самостоятельное сообщение во вторую часть моих «Путевых картин». Ты ведь пишешь очень популярно, если хочешь. А в моей скромности тебе поручаю мое честное слово. Подумай об этом и выскажи мне свои пожелания. За последнюю неделю это стало моей любимой мыслью, и я бы не хотел, чтобы ты к ней отнесся пренебрежительно.

Мой брат теперь здесь, и мы много говорим о тебе. От Цунца я получил несколько строк; передай ему от меня сердечный привет. Кланяйся также Гансу. Мне не хочется верить, что Ганс, совсем еще молокосос в христианстве, уже стал воинствующим христианином! Нет, наш г-н Г.-Г. Простофиля солгал мне. Если же Ганс когда-нибудь поступит так, то твое распятое в лице икупителя мира христианство жалобно воззовет к нему: «Доктор Или́! Доктор Или́! Ламá савахфани́?» Кланяйся от меня милому Гансу и скажи ему, что я его очень люблю. Я каждый день думаю о нем, о его добром сердце, и всегда буду ему близким другом. Слышал ли ты что-нибудь о Робертах? Я, злосчастный, нерадивый корреспондент, в последнее время оставил без писем лучших своих друзей. Поклонись также Лессману. Брат говорит, что он пишет большое историческое сочинение.

Ты, верно, слышал, что один вонючий еврей распространял в Гамбурге лживое известие, будто он меня избил. Гадина просто напала на меня на улице. Человек, с которым я никогда в жизни и словом не перекинулся. Это нападение (он едва успел схватить меня за фалду, как поток

людей тотчас же отеснил его), это 'покушение', эту подлость субъект этот стал отрицать, как только я заявил на него в полицию. Больше мне от него ничего и не требовалось. Он показал, будто я зол на него с 1815 года (меня даже не было тогда в Гамбурге), нападал на него в своих сочинениях, а затем и на улице. Всякие подлые негодяи, разумеется, использовали эту историю. Но к чему писать об этих мерзостях? Не пугайся, если услышишь, что мне хотят перебить руки и поги. Мне жаль, что я никогда не хвастался перед тобою опасностями, которые я уже перенес. С меня хватит. А теперь будь здоров и люби меня.

Твой друг

*Г. Гейне.*

Письма ко мне посылай только по адресу: Г. Гейне, у С. Гейне в Люнебурге.

Мой брат тебе кланяется.

## 80. БАРЛУ ИММЕРМАНУ

Люнебург, 14 октября 1826 г.

Дорогой Иммерман!

Нужно ли мне писать длинные извинения за долгое мое молчание? Предоставляю вам самому подыскать их. Ведь вам известно, что происходит в душе такого бедного субъективиста, и нет нужды объяснять это подробно. Обилие внешних происшествий не оставило мне времени для писем. Я покинул Геттинген, попытался найти пристанище в Гамбурге, но не нашел ничего, кроме врагов, клеветы и злобы; из чувства противоречия выпустил первую часть «Путевых картин» (которую я вам послал; получили ли вы ее?), вторично поехал на Нордерней ради морских купаний, полный досады плавал в Северном море, разъезжал по нему и три недели тому назад возвратился сюда, в лоно моей семьи, значительно поздоровевший, хотя все еще больной, спокойный как кладбище, и с намерением остаться здесь на несколько месяцев или покуда скука не выгонит меня. Но вот чего не знает ни один человек, что я говорю только вам и чего вы не должны сообщать никому: я вернулся к прежнему плану — покинуть Герма-

нию навсегда, после того как нынешней зимой я проведу еще некоторое время в Гамбурге, где издам вторую часть «Путевых картин». Из Гамбурга морем в Амстердам, а оттуда — в Париж. О, как я люблю море! Я так сроднился с этой дикой стихией, и мне так по душе, когда оно бушует. Фарнхагену я не писал еще с тех пор, как послал ему «Путевые картины» и получил любезнейший ответ, но от этих друзей я не стану скрывать плана отъезда; ведь Фарнхаген сам породил его своим советом. Впрочем, друзья мои все еще думают, что я приеду в Берлин и буду там читать курс. Право, у меня слишком слабые нервы, для того чтобы оставаться в Германии. Вот если бы у меня была сила Иммермана, эта сила, растущая с каждым днем!

За это время я прочитал вашего «Карденио». Я в восторге от этой книги. Вот такую я хотел бы написать! И все же счастье для этой книги, что не я ее написал. Вашему «Карденио» присущи все фантастические недуги Гейне и в то же время все неистребимое здоровье Иммермана. В этой книге наши души сошлись на рандеву. Эта великолепнейшая книга — самая любимая из всех, какие я когда-либо читал. Пусть Иммерман извинит мое тщеславное желание считать себя причастным к этой книге.

Я все еще не написал бы вам, если бы не внешний повод. Обещайте не смеяться, и я исповедуюсь вам чистосердечно.

Прошлой зимой дошло до меня, что в «Венских ежегодниках» появилась весьма любопытная рецензия на мои «Трагедии», а так как я жил тогда в совершенном уединении, то мне стоило многих забот и хлопот увидеть этот номер; позднее мне уже не удалось, несмотря на все эти заботы и хлопоты, приобрести его, так как книгопродавцы ссылались на то, что им придется выписывать его из Вены. Кроме того, им, мол, невыгодно продавать его отдельно, вырванным из всего годового комплекта, и т. д. И я был весьма рад, когда позже благодаря любезности моего издателя я его наконец получил. Все это снова всплыло в моей памяти, когда вчера я увидел последний том «Венских ежегодников» и нашел в нем чудовищно длинную рецензию на собрание ваших сочинений, написанную, очевидно, тем же автором, который рецензировал и меня. Хотя рецензия кажется мне слишком суровой, местами даже крайне несправедливой и совершенно несхожей с моими взглядами на вас, в ней все-таки много хорошего и краси-

вого, и меня обрадовало, что хоть раз-то ваши произведения кто-то обсудил серьезно и оценил высоко. Но тут же я представил себе бедного Иммермана в одиночестве, в прусской крепости, подумал, что он, конечно, не в состоянии достать этот том, и немедленно велел передать моему другу и издателю, книгопродавцу Кампе в Гамбурге, чтобы он непременно оставил за мною этот том «Венских ежегодников» и возможно скорее переслал его вам в подарок от меня. Думаю, что он скоро будет у вас. Ну же, смейтесь! Я сам смеюсь и даю вам на это разрешение.

В Гамбурге я очень много пропагандировал Иммермана, и названный Кампе — тоже ваш почитатель. Если ваш старый план журнала все еще жив в вашей памяти, то Кампе может оказаться самым подходящим человеком, чтобы издавать под нашей совместной редакцией тщательно продуманный журнал, особенно если будущей зимой в Гамбурге я лично изложу ему дело. Теперь я смогу прилежнее взяться за перо, и мне хочется издать что-нибудь вместе с вами. Со злосчастным альманахом «Рейнские цветы» я действительно подвел вас. Но меня самого подвели не меньше. Не давайте себя запугать! Если вы захотите дать что-нибудь во второй том моих «Путевых картин», то я предоставлю вам лучшее место и уплачу по два луидора за печатный лист, то есть столько же, сколько платит мне Кампе. Это было бы чудесно.

«Путевые картины» являются пока тем местом, где я преподношу публике все что мне угодно. На них огромный спрос, и вскоре они, вероятно, доживут до второго издания. Но я считаю, что второй и третий томы будут еще лучше.

Мой адрес: Г. Г., доктору прав, у С. Гейне в Люнебурге.

Будьте здоровы и любите вашего друга

*Г. Гейне.*

## 81. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Люнебург, 24 октября 1826 г.

Дорогой Фарнхаген!

Только не думайте, что я вам давно не писал; напротив, я вам много написал, но я разорвал письмо по совершенно понятной причине: в нем не было определенного содер-

жания. Что толку в том, что я пишу вам *raisonnements*,<sup>1</sup> раз они остаются незаконченными и отражают только текущее настроение, которое меняется ежеминутно. Но нашему брату очень трудно высказать в четких словах, чего он, в сущности, хочет, к чему по-настоящему стремится и т. д. Как редко мы знаем это сами! Но все, что я об этом знаю, я вам скажу.

Когда я получил письмо от вас и г-жи фон Фарнхаген, я пришел в восторг. Все дальнейшее вы знаете наизусть: я прочел милые письма три, четыре, тридцать, сорок раз, так что на сердце у меня стало весело, а в голове совсем ясно, и, словно звезда в ночи, зажглась во мне светлая мысль: я хочу ехать в Париж, да, да, в Париж!

В самом главном вы правы, дорогой Фарнхаген, это подходящее для меня место.

Однако обстоятельства мои очень запутаны, и дело сделается не так скоро. Во-первых, здоровье. Оно все еще не блестяще и требует больших жертв. Поэтому я еще раз съездил на морские купанья на Нордерней и пробыл там почти два месяца.

Конечно, это было полезно, но радикального действия я пока еще не ощутил и все еще остаюсь человеком, мучимым головными болями. Из задуманного тогда путешествия в Голландию ничего не вышло — там свирепствует лихорадка. К тому же, вначале я чувствовал себя на Нордернее хуже, чем обычно. Подвижным я стал только к концу своего пребывания. Может быть, вам будет интересно, что я познакомился там с князем Козловским, который был вашим коллегой, когда вы были посланником в Карлсруэ. Он говорил о вас и особенно о г-же фон Фарнхаген с большой теплотой. Как приятно мне было услышать где-то на песчаном острове Северного моря из уст русского хвалу г-же фон Фарнхаген! Я очень подружился с этим русским, *nous étions inséparables*,<sup>2</sup> и позднее мы снова с ним свиделись в Линденгофе в Бремене. Он еще не знает, может ли он вернуться в Россию или нет. Княгиня Сольмс с целой порцией готского календаря, который нам, бедным немцам, приходится кормить, тоже была там, но на этот раз я с ней имел мало дела.

---

<sup>1</sup> Рассуждения (*франц.*).

<sup>2</sup> Мы были неразлучны (*франц.*).

Я совершил прекрасное морское путешествие, с бурей, опасностями, восходами солнца, морской болезнью и всем что полагается. Но и на берегу мне довелось насладиться весьма прекрасными ночами.

Я уже месяц здесь, у моих родителей; пробуду, вероятно, еще два месяца, а отсюда поеду в Гамбург, чтобы напечатать вторую часть моих «Путевых картин». Там я проживу до весны, поеду морем в Амстердам, осмотрю Голландию, а затем направлюсь в Париж.

Удастся ли мне еще раз съездить на Рейн — неизвестно.

Но никто не должен знать, что я задумал это путешествие, особенно никто из тех, кто так или иначе связан со мной; им я все еще говорю, что поеду в Берлин, чтобы читать там курс. Если я в самом деле предприму это большое путешествие, об этом еще успеют узнать. А если не принять мер предосторожности, эти люди будут способны сбить человека с толку своей болтовней.

В Париже собираюсь поработать в библиотеке, посмотреть людей и свет и собрать материал для книги, которая станет европейской.

Во вторую часть «Путевых картин» войдут: во-первых, второй и третий разделы «Северного моря», третий — в прозе, второй будет состоять из огромных эпиграмм, еще более оригинальных и грандиозных, чем прежние; во-вторых, отрывок из моей жизни, написанный с самым задорным юмором (он вам понравится), и, в-третьих, известные вам заметки о Польше. Может быть, если размеры книги позволят, я дам публике, в-четвертых, «Письма из Берлина», написанные в 1822 году. Однако, не поймите меня превратно, письмо — только форма, для того чтобы с большей свободой высказать все, что я хочу. «Письма» я пишу, в сущности, только сейчас, частично используя для них остова «Писем», которые действительно были напечатаны в 1822 году в «Вестфальском вестнике».

Третий раздел «Северного моря» тоже состоит из писем, в которых я выскажу все, что мне захочется.

Все это я пишу вам с особой целью: дабы вы убедились, как легко мне вплести во вторую часть все, что мне заблагорассудится. Поэтому, если у вас явится особое желание, если вам захочется высказать что-либо или высечь кого-нибудь из наших задушевных друзей, то скажите мне

об этом или, еще лучше, напишите сами в моем стиле лоскуты, которые я влатаю в книгу, и вы можете положиться на святейшую мою скромность. Я теперь могу говорить все, и меня мало заботит, навяжу ли я себе на шею дюжиной врагов больше или меньше.

Пожелаете ли вы вставить в мои «Путевые картины» законченные отрывки на современные темы или просто пришлете мне проскрипционный список, — я полностью к вашим услугам. Мой адрес: Г. Гейне, доктору прав, у С. Гейне, на Рыночной площади в Люнебурге.

Робертам в Париж я еще не писал. Но вскоре напишу и сообщу им, что намерен туда приехать. Если бы я написал Роберту раньше, я сделал бы это главным образом ради моей лоскутной книги. Вначале меня очень заботила ее судьба; но теперь я спокойнее. Сердечно благодарю вас, дорогой Фарнхаген, за то, что вы сделали на благо моих «Путевых картин», господь да воздаст вам в собственных ваших духовных детях! Я тотчас же узнал вас в «Собеседнике». Выражения «католик» и «сильно магометанский» страшно меня позабавили. Вся ли статья написана вами, этого я расшифровать не смог. Книга наделала много шума и нашла большой сбыт. Мой издатель твердо обещал мне, что вскоре понадобится второе издание; тогда я напишу приличное посвящение и предварительно пошлю его вам на цензуру. Если в посвящении я совершенно точно назвал число 88, то это было сделано еще и с той задней мыслью, что в полном собрании моих стихов, которое я скоро выпущу в свет, я смогу особо украсить цикл «Опять на родине» именем г-жи фон Фарнхаген. Мои ранние мальчишеские стихи вместе с циклом «Опять на родине», «Интермеццо» и двумя разделами «Морских картин» составят прекрасный том, в который войдет вся моя лирическая юность, от начала и до конца. Пусть это тоже останется между нами, чтобы Маурер и Дюмлер не запротестовали. Они вынуждают меня действовать именно так. Самы они ничего не сделали и ничего не делают для моих стихов. Теперешний же мой издатель, Кампе, с которым я очень дружен, предложил Дюмлеру, чтобы тот уступил ему по дешевой цене остаток экземпляров «Трагедий», и после долгих пересудов получил от него ультиматум (я приложил его к письму), который, естественно, не может быть принят. Поэтому ничего и

никому не говорите о предполагаемом сборнике моих стихов. Скажите мне только, имею ли я на это право? Разумеется, многие стихотворения будут выброшены, многие переделаны и многие добавлены. При вашем большом опыте в литературных делах вы лучше всех можете посоветовать, как мне быть. Если бы Дюмлер уступил Кампе «Трагедии», то я ведь мог бы издать этот большой стихотворный сборник у Кампе. Он очень деятелен, умеет распространить книгу, сбыв пятьсот экземпляров «Путевых картин» в одном городе Гамбурге, и мои «Трагедии» приобрели бы большую известность. Как вы думаете, можно ли еще убедить Дюмлера? Отзывы в печати о моих сочинениях настроили Кампе в мою пользу, и он платит мне много денег. А это хорошо, это хорошая поддержка в трудные дни. С семьей моей я в добрых отношениях, и мое обывательское положение (вспомним, каким словом студенты называют деньги) можно было бы назвать сносным. Но личных огорчений у меня тьма, и от многого у меня щемит сердце. И, следовательно, вы видите, что было бы неразумно начинать письмо к г-же фон Фарихаген, если бы я даже надеялся дописать его до конца. Прилагаю обрывок старого, разорванного мною письма, которое как раз попало мне под руку. Прилагаю также письмо Карлу-Отто Раумеру, но не знаю, в Берлине он сейчас или в Штеттине. Поэтому прошу вас, разузнайте у университетского педеля или у историка, профессора Раумера (кузена вышеупомянутого), в Берлине ли он. Если нет, отправьте письмо почтой. Этот Отто фон Раумер — один из любимейших моих друзей; в Геттингене он долгое время был моим Лас Казесом, и, пользуясь этим случаем, я позволю себе дать ему рекомендательное письмо к вам. Он очень одаренный человек, но нужно потратить много времени для того, чтобы заставить его заговорить. Будьте здоровы и любите меня. Что мне сказать чудесной Фридерике? Где бы я ни находился, я думаю о ней. Я думаю о г-же фон Фарихаген, ego sum.<sup>1</sup> Вы видите, я не идеалист.

Обер-гегельянцу Гансу прошу передать мой сердечный привет; меня радует, что вы часто его видите. В последние полтора месяца я очень много с ним общался и полюбил его еще сильнее.

---

<sup>1</sup> Следовательно, я существую (лат.). (См. комментарий.)



На Нордернее я нашел ваши «Памятники-биографии», которые раньше только бегло прочел, а теперь прилежно изучил. Боже! Как можно так спокойно писать? Изображение короля Теодора нравится мне больше всего. Я узнаю в нем ваш живописный стиль; другие биографии, пожалуй, лучше, потому что они проще и меньше бьют на эффект. Я читал это описание на просторе, в прекрасные дни.

Ваш друг

Г. Гейне.

Поклонитесь от меня Шамиссо.

## 82. РУДОЛЬФУ ХРИСТИАНИ

Люнебург, середина ноября 1826 г.

При сем, дорогой Христиани, посылаю тебе вторую главу моих «Идей к истории». Повторяю: никому о них ни звука! Я требую с тебя честного слова. Никому! Я настаиваю на этом, ибо не уверен, что они будут изданы. Скажи мне завтра со всей резкостью свое мнение о форме и содержании этого маленького опуса. Прочти его без *предубеждения*. Не кляни мою суровость. Меня заставили поднять меч, но, увы, я слишком хорошо знаю, что подъявший меч от меча и погибнет. Правда, мое положение никогда не способствовало тому, чтобы из меня выработался певец томных любовных песен. Auh armes, auh armes! <sup>1</sup> — всегда раздавалось у меня в ушах. Alea jacta est! <sup>2</sup>

Гейне.

## 83. ФРИДРИХУ МЕРКЕЛЮ

Люнебург, 16 ноября 1826 г.

Дорогой Меркель!

Я вспоминаю тебя так часто и думаю о тебе так много и так подолгу, что, право же, затрудняюсь сказать, кому из нас пришел черед писать: то ли мне, то ли тебе; ты-то уж, во всяком случае, должен написать. По крайней мере, я узнал вчера от обер-синдика Кюстера (за обедом в клубе Каулица), что ты, как говорят, находишься в добром

<sup>1</sup> К оружию, к оружию! (*франц.*).

<sup>2</sup> Жребий брошен! (*лат.*). (См. комментарии.)

здравии. О себе я этого сказать не могу. Я чувствую себя по большей части en misère.<sup>1</sup> Пишу я мало, по то немногос. что написал, получилось хорошо и должно тебе понравиться. Я много размышляю, много читаю, и со временем из меня будет толк. Кампе передай сердечный привет, скажи ему, что *наша* книга хоть и несколько медленно, но все же хорошо подвигается вперед. Она очень порадует Кампе, но в то же время сильно *напугает* его. Все-таки ты мне должен написать поскорее и побольше. Я живу здесь очень уединенно. Мне надо еще поблагодарить тебя за «Иенскую литературную газету». «Утренняя газета» и «Экстренная почта» сюда не приходят, и было бы очень хорошо, если б ты прислал мне на несколько дней номера обеих газет с середины июля по сей день.

«Путевой очерк курьера» в «Полуночной газете» я прочел. О боже мой, кто же все-таки это написал? Очерк забавен и в то же время сильно меня смущает. Ты меня понимаешь. Там есть места, на которые я просто обязан хоть как-то откликнуться. Я еще напишу тебе об этом подробнее. Ты только присматривай хорошенько за *неповешенным Черномазым* (*неповешенный Черномазый* — это звучит примерно так же, как *великий Неизвестный*), и как только узнаешь о какой-нибудь скверной его затее, сразу же напиши мне! *Клянусь честью*, я не знаю, кто такой этот «курьер», хотя все уверены, что все это написал я. В Винебуттель я хожу часто. Твой зять пастор находится в добром здравии.

Вчера получил письмо от четы Фарнхаген; письмо г-жи Фарнхаген пересылаю тебе, только прошу ни под каким видом никому его не показывать и тотчас же возвратить его мне. В нем говорится главным образом о моем письме к ней и прежде всего о моем плане — уехать в Париж и написать там книгу европейского значения. Об этом плане никто не должен ничего знать. Я намереваюсь дать нечто лучшее, чем леди Морган; задача состоит в том, чтобы касаться только вещей, представляющих интерес для всей Европы.

Вчера прочел в «Полуночной газете» между прочим и гнусности Мюльнера насчет моих «Путевых картин». Ведь этот человек только и умеет, что оскорблять. Он

---

<sup>1</sup> Несчастливым (*франц.*).

наверняка подумал, что *мой* «Черт» относится к нему. Он повсюду видит только самого себя.

Циммерману передай от меня сердечный привет и просьбу, чтобы он сохранил свое расположение ко мне. Только что я увидел в газете объявление о его лекциях и очень сожалею, что меня там нет. Я собираюсь приехать только в середине января. Однако постой! Ведь самое важное, о чем я собирался сообщить тебе, — это один проект, который мы с Христиани обдумываем вот уже три недели. Как ты смотришь на то, чтобы устроить как-нибудь встречу на Цолленшпикере? Мы с Христиани едем туда, встречаем тебя около полудня, и к вечеру каждый из нас снова дома. Назови мне день, и я тотчас же напишу тебе, согласны ли мы.

Не знаю, что мне делать с книгами, полученными от Кампе. Как отправить их обратно? Я не умею упаковывать и все время утешал себя тем, что рано или поздно мы встретимся на Цолленшпикере, где я отдам их тебе. А пока что мне очень нужна еще одна книга, а именно «Путешествие Лайэла по России и Польше», на английском; если она есть у Кампе, постарайся, чтобы он выслал ее мне. Я читаю сейчас «Историю литературы» Фридриха Шлегеля и вижу по прилагательным, которые он там употребляет, что рецензент «Венских ежегодников» — это он.

Некоторые из моих друзей настаивают на том, чтобы я издал сборник избранных стихотворений, расположив их в хронологическом порядке и строго отобрав лучшие; они полагают, что такой сборник станет столь же популярен, как и собрания стихотворений Бюргера, Гете, Уланда. Фарнхаген сообщает мне некоторые правила на этот счет. Я включил бы часть моих первых стихотворений, — я вправе сделать это, так как Маурер не заплатил мне ни одного пфеннига гонорара и к тому же злонамеренно обошел меня; я возьму почти все «Интермеццо», — Дюмлер не смог бы обидеться на меня за это, — а затем более поздние стихи, если только Кампе захочет издать книгу (а я не потребовал бы от него ни одного шиллинга гонорара) и не испугается, что это может повредить «Путевым картинам». Как я уже сказал, я не стал бы требовать за эту книгу ни единого шиллинга, для меня здесь было бы важно только одно — дешевизна книги и все, что содействовало бы ее популярности. Я был бы рад показать Мауреру

и Дюмлери, что могу обойтись и без них, и эта книга стала бы самым главным моим произведением; она дала бы картину моего духовного развития: сначала мрачно-серьезные юношеские стихи, затем «Интермеццо» вместе с циклом «Опять на родине», далее чисто лирические стихи поры расцвета, например из «Путешествия по Гарцу», несколько новых и, в заключение, все «колоссальные эпиграммы».

Постарайся же выведать у Кампе, нравится ли ему такой план и считает ли он, что подобная книга (она была бы не просто обыкновенным сборником стихов) может быстро разойтись; если нет, то я постараюсь навсегда забыть об этом великолепном плане. Я называю его великолепным, так как с ним у меня связаны кое-какие замыслы; зная вкусы публики, я сумел бы связать эти замыслы с ее злободневными интересами; однако мне пришлось бы основательно поработать, в частности над предисловием.

Но у меня уже кончается бумага. Напиши мне поскорей, не забывай нашей дружбы и верь, что я, несчастный, усталый человек, чья несчастная голова тоже так устала, неизменно остаюсь сердечно любящим тебя другом.

Твой  
Г. Гейне.

#### 84. ФРИДРИХУ МЕРКЕЛЮ

Люнебург, 1 января 1827 г.

Желаю счастья в новом, 1827 году!

От всей души желаю тебе счастья, дорогой Меркель! Я засел в моих писаниях по самые уши, а то написал бы тебе больше; мне приходится ограничивать себя. Поэтому отвечаю на твое вчерашнее любезное письмо лишь в нескольких словах.

В «Морских картинах» обязательно поставь «ausschilt»<sup>1</sup> вместо ошибочно написанного «ausscheltet». Вместо «gottgeschwängerte Jungfrau»<sup>2</sup> можешь поставить «gottbefruch-

<sup>1</sup> Ругает (нем.). (См. комментарий.)

<sup>2</sup> Дева, забеременевшая от бога (нем.).

tete». <sup>1</sup> Впрочем, все это относится к царским дочерям, которые неоднократно беременели от Юпитера, за что их каждый раз преследовала Юнона, точно так же, как она всегда преследовала Геркулеса, сотворившего двенадцать чудес, за то, что он тоже был незаконным сыном Юпитера. Но слова «Metze» <sup>2</sup> я не уступлю, оно должно остаться, ведь именно это плебейски бранное слово внушает сострадание к трагической судьбе прекрасного солнышка; в конце концов этот брак погубит его, это будет гибель солнца, его *закат*.

В общем ты судишь верно, эти три картины хороши. Они показывают, насколько я вырос в искусстве трагического юмора. Во второй части будет еще много подобных мотивов. К сожалению, мне надо закончить книгу как можно скорее, — я просто обязан сделать это, иначе я считал бы себя подлецом, — мне надо дописать ее так быстро, чтобы Кампе увидел, что я готов оказать ему услугу и что он может на меня положиться. Я собираюсь быть там еще за несколько дней до 15-го, затем книгу начнут печатать, и я твердо рассчитываю быстро закончить все. Чувствую себя довольно плохо.

«Unauslöschliches Gelächter» <sup>3</sup> — гомеровское выражение, и его надо оставить.

Если слово «Josty-Baisers» <sup>4</sup> написано неверно, измени его.

Нет ли у тебя № 307 «Галлеской литературной газеты»? Если есть, вышли его мне на денек, я очень прошу тебя сделать это.

Мне очень приятно, что Кампе собирается издать кое-что из вещей Иммермана; в свое время я указал Иммерману на Кампе как на человека, с которым можно делать дела, — ведь я знал, что этим окажу большую услугу и самому Иммерману. Трудно передать словами, как радует меня всякая возможность показать Иммерману, как близко к сердцу принимаю я его интересы. Однако не пойми меня превратно, интересы Кампе я тоже принимаю близко к сердцу.

---

<sup>1</sup> Зачавшая от бога (нем.).

<sup>2</sup> Потаскушка (нем.).

<sup>3</sup> Неукротимый смех (нем.). (См. комментарии.)

<sup>4</sup> Сладкие булочки (франц.).

Спасибо тебе за потешного морского кобольда. Яну ван Генту я уже вчера вечером нашел применение.

В Гамбурге мне понадобится тихая квартира, желательно где-нибудь между типографией и Альстерским павильоном. Если пойдешь погулять, посмотри, не увидишь ли чего-нибудь в этом роде. Однако я говорю это лишь между прочим, просто чтобы ты знал; ведь сначала мне все равно придется остановиться в гостинице.

Христиани рассказывает, что ты повздорил с Адольфом Эмбденом, — это показалось мне весьма забавным. Этот Эмбден — внешне благопристойный негодяй.

Очень приятно слышать, что Кампе донес на Черномазого, я ему благодарен за это. Передай ему сердечный привет.

Твой верный друг

Г. Гейне.

Я тебе как-то рассказывал об этом, так что ты сразу вспомнишь: Черномазый распустил по всему свету враки, будто бы Абендрот разговаривал со мной очень резко, перед ним же Абендрот якобы рассыпался в любезностях, и теперь он считает себя вправе зазнаваться. Поэтому мне хотелось бы, чтобы Кампе сообщил Михаэлису запиской результаты беседы с Абендротом; эту записку, из которой было бы видно, в каких я отношениях с Абендротом, Михаэлис непременно покажет всем детям Израиля с улицы Штейнвег и этим окончательно опорочит презренного лжеца.

Забыл тебе сказать, почему я так приветлив к В. Алексису. Во-первых, он мне и в самом деле нравится; во-вторых, он ближайший друг г-на фон Юхтрица, с которым я на прошлой неделе весьма варварски разделался за вторую часть. Иронию в адрес Гитцига ты, очевидно, понял. Однако с иронией мне надо быть осторожным, а то в конце концов мне перестанут доверять даже лучшие друзья, например Меркель. Почему ты решил, что мерка для шляпы снята с моей головы? Передай привет Циммерману; было бы очень досадно, если б мне не удалось застать хотя бы одну из его лекций. Если увидишь Прецеля, спроси его, правда ли, что у него есть для меня письмо. Но это не «поручение».

## 85. ФРИДРИХУ МЕРКЕЛЮ

Люнебург, 10 января 1827 г.

Дорогой Меркель, извини, что я забыл вернуть тебе номер «Литературной газеты».

Писать я тебе сегодня не буду. Ведь в понедельник утром мы снова увидимся. В воскресенье вечером я приеду в Гамбург.

Я проделал здесь адский труд. Самое скверное — это проклятая переписка. Переписав все начисто, я смогу тут же выслать тебе самый блестящий раздел моей книги. И ты увидишь: *le petit bonhomme vit encore!*<sup>1</sup> Книга надевает много шуму, и не потому, что в ней много скандального и личного, а потому, что там высказываются идеи, интересующие весь мир. Наполеон и французская революция изображены в ней во весь рост. Не говори никому ни слова об этом, сейчас еще слишком рано, и я не решаюсь ознакомить с содержанием книги даже Кампе. Пока я не отослал ее туда, никто не должен знать ни полслова из этой книги. К тому же, мне предстоит еще немало поговорить с ней; хорошо, что Кампе хоть отчасти избавил меня от беспокойства, которое я испытывал в связи с Черномазым.

Будь здоров и люби меня.

Твой друг

Г. Гейне.

## 86. ФРИДРИХУ МЕРКЕЛЮ

Лондон, 23 апреля 1827 г.

Милый Меркель!

На дворе идет снег, и в камине моем нет огня, отсюда — прохладное письмо. Кроме того, я расстроен и болен. Я видел и слышал уже достаточно, но нет еще никакого ясного представления. Лондон превзошел все мои ожидания в смысле грандиозности, но я потерял себя. Я сделал еще мало визитов, — друзей твоих я еще не видел, — и до сих пор главным моим развлечением был театр.

---

<sup>1</sup> Жив курилка! (франц.).

Я с нетерпением жду от тебя весточки; адрес мой, правда, обозначен на этом письме, но сомнительно, проживу ли я здесь более недели, и прошу тебя адресовать свои письма «Б.-А. Гольдшмидту и К<sup>о</sup>», проезд св. Елены, д. 5. Если для меня придут письма на адрес Кампе, то собери их и перешли мне с оказией по указанному адресу г-на Гольдшмидта. Если оказии не представится, будь добр, вскрой их, как мы договорились, и сообщи мне содержание. Только я хотел бы, чтобы письма из Дюссельдорфа, Геттингена и Мюнстера ты не распечатывал, а просто сообщал мне, что они получены. Вообще тебе будет легко самому определить, какие письма литературные, а какие семейные; само собой разумеется, я не имею права своевольно распоряжаться содержанием этих последних.

Я мерзну и страдаю ужасно.

Передай от меня самый сердечный привет Кампе. Я с нетерпением жду от него вестей о том, как дела с книгой, и хочу знать, остается ли он по-прежнему спокоен, философски спокоен за ее судьбу. Я слишком болен, чтобы писать, но ближайшей моей работой будет предисловие к стихам. Затем приступлю к переделке «Ратклифа».

Я пробуду в Лондоне самое большее до середины июня; потом отправлюсь на три месяца на какой-нибудь английский морской курорт. Купанья мне совершенно необходимы. Страшно разорительна здешняя жизнь, — до сих пор я расходую больше гиней ежедневно. Полтора фунта на стол и чаевые мне пришлось израсходовать еще на пароходе, за немногие мои книги я уплатил около фунта пошлины и т. д. Даже книги здесь безумно дороги.

Ничего, кроме тумана, угольной копоти, портера и Каннинга. Моих друзей в Вестминстерском аббатстве я еще не навестил.

Кланяйся моему брату; пусть он или твой слуга справятся на прежней моей квартире, не передавали ли туда чего-нибудь в день моего отъезда. Передай мой сердечный привет Циммерману; мне не хватает его ежедневно. Надеюсь, милый Меркель, что будущей зимой мы все с удовольствием встретимся в Гамбурге. Но это пока еще великая государственная тайна. Пиши мне поскорей и побольше. Скажи мне, о чем говорят люди.

Доктора Либера, знакомого Кампе и Бука, которого я должен был разыскать, я еще застал, но, по слухам,



он в ближайшую субботу отправляется в Америку. Бедные немцы! Что еще будет со мной в этой жизни! Я никогда не смогу, несмотря на стремление быть благоразумным, перестать выкидывать глупые шутки, то есть говорить в духе свободолюбия. Мне любопытно узнать от тебя, не обиделось ли на мою книгу какое-нибудь правительство. В конце концов хочется спокойно сидеть у своего очага на родине, читать «Немецкий вестник» или «Галлескую литературную газету» и есть немецкий бутерброд. Здесь так страшно сыро и неудобно, и ни один человек не понимает тебя, ни один человек не говорит по-немецки.

Будь здоров!

Твой друг

Г. Гейне.

## 87. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Лондон, 1 мая 1827 г.

Хотя я пишу редко, но часто думаю о Германии и о Французской улице, д. 20. Пусть этот листок, милый Фарнхаген, передаст вам много самых сердечных приветов. Г-же Фарнхаген я могу даже и не писать. Она и так знает все, что я мог бы ей сказать и что я чувствую; она знает все, что я думаю и чего не думаю, — мне не нужно и извиняться перед ней за свое долгое молчание. Ведь все это время, и внутренне и внешне, я был так удручен, что не мог сказать вам ничего разумного. А мужчины, даже если они и не завязанные рационалисты, все же всегда предпочитают слышать что-нибудь разумное.

За ваш подарок (книгу) благодарю вас. Но бог мой! Как можно писать такие толстые книги! Ваш «Блюхер» мне очень понравился. Я дважды прочел его и поражаюсь тому, как тонкий дипломат сумел обработать этот *грубый* материал, ничего не исказив. Образ Блюхера очень импозантен. Гастроли его в Англии описаны бесподобно. Под рецензией Арнима я подписываюсь целиком. Сопоставление Блюхера с Наполеоном великолепно. Оно верно. И это признает автор «Книги Ле Гран».

Как странно, что два единомышленника в одно и то же время, и оба с энтузиазмом, показывают обществу двух

его самых враждебных друг другу вождей: Наполеона и Блюхера. Но думаю, что мы оба все же стремились к одной и той же цели и останемся единомышленниками. Однако, признаюсь, я не испытываю приязни, читая вашего «Блюхера». Быть может, во мне еще звучит эхо леграновских маршей. Я сержусь, когда подумаю, что человек идеи, человек, ставший идеей, — Наполеон — уничтожен двумя, из которых один был гусаром, играющим в фараон, а другой был — или, лучше сказать, является и сейчас — английским бездельником, лишенным всякого возвышенного чувства. Вы вряд ли можете себе представить, какой жалкий у него был вид, когда на прошлой неделе я его встретил возвращающимся из Сент-Джеймса. Может быть, его всемилостивый король, пожимая плечами, только что сообщил ему о полной победе Каннинга, и он читал ее на смеющихся лицах проходящих англичан. На этот раз идея победила без помощи пушек, и победитель при Ватерлоо вынужден был ретироваться.

Вы, конечно, получили мою книгу, переплетенную в красное для г-жи фон Фарнхаген, и от моего имени преподнесли ее милой Фридерике. Мозеру вы, вероятно, уже тоже переслали пакет. Мне пришлось поручить отправку этих книг третьему лицу, так как я слишком поспешно уехал из Гамбурга. Поэтому я не успел сопроводить их ни единой строчкой. Меня прогнал не страх, а скорее закон благоразумия, который советует не рисковать там, где ничего нельзя выиграть. Если б я имел надежду устроиться в Берлине, то, нисколько не смущаясь содержанием моей книги, направился бы прямо туда. Думаю, что поскольку у нас разумное министерство, у меня сейчас больше шансов поступить на службу, чем когда бы то ни было, и, вероятно, в конце концов я снова вернусь к вам в Берлин. Я уехал из Гамбурга как раз в тот день, когда вышла книга (чего стоило побороть себя), — поэтому я еще ни слова не слышал о ее судьбе. Но мне она известна заранее, ведь я знаю моих немцев. Они будут напуганы, начнут раздумывать и не сделают ничего. Я сомневаюсь даже в том, что книга будет запрещена. Но написать ее было необходимо. В наше мелкое, раболопное время надо было хоть что-то предпринять. Я свое дело сделал и посрамил жестокосердых друзей, которые когда-то собирались сделать так много, а теперь молчат. Когда они вместе стоят

в строю, то мужества хватает даже у самых трусливых рекрутов, но настоящую храбрость проявляет тот, кто ведет борьбу один. Я также предвижу заранее, что «благонамеренные люди страны» будут рьяно поносить мою книгу, и я не могу обижаться на друзей за то, что они молчат об опасном произведении. Я прекрасно понимаю, что нужно находиться в независимости от государства, чтобы высказаться о мосм «Ле Гране». Думаю, что Роберт благодаря своему теперешнему положению был бы самым подходящим лицом, чтобы встать на защиту книги. Правда, я ему не писал, но ведь я знаю, что он и сам враг длинных писем. Сознаюсь, что, как ни одарена духовно его жена, я все же охотнее смотрю на нее, когда она говорит, чем читаю то, что она пишет. Между нами будь сказано, писать красивой женщине кажется мне столь же бесцельным, как вступить в переписку со страсбургским паштетом. Все в мире должно быть использовано согласно своему назначению. Прекрасные глаза, блеск которых радует наше сердце, и паштет из трюфелей, аромат которого нас восхищает, очень проигрывают на расстоянии. Если будете писать Робертам, то сообщите, что я пробуду здесь еще месяц, затем два с половиною — три месяца буду купаться на английском побережье, потом отправлюсь в Париж и при моем возвращении в Германию поеду через Карлсруэ. Если за это время вы пожелаете мне что-нибудь сообщить, пишите на адрес «Б.-А. Гольдшмидта и К°» в Лондон. Эта фирма всегда знает, куда пересылать мне письма. Излишне напоминать, что закрытое письмо оплачивается здесь вдвое. Если вы хотите использовать мое пребывание в Лондоне, обратите на что-нибудь мое внимание, мне это будет очень приятно. Если вы переписываетесь с Коттой, то спросите его, не пожелает ли он использовать меня здесь или в Париже для своей «Утренней газеты». Только это нужно сделать поскорее. Само собой разумеется, что если мне придется задержаться в Англии ради него, ему придется платить мне солидный гонорар. Здесь все беспримерно дорого; так как я осматриваю все, то мне ежедневно приходится тратить больше гиней. Это очень много для немецкого писателя.

Передайте от меня пизкий поклон Гансу и Шамиссо. Сестру вашу и доктора Асснига я видел в Гамбурге незадолго до своего отъезда. У них все благополучно.

Со своей семьей я в хороших отношениях. Единственный, с кем у меня в семье плохие отношения, — это я сам. За это время я перенес много душевного горя. Мои головные боли еще не утихли, а старые сердечные раны гноятся. В данный момент я погружен в глубокое оцепенение, словно в свинцовый гроб. Боюсь, что скоро заболею серьезно.

Будьте здоровы. Бумага копчилась. Целую руку г-же Фарнхаген и остаюсь

вашим

Г. Гейне.

## 88. ФРИДРИХУ МЕРКЕЛЮ

Лондон, 1 июня 1827 г.

Дорогой Меркель! Не вздумай принимать мою медлительность в писании писем за что-то обдуманное и преднамеренное. Просто я скверно настроен, а кроме того, так болен и мысли мои так мешаются, что я не могу писать. На днях собираюсь поехать на морские купанья; фирма «Б.-А. Гольдшмидт и К<sup>о</sup>» получила распоряжение пересылать мою почту следом за мной, и ты можешь не прерывать переписки. Благодарю за сообщенные тобой известия. Ответить смогу лишь после того, как немного приду в себя. Насчет «Ратклифа» тоже. Сейчас я слишком en peine.<sup>1</sup> И телом и душой. Относительно стихов тоже не могу пока ответить. Я просто бешусь при мысли о том, как Кампе мучил меня ими перед отъездом. Из Берлина — приятные вести. Даже совершенно незнакомые мне люди в восторге. Но вот Фарнхаген пишет: «Ваша книга падела шуму, и большого шуму; Дюмлер и иже с ним мерят на свою книготорговую мерку и относят ее к хорошим книгам; зато читатели в недоумении, — они не знают, не лучше ли им будет скрыть свои симпатии к этой книге и не признаваться в них публично; даже друзья притворяются ужасно добродетельными, и каждый старается показать, что как ученый и гражданин он — сторонник порядка». Короче, раболопный страх заставляет этих людей бранить всю книгу. Зато какой резкий контраст

<sup>1</sup> Страдаю (франц.).

представляет откровенное, искреннее письмо из южной Германии, из Аугсбурга! Уже не в первый раз получаю я оттуда заманчивые предложения. Но, увы, я прикован к северной Германии. Чудесная мысль — стать предводителем либералов в Баварии. Но, увы, я болен, разорен и опутан цепями.

В следующую зиму мы увидимся в Гамбурге — вот то единственное, что я могу тебе сказать с полной уверенностью. В остальном все мое будущее скрыто густым туманом.

Ни в коем случае не рассказывай Кампе о предложениях Котты; да ты и не вправе сделать это. Я решительно не намерен преждевременно тревожить Кампе. Сейчас это было бы бесполезно, и он мне слишком дорог, чтобы я стал без нужды колоть его самолюбие. Он много делает для моих чад, и я ему благодарен. Но на его щедрость я никогда больше не буду полагаться. То, что он урвал у меня тридцать луидоров моего гонорара, на которые я твердо рассчитывал и которые я честно заработал, что он не пожелал выслушать меня, *что мою последнюю книгу он рассматривает с точки зрения торговца модными новинками, которому не терпится получить барыши*, и т. д. — все это временами раздражает меня еще и до сих пор. Правда, за те сорок луидоров, что он мне дружески одолжил, пустившись на этот риск совсем вслепую, я готов многое ему простить. И все-таки он никогда не доверял мне по-настоящему: когда я рассказал ему, каких жертв стоила мне моя последняя книга, он отмахнулся от моих слов, как от пустой фразы, и точно так же он ответил на мои заверения в том, что Котта давно уже предлагает мне наивысшие гонорары за мои статьи в «Утренней газете», — короче говоря, у него никогда не было доверия ко мне. Но теперь я начну действовать, и пусть он меня узнает на деле.

Ах, я сегодня мрачно настроен, болен и не в состоянии рассуждать здраво. И все-таки за все впечатления, которые я здесь почерпнул, мне приходится платить золотом. Бывают дни, когда я трачу несколько гиней. Об Англии я ничего не стану писать; ни один книготорговец не оплатит моих расходов. Вчера я подумал, не написать ли мне несколько статей об Англии для «Утренней газеты». Но и ради этого не стоит стараться. В политическом отношении мне пришлось бы держать себя в узде, и если бы позднее я переиздал эти вещи отдельной книгой, они потеряли

бы всякий интерес. Самое лучшее не писать ничего. Мысли и впечатления, накопленные за это время, пригодятся для будущих произведений, которые от этого станут еще лучше. Итак, я не хочу быть дураком и не стану писать *хорошие* книги (как понимает это слово Дюмлер). Котту я еще сумею использовать. Собираюсь написать несколько статей для «Утренней газеты», но только не об Англии.

Прости меня, дорогой Меркель, за сегодняшнее ворчливое письмо, в котором только и речи, что о низменных интересах. Но эти-то низменные интересы и заставляют меня быть вечно недовольным. Я живу здесь очень замкнуто: так мне нравится. Тем не менее здешние газеты узнали — бог весть как — о моем пребывании в Лондоне и среди других важных политических известий сообщили и эту новость, добавив, что я нахожусь здесь проездом во Францию. Напомни Кампе о моем желании, чтобы «Гамбургский корреспондент» уведомил своих читателей в разделе «Внешняя хроника» о моем путешествии в Англию. Кстати, и мои друзья узнают тогда, почему я не пишу. Иммерману я все еще не написал. Позор! Постарайся достать «Берлинские литературные ежегодники», и если найдешь там критику Иммермана на меня, позаботься о том, чтобы распространить ее пошире среди публики, например частично перепечатав ее в каком-нибудь подходящем издании.

Пиши мне почаще и побольше. Передай привет моему брату; собираюсь вскоре написать ему. Циммерману тоже передай сердечный привет. «Драматургические листы» от «Трейтеля и Вюрца» все еще не получал. Но у Мошелеса они есть, и он дал мне первых два номера. Они великолепны. Я часто бываю здесь в театре и каждый раз думаю: вот бы Циммерману взглянуть на все это через свои критические очки! Как много нового мы узнали бы, какие интересные сравнения услышали. Как приеду, порасскажу вам о многом.

Будь здоров, не забывай меня и поскорее напиши

твоему другу

Г. Гейме.

Письмо г-жи фон Фарнхаген в высшей степени интересно и остроумно; при случае познакомлю тебя с ним.

Лондон, 9 июня 1827 г.

Дорогой Мозер!

Прости мне мою медлительность в писании писем. За последнее время меня совсем загоняли. Перед отъездом из Гамбурга я принял меры, чтобы тебе выслали мою книгу. Я думал, что это сойдет в твоих глазах за письмо. Из книги ты, очевидно, понял, что я продумал, прочувствовал и перестрадал за последний год. Думаю, что «*Le Gran*» тебе понравился; все остальное в моей книге, не считая стихов, — это просто похлебка для публики, и публика поедает ее с большим аппетитом. Благодаря этой книге я приобрел в Германии множество сторонников и огромную популярность; если я поправлюсь, я смогу многое сделать; теперь мой голос разносится далеко. Ты еще не раз услышишь его, мой голос, громящий палачей мысли и врагов священнейших прав человека. Я еще стану совершенно экстраординарным профессором в университете великих мыслителей.

Главной целью моего сегодняшнего письма является повторение старого текста: что я тебя люблю и что мне хотелось бы сохранить навсегда твою любовь. В качестве доказательства моей любви возвращаю тебе сегодня десять луидоров, которые ты одолжил мне еще в стародавние времена. Обычно я возвращаю деньги только моим лучшим друзьям. Эти деньги были мне тогда очень пужны, и, возвращая их, я хочу, кстати, поблагодарить тебя за то, что ты так по-дружески выручил меня в тот раз. Я знаю, что все эти изъявления благодарности тебе не понравятся, но не могу обойтись без них, — ведь мне так редко приходится благодарить. Что касается остатка в двенадцать луидоров, который получается, если вычесть десять луидоров моего долга из суммы в двадцать два луидора, обозначенной на вложенном в письмо переводе, то этими деньгами я хотел бы распорядиться следующим образом.

Пять луидоров я должен ассессору Христиану Зете, который сейчас находится, по всей вероятности, в Мюнстере и адрес которого ты можешь узнать у его отца, председателя кассационного суда в Берлине; мне хотелось бы, чтобы ты послал ему эти деньги от моего имени и добавил бы от себя, что я распорядился об этом из Лондона.

Два луидора я задолжал еще в Геттингене моему другу Карлу фон Раумеру, студенту-юристу, также проживающему в Берлине, Маурерштрассе, д. 53, и если ты не предпочтешь послать их ему от моего имени, то я хотел бы, чтобы ты вручил их лично, заверив его при этом, что я нахожусь в полном здравии, а то он еще подумает, что я лежу при смерти: ведь он знает, что уплата долгов — не моя страсть. Это один из моих лучших друзей, и он может рассказать тебе о моей жизни в Геттингене. И, наконец, еще один луидор я, помнится, должен нашему славному Иозефу Леману, и коль скоро я так расщедрился, то прошу тебя заплатить заодно и ему. Правда, наш славный Леман, наверно, не захочет и вспоминать об этом маленьком долге, но зато у меня память хорошая. Скажи ему, что скоро я сам ему напишу. После этих выплат у тебя из моих денег останется четыре луидора, и позднее я скажу тебе, что с ними делать. Я не хочу давать тебе повод посмеяться надо мной, а тем более так много поводов сразу. Прости, что наделал тебе хлопот.

Как я здесь живу, ты можешь себе легко представить, так как ты знаешь и меня и Англию. Я многое здесь повидал и многому научился. На днях собираюсь поехать на один английский морской курорт. Фирма «Гольдшмидт и К<sup>о</sup>» в Лондоне, в адрес которой приходят мои письма, получила от меня распоряжение пересылать их мне.

Здоровье мое все никак не улучшается; все еще не могу отделаться от моих давнишних головных болей.

Уехал я главным образом для того, чтобы расстаться с Гамбургом. Надеюсь, я найду в себе силы не возвращаться туда. В Берлин меня тоже не особенно тянет. Плоская жизнь, сдобренный островами эгоизм, сдобренный островами песок. Здесь же все слишком дорого и слишком обстоятельно. Здесь многое привлекает меня: парламент, Вестминстерское аббатство, английская трагедия, красивые женщины. Если я выберусь из Англии живым, то женщины в этом не будут виноваты: они свое дело знают. Английская литература сейчас в жалком состоянии, еще более жалком, чем наша, а ведь этим многое сказано.

Если ты можешь сделать что-нибудь для второго тома «Путевых картин» в тамошнем журнальном мире, то поста-



райся сделать это. В подлых нападках на меня недостатка, конечно, не будет, а друзья обычно отмалчиваются. Впрочем, чиновникам, к тому же состоящим на прусской королевской службе, не совсем удобно честно высказываться о моей книге. Вот я и хочу, чтобы ты, не чиновник, обратил на нее внимание. Я, правда, знаю, что из этого ничего не выйдет, — ты слишком глубокомыслен, и тебя не так-то легко уговорить, чтобы ты писал. Не мешало бы тебе быть чуть-чуть более поверхностным. Ведь что, в конце концов, значит быть глубоким? Разве яма более глубока, чем плоское зеркало, которое отражает ее самые глубочайшие глубины?

Будь здоров и передай привет Гансу и Цунцу, двум добрым друзьям. Я часто вспоминаю Ганса и всегда думаю о нем с теплым, сердечным чувством. Привет г-же Цунц. Когда увидишь Бендавида, кланяйся ему от меня, а также старому Фридлиндеру; этих людей я уважаю. Если собираешься написать мне, пиши поскорее. Кланяйся Лессману. Советнику Гитцигу засвидетельствуй, если его увидишь, мое почтение; перед отъездом я отдал моему книготорговцу распоряжение, чтобы он выслал Гитцигу мою книгу.

Сегодня хорошая погода; в Лондоне это большая редкость. Хочу навестить приезжих китайнок, с которыми я здесь подружился.

Твой друг  
Г. Гейне.

## 90. ПОГАННУ-ГЕРМАНУ ДЕТМОЛЬДУ

Рамсгет, 28 июля 1827 г.

Мой милый молодой коллега!

Ваше письмо из Геттингена шло очень долго. Его поздно переслали в Англию, а здесь поздно передали мне. Оно меня порадовало.

Вам сказали правду, сообщив, что ваши первые произведения, которые кто-то прочитал мне вслух в Геттингене, произвели на меня большое впечатление. Однако признаюсь вам, что это впечатление было не слишком радостным. Мне жаль, что ваш талант обращен к той ночной стороне поэзии, которую с таким блеском уже изобразил Гофман.

Блеск ночной стороны! Я много общаюсь здесь с ирландцами, и каждое слово под моим пером становится ирландской bull. <sup>1</sup>

Оставьте Гофмана с его привидениями, которые тем ужаснее, что они разгуливают по рыночной площади среди бела дня и ведут себя как наш брат. И это я, это Гейне дает вам такой совет. И в то же время я показываю пример, как можно самому вытащить себя за волосы из этой бездны. Теперь я нахожусь наверху, то есть на east cliff <sup>2</sup> в Рамсгете, и сижу на высоком балконе, и в то время, как я пишу, я вижу внизу прекрасное море, волны которого карабкаются на скалы и радостной музыкой звучат в моем сердце. Я говорю вам это для того, чтобы вы знали, что мой добрый совет нисходит с прекрасных, здоровых высот. Пришлите мне ваши произведения, и я охотно выскажу о них свое мнение. Пошлите их по адресу: Г. Г. доктору прав, оставить у «Гофмана и Кампе» в Гамбурге.

Я собираюсь покинуть Англию, где живу с апреля, проехаться по Брабанту и Голландии и через несколько месяцев вернуться в Германию. Я охотно помогу вам при вашем дебюте. Советую вам выступить не под собственным именем и поэтому рекомендую первые произведения, предназначенные вами для печати, не показывать *добрым друзьям*. Помочь вам они ничем не смогут, повредить же могут во всех смыслах. Советую вам также дебютировать с прозой и с удовольствием вижу, что вы прислали мне больше прозы, чем стихов. Ваш пакет смогу получить только через три месяца, поэтому у вас есть время. Будьте здоровы, набирайтесь побольше конкретных знаний. Они нужны писателю.

Если брат мой еще в Геттингене, сходите к нему и передайте ему мой привет. Конечно, вы можете ему сообщить из моего письма все, что касается меня лично. Скажите, что я не пишу ему потому, что слишком ленив. Он человек одаренный, и я его очень люблю.

Преданный вам

Г. Гейне.

---

<sup>1</sup> Забавной несуразицей (англ.)

<sup>2</sup> Восточном утесе (англ.)

## 91. ФРИДРИХУ МЕРКЕЛИУ

Нордерней, Нордерней, Нордерней,  
20 августа 1827 г.

Дорогой Меркелиус!

Как видишь, я снова на Нордернее. Я услышал, что здесь все на меня сердиты, хотят убить меня и т. д., и тотчас же поспешил приехать сюда. «Ну, знаете ли, это довольно смело!» — восклицали некоторые из моих старых знакомых, встречая меня по приезде. Но я думаю, что здесь мне особенной смелости не нужно; вот только то, что я все же *приехал* сюда, не убоявшись никаких угроз, — это действительно было смело.

На этот раз я вправе похвастаться. Почта вот-вот отойдет, а то я нахвастал бы еще гораздо больше. Сегодня я опять не могу написать тебе как следует. Липднеру тоже еще не писал, в ближайшее время обязательно сделаю это. Котта предложил мне весьма великодушные условия. Однако я ни на что не соглашаюсь и даже не отвечу ему, пока не приеду в Гамбург и не поговорю об этом с тобой. Кампе я снова собираюсь дать хорошую книгу, снова постараюсь сделать все, на что я способен, и думаю, что он тоже постарается. Меня все еще берет досада на то, что он уплатил за вторую часть не столько, сколько я запрашивал. Мне почему-то очень неприятно вспоминать об этой пустяковой сумме, хотя в Лондоне я истратил гораздо больше — целых двести десять фунтов стерлингов. В финансовом отношении Англия совсем меня погубила. Но я все-таки не хочу подражать Вальтеру Скотту и не стану писать плохую, но доходную книгу. Я рыцарь святого духа.

Если ты сообщишь Христиани, что я здесь, он, наверно, заметит мою мистификацию. Дело в том, что я просил узнать у него, не грозят ли мне в Люнебурге какие-нибудь неприятности со стороны ганноверской знати, которую я задел в «Нордернее».

Я, наверно, пробуду здесь месяц, и ты можешь писать и, если захочешь, посылать мне книги по старому адресу. Кстати, было бы очень славно, если бы Кампе послал мне сюда что-нибудь почитать. Передай ему сердечный привет. Скажи, что у него нет ни малейшей причины быть недовольным мною.

Тебя, дорогой Меркель, я не стану хвалить по поводу «Плодов чтения», пока не прочту самой статьи. Юмористическая критика всегда вызывает подозрения. Во всяком случае, пишущий такую критику ставит себя на одну доску с критикуемым автором.

Если увидишь моего брата, передай ему привет. Циммерману большой, самый сердечный привет.

В Голландии мне очень понравилось. Но я очень спешил приехать сюда, чтобы не пропустить купальный сезон.

Ожидая от тебя скорого ответа,

остаюсь твоим другом

*Г. Гейне,*

доктором прав,

проживающим в настоящее время на Нордердесе.

## 92. РУДОЛЬФУ ХРИСТИАНИ

[Вангероге, сентябрь (почтовый штемпель  
от 19 сентября) 1827 г.]

Жен, к мужской любви привыкших,  
Сердце опытно, но их  
Выбор не свободен:  
И молодым пастухам златовласым,  
Также и черным, щетинистым фавнам,  
Если лишь случай поможет им,  
Равное право дается  
Телом упругим владеть.<sup>1</sup>

Ну можно ли печатать такие непристойности?

Может быть, Гете думает, что мы не понимаем его? Или тот, кто умеет говорить о самом грязном чистым, почти божественным языком, имеет больше права на такие слова, чем мы, грубияны, мы, которые не в состоянии говорить о грязи без того, чтобы грязь не прилипала к нашим словам?

Кроме этого места, в третьей и четвертой частях нового издания имеется еще кое-что, понятное мне.

---

<sup>1</sup> Перевод Н. Холодковского.

В сущности, очень мило со стороны старого господина, что в своих книгах он все же всегда помещает несколько строк, доступных нашему пониманию.

Но что означает вся классически-романтическая «Елена» — этого я не понимаю. Может быть, это государственная тайна великого герцогства Веймарского, то есть нечто не имеющее большого политического значения. Евфориона можно было бы истолковать как самое романтическую поэзию — он зачат Гете-Фаустом и антично-эллинской Еленой. Да, да! Если бы Гете не продал и не предал нас и школа стояла бы в полном цвету — двадцать тысяч шлегелианцев, двадцать тысяч звонарей романтической любви выступили бы, закованные в броню, и доказали бы в сонетах и статьях, что классически-романтическая «Елена» Гете есть образцовое произведение! Но теперь ее встретят тихим вздохом и в лучшем случае удостоверят, что она не совсем плоха.

А если бы у него была еще его старая карбункульная гвардия, его голубоцветный полк, его магические гусары, — сколько божественной бессмыслицы мог бы включить Гете в эту вещь. Он мог бы еще, расточая на старости лет остроумнейшее безумие, еще раз вспомнить былые дни. Но он увидел, конечно, что ему не хватает старой поддержки, и стал держаться преимущественно античной формы.

Начало прекрасно; кажется, что слышишь пафос древних трагедий, но постепенно он переходит в шиканедеровский оперный текст.

Гете — великий поэт. Что же касается меня, то в данный момент я живу совершенно одиноко на острове Вангероге и купаюсь. Две недели провел я на Нордернее. Я отправился туда из задора и довольно приятно пожил среди своих врагов. Ганноверская сволочь слишком жалка, чтобы выступить против меня открыто, и способна только науськивать на меня невежественную чернь. Один мой друг, Дирксен, серьезно советовал мне уехать, ассессор Штрюлькер, который живет в Люнебурге, но которого я узнал и полюбил на Нордернее, тоже очень настойчиво предостерегал меня. Только эти настоятельные советы в сочетании с собственной моей трусостью подвинули меня уехать оттуда.

Шутки в сторону — это не шутка жить на пустынном,

острове, в окружении бессмысленной, озлобленной, варварской сволочи. Тамошним женщинам сказали, что я изобразил их преуродливыми; они с полным правом разгневались, и мне следовало опасаться участи Орфея. Моя арфа, то есть мой чемодан с рукописями, приплыл бы в Гамбург.

Дней через восемь думаю оставить Фракию и направиться в Гамбург.

Англия — красивая страна; если мы когда-нибудь встретимся, я расскажу тебе о ней. До тех пор люби меня и никогда не давай себя убедить в том, будто я слишком боюсь ганноверских дворян.

Твой прадруг  
*Г. Гейне.*

Не повезло мне — сегодня во сне  
Я с грязной девчонкой валялся в постели,  
А можно было для этой цели  
Иметь принцессу по той же цене.<sup>1</sup>

Это последнее приключение. Сообщи моим родителям, что я еще жив.

### **93. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ**

Гамбург, 19 октября 1827 г.

Дорогие друзья!

Спасибо, большое спасибо за быстрый ответ на мой краткий рискованный вопрос. Сейчас я еще слишком затравлен, чтобы написать порядочное письмо. Но недели через две напишу. Профессор Дирксен, наверное, рассказал вам, милый Фарнхаген, что я снова был на Нордернее. Следовательно, мой вопрос о Берлине был задан не из трусости. Получив ответ г-жи фон Фарнхаген, я уже намеревался ехать к вам, все распоряжения к отъезду были сделаны, как вдруг пришло письмо из Мюнхена, заставившее меня тотчас же поехать туда. Меня уже давно хотели там заполучить. Теперь мне сулят Голландию и Брабант.

<sup>1</sup> Перевод В. Левика.

Во всяком случае, я обрету там покой — для меня это теперь самое главное. В январе 1828 года в Мюнхене начнут выходить «Политические анналы» под редакцией вашего друга Гейне и доктора Линднера. Это явится первым сигналом, по которому все поймут, что означает мое пребывание в Мюнхене. Вскоре сообщу об этом подробнее. Я взял на себя редакторство, так как был уверен, что вы будете этим не только довольны, но и обрадованы. Направление журнала вам, конечно, ясно заранее. Через несколько дней еду в Мюнхен, напишу вам с дороги.

Милый Фарнхаген, вы единственный человек, на молчание которого я могу рассчитывать. Поэтому вам придется помочь мне в самых прозаических моих нуждах. Все остальные мои друзья — болтуны. Я вынужден обременить вас. В ближайшее время вы получите письма от «Трейтеля и Вюрца», «Трейтеля младшего и Рихтера» в Лондоне, в которых господа эти пришлют вам для меня сумму примерно в восемьсот талеров. Эту сумму вы будьте добры получить за меня и хранить у себя до последующего распоряжения. Но, ради бога, не говорите никому, что я располагаю подобными деньгами. В сей земной юдоли слез у меня немало долгов, но до сих пор никаких твердых доходов. Гонения, претерпеваемые мною, серьезны, и мне необходимо во всякое время располагать деньгами на дорогу. Все, что у меня есть, я обычно проматываю. Поэтому полагаю, что было бы хорошо, если бы вы постоянно хранили для меня небольшие деньги на черный день. Только молчок.

Я покинул Лондон 8 августа, в день смерти Капнинга. Эта поездка — большое духовное приобретение.

Жизнь там слишком богата и слишком дорога. Я по шею погряз в приключениях, потерял по несчастью и глупости более трехсот гиней и рад, что наконец вылез. Женщины там красивы, а мужчины велики ростом и великодушны.

Я напишу вам с первой дорожной станции и укажу, где меня может застать ваш ответ. Совершенно уверен, что вы дадите мне немало советов, полезных в новом для меня редакторском деле. Скажите, к кому мне обратиться с приглашением сотрудничать? Если вы пожелаете участ-

говать лично, это останется в тайне. Отвечать за все буду я. Предложение относительно друзей, которое я сделал вам, когда писал второй том «Путевых картин», остается в полной силе и для «Анпалов». Критика английских книг и журналов с точки зрения политики должна стать leading article.<sup>1</sup> Размеры гонорара за статьи в «Анпалах» я сейчас точно еще не знаю; во всяком случае, он не так уж мал. «Книга песен» для г-жи фон Фарихаген, вероятно, дошла по назначению. Это всего лишь добродетельное издание моих стихов. Второе издание «Путевых картин» я уже продал моему издателю и думаю, что оно скоро выйдет. Третий том «Путевых картин» появится, как только я его напишу. Я еще молод, у меня нет еще голодающих жены и детей. Следовательно, я могу еще говорить свободно. Г-жа фон Фарихаген будет довольна мною. Я хотел бы написать длинное письмо этому милому другу, длинное как мир, растянутое и невыносимое как моя собственная жизнь. Но... я собираюсь посетить сегодня утром одну женщину, которую не видел одиннадцать лет и о которой говорят, что когда-то я был в нее влюблен. Это мадам Фридлиндер из Кенигсберга, она, видите ли, моя кузина. Вчера, на закуску, я получил ее избранника, супруга. Добрая женщина очень спешила и приехала вчера, как раз в тот день, когда появилось и новое издание моих «Юношеских страданий», выпущенное «Гофманом и Кампе».

Мир глуп, и пошл, и безрадостен, и пахнет засохшими фиалками.

Я же должен редактировать «Политические анналы». Кроме того, я твердо уверен в том, что когда ослы, оставшись в своей компании, хотят выругаться, они ругают друг друга «человеком».

Если глаз твой соблазняет тебя — вырви его. Если рука твоя соблазняет тебя — отруби ее. Если язык твой соблазняет тебя — откуси его. А если тебя соблазняет твой разум, то стань католиком.

В «Новом Бедламе», в Лондоне я говорил с одним сумасшедшим политиком, который сообщил мне по секрету,

---

<sup>1</sup> Буквально: передовой статьей, здесь — главной линией журнала (англ.).



что господь бог, в сущности, русский шпион. Этот молодчик должен стать сотрудником моих «Политических анналов».

Редактор  
Г. Гейне.

#### 94. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Люнебург, 30 октября 1827 г.

Дорогой Мозер!

Сегодня вечером я еду дальше, мне еще надо уложить вещи, а поэтому пишу всего несколько слов. Из Касселя отвечаю как следует на твое милое письмо. Я еду в Мюнхен, где мне много обещано и, что еще лучше, уже гарантировано. Мое здоровье, которое опять ухудшилось, не позволяет мне отдаться большой деятельности. Ужасно, что, несмотря на это, мне все же приходится пускаться в путь, да еще в такое скверное время года. Что касается внешних обстоятельств моей жизни в Мюнхене, то я буду там заниматься «Всеобщими политическими анналами», которые должны быть обновлены и с 1828 года начнут выходить под моей редакцией. Мне хочется, чтобы и ты тоже поддержал этот весьма нужный и даже дипломатически важный журнал присылкой подходящих статей. Выбери себе постоянный раздел, в котором ты будешь делиться своими замечаниями о текущих событиях и новых книгах. За работу принимайся сразу же, чтобы уже для январского номера я смог бы получить от тебя хотя бы несколько страничек. Я начинаю надеяться, что мне наконец-таки удастся выманить у тебя кое-что для печати. Можешь не сомневаться, что я буду хранить твое имя в тайне. Ничего не говори Гансу. То, что я не нравлюсь холопу аристократов Гете, вполне естественно. С тех пор как он хвалит все хилое и немощное, хула из его уст стала почетной. Он боится подрастающих титанов. Он теперь слабый, отживший свой век бог, который досаждает на то, что ему уже больше ничего не создать. Раумер может подтвердить, что еще три года назад я его уже больше не любил, и твое последнее письмо не заставило меня переменить свое мнение.

«Книга песен» — не что иное, как полное издание моих уже ранее известных стихотворений. Воспользовавшись услугами книгоиздателя, я выслал ее тебе еще из Гамбурга. Она на диво хорошо оснащена, но это всего лишь безбидное торговое судно, которое мирно проплывет в море Забвения под защитой второго тома «Путевых картин». А вот он — действительно настоящий военный корабль, и свет *ужасно* недоволен тем, что на его борту слишком много пушек. Третий том будет вооружен еще более устрашающе, калибр орудий будет еще крупнее, и я уже изобрел для них совершенно новый вид пороха. Здесь не должно быть так много балласта, как во втором томе.

Так как ты еще не передал Зете пяти луидоров, то мне хотелось бы, чтобы ты приобрел на них и па те четыре луидора, которые мне надо с тебя получить, то есть всего на девять луидоров, *векселек для предъявления во Франкфурте-на-Майне* и как можно скорее послал его следом за мной в Кассель. Пошли свое письмо в Кассель (Гессен) до востребования на имя доктора прав Г. Г. Я пробуду там несколько дней, так что надеюсь застать твое письмо. Если же ты уже выполнил мое поручение и передал пять луидоров Зете, тогда тебе придется вновь одолжить мне эту сумму на месяц. Боюсь, что мне не хватит денег на дорогу, а получить их я смогу лишь по приезде в Мюнхен. Я знаю, ты всегда готов помочь мне, потому-то и затрудняю тебя просьбами. Через месяц, вот тебе *мое честное слово*, ты получишь обратно свои пять луидоров, в случае, если тебе придется одолжить их мне. Слава богу, с моими финансами дело теперь налаживается; я только не умею еще ими распоряжаться.

Будь здоров, передавай приветы друзьям и поддержки меня насчет «Анналов». Неизменно и навсегда твой

Г. Гейне.

## 95. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Люнебург, 30 октября 1827 г.

Дорогой господин фон Фарнхаген!

Если содержание моего последнего письма не противоречит вашим нынешним устремлениям, то наша переписка,

по-видимому, несколько оживится. Краткость мы будем прощать друг другу. После такого введения мне, очевидно, уже можно сразу же перейти к просьбам: прошу вас как можно скорее сообщить мне по адресу: Г. Г., доктору прав, *до востребования в Касселе* (Гессен), получен ли вами вексель от «Трейтеля и Вюрца», который они обещали перевести для меня.

Я собираюсь уехать отсюда (не очень-то я доверяю ганноверцам) и задержусь на несколько дней в Касселе. Еду в Мюнхен через Франкфурт-на-Майне. Здоровье мое опять ухудшается. Только в субботу выехал из Гамбурга, разом вырвавшись из смешного положения, в котором я там находился. Там все говорят, будто я влюблен, до смерти влюблен в актрису Пеш. Два человека знают, что это невозможно, — я и г-жа фон Фарнхаген. Г-же фон Фарнхаген целую руки; мне хотелось бы, чтобы я мог это сделать устно.

О боже! я вполне мог бы сейчас схватить через Карлсруэ, а Роберты сейчас в Берлине. Там утверждают, что Вольфганг Гете отзывается обо мне неодобрительно; это огорчило бы г-жу фон Фарнхаген. Я еще больше испорчу мои отношения с аристократами. Пусть себе Вольфганг Гете нарушает международные законы, действующие среди великих умов; ведь все равно он не сможет помешать тому, что его славное имя когда-нибудь будут очень часто называть рядом с именем

*Г. Гейне.*

## 96. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

*Наконец-то Мюнхен, приблизительно  
28 ноября 1827 г.*

Милый господин фон Фарнхаген!

Ваше любезное письмо (в Кассель, до востребования) я получил и благодарю за быстрый ответ на мой запрос. Я должен повторить его, а именно — прошу узнать, прислали ли мне что-нибудь «Трейтель и Вюрц», и снова настоятельно просить, чтобы вы срочно ответили мне хоть одной строчкой. Ах, господи! На людей так мало можно надеяться, и медлительность этих лондонских господ слу-

жит мне лишним доказательством того, как необходимо обеспечить себя.

Я приехал сюда несколько дней тому назад. Котта, который задержался здесь на один день, чтобы дожидаться меня, уже вернулся в Штутгарт. Его жена — любезная дама, она с удовольствием читает мои стихи, и я сам тоже сї правлюсь. Котта с женой снова приедут сюда через полтора месяца.

Здесь все так, как я ожидал, то есть очень плохо. Все обеспокоены тем, что мне здесь не нравится; они не знают, что я ищу на этой земле, в сущности, только тихую комнату. Хочу остаться наедине с собой и много писать. Если климат мне не подойдет, я уложу чемодан. Поэтому я и не хочу связывать себя чем-нибудь определенным. Котта хочет впрячь меня в свои «Иностранные дела». На здоровье! «Анналы» тоже не доставят мне больших хлопот, а для визитов я слишком болен сердцем и головою. Котта предлагал мне две тысячи флоринов в год, но я поставил этот вопрос иначе. Мне хочется сначала спокойно все обдумать. Доктор Линднер оказался славным, приветливым человеком, с которым у меня хорошие отношения.

Я тоскую по какой-нибудь стране, которая еще не открыта. Иногда также по Берлину. Особенно когда получаю от вас письмо и слышу о г-же Фарнхаген. С удивлением узнал, что мы переехали. Я все еще думал, что мое отечество находится на Французской улице, д. 20. Я напишу прусскому королю, чтобы, когда Ферстер умрет, он дал мне должность придворного демагога. Король баварский, говорят, плохо принял Герреса. Окен опять хотел уйти. Тогда догадались назначить ему постоянное содержание. Величайший поэт мира — Эдуард Шенк.

В Касселе я пробыл неделю. Якоб Гримм — я ему, кажется, понравился (*mirabile*<sup>1</sup>) — работает над историей германского права! Людвиг Гримм нарисовал меня: длинное немецкое лицо, очи, полные тоски, подняты к небесам. Во Франкфурте я три дня прожил с Берне. Много говорили о г-же Фарнхаген. Он занят собиранием своих статей для трехтомного издания. В первый том войдут статьи о театре.

---

<sup>1</sup> Удивительно (*лат.*).

Я никогда не думал, что Берне такого высокого мнения обо мне. Мы были *inséparables*<sup>1</sup> до того момента, когда он проводил меня на почтовую станцию. Больше я во всю дорогу никого не видел, за исключением Менцеля в Штутгарте. Тамошних благородных певцов я не лицезрел. В книге Менцеля о литературе много хорошего. То, что он пишет о Гете, я не в состоянии был читать без боли. Нет, ни за что на свете я не хотел бы быть автором этих страниц. Как могло вам это прийти в голову, милый Фарнхаген? Я, я стану писать против Гете? Если небесные светила становятся мне враждебны, разве я могу на этом основании попросту обозвать их блуждающими огнями? Вообще глупо нападать на людей *действительно великих*, даже если можешь сказать при этом правду.

Теперешняя противоположность гетевскому мировоззрению, то есть немецкая национальная ограниченность и мелочный пиетизм, мне отвратительнее всего. Поэтому я и стою за великого язычника *quand même*<sup>2</sup> и, вероятно, в третьей части «Путевых картин» снова выпалю из пушек по пусткухенщине. Если я и принадлежу к недовольным, я все же никогда не перейду к мятежникам.

Будьте здоровы, *ответьте мне как можно скорее*, помогите мне немощко с «Анналами», и, если будете говорить обо мне с г-жой фон Фарнхаген, говорите одно хорошее. Робертам шлю много приветов. Благодарю Людвига Роберта за рецензию на мои «Путевые картины» в «Литературной газете». Говорят, она очень иронична. В Гамбурге твердо уверены, что она написана мною самим. Я не мог опомниться от удивления, когда услышал, что рецензия на... [дефект рукописи] Юхтрица в «Литературной газете» принадлежит Роберту. К чему мои удары бича, если друзья немедленно натирают баронскую спину целительным бальзамом?

С чувством преданной дружбы

Г. Гейне.

---

<sup>1</sup> Неразлучны (франц.).

<sup>2</sup> Несмотря ни на что (франц.).

## 97. ЛЮДВИГУ БЕРНЕ И ЖАНЕТТЕ ВОЛЬ

(Подпись на экземпляре „Путевых картик“)

[Мюнхен (?), конец ноября 1827 г.]

Прилагаю глупую книжку. В ней мало чувства, — ведь мое сердце всегда у вас.

Ваш  
Гейне.

## 98. ВОЛЬФГАНГУ МЕНЦЕЛЮ

Мюнхен, 12 января 1828 г.

Дорогой Менцель!

Я еще не ответил на ваше любезное письмо, но у меня есть наилучшее извинение на этот счет: дело в том, что я, бедняжка, до сих пор был все еще серьезно болен. Здешний климат убивает меня.

Номер «Анналов» с вашими афоризмами только что вышел, и к этому письму приложен запрошенный вами гонорар в виде чека для предъявления Котте. Одни только ваши исторические изыскания насчет происхождения косы у немцев я уже оценил в шесть луидоров. Присланный вами материал — подлинный экстракт из больших мыслей. Если у вас найдется время написать что-нибудь новое для «Анналов», скажите мне только заранее, что именно; или, может быть, мне самому сказать вам, чего бы хотелось мне? Не могли бы вы предложить Мюнху или швейцарским друзьям, чтобы они написали для «Анналов» что-нибудь сильное, без демагогических увлечений, но серьезное, призывное, пробуждающее дух вольности и полезное для дела свободы? Пусть даже что-нибудь патриотическое. Оплата — от двух до трех, в крайнем случае — четыре луидора, обычный в «Анналах» гонорар.

Если вы думаете, что мое обещание дать информирующие рецензии на вашу «Литературу» было пустым бахвальством, то вы ошибаетесь. Тотчас же по приезде сюда я написал такую рецензию для «Гамбургского корреспондента» и отослал ее профессору Циммерману в Гамбург, чтобы напечатать ее. Ума не приложу, почему она до сих пор не напечатана. На днях напишу насчет этого Циммерману; для меня всего досаднее прослыть человеком нена-

дежным. В «Собеседник» я еще ничего не посылал, на это у меня есть причины: лишь неделю тому назад я добрался до первой части (я читал только вторую). Теперь эта книга сильно занимает мою большую голову, — я несколько не преувеличил, сравнив ее в рецензии для «Корреспондента» с морем, даже океаном, в котором отражаются литературные звезды, в глубинах которого покоятся ушедшие времена и в котором нет ни капли воды. В третьей части «Путевых картин» мне представится случай отдать должное достоинствам этой книги. Представьте же себе, как я смеялся, получив через Котту прилагаемое при сем письмо из Майнца! Как видите, и для вас растет на земле полынь! Я уже собрался было написать майнцскому критику, чтобы он послал свою рецензию в штутгартскую «Литературную газету». Однако из-за Линднера и Котты, которые знают об этом письме, я не могу себе позволить подобное вероломство. Скажите, может быть, следует позаботиться, чтобы нам выслали рецензию? Она должна быть великолепной. Да, я выпишу ее себе и, если хотите, pošлю вам. Если ее напечатать с надлежащими примечаниями, может получиться презабавная штука. (Пожалуй, я pošлю эту майнцскую рецензию вашей супруге, чтобы она держала ее при себе как плетку, как гарантию вашей добропорядочности и хорошего поведения. Вашей супруге свидетельствую мое почтение и сердечно благодарю ее за оказанное мне гостеприимство.) Хотя шум с немецкого Парнаса доносится до Мюнхена в виде слабого эха, я даже и здесь много слышал о вашей книге. Должно же что-то производить шум в Германии. Посылаю вам в виде еще одного приложения вырезку из очень важного письма.

Неужели Циммерман, который читает сейчас лекции о Гете, враждебно относится из-за этого к вашей книге? Линднер рецензировал Витта в «Иностранных делах» чертовски резко. Не допускайте, чтобы «Литературная газета» окончательно спустила с него шкуру. Что ни говори, он все же остроумный человек. Может быть, именно потому, что *все* так злы на него, он кажется мне известной величиной. Кстати, напоминаю вам, если когда-нибудь вы подберетесь к моей «Книге песен» с критическим ножом, не снимайте с меня скальп. Если у вас до этого еще руки не дошли и вам некогда, то рецензию охотно возьмет на себя Берне.

Что касается вашего вопроса относительно моих отношений с Коттой, то могу вкратце сказать, что я обязан интересоваться всеми его литературными предприятиями, и прежде всего должен вести вместе с Линднером редактуру «Политических анналов». За эту работу я взялся, от всей же остальной редакции и прочего отказался. Также и от обязанностей соредактора «Иностранных дел», за которыми я лишь вскользь приглядываю. Котта ценит меня, следует моим советам (я состою у него в литературном штате), я им вполне доволен, да и у него всегда будут причины быть довольным мною, так как я не даю много обещаний, но зато всегда выполняю их. Я считаю его благородным человеком, истинным либералом и поэтому лажу с ним. Г-жа фон Котта тоже очень добра ко мне. С моими здешними блистательными коллегами я в добрых отношениях, так как все видят, что их желания и стремления никогда не сталкиваются с моими, и я не предъявляю никаких особых претензий. К тому же, моя болезнь делает меня солитером среди этих брильянтов; с Кольбом, Мельбольдом, Гермесом общаюсь мало, хотя они мне очень нравятся. У Гермеса ясная голова, и он заслуживает большей славы, чем та, какой он пользовался до сих пор; впрочем, говорят (?), что он весьма нескромен.

Жизнь здесь очень приятна, и если грудь у вас здоровая и вы полагаете, что вынесете климат, я советую вам приехать сюда. Приезжайте хотя бы в гости. Попируем со мной, я смогу вас приютить у себя, и вы будете моим гостем в Мюнхене, как я был вашим гостем в Штутгарте.

Если когда-нибудь наши потомки сойдутся чтобы померяться силами в какой-нибудь литературной битве, быть может они обменяются доспехами, как Главк и Дпомед, и я думаю, что мой правнук при этом выиграет.

Будьте здоровы и не теряйте доброго расположения ко мне. Мой частный адрес: Г. Г., живет в Рехбергском дворце на Хундсгугеле. Как раз на днях я перееду на эту новую квартиру; перед той, где я живу сейчас, слишком часто рубят дрова, и все мои периоды получают рублеными.

Остаюсь, дорогой друг и современник, вашим

*Г. Гейне.*

Во второй книжке «Анналов» появится моя рецензия на вальтер-скоттовского «Наполеона».



Мюнхен, 23 января [1828 г].

Дорогой Витт! Спешу ответить на ваше последнее письмо и сердечно поблагодарить за присланные брошюры. Мне было очень больно видеть, что вы так варварски оскальпировали Циммермана, но я уже привык отделять вас от ваших писаний, и Витт всегда останется мне дорог, что бы он там ни писал, пусть даже против больших шишек.

На этот раз, когда вы собираетесь выйти на бой против Мюнстера, я целиком и полностью одобряю ваши действия: немецкий князь тоже принадлежит к немецкому народу, и тем более нельзя допустить, чтобы чужеземный холоп издевался над отпрыском одного из самых старых и славных родов Германии; будь я здоров, а мои дела в порядке, я сам бы сразился за Брауншвейга. А пока что предлагаю вам, чтобы «Политические анналы» были секундантом в вашем поединке, и буду очень рад, если вы как можно скорее пришлете мне *отрывок* из вашего сочинения против Мюнстера, чтобы я смог тотчас же напечатать его. Вам будет нетрудно сделать такое извлечение, так как вы держите все это в голове и легко сможете подобрать выдержки из наиболее блестящих мест таким образом, что у вас опять получится нечто целое, а следовательно, и нечто совершенно новое, независимое от вашего первоначального сочинения. Вы, наверно, знаете, что с января я и Линднер будем фигурировать на заглавном листе «Анналов» как их редакторы, а поэтому было бы очень славно, если бы герцог Брауншвейгский тоже послал бы нам кое-что, например орден для меня и бочонок брауншвейгского пива для Линднера. *Заметьте себе это.*

Линднеру о вашем письме я ничего не мог сказать, так как подозреваю в нем автора той рецензии на ваши мемуары, которая напечатана в «Иностранных делах» Котты и которую я читал поистине с болью в сердце. Я решил, как только представится случай, сам поговорить о вас в «Анналах», а это задача нелегкая. Итак, если надумаете посылать мне материалы, можете быть уверены, что они найдут хорошее применение. Когда будете высылать мне выдержки из вашей статьи против Мюнстера, посы-

лайте их непосредственно мне по адресу: Генриху Гейне, доктору прав, живущему в Рехбергском дворце на Хундс-кугеле. Если найдете нужным, дополните эти выдержки предисловием в форме письма ко мне, в котором вы защищаете меня и заявляете, что ждете от меня беспристрастия, умения уважать не только свои, но и противоположные убеждения. Я поручил одному человеку, который охотно выполнит такое поручение, написать для «Анналов» что-либо *в пользу* Мюнстера. Как видите, я притворяюсь беспристрастным, только примечания к тексту мои, but for my illustrations. <sup>1</sup>

Что касается лично вашего положения в обществе, то оно внушает мне большие опасения. На худой конец, Мюнхен — надежное убежище; взять тут нечего, но жить здесь можно спокойно. Да вы, наверно, сами лучше всего знаете, где притаились ваши враги.

Ваша статья против театра написана чудесно. Ваш талант вынуждены признать даже худшие ваши враги. Правда, сочинительством много не заработаешь, разве что изредка кое-какие гроши на черный день. В «Анналах» гонорары плохие. В «Утренней газете» Котта платит лучше: он платит обычно от трех до четырех луидоров за лист, а в исключительных случаях, за какие-нибудь выдающиеся статьи, — гораздо больше. С Коттой у меня хорошие отношения, и если напишете что-нибудь подходящее для «Утренней газеты», посылайте мне. Я думаю, будет лучше, если он получит эти материалы через меня, а не прямо от вас. Все теперь боятся. Если хотите писать *нужные* статьи для «Анналов», то и за них я тоже могу вам обещать три-четыре луидора за лист, смотря по тому, что представляет собой статья. Читая эти строки, постарайтесь представить себе просто какую-нибудь редакторскую физиономию, а не мое лицо.

Вы всегда можете рассчитывать на мою готовность быть вам полезным там, где это не требует от меня большого труда. Я сегодня нездоров и в дурном расположении духа, а то я сумел бы лучше выразить мои сокровенные убеждения. Когда мне лучше, они выглядят сердечнее и привлекательней.

---

<sup>1</sup> Не считая моих примеров (англ.).

Сафпру ответьте на его поклон; смотрите же, чтобы «Экстренная почта» или «Вечерняя газета» дали заметку о моей «Книге песен». В крайнем случае, можете сделать это сами.

Парнас все еще остается самым жалким уголком в нашем немецком отечестве.

В «Анналах» вам все время будут встречаться мои статьи. Как последний боец бонапартистов я ополчился на Скотта. Почтайте в следующем номере. Здесь живется приятно, дешево и спокойно. К сожалению, я все еще нездоров. Кампе я дал нагоняй за то, что он передал Витту (!) важное письмо для меня. Впрочем, я и в самом деле еще не получал его. Будьте здоровы, дорогой Витт, остаюсь вашим другом

*Г. Гейне.*

#### 100. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Мюнхен, 12 февраля 1828 г.

Вам и г-же фон Фарнхаген большое спасибо за добрейшую доброту. Моя «Книга песен» тоже благодарит за хорошую рецензию. Я хотел бы всегда быть доволен вами как рецензентом! Увы! За вашу рецензию с разбором характера Наполеона вам придется еще много от меня вынести. Прилагаемую рецензию я посылаю вам в наказание, в наказание вдвойне, потому что, во-первых, я придал вам видимость моего единомышленника, во-вторых, рецензия моя сама очень плоха. Прочел только девятый том и едва перечел написанное мною. Если вы захотите познакомить с этой рецензией профессора Дирксена, мне это будет приятно. С моим здоровьем все так же. Поэтому собираюсь в Италию и для этого использую восемьсот талеров, посланных мне «Трейтелем и Вюрцем». Вам придется хранить их еще некоторое время. Из-за запоздания этих денег я испытал немалые затруднения, и, опасаясь, что их не пришлют вовсе, я специально написал в Англию и получил оттуда известие, что они высланы.

Котта по отношению ко мне очень щедр. Я связан с ним обязательством до июля, он заплатит мне сто каролинов за

эти полгода. Этого тоже не говорите никому. Никто не должен знать, что у меня есть деньги. С одной стороны, у меня много долгов, с другой — я намерен в этом году *предпринять нечто такое*, для чего мне так необходимо иметь много денег, что, если бы их не было, я должен был бы украсть их с неба. Я действую, как видите, очень осмотрительно, и мое легкомыслие — только видимость. В день выхода второй части моих «Путевых картин» я сидел на английском пароходе, и когда в Германии меня собирались растерзать, я в Лондоне спокойно сидел за печкой. В Гамбург я не вернусь никогда в этой жизни. Я испытал величайшие огорчения; их невозможно было бы перенести, если бы не то обстоятельство, что они известны только мне. Сейчас я, правда, все еще страдаю головными болями, но очень спокоен. Скажите г-же фон Фарихаген, что я накопец нашел спокойную комнату. В первом выпуске «Анналов» за текущий год есть несколько строк, которые мне очень живо напомнили о нашем милом друге.

Я поздно узнал, что известное вам лицо не исполнило вашего поручения к консепторскому советнику Нитгаммеру. Для меня пойти к нему было невозможно, так как я твердо решил никого здесь не посещать; до сих пор я строго держался этого и не видел еще никого из великих светил дня и ночи. Поэтому я ничего не могу вам сказать ни о Шеллинге, ни о Герресе. Последний делается католическим с каждым днем и, наверное, станет кардиналом; м-м Геррес уже вяжет фиолетовые чулки.

Витт фон Дерринг, эта пресловутая личность, здесь; бог весть, каким скандалом он кончит. Личные отношения у нас с ним наилучшие, и он компрометирует меня повсюду, называя своим другом. Но таким образом я достигаю, во-первых, того, что революционеры из недоверия держатся от меня в стороне (это мне очень приятно), во-вторых, правительства полагают, что я не так уж плох, и убеждены, что я не состою ни в каком опасном сообществе. *Я хочу сидеть только говорить*. Впрочем, Витт — мой Душе. Мне он повредить не может, а если бы я захотел, я мог бы через него вредить кому мне угодно. Правда, будь у меня власть, я велел бы его повесить. Думаю, что его деятельность благотворна: уже самый принцип движения, если оно даже враждебно, приносит...

Мюнхен, 15 февраля 1828 г.

Милый Детмольд!

Право же, у меня не хватает времени и здоровья, чтобы написать вам столько, сколько хотелось бы. Ваше письмо обрадовало меня, и я с ним согласен.

Я все еще страдаю от здешнего климата. По горло залез в политику. Если вы читаете «Всеобщие политические анналы», то найдете в них следы моей деятельности. Но не тревожьтесь, летом я снова кинусь в объятия муз. Где будете вы этим летом?

Я читал сейчас «Ардингелло» Гейнзе и его «Фиормону, или Письма из Италии». Прошу вас, если вы прочли *всего* Гейнзе, то напишите мне все, что вы думаете об этом писателе. Он один из тех демонов, представителем которых, вероятно, теперь являюсь я и к которым принадлежите и вы и все, кто в свое время штурмом возьмет Олимп. Конечно, до этой победы еще очень далеко. И я, и вы, и другие современники сойдем в могилу с печальными, усталыми сердцами, но зато в твердой уверенности, что сильнейшие продолжают борьбу за наши устремления. Я окружен сейчас врагами и попами-интриганами, но злейший враг мой — плохое здоровье. Может быть, положение вещей изменится: я поеду в Италию, соберусь с силами, вернусь во всеоружии в северную Германию и создам там свою школу. Необходимо кому-нибудь сделать то, что необходимо. Если вы скоро будете писать моему брату, то скажите, что в ближайшее время я ему напишу. Я советую ему выбрать Вюрцбург. В Мюнхене слабая профессура, в городе слишком много развлечений, и к тому же там подлый климат, от которого трудно приходится всем, страдающим грудью. Если у вас слабая грудь, держитесь от него подальше.

Ваш друг

Г. Гейне.

Не открыли ли вы хоть один сильный поэтический талант среди гейдельбержцев? Не встречались ли вы в последнее время с моими знакомыми? Я живу уединенно в отдаленнейшем уголке Германии.

Мюнхен, 1 апреля 1828 г.

Дорогой Фарнхаген!

Уже полтора месяца назад я хотел написать вам, но меня прервали посредине письма; в подтверждение посылаю этот отрывок. Может быть, в нем найдется кое-что, о чем полезно вспомнить и сегодня. Причиной внезапного перерыва был пресловутый Витт собственной персоной, которого неожиданно, без суда и следствия, отсюда выслали.

Витт — *mauvais sujet*,<sup>1</sup> и, если бы у меня была власть, я бы его повесил, но он обладает каким-то личным обаянием, которое часто заставляет меня забывать о его характере; он всегда страшно забавлял меня, и, может быть, именно потому, что весь свет был против него, я брал его иногда под свою защиту. Это многим не нравилось.

В Германии еще не научились понимать, что человек, который словом и делом стремится способствовать всему самому благородному, часто, ради потехи или выгоды, может себе позволить некоторые маленькие гадости (то есть неблагородные по существу поступки), если только эти гадости не вредят великой идее его жизни, и что даже сами гадости эти, если они дают нам возможность еще достойнее служить великим идеям нашей жизни, часто заслуживают похвалы. Во времена Макиавелли и в современном Париже эту истину постигли наиглубочайшим образом.

Вышеизложенное есть апология всех гадостей, которые мне еще хочется сделать в этой жизни. Думаю, что ближайшая появится в образе рецензии. Ш-ш! Ш-ш!

Я все еще в прежнем состоянии и готовлюсь к поездке в Италию. Здесь скверно: пошлая, убогая жизнь; мелкие умы. И если бы изредка не происходили грандиозные явления вроде трагедий Михаэля Бера или Шенка, то вынести этот скверный климат тривиальности было бы невозможно. Я так страдаю от него, что не могу написать ничего путевого и вскоре собираюсь уложить свои чемоданы. Мой адрес сейчас, и пока, и в дальнейшем, все еще; Г, Гейне,

---

<sup>1</sup> Негодяй (франц.),

доктору прав, отдать в литературно-художественную лавку издательства Ш.-Г. Котты в Мюнхене.

Надеюсь, что вскоре буду вам писать не столь кислые письма. Мне кажется, из этих строчек смотрит злое лицо. Тем не менее дела мои здесь очень отрадны и хороши. Я живу как *grand seigneur*,<sup>1</sup> и пять с половиною местных жителей, которые знают грамоте, дают мне понять, что они высоко меня ценят. Изумительнейшие знакомства с женщинами! Однако они не способствуют ни моему здоровью, ни моему трудолюбию. Охотнее всего я бываю среди молодых художников. Приятнее глядеть на них, чем на их картины.

А *groros*:<sup>2</sup> знаете ли вы дочерей графа Бодмера в Штутгарте, где вы часто бывали? Одна уже не очень молодая, но бесконечно очаровательная, состоящая в тайном браке с молодым русским дипломатом и моим лучшим другом Тютчевым, и ее очень юная красавица сестра — вот две дамы, с которыми я нахожусь в самых приятных и лучших отношениях. Они обе, мой друг Тютчев и я, мы часто обедаем вместе *partie carrée*,<sup>3</sup> а по вечерам, когда я встречаю у них еще несколько красавиц, я болтаю сколько душе угодно, особенно про истории с привидениями. Да, в великой пустыне жизни я повсюду умею найти какой-нибудь прекрасный оазис.

Так как я не знаю, как скоро поеду в Италию, я прошу вас, дорогой Фарнхаген, прислать восемьсот талеров сюда. Но как? Вот в чем задача. Думаю, что потеряю меньше всего, если вы за мой счет купите в Берлине *переводной сексель* на Франкфурт-на-Майне *сроком на два месяца*. Однако мне было бы приятнее, если бы вы достали вексель на Аугсбург. Но если вам скажут, что при этом я много теряю, то все же пошлите лучше франкфуртский вексель.

Простите, дорогой Фарнхаген, за хлопоты, которые я вам доставляю. Если бы мне пришлось вас благодарить, я бы вообще не знал, с чего начать.

Вы были, к тому же, настолько добры, что на редкость чудесно прорецензировали мою бедную «Книгу песен». Я уже больше не придаю серьезного значения рецензиям

---

<sup>1</sup> Вельможа (*франц.*).

<sup>2</sup> Кстати (*франц.*).

<sup>3</sup> Вчетвером (*франц.*).

(я и самой жизни тоже не придаю теперь большого значения), но когда в «Собеседнике» я вижу ваш мелкий, милый почерк (у Губица имеется очень похожий на него шрифт), у меня на душе всегда становится тепло, и ваши слова, конечно, находят отклик в моем сердце.

Я становлюсь здесь очень серьезным, почти по-немецки серьезным; думаю, что это от пива. Часто меня гложет тоска по столице, то есть по Берлину. Когда поправлюсь, постараюсь проверить, не смогу ли я там жить. В Баварии я сделался пруссаком. Кто, по вашему мнению, может помочь мне подготовить благополучное возвращение?

Я слышал, что Берне теперь у вас. Берне очень меня любит. Он гораздо лучше меня, гораздо выше, но не столь великолепен. Его глухота, наверное, будет очень стеснять г-жу фон Фарнхаген. Это серьезный недостаток. Как чувствует себя г-жа Фарнхаген? Как поживает ее дорогое, умное сердце?

Кончаю. Невыразимая печаль охватывает меня. Дурная грусть завладела моей душой, и я почти не знаю, что пишу. Англичане заразили меня своим сплином, и я совсем раскис.

На днях сюда приезжает Котта, и если бы мне не нужно было переговорить с ним о всякой всячине, касающейся «Анналов», то я совершил бы теперь экскурсию в Нюрнберг — туда стремятся отсюда толпы энтузиастов по случаю дюреровских торжеств.

Будьте здоровы, любите меня и верьте, что я вас тоже люблю всегда — так сильно, как только может моя усталая душа.

Ваш друг  
Г. Гейне.

### 103. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Мюнхен, 6 июня 1828 г.

Дорогой Фарнхаген!

Хотя писание писем в настоящий момент дается мне страшно туго, я все-таки решаюсь написать, так как обязан известить вас о получении вашего последнего письма с вложенным векселем на Франкфурт. Благодарю вас



за хлопоты. Письмо Фр. Баадеру было передано *немедленно*.

Известие о вашей болезни огорчает меня, но думаю, что прекрасная погода вас уже вылечила. Мое здоровье сносно. Я пробуду здесь еще неделю, потом поеду на три недели в горы, затем снова вернусь сюда на несколько дней, следовательно я еще достигаем для ваших писем, если в течение месяца вам захочется сообщить мне, как вы поживаете. Вообще мой коттовский адрес остается вполне надежным, даже если я поеду дальше. Неужели я в самом деле поеду в Италию?

Как благодарить мне г-жу Фарнхаген за ее милое, хорошее письмо! Я его глубоко прочувствовал. Она совершенно права в своем суждении о Наполеоне. Ему не следовало вовсе предаваться удовольствиям светского общества — любезная улыбка света высасывает силу из груди мужчины, подобно тому как магнитная гора вытягивает все железо из приблизившегося к ней корабля. Но чего хочет г-жа Фарнхаген от меня? Ведь я не Наполеон! Я не собираюсь завоевывать даже Панкау, не то что мир. Вся моя страсть к завоеваниям ограничивается, может быть, десятью—одиннадцатью сердцами. Ведь я человек, живущий для своего удовольствия. Я могу помереть от сравнения с Наполеоном и потерял сон, с тех пор как узнал, что один молодой художник изобразил меня среди ужасной битвы. На картине моя жизнь в опасности, а кто мне поручится, что такое нарисованное ружье не выстрелит когда-нибудь и что, если будет пробито нарисованное тело, то мое реальное тело симпатически не почувствует этого?

А все-таки г-жа фон Фарнхаген права: в моей рецензии на «The Life of Napoleon»<sup>1</sup> слышится голос друзей-бонапартистов.

Что ж, я готов исправиться, я уже исправился, и в рецензии на менцелевскую «Литературу» я говорил о Гете так откровенно, точно среди моих друзей не числится ни единого гетеанца. Совершенно откровенно? Нет! Через неделю вы получите эту статью. Будьте милостивы, не давайте мне отставки.

Г. Гейне.

---

<sup>1</sup> «Жизнь Наполеона» (англ.).

[Ливорно, 27 августа 1828 г.]

Пишу только сейчас, потому что только сейчас, всего несколько минут назад, я пришел в себя и могу точно указать место, где меня застанет ваше письмо, в котором вы сможете мне сообщить долгожданное, радостное известие. Пишите по адресу: доктору Г. Г. до востребования, Флоренция. Через две-три недели я буду ступать по земле, по которой ступали Данте, Макиавелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело. Там я прочту ваши строки. Знаю, вы по горло в делах, поэтому говорю: «строки». В сущности, людям нашего склада и не нужно много писать друг другу. Наши книги — это большие письма, чаще всего адресованные людям нашего склада.

Поэтому и мысли мои об Италии вы рано или поздно увидите в печати. Меня очень мучает незнание итальянского языка. Я не понимаю людей и не могу разговаривать с ними. Я вижу Италию, но не слышу ее. Однако нередко и я не остаюсь без собеседников. Здесь говорят камни, и мне понятен их немой язык. Они как будто тоже глубоко чувствуют, что я думаю. Какая-нибудь сломанная колонна времен древнего Рима, разрушенная лангобардская башня, выветрившийся кусок готического столпа понимают меня прекрасно. Ведь я и сам руина, разгуливающая среди руин. Свой своему поневоле брат. Иногда, правда, старые дворцы тщетно нашептывают мне какую-то тайну; я не слышу их из-за глухого шума дня. Тогда ночью я прихожу вновь; месяц — отличный толмач, он понимает лапидарный стиль и умеет перевести его на диалект моего сердца. Да, ночью я понимаю Италию вполне. Тогда спит молодое племя с его молодым, оперным языком, и древние встают с хладного своего ложа и разговаривают со мной на прекраснейшей латыни. Есть что-то призрачное, когда приходишь в страну, чей живой язык и живой народ непонятны, но зато прекрасно знаешь язык, который цвел в ней тысячелетью тому назад и уже давно умер, который стал языком полуночных духов, мертвым языком.

Однако существует язык, при помощи которого от Лапландии до Японии вас поймет половина рода человеческого. И это — прекраснейшая половина, которую раг

excellence<sup>1</sup> зовут прекрасным полом. Язык этот исключительно ярко расцвел в Италии. К чему слова там, где глаза так красноречивы, что лучами своими проникают прямо в глубину сердца бедного tedesco.<sup>2</sup> Они говорят лучше, чем Демосфен и Цицерон, они, я не лгу, размером со звезду в ее натуральную величину.

Quand on parle du loup, il est derrière nous.<sup>3</sup> Сейчас пришла моя красавица прачка, и мне пора прекратить болтовню. До свидания, автор «Велизария»! Я часто думаю о вас, когда гляжу на лавровые деревья, и чем больше я о вас думаю, тем больше люблю вас.

### 105. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Баньи ди Лукка, 6 сентября 1828 г.

Дорогой Мозер!

Это письмо ты получишь с Луккских вод, где я сейчас купаюсь, болтаю с хорошенькими женщинами, взбираюсь на Апеннины и совершаю тысячи глупостей. Мне следовало бы написать тебе побольше, но я только что с ужасом заметил, что бумага промокает. Я пробуду здесь еще две недели, затем отправлюсь во Флоренцию, Болонью, Венецию и там, в Венеции, получу от тебя письмо до востребования. Я часто вспоминаю тебя и нахожу несправедливым, что ты не ответил мне в Мюнхен. В Мюнхене я жил прекрасно и с радостью возвращаюсь туда, чтобы остаться там навсегда. В последние недели моего пребывания там я заказал одному из лучших портретистов свой портрет, а так как выезжал я спешно, то оставил ему твой адрес и распорядился, чтобы он послал портрет тебе в Берлин. Наверно, сейчас ты его уже получил. Он предназначен для моих родителей в Гамбурге, и я велел переслать его через Берлин, чтобы ты и тамошние друзья могли посмотреть его. Поэтому прошу тебя, когда вдоволь насмотришься, пошли его Фарихагенам и вели передать им или скажи сам, что я вскоре напишу, а пока я им не распорядился, пусть они подержат портрет у себя.

Скажи, милый Мозер, во что стали тебе почтовые рас-

<sup>1</sup> По преимуществу (франц.).

<sup>2</sup> Немца (итал.).

<sup>3</sup> Про волка речь, а волк навстречь (франц.).

ходы, скажи также, — и это для меня еще важнее, — уплачены ли те давнишние пять луидоров моему другу Зете? Тогда я должен тебе эту сумму и вышлю ее из Мюнхена. Мне нужно сейчас так безумно много денег, — каждый день здесь обходится мне в полтора наполеондора, — так что было бы стыдно, если бы я оставался должен моим лучшим друзьям. Я знаю наверное: ты сейчас улыбаешься, но я теперь взял себе за правило оставаться в долгу только у тех людей, о которых я редко вспоминаю.

Бумага промокает просто ужасно.

На днях, еще до отъезда из Италии, я напишу тебе еще раз. А пока будь здоров и кланяйся Гансу, Цунцу, а также Леману и Лессману.

Читал ли ты в «Политических анналах» мою рецензию на книгу Менцеля? Я говорю в ней о Гете. Котта мучает меня планами основать вместо «Политических анналов» новый журнал. Не знаю еще, что мне делать. У меня нет друзей, на чью литературную поддержку я мог бы положиться. Я совсем один.

Пока что собираюсь еще немного поразвлечься в Италии. Живу полной жизнью, а пишу мало. Читаю самые прекрасные стихи, даже героические поэмы. В Генуе один негодяй поклялся мадонной, что заколет меня; мне даже сказали в полиции, что подобные люди честно держат свое слово, и посоветовали поскорей уехать, но я остался еще на шесть дней и по ночам ходил, как обычно, на прогулку к морю. Каждый вечер я читаю Плутарха, так мне ли бояться современных убийц из-за угла?

Когда вернусь в Германию, издам третий том «Путевых картин». В Мюнхене думают, что теперь я уже не стану так резко нападать на дворянство, — ведь теперь я живу в передней у знатных вельмож и влюблен в очаровательнейших аристократок, и они любят меня. Однако все это ошибка. Моя любовь к равенству людей, моя ненависть к духовенству никогда еще не были так сильны, как теперь; это даже делает меня односторонним. Но для того чтобы действовать, как раз и надо быть односторонним. Немецкий народ и Мозес Мозер так никогда и не научатся действовать именно из-за их многосторонности.

Еще раз кланяйся Гансу. Не забудь передать привет Роберту и мадам Роберт.

*Г. Гейне.*

Лукка, 15 сентября 1828 г.

Это письмо вы получите с Луккских вод в Апеннинах, где я купаюсь вот уже две недели. Природа здесь прекрасна, а люди так милы. Высокогорный воздух, которым здесь дышишь, заставляет забывать все мелкие заботы и печали, и душа становится больше и шире.

Все эти дни я так живо вспоминал вас, так часто стремился поцеловать вашу руку, что написать вам стало для меня просто потребностью. Если бы я вздумал отложить это до того времени, когда я спущусь с гор и грудь мою вновь наполнят горечь и тоска, я, несомненно, написал бы немало горького и печального. Но пусть лучше этого не будет, я не хочу вспоминать о тех жалобах, которые мне хотелось бы вам излить и которых, быть может, гораздо больше, чем вы подозреваете. А поэтому прошу вас, постарайтесь и вы забыть о ваших жалобах на меня, ведь все они сводятся к деньгам, и если пересчитать их до последнего гроша и выразить в марках, то в конце концов получится сумма, с которой не так уж трудно расстаться миллионеру, тогда как мои сетования не поддаются учету. Они бесконечны, ибо по своей природе они представляют собой нечто духовное и проистекают из самой глубины оскорбленного чувства. Если бы я хоть раз, хоть одним взглядом или словом проявил к вам непочтительность или оскорбил вашу семью (для этого я слишком сильно любил ее!), тогда вы имели бы право гневаться. Но теперь у вас нет этого права; ведь если сосчитать все ваши жалобы, они вошли бы в один кошелек, притом не такой уж объемистый, и они вошли бы в него без особого труда. Предположим даже, что кошелек все же слишком мал, чтобы вместить жалобы Соломона Гейне на меня, и что кошелек этот разорвется, — неужели вы, дядюшка, думаете, что это идет в сравнение с тем, когда сердце разрывается от того, что оно переполнено обидами и оскорблениями?

Но довольно об этом, солнце сияет сегодня так чудесно, и, глядя в окно, я вижу только смеющиеся горы с виноградными лозами. Не хочу жаловаться, хочу только любить вас, как любил всегда, хочу думать только о вас, о вашем сердце, и должен вам признаться, оно еще прекраснее, чем все те чудеса, что я видел до сих пор здесь, в Италии.

Будьте здоровы и передайте привет вашему семейству: Герману, Карлу и нашей красавице Терезе. До некоторой степени я был рад ее замужеству. Если не считать меня самого, я не отдал бы ее никому другому, кроме доктора Галле. Тилли теперь всегда в моем сердце, так же как и в ваших сердцах; ее милое личико везде следовало за мной, и особенно на берегу Средиземного моря. Ее смерть успокоила меня. Мне хотелось бы только иметь что-нибудь написанное ее рукой. Как все-таки жалко, что мы не сохранили ее нежные черты на каком-нибудь портрете. А сколько ненужных лиц висит у нас на стенах!

Морицу Оппенгеймеру кланяйтесь. Я, правда, не люблю его, хотя, как христианину, мне следовало бы любить даже моих врагов; но я ведь еще юный новичок в христианской любви. А вот Мориц Оппенгеймер — тот уже старый христианин, и ему полагалось бы любить меня и отказаться от привычки с милой улыбкой говорить обо мне такие вещи, которые могут лишить меня уважения добрых людей.

Передайте самый сердечный привет дядюшке Генри.

Так будьте же здоровы! Хорошо, что я не могу вам сказать, куда вам следует послать ответ, чтобы он застал меня; это еще более убедит вас в том, что я вовсе не хотел докучать вам своим письмом. Это просто вздох на бумаге. Мне очень жаль, что я не могу приклеить на этот вздох почтовую марку, вам придется платить за него — вот и новый повод для жалоб. До свидания, дорогой, добрый, великодушный, скуповатый, благородный, бесконечно любимый дядюшка!

## 107. ЭДУАРДУ ШЕНКУ

Флоренция, 1 октября 1828 г.

Милый Шенк!

Сегодня утром, в семь часов, я прибыл сюда, сразу же поспешил на почту и... не нашел там письма от милого моего Шенка. К счастью, почта здесь на рыночной площади, а рынок во Флоренции представляет самое великолепное и интересное зрелище, какое только может встретиться. Старина, величественные статуи, высокие аркады, разли-

тое везде великолепие, но при этом повсюду дыхание старинной флорентийской грации, плоды деятельности Медичи, а наверху, во дворце Уффици, — жилище греческих богов. Признаюсь вам откровенно, в будуаре Венеры Медицейской я позабыл и Шенка и его письмо. Но не древняя, в заплатах, богиня любви так сильно вознесла мой дух. Скорее это сделали глаза одной итальянки, благоговейно смотревшей на богиню. Я думаю, что в Италии все еще молятся древним богам.

Ах, Шенк, моя душа так полна, так переполнена до краев, что я не знаю, чем себе помочь; разве что напISHU несколько восторженных книг. На Луккских водах, где я больше всего задержался и божественно провел время, я уже наполовину написал одну книгу, своего рода «сентиментальное путешествие». Вас и Иммермана я чаще всего представлял себе читающими ее; вероятно, вскоре я напечатаю первые главы в «Утренней газете», и вы увидите, как я сумел *компенсировать* Иммермана. При этих словах меня разбирает смех, тем более что вы еще не догадываетесь о его причине. Но зачем таиться, когда для меня будет величайшим удовольствием рассказать вам все? Да, милый Шенк, вам придется украсить эту книгу своим честным именем. Вам посвятят ее, как бы вы ни просили пощады. Но не бойтесь: сначала она будет прислана вам на прочтение, и в ней будет много благопристойного и особенно много нежного. Я обязан дать вам публичное доказательство своих чувств. Вы этого заслужили. Вы принадлежите к тем немногим, кто старался создать мне положение в обществе, и, да поможет мне бог, я надеюсь, что баварский король поблагодарит вас когда-нибудь за это. Я чувствую в себе много сил и охотно приложу их к чему-нибудь хорошему.

Знаю, в эту минуту Шенк корчит недовольную гримасу, и это в укор себе. Нет, не тревожьтесь, у меня хватит дружеской фантазии придумать сотню причин, почему я не нашел от вас письма. А может быть, я и сам виноват, может быть тогда, когда я писал, что буду здесь, вы не могли еще сообщить мне о королевском указе, а теперь думаете, что меня уже нет во Флоренции. Ожидая вашего письма, я решил пробыть здесь некоторое время, пока не получу его. Это не несчастье. Во Флоренции найдется достаточно интересного. Милый Шенк, я знаю, вы так же не любите писать

письма, как и я, но покуда я не буду иметь la sureté de la sureté,<sup>1</sup> как выражается г-н Савиньи, покуда мне не прилиют копию указа, я останусь в состоянии неопределенности, весьма для меня неудобной. Так, например, я до сих пор еще не написал Котте.

Только получив ваше письмо, я напишу ему о своем решении вместо «Анналов» издавать с января новый журнал под своим пменем. Для этого мне придется к январю вернуться в Мюнхен и т. д. Вы видите, что я настаиваю на скором ответе не только из ребяческого тщеславия, но и по необходимости.

Пишите мне во Флоренцию до востребования. Я знаю, что вы очень заняты, поэтому требую только нескольких строк. Ваши трагедии теперь уже, наверное, вышли из печати; я хочу получить их от вас самого и не стану писать в книжную лавку сплетников. Пришлите мне эту книгу сюда почтой, тоже до востребования. А я написал бы еще больше, если бы после ночного путешествия и новых впечатлений от города Флоренции не чувствовал полного изнеможения.

Будьте здоровы и не сердитесь на совершенно

преданного вам

Г. Гейне.

## 108. ФЕДОРУ ИВАНОВИЧУ ТЮТЧЕВУ

Флоренция, 1 октября 1828 г.

Милый Тютчев!

Сегодня утром я прибыл во Флоренцию. Я уже видел богов и богинь во дворце Уффици и уже познакомился с некоторыми божествами, которые столь же красивы, но не столь холодны, как они. Только что написал длинное письмо г-ну Шенку. Вы, конечно, понимаете, что я вправе чувствовать усталость.

Но все-таки я должен вам написать — быть может, вы сумеете быть мне полезным. Ведь вы, конечно, ответите мне как только сможете! Итак, слушайте.

Вам известно положение дела о назначении меня про-

---

<sup>1</sup> Уверенность в уверенности (франц.).



фессором. Мы условились с г-ном Шенком, что как только и приеду в Италию, я сообщу ему свой адрес, чтобы он мог известить меня о королевском указе. В ожидании этого, почти месяц тому назад, я уведомил Шенка, чтобы он написал мне во Флоренцию.

Прибыв сюда утром, я поспешил на почту и не нашел никакого письма. Поэтому я послал Шенку второе письмо, в котором указал, что останусь здесь, пока не дожждусь его ответа. Его молчание может иметь тысячу оснований, но он поэт, и я подозреваю, что это просто инертность, та душевная инертность, которая столь мучительно одолевает нас, когда нам надо писать друзьям. Это замечание относится и к вам; что касается меня, то будьте уверены, я не писал бы ни Шенку, ни вам, если бы не должен был узнать немедленно, остаться ли мне в Италии или вернуться в Мюнхен, что я сделаю тотчас же, как только получу в руки приказ о своем назначении. Прилагаю письмо, которое я написал Шенку и которое прошу вас тотчас же любезно ему передать. Навестите его через несколько дней, — он знает, что вы мой истинный друг. Скажите, что я сообщил вам, от чего зависит мое возвращение в Германию. Ведь вы дипломат, вы легко сможете так разузнать о положении моих дел, чтобы Шенк и не подозревал, что я просил вас об этом, и не счел себя свободным от обязательства написать мне лично. Вы знаете, как сильно я люблю Шенка, как я уверен в его расположении; он обладает еще более великой душой, чем поэтическим даром, он знает свои обязанности по отношению к «пэрам» таланта... Он знает, что для суда потомства это будет иметь значение, но при всем том он государственный деятель.

Итак, милый Тютчев, напишите мне как можно скорее во Флоренцию до востребования. Я останусь здесь, пока не получу ответа от вас и Шенка. Мои лучшие пожелания мадам Тютчевой. Она превосходная женщина. Я очень люблю ее — и на этом довольно! Если бы я не так устал, я, наверное, нашел бы менее тривиальную фразу. Кланяйтесь от меня г-ну Линднеру при встрече. Скажите, что я скоро ему напишу. Кланяйтесь вашей очаровательной сестре, вашей тетке и, если хотите, г-же *déchargeuse d'affaires*,<sup>1</sup> Амалии фон Крюденер. Я думаю о ней потому, что

---

<sup>1</sup> Снимающей бремя забот (*франц.*). (См. комментарии.)

только что видел г-жу фон Медичи, в прежнем браке — г-жу фон Вулкан, урожденную Юпитер.

Ваш друг  
Г. Гейме.

Еще одно слово. Скажите главному приказчику коттовской литературно-артистической лавки в Мюнхене (его имя Витмейер), что я прошу его, если он получил для меня письма, отослать их во Флоренцию.

### 109. ГУСТАВУ КОЛЬБУ

Флоренция, 11 ноября 1828 г.

Дорогой Кольб!

Сегодня я написал барону Котте: если Линднер настаивает на своем выходе из редакции «Анналов», я готов в дальнейшем считаться их редактором; но при этом мне было бы весьма и весьма желательно, чтобы доктор Кольб изъявил свою готовность стать их соредактором. Кроме того, мой друг доктор Кольб должен взвалить на себя все тяготы редактуры по крайней мере до мая, когда я вернусь в Мюнхен.

Дорогой Кольб, барон Котта сам скажет вам, что при этом я меньше всего руководствуюсь личными интересами; я хочу только одного: сохранить журнал для либерально мыслящих людей, у которых в Германии так мало отвечающих их взглядам печатных органов, и я думаю, что и вы, Кольб, тоже охотно принесете жертву ради этой цели. Наше время — время борьбы идей, и журналы — наши крепости. Обычно я ленив и работаю вяло, но там, где можно принести столь явную пользу общему делу, там я никогда не буду стоять в стороне. Не отказывайтесь же от «Анналов»; моим именем вы можете располагать. Что же касается денежных средств, то и здесь тоже приняты меры, так как я просил барона Котту назначить четыре луидора за оригинальные сочинения, от двух до трех луидоров за обработку статей и, как обычно, один луидор за переводы. При таких гонорарах вы, конечно, сможете давать что-нибудь хорошее в каждом номере.

Гермес и Мебольд обещали сотрудничать, Менцель тоже охотно даст кое-что, а Линднер каждый месяц будет давать политическую статью. Правда, сам я, по крайней мере пока я в Италии, смогу ежемесячно вносить разве только самую скромную лепту. Но мы вполне обеспечены теми материалами, которые имеются в «Иностранных делах» и не нужны им. Если г-н Лаутенбахер еще в Мюнхене, кланяйтесь ему от меня; он усердный работник, и мне хочется, чтобы он как можно больше давал для «Анналов». Короче, дорогой Кольб, сделайте все, что в ваших силах, возьмите на себя редактуру; я заранее согласен с любыми условиями, какие вы мне поставите. Повторяю: моя фамилия может фигурировать как фамилия редактора только в том случае, если барон Котта действительно желает этого или считает это особенно целесообразным; повторяю еще раз, что в этом случае я очень хотел бы видеть ваше имя рядом с моим, и, наконец, я предлагаю вовсе не указывать какого-нибудь одного редактора, а поставить на титульном листе имена сотрудников, как это делается во французских журналах; я был бы вполне доволен и этим. Что касается названия журнала, то, на мой взгляд, мы могли бы избрать следующее: «Новые анналы, ежемесячный журнал по вопросам политики, литературы и нравов», а в качестве девиза предлагаю слова: «В Европе нет больше наций, в ней есть только партии».

Кроме того, дорогой Кольб, вы непременно должны указать в особом примечании в конце номера, что во время моего отсутствия все материалы следует адресовать вам.

*Г. Гейне.*

## 110. ИОГАННУ-ФРИДРИХУ КОТТЕ

Потсдам, 7 июня 1829 г.

Господин барон!

В соответствии с вашим пожеланием получить от меня что-нибудь об Италии посылаю вам с этим письмом кое-что в этом роде для «Утренней газеты» и надеюсь, что вы не найдете здесь ничего предосудительного, так как в более умеренном тоне я написать не смог, а потому намерен реши-

тельно протестовать против какого бы то ни было урезывания текста. Если напечатать без сокращений и искажений нельзя, прошу вернуть мне рукопись, адресовав ее на имя Фарнхагена. Впрочем, я согласился бы заменить инициалами некоторые имена, встречающиеся в третьем отрывке.

Я так люблю вас, барон, и мне так не хотелось бы вызвать ваше неудовольствие, что я не допускаю даже мысли, что вы можете неправильно истолковать мою неуступчивость в области духовных интересов. За последнее время мне кажется, будто все это делается для того, чтобы как-то ограничить и унижить меня, а потому мне приходится проявлять гораздо больше мужской твердости, чем мне самому хотелось бы.

От Шенка я до сих пор не получил письма, и только моя добродушие удерживает меня от того, чтобы рассматривать это как оскорбление.

Вложенные в конверт стихи я получил недавно от одного превосходного молодого человека, который просил меня пристроить их в «Утреннюю газету».

Надеюсь, что вы, а также мой очаровательный недруг — баронесса Котта уже отдохнули от путешествия; разрешите мне засвидетельствовать вам обоим мое глубочайшее почтение.

Преданный вам

*Г. Гейне.*

### III. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Потсдам, 15 июня 1829 г.

Твое милое письмо, а также приложение к нему получил сегодня утром и благодарю тебя, дорогой Мозер, за все твои хлопоты. В субботу в пять часов пошел к Фарнхагенам и заболтался с ними так, что дал себя уговорить поехать с ними кататься; вернулся я только в одиннадцатом часу, а в воскресенье в полдень сразу же уехал, успев в этот день поговорить с одними только Робертами; в жару мне не хотелось идти в Кенигсштадт, и вышло так, что я не повидал тебя перед отъездом. Мне нужно было даже сказать тебе кое-что важное, а именно, чтобы ты дал мне еще денег, да еще такую сумму, чтобы в твоей кассе осталось для меня двести талеров, на которые я собираюсь ехать на купанья, при-

чем выехать я думаю через месяц. Поэтому прошу тебя подсчитать, сколько ты мне *всего* передал денег, и, как я уже сказал, выслать столько, чтобы у тебя осталось еще двести талеров. Извини, что затрудняю тебя. Написал бы тебе больше, но уже с воскресенья чувствую в себе какое-то оупение; с тех пор не писал ни строчки. Все-таки я надеюсь, что в этом году мой поход против попов и аристократов будет более удачным, чем русский поход. Узнал, что некоторые русские копируют меня; что это делают французы, я догадался, прочтя одну песенку, в которой слышатся раскаты *моего* грома. Непременно прочти «Романтического Эдипа» графа Платена; эта вещь написана против тебя. Будь здоров.

Г. Гейне.

## 112. КАРЛУ ИММЕРМАНУ

[Гамбург, 17 ноября 1829 г.]

Доброе утро, милый Иммерман!

Мне нечего сказать вам, кроме того, что знает целый свет, а именно, что вчера вечером при переполненном зрительном зале была хорошо сыграна и весьма достойно принята публикой ваша трагедия.

Первый раз за шесть месяцев я снова был в театре, в обществе милых дам, уста которых были прелестны, когда они произносили хвалу Иммерману.

Сегодня у меня головная боль; театр, особенно когда я смотрю вещь целиком, всегда утомляет меня. Зато вчера я был вполне здоров и счастлив.

Вчера утром я высек графа Платена, а вчера вечером аплодировал Карлу Иммерману. На первое, выполненное пока только наполовину, я вынужден был наконец решиться: я и так откладывал это слишком долго, так что и меня самого, как и других, стало наконец разбирать любопытство, что, собственно, я с ним сделаю. Вы, Иммерман, выступили в роли судьи, я же сыграю роль палача, вернее, совершенно всерьез возьму на себя его обязанности. «Эдип» вызвал в Берлине только неудовольствие. Зато он особенно смакуется здесь известной кликой педерастов, связанной с графом. Вчера прибыл его кровный дружок Румор, ве-

ликий повар, заваривший всю эту кашу, и я жду самых обратительных козней. Недавно я говорил с ним в Италии, и только от него я узнал, что именно ваша ксения привела Платена в такую ярость. От смеха мне трудно писать дальше. Несчастливая ксения, она причина моей гибели! Будь у меня время, я осыпал бы вас ужасными упреками. Из мести я посвящаю вам третью часть «Путевых картин»: надеюсь послать вам эту книгу недели через четыре-пять. Правда, я собирался посвятить вам книгу получше этой, но не могу упустить случай презентовать вам именно то произведение, в котором содержится *spolia opima*<sup>1</sup> великого чемпиона классицизма. Говорю серьезно, я имел намерение посвятить вам что-нибудь получше, но ведь и *злободневное* тоже имеет ценность. Впрочем, книга написана в духе кротости, ничуть не демагогически, даже чисто по-русски, — теперь это то же, что по-ультрапрусски. Если будет возможно, я навещу вас в будущем году.

Я долго грустил после смерти своего отца, и только теперь настроение мое начинает постепенно улучшаться. Остаюсь здесь еще на несколько месяцев.

Вашего «Фридриха» я прочел с восторгом. Он мне гораздо милее «Гофера», которого, как высоко я его ни ставлю, я все же люблю меньше всех ваших драм.

Правда, вчера вечером он понравился мне больше, чем в чтении. Когда я его читал, мне казалось, что он написан в подавленном, болезненном настроении.

Великолепно звучали вчера вечером на фоне отдаленной пальбы тирольские песни. Ленц играл хорошо, прекрасная Эльзи — превосходно. Последний акт, самый лучший в поэтическом отношении, сценически оказался наиболее слабым.

До предпоследнего акта публика была охвачена напряженным ожиданием, ждала, затаив дыхание, с биением сердца. Но последний акт сценически бесцветен, а развязка была всем известна заранее. Поэтому этот акт понравился меньше предыдущих. Я хочу перечитать эту пьесу еще раз и вскоре выскажусь о ней обстоятельнее. Мой адрес: «Гофману и Кампе». Рад, что Кампе выпускает собрание ваших сочинений. *Je n'y ai pas nui.*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Отнятое у полководца оружие (*лат.*).

<sup>2</sup> Я этому не мешал (*франц.*). (См. комментарий.)

Все редакторы коттовских газет относятся ко мне враждебно и позорнейшим образом уродуют мои статьи в «Утренней газете». Сам старый Котта — очень порядочный человек. Когда, незадолго до моего отъезда, я сказал ему, что в его издательстве печатается платеновский пасквиль, он велел своим подчиненным дать мне его прочесть. Мне стоило сказать только слово, и это произведение не вышло бы из печати. Но вы сами понимаете, что я не пошел на это.

Шлю вам привет, сердечнейший привет. Я очень люблю вас и каждый день о вас думаю. Кланяйтесь от меня единомышленникам и доброжелателям. Обнимаю всех дам, которые вам милы. Разрешаю вам зато обнять, конечно *à distance*,<sup>1</sup> всех дам, которых люблю я.

Ваш друг  
Г. Гейне.

### 113. ФРИДЕРИКЕ РОБЕРТ

[Гамбург, середина декабря 1829 г.]

Очаровательнейшая Фридерика!  
Высокочитимая дама!

Ваше прекраснородие извинит долгое мое молчание. Если я не писал так долго, то в этом повинна не память моя, в коей вы обитаете и цветете, подобно прекрасной фее. Увы, прекрасная Фридерика, я несчастен, а в этом состоянии человек едва ли имеет право думать о прекрасных женщинах, и тем менее писать им. Я страдаю от дупла в зубе и от дупла в сердце; оба они, именно вследствие своей пустоты, причиняют мне много мучений. К сожалению, мне не хватает мужества подвергнуться целительной операции, — я имею в виду зуб. Думая о вас, я ощущаю иногда облегчение, — я имею в виду сердце. Если бы я сказал, дорогая Роберт, что я влюблен в вас, я бы солгал; но когда я говорю, что думаю о вас с огромной любовью, я говорю правду. С каждым днем моя болезнь становится все смертельнее, я почти мертвец, а такие люди имеют право гово-

---

<sup>1</sup> На расстоянии (*франц.*).

рить правду, так как ложь не доставляет им больше удовольствия.

От последнего амурного знакомства не осталось ничего, кроме дикой тоски, омерзительного фантома, фантастической досады; иногда в полночь дохлая кошкaт оскливо мяучит среди руин моего сердца.

Посылаю вам третью часть «Путевых картин», которую я только вчера получил из типографии и спешно дал сброшюровать, дабы вы с Робертом могли прочитать с пылу, с жару все, что я в этом месяце написал о графе Платене, который, как вы помните, был столь ядовит в своей комедии. Я написал противоядие, которого хватило бы еще на двадцать графов до конца их жизни. Как я слышал, он пишет теперь против Роберта. Я сделал что мог. Пожалуйста, прочтите только вторую часть книги «Луккские воды». Книга уж очень распухла. Как только я приеду в Берлин, я переплету ваш экземпляр. Фарнхагенам я тоже посылаю ее в сыром виде, иначе из-за праздников, когда у переплетчиков столько дела, я смог бы отправить ее только дней через десять. Фарнхагенам я напишу через несколько дней, поэтому прошу вас пояснить им все вместо меня. Надеюсь скоро приехать в Берлин.

Будьте здоровы. Мой адрес: доктору Г., у вдовы Гейне, урожденной фон Гельдерн, Нойерваль, д. 28, лит. Д. Здесь столько однофамильцев, что подробный адрес необходим.

Ваш обожатель

*Г. Гейне.*

#### 114. БАРЛУ ИММЕРМАНУ

[Гамбург, 26 декабря 1829 г.]

Вот вам, дорогой Иммерман, моя книга. Вторая часть ее кое-чего стоит, потому что в ней я впервые сделал попытку заставить характер жить и говорить. Этот отрывок, «Луккские воды», — только часть большого романа путешествий, который ближайшей осенью я, быть может, пришлю вам целиком. Это мне послужит защитой и против весьма вероятных обвинений в том, что я не посвятил вам чего-нибудь более совершенного. Если когда-нибудь будет



напечатано все целиком, то г-н граф, как и подобает, будет вышвырнут из книги. Его анонимная статья «Из дневника читателя» заставила меня тоже взять эпитафию из него самого. Я теперь насквозь вижу этого червя, он так мне ясен во всем своем убожестве, что я уже рассматриваю его только как произведение моей собственной фантазии; я сам мог бы продолжать теперь платоновские произведения и даже написать все то, что он еще сочинит против нас с вами. Я зол не на него, а на его клиентуру, которая наравила его на меня. Я вижу упорное стремление уничтожить меня в глазах общественного мнения и был бы дураком или подлецом, если бы стал щадить его из деликатности или для сохранения отношений. Моя жизнь так чиста, что я спокойно встречу любой скандал, обращенный против меня. Я сам был настолько умерен, что не устроил скандала; немногие замечания личного характера, которые я сделал, служили лишь объяснением литературной части. Вор, сидящий в Одензейской тюрьме, это и есть граф Платен. В то же время когда Платен пресмыкался перед Коттой, он писал Шенку, что Котта морит его голодом, что пужно похлопотать за него перед королем, что он и так не проживет долго, что он на краю могилы. Бер заклинал меня в ту пору не говорить Шенку ничего во вред Платену, так как от Шенка зависят шестьсот гульденов королевской пенсии. Я высказался в его пользу, я склонил на его сторону мадам Котта, я сделал и кое-что большее, о чем вынужден теперь умолчать, и в то же время этот жалкий человек написал «Эдипа». Я знаю, что он ненавидит также Шенка и Бера, потому что он убежден, что мы трое (не смейтесь!) стяжали мюнхенские лавры, которые по праву принадлежат ему одному! Но против меня ненависть его обратилась в слова особенно свободно потому, что случайно я не министр, и особенно сильно потому, что министру он должен был еще льстить. И — милостивый боже! — на какую только низкую лесть не способен этакий помет аристократической касты! Мне известны такие мерзости, что я не смею доверить их бумаге.

В злобе его против вас меньше личных оснований. Она служит ему только как рекомендация для союза попики, баронов и педерастов, который шире и могущественней, чем это думают. Не смейтесь, я говорю серьезно, как надгробный памятник: педерасты — это послушники, это

связующие звенья великого союза ультрамонтанов и аристократов. Почему они так злы на вас, я, в сущности, не знаю, но что они злы — это верно. Литературные явления, по поводу которых вы выразили свое изумление, не случайны. Менцель, может быть, и не принадлежит к конгрегации, но он строит ей куры. Не могу разобраться, как здесь прошел ваш «Гофер». За исключением пятого акта, драма принята очень одобрительно. Не верьте только газетным рецензентам, которые все высказываются против нее: они находят, что в ней достаточно поэзии, и именно поэтому она будто бы не годится для сцены. Лебрэн, с которым я случайно беседовал, тоже говорит, что вещь не понравилась, даже напротив; и Циммерман слышал только одобрения. Глупо говорить об этих партерных сплетнях. Я презираю весь театр. Здешняя примадонна третьего дня сделалась пиетисткой, вчера уже усердно молилась и объявила дирекции, что ни в каких чувственных операх она выступать больше не будет. Ее зовут Крауз-Врашицкая.

Что касается Юхтрица, то вы правы, а я неправ. Но почему же я не могу быть неправым? Сидя на трупе Платена, я совершенно спокойно сознаю в своей неправоте относительно Юхтрица, который заслужил крутые меры только *privatim*.<sup>1</sup> Я рад, что все же ни разу не назвал его по имени, и в следующем издании выброшу все, что его касается. После сражения я всегда сама кротость, подобно Наполеону, который неизменно бывал растроган, когда после победы объезжал поле битвы. Бедный Платен! *C'est la guerre*.<sup>2</sup> Дело шло не о шуточном турнире, а о гибельной войне, и при всем хладнокровии я еще не могу учесть всех последствий моей книги. Я писал ее при плохих обстоятельствах, и индифферентный тон, который, может быть, в ней есть, возник по контрасту. Ах, я болтаю! Желая, чтобы манера, в которой я говорю о педерастии Платена, вам не слишком не понравилась. Нужна была умеренность тона. Если бы я рассказал, что из-за этой болезни он уже заработал пинки и палочные удары, то меня заподозрили бы в пристрастии. Поэтому мне пришлось даже замалчивать правду, для того чтобы сохранить прав-

---

<sup>1</sup> Частного (не публичного) характера (*лат.*).

<sup>2</sup> Это война (*франц.*).

доподобие. Я опустил, что в Эрлангене, где он голодал, некая г-жа Рат (не помню точно ее имени) кормила его и снабжала деньгами на туалет. Так, например, опираясь только на слухи и общественный голос и не зная определенно, работал ли он в эрлангенской библиотеке или меня ложно информировали, я выразил свое сомнение по поводу этого обстоятельства и никак его не использовал. Тем точнее был я в основном...

## 115. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Гамбург, 3 января 1830 г.

Милый Фарнхаген!

С тяжелой головой, с отвратительной болью в груди, среди тысячи неприятностей я пишу вам это письмо. Как печально начинается этот год, как тревожно! Ах, если бы только можно было бежать от времени, как бежишь от места! Увы, мне придется терпеливо спосить весь этот год, прежде чем я доживу до тысяча восемьсот тридцать первого!

После возвращения с купаний я жил очень замкнуто, писал и одновременно печатал третий том «Путевых картин», который на рождестве так внезапно вышел из печати, что я и заметить этого не успел. Из-за торопливости моего издателя книгу разослали и роздали прежде, чем высохли листы. Боясь, что моя посылка запоздает, я сразу же послал вам наспех сброшюрованный экземпляр и оставляю за собой право, как только приеду в Берлин, переплести его, как и предыдущие тома. Посылаю книгу через Мозера, и хотелось бы, чтобы главы с XXIX по XXXI не показались вам слишком слабыми. О ком я думал, когда писал их, и на чье одобрение рассчитывал в первую очередь, вы тотчас же заметите. Кроме того, мне хотелось бы, чтобы вам понравились «Лукские воды» и действующие в них лица. Мой Гиацинт — первый живой образ, который я показал в натуральную величину. В дальнейшем попробую дать подобные же образы как в комедии, так и в романе. Здесь снова появился один дурак, который выдает себя за маркиза Гумпелпно, кричит караул и выделяет сальто-мортале.

С наибольшим нетерпением жду вашего мнения о Платене. Я не прошу похвал, но порицать меня тоже несправедливо. Я сделал что должен был сделать. Будь что будет. Вначале всем было любопытно знать, что станет с Платеном. Теперь, как и всегда бывает при казнях, появилась жалость, и всем кажется, что мне не следовало бить его столь сильно. Но мне невдомек, как можно убивать нежно. И никто не заметил, что в нем я покарал только представителя определенной партии, наглуго проститутку аристократов и попов. Мне хотелось атаковать его не только на эстетической почве, — это была война человека с человеком, и именно тот упрек, который мне теперь бросает публика, говоря, что я, низкородивший, должен был хоть сколько-нибудь щадить высокородное сословие, этот упрек как раз и смешон: ведь это-то и подстрекало меня, мне хотелось подать пример, а там будь что будет. И этот пример я добрым немцам подал.

Тем временем сюда прибыл Румор, миссионер педерастии, и затеял в своих кругах против меня жуткие каверзы. Две недели тому назад он уехал обратно в Любек, когда его план основать на даче под Гамбургом сераль художников потерпел крушение. Несколько ганноверских платенов уже грохочут вдалеке.

А тут еще домашние неприятности, досада на издателя, который меня надувает, а вчера вечером я, к тому же, получил письмо от Котты и вижу, что его благородная супруга подстрекает его поступить со мной несправедливо и даже нечестно. Однако я слишком люблю Котту и сразу заметил, что он только подписал это письмо. Пусть все останется в полной тайне, с ним-то я уж сумею поладить. А вот Кампе — настоящий негодяй: чтобы ограничить мои денежные претензии, он втайне строит козни против моей книги. Таким образом, мне отовсюду грозит беда. Не поймите меня превратно: беда грозит отчасти моей литературной работе, отчасти — моей личной безопасности, отчасти — моей будущности. Я вижу, как под меня подкапываются со всех сторон. Сообщаю все это затем, чтобы спросить вас: ехать ли мне в Берлин? Тамошних платенов, — говорят, что они могут добиться против меня именного королевского указа, — я не боюсь; не боюсь я также и дела о диффамации, которое могут возбудить против меня. Но не знаю, подходит ли мне вообще положение частного лица

в Берлине и можно ли добиться там чего-нибудь впоследствии. Я хочу жить спокойной трудовой жизнью. Мне хотелось бы до лета доработать там без помехи несколько книг, снова съездить на морские купанья и наконец обосноваться в Берлине. Мне нужна опора против юга, где я все поставил на карту. Ах! Вы не знаете, каких жертв мне стоила полная беспощадность моих писаний. *Прошу вас, ответьте мне как можно скорей.*

Что касается моих литературных бед, то здесь вам будет легче помочь мне. С давних пор вы так много делали для моих книг без всяких просьб с моей стороны, что теперь, когда дело касается моих кровных интересов, вы, конечно, не станете бездействовать. На этот раз, прошу вас, попробуйте завоевать для меня общественное мнение, это поистине необходимо. Скажите Гансу, что на сей раз он обязан вступить за меня. Роберт, из чувства самосохранения, вероятно сделает все что сможет. Он, конечно, должен быть мне благодарен. Не думаю, чтобы Платен осмелился теперь порочить Роберта: он убедился, что и его могут обуздать. Ах! Какое бедствие война! Здесь все с нетерпением ждут, что сделает Платен. Думаю, что с высоты своего величия он по-графски спесиво обрушит на меня, презренного карлика, свои фразы, подобно тому как он поступил в отношении Иммермана в «Дневнике читателя» — произведении, автором которого я, ни минуты не сомневаясь, объявил Платена. Но ему ничто не поможет. Ругался-то ведь он, а я избегал всякого грубого слова, — *suaviter in modo, fortiter in re.*<sup>1</sup>

В этом письме, полном всяких бед, я едва решаюсь кланяться моей приятельнице, г-же фон Фарнхаген. Однако стоит мне произнести ее имя, и я становлюсь бодрее, у меня подымается настроение, я почти весел. Да, все же кланяйтесь ей сердечно, очень сердечно. Скажите, что я прошу передать ей все, о чем думал в течение полугода. А что это за мысли, она сама сумеет представить себе. Будьте здоровы и дружественны

к вашему другу

Г. Гейне.

---

<sup>1</sup> Мягкий по манере, жесткий на деле (лат.).

Мой адрес: Г. Г., доктору прав, у вдовы Бетти Гейне, урожд. фон Гельдерн, Нойерваль, д. 28., лит. Д., в Гамбурге. Здесь так много однофамильцев, что подробный адрес необходим.

## 116. КАРЛУ ИММЕРМАНУ

Гамбург, 3 февраля 1830 г.

Дорогой Иммерман!

Ваш «Тулифентхен» вот уже десять дней лежит у меня на столе (не думаю, чтобы вам было неприятно услышать это, хотя вы и не давали мне прямого разрешения читать его), и я написал бы вам об этом еще неделю назад, если бы не рассчитывал (или, вернее, просто очень хотел) в эти дни получить от вас письмо. А теперь написать вам меня торопит Кампе; вчера я сказал ему, какую радость мне доставило чтение вашей поэмы, в которой я нахожу лишь отдельные мелкие погрешности. Тогда он пожелал, чтобы обо всем этом я написал вам. Да я и сам хорошо понимаю, что сказать вам правду — мой долг, и я не вправе умалчивать даже и о том, о чем вам, дорогой Иммерман, быть может, будет неприятно услышать. Начну с резкой критики: в вашем «Тулифентхен» мне не нравятся некоторые длинноты, а местами также и метрика. И то и другое можно было бы легко исправить, первое — путем сокращений, второе — перестановкой и заменой отдельных слов. Метрические недостатки заключаются главным образом в том, что слова и стопы всегда точно совпадают, что в четырехстопном хорее всегда режет ухо, если только автор нарочно не задался целью дать пародию на этот размер; впрочем, в «Тулифентхен» вы нередко именно эту цель и преследовали. Надеюсь, вы поймете меня правильно. Я хочу сказать, что там, где кончается слово, у вас всегда кончается и стопа (—). В большинстве случаев помочь делу здесь бывает очень легко, изменение одного-единственного словечка, какой-нибудь частицы уже устраняет метрическое однообразие целой строфы. Что, если бы вы еще раз просмотрели поэму (вы ведь, наверно, написали ее довольно быстро) именно с этой точки зрения? Вторичный просмотр, несомненно, пошел бы ей на пользу. Или, может быть,

вы хотите, чтобы я сам вместо вас прошелся по тексту с той же целью и затем предложил бы вам сделать кое-какие изменения, которые вы могли бы по вашему усмотрению принять или же отклонить? Сохранился ли у вас черновиц поэмы? Я просил Кампе выпустить ее уже к пасхальной ярмарке (он, кажется, и не думал спешить с этим, так как отдал ее Циммерману, который обычно держит у себя рукописи месяцами; увидев, что Циммерман ее не читает, я забрал ее у него), а теперь Кампе говорит, что об этом я должен тотчас же написать вам. Поэтому ожидаю от вас ответа с обратной почтой. Если вы не пишете мне потому, что вам не хотелось бы до поры до времени высказывать свое мнение насчет моей последней книги, это все равно не должно помешать вам ответить мне. Ах, дорогой Иммерман, я не был бы на вас в обиде, даже если бы вы увидели только теневые стороны этой книги и если бы она вам вовсе не понравилась. Мне ведь еще приходится слушать свинячий концерт всех недорезанных мною, которые теперь так развизжались и расхрюкались. Это легко могло бы смутить всякого, кто не уверен в своей правоте. Но на этот раз, дорогой Иммерман, поверьте мне и моему спокойствию. На этот раз положитесь всецело на меня, я три месяца обдумывал то, что хотел сделать, и сделал это только потому, что так требовала железная необходимость. Меня обвиняют в поспешности и запальчивости. Но теперь уже, слава богу, нигде не слышно: «Бедный Гейнс, бедный Иммерман!» Это сострадание к нам было так несносно. Да, кстати, я хочу вас задобрить: когда я впервые услышал в Мюнхене, что граф Платен идет против вас пасквиль, я сказал Шенку (а может быть, и Беру, я уж не помню точно), что я высеку его за это, даже если он не тропет там меня. Я никогда ничего не предпринимал против нападок, которые касались только меня самого, и если на этот раз я пересоллил, то это произошло потому, что здесь надо было либо действовать энергично, либо уж вовсе молчать. Но я рад, что мои берлинские друзья (особенно Фарнхаген, наш рассудительный Фарнхаген) признают мою правоту, и хотя здесь целое гнездо сторонников платоновской любви и все враки обо мне исходят отсюда, все же моя книга нашла здесь самых восторженных единомышленников, к числу которых, без всяких оговорок, принадлежит и наш друг Циммерман. Но я отклонился от более

приятной темы, от нашего милого Тулифентхена, этого маленького героя, этого эпического колибри. Он необыкновенно поэтичен, и особенно предпоследняя глава, переносящая нас в населенные феями висячие сады сказочной поэзии. Тон выдержан до конца, повсюду разбросаны забавные эпитеты и сочетания слов, везде сквозят мягкий, лукавый юмор и грация. Это эпос, в котором формы героической поэзии применяются шутки ради и премило сочетаются с элементами детской сказки, звучащими в нем с наивной серьезностью...

### 117. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРИХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Гамбург, 4 [февраля] 1830 г.

Сегодня, милые друзья, мне хочется написать вам о важном, о самом важном из всего, что меня сейчас волнует, а именно: я благодарю вас за ваше последнее письмо. Ваше молчание уже доставило мне много беспокойства, и я чувствовал, что оно способно причинить мне больше горя, чем крики всех моих врагов, которые сейчас словно поклялись друг другу обрушиться на меня соединенными силами. Конечно, я не позволяю ярости врагов сбить меня с толку, но, с другой стороны, доброта и великодушные моих друзей также не заставят меня поддаться самообольщению. Да, милый Фарихаген, я глубоко чувствую, что вы только из благородства не укоряете меня сейчас и не выносите, как это делают другие, смертного приговора моей последней книге. Благодарю, я никогда этого не забуду. Никто не чувствует глубже меня самого, что я бесконечно повредил себе главой о Платене, что я должен был иначе взяться за дело, что я оскорбил общество, и при этом — лучшую его часть; но в то же время я чувствую и то, что, при всем своем таланте, я не мог бы сделать ничего лучшего и что все-таки, *coûte que coûte*,<sup>1</sup> — я обязан был преподать урок. Национальное раболепство и апатия немцев проявятся здесь блестяще. Сомневаюсь, что мне удалось лишить слово *граф* его волшебной силы. Сейчас уже поднят вопрос о дуэли. Вы помните, что я думал об этом

<sup>1</sup> Чего бы это ни стоило (*франц.*).



с самого начала; из предусмотрительности я зашел так далеко, что теперь графу гораздо важнее получить удовлетворение от меня, чем мне от него. «Власть условностей» на этот раз обратится в комедию. И меня еще обвиняют в том, что я совершил нечто неслыханное в немецкой литературе. Как будто времена еще все те же! Ведь шиллер-гетевская война ксений была всего лишь картофельной перестрелкой. То был эстетический период, и дело шло лишь о призраке жизни — об искусстве, а не о самой жизни; теперь дело идет о высших интересах самой жизни, *революция* врывается в литературу, и война становится серьезнее. Может быть, кроме Фосса, я единственный представитель этой революции в литературе, но она была необходима во всех смыслах. Не думаю, что здесь у меня будет много последователей, здесь будет не то, что было с моими песенками; ведь немец раболепен по самой своей природе, и дело народа никогда не встречало широкого сочувствия в Германии. Однако тут ничего нельзя предсказать — пусть каждый делает что может. Конечно, всякий думает, что он действует только за себя; в действительности же он выражает интересы всех. Говорю это к тому, что в платеновской истории я не претендую на венец гражданственности, я заботился прежде всего о себе, но источники этой заботы возникли из всеобщей борьбы нашего времени. Когда на меня впервые набросились мюнхенские попы и впервые заговорили обо мне как о еврее, я смеялся, я считал это просто глупостью. Но когда я почувствовал здесь систему, когда я увидел, как нелепый призрак постепенно становится грозным вампиром, когда я разглядел цель платеновской сатиры, когда я узнал от книготорговцев о существовании подобной же рукописной продукции, пропитанной тем же ядом и расплывающейся повсюду, я препоясал чресла и ударил со всей силой, со всей быстротой. Роберт, Ганс, Михаэль Бер и другие, когда на них нападали, как на меня, проявляли всегда христианское терпение и умно молчали. Я не таков, и это хорошо. Хорошо, когда негодяи нарываються наконец на настоящего человека, который решительно и беспощадно воздаст им за себя и за других. Довольно об этом. Меня очень печалит, что вы и г-жа Фарнхаген больны или по меньшей мере нездоровы. Мое здоровье плохо, и я не знаю еще, когда смогу приехать в Берлин. Моей книге это, вероятно, было бы полезно; все здешние бульварные газеты

треплют мое доброе имя, от иногородних газет следует ждать того же, и вот, может быть, если бы я лично попросил их, некоторые берлинские друзья согласились бы выступить в защиту моей чести. К сожалению, общественное мнение зависит от прессы больше, чем обычно полагают. Ваше намерение помочь мне превосходит мои надежды: знаю, что и в здоровом состоянии вам невесело было бы писать о столь темном деле. Выйти на поле брани — священнейший долг Ганса; прошу вас напомнить ему об этом от моего имени; пусть он в самом деле исполнит теперь свое обещание и немедленно устроит, чтобы мою книгу прорецензировали в «Ежегодниках», иначе я отрежу ему уши и он не сможет больше — самое страшное для него наказание! — слушать самого себя. Только пусть он поспешит. Я также прошу его воздействовать на редакторов «Правительственной газеты», чтобы они не оставили без внимания выход моей книги. Ее политическая тенденция, конечно, не вызовет неудовольствия. Я написал бы Гансу сам, если бы не знал его таланта создавать неловкое положение.

На днях я получил книжечку под названием «Эрато» барона Франца фон Гауди (Глогау, изд. Хеймана, 1829). В ней славные песни в моей лаконической манере, и автор посвятил их мне. Особенно удачно выразил он в этой манере впечатление от нескольких нидерландских и старофранцузских картин. За время моих путешествий я выяснил, что моей манере подражают даже чаще, чем мы обычно думаем, хотя и печатные ее отголоски тоже нередко встречаются в различных стихотворных сборниках. *Madame votre épouse*<sup>1</sup> — виновница всей этой беды: когда я представил ей первые опыты в новой манере, она не только не наложила немедленно строгого запрета, но даже поощрила меня усовершенствовать эту форму. Возникновение такого рода стихотворений было необходимым и, пожалуй, полезным явлением, хотя оно и не продержится долго. Целую руки г-же фон Фарнхаген и заверяю, что страх, который внушила мне ее болезнь прошлой зимой, еще не покинул меня. Надеюсь вскоре увидеть вас обоих. Кланяйтесь Робертам. Последнее письмо мадам Роберт преисполнило меня тревогой. Его тон так набожен, словно он заимство-

---

<sup>1</sup> Ваша уважаемая супруга (франц.).

ван из молитвенника. Бог мой! Надеюсь, что она не поскользнулась во время гололедицы или не нанесла еще как-нибудь ущерба своей красоте. Если бы я узнал, что она собирается броситься в объятия господу богу, я тотчас бы постарался с нею порвать. Что стало бы, в противном случае, с моим реноме?

Вероятно, вы теперь уже получили письмецо от вашей сестры; мне она поручила предсказать вам очень длинное письмо. Ее дети и доктор Ассинг чувствуют себя прекрасно. Итак, будьте здоровы и, если время и настроение позволят вам, напишите мне *поскорее и побольше*. В ваших письмах всегда есть что-то бодрящее, возвышающее и укрепляющее надежды. Сейчас я нуждаюсь в этой духовной поддержке больше, чем когда бы то ни было. Остаюсь дружески преданный вам

Г. Гейне.

## 118. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

[Гамбург, 27 февраля 1830 г.]

Милые друзья! В эту позорную ультрареакционную зиму, когда каждый честный, либеральный человек болел, я тоже чрезвычайно страдал; теперь я вновь поправляюсь после того, как целый месяц позволял пиявкам, шпанским мушкам, аптекарям и сострадательным друзьям мучить меня. Я много харкал кровью, а так как из истории литературы мне известно, что это означает у стихоплетов, то я испугался и от страха строго-настрого запретил себе все поэтические чувства, особенно же писание стихов. С поэзией, значит, покончено; но надеюсь, что тем дольше проживу я прозаически. В это хворое время последнее письмо от вас и г-жи фон Фарнхаген очень хорошо на меня подействовало,—ведь если мои писательские дела, в той мере, в какой они становятся делом публичным, в сущности мало портят мне крови, то в личных отношениях они порождали или порождают еще то, что причиняет мне много *сгêve-soueig*.<sup>1</sup> Все мои личные отношения расстроились са-

<sup>1</sup> Сердечных страданий (*франц.*).

мым плачевным образом, и так как не все последствия моей книги уже выявились, то только летом, вероятно, я смогу себе уяснить свое положение в обществе. Тем не менее я — само спокойствие; да, я мог бы теперь применить к себе выражение, которое когда-то, г-н фон Фарнхаген, я изобрел для вас: покой — моя величайшая страсть. Поэтому вы можете быть уверены, что против новых нападок, которые еще появятся в связи с моей книгой, я ничего публиковать не стану. Если клевета и ложь превзойдут все, что я в состоянии вынести, то я велю связать себе руки, чтобы только ничего не писать. Если Платен снова выступит против меня в печати, только от вас будет зависеть, отвечать ли мне, что отвечать и как.

Если последняя статья в лейпцигском «Листке бесед» принадлежит вам, как я предполагаю, хотя и нахожу, что стиль ваш в ней совершенно изменен, то вы оказали мне хорошую помощь в беде: ведь прежняя статья в этой газете была беспримерно подлой (ее перепечатали южногерманские газеты) и доставила много радости и здешним моим врагам. Слава палача принесла мне больше удовольствия, чем если бы меня провозгласили Шекспиром. Увы, что касается моей последней книги, мне важны не похвалы и признание ее поэтических достоинств; я хочу только знать, удалось ли мне преподать урок и слетела ли с плеч именно та самая голова.

Не догадываетесь ли вы, кто автор ругательной статьи в «Листке бесед»? Судя по внутренним и внешним признакам, это тот самый человек, который недавно напечатал в «Globe»<sup>1</sup> статью о немецкой литературе, где он тоже подло обрушился на меня. Пусть на этот раз выручит меня Ганс. Я послал вам с одним коммивояжером, который как раз ехал в Берлин, шесть экземпляров моей книги (надеюсь, вы их уже получили) и прошу вас дать из них два экземпляра Гансу. Пусть он пошлет их своим парижским знакомым, то есть сотрудникам редакции «Globe» и «Revue française»,<sup>2</sup> чтобы, таким образом, были приняты меры предосторожности против любых враждебных махинаций с любой стороны. Остальные четыре экземпляра отдаю, дорогой Фарнхаген, в ваше распоряжение, раздарите их людям,

<sup>1</sup> «Глобусе». (См. комментарий.)

<sup>2</sup> «Французского обозрения» (франц.).

которые, по вашему мнению, могут сыграть благоприятную роль в споре о книге. Мне приходится прибегать к подобным мерам, поскольку даже собственного издателя я поймал на враждебных интригах. Появление в «Собеседнике» статьи, которая, по сути, хуже и быть не могла, огорчило бы меня, если бы я не почувствовал сильнее презрения. С полным доверием к способности моего друга Мозера, с которым мы всегда были единомышленниками, разбираться в людях, я послал ему книгу, как только она вышла из печати; я открываю ему свои опасения по поводу платеновской аферы, прошу завербовать для книги друзей и говорю, чтобы он попросил своего друга Фейта оказать мне поддержку. В Берлине этот молодой человек был моим слепым приверженцем и поклонником. Увы! Он так часто докучал мне и испортил мне столько часов! И вот этот молодой человек использовал все свое остроумие, чтобы выставить меня подлецом, то есть человеком, который прикидывается добродетельным, а книгу мою — достойной презрения, такой, какую он не решится даже упомянуть в своем хорошем обществе (слава богу, я отклонил десяток приглашений этого хорошего общества, которое для меня было слишком скверным). Точно так же поет и друг мой Мозер, если я еще могу называть другом того, кто в основных жизненных делах не сходится со мной. Это всё *odiosa*.<sup>1</sup> Но я твердо решил отказаться от таких друзей, а что касается явных врагов, то — не прощать никому ничего, если в платеновской истории я их застигну *in flagranti*.<sup>2</sup> От Иммермана я получил за это время много писем с выражением солидарности; первое из них я прилагаю и прошу вернуть его при случае.

28 февраля 1830 г.

Вчера я хотел кончить мое письмо, как вдруг получил присланный вами «Листок бесед», и приказание (ответ!) г-жи фон Фарнхаген заставило меня отложить отправку письма, чтобы добавить еще несколько строк. Правда, мне это очень трудно, так как бедная моя голова находится в состоянии дикого утомления.

За статью в «Листке бесед» благодарю еще раз; вы единственный, кто совершенно практически помогает мне в моей

<sup>1</sup> Неприятности (*лат.*).

<sup>2</sup> На месте преступления (*лат.*).

бде. Я хотел бы этими словами выразить все, что сейчас чувствую. Статья без всякого моего касательства была немедленно перепечатана в здешних «Плодах чтения», но, кроме того, я, может быть, использую ее в тексте издательского объявления во «Всеобщей газете», если только газета согласится. Со Штегеманом я в хороших отношениях, Лебре — мой единоведец по Бонапарту, только на чету Котта я не могу больше полагаться. Мадам мне враждебна, и, как только старик умрет, я сверну ей шею! Этой враждебностью я обязан моей симпатии к мадам Роберт. Говорю обо всем этом еще раз на тот случай, если вам удастся как-нибудь протащить во «Всеобщую газету» корреспонденцию из Берлина, где, как бы между прочим, упоминались бы разноречивые мнения, циркулирующие в Берлине о платоновской истории. Во всяком случае, мне хотелось бы, дорогой г-н фон Фарнхаген, чтобы вы за меня написали такую статью для «Гамбургского корреспондента»; я в прекрасных отношениях с его редактором, маленьким Рункелем, который печатает все, что я захочу. Только вы один способны написать столь деликатную статью, которую тем труднее написать, что она должна быть краткой и в самых общих словах выразить самые определенные вещи. Надо втолковать обществу, что теперь ему уже ясно значение этого спора и что оно не даст сбить себя с толку интригами, с помощью которых стараются погасить в нем понимание его собственных интересов. Несмотря на все мои попытки, мне не удалось состряпать защитительную статью, — не хватает тех дипломатически смягченных красок, той грациозной легкости, которые столь присущи вам. Вы могли бы, по своему усмотрению, послать статью (я надеюсь, что она не доставит вам хлопот) прямо Рункелю или непосредственно мне, хотя первое, может быть, удобнее. Циммерман обещал дать для «Гамбургского корреспондента» отзыв о моей книге, и думаю, что вскоре вы этот отзыв прочтете. Циммермана считают здесь автором вашей статьи, и, кажется, он не склонен решительно отклонять от себя эту честь.

Повторяю, что в первое мгновение я не узнал вашего стиля, и только при внимательном изучении статьи многие тонкости показались мне хорошо знакомыми. Сейчас я читаю четвертый том переписки Гете и Шиллера и, как обычно, делаю наблюдения над стилем. Я снова нахожу, что в стиле вы схожи только с ранним Гете, с Гете «Вертера»: у вас

совершенно отсутствует артистическое самодовольство, свойственное позднему искусству великого гения отрицания современности, гения, ставшего для себя самоцелью. Он владеет материалом, вы же свой материал побеждаете. Гладкости, светотени, сложному панпозыванию вводных предложений, механической подмалевке мыслей, — всему этому можно поучиться у Гете, только не мужественности. Мною все еще владеет навязчивая идея, что с окончанием периода главенства искусства приходит и конец главенству Гете; только наше одержимое эстетизированием, философствованием, страстью к искусству время благоприятствовало расцвету Гете; эпохе энтузиазма и действия он не нужен. Из этого четвертого тома переписки я ясно понял, как злобно ненавидел Гете революцию; в этом смысле он вредно влиял на Шиллера, которого в конце концов, вероятно, сделал бы соарпстократом. См. его издевательства над Поссельтом, над Кампе, над дипломом гражданина, полученным Шиллером из Франции, и т. д.

Простите мне путаное письмо, — голова моя так слаба, иначе я многое сказал бы г-же фон-Фарнхаген — г-же фон Фарнхаген, которая во имя правды сражалась, страдала, спорила и даже лгала. Как восхищает меня каждая написанная ею строчка!

Поклонитесь от меня Роберту и его жене, которой я собираюсь написать на днях. Скажите ей, что я ее прошу, не дожидаясь получения письма, написать мне несколько строк; это ей зачтется в лучшие времена. Сколько я здесь пробуду, не знаю, что буду делать, тоже не знаю, словом — ничего не знаю. Но не думаю, чтобы другие знали много больше.

Будьте здоровы, до глубины сердца здоровы и счастливы, как только это для вас возможно. Сохраните мне вашу любовь и дружбу.

Ваш  
Г. Гейне,

## 119. БАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Вандсбек, 5 апреля 1830 г.

Милые друзья мои, извините, во-первых, за бледные чернила, а во-вторых, за долгое мое молчание. Я и теперь не написал бы вам, если бы не жгучее желание узнать

о вашем житье-бытье. Я так оторван от всех, что вы сейчас единственные *rouvoirs intermédiaires*<sup>1</sup> между лучшей частью моего «я» и лучшей частью мира явлений. Вот уже десять дней, как я живу совершенно одиноко в Вандсбеке, где еще ни с кем не разговаривал, кроме Тьера и господ бога. Дело в том, что я читаю «Историю революции» первого автора и библию — второго. Потребность в уединении я ощущаю острее всего в начале весны, когда пробуждение природы отражается даже на лицах городских филистеров, вызывая у них несносно благодушные гримасы. Насколько благороднее и проще держатся деревья. Они спокойно покрываются листвой и знают точно, чего хотят! Я тоже точно знаю, чего хочу, только это дает мало зеленых побегов.

Посыпая, перед тем как ее перевернуть, предыдущую страницу мирным песком, я заметил, что мой почерк приобретает большое сходство с почерком г-жи фон Фарнхаген. В сущности, было бы противоестественно, если бы это было иначе: ведь мысли наши схожи, как звезда с звездой; я особенно имею здесь в виду звезды, которые на много миллионов миль отдалены от земли. Когда я говорю, что письма г-жи фон Фарнхаген похожи иногда на Млечный Путь в небесах, то втайне намекаю на жалобы астрономов, которые из-за слишком большой и сверкающей сутолоки в означенном Млечном Пути оказываются не в силах достаточно ясно распознавать и наблюдать отдельные звезды и портят зрение, как я, перед которым в настоящее мгновение лежит письмо г-жи фон Фарнхаген. Все-таки, госпожа фон Фарнхаген, напишите мне поскорее одно из тех небесных писем, над которыми я порчу себе глаза и отдыхаю сердцем.

Я снова сыплю песок, чтоб похоронить под ним глупые мысли этой страницы.

В прошлом месяце, особенно после карнавала, мне жилось даже слишком хорошо в Гамбурге. У меня нет таланта чересчур долго хворать, жестоко страдая, и когда, кроме физического недомогания, мне пришлось повозиться еще с сердечной досадой, вызванной главным образом моей последней книгой, я обратился к обычному своему домашнему средству. Оно состоит в том, что покидаешь домашнее уединение и упрямо извлекаешь из большого, угрю-

---

<sup>1</sup> Державы-посредники (франц.).



мого тела столько радостей жизни, сколько только возможно. Но после такого образа жизни вместе с утомлением приходит обычно и жажда серьезной работы, а та легкость и безразличие, с которыми я покинул хлебосолов и хлебосолок Гамбурга, его театральные и балльные увеселения, его хорошее и дурное общество, чтобы зарыться в одиночество и занятия, дают мне уверенность в том, что я все-таки не таков, как другие. Великие намерения теснятся в моей душе, и я надеюсь, что уже в этом году некоторые из них выйдут в свет.

Предоставят ли мне для осуществления этого необходимый покой, не знаю. Я не имею права предаваться беспечности в платеновской истории. Хотя я и толкую продолжающееся молчание этого героя в свою пользу, все же строить преждевременные иллюзии, будто всякая опасность миновала, было бы не меньшей трусостью, чем страх и переоценка опасности. Мы слишком охотно верим в то, чего сами желаем, и поэтому так редко верим в опасность. Трус поддается внушениям своих желаний с той же легкостью, с какой храбрец их преодолевает, и когда трус все же вынужден совершить мужественный поступок, он втайне надеется, что как-нибудь это ему сойдет с рук. Но это не мужество, а наглость. Мужество, напротив, не обманывается в последствиях своих поступков и готово к самому худшему. Может быть, вы вспомните, господин фон Фарнхаген, как вы сами однажды разъяснили мне это, и, видите, я не забыл ваших слов.

Я слышал, г-н фон Румор в Берлине. Мои подозрения касательно оскорбительной статьи в газете Брокгауза обратились против гамбургского профессора Ульриха, которого вы знаете по Берлину. Это очень скверно. Простить в таком деле я не могу, в крайнем случае могу только отложить экзекуцию. А между тем борьба с человеком, который благодаря влиятельной семье и связям занимает здесь довольно прочное положение, требует многих жертв. Последствия этой борьбы при всей осмотрительности предвидеть заранее невозможно. Ульрих состоит в переписке с Платеном, и мне любопытно, сколько скандальных сплетен выудил он обо мне. Возможно, что Платен не может писать от обилия материала. Но рано или поздно, Ульрих, как и Румор, пойдут под нож, — они оба стоят уже в списке смертников, — если только меня самого не скосят нож

смерти. Я не могу — пожалуйста, не истолкуйте меня ложно — не вспомнить об одном месте в вашем письме, да воспоминание это и не следует подавлять, тем более что оно не выходит у меня из головы. Однако писать вам о нем специально я считал бестактным и ненужным. Вы сообщили мне, что в тот же день послали Рункелю для «Корреспондента» берлинскую статью, в которой содержалось соответствующее упоминание о полемике. Теперь мне бы все-таки хотелось знать, не обижаю ли я маленького Рункеля напрасным недоверием, — ведь он утверждает, что не получал этой статьи, и клянется, что готов оказать мне любую услугу, которая только в его власти. В ожидании этой статьи, — я, право, готов сейчас смеяться, — я все время откладывал посылку «Корреспонденту» одной рецензии для отдела науки. Веселая жизнь, которую я вел в последнее время, виною тому, что я мало об этом думал. Теперь я вполне rassuré<sup>1</sup> и хочу поразмыслить на досуге, как при помощи статьи об ученых предметах и объявления издателя (оно тоже было отложено) заранее использовать печать, чтобы создать все возможные предохранительные средства против ожидаемых оскорблений. Дайте мне совет и в этом вопросе.

Вестей с юга у меня нет. Зато я знаю, что в северной Германии о моей книге все еще говорят плохо, но постепенно она прокладывает себе путь. Кто написал о ней хорошую статью в «Свободомыслящем»? Не Алексис ли? Статья меня порадовала. Я слышал, что о моей книге написано много, и притом много одобрительного, но что это было уничтожено различными махинациями газетных редакторов. Например, здесь о ней писали и очень одаренный человек доктор Винбург (тот самый, который поместил сообщение о сочинении Берне в «Корреспонденте») и редактор Нельдекс из Гамбурга, свободный протестант. Вообще очень многие свободные протестанты — мои пламенные поклонники, и я очень легко мог бы составить из них свою партию. Трудно предвидеть, что еще может возникнуть в протестантской Германии после разоблачения интриг иезуитов. Может случиться, что у меня окажутся приверженцы и среди верующих протестантов. Насколько я знаю, иезуиты считают, что они гораздо легче могут завоевать протестантских пиетистов, чем рационалистически

---

<sup>1</sup> Успокоился (франц.).

верующих и ортодоксов, и в этом ослеплении (потому что тут они действительно заблуждаются) они поддерживают иезитизм и покровительствуют ему. В этом я убедился в Баварии.

О политике мне писать не хочется ни сейчас, ни, вероятно, в ближайшее время. Относительно Франции мне приходят в голову разные мысли, тем более что на днях я прочел у Тьера, что пышущий король и семья Полиньяков первыми эмигрировали из Франции.

Мой адрес остается прежним. Мать пересылает мне письма сюда.

Будьте здоровы, кланяйтесь от меня Робертам и будьте другом вашему послушному

*Г. Гейне.*

## 120. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРИХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Вандсбек, 16 июня 1830 г.

В надежде на хорошую погоду я снова готовлюсь к поездке на купанья на Гельголанд, и, дорогие друзья, да помогут мне эти строки как можно скорее добиться вестей от вас.

Последние месяцы я прожил в полном одиночестве; тем сильнее жажду я узнать о вашем житье-бытье. Может быть, ваше письмо (мой адрес остался прежним) уже не застанет меня здесь, но оно явится для меня не менее желанным на еще более одинокой морской скале — на Гельголанде.

Благодарю вас за ваше последнее письмо от 16 апреля и за присылку «Цинцендорфа». Этот Цинцендорф так же некстати предстал передо мной, как те неприятные личности, которые, являясь к нам в дом с самым солидным рекомендательным письмом от лучшего друга, сваливаются на нас как снег на голову. Я совершенно не выношу слащаво-тухлого молельщика графа; вы изрядно принарядили его, но это раздражает меня только еще сильнее. Он втесался здесь в компанию гораздо более благородных друзей, которая расположилась на моем диване, — тут герои евангелия, Тьера, английской революции, мемуаров

и пр., — и среди них он играет просто дурацкую роль. Почему нам не предоставить писателям самим описывать своих героев? Пускай бы эти пичужки-крестовушки сами проверили, добьются ли они чего-нибудь своим смиренным чириканьем и смогут ли при всей своей любви, смирении и вере написать хорошую биографию. Они не сумеют подняться даже до самого необходимого, то есть до литературного стиля, так как он не возникает без упражнений разума; даже Цинцендорф не сумел бы так хорошо писать, если бы, помимо всего прочего, он не был еще немножко мошенником. Его слепые dupes<sup>1</sup> уже никогда не научатся писать корректным стилем. Меня сердит, что вы растрчиваете свое время и свой чудесный дар изображения на совершенно бесплодный предмет. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а святоши изображают своих святош. Герингутер, владеющий пером, непременно лицемер; и действительно, весь уклад этой несносной секты превращает ее в рассадник лицемерия и лжи. Здание, построенное Цинцендорфом, не могло оказаться столь недоступным для мира, чтобы веселье и радость не проникали в него. И поэтому влияние окружающей среды неизбежно породило здесь бесконечные виды лжи.

В смысле стилистическом я снова много почерпнул из вашей книги, а чтение в то же время тридцать первого и тридцать второго томов нового собрания сочинений Гете позволило мне сделать некоторые наблюдения. Мне бросилось в глаза и заставило задуматься, что в этих томах Гете, больше чем где бы то ни было, избегает определенного артикля (der, die, das), то есть опускает его самым явным образом, что он создает новые формы выражения неопределенности (сюда относится, например, педаггическое применение неопределенного артикля ein), я заметил далее, что он создает корректный язык для немецкого общества и тем самым помогает устранить множество ощутимых недостатков, и еще многое другое в этом же роде. Упомянутое только что стремление я нахожу у вас, дорогой Фарнхаген, но ваша всегда четко определенная воля благотворным образом удерживает вас от вышеназванной страсти к неопределенности. (Нынче

---

<sup>1</sup> Глушцы, ставшие жертвами обмана (*франц.*).

утром я написал уже много строк, где полюбившаяся Гете превосходная степень непрерывно вторгалась в мои периоды, — вот как заразительна стилистическая гримаса!)

За «Цинцендорфа» смогу вам послать через полтора месяца в качестве обратного фрахта второе издание первого тома «Путевых картин». Изменения, которые я внес в них, — несомненное свидетельство моей внутренней скромности и стремления к совершенствованию; например, из восьмидесяти восьми песен в цикле «Опять на родине» я изъял стихи, которые могли показаться непристойными моим слабосильным соотечественникам, и заменил их самыми добродетельными; следовавшие за ними испанские романсы и резкие ямбические стихи выбросил вообще. В «Путешествии по Гарцу» я также истребил все слишком жесткое, а освободившееся таким образом место заполнил вторым циклом «Морских картин». Таким образом, книга выиграла, стала сильнее, симметричнее и внушительнее. Во втором томе я заменю недостающие морские картины и «Письма из Берлина», которые я выброшу, уже известными вам английскими зарисовками. Из третьего тома будет вышвырнут граф, и тогда, надеюсь, «Путевые картины» станут весьма почтенным классическим произведением. Мой гений угрожает мне, правда, четвертым томом, но я еще не знаю, склонюсь ли с христианским смирением перед подобной судьбой.

Заметку в «Корреспонденте» о платеновском процессе устроил я сам, когда до меня дошло, что некий граф Фуггер в Берлине упражняется в платениане в совершенно определенном смысле. Аристократы собрали между собой сумму денег, но не знают, что с нею делать. Мне было бы очень кстати, чтобы вся эта сволочь наконец выступила против меня *in cogroge*<sup>1</sup> и спустила с цепи глупость всех тринадцати драматургов.

Будьте здоровы, а вы, госпожа Фарнхаген, сохраните мне свою любовь и дружбу. Я вас обоих очень люблю, только мне не хватает бумаги, чтобы сказать — как.

Г. Гейне.

---

<sup>1</sup> В полном составе (лат.).

[Вандсбек,] 21 июня 1830 г.

Дорогой господин фон Фарнхаген, хоть я уже писал вам на днях, но все же не могу удержаться, чтобы не послать вам прилагаемую при сем книжку и письмо от ее автора, полученное мною только вчера. Сама книжка лежит у меня уже полгода, но хотя большинство стихотворений, особенно голландские картины, показались мне превосходными, прежде всего по метрике, я долго тянул с ответом автору и написал ему лишь два месяца назад, — по-видимому, из мелочной нелюбви ко всему, что отдает знатностью. Так, например, одной из моих добрых знакомых пришлось вдоволь наслушаться моего брюзжанья, и все только потому, что она ганноверская графиня и вся ее родня — безнадежно чистокровное дворянство. Это у меня болезнь, и болезнь постыдная. Ведь именно эта добрая знакомая (к чему скрывать ее имя — Тютчев с женой и свояченицей выказали мне трогательное внимание, навестив меня по пути в Петербург), эта же самая добрая знакомая утешала меня в горестные минуты, которые я пережил по милости одного подлеца самого племейского происхождения (у меня много горестей семейного свойства), а барон Гауди пристыдил меня своим ответным письмом, — тем самым, что я пересылаю вам, — письмом, в котором он откровенно говорит о самых щекотливых вещах, затронутых в моем письме к нему лишь очень осторожно. Пересылая его письмо вам, я хотел бы вызвать у вас интерес к этой книге и к написавшему ее человеку, с тем чтобы вы сами составили себе суждение о том, насколько он заслуживает внимания. А поэтому, если вы сумеете выкроить хоть немного свободного времени, посвятите его краткому критическому рассмотрению этой книги, точно так же как вы делали это и для многих других, незнакомых вам ранее людей, например для меня. Правда, моя попытка порекомендовать вашим заботам еще одного сирого поэта напоминает мне доброго врачевателя в «Северной войне» Тика, где исцеленный им пудель выражает свою благодарность тем, что рекомендует его чающему исцеления шпицу.

Г-же фон Фарнхаген передайте от меня самый сердечный привет, так же как и Робертам. Эту зиму надеюсь

провести в Берлине, где буду иметь счастье видеть своих друзей в лицо, не ограничиваясь воспоминаниями.

Спасибо за заметку во «Всеобщей»; ее, как я полагаю, написали вы. Я отдам ее перепечатать в «Корреспонденте».

Это письмо вы получите, возможно, несколько поздно, так как оно пойдет с книготорговой оказией. Видно уж, у нас в Германии ничто не делается быстро, и даже восторг и вдохновение вынуждены двигаться черепашим шагом. В этом, несомненно, есть свои преимущества. Так, например, французская революция никогда не вспыхнула бы, если бы состоявшие в переписке якобинские клубы пользовались медлительными книготорговыми оказиями, как это делают немецкие демагоги. Да здравствует книготорговая оказия! Ее медлительность — залог общественного спокойствия, и с ее помощью до вас дойдут самые сердечные приветы

вашего

*Г. Гейне.*

Я все-таки не похож на настоящего немца! Узнав от книготорговца, что это письмо попадет в Берлин через Лейпциг и что он собирается отправить его довольно скоро, — всего лишь через два месяца, — я решил, что это все же слишком долго. Поэтому посылаю его вам по почте, а упомянутую в нем книжку барона Гауди и его письмо вы получите с одним из пассажиров экстренной почты, который вчера вечером выехал из Гамбурга в Берлин. Хотя содержание моих писем не составляет государственной тайны, я никак не могу заставить себя пользоваться «любезностью проезжающих», как это принято называть.

Погода не позволяет мне отправиться на купанья раньше конца этой недели. На душе у меня пусто, часто болит голова и нет охоты ни к каким занятиям. Последний прожитый мною год был таким пустым, таким невыносимо безотрадным! Поскорей бы уж изменилось мое расположение духа и мое место в обществе! Если бы не связывающие меня серьезные обязанности, я улетел бы сейчас куда-нибудь! Боюсь только, что в конце концов у меня, чего доброго, выпадут перья, и тогда я не смогу улететь, даже если и решусь на это.

Ваш бедный друг

*Г. Гейне.*

[Гельголанд, июль или август 1830 г.]

...Вы хотите издавать журнал? Какая смелость! По-сылаю вам свой кинжал для защиты от нападения сволочи. О моей храбрости знает весь Гельголанд, который видел, как я прибыл сюда в шторм в открытой шляпке. Но в Гамбурге или вообще где-нибудь в Германии издавать журнал — для этого мне не хватает храбрости... Если в Германии разразится революция, моя голова падет не в последнюю очередь.

## 123. КАРЛУ-БОРРОМЕУСУ ГЕРЛОСЗОНУ

Гамбург, 16 ноября 1830 г.

Дорогой Герлосзон, мне уже не раз хотелось послать вам свой дружеский привет, и он давно уже долетел бы отсюда к вам в Лейпциг, но один раз мне надо было поблагодарить вас за меткие удары вашей критической рапиры, которыми вы защитили мои «Путевые картины», когда я попал с ними в беду, в другой раз мне очень хотелось сказать вам много, много приятного по поводу «Петуха и курицы», которые я тогда читал, а я не люблю подобного рода личных поводов для писания писем, и т. п. Потом актер Девриент пробудил во мне надежду увидеть вас здесь; но и из этого тоже как будто ничего не вышло. Но вот вчера вечером я прочел в «Комете» ваши стихи о Реформации и до поздней ночи все думал о вас, а сегодня утром мне не терпелось взяться за перо, чтобы высказать вам, как я вас люблю, как много ожидаю от вашего таланта и ума и как мне отрадно знать, что у меня есть в Германии такой славный единомышленник, как вы. Я тоже собираюсь сказать многое, и притом очень скоро, еще до того, как зацветут фиалки, и, может быть, это будут весьма опасные мысли, по крайней мере — опасные для меня. Немец хорошо видит союз попов с аристократами, но хотя ему и хотелось бы, чтобы менялы и торгаши были изгнаны из храма хорошей плетью, он все-таки всегда ужасно сердится, если при этом пострадают кое-какие иконки и образки; а ведь это может так легко случиться, если плеть длинная, а гнев изгоняю-



щего еще того больше. В ближайшее время вам, наверно, попадетя в руки моя книга, в которой я несколько неделикатно затрагиваю чувства публики, глажу ее против шерсти, и тогда вы поймете, что я только что хотел сказать, и, кстати, поймете также, что я вовсе не гонюсь за благосклонностью публики. Тот, кто лицемерно выставляет перед ней свой христианский образ мыслей и к тому же обладает кой-каким талантом, всегда легко добьется ее благосклонности; тот же, кто, подобно мне, относится к христианству с известным *levis nota*,<sup>1</sup> тот легко может растерять эту благосклонность, несмотря на весь свой талант. Но придет время, когда немецкий Михель поймет, что религиозные разногласия — подлинное несчастье его страны и что для ее блага было бы лучше, если бы эти жаркие распри угасли в воде полного безразличия к какой бы то ни было религии. Тогда у нас не было бы больше католических и протестантских Германий, у нас была бы одна целая, великая, свободная Германия!

Будьте здоровы! Если вы в дружеских отношениях с Фр. Глейхом, передайте ему привет от его и вашего обшего друга

Г. Гейне.

#### 124. БАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Гамбург, 19 ноября 1830 г.

Милый Фарнхаген!

Право, не знаю, как мне оправдаться в том, что я молчал так долго, хотя за это время получил от вас два письма. Первое, которое пришло во время съезда естествоиспытателей, бесконечно меня обрадовало; не только г-жа Фарнхаген, но и вы высказались в нем на редкость человечно и мягко; это высшее доверие, и я всегда буду за него благодарен, и мое сердце никогда не станет таиться от вас. Оно всегда будет для вас открыто полностью, со всеми своими ранами и даже со всеми пятнами, Правда, я уже

---

<sup>1</sup> Легким осуждением (*лат.*).

убедился, что друзья иногда видят только раны и пятна, но не хорошие качества, если я особо не обратил на них их внимания, предполагая, что они им и так известны.

Я не писал вам с весны и хочу сообщить в кратких словах, как мне жилось с тех пор, внешне и внутренне, и как я живу теперь.

Так же, как существуют птицы, предчувствующие революцию в природе, то есть бури, наводнения и т. п., так существуют и люди, предчувствующие революции социальные, люди, которых это чувство парализует, оглушает и странным образом сковывает. Именно этим объясняю я себе свое состояние до конца июля нынешнего года. Я чувствовал себя здоровым и бодрым, и все же ни днем, ни ночью не мог заниматься ничем, кроме истории революций. Два месяца я купался на Гельголанде, и когда туда пришли известия о Великой неделе, мне показалось это чем-то само собой разумеющимся, словно это просто продолжение моих занятий. Затем, уже на материке, я пережил *здесь* события, которые менее сильному сердцу, конечно, могли бы отравить даже самые прекрасные чувства. Тем не менее, и несмотря на помехи со всех сторон, я затеял выпустить актуальную в данный момент книжку, составленную из старых материалов и озаглавленную «Добавление к «Путевым картинам»; уже две недели тому назад я отправил ее в Лейпциг, где она будет напечатана у «Гофмана и Кампе», и думаю, что через три недели вы книжку увидите. Пусть вас не вводят в заблуждение мои осторожные предисловие и послесловие, — в них я уверяю, что книга написана бог весть когда. В первой ее половине старого материала около трех листов; во второй вновь написана только заключительная статья. Книга умышленно сделана односторонней. Я прекрасно знаю, что революция охватывает все социальные отношения и что дворянство и церковь не единственные ее враги. Но для ясности я только их изобразил как объединившихся против нас врагов; это должно усилить сопротивление. Лично я ненавижу *aristocratie bourgeoise*<sup>1</sup> еще гораздо сильнее. Если в тупо религиозной Германии книга моя сможет способствовать эмансипации чувства от религии, я буду так этому рад, что охотно перенесу

---

<sup>1</sup> Буржуазную аристократию (франц.).

все страдания, которые причиняют мне вопли святош. Увы! Я ведь переношу и нечто гораздо горшее.

Вот уже неделя, как меня мучают головные боли и досада. В душе я чувствую себя свободным и бодрым и надеюсь еще свершить великие дела. Но мое положение омрачается с каждым днем, а занятия, так меня увлекшие, да еще мировые события, к сожалению, столь отдалили меня от собственных дел, что у меня нет оправдания перед самим собою. Кроме того, иногда, словно пораженный слепотой, я позволял обманывать себя кому угодно, и на днях меня снова надул мой издатель, совершенно на тот же манер, что и в прошлом году. У меня слишком болит голова и меня слишком злит это, иначе я все рассказал бы, вам на потеху. Вскоре напишу вам обо всем; боюсь, что дела фирмы «Гофман и Кампе», или, вернее Юлиуса Кампе, очень плохи, и я вынужден буду, чтобы не умереть с голоду зимой, кинуться в другие издательства. Только здесь необходима величайшая осторожность, — этот человек мошенник, он страшно деморализован неудачными спекуляциями последних лет, способен на самые опасные козни, и я по возможности долго буду делать *bonne mine au mauvais jeu*.<sup>1</sup> Во всем виноват мой дядя, который еще в прошлом году обещал мне Голландию и Брабант; поэтому я не считал себя стесненным в деньгах и, не задумываясь, шел на материальные жертвы ради литературных интересов. А для защиты этих интересов нет лучшего издателя, чем Юлиус Кампе, и поэтому, если только будет возможно, я постараюсь его сохранить. Но сейчас я в очень плохих отношениях с моим дядей Соломоном Гейне. Мне, конечно, сумели у него навредить, и у меня есть серьезные основания больше совсем не рассчитывать на его помощь. Я прекрасно понимаю, что при столь скверном положении дел необходимо подумать о новых источниках существования на *крайний случай*. Долгов, за исключением кое-каких мелочей, у меня теперь совсем нет; я работоспособнее, чем когда бы то ни было. (Поэтому я начал новое сочинение чисто политического характера, — вскоре сообщу вам о нем подробнее.) Ах, как только я погружаюсь в эпоху и в ее нужды, я забываю о себе самом; особенно опасна для меня та

---

<sup>1</sup> Веселую мпну при плохой игре (франц.).

примитивная аристократическая гордость, которая гнездится в моем сердце, — я все еще не смог вырвать ее с корнем, она внушает мне столько презрения к коммерческо-промысловой деятельности и способна привести меня к самым благородным порокам и даже, через всевозможные *dégout et dépit*,<sup>1</sup> заставить меня покинуть эту уютную жизнь со всеми ее плебейскими пуждами.

Вашего материалистического врача я еще не читал; через несколько дней, когда постороннее чтение уже не будет помехой в моей работе, примусь за него. Я с удовольствием прочел сейчас первую часть «Писем умершего». Но еще до этого я прочел вашу рецензию, и так как я привык всегда слепо на вас полагаться, то в предисловии к моей книге говорю о «Письмах» так, что это послужит к вящей их славе. Теперь вижу, что вы правы, и совершенно согласен с собственной своей похвалой. Кто же этот Умерший? Мне вы можете это сказать, я сам мертвец, и только еда и ежедневные неприятности привязывают меня еще к миру живых. Моя книга очень понравится его покойному сиятельству, мой демократизм не заденет сего дворянина, так как ему не нужно, как прочим, влезать на свое родословное древо, чтобы возвышаться над дюжинными головами. Все, что касается религии, понравится ему в моей книге еще больше. Он ведь чудесно отхлестал ханжей.

Будьте здоровы, обнимаю вас и нашу дорогую Рахель, о которой я так часто думаю; свои долгие вечера я всегда провожу дома и живу тогда в больших, прекрасных комнатах, полных воспоминаний. Фарнхаген, вам издали легче разобраться в моих обстоятельствах; чем мне самому, прошу вас, подумайте, какие источники могут мне открыться в случае нужды. Вы заблуждаетесь, полагая, что содержание моих сочинений мешает прусскому правительству заинтересоваться мной; если я захочу войти с ним в соглашение. В следующий раз напишу подробнее. Прошу вас поразмыслить обо всем.

Совершенно преданный вам

Г. Гейне.

---

<sup>1</sup> Отвращение и досаду (*франц.*).

Я так привык к вашей рецензентской доброжелательности, что едва не забыл поблагодарить вас за разбор второго издания «Путевых картин». Но я благодарен сердечно.

## 125. ВОЛЬФГАНГУ МЕНЦЕЛЮ

Гамбург, 9 декабря 1830 г.

Вашему высокоблагородию

я вынужден срочно написать, чтобы порекомендовать «Новеллы» А. Левальда, которые издательство намеревается вам послать, — вот непосредственная цель этих строк. Хотелось бы, чтобы книга вам понравилась и чтобы вы вскоре нашли случай ее похвалить: она свидетельствует о большом изобразительном таланте, и я предсказываю автору большую будущность. Он, наверное, станет одним из любимых новеллистов Германии; сделайте все от вас зависящее, чтобы способствовать его популярности.

И это все, милый Менцель, что я имею вам сказать? Но ведь писем недостаточно, чтобы обсудить, что у меня на сердце за и против вас. Я приберегу все, пока не узрю вас во плоти; все мои воздыхания летят в Италию, вскоре я последую за ними лично и тогда ради вас проведу несколько недель в Штутгарте.

Признаюсь, вы и ваша личная жизнь интересуют меня гораздо больше, чем ваша литературная деятельность; увы, печатный Менцель иногда доставляет мне мало радости, и, право, хорошо, что я так благоразумен, справедлив и терпим. Подчас я вздыхаю над вашим ослеплением, над вашим непониманием собственных интересов, над вашими гениальнейшими противоречиями; все это причиняет мне боль, но сегодня я слишком мягко настроен и не хочу продолжать в таком тоне.

Коснусь только одного — вашего последнего выпада против Иммермана; впрочем, вы так проникательны, что мне не придется долго объяснять вам, как сильно вы меня оскорбили. Может быть, таково было ваше намерение; что ж, я могу только пожалеть плечами по поводу вашего ослепления. Бог свидетель, как мало задевает меня любая обида, касающаяся только меня лично. Что до этого,

так я разрешаю вам самые дружеские эксперименты; думаю, что вам не так-то легко удастся убить расположение, которое я к вам питаю. Мне смешно, когда вы маскируетесь филистером, чтобы прочесть мне мораль. Я разумею здесь ваше порицание личного элемента в моей сатире. Вольфганг Менцель знает лучше, чем кто бы то ни было, что сатира обязательно должна быть личной. А в особенности казнь, которой я подверг Платена! Вы прекрасно знаете, что меня за волосы притянули к этому делу, и не в защиту своей персоны, а в защиту идей, с которыми я отождествляю себя, я обнажил меч против самого грубого аристократического чванства. Надеюсь, милый Менцель, что нам суждено вместе дожить до старости, и вы убедитесь, как мало во мне себялюбия.

Если когда-нибудь, в свободное время, вы захотите написать о своих личных делах, я буду очень рад. Ваше письмо придет ко мне наверняка по адресу: Г. Г., доктору прав, у вдовы Гейне, урожденной ван Гельдерн, Нойерваль, д. 28, в Гамбурге.

Будьте здоровы, кланяйтесь от меня вашей жене; мне бы очень хотелось поболтать и посмеяться с вами часок.

Ваш друг

*Г. Гейне.*

## 126. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРИХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Гамбург, 4 января 1831 г.

Поздравляю вас с Новым годом и желаю вам и г-же Фарихаген доброго здоровья.

Ваше письмо (от 29 ноября) и новеллу я получил и, хотя и *contre соеиг*,<sup>1</sup> последовал доброму совету. Я возобновил дружбу с моим \*, чтобы иметь защиту по крайней мере на случай внезапных ударов. Но я смотрю на это только как на крайнюю меру и стремлюсь *à tout prix*<sup>2</sup> добиться твердого положения; *без него я ничего не смогу создать*. Если мне не удастся в ближайшее время добиться этого в Германии, то я уеду в Париж, где, к сожалению,

<sup>1</sup> Неохотно (*франц.*).

<sup>2</sup> Любой ценой (*франц.*).

вынужден буду играть роль, при которой погибнет все мое художественно-поэтическое богатство и произойдет мой окончательный разрыв с отечественными властями. Я не предпринимаю никаких шагов, у вас одного хочу я узнать, нельзя ли мне добиться чего-нибудь в Берлине или в Вене(!!!). Я хочу все испробовать и решусь на крайность только в крайнем случае.

Если бы только я мог добиться покоя, который мне необходим, чтобы произвести на свет несколько больших книг, мучительно томящих душу!

Моя новая книга должна прибыть сегодня из Гарбурга, она лежит там уже шесть дней из-за ледохода, я пришлю ее вам с ближайшей почтой. Вероятно, она уже появилась в Берлине, возьмите ее пока из книжной лавки, разрежьте для удобства, а потом обменяете ее на один из экземпляров, которые получите от меня. Выражения в книге сильнее того, что в ней выражено, цель ее чисто агитационная, и я не опасаясь за текст, если меня станут в чем-нибудь упрекать. Боюсь только, что против меня двинут духовенство и постараются опорочить книгу во имя религии. Если это случится — ну что ж, тогда я опубликую партитуру этой большой оперы всю целиком.

Поручение, которое вы дали мне в письме от 28 декабря, исполнено; трогательная, непоколебимая дружба г-жи фон Фарнхаген служит мне отрадой в эту туманную погоду. Кланяйтесь от меня Робертам.

Я очень занят сегодня и спешу, иначе написал бы вам побольше; хочу сообщить еще только самое важное, затрагивающее меня больше, чем я смогу это здесь объяснить; думаю, что это и есть главная цель моего сегодняшнего письма.

Вы знаете, что здесь имеются четыре синдика; одна из этих государственных должностей с некоторого времени вакантна, и вы, конечно, можете себе представить, что многие ее добиваются. Однако выборы откладываются со дня на день, так как среди кандидатов нет ни одного удобного сенату. Последний прежде всего желает, чтобы было избрано лицо популярное и владеющее политическим пером (необходимость в таких людях уже ощущается). Мне предлагали разные люди выставить свою кандидатуру; я доктор прав и, уплатив несколько марок, в любое время могу приобрести гражданство в этом городе (это единст-

венные требования). Однако я знаю, что меня не выберут ни за что, и было бы рискованно выставить свою кандидатуру на авось и попасть в смешное положение проваленного кандидата. Мне и сейчас грозят этим и обсуждают со всех точек зрения судьбу, которая постигнет мою кандидатуру, если она будет выставлена. Необходимо вмешаться как можно скорее, я просто не в силах объяснить, в какой мере поставлен на карту мой престиж. Заставить умолкнуть слухи нельзя, но можно дать им другое направление, иногда спасительное. В данном случае необходимо, чтобы здешняя публика узнала из иногородних газет, будто слуху о моей кандидатуре на вакантную должность придают необычайное значение, будто назначение мое расценивается как понимание народных нужд или что-нибудь в этом роде. Вы понимаете! Вот я и хотел бы, чтобы вы *как можно скорее* написали в этом смысле несколько строк для прусской «Правительственной газеты» и позаботились, чтобы и аугсбургская «Всеобщая газета» тоже напечатала их как корреспонденцию из Пруссии. Знаю, что обременяю вас, но ничего не могу поделать, — вопрос слишком для меня важен. Вот если бы эта корреспонденция пришла сюда до выборов, я мог бы решить, выставить ли мне свою кандидатуру. Во всяком случае, из третьих рук легче сообщить, что, в сущности, я и не добивался этого места. Г-н Леман, мой бывший сеид, — теперь главный сотрудник «Прусской правительственной газеты», но он слишком дружен со сплетником Гансом, и я боюсь обращаться непосредственно к нему. Дело это чрезвычайно деликатное, и именно поэтому я никак не смог вас пощадить. Мой друг Руссо — редактор франкфуртской «Газеты почтового ведомства», но он тоже сплетник; я знаю, что он тряпка, и давно потерял к нему доверие. С редакцией «Всеобщей» я тоже в дружбе, но дела в ней проходят через слишком много рук. Короче, милый Фарнхаген, дело возлагается на вас. Вы лучше и разумнее всех сможете написать статью, в которой сумете внушить, что мое назначение нужно, важно и приятно обществу. Может быть, следует намекнуть, что, если меня не выберут, это явится даже потерей, что вследствие этого я буду потерян для Пруссии, моей родины?

Мозер — берлинский корреспондент «Гамбургского беспартийного корреспондента».



Здесь утверждают, что Котта обанкротился; это было бы очень грустно.

Во многих газетах напечатано, что я автор «Примадонны», сатиры на Зонтаг. Само собой разумеется, это слишком мелко, чтобы стоило опровергать такую болтовню публично. Надеюсь, что в Берлине мне не приписали эту стряпню. В этом месяце собираюсь издать «Весенние песни».

Вашу новеллу с интересом читали многие дамы. Я не так очарован ею, как десять лет тому назад, хотя теперь лучше способен оценить ее мастерство. Обработка сюжета в манере итальянских новеллистов всегда, как и в вашей новелле, имеет свою особую прелесть. Пожалуй, это самая трудная из всех форм, но для вас, может быть, и самая подходящая. Вам надо писать мемуары. Будьте здоровы, оставайтесь моим другом, — для меня это с каждым днем тем ценнее, чем большим числом друзей я вынужден пожертвовать. Я совершенно одинок, а приезжие, особенно из Парижа, рассказывают, будто там убеждены, что я стою во главе немецких либералов. Моя книга еще усилит это заблуждение. Целую руку г-же фон Фарнхаген.

Г. Г.

## 127. БАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Гамбург, 1 апреля 1831 г.

Милый Фарнхаген!

Хочу вам только сказать, что я жив, хотя и вовсе не к своему удовольствию, как того, конечно, желает г-жа фон Фарнхаген, но все-таки жив. В наше бешеное время труднее, чем когда-либо, писать письма, если только нет надобности сказать, сообщить, попросить или предложить что-нибудь определенное. В мире происходит слишком много значительного, чтобы можно было обсудить это в письмах, личные же дела наши слишком ничтожны по сравнению с великими событиями, которые совершаются ежедневно *без всякого нашего вмешательства*. Будут ли события и дальше происходить сами собой, без вмешательства отдельных лиц? Вот великий вопрос, на который

я каждый раз отвечаю иначе: сегодня утвердительно, а завтра — отрицательно; а мой ответ влияет на мою деятельность, даже определяет ее.

Когда после июля прошлого года я увидел, что либерализм неожиданно приобрел так много солдат и что даже старейшие швейцарцы старого режима вдруг искромсали свои красные мундиры и сшили из них якобинские шапки, я испытал сильнейшее желание уединиться и писать чуждые всему этому новеллы. Но когда события пошли на спад и из Польши стали приходиться страшные, хотя, может быть, и ложные вести, а глашатаи свободы заговорили потише, тогда я написал предисловие к произведению одного дворянина, которое вы получите недели через две и в котором я, движимый требованием века, может быть и зарвался. Вы найдете в нем достаточно нарочитых неосторожностей и любезно извините не только их, но и вызванный тревогой торопливый, скверный стиль. Тем временем я написал произведение еще более безрассудное, но бросил его в печку, когда все опять повернулось к лучшему. А теперь? Теперь я жду дальнейшего отступления, полон тяжелых предчувствий, и каждую ночь мне снится, что я укладываю свой чемодан и еду в Париж глотнуть свежего воздуха и полностью отдаться священным чувствам моей новой религии, а может быть, принять последнее посвящение в ее жрецы.

Примите запоздалую благодарность за ваш дружеский ответ на мое последнее письмо. Также и за «Листок бесед». Над салонным демагогом другие смеялись еще больше, чем я. Шутка, конечно, хороша, но она может стоить мне головы. Я все еще нахожусь в печальнейших затруднениях. Вижу, что, при всем желании, не могу извлечь пользу из мудрости правительств, и мне остается только оградить себя от их глупостей. Я слышал, что в Мюнхене дела плохи. Если бы мой друг Шенк не принес меня в жертву иезуитам, я мог бы быть теперь очень ему полезен, и при этом мои принципы не пострадали бы. Но его вероломство и нарушение слова так меня возмутили, что я готов сейчас собственными руками вешать немецких Полиньяков. Пруссией я тоже возмущен, но только из-за всеобщей лживости, столица которой — Берлин. Меня тошнит от берлинских либеральных Тартюфов. Во мне кипит сильное негодование.

Довольно об этом. На письмах ко мне не ставьте моего имени, пишите просто адрес моей матери, — она знает ваш изящный почерк и будет передавать их мне невскрытыми. Будьте здоровы и попросите г-жу фон Фарнхаген написать мне. Кланяйтесь Робертам и, при случае, Гансу. Князь Пюклер не написал мне — жаль, очень жаль. Как он поживает?

Всей душой преданный вам

Г. Гейне.

## 128. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Париж, 27 июня 1831 г.

Дорогие друзья!

La force des choses! — Сила обстоятельств! Право же, не я довел дела до крайности, а меня дела довели до крайности, до вершины мира, до Парижа, и вчера утром я стоял даже на вершине этой вершины, на Пантеоне. «Aux grands hommes la patrie reconnaissante!»<sup>1</sup> Так, кажется, гласит золотая надпись. Что за издевательство! Маленькие людишки воздвигают храмы великим людям после их смерти. Лучше бы сделали такую надпись на ресторане Вери и как следует кормили великих людей при жизни, чем воздавать им почести после их гибели от голода или других мучений. Но Вери — это Пантеон живых маленьких людей, здесь они сидят, пьют, едят и сочиняют иронические надписи.

Бедному Лафонтену в Шато Тьерри, его родном городе, воздвигли мраморную колонну, стоимостью в сорок тысяч франков. Я расхохотался, увидев ее проездом. При жизни бедняга нуждался в куске хлеба, а после смерти ему дают сорок тысяч франков мрамора. Жан-Жаку Руссо и подобным ему, которые при жизни насилу добивались мансарды, теперь посвящают целые улицы.

Сегодня я пишу вам сплошную ерунду; ведь стоит мне написать что-нибудь осмысленное, а письму — попасть к посторонним, в чьи-нибудь дурацкие руки, и оно может скомпрометировать вас. Поэтому я вообще не стану вам

---

<sup>1</sup> «Великим людям — благодарное отечество!» (франц.)

больше писать. Если вам понадобится что-нибудь сообщить, пишите мне на адрес мадам Валантен или Мориса Шлезингера. Можно писать и на адрес доктора Дондорфа, á l'Hôtel de Hollande, rue Neuve des Bons Enfants á Paris. Это мой главный и самый верный адрес, с ним можно не бояться нескромности прусской королевской почты. Я окружен прусскими шпионами, хотя держусь в стороне от политических интриг; меня боятся больше, чем всех остальных. Что же, они знают: раз мне объявили войну, я тоже буду бить, и бить со всей силой.

Увы, полгода назад я все это предвидел; я охотно ограничился бы поэзией, а ремесло мясника предоставил бы другим, но не получилось! *La force des choses!* Нас толкают на крайности!

Во Франкфурте, где я пробыл неделю и говорил с несколькими конгрегационистами, мне открылось происхождение многих моих несчастий, которые до сих пор были мне непонятны.

В Гамбурге я под конец вел безрадостную жизнь; я не чувствовал себя в безопасности; поездка в Париж уже давно грезилась моей душе, и я легко согласился на нее, когда некая могущественная рука заботливо поманила меня. Однако легко бежать, когда не уносишь родины на своих подошвах! Я с болью в сердце пародирую Дантона. Больно гулять по Люксембургскому саду и повсюду тащить с собою на подошвах кусочек Гамбурга, кусочек Пруссии, кусочек Баварии.

Вероятно, я останусь в Париже еще месяц, потом отправлюсь на купанья в Булонь, затем вернусь обратно. Надолго ли? Здесь мне, конечно, не будет хуже, чем на родине, где меня ничего не ждет, кроме борьбы и нужды, где я не могу спать спокойно, где отравлены все источники моего существования. Разумеется, я захлебываюсь в водовороте событий, в волнениях современности, в революции; кроме того, я состою теперь из одного фосфора и, утопая в бушующем человеческом море, сгораю также и от собственной сущности.

Желаю вам и г-же фон Фарнхаген счастья и здоровья. Не забывайте меня. Меня гнетут мрачные предчувствия.

*Г. Гейне.*

Париж, 20 января 1832 г.

Глубокоуважаемый господин барон!

Прошу вас как можно скорее напечатать прилагаемую статью. Почта отходит, и я могу лишь вкратце объяснить вам причину моей просьбы. Небезызвестный издатель Франк, голова которого полна всевозможными неудачными газетными проектами, все еще пребывает здесь, пытаясь организовать для Германии грошовое издание «Свободы». Постоянной мишенью для его грубых нападок и интриг служит «Всеобщая газета». Когда появилась первая статья моих «Дел», его взбесил ее возвышенный тон. Сам по себе этот тон ему нравится, но только не во «Всеобщей газете». Вот он и дошел до такой подлости, что поместил в «Трибуне» искаженный, утрированный и извращенный перевод статьи, предпослав ему несколько слов введения, смысл которого заключается примерно в том, что моя корреспонденция якобы *инспирирована непосредственно* австрийским правительством. Этот маневр подстроен с помощью здешних немецких якобинцев, они стараются скомпрометировать меня, повсюду называя автором статьи, чтобы я вынужден был объявить себя их *сторонником* или *противником*. Но я не хочу этого делать: первого — по убеждению, второго — из благоразумия. Меня вообще невозможно к чему-нибудь принудить; они добьются разве того, что из отвращения к якобинской бесчестности я стану еще умереннее, чем прежде. Все, что вы пишете мне о Берне, совершенно совпадает с моим мнением, но благоразумие приказывает мне молчать. В наше реакционное время мои слова сочли бы выражением трусливой заботы о собственной безопасности. Вот и Берне, такой разумный человек, даст себя околпачить какому-то Франку, и делает это тем легче, что «Всеобщая газета» поступила с ним действительно неблагоприятно. На днях я, может быть, отправлю более пространное сообщение в вашу газету, а там и еще — сейчас уходит почта. Впрочем, ничего серьезного здесь не происходит, а о мелких пакостях Дондорф всегда узнаёт за час до меня и рассказывает мне о них только за обедом. Было бы ужасно, если б я приехал в Париж описывать великие события, а

все великое уже кончилось. Но я не отступлю, даже если мне придется ждать в десять раз дольше, чем старая мадам Бер ждала постановки «Роберта-Дьявола». Из позавчерашней газеты вы уже, конечно, знаете, что ее сын получил орден; но вот Август Шлегель уже три месяца тому назад выклянул орден через Брои, об этом вы, может быть, еще не знаете, — все сговорились об этом нигде не упоминать. Сейчас Шлегель — самая смешная фигура во всем Париже. Гумбольдт и Кореф разделяют его мастерски.

Присутствие Кольба очень меня радует; сам того не замечая, он здесь с каждым днем совершенствуется: учится яснее формулировать свои мысли — искусство, которым так великолепно владеют французские журналисты, — и посвящается в тайнства журналистики, о которых раньше просто не имел представления.

В его последней статье я уже заметил успехи в этом направлении.

Будьте здоровы, господин барон, передайте мой сердечный привет г-же баронессе и примите уверения в глубочайшем уважении

преданного вам

*Г. Гейне.*

### 130. МИШЕЛЮ ШЕВАЛЬЕ <sup>1</sup>

[Париж, февраль (?) 1832 г.]

Я заходил попросить у вас прощения за то, что не явился в среду на свидание с вами, и к тому же мне хотелось напомнить о вашем обещании продлить мне «Глобус», который мне не приносят вот уже две недели.

Преданный вам

*Г. Гейне.*

### 131. ИОГАННУ-ФРИДРИХУ КОТТЕ

Париж, 1 марта 1832 г.

Господин барон!

Прежде всего, сердечное спасибо за оплату моего маленького векселя по ордеру Габера. Возможно, я забыл

<sup>1</sup> Перевод с французского оригинала.

в свое время (в декабре прошлого года) подтвердить получение от вас через Кольба пятнадцати наполеондоров. Сообщаю об этом задним числом. Отъезд Кольба очень меня огорчил; он, наверно, уже прибыл и передал вам мои самые дружеские приветы. Вероятно, он рассказал и о неудобствах моей здешней позиции среди патриотов, и вы поймете, что в отношении моих статей, которым гораздо труднее проникнуть в низы, чем в верхи, цензуре следует быть необычайно милостивой. Надеюсь, что прилагаемая статья, которую я сам уже достаточно процензуровал и в которой нет ни одного высказывания о немецких делах, будет напечатана без изменений. Надеюсь также, что статья понравится, — во всяком случае, она удачнее предыдущей и соответствует желаниям Кольба, который хочет оживить топ «Всеобщей газеты». Это действительно необходимо, прусская «Правительственная газета» уже почувствовала, что надо уступить хотябы эстетическим склонностям публики, и теперь пробует приручить ее литературными статьями. Газетам свободной печати вряд ли требуется хороший стиль, — массы увлекает в них сама жизнь. Кольб имел здесь встречи с представителем «Цвейбрюккенских свободных печатников», о чем он, вероятно, рассказал вам в связи со «Всеобщей газетой». За это время здесь организовалась Ассоциация друзей свободной печати, насчитывающая уже несколько сот человек; мое имя используется ею в качестве приманки чаще, чем мне бы хотелось. Республиканизм «Трибуны» мне крайне неприятен; предвижу, что настанет время, когда она с еще большею злобою, чем другие газеты, начнет преследовать меня как сторонника монархического принципа. Но и сами короли получают по заслугам, — они не послушались либералов, которые восставали только против господства дворян и попов, вот и навязали себе на шею кровожаднейший якобинизм. В конце концов им ничего не останется, как только завернуться в свои пурпурные мантии, чтобы по крайней мере погибнуть с достоинством. Мы, умеренные, погибнем вместе с ними и, может быть, этим искупим то, что наши оппозиционные стремления рождались не всегда из самых чистых побуждений.

Рано или поздно революция в Германии начнется, в идее она уже началась, а немцы никогда не отступались не то что от идеи, но даже от ее разночтений. В этой стране,

где все делается основательно, каждое дело доводится до конца, сколько бы на это ни потребовалось времени.

Здесь тихо. Между палатами происходят распри, к которым народ остается безучастным.

Будьте здоровы, господин барон. Шлю мои наилучшие пожелания г-же фон Котта, одаренной и благородной даме. Если у меня будет что-нибудь важное, то вы станете чаще получать от меня письма.

Остаюсь с величайшим уважением

преданным вам

*Г. Гейне.*

### 132. ФРИДРИХУ ТИРШУ

Париж, 15 марта 1832 г.

Дорогой, высокочтимый господин гофрат!

Я рад воспользоваться случаем, чтобы переслать вам мой самый искренний привет. Его передаст вам швейцарец г-н Прево, человек прекрасной души и благородных помыслов, который изучает немецкую философию и для этого сдет сейчас в Германию. Его труды и искания следует всячески приветствовать, так как они весьма важны для дела взаимного сближения французского и немецкого народов. Вы же, дорогой господин гофрат, завоевали Грецию, и я следил за вашей поездкой с дружеским участием и мысленно всегда был с вами.

Что до меня, то я вот уже девять месяцев был занят здесь, в Париже, тем, что помогал людям понять грядущие великие события, которые пока еще не произошли. Но в конце концов они произойдут, и я опишу их спокойно и беспристрастно, как мне повелевает мой долг. Подготовительные штудии к написанию истории современности неизменно занимают все мое время. Я вряд ли смогу отлучиться, чтобы съездить в Мюнхен просто так, для собственного удовольствия. Но было бы очень славно, если бы вы сами приехали как-нибудь сюда; по крайней мере вы увидели бы, как здесь чисто конституционными методами губят все поэтическое.



Будьте здоровы, засвидетельствуйте мое почтение вашей супруге и не теряйте дружеского расположения ко мне.

С почтением и преданностью

*Г. Гейне.*

### 133. ИОГАННУ-ФРИДРИХУ КОТТЕ

Париж, 2 апреля 1832 г.

Глубокоуважаемый господин барон!

Я вынужден особо просить вас дать распоряжение побыстрее напечатать прилагаемую статью. Ее отсылка задерживалась из-за необходимых переделок, а теперь исподалеку от меня, у ворот Сен-Дени, бушует новый мятеж, который может повлечь за собой новые большие события, и если моя сегодняшняя статья не будет напечатана сразу же, она потеряет свой интерес.

В последние несколько дней в Париже царит безудержное смятение, вызванное холерой; почти все мои знакомые немцы и англичане уехали. Я тоже выехал бы, но из-за холеры народ настроен так, что здесь могут произойти весьма важные дела. Если холера будет свирепствовать, здесь может разыгаться буря. Недовольство бедняков не знает предела. Все зависит от того, сохранит ли Национальная гвардия свой боевой дух и не откажется ли она выступить. Еще одна просьба: примерно два с половиною месяца назад, когда здесь был Кольб, я передал ему несколько стихотворений для «Утренней газеты», которые он тут же и отослал; однако, насколько мне известно, они все еще не напечатаны. Мне хотелось бы, чтобы вы напомнили о них в редакции.

Разрешите, господин барон, засвидетельствовать вам мое искреннее уважение и передать поклон и наилучшие пожелания г-же баронессе.

С почтением

преданный вам

*Г. Гейне.*

[Париж, май (?) 1832 г.]

Милый Фарнхаген!

Уже около двух месяцев ношу я с мыслью написать вам. Тем временем объявилась проклятая холера, а теперь, вот уже две недели, у меня необыкновенно сильно болит голова. Хотя я и рассчитываю на глубочайшее понимание и не думаю, что вы ложно истолкуете мое долгое молчание, все же меня тяготит мысль, что я оставил ваше последнее милое письмо без благодарного ответа, и цель этих беглых строк — послать вам дружеский привет. Сознание того, что вы и г-жа фон Фарнхаген относитесь ко мне с участием, мне так же необходимо сейчас, как и в начале моего жизненного пути, — и сейчас я так же одинок в мире, как и тогда. Только врагов у меня стало больше, что, несомненно, доставляет утешение, но, увы, недостаточное.

Если пожелаете, можете писать мне чаще, не боясь компрометирующего вмешательства посторонних; я живу нынче в дружбе со всем существующим и если не разоружился еще, то только из-за демагогов, по отношению к которым находился и нахожусь в трудном положении. Когда я не согласился участвовать в их безумствах, люди эти, враги всякой умеренности, решили во что бы то ни стало принудить меня отказаться от роли трибуна. Но на это я не согласился. Теперь холера, вернее — страх перед холерой, избавила, слава богу, меня от некоторых слишком докучливых малых. Я не бежал из Парижа, когда здесь вспыхнула всеобщая паника, в сущности не из мужества; по чести говоря, мне просто было лень. Берне давно собирался уехать, и приписывать его отъезд трусости несправедливо. До этого я не видал его две недели. У нас очень плохие отношения, он заварил тут против меня кое-какие якобинские интриги, которые очень мне не понравились. Я смотрю на него как на помешанного.

Если вам нравятся мои статьи во «Всеобщей газете», меня это очень радует. В их достоинствах я не уверен, писал я их частью для того, чтобы испробовать себя и в этой области, частью — из чистого расчета. Как вы думаете, стоит ли труда в будущем издать книгу, составлен-

ную из дюжины подобных статей? Такого рода книги встречаются редко.

Сейчас я много занимаюсь историей французской революции и сен-симонизмом. Напишу о них книги. Но мне придется еще много заниматься. За последний год, наблюдая деятельность партий и сен-симонистские выступления, я все-таки научился понимать очень многое, например «*Moniteur*»<sup>1</sup> за 1793 год и библию. Мне не хватает только здоровья и обеспеченного существования. За последнее время мне несколько раз представлялась возможность завоевать его, но на условиях, к которым я не как патриот, а просто как благородный человек питаю определенное отвращение.

То, что вы мне пишете о сен-симонизме, совершенно совпадает с моим мнением. Мишель Шевалье — мой любимейший друг, один из самых благородных людей, каких я знаю. То, что сен-симонисты ретировались, явится, пожалуй, очень полезным для самого учения: оно перейдет в более умные руки. Особенно политическая часть, учение о собственности, будет разработана лучше. Что касается меня, то, в сущности, я интересуюсь лишь религиозными идеями сен-симонистов, — достаточно их высказать, чтобы рано или поздно они вошли в жизнь. Германия будет особенно упорно сражаться за свой спиритуализм; *mais l'avenir est à nous.*<sup>2</sup>

Мой адрес: Г. Г., на адрес доктора Дондорфа, Rue Neuve des Bons Enfants, Hôtel de Hollande.

Двух новых томов князя Пюклера я еще не видел. Гумбольдт должен быть сейчас там, у вас. Так как я не принадлежу к его друзьям (я избегал его, где мог), он, вероятно, не станет говорить обо мне плохо.

Кланяйтесь от меня Шамиссо. Я ничего ему не пошлю, но напишу.

Г-же фон Фарнхаген можете ничего не говорить. Она знает, что я чувствую, то есть как страдаю.

Будьте здоровы и не оставляйте своей любовью

преданного вам

Г. Гейне.

<sup>1</sup> «Указатель» (франц.). (См. комментарий.)

<sup>2</sup> Но будущее принадлежит нам (франц.).

Дьесп, 24 августа 1832 г.

Дорогой друг и покровитель!

Хотя одна рука у меня все еще неподвижна, а другая болит, меня вдруг охватило желание написать тебе. Мне давно уже этого хочется, особенно с тех пор, как доктор Христиани превратился в Мирабо Люнебургской степи. Это шутка, которую господь бог придумал, дабы доказать мне, что он еще более великий насмешник, чем я. Я знаю тебя, дражайший друг, и знаю наперед — ты непременно вообразишь, что я пишу тебе, потому что лелею намерение издать несколько книг (болтушка Лотта, уж конечно, сообщила тебе об этом) и поэтому желаю, чтобы ты задал работу своим критическим очам.

Однако, насколько мне известно, главная цель, которую преследуют эти строки, просить тебя написать мне, что делается в Германии, писать постоянно, что там происходит, и просить сообщать как можно больше фактов и главным образом обо всем, касающемся политических отношений. Тем самым ты совершишь и патриотический поступок; дело в том, что я деятельнее, чем это тебе известно, но мне часто приходится бродить в потемках. Не появилось ли за последний год в газетах, которых я здесь, во Франции, вообще не вижу, чего-нибудь особенно затрагивающего мою честь? Прошу уведомить меня об этом; я хочу коснуться этого вопроса в предисловии к первому же моему произведению, которое выйдет из печати. Собираюсь снова в Париж, где я сохранил мою штаб-квартиру и где буду ждать от тебя писем.

В Париже я переживаю много великих событий, наблюдаю собственными глазами мировую историю, стою на дружеской ноге с ее величайшими героями и когда-нибудь, если только буду жив, стану великим историком. С произведениями в беллетристической манере мне последнее время не везло. Водоворот, в котором я плыл, был столь стремителен, что я не мог писать с поэтической свободой. Роман, над которым я работал, мне не удался; но в сборнике, который я готовил нынешней зимой и в который запишаю «Раввина», я дам несколько отрывков из романа. Стихов написано мало, однако мне придется

включить их в отдельное издание «Новой весны», дабы оно было все-таки похоже на книгу. Впрочем, я сейчас прилежнее, чем обычно, по той простой причине, что в Париже мне нужно в шесть раз больше денег, чем в Германии.

Будь здоров, напиши поскорее, как твои дела, напиши побольше, не упрямясь. Я пишу тебе мало, но единственно по той причине, что мне надо многое тебе сказать.

Je suis, monsieur l'ami,

votre devoué

*H. Heine.*<sup>1</sup>

### 136. НЕИЗВЕСТНЫМ ИЗДАТЕЛЯМ<sup>2</sup>

[Париж, начало ноября 1832 г.]

Дорогие друзья! Я только что вернулся от Виктора Гюго. Я изложил ему ваше дело; он ответил, что оно касается главным образом лиц, являющихся собственниками данных произведений и купивших право на неограниченное их использование. Впрочем, он согласился побеседовать с вами на эту тему, но не смог назначить для этого точное время, так как окончательно устроится здесь не раньше, чем дней через восемь. Он просил меня передать вам, что будет дома, по всей вероятности, от двенадцати до часа ежедневно. Поэтому зайдите к нему завтра же (Площадь Рояль, д. 6). Не застанете его дома — беда невелика,

Весь ваш

*Г. Гейне.*

### 137. КАРЛУ ИММЕРМАНУ

Париж, 19 декабря 1832 г.

Дорогой мой Иммерман!

Я так долго не мог собраться написать вам, а сегодня приходится писать деловое письмо, к тому же наспех, перед самым отходом почты. Дело касается фран-

---

<sup>1</sup> Остаюсь, господин друг мой, преданным вам *Г. Гейне.* (франц.).

<sup>2</sup> Перевод с французского оригинала.

цузского журнала «*Europe littéraire*»,<sup>1</sup> редакторы которого напишут вам еще и от себя и вышлют вам проспект. Журнал этот будет выходить в формате инфолио, три раза в неделю, он должен стоять совершенно в стороне от политики, заниматься только наукой и изящными искусствами и станет значительным явлением в литературе. В нем будут участвовать виднейшие писатели Европы, и я тоже приму в нем большое участие. Сейчас я уже пишу для него серию статей о немецкой литературе *нашего времени* и надеюсь, что эта общая картина представит интерес также и для Германии. Между нами говоря, нам следует что-то предпринять против южнонемецкой *mauvaise foi*,<sup>2</sup> а в Париже можно найти хорошую трибуну для этой цели. Я развернул здесь большую деятельность и надеюсь вскоре познакомить французов также и с вами и, действуя отсюда, выставить вашу славу в таком ярком свете, что у ваших врагов глаза на лоб полезут. Планомерно ведущиеся против вас интриги, подлое охаивание и подкопы — все это вызывает у меня за последнее время сильнейшее раздражение. Тут вы тоже должны мне помочь. Дело в том, что, кроме «Трагедии в Тироле» и «Фридриха», у меня здесь нет ничего из ваших вещей, а следовательно, мне нужны те три трагедии, что вышли у Шульца в Гамме, а кроме того, «Карденио и Целинда» и «Периандр». Эти три вещи мне надо получить скоро, вы должны доставить их мне, потом я смогу отослать их вам обратно.

Но не только это заставило меня сегодня написать вам. Прежде всего мне хотелось бы, чтобы вы дали для «*Europe littéraire*» обзор состояния живописи в Германии. Зная ваши связи с Шадовом, я решил, что вам не безразлично, в чьи руки попадет обозрение немецкой живописи, и что вы достаточно хорошо осведомлены, чтобы охарактеризовать нынешние художественные школы.

Вот некоторые условия на этот счет:

1. Обзор надо разбить на две статьи, каждая из которых должна составить около двух листов, величиной с лист моих «Путевых картин»; они набраны так крупно и редко, что из двух таких листов с трудом получается один

---

<sup>1</sup> «Литературная Европа» (франц.).

<sup>2</sup> Недобросовестности (франц.).

обычны для французских журналов, например для «Revue de Paris»;<sup>1</sup> а так как издатели платят двести пятьдесят франков за обычный лист, то я предупреждаю вас, что ваш гонорар составит половину этой суммы за каждый лист размером примерно с лист моих «Путевых картин».

2. Статья непременно должна быть у меня к 20 января.

3. С обратной почтой вы должны мне ответить, принимаете ли вы это предложение и могу ли я твердо рассчитывать на вашу статью.

Дело очень спешное. К тому же, потребуется еще время на то, чтобы дать перевести статью на французский язык, а я хочу, чтобы это было сделано как можно лучше.

Итак, я получу с обратной почтой ваш ответ. Пошлите его Г. Г., на адрес доктора Дондорфа, rue Neuve des Bons Enfants, Hôtel de Hollande à Paris.

В Дюссельдорфе у вас, очевидно, нет недостатка в сведениях о том, что сейчас пишут берлинские и мюнхенские художники. В случае, если вы, подобно мне, осуждаете мюнхенские тенденции, прошу вас, раскритикуйте их порезче. Там фабрикуется всяческая дрянь, и в науке и в искусстве. Шеллинг предал католической церкви философию. Тамошний Парнас, в том числе и наш друг Бер... Но о нем я лучше уж поговорю с вами устно, если только такие людишки, как он, вообще заслуживают, чтобы о них говорили.

Позаботьтесь же, чтобы я поскорее получил ваши трагедии, те, что я вам назвал. «Алексея» я тоже еще не держал в руках. Немецких журналов я здесь совсем не вижу. Когда будете мне писать, сообщите, кстати, не слышно ли в Германии каких-нибудь интересных для меня разговоров. От политики я теперь далек. Демагоги меня ненавидят. Моим предисловием к «Делам», которые вы, очевидно, вскоре увидите, я хотел только показать, что я не какой-нибудь продажный негодяй.

Только, ради бога, не считайте меня одним из спасителей отечества.

Обнимаю вас.

Ваш  
Г. Гейне.

---

<sup>1</sup> «Парижского обозрения» (франц.).

В статье о новой немецкой живописи вы можете сколько угодно говорить и о новой немецкой литературе. Вы меня, конечно, понимаете: о литературе, то есть о нас и о наших врагах.

### 138. ЮЛИУСУ КАМПЕ

Париж, 28 декабря 1832 г.

Женатый Кампе!

Только что получил «Предисловие», где в глазах всей Германии я предстал ушлым льстецом прусского короля. Если бы там и не говорилось, увы, что профессор Раумер — лучший среди писателей, все равно этого нельзя было бы перенести. (№3 В рукописи значилось: «Из всех скверных писателей он еще наилучший»). Горе меня совсем оглушило, и только со следующей почтой вы получите причитающуюся вам брашь. Сейчас почта отходит.

Именно потому, что сейчас дело либерализма в таком плохом состоянии, необходимо решиться на все.

Я знаю, что появление «Предисловия» навсегда закроет мне дорогу в Германию, но оно должно появиться только таким, каким оно выглядит в оригинале, и вместе с «Предисловием к предисловию», которое вы получили уже несколько недель тому назад. Заглавие брошюры — «Предисловие». Следовало выпустить ее одновременно с книгой. Как все это печально! И пусть она стоит дешево. Скорей, торопитесь! Я с каждой почтой жду теперь рукопись от Г[ати] на адрес доктора Дондорфа: Hôtel de Hollande, rue Neuve des Bons Enfants. На конвертах не упоминайте вовсе моего имени. Одновременно отправьте Гейделофу почтой несколько дюжинок экземпляров моей книги и присоедините к ним еще двенадцать экземпляров для меня. Экземпляры нужны мне как можно скорее: необходимо, чтобы в здешних лучших журналах появились статьи о книге; это произведет благоприятное впечатление в Германии. Ради бога, не задерживайте посылки из-за каких-то своих торгашеских соображений.

Я не могу честно спать, пока не выйдет «Предисловие». Запомните это! Постарайтесь, чтобы, несмотря на притеснения печати, мою книгу рецензировали не одни мракобесы.



Как только закончится ваша повогодняя горячка, я должен получить от вас все, что мне следует; мне нужны огромные деньги, мне надо урегулировать мои финансы; мой бюджет на ближайший год, когда, возможно, я напишу значительные книги, должен быть ясным. С обратной почтой укажите мне сумму, на которую я могу рассчитывать.

Меркель злорадствует; передайте ему, что мой энтузиазм — это энтузиазм человека, который знает, что не доживет до победы дела, ради которого он дописывается до всевозможных бед. Конечно, теперь все может оставаться неподвижным еще лет тридцать. И все-таки необходимо скорее, скорее напечатать мое «Предисловие».

Не думаю, что письма вскрывают. Нашим деспотам вовсе еще нет надобности пускаться на такие хитрости. Поэтому напишите мне прямо или непрямо. Мы снова живем в замке тишины. Напишите мне сейчас же, вы меня взбесили. Не забудьте об упомянутых деньгах; если оплачено много счетов, то вы можете послать мне деньги непосредственно через Гейделофа. Г[ати], наверное, получил мое письмо и, должно быть, рассказал вам о моих теперешних работах.

Будьте здоровы, и пусть бы черт вас побрал! Я, конечно, не смогу заснуть, пока не напечатают «Предисловия». Было бы лучше, если бы его исчеркали еще сильнее. Сколько хлопот из-за такого пустяка, который стяжал мне одни только беды и преследования!

За более короткий срок, чем тот, который ушел на «Предисловие», я написал почти половину книги. Это история немецкой литературы после заката братьев Шлегель.

Черт бы вас побрал!

Ваш друг  
Г. Гейне.

### 139. ИОГАННУ-ФРИДРИХУ КОТТЕ

Париж, 1 января 1833 г.

Господин барон!

Имею удовольствие сердечно поздравить вас и г-жу баронессу с наступающим Новым годом. Собственно, в данном случае следовало бы поздравить друг друга с прошедшим, с тем, что ты прожил истекший год.

Одним из поводов к моему сегодняшнему письму служит французская статья о Франции, которую я послал на прошлой неделе Кольбу для «Всеобщей газеты». Она является началом серии статей, которые появятся во французском журнале «Revue des deux mondes». <sup>1</sup> Имеется возможность регулярно посылать рукописи этих статей «Всеобщей газете» еще до их появления в названном журнале. На этот раз я выслал листы первой корректуры. Эти статьи написаны не мною, а г-ном Лева-Веймарсом, перо которого расценивают здесь как одно из самых искусных во Франции. Возможно, оно уже знакомо вам по литературным фельетонам в «Temps». <sup>2</sup> Я считаю привлечение его во «Всеобщую газету» делом в высшей степени полезным, поскольку он благодаря своим весьма важным связям лучше всех осведомлен в политических делах. В периоды оживления он мог бы писать очень ценные специальные корреспонденции, а при нынешнем затишье может быть весьма полезен предоставлением своих французских статей. Его адрес: rue des Martyrs № 4, faubourg Montmartre. Я сообщаю этот адрес, чтобы вы могли, если пожелаете, написать непосредственно ему, на какой гонорар он может рассчитывать в обоих случаях, то есть за особые корреспонденции и за предварительное предоставление своих французских статей. Вы могли бы также сообщить это ему и через меня; мне хотелось бы единственно, чтобы другие лица оказались в настоящий момент более полезными вам, чем, при всем желании, могу быть полезен я. Здесь сейчас не происходит ничего, что относилось бы к кругу моих корреспонденций. И я не собираюсь тянуть из вашего кармана деньги информациями, лишенными значения. Из последнего письма Кольба я понял, что мне более не разрешено писать в том стиле полураздумий, каким я писал в прошлом году. К тому же, нынешняя повсеместная реакция настраивает меня на очень горестный лад.

Хотя по этой причине я давно ничего вам не посылал и, вероятно, ничего не пошлю и в этом месяце, я все же мыслю еще настолько возвышенно, чтобы в ближайшие дни, как только увижусь с г-дами Габер из Карлсруэ, выписать через них вексель на вас на сумму в триста флоринов;

---

<sup>1</sup> «Обозрение Старого и Нового света» (франц.).

<sup>2</sup> «Времени» (франц.).

пишу об этом заранее на тот случай, если в целях экономии почтовых расходов не вышлю вам уведомления.

Г-н Дондорф, вероятно, ознакомил вас с пожеланиями владельцев «Europe littéraire». Вы понимаете, конечно, полезность артистического направления этого великолепного журнала. Я до некоторой степени принадлежу к числу его редакторов и надеюсь многое сделать для немецкой литературы в этом издании. В настоящий момент, когда затухает интерес к политике, я вообще вновь много занимаюсь искусством, готовлюсь к большим путешествиям и т. д. С нетерпением жду выставки картин, которая должна открыться через месяц, и уже готовлю свое перо.

Вам, вероятно, известно, что делались попытки перепечатать «Французские дела» с самыми отвратительными искажениями вперемешку с беззубо-либеральными письмами Шницлера и «остроумными» — Дондорфа. Поэтому я решил сам переиздать «Дела» и добавил к прежним еще ряд листов, где высказался полностью и раскрыл до конца свой образ мыслей, который старались представить внушающим подозрение. И вот вчера я узнал, что гамбургский Кампе, печатая книгу, от страха изувечил ее и в книге имеются пропуски, которые в Германии представляют опасность для моей чести, а во Франции — для моей свободы. Поэтому мне придется в ближайшие дни написать опровергающее обращение к публике. Рассказываю вам все это не из желания поболтать, но потому, что вы лучше всех поймете несчастья бедного литератора.

Прошу вас сохранить мне ваше дружеское расположение и остаюсь, в глубоком уважении,

преданным вам

*Г. Гейне.*

#### 140. ЭДУАРДУ ДЕ ЛАГРАНЖУ

[Париж], январь 1833 г.

Monsieur!<sup>1</sup>

Доброе утро! Je suis très sensible à votre bonté. Ça ne fait rien que peut-être Mr. Pichot n'imprime pas

<sup>1</sup> Сударь! (франц.).

«La mer du nord». <sup>1</sup> В нем соленая вода, а его читатели привыкли к пресному. Во всяком случае, nous avons «L'Europe littéraire». S'il m'est possible je vous vois encore aujourd'hui, peut-être entre deux et quatre heures. Je suis tout à vous.

Votre très dévoué

H. Heine. <sup>2</sup>

### П р и л о ж е н и е.

1. Сумерки.
2. Вопросы.
3. После кораблекрушения.
4. Luna et sol. <sup>3</sup>
5. Одиссей.
6. Боги Греции.
7. Объяснение в любви.
8. Ночной странник.

Христос.  
Морской город.  
Штиль.  
Буря.  
Герои.  
Эпилог.

### 141. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Париж, 28 марта 1833 г.

Я все еще не в силах писать вам. Кактолько я берусь за перо, чтобы сказать вам хоть слово, я точно теряю сознание и грудь моя болезненно сжимается. А ведь обыкновенно я—само спокойствие и самообладание.

Но ведь и на самом деле сейчас в моей жизни происходят вещи, которые могли бы камень привести в волнение.

---

<sup>1</sup> Я очень тронут вашей добротой. Не беда, что г-н Пишо, может быть, не напечатает «Северное море» (франц.).

<sup>2</sup> У нас есть «Литературная Европа». Если смогу, повидаю вас еще сегодня, может быть от двух до четырех часов. Я весь к вашим услугам. Преданный вам Г. Гейне (франц.).

<sup>3</sup> Луна и солнце (лат.). (См. комментарии.)

Сегодня утром я получил известие о смерти моего дяди ван Гельдерна в Дюссельдорфе. Он умер в такой момент, когда я почувствовал это несчастье особенно глубоко. Ах, милый Фарнхаген, я понимаю теперь смысл римского изречения: «Жить — значит сражаться!» Вот я стою у бреши и вижу, как падают вокруг меня друзья. Наша подруга всегда храбро билась и, конечно, достойна лавров. Слезы мешают мне писать. Увы! Мы, несчастные, должны сражаться со слезами на глазах. Что за страшное поле битвы — наша земля!

Сегодня утром здесь у Гейделофа вышла моя книга: это мои статьи о литературе (я написал их для «Europe littéraire») на немецком языке. Я пришлю вам оба варианта; в ней есть славные удары меча, и я честно выполнил свой долг солдата.

Знаю, я плохо утешаю вас, милый Фарнхаген. Но утешить не в силах никто, кроме времени. Время — коварный Сатурн, оно залечивает любую рану, чтобы вскоре своей косою нанести нам в сердце новую.

Вы понимаете, конечно, почему я не написал вам, узнав о смерти Роберта и его жены, вскоре последовавшей за ним.

Будьте здоровы и напишите мне поскорей по адресу: rue des Petits Augustins № 4, Hôtel de l'Espagne. Моя рука все еще парализована. Меня лечит Кореф. Я был очень болен. Тем не менее я оставался деятельным. Не выпущу меча из рук, покуда не паду. До тех пор остаюсь вашим другом

*Г. Гейне,*

#### 142. ГЕНРИХУ ЛАУБЕ

Париж, 8 апреля 1833 г.

Мой милый новый друг!

Вы не совсем мне незнакомы. Г-н Кампе уже писал мне о вас. Вы доставили мне большое удовольствие своим письмом; оно очень утешило меня в дни, когда смерть причинила мне много горя, а жизнь — еще больше. Это трудное время помешало мне ответить сразу. Я послал вам свою программу немецкой литературы и лишь сегодня случайно узнал, что посылка оплачена марками только

до границы, так что я невольно ввел вас в большие почтовые расходы. Но самую книжку я считаю вполне достойной внимания. После смерти Гете необходимо было представить немецкому обществу литературный отчет. Если сейчас возникает новая литература, то эта книга одновременно явится ее программой, и я был скорее обязан дать ее, чем кто-либо другой. Надеюсь, поскольку будет необходимо, очень много работать в этом году.

Недели через четыре я пришлю вам свой портрет. А через шесть — автобиографию. Пришлю ли песни, еще не знаю. Я страшно перегружен.

Меня очень интересует, что вы написали обо мне. Пришлите мне номер «Изящной», где это напечатано, по почте, бандеролью. Мой адрес: Г. Г., rue des Petits Augustins № 4, Hôtel de l'Espagne à Paris. Ваш запрос о моих песнях, напечатанных в «Прямодушном», мне непонятен. Я не читаю этой газеты и не знаю, какие из моих песен в ней напечатаны. Здешний Шлезингер, сын берлинского издателя «Прямодушного», выпросил у меня в прошлом году рукопись, но не помню уже, какую, и не знаю, она ли попала в «Прямодушный».

Впрочем, насколько мне известно, я был и остаюсь до сих пор очень хорош с Вилибальдом Алексисом, и я напишу ему, так как г-на Шлезингера здесь больше нет. А еще лучше, напишите мне подробно, о чем идет речь; я ничего не знаю о возникшем вокруг этих стихов литературном споре, о котором вы упоминаете. У меня сейчас на лице глупое выражение, как у человека, который не знает, над чем смеются окружающие. Напишите мне опять поскорее несколько дружеских слов. Если я могу быть вам полезен здесь в литературном отношении, располагайте мною совершенно...

#### 143. ГЕНРИХУ ЛАУБЕ

Париж, 10 июля 1833 г.

Старый друг!

В самом деле, я уже обращаюсь с вами как со старым другом, оставляя вас до сих пор без ответа и не боясь в то же время, что вы истолкуете это ложно. Только

не теряйте терпения, имея дело со мной; вами я совершенно доволен. То, что в наше трудное время вы неожиданно оказались моим союзником, было для меня большой радостью.

Вы и представления не имеете, какой сейчас шум и гром вокруг меня. В меня здесь вцепились и *juste milicu*,<sup>1</sup> и лицемерная католическая карлистская партия, и прусские шпионы. Дело в том, что мои «Французские дела» вышли по-французски с не сокращенным и не искаженным предисловием. Последнее появилось и у Гейделофа на немецком языке и, должно быть, докатилось сейчас уже до Лейпцига, где вы его и увидите. Я послал бы вам его, да боюсь вас скомпрометировать. Будьте осторожны. Даже здесь небезопасно. В прошлую субботу арестовали нескольких немцев, и я тоже каждую минуту могу быть арестован.

Возможно, что следующее мое письмо придет из Лондона. Я пишу вам все это, чтобы призвать вас к осторожности и сдержанности. Держитесь сейчас насколько возможно тихо. Сохраните нам для будущего важную крепость — «Газету для любителей изящного». Притворяйтесь. Не бойтесь, что вас поймут превратно. Я этого тоже никогда не боялся. Выход «Предисловия» именно теперь, среди всеобщей паники, вероятно научит публику доверять мне в будущем, даже если мне случится играть на флейте чуточку слишком нежно. Когда настанет время, я сумею протрубить в большую трубу; даже в данный момент я готовлю несколько забористых пьесок для духового оркестра.

Вероятно, я непростительно задерживаю вас, не присылая своего портрета и обещанных поэтических безделок; но не лучше ли вам отложить все это до будущего года? В будущем году появляться будет безопаснее. К сожалению, даже сейчас, когда вокруг кипят общественные и личные дела огромной важности, у меня на шею все еще висит эстетический хлам, я обязан испечь книгу для Кампе, должен снова написать о немецкой литературе и т. д. и т. п. Вторая часть книжки «О немецкой художественной литературе» появится здесь на этой неделе у Гейделофа; пришлю вам ее немедленно.

---

<sup>1</sup> Умеренные (франц.).

Благодарю вас от всей души за дружеские слова, которые вы мне прислали, и за те, что вы обо мне напечатали. Будьте уверены, что я понимаю вас, а следовательно, ценю и уважаю по-настоящему. Вы стоите выше всех тех, кто воспринимает только внешнюю сторону революции, но не понимает ее глубинных вопросов. Эти вопросы касаются не формы правления, не лиц, не установления республики или ограничения монархии, — они касаются материального благосостояния народа. Старая спиритуалистическая религия была полезна и необходима, пока большая часть людей жила в нищете и вынуждена была утешаться загробным блаженством. Но с тех пор как развитием индустрии и экономики создана возможность вытащить людей из материальной нужды и осчастливить их на земле, с этих пор... вы понимаете меня. И человечество тоже поймет нас, если мы скажем ему, что в будущем оно будет каждый день есть говядину вместо картофеля, меньше работать и больше танцевать. Будьте уверены, люди не ослы...

Я пишу эти строки в постели моей прекраснобедрой подруги, которая не отпустила меня нынче ночью из боязни, что меня арестуют.

Ваш  
Г. Гейне.

#### 144. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Париж, 16 июля 1833 г.

Дорогой Фарнхаген!

Надеюсь, вы всегда знаете, какими причинами вызвано долгое мое молчание. Поэтому никаких извинений! Внешне я живу все еще очень хорошо, даже лучше, чем когда бы то ни было; моя телесная болезнь была в последнее время тоже не слишком тягостной. Но я все еще сражаюсь со своими нервами, они тормозят мою работу, у меня же много работы, хотя и сплошь пустяковой. Жизнь моя превратилась в настоящую лавочку, мрачную мелочную лавчонку.

Требуемые вами письма я не мог прислать, — они остались в Германии. Я захватил с собой только одно



письмо, потому что оно глубочайшим образом выражало одно из самых мучительных чувств, владевших тогда мною. Моим самым большим горем два года тому назад было то, что я должен был покинуть мою маленькую семью, особенно младшего ребенка сестры. И все же долг и благоразумие советовали мне уехать. Мне оставался выбор между безоговорочной капитуляцией и пожизненной борьбой. Я выбрал последнюю, и, право же, не по легкомыслию. Но взяться за оружие меня давным-давно принудило издевательство недругов, наглость чванных аристократов. Маршрут всей моей жизни лежал уже в моей колыбели.

На этих днях у Гейделофа появится на немецком языке второй томик моей «Истории литературы». Он будет немедленно вам послан, хотя вы уже читали эти статьи по-французски. О немецкой литературе я намерен написать вдвое против уже написанного, но, вероятно, не отдам этого в «Егоре». Во-первых, журнал становится слишком неустойчивым, во-вторых, мне не избежать там вмешательства слишком многих недоброжелателей. Основатели журнала в большинстве своем легитимисты, и в нем особенно орудует католическая партия. Она становится могущественнее с каждым днем, разветвления ее ужасны, и я должен снова начать отчаянную борьбу с этой гидрой. Я собираюсь с силами, но первым не начну. *Voions!*<sup>1</sup>

Книга моя, французский перевод «Дел», везде имеет успех. Я благодарен переводчику за то, что он выбрал неискаженное предисловие. Это предисловие — страстное произведение, порожденное моим гневом против постановлений Союзного сейма, — вероятно, навсегда делает для меня невозможным возвращение в Германию. Но зато оно, быть может, спасет меня от смерти на фонаре при ближайшем восстании, — милые мои соотечественники уже не могут сейчас обвинить меня в соглашении с Пруссией. Таким образом, негодяев вроде Берне и компании я обезвредил, по крайней мере для себя.

Мой гамбургский издатель выпустил предисловие отдельной книжкой, и притом с чужими вставками. Я за-

---

<sup>1</sup> Посмотрим, что будет! (франц.).

претил ему распространять это издание, но он все-таки отправил несколько экземпляров в Польшу; один из здешних немцев воспользовался таким экземпляром и французским изданием, дополнил по ним мое предисловие и выпустил его. Я сообщаю вам об этом, дабы вы не обвинили меня в величайшей глупости. Честное слово, я не собираюсь действовать демагогически, играя *на настоящем моменте*, да и не верю в возможность мгновенного воздействия на немцев. Впрочем, я ныне отхожу от текущей политики и занимаюсь главным образом искусством, религией и философией.

Рецензию Вейса я прочел с большим удовольствием, так как из всех его упреков меня не задевает ни один. Полей сидит за долги в Сен-Пелажи. С Мишелем Шевалье, — он шлет вам сердечный привет, — мы часами обсуждаем религиозные вопросы. Через три недели еду на воды. В будущем году, может быть, отправлюсь на Восток. Меня не удовлетворяют обелиски, которые мне привозят в Париж.

Будьте здоровы и благожелательны

к вашему  
Г. Гейне.

#### 145. ХАНСУ-КРИСТИАНУ АНДЕРСЕНУ

Париж, 10 августа 1833 г.

Дорогой коллега, я с удовольствием нацарапал бы на этом листке какой-нибудь стихок, но сегодня я вряд ли сумею написать что-либо сносное даже и в прозе.

Будьте здоровы и веселы. Желаю вам славно поразвлечься в Италии, хорошо научиться немецкому языку в Германии, а затем вы напишете мне из Дании по-немецки, что вы перечувствовали в Италии. Для меня это было бы самое приятное.

Г. Гейне.

Париж, 25 октября 1833 г.

Милая матушка!

Вот уже неделя, как я вернулся сюда из Булони, где провел последние полтора месяца очень приятно, так как был здоров и весел. Купанья, во всяком случае, не принесли мне вреда, хотя и не подействовали так хорошо, как обычно. Не чувствую себя окрепшим душой и телом, как бывало раньше, так что придется поискать другой способ лечения.

Тебе, дорогая Лоттхен, сердечное спасибо за письма от твоих цыплят. Скажи Марии и Людвигу, что я сам отвечаю им, как только выберу время. Поцелуй твое младшее чадо. Надеюсь, ты здорова. Все время вспоминаю о тебе, дорогая Лоттхен, и ты не поверишь, как я тебя люблю. Вчера видел молодую женщину, точь-в-точь похожую на тебя, когда ты еще не была замужем.

Христиани с женой еще не вернулись из Бордо.

Дорогая матушка, полно тебе тужить о том, что не видеть меня для тебя величайшее несчастье. О приезде сюда, во Францию, не может быть и речи; брось даже и думать об этом, а не то, вот тебе мое слово, — я уеду в Египет, куда мне давно уже хочется отправиться. Понимаю, что тебе не терпится лицезреть своего красавца, но ты ведь знаешь, я всегда был послушным сыном и выполнял любое твое желание, если только оно не мешало твоему же благополучию. Я не могу допустить и не допущу, чтобы ты ехала морем, ни под каким видом; в противном случае, я отправлюсь в Египет. Но если тебе так уж хочется, я приеду этим летом на неделю в Гамбург, в эту гнусную дыру, — пусть мои тамошние враги возликуют, что им вновь представится случай видеть меня и осыпать меня оскорблениями. Что касается моих политических взглядов, то я не думаю, что с этой стороны мне будет грозить какая-нибудь опасность. Однако осторожность никогда не мешает, и ты должна позаботиться о том, чтобы, кроме Лоттхен, решительно никто не догадывался о моем намерении приехать в Гамбург; иначе враги уже сейчас начнут подстергать меня. Если же я приеду неожиданно, у них не будет времени на размышления, и они не успеют

прибыть в Гамбург. Вскоре ты услышишь, какую злобу затаили на меня пруссаки. Между нами говоря, я все это преувеличиваю, но, тем не менее, веду себя осторожно, и именно потому, что я так осторожен, тебе нечего тревожиться за меня; я повсюду в безопасности, стараюсь не увлекаться и живу спокойно, — у меня стало даже появляться брюшко, как у Бургмюллера.

Поживем — увидим! Сейчас мое положение настолько неясно, что я не могу сказать, что буду делать через полгода. А к тому времени многое на свете, быть может, и переменится, и у меня появится досуг и удобный случай, чтобы по-настоящему, спокойно и без спешки съездить к тебе. А пока потерпи, не забивай мне голову. Голова у меня и так полна.

Мою городскую квартиру, где я целый год наслаждался полнейшей тишиной и спокойствием, я просил не сдавать, но вот несчастье, — как только я вернулся, в квартиру подо мной с ужасающим грохотом и детским плачем въехало какое-то семейство.

Будь здорова, сообщи мне, что пишет Макс. В голове у меня большие планы. Если б только меня оставили в покое! Видит бог, я вовсе не стал бы скандалить, если б меня постоянно не вынуждали делать это.

Дорогая Лоттхен, пиши мне. Уговори матушку быть благоразумной. Не забывай каждый раз сообщать мне, как поживает матушка, а также ты сама и твои дети.

*Г. Гейне.*

#### 147. ФРАНЦУ ГРИЛЛЬНАРЦЕРУ

Париж, 13 ноября 1833 г.

Эту записку вам передаст г-н Мармье, молодой француз, который желает ознакомиться с нашей изящной литературой и собирается для этого захватить также и в Вену; я рекомендую его моим друзьям. Вас я тоже отношу к их числу, — ведь я составил себе самое лестное мнение о вас. Я всегда очень хорошо вас понимал и поэтому издавна проникся уважением к вам. Надеюсь, что и мое имя не является для вас совсем неизвестным. Я про-

сил молодого француза передать вам и всем самым высоким шумящим дубам нашего немецкого отечества приветы от

Г. Гейне,

#### 148. В АУГСБУРГСКУЮ «ВСЕОБЩУЮ ГАЗЕТУ»

Париж, 19 ноября 1833 г.

Поскольку в молодости я всегда хранил невозмутимое молчание в ответ на те личные выпады, с которыми на меня нередко обрушивались газеты, то естественно, что теперь, в зрелом возрасте, когда я уже закален и стал более хладнокровным, я почти утратил чувствительность по отношению к подобным вещам, и только защита интересов общества может побудить меня выступить с опровержением некоторых анонимных и лживых газетных сообщений. Поэтому я хочу прежде всего заявить, в связи с появлением в «Лейпцигской газете» от 12 ноября одной корреспонденции из Парижа, что я никогда не добивался никакой должности от прусского правительства и что поэтому мои прежние и будущие высказывания о Пруссии никак не могут быть вызваны якобы полученным мною отказом в этой должности. Далее я заявляю, что никогда я не доходил до абсурднейшего утверждения, будто стоит мне только показаться в Германии, как там вспыхнет революция. Я также объявляю ложью не менее вздорную выдумку, будто я прибегал или собирался прибегнуть к защите со стороны г-на префекта полиции Жиске и его превосходительства г-на посланника фон Вертера против угроз прусских офицеров и аристократов. Заявляю, что я расцениваю эти угрозы прежде всего как бахвальство и что я только готовил своих единомышленников к тому, чтобы в случае необходимости вместе со мной дать прусским скандалистам надлежащий отпор. Заявляю также, что я не стал бы предъявлять письмо, свидетельствующее об этих угрозах, если бы мои противники не утверждали, будто я сам его сочинил. Кроме того, я намерен опубликовать это письмо в своей следующей книге, а подобный шаг был бы неблагоразумным, если бы письмо не носило явного отпечатка подлинности и если бы я, кроме того, не располагал вполне исчерпывающими сведениями о доставившем его человеке, который в мое отсут-

ствие разыскивал меня у моих друзей и наконец оставил это письмо для меня у швейцара. Что же касается грубой уловки, анонимной инсинуации, будто меня хотели мистифицировать посланным прямо в Булонь письмом с фальшивой подписью, то это особого разъяснения не требует.

*Г. Гейне.*

#### 149. ЖЮЛИО МИШЛЕ <sup>1</sup>

[Париж], 20 января 1834 г.

Сударь!

Если бы я не прочитал в сегодняшнем номере «Национальной газеты», что вы забаррикадировались от назойливых посетителей, я бы пришел в вам, чтобы лично поблагодарить вас за драгоценный подарок, который привел меня в восторг, тем более что он явился таким сюрпризом, таким чудесным, словно с неба упавшим сюрпризом.

Я прочитал вашу статью в «Обзрении Старого и Нового света» и уже приступил к вашей книге. Она вся так и благоухает поэзией, как букет цветов. Допустимо ли во Франции сравнивать идеи с розами? Если да, то я сказал бы, что все соловьи будут опьяняться вашими идеями, будут гореть ими. В них есть размах и благородство. Вы настоящий историк, ибо вы одновременно и философ и большой художник. Вы Геродот без его легковерия, вы Тацит без его отчаяния. Вы верите в прогресс и в провидение. Мы с вами сходимся в этой вере. Не скрою, я достаточно тщеславен и считаю себя избранником провидения. О вашем стиле я не смею и говорить, после того как обращаюсь к вам на моем жаргоне немца.

Преданный вам

*Генрих Гейне.*

#### 150. ХРИСТИНЕ БЕЛЬДЖОЙОЗО <sup>1</sup>

Париж, 1 марта 1834 г.

Сударыня! Посылаю вам книгу, о которой говорил третьего дня. Между нами, книга довольно посредственная. Все

---

<sup>1</sup> Перевод с французского оригинала.

это писалось так давно. Тогда, сударыня, я еще не имел удовольствия быть с вами знакомым.

С этого счастливого часа я стал лучше писать. По крайней мере мне так кажется. Не смейтесь над этой фантазией. Это мое суеверие. Но оно зато связано с более красивыми и жизнерадостными представлениями, чем суеверия других людей.

Сейчас десять часов. Мой положительный характер начинает проявляться только в полдень, за вторым завтраком. А в настоящее время, сударыня, прошу вас принять заверение в самых удивительных чувствах вашего смиреннейшего и покорнейшего

*Генриха Гейне.*

#### 151. ХРИСТИНЕ БЕЛЬДЖОЙОЗО<sup>1</sup>

Париж, 18 апреля 1834 г.

Посылаю вам, сударыня, вместе с этим письмом книгу князя Пюклера, о которой я на днях говорил. Через шесть недель выйдет французский перевод моих «Путевых картин». Первый том, посвященный Италии, уже полностью напечатан. Хотите почитать корректуру этого тома? В таком случае я вам ее пришлю, при условии, что вы сохраните это в тайне и не покажете ее никому, ни республиканцам, ни «золотой середине».

Поверьте, сударыня, я много думал о вас с третьего-дневного вечера, который я скорее назвал бы славным днем. Вы поистине дали бой, куда более решительный, чем тот, который дала «золотая середина». Вы открыли огонь по народу, убийственный огонь, — еще немного, и мое сердце, всегда остававшееся республикой, стало бы монархией. Сегодня, однако, я вновь воспрянул духом, а здравый смысл, трус, обратившийся в бегство в половине двенадцатого, когда упало это черное покрывало, потихоньку возвращается ко мне, и я уже осмеливаюсь думать о вас без трепета. Я только еще не решусь взглянуть вам прямо в лицо. Но думаю, что завтра или послезавтра

---

<sup>1</sup> Перевод с французского оригинала.

я верну себе свое германское хладнокровие и смогу дать вам вполне разумный анализ вашей прически, которую я увидел в этот памятный день 16 апреля. Я никогда еще не видел ничего столь необычайного, столь поэтического, столь феерического, как эти черные кудри, буйные волны которых выделялись на прозрачной бледности вашего лица. А лицо это вы украли с какой-то картины XV века, с какой-то старинной фрески ломбардской школы, кисти вашего Луини, быть может, или даже из стихов Аристо, как знать! Но это лицо преследует меня днем и ночью, как загадка, которую я хотел бы разгадать. Что же касается вашего сердца, которое, без сомнения, прекрасно, то мне до него очень мало дела. У всех женщин есть сердца, а у иных даже превосходнейшие сердца. Например, у моей бабушки. Но ни у одной нет такого лица, как у вас.

В самом деле, сударыня, я не шучу. День и ночь я ломаю себе голову, чтобы разгадать, что означает это лицо, эти его символы, эти невероятные глаза, этот таинственный рот, все эти черты, которых словно не существует в действительности, которые скорее порождены сновидением, так что я всегда боюсь, как бы в одно прекрасное утро все это не улетучилось.

Прошу вас, сударыня, не улетучиться и принять уверения в совершенном уважении и преданности вашего смиреннейшего и покорнейшего

*Генриха Гейне.*

## 152. ХРИСТИНЕ БЕЛЬДЖОЙОЗО <sup>1</sup>

Париж, 30 апреля 1834 г.

Не лишайте меня, сударыня, вашей дружбы, которой вы удостоили меня однажды, когда я, возможно, еще не вполне ее заслуживал, так как был всего лишь поклонником вашей красоты и мог бы спокойно выслушать любой нелестный отзыв о вас, любое неверное истолкование ваших поступков, лишь бы не говорилось кощунственных слов о ваших глазах или о прелести вашей улыбки. С тех

---

<sup>1</sup> Перевод с французского оригинала.



пор, сударыня, все очень переменялось, мое хладнокровное восхищение вами превратилось в преклонение, молитвенное преклонение перед всем, что связано с вами... Я не смею думать, что этот фанатизм мне будет стоить... Не скажу, чего... Ничего не скажу...

В королевстве датском не все идет своим обычным порядком, сказал Гамлет, самый безумный из всех людей, если не считать вашего покорнейшего слуги

*Генриха Гейне.*

### 153. ЖОРЖ САНД<sup>1</sup>

*(Надпись на экземпляре французского издания «Путевых картин»)*

[Париж, июнь (?) 1834 г.]

Моей прекрасной и великой кузине Жорж Санд в знак восхищения,

*Генрих Гейне.*

### 154. ВИКТОРУ ГЮГО<sup>1</sup>

*(Надпись на экземпляре второго тома Собрания сочинений на французском языке)*

[Париж, июнь (?) 1834 г.]

В знак восхищения и искренней преданности

*Автора.*

### 155. ЖОРЖ САНД<sup>1</sup>

Париж, 8 января [1835 г.]

Бесконечно сожалею о невозможности повидать вас сегоднѣ и побеседовать с вами. В течение всей этой недели я нахожусь в страшном вихре. Благодарю вас за вашу любезную записку. Вы воплощение любезности. Уверяю

---

<sup>1</sup> Перевод с французского оригинала.

вас, нет возможности выразить, до какой степени вы любезны, восхитительны, божественны.

Пишите как хотите, у вас все равно получится лучше, чем у других. Найдите оправдания самомнению тех, кто воображает, будто понимает вас. Молитесь о душе тех, кто осмеливается судить о вас. А осуждать вас — значит кощунствовать.

Ваш кузен

*Генрих Гейне.*

### 156. ФИЛАРЕТУ ШАЛЮ <sup>1</sup>

Париж, 15 января 1835 г.

Я только что имел честь получить ваше письмо и и спешу дать вам требуемые сведения.

Я родился в 1800 году в Дюссельдорфе, городе на Рейне, который с 1806 по 1814 год находился в руках французов, и, таким образом, в детстве я дышал воздухом Франции. Я получил начатки образования во французском монастыре. Позднее я поступил в этом же городе в гимназию, которая тогда называлась лицеем. Я учился во всех классах, где преподавали гуманитарные предметы, и особо отличился в старшем классе, где ректор Шальмайер читал философию, профессор Крамер — классических поэтов, профессор Бревер — математику и аббат Донуа — французскую риторику и поэтику. Все эти люди еще живы, за исключением первого из них, католического священника, который особо заботился обо мне, как мне думается, из-за брата моей матери, гофрата ван Гельдерна, с которым он дружил в университете, а также, полагаю, из-за моего деда, доктора ван Гельдерна, знаменитого врача, спасшего ему жизнь.

Мой отец был коммерсантом, и притом довольно богатым. Он умер. Мать моя, женщина незаурядная, еще жива, но не показывается в свете. У меня есть сестра, г-жа Шарлотта фон Эмбден, и два брата; один из них, Густав ван Гельдерн (он носит фамилию матери) — драгунский офицер на службе у его величества императора австрий-

<sup>1</sup> Перевод с французского оригинала.

ского, а другой, доктор Максимилиан Гейне, — врач русской армии, вместе с которой он перешел через Балканы.

С 1819 года я вновь приступил — в Бонне, Геттингене и Берлине — к занятиям, прерванным романтическими причудами, попытками как-то устроить свою жизнь, любовью и другими болезнями. Три с половиной года я провел в Берлине, в тесном общении с самыми выдающимися людьми науки, и перенес там немало разных болезней, в том числе удар шпаги в поясницу, нанесенный мне неким Шеллером из Данцига. Это имя я никогда не забуду, оттого что он — единственный человек, которому удалось ранить меня самым чувствительным образом.

Я учился в течение семи лет в перечисленных мною университетах и получил в Геттингене, куда я возвратился, степень доктора прав, после индивидуального экзамена и публичной защиты тезисов, во время которой знаменитый Гуго, бывший тогда деканом юридического факультета, не поступился ради меня ни единой схоластической формальностью. Если вы и сочтете этот последний факт несущественным, я все же попрошу вас отметить его, ибо в книге, недавно выпущенной моими противниками, утверждается, будто я попросту купил свой академический диплом. Изю всех лживых рассказов о моей личной жизни это единственная, которую мне хотелось бы опровергнуть. Каково тщеславие ученого! Пусть говорят, что я незаконнорожденный, сын палача, разбойник с большой дороги, безбожник, плохой поэт; мне это только смешно, но у меня разрывается сердце, когда оспаривают мое докторское звание (между нами говоря, юриспруденция, несмотря на то, что я доктор прав, как раз та наука, которая мне менее всего знакома). Стихи я сочиняю с шестнадцатилетнего возраста. Мои первые стихотворения были напечатаны в Берлине в 1821 году. Два года спустя вышли в свет новые, вместе с двумя трагедиями. Одна из этих трагедий была поставлена и освистана в Брауншвейге, столице герцогства Брауншвейгского. В 1825 году вышел первый том «Путевых картин», остальные три тома были напечатаны через несколько лет у Гофмана и Кампе, которые и по сей час остались моими издателями. С 1826 по 1831 год я жил попеременно

в Люнебурге, Гамбурге и Мюнхене, где выпускал, совместно с моим другом Линднером, «Политические анналы». В промежутках между этими переездами я путешествовал по чужим краям. В течение последних двенадцати лет я неизменно проводил осенние месяцы на берегу моря, обычно на одном из островов Северного моря. Море я любил как любовницу и воспел его красоту и его причуды. Эти стихи вошли в немецкое издание «Путевых картин». Из французского издания я их изъясил, так же как и всю полемическую часть, где речь идет о родовом дворянстве, тевтономанах и католической пропаганде. О дворянстве я высказывался еще в предисловии к письмам Кальдорфа, которые отнюдь не написаны мною, как это полагает немецкий читатель. Что же касается тевтономанов, этих старогерманцев, весь патриотизм которых состоит только в слепой ненависти к Франции, я их неотступно преследую во всех моих книгах. Эта неприязнь зародилась еще в те времена, когда я принадлежал к студенческой корпорации.

Я боролся также против католической пропаганды, против немецких иезуитов, как из желания расправиться с клеветниками, которые напали на меня первыми, так и в угоду моей склонности к протестантизму. Эта склонность, по правде говоря, могла иногда завлечь меня слишком далеко, ибо протестантизм для меня был не только либеральной религией, но еще и отправной точкой немецкой революции, и я исповедовал лютеранскую веру не только потому, что получил ее, когда крестился, но еще из зазорного энтузиазма, который толкал меня на участие во всех расприх этой воинствующей церкви. Однако, несмотря на то, что я постоянно выступал на защиту социальных взглядов протестантизма, я никогда не скрывал моих пантеистических стремлений. Это привело к тому, что меня стали обвинять в атеизме. Плохо осведомленные или недоброжелательные соотечественники уже давно распустили слух, будто я натянул камзол Сен-Симона, иные же приписывают мне иудаизм. Сожалею, что не всегда имею возможность расплатиться с ними за такого рода услуги. Я никогда не курил, пива я также не люблю, а что касается кислой капусты, то впервые я ел ее во Франции. В литературе я испробовал всего понемногу: я занимался лирической, эпической и драматической поэзией, писал об искусстве,

философии, теологии, политике... Да простит мне господь! Вот уже двенадцать лет, как в Германии спорят обо мне; меня либо хвалят, либо бранят, но то и другое — страстно и непрестанно. Там меня любят, ненавидят, превозносят, ругают. С мая 1831 года я живу во Франции. Уже почти четыре года я не слышал пения немецких соловьев. Довольно. Мне становится грустно. Если вам нужны еще какие-нибудь сведения, я охотно дам их вам. Мне всегда будет приятнее, чтобы вы обращались за ними непосредственно ко мне. Говорите обо мне доброжелательно, говорите доброжелательно о ближнем, как советует евангелие, и примите мои уверения в исключительном к вам почтении и пр.

*Генрих Гейне.*

#### 157. ИОАННУ-ГЕРМАНУ ДЕТМОЛЬДУ

Париж, 22 марта 1835 г.

Дорогой Детмольд!

Это письмо — лишь голубь, летящий к вам из моего ковчега с листком в клюве; когда вы получите этот листок и напишете мне ответ, между нами, быть может, установится более постоянная и прочная связь. Я ни с кем не переписываюсь, по той простой причине, что лишь очень кратко отвечаю на длинные письма, а сам требую, чтобы люди писали мне еще длиннее. Но все вы всегда забываете о том, что вы живете в тишайшей Германии, где в сутках двадцать пять часов, тогда как там, где живу я, даже у времени не хватает времени, и оно само за собой не поспевает. У меня же здесь вовсе нет времени. Вы себе и представить не можете, какой водоворот отвлекающих событий бушует вокруг, как много разных напастей, нелепостей, драматических ситуаций, любви, ненависти и т. д. проносится мимо меня. Вести обо мне, доходящие до вас в Германию, — это только слабый отзвук того звона скрежывающихся мечей, который раздается здесь. Прошу вас, пишите мне побольше и почаще; обещаю, что позднее, в более спокойное время, я отплачу вам тем же. Что вы скажете, если я предложу вам писать для меня раз в пол-

тора месяца по одной большой корреспонденции о политических и литературных событиях в северной Германии? Их я давал бы переводить на французский язык и печатал бы с продолжением из номера в номер в «Revue des deux mondes». Будьте уверены, что я сохранию все в тайне. В этих корреспонденциях вы могли бы, не подвергая себя опасности, высказываться так, как вам хочется, и так как ваши сообщения были бы основаны на фактах, — а это здесь необходимо, то мы вправе ожидать, что они вызовут презабавный переполох. Итак, прошу вас, возьмитесь за дело сразу же и постарайтесь, чтобы я побыстрее получил от вас первую корреспонденцию. Из предосторожности я всегда буду посылать вам мои письма через Гамбург, а вы шлите свои на имя employé de la poste<sup>1</sup> г-на Шпехта по адресу: rue Saint Lazare № 106, à Paris. Разумеется, вы не будете подписываться вашей фамилией, зато все остальное вы напишете с полной определенностью.

Сердечное спасибо за присылку вашего «Искусства понимания искусства»; книжка написана превосходно. В стилистическом отношении я одобряю ее без всяких оговорок, ирония тоже превосходна, хотя не всегда и не вполне выдержана в настоящем сви́товском духе; местами серьезный тон берет у вас верх. Конечно, для публики было неожиданностью, что вы вдруг оказались таким значительным литератором; для меня же, дорогой Детмольд, в этом нет ничего неожиданного. Я удивился скорее тому, что вы не выдвинулись еще раньше.

Я часто думал о вас и всегда относил вас к числу тех немногих, для кого давно уже ясен смысл моей деятельности и моих писаний и кто всегда знает и понимает, в чем конечная цель всего, что я делаю и пишу. И так как я предполагаю, или, вернее, твердо знаю, что вы действительно принадлежите к таким людям, я и пишу вам сегодня и прошу помочь мне делом.

Ваш друг  
Г. Гейне.

---

<sup>1</sup> Почтового служащего (франц.).

## 158. ВИКТОРУ ГЮГО <sup>1</sup>

Париж, 2 апреля 1835 г.

Дорогой господин Гюго!

Посылаю вам эти стихи через г-на Вольфа, профессора из Иены, который доказал в своей «Истории литературы», что он умеет ценить гений Виктора Гюго. Он посвятил вам большую часть своего труда и занят сейчас переводом полного собрания ваших сочинений. Г-н Вольф, один из моих старых друзей, — человек настолько умный и достойный, что он мог бы обойтись без рекомендательного письма, но зная, как вы заняты, я все же предложил ему, что напишу вам несколько слов.

Если у меня будет возможность, я позволю себе зайти к вам на будущей неделе, чтобы сказать вам, что я не перестаю любить вас и восхищаться вами.

*Георих Гейне.*

## 159. АЛЬФРЕДУ ДЕ ВИНЬИ <sup>1</sup>

Париж, 3 апреля [1835 г.]

Господин граф!

С большим удовольствием приношу вам свои поздравления по поводу успеха «Чаттертона». В то же время заслуживает похвалы и французская публика: она начинает ценить настоящих поэтов. Я только что видел вашу пьесу в книжной лавке, но еще не смотрел ее во «Французской комедии». За три месяца у меня не было ни одного свободного вечера. Теперь я в течение двух недель смогу бывать в театре и потому спешу попросить у вас два билета в ложу на одно из ближайших представлений «Чаттертона». Да, два билета в ложу (безразлично, какого яруса). Вы видите, что я полностью полагаюсь на вашу любезность.

У меня есть знакомые, которые без ума от Китти Блел и не перестают говорить о ней. Словом, мне необходимо посмотреть эту пьесу.

---

<sup>1</sup> Перевод с французского оригинала.

Выставки я еще не видел. Это я-то, с моей любовью к искусству! В недалеком будущем зайду навестить вас и прошу до тех пор меня не забывать.

Предавший вам

*Георих Гейне.*

### 160. ДЖАКОМО МЕЙЕРБЕРУ

Париж, 6 апреля 1835 г.

Высокочитимый друг!

Так как письмо, посланное мною в Ниццу, не получено вами, я уже не решаюсь высказываться письменно о щекотливых предметах и полагаю, что лучше воззвать просто к вашему слепому доверию. Думаю, что имею на это право. Я часто являюсь в непривлекательном свете, вышучиваю и мистифицирую почти всех, редко поступаю как маркиз Поза, еще реже как Тит (я говорю о Тите, каким его представляют римляне, каким он показан в творении Моцарта; настоящий Тит — мы прекрасно это знаем — был антисемитом). Повторяю, я не Поза, не Тит Веспасиан, не Натан Мудрый, я даже их противоположность, короче — есть за что меня корить... Но одно верно: в глубине моего сердца живет симпатия ко всему прекрасному и трагическому, к моим соученикам в поэзии и искусстве, к родственному мне гению. Быть может, во мне живут два существа: одно, лучшее, пишет вам сегодня, оно пишет тоже не будничному Мейерберу, тому, который носит коричневый сюртук и страшно страдает от впечатлительности, от плохих певцов, от просвещенных израильтян, от преодолевших предрассудки христиан, от почтенных дилетантов и обладателей альбомов (этому Мейерберу я написал на днях рекомендательное письмо, которое ему передаст один преподаватель языков, молодой человек иудейской веры, вероятно к тому же еще играющий на скрипке), — я пишу второму Мейерберу, *maestro divino*,<sup>1</sup> художнику-творцу, триумфатору, увенчанному лаврами, князю царства талантов, которого так же, как и меня, будут долго еще

---

<sup>1</sup> Божественному мастеру (*итал.*).



помнить. Да, я предаюсь печальной и скорбной надежде, что имя этого Мейербера нередко будет произноситься вместе с моим, когда мы оба, увы, уже давно будем лежать в могиле.

Мой патетический порыв был только что прерван визитом г-на Бюлоза; узнав, кому я пишу, он попросил меня напомнить вам, что вы обещали ему статью о composition musicale.<sup>1</sup> (Когда же придет Мессия?) Кроме того, он просит, чтобы вы поскорее прислали биографические сведения о себе, необходимые для того, чтобы ко времени получения вашей оперы уже была написана основательная статья о вас. Аббат Майнцер, которому я открыл доступ в «Revue», поступил с Бюлозом как негодяй. Бюлоз питает сейчас страшное отвращение к немцам, которое я ни в коем случае не собираюсь смягчать. И на Шлезингера Бюлоз негодует теперь с полным правом; в связи с «Жидовкой» он вел себя по меньшей мере глупо. Лишь *один* голос во всем Париже не называет эту оперу совершенством, и этот единственный голос принадлежит г-ну Морису Шлезингеру. Сейчас он очень зол, потому что публика не верит ему на слово и находит оперу превосходной. Его и Верона, очевидно, бесит, что публику не ввели в обман ни закулисные сплетни, ни их фанфары; эти господа решили было, что они являются творцами репутаций. Шлезингеру его упрямство будет стоить немалых денег.

Но мне надобно написать вам о более важном, а именно о моих *немецких* бедах. Германия, старая медведица, напустила в Париж всех своих блох, и меня, несчастного, они совсем заели. Г-н Шпацир, как я и предвидел, является центром всей немецкой сволочи. Первый номер его «Revue du Nord»<sup>2</sup> вышел; подлости намечены там еще только в общих чертах. До сих пор, насколько мне известно, мне удавалось с помощью ума и денег обезопасить себя от этих низостей. Но, к сожалению, он не единственный в своем роде, здесь появились и другие столь же мерзкие подлецы. (Бесстыдство их поразит вас). Наглая сволочь размножается с каждым днем, и мне предстоит выбор: либо поддержать их и стать атаманом разбойничь-

---

<sup>1</sup> Сочинении музыки (франц.).

<sup>2</sup> «Северного обозрения» (франц.).

ей шайки, либо решительно их прогнать, но тогда они будут нападать на меня непрестанно. Мучительные, мерзкие истории; одна из них (vous y êtes beaucoup<sup>1</sup>) и принуждает меня писать вам. Мне нельзя терять ни одного дня, если я хочу избежать крупных неприятностей. Я иду на это неохотно, потому что вынужден снова просить у вас денег. Эти люди становятся еще опаснее, когда им нечего есть. Мои средства исчерпаны. Из суммы в две тысячи франков, которые я недавно получил от дяди в качестве новогоднего подарка, мне пришлось пожертвовать семьсот франков немецким голодранцам. Теперь помогите вы и предоставьте немедленно в мое распоряжение сумму в пятьсот (повторяю, пятьсот) франков. Если я не получу их сейчас же, они уже не помогут. Вы увидите, я употреблю их с пользой и чрезвычайно плодотворно для будущего. Вот у нас с вами нашлись и общие беды.

Во всяком случае, я дам вам строгий отчет в каждом су, и расходы, которые вы не одобрите, будут вам возмещены. Лично я, повторяю, обобран до нитки, а дело это не терпит отлагательства. Поэтому жду с первою же почтою от вас письма и субсидии. Мой адрес: Г. Г., rue des Petits Augustins № 4, Hôtel d'Espagne. Я расскажу вам при встрече (ходят слухи, что вы приезжаете в конце этого месяца), сколь необходимо и важно было мое сегодняшнее письмо. Вы так богаты, вы так много даете в помощь бедствующим, что мне можно вас не щадить. Кроме того, знаете, дела эти обходятся мне относительно дороже, чем вам, — ведь один франк значит для меня больше, чем для вас четыреста. К тому же, я освобождаю вас от забот и хлопот.

Увы, на этой неделе их у меня предостаточно. Первые два тома моей книги «De l'Allemagne»<sup>2</sup> выйдут в ближайшие дни; тогда начнутся нескончаемые poignées de mains<sup>3</sup> и я, как наемный лакей собственной славы, обéгаю весь Париж. Не порекомендуете ли вы мне какую-нибудь уже напечатанную или только написанную статью о немецкой музыке, перевод которой я мог бы взять для третьего тома «De l'Allemagne»?

---

<sup>1</sup> Вас она тоже сильно задевает (франц.).

<sup>2</sup> «О Германии» (франц.).

<sup>3</sup> Рукопожатия (франц.).

Однако я вынужден прервать: пришел г-н Мармье, он помешал мне и шлет вам сердечный привет.

Будьте здоровы и не сердитесь на вашего

*Г. Гейне.*

## 161. ЮЛИУСУ КАМПЕ

Париж, 7 апреля 1835 г.

Милый Кампе!

Спешу ответить как можно скорее на ваше письмо от 1 апреля. Меня побуждает к этому главным образом желание уверить вас, что, при неприятностях с моими авторскими делами, я всегда резко отличаю издательство «Гофман и Кампе» от особы моего старого друга, Юлиуса Кампе. Что же касается вышеупомянутого издательства, то я имел полное право потерять терпение. Я написал «Гофману и Кампе», чтобы мне немедленно выслали почтой известное количество экземпляров второго «Салона». Книга вышла два месяца тому назад, а я ее не получил. Да, не получил и до сего часа, и, когда мне здесь, в лавке «Гейделофа и Кампе», попался на глаза экземпляр «Салона», я вынужден был увидеть в этой небрежности умысел, и при этом едва ли не злой умысел. Даже при беглом просмотре я всюду заметил пробелы и пропуски, и мне не оставалось ничего, кроме немедленного протеста во «Всеобщей газете», как того требовал мой писательский долг. Я решил, что книгу мне не послали намеренно, чтобы я слишком поздно узнал об этом преступлении и из пассивности отказался бы от каких бы то ни было опровержений. Я не заметил в книге цензорских многоточий, а выпущенные места были для меня самыми важными, хотя политически они абсолютно безопасны и издателю писем Берне, право, не следовало их пугаться. Я вообще не пользуюсь репутацией демагога, я дал правительству доказательства своей умеренности, и в философской книге, конечно, можно было оставить несколько оригинальных революционных мыслей. Я отослал протест и на другой день получил ваше письмо, в котором вы сообщаете, что все вычеркнуто цензурой. А почему вы сообщили об этом только через два месяца после выхода книги? Это тем более достойно осуждения, что я

был уверен: книга размером свыше двадцати листов не подлежит цензуре. Ведь я просил вас, в случае если в моей рукописи нет двадцати листов, добавить к ней «Новую весну», за исключением последнего стихотворения, и дать заметку от издательства об этом уже изданном цикле. Вместо этого, как я вижу, издательство не привело ни единого слова в оправдание перепечатки цикла, в котором к тому же не хватает шести стихотворений... Отсутствует даже посвящение... Однако все это я еще могу простить. Но в данном случае у меня возникает множество очень неприятных мыслей. Я не позволю обращаться с собой как с мальчишкой, который вынужден молчать. Может быть, я и был маленьким мальчиком, когда вы меня увидели в первый раз, но это было десять лет тому назад, и с тех пор я невероятно вырос. А особенно за последние четыре года; вы представляете, какой я стал большой. Я на голову выше многих писателей, которым издатели, даже не будучи их друзьями, платят вдвое больший гонорар, чем вы мне. Правда, совсем маленькие ребятишки среди писателей получают такой же гонорар, как я. Но это не должно было толкнуть вас на дурное обращение со мной, и вам не следовало ставить под угрозу мою реальную значимость. Подобно уважающей себя поварихе, я всегда обращал меньше внимания на жалованье, чем на обращение.

Но экземпляров второго «Салона» я так и не получил и вынужден был на свои жалкие гроши купить экземпляр у Гейделофа!

Одним словом, у меня были совершенно достаточные основания, чтобы дать заметку во «Всеобщей газете». Издательство «Гофман и Кампе» может возражать сколько ему угодно. Я ничего больше не стану печатать обо всем этом деле во «Всеобщей газете». Все, что я могу сделать, это привлечь во внимание ответ издательства в следующей книге и честно и открыто снять с него обвинение в той мере, в какой оно не заслужено. Меня не удивляет, что история эта вам неприятна, что вы сердитесь на меня; скорее это делает вам честь и доказывает, что вы обладаете силой воли. А это я всегда в вас ценю. Откровенно говоря, любезные строки в вашем предпоследнем письме, ваше пожелание, чтобы мы сохранили дружеские отношения, ваша приятная надежда покумиться со мною, посланным

пакануне разъяснение во «Всеобщую газету», — все это растрогало меня. Поверьте моему честному слову, все самые блестящие предложения ваших коллег я *до сего дня* оставлял без ответа. Если бы не проклятая история с ожиданием экземпляров и досада на искажения в моей книге, я уже давно сделал бы вам новые предложения, откровенные как всегда, изложил бы свои надежды и пожелания и определенно сказал, что я могу и что я хочу дать вам в течение лета и осени. Я уже сегодня написал бы вам об этом нечто определенное, но у меня в ушах звенит от множества неприятностей. Во всяком случае, в течение недели вы получите от меня обещанные разъяснения. Думаю, что если вы скорее издадите мою книгу, то в глазах публики это будет вполне достаточным возмещением.

Будьте здоровы и делайте что хотите. Досада моя рассеялась, но, в сущности, я не порицаю себя за то, что сделал. Верьте всегда в мою честность, и на этом точка.

Неизменно ваш

*Г. Гейне.*

## 162. ХРИСТИНЕ БЕЛЬДЖКОЙОЗО<sup>1</sup>

Париж, 11 апреля 1835 г.

Ваша записка, княгиня, была очень ясной, и я ее от- лично, совершенно правильно понял, несмотря на то, что от нее исходит аромат приветливости, который кру- жит мне голову и несколько мешает соображать. Я все хорошо понял и приду завтра в половине одиннадцатого к г-ну Минье, чтобы с ним вместе направиться к г-ну Тьеру. Я очень рад, что г-н Минье столько потрудился из-за меня, очень рад. Когда мы хотим, чтобы кто-то нас полюбил, надо дать ему возможность оказать нам услугу.

Сударыня, невозможно быть прекраснее, чем вы, ду- шой и телом.

*Генрих Гейне.*

---

<sup>1</sup> Перевод с французского оригинала.

## 163. АВГУСТУ ЛЕВАЛЬДУ

Париж, 11 апреля 1835 г.

Как оправдаться мне перед вами за мое молчание? А вы еще так добры, что подсказываете мне хорошую отговорку, выражая предположение, будто ваше письмо пропало! Нет, скажу вам всю правду: я получил его, но в такие дни, когда я по горло увяз в любовной истории, из которой не выбрался еще и поныне. Начиная с октября все, что не связано с нею непосредственно, потеряло для меня всякое значение. Я все запустил, никого не вижу, и, в лучшем случае, у меня вырывается вздох при мысли о друзьях... Поэтому я часто вздыхал о том, что вы неправильно поймете мое молчание, но взять перо в руки все-таки не мог. И это все, что я могу вам сказать сегодня, потому что розовые волны еще так яростно бушуют вокруг меня, мой мозг еще так одурманен неистовым благоуханием цветов, что я не в силах разумно разговаривать с вами.

Читали ли вы «Песню песней» царя Соломона? Прочтите ее еще раз, и вы найдете в ней все, что я мог бы сейчас вам сказать.

Подождите, у меня вскоре произойдет перелом, и тогда, согласно вашему желанию, я начну писать для комедиантов, и эти вещи, конечно, можно будет поставить, если только, предосторожности ради, объявить на афишах мои трагедии комедиями, а комедии — трагедиями.

Прочтите «Песню песней» царя Соломона, обращаю ваше внимание на этого мужа.

*Г. Гейне.*

## 164. КАРОЛИНЕ ЖОБЕР<sup>1</sup>

[Париж], 22 апреля 1835 г.

Имею честь, мадам, послать вам при сем мою книгу о Германии. Прочтите, пожалуйста, шестую ее часть. Я говорю в ней об ундинах, саламандрах, гномах и сильфах. Отлично знаю, что моя осведомленность об этих

---

<sup>1</sup> Перевод с французского оригинала.

предметах очень не полна, хотя я и читал на языке оригинала произведения великого Ауреолуса-Теофрастуса-Парацельсуса-Бомбастуса из Хознхейма.

Когда я писал эту книгу, я еще ни разу не видал такого духа стихий, мне даже казалось, что все они всего только порождения нашего воображения и живут не в стихиях, а только в мозгу человека. Но с позавчерашнего дня я верю в реальность их бытия.

Ножка, какую я увидел третьего дня, не может принадлежать никому, кроме одного из тех фантастических существ, о которых я говорю в своей книге. Принадлежит ли она ундине? Сдается мне, что она легка, как волна, и вполне способна танцевать на поверхности вод. Или она принадлежит саламандре? «Мне не холодно», — говорит Жозеф Марто Женевьеве, когда его воображение согрето мыслью о ножке прекрасной цветочницы. Быть может, это ножка гнома? Для этого она достаточно мала, легка, изящна и нежна. Или это ножка сильфиды? О, дама на самом деле так воздушна, так похожа на фею... Добрая ли она или злая фея? Этого я не знаю, но сомнение мучит, беспокоит, давит меня. Истинная правда, я не шучу!

Вы видите, мадам, что я еще недостаточно преуспел в тайных науках, что я еще не великий волшебник, а всего только ваш скромный и всегда покорный слуга

*Генрих Гейне.*

### 165. ПРОСПЕРУ АНФАНТЕНУ <sup>1</sup>

*(Надпись на экземпляре книги „De L'Allemagne“)*

Париж, 10 мая 1835 г.

Отцу Анфантену от Генриха Гейне.

### 166. ХРИСТИНЕ БЕЛЬДЖОЙОЗО <sup>1</sup>

[Париж], 4 июня 1835 г.

Княгиня!

Надеюсь, что г-н Минье, оказавший мне величайшие услуги, не преминул сообщить вам о домашних неурядицах,

<sup>1</sup> Перевод с французского оригинала.

помешавших мне явиться в Жоншер. Не слишком потешайтесь над ними, прекрасная княгиня, ибо вполне возможно, что они повлекут за собой серьезные последствия. Теперь мне предстоит испить чашу до дна. Я забыл, что я божество, я уронил свою божественную сущность, я погрузился в грязь человеческих страстей, и мне трудно из нее выбраться.

Иногда, среди моих крупных неприятностей и ничтожных тревожений, мне становится легче, когда я думаю о вас, о вашей улыбке и вашем дружеском участии. Приношу вам за это свою благодарность.

Примите, княгиня, уверения в моей преданности.

*Генрих Гейне.*

#### 167. ПОГАННУ-ГЕОРГУ КОТТЕ

Париж, 10 июня 1835 г.

Не ради пустой формулы вежливости, господин барон, говорю я, что мне хочется перенести на вас почти детское доверие, которое я питал к вашему покойному отцу, и взамен ожидать от его сына ответного доверия, которым меня в столь сильной мере дарил покойный. Разумеется, до сих пор мне просто не представлялось случая практически осуществить это желание. Внешние и внутренние препятствия удерживали меня долгое время от всякой серьезной литературной деятельности. Надеюсь скоро возобновить творческую работу и думаю, что это письмо послужит вступлением к ней. Из прилагаемого письма вы тотчас поймете, о чем идет речь. Я не брал на себя обязательства таить от вас письмо г-на Риттербранда: однако вы поймете, что мое сообщение требует полнейшей тайны. Полагаюсь на вас. Мое поведение можно истолковать ложно, тем не менее я вправе воспрепятствовать людям, которые стремятся лишь эксплуатировать мое имя и в это мгновение, вероятно, уже эксплуатируют его.

Меня уже давно мучают предложением дать свое имя для издания немецкой газеты в Париже, в надежде, что оно привлечет нужное число акционеров и большое количество подписчиков. Возможности, которые открываются



здесь для подобного предприятия, действительно огромны. Восточную корреспонденцию можно перепечатывать из «Всеобщей газеты», а английские и западные, а также ряд постоянных парижских корреспонденций можно делать лучше, чем во «Всеобщей газете». Все эти предложения я неизменно отклонял, но теперь мне приходится решиться. Было бы слишком досадно видеть, как другие перебегают мне дорогу. Необходимо спешить. Выгодность издания подобной газеты настолько очевидна, что этот план будет осуществлен в любом случае. Пусть даже парижскую газету запретят в Австрии и в Пруссии, — все равно она окупит себя. Таким образом, владелец «Всеобщей газеты», интересам которого возникает угроза, все равно не сможет помешать ее преуспеянию дипломатическим путем. Более того — здесь надеются извлечь выгоду и из подобных попыток.

Поэтому советую вам, господин барон, проявить в этом деле широкий размах, достойный вашего покойного отца, и предлагаю вам свои услуги. Возьмитесь сами за издание этой газеты; вы скорее, чем кто-либо, сможете достигнуть необычайных успехов. Я просил г-на фон Бреза поговорить с вами обо всем подробно; сам я обременен сейчас страшно неприятными делами, которые вот уже месяц дают меня, как кошмар, а покончить с ними я смогу только недели через две.

Рекомендую вам учредить здесь как бы филиальное издание «Всеобщей газеты», в котором будет печататься только достоверный материал. Рекомендую организовать в некотором роде, немецкое подражание «Messenger»<sup>1</sup> Гальяни, которое будет от него отличаться главным образом интереснейшими ежедневными *фельетонами*. При моих здешних литературных связях я мог бы обеспечить блестящие фельетоны. Уже одни они придали бы парижской газете неотразимую прелесть для Германии. Мое имя, как издателя, конечно, немедленно же привлечет нужное число подписчиков. Имя это служит порукой умеренного направления, и вы можете обещать соответствующим правительствам, что я никогда не выйду за пределы освещения достоверных фактов. Во всяком случае, пришлите мне деятельного помощника-редактора. Бреза был бы

---

<sup>1</sup> «Курьеру» (англ.). (См. комментарии.)

чрезвычайно полезен для этого дела. Я лично буду отвечать за все.

Прошу вас, господин барон, ответить мне с первой же почтой и остаюсь, с глубочайшим уважением,

преданным вам

*Г. Гейне.*

### 168. ЮЛИУСУ КАМПЕ

[Париж, июль (почтовый штемпель от 2 июля) 1835 г.]

Чтоб начать иль кончить пенье,  
Жить поэту надо.

Эти слова, дорогой друг, я привел сейчас для самооправдания во всех смыслах. Вот уже четыре месяца моя жизнь течет так бурно, и особенно в последние три месяца волны жизни так яростно захлестывают меня с головой, что я едва способен был о вас думать, не то что написать вам. Глупец, я верил, что пора страстей для меня миновала, что уже никогда я не дам вновь вовлечь себя в водоворот человеческих неистовств, что в спокойствии, благоразумии и умеренности я равен вечным богам, — и вот послушайте! Я снова стал буйствовать как человек, и даже как совсем молодой человек! Но теперь благодаря моей несокрушимой духовной силе душа опять усмирена, смятенные чувства укрощены, и я живу радостно и спокойно в замке моей прекрасной приятельницы близ Сен-Жермена, в милом окружении лиц знатных и личностей благородных.

Думаю, что душа моя наконец очистилась от всякого плака и стихи мои станут прекраснее, книги — гармоничнее. Знаю твердо: ко всему мутному и неблагородному, ко всему пошлому и затхлому у меня сейчас подлинное отвращение.

Вас, конечно, не удивит, что при таком настроении некоторые ранее начатые работы, на сегодня по крайней мере, еще не закончены. Все же я надеюсь в этом году создать несколько хороших произведений, во всяком случае лучших, чем мои прежние. Очень скоро я уеду отсюда в Булонь-сюр-Мер. Вы знаете, что этот прелестный при-

морский городок — мой лучший рабочий кабинет. Там я напишу отличную книгу, которою порадуя мир. Я оградил себя от навязчивых журналистских дел и, несмотря на огромные расходы, уже произведенные в этом году, надеюсь, что покой этот не будет нарушен финансовыми затруднениями. С этой целью хочу сегодня посоветоваться с вами и определенно, — как вы всегда настойчиво требуете, — честно и открыто, как всегда, сообщить вам, чего можете вы ждать от меня в ближайшее время, чего я желаю от вас, на что я рассчитываю и на что вы можете рассчитывать. Я разъяснил вам причины моего долгого молчания, дабы вы не истолковали его ложно. Ни здешние издатели, как вы напрасно подозреваете, ни иностранные, которые в последнее время, когда имя мое стало европейским, докучают мне своими предложениями, не поколебали моего решения сносить многие из ваших чрезвычайно неприятных прихотей. Я не строю себе иллюзий относительно характера ваших господ коллег. Переменив издательство, я в лучшем случае выиграю один или два лундора, от обычных же неприятностей не избавлюсь нигде и даже, вероятно, натолкнусь на совсем новые несносные черты. У вас, как мне кажется, я уже перенес самое тяжелое: шпильки, издательскую рекламу с ссылками на жалкие авторитеты, злорадство по поводу враждебных рецензий, вечные жалобы, большие тиражи, мелкие издательства, короче — *юлиускампгады*. Если в будущем вы сможете несколько укротить свой нрав, пожалуйста сделайте это! Вам не суждено также поседеть от большого повышения гонорара, которого вы столь боялись. Я никогда не собирался насочинить себе большое состояние; я довольствуюсь самым необходимым. Ваша скарденность всегда приводила к тому, что я вынужден был заниматься более прибыльными работами. Тут вы всегда действовали недалековидно. В этом году мне требуются еще две тысячи марок ассигнациями. Намереваюсь получить их от вас следующим образом.

Думаю, что двадцать листов я напишу в Булони, и за них вы мне заплатите тысячу марок ассигнациями. Если книга будет больше или меньше двадцати листов, мы вычислим разницу. Книга будет развлекательной, и ни один цензор в целом мире не сможет хоть в чем-нибудь ее упрекнуть. Срок ее окончания не могу определить твердо. Зато

и гонорара я не потребую, прежде чем пришло вам рукопись.

Кроме того, я предлагаю вам мою историю романтической литературы, состоящую из двух томиков, вышедших у Гейделофа и Кампе и увеличенных примерно на шесть-семь листов. Вы знаете, я продал этим господам оба томика, по четыреста франков каждый, только на шесть месяцев. Уже в прошлом июле минуло полтора года, как я получил право на переиздание; я и предложил этим господам переиздать книгу и потребовал, если не ошибаюсь, сто луйдоров гонорара. Любезный Гейделоф никак не мог решиться на это в отсутствие великого Наполеона, а тот наконец ответил, что вследствие тогдашних преследований со стороны немецких правительств он ничего написанного мною печатать не может и совстует мне выпустить книгу у вас. Хотя распространение было поставлено плохо, первый томик разошелся полностью, да и от второго остался уже очень небольшой запас. Всякий другой давным-давно воспользовался бы своим правом на переиздание, но, отчасти потому, что я не очень пуждался в деньгах, отчасти и потому, что позднее у нас с вами начались случайные недоразумения, я не предлагал вам переиздать эту книгу до сего дня. Прошу за нее тысячу марок ассигнациями. Признаюсь, то обстоятельство, что родственник ваш предложил мне в качестве издателя именно вас, вызвало во мне самые противоречивые мысли. Во всяком случае, будьте уверены, что книга в ее обновленном виде станет настольной, и любой издатель уплатит мне за нее названный гонорар, хотя бы для того, чтобы завязать со мною отношения. Прошу вас только об одном: не заставляйте меня, бога ради, слушать ваши жалобы на то, что я требую слишком высокий гонорар за уже раз изданную книгу. Она вышла тиражом всего в тысячу экземпляров; книга, повторяю, будет увеличена на шесть или семь листов, и, хотя бы только *honoris causa*,<sup>1</sup> издатель, который выпускает все мои сочинения, не может отказаться от нее. Поверьте, мои требования к вам никогда не бывают чрезмерны и если иногда вы не в состоянии их выполнить, вспомните, что пусть на одной моей книге вы заработаете мало, зато из другой извлечете большую

---

<sup>1</sup> Из почета (лат.).

выгоду. Хватит! Я твердо верю, что могу предсказать своей новой книге исключительный успех. Не будь вы болтуном, я сообщил бы вам ее заглавие.

Будьте здоровы. Я достаточно обрисовал вам мои недавние злоключения, мое возродившееся желание работать и надеюсь, что вы поддержите меня, откровенно высказавшего вам свои желания и требования, благожелательным ответом и, конечно, не рассердите скупостью и не заставите прибегнуть к неприятным связям с чужими людьми. Крепко полагаюсь и на нашу старую дружбу.

Преданный вам

*Г. Гейне.*

Пишите мне на адрес графа Бреза: rue Traversière, Saint-Honoré, Hôtel de Bristol, à Paris. Он перешлет мне письма в Булонь.

Если вы ответите мне сейчас же, ваше письмо, может быть, еще застанет меня здесь.

### 169. АРМАНУ БЕРТЕНУ<sup>1</sup>

Булонь-сюр-Мер, 26 сентября 1835 г.

Обращаюсь к вам с протестом по поводу помещенной вами в номере от 22 сентября статьи из Франкфурта. В этой статье меня изображают как иудея и беглого главаря либеральной партии Германии. Лица, знакомые с этой страной, поймут всю нелепость подобных определений.

Я не исповедую иудейской религии, ноги моей никогда не было в синагоге. Я состою членом аугсбургской церковной общины и никогда не откажусь от звания, соединяющего меня с почитаемой мною верой, которая в некоторых германских государствах предоставляет не только духовное блаженство, но еще и некоторые мирские блага.

Я не замешан у себя на родине ни в каких политических делах; мне никогда не предъявлялось никаких обвинений; паспорт, с которым я прибыл во Францию, нахо-

---

<sup>1</sup> Перевод с французского оригинала.

дится в полном порядке, и я проживаю здесь под доброжелательным покровительством нашего посла.

Незачем, следовательно, зачислять меня в ряды изгнанников, ищущих убежища, людей вполне почтенных, но подчиняющихся во Франции особому законодательству...

## 170. ГЕНРИХУ ЛАУБЕ

Булонь-сюр-Мер, 27 сентября 1835 г.

Милый Лаубе!

Спасибо, сердечное спасибо за любовь, которую вы мне неизменно выказываете! Правда, я редко даю вам знать о себе, но, во имя неба, не истолкуйте это как равнодушие. Вы, единственный в Германии, интересуете меня во *всех отношениях*; я глубоко чувствую это и именно по этой причине пишу редко. Я слишком волнуюсь, когда берусь за перо, чтобы писать вам, а вы, конечно, заметили, — я принадлежу к людям, которые питают малодушный страх перед всеми душевными волнениями и по возможности стараются их избегать. Увы! Несмотря на величайшую осторожность, нас все-таки слишком часто охватывает всесильное чувство, лишаящее нас ясности взгляда и мышления, с которой я так неохотно расстаюсь. Как только омрачается наш рассудок и душа приходит в смятение, мы больше не соратники богов. Близостью к богам, — теперь в этом можно признаться, — я гордился уже давно; мой путь был спокоен и светел; но вот девять месяцев, как великие бури опять проснулись в моей душе и необозримо длинные тени легли вокруг меня. Это признание да объяснит вам мое теперешнее бездействие. Я все еще занят усмирением смятенной души и пробую если не выбраться к дневному свету, то хотя бы выбиться из непроглядной ночи.

Письмо ваше, посланное через одного гомеопата, я получил, но посла, к сожалению, не мог повидать, потому что находился за городом, около Сен-Жермена, в замке прекраснейшей, благороднейшей и талантливейшей женщины... в которую я, однако, не влюблен. Надо мной тяготеет проклятие: я люблю только самое ничтожное и глупое... Понимаете ли вы, как это должно мучить человека гордого и богато одаренного?

Я очень тревожился за вас, пока вы были в тюрьме; письмо ваше, как ни грустно оно меня настроило, было для меня все же целебным бальзамом. У вас, конечно, все наладится, я в этом уверен, хотя все же боюсь, что вам не избежать судьбы, которая преследует людей нашей породы; вы тоже принадлежите к тем гладиаторам, которые умирают только на арене.

В сущности, я сержусь на вас; я так неохотно думаю о Германии, и это ваша вина, что я вынужден думать о Германии, потому что вы там и мне нужно писать вам туда! Вот уже два года, как вести из отечества мало меня радуют, а немцы, которых я встречаю в Париже, право же предохраняют от тоски по родине. Сволочь, попрошайки, которые начинают угрожать, если им не подадут, подлецы, постоянно твердящие о честности и родине, лгуны и воры... Впрочем, мне нечего вам об этом рассказывать; из вашего письма я понял, что вы и сами сочувствуете мне, ибо понимаете, какой сброд, именуемый моими соотечественниками, окружает меня. Я никогда не мог обменяться *poignées de main*<sup>1</sup> с этими грязными людишками, а теперь отказываю им даже в лицемерии моей особы.

Сегодня у меня горько и печально на душе. Я живу у моря, и мысли мои всегда окрашены в его колорит. Сегодня море темно-желтое и покрыто совершенно черными полосами.

Я останусь здесь еще на некоторое время.

Если вам будет что мне писать, то адресуйте письмо только Mr. Henri Heine, recommandé aux soins de Mr. Mangin, à Boulogne-sur-Mer.<sup>2</sup>

В эту минуту у меня нет даже клочка чего-нибудь рукописного, и я могу предложить вам для альманаха только прилагаемые четыре стихотворения. К сожалению, они не принадлежат к моим лучшим произведениям. Прошу вас, оцените их непредвзято и хладнокровно; и если вы согласитесь со мной и признаете, что они не из лучших, тогда, бога ради, не печатайте их. Мне больше всего нравится № 4; это стихотворение, может быть, спасет остальные. Если № 4, проникнутый слишком вольным духом,

---

<sup>1</sup> Рукопожатиями (франц.).

<sup>2</sup> Г-ну Генриху Гейне, препорученному заботам г-на Манжена, Булозь-сюр-Мер (франц.). (См. комментарий.)

напечатать нельзя, то настоятельно прошу не печатать и три остальных. Передайте мой дружеский привет Вольфу.

Ваши «Путевые новеллы» я нигде не мог достать. Знаю только роман ваш, а ваша «Газета для любителей изящного» за четыре-пять месяцев дошла до меня только в конце прошлого года. Это было живительным чтением. Здесь, во Франции, мне только случайно попадаются иногда немецкие литературно-критические журналы. Есть ли сейчас там у вас что-нибудь для меня интересное? А Менцель все-таки помесь грубияна с мошенником.

Будьте здоровы. Вскоре напишу вам еще раз.

Ваш друг  
Г. Гейне.

## 171. ГЕНРИХУ ЛАУБЕ

Булонь-сюр-Мер, 23 ноября 1835 г.

Дорогой Лаубе!

Ваше письмо, на которое спешу ответить, вызвало у меня тягостное настроение. Оно показало мне, как безотрадны тамошние дела и в каком смятении находитесь вы сами. За три с половиною месяца, проведенных вне Парижа, я не видел ни одного немецкого журнала, и, за исключением нескольких намеков в письме моего издателя, полученном месяц тому назад, я ничего не слышал о разразившихся в литературе ужасах.

Заклинаю вас всем, что вы любите, если и не встать в войне, которую сейчас ведет «Молодая Германия», на ее сторону, то соблюдать, по крайней мере, по отношению к ней весьма *благоприятствующий* нейтралитет и ни единым словом не задевать молодежи. Строго различайте политические вопросы и религиозные.

В политических вопросах можете делать сколько угодно уступок, потому что политические формы государства и правления — это только средства; монархия или республика, демократические или аристократические учреждения — все это не имеет значения, пока еще не решен исход боя за основные принципы жизни, за идею самой жизни. Лишь после того встанет вопрос, какими средст-



вами эту идею можно провести в жизнь — монархией или республикой, аристократией или даже абсолютизмом... К последнему я вовсе не чувствую большого отвращения. Таким разделением вопроса можно успокоить и подозрительность цензуры, — ведь нельзя запретить дискуссию о религиозном принципе и морали, не аннулируя всей *протестантской* свободы мысли и свободы критики; здесь на нашу сторону встанут даже филистеры... Вы понимаете меня. Я говорю: «религиозный принцип и мораль», хотя это все равно, что «свинина и свиное мясо», то есть одно и то же. Мораль — это религия, воплотившаяся в нравах (нравственность). Когда же религия прошлого протухла, тогда начинает вонять и мораль. Мы хотим здоровой религии, чтобы нравы опять оздоровились, чтобы основа их стала лучше, чем сейчас, когда они базируются только на неверии и укоренившемся фарисействе.

Вероятно, вы и без этих разъяснений поняли бы, почему я постоянно апеллировал к правам протестантизма; для вас также должна быть совершенно понятной грубая уловка моих врагов, которым всегда хотелось загнать меня в синагогу, меня, прирожденного антагониста иудейско-магометанско-христианского деизма. Вы представить себе не можете, с каким состраданием я гляжу на этих червей. Кто знает лозунг будущего, над тем не властны мелкие воришки современности. Я знаю, кто я есть. Недавно один из моих сен-симонистских друзей во Египте произнес слова, рассмешившие меня, но все-таки они имели очень серьезный смысл. Он сказал, что я первый отец церкви среди немцев.

В настоящую минуту этот отец церкви по уши занят французскими делами, поэтому он не может выступить на защиту нового евангелия в Германии. В случае крайней необходимости я все-таки препояшу чресла. Просто отвратительно, что приходится иметь дело именно с г-ном Менцелем. Неопрятная личность, об которую можно только замараться, негодяй и лицемер до мозга костей! Если бы можно было пером вить веревки, он бы уж давно висел. Это низкая натура, низкий человек, которому следовало бы падавать таких пинков в зад, чтобы носок наш вылез у него через горло.

Напасть на нас сейчас! Сейчас, когда противная партия попирает нас ногами! На это способен только Менцель,

никогда серьезно не относившийся к нашему делу, примкнувший к нам только после Июльской революции, когда перед ним забрезжила мысль о реальных выгодах... И теперь, когда он за наш счет готовится потешить антилиберальную партию, в его мозгу опять копошатся подленькие мыслишки. Наденьте перчатки, мой дорогой, возьмите хорошую палку да отлупите эту грязную тварь так, как она того заслуживает. И проявите при этом биографический подход, то есть используйте его биографию, в которой найдется достаточно скверного. Это ваше дело; соберите в Бреславле и Швейцарии, где он пакостил, необходимые для его личной истории детали. Самые основательные пинки он получит, конечно, от студенческой молодежи Германии...

В данное время у меня всякие неприятности, место их действия — Париж, и они займут меня, вероятно, до весны. Значит, я не могу обещать многого журналу, который вы сейчас воскрешаете. Но я охотно отдам ему свое имя, и вы можете напечатать мои стихи, имеющиеся у вас. Прилагаю еще два отрывка, которые тоже немногого стоят. Стихотворение же, которое начинается словами: «Тебе пятнадцать лет всего лишь, а мне тридцать шестой...», вы, пожалуй, сможете напечатать, но прошу вас не ставить под ним моего имени. Я чувствую, что натуральность в нем доходит до карикатуры; это было попыткой ввести в стихи годы и даты.

С «Молодой Германией» в целом я никак не связан; слышал, что они поместили мое имя среди сотрудников своего нового «Обозрения», на что я никогда не давал согласия. Но молодые люди, конечно, будут иметь во мне крепкую поддержку, и мне было бы страшно неприятно, если бы между ними и вами возникли трения. Пожалуйста, разъясните через общих друзей этим юношам трудности вашей позиции, дабы недоразумение не довело до беды. Не забудьте об этом.

Неизменно рассчитывайте на мое горячее участие ко всему, касающемуся вас лично. Мне очень приятно, что вы установили хорошие отношения с некоторыми моими берлинскими друзьями. Фарнхаген — один из самых замечательных людей, он человек последовательный и верный. Мы единомышленники до такой степени, что даже не нуждаемся в переписке.

Ваш вопрос о моем возвращении в Германию причинил мне острую боль; я не люблю признаваться, что мое добровольное изгнание — одна из величайших жертв, которые я приношу *мысли*. Возвратившись, я выпущен был бы занять положение, которое вызвало бы очень много кривотолков. Хочу избежать даже тени недостойного. Насколько я знаю, ни одно правительство не может предъявить мне никаких обвинений, — я стоял в стороне от всех якобинских интриг; пресловутое «Предисловие», которое я успел уничтожить, когда оно уже было напечатано у Кампе, вышло затем в свет только благодаря прусскому шпиону Клапроту; посольство это знало, так что меня даже нельзя всерьез обвинить в нарушении законов о печати. Через дипломатов, с которыми у меня в Париже очень хорошие отношения, ко мне отовсюду доходят дружеские слова... Но это всё основания, которые скорее удерживают меня от возвращения на родину, чем побуждают к нему. А тут еще озлобленность немецких якобинцев в Париже, которые, если бы я вернулся домой, чтобы снова есть немецкую кислую капусту, увидели бы в этом подтверждение измены родине. Покамест они клеветают на меня, основываясь только на подозрениях; покамест я не дал еще никаких фактов для клеветы. Поэтому, как видите, моя поездка в Вену должна быть отложена на очень долгое время.

Через несколько недель я вернусь в Париж. Если до этого вам нужно будет о чем-нибудь меня известить, пишите сюда. Даже если я уже уеду в Париж, ваше письмо будет мне передано. Будьте здоровы и бодры.

Ваш друг

*Г. Гейне.*

P. S. Ради бога, никому не показывайте этого письма.

## 172. ЮЛИУСУ КАМПЕ

Булонь-сюр-Мер, 4 декабря 1835 г.

Милейший Кампе!

Сердечное спасибо за любезные сообщения в вашем письме от 23 октября. В течение четырех месяцев, кроме как из вашего письма, я ничего не знал о том, что проис-

ходит в мире немецкой печати. В Париж я прибуду недели через три-четыре и там постараюсь подробнее разузнать о гражданской войне в литературе. Я давно уже знал, что г-н Мещель — подлец, что он непременно злоупотребит случайно доставшейся ему скромной властью, то есть «Литературной газетой». Иногда он лаял и на меня, но я ни разу не пожелал высечь его своей рукой и тем наградить его бессмертием.

Книги мои — «Путевые картины» и сборники лирики — я еще не получил. Вероятно, пароходов в Гавр больше не было и книги остались лежать в Гамбурге. В этом случае прошу вас послать мне их с почтовой каретой, присоединив к ним шесть экземпляров «Романтической школы» и что-нибудь интересное для чтения. *Четыре экземпляра «Романтической школы» прошу вас послать моей матери.*

Дела мои здесь очень плохи, особенно в отношении рыбной ловли. В нынешнем году мы в Северном море поймали мало рыбы. Надеюсь, что вам на охоте больше повезло. Смешно, издатель — охотник, а автор — рыболлов. Впрочем, последний тоже иногда охотится, но в нынешнем году зверь на этого ловца не бежал. Полагаю, что и господин охотник, занявшись рыбной ловлей, на свой крючок много не подцепил. У меня отчаянный насморк уже шесть недель, и, несмотря на это, я работаю над своими книгами. В литературе я веду теперь двойную бухгалтерию — ради опыта. На этих днях одна книга, наверное, будет готова, в Париже я перепишу ее, а в конце будущего месяца вы, наверное, получите рукопись. Я не решил еще, выпустить ли эту книгу самостоятельно, или как третий том «Салона»; она чрезвычайно занимательна, популярна и рассчитана на все классы; вероятно, будет *grosso modo* оба тома «Салона». Господин охотник, это морской термин, он означает: брать на буксир.

Через несколько недель я снимаюсь с якоря и отплываю в Париж. Письма и пакеты посылайте, пожалуйста, туда, по адресу Grand Hôtel de Bristol, rue Traversière, Saint-Honoré, à Paris. Я перееду зимой в самую оживленную часть города, чтобы вращаться в центре общественной жизни. Пятнадцатого сего месяца я снова переведу на вас вексель в шестьсот марок ассигнациями, на ордер Генриха Гейне, который прошу вас учесть, как и прошлый раз.

Сердечно благодарю вас за любезную оплату моего

последнего векселя. Не забудьте послать «Романтическую школу» моей матери.

Не писали ли вы мне как-то, что издаете историю литературы Шлезьера? По его статьям он мне очень понравился. Где Винбург? Я только недавно и случайно прочел его «Эстетические походы». Жаль, что не могу поговорить о них с ним лично.

Будьте здоровы и кланяйтесь всем моим добрым знакомым. Надеюсь, что ваша семья чувствует себя хорошо. Желаю вам удачной охоты! Que le bon Dieu vous prenne dans sa sainte et digne garde.<sup>1</sup>

*Генрих Гейне.*

### 173. ЮЛИУСУ КАМПЕ

Париж, 12 января 1836 г.

Дорогой Кампе!

Ваши письма, как первое, которое вы адресовали в Hôtel d'Espagne, так и второе, адресованное на rue Traversière, я получил. Ни здесь, ни там я сейчас не живу; я остановился на rue Traversière только на несколько дней, пока была готова моя новая квартира. Она великолепна и очень приятна, так что теперь я устроился уютно и мягко. Она на Cité Bergère № 3; этим адресом пользуйтесь, пожалуйста, для ваших писем.

Книги мои, то есть экземпляры «Романтической школы», я получил и предлагаю вашему воображению представить себе чувства, вызванные во мне искажениями в тексте. Ваши ссылки на то, что книга попала в руки цензора, как раз когда власти были встревожены доносами штутгартской «Литературной газеты», конечно убедительны. Поэтому я и не выступил с протестами в печати, хотя это нужно было сделать; враги мои думают, что я сам вычеркнул из своей книги все острые места.

Дорогой Кампе, предоставляю вам самому дать эти разъяснения в печати. Здесь у меня есть и побочная цель: тут можно сыграть славную шутку с Менцелем. Гнусность его доносов проявится особенно ярко, если вы опубликуете разъяснение и заявите следующее: вы не думали, что

---

<sup>1</sup> Да осенит вас господь своим святым покровом (франц.).

книга моя попадет под особую цензуру, вы обнадежили меня, уверив, что мое произведение будет издано в не сокращенном виде, и, конечно, никак не могли предвидеть, что, когда моя книга будет в руках цензора, появятся доносы, подобные менцелевским. Если бы вы могли сказать, что цензор в оправдание своей строгости сослался на вышеупомянутую «Литературную газету», это было бы еще эффектнее. Вы должны сказать, что считаете себя обязанным по отношению к другу, то есть ко мне, снять с него подозрения в трусливой уступчивости. (Нужно уметь извлечь пользу даже из несчастья.)

О статье в «Нюрнбергской газете», судя по которой в Пруссии запрещены мои сочинения, как и все произведения «Молодой Германии», я сейчас ничего не могу сказать. Жду от вас более точного подтверждения и подробных разъяснений. Полагаю, вы тоже не так-то легко дадите себя запугать. Все эти преследования «Молодой Германии» я принимаю не слишком всерьез. Увидите: много шума, а проку мало. Если я действительно внесен в проскрипционный список, то, вероятно, ждут только демаршей с моей стороны, чтобы снова вычеркнуть мое имя из него. Все это рассчитано только на унижение. Пруссия не осмелится на неслыханное дело — на запрещение еще не написанных книг; это вызовет не только открытое негодование, это будет просто смехотворно. Я не дам сбить себя с толку и убежден, что чем отважней держаться, тем легче справиться с противником. Самое опасное — страх опасности. В сознании того, что в течение четырех лет я ничего не писал против правительства и разошелся, как всем известно, с якобинцами, словом, при своей чистой, лояльной и монархической совести я не буду столь труслив, чтобы отречься от политически невинной молодежи. Наоборот, я немедленно послал разъяснение во «Всеобщую газету» (вероятно, оно уже напечатано), в котором объявляю, что никогда не отказался бы сотрудничать в «Немецком обозрении». Самое смешное, что, не случись последних событий, мне никогда бы и в голову не пришло сотрудничать в этом издании, и я ни звука не отвечал Гуцкову и Винбаргу на их письма (право, меня интересуют более важные вещи). Где теперь Винбарг? Дайте мне его адрес.

Если прусское правительство действительно впадет в проскрипционное безумие, я, как мне кажется, гораздо

легче всех остальных сумею обойти его декреты; думаю, что я пишу так своеобразно, что, в крайнем случае, могу не ставить своего имени на титульном листе. Но как бы там ни было, в моей ближайшей книге не будет ничего, что могло бы не понравиться с точки зрения политики или религии, и я так построю ее, что цензору не удастся вычеркнуть из нее ни одного слова. Конечно, для этого необходимо проделать дополнительную работу, и большую часть готовой рукописи придется отложить в сторону. Как вам известно, мне попадают здесь очень немногие газеты, и я прошу вас держать меня в курсе всего, что там обо мне печатается. Если ваш племянник г-н Наполеон называет новое заглавие моей книги мистификацией, то он негодяй. На эту мистификацию с изменением заглавия ему-то уж не приходится жаловаться, она подымает цену второго томика «Литературы» (первый, конечно, расхватали), который у него еще имеется на складе. Г-н Гейделоф, как я теперь вижу, действительно зол на то, что я считал его дружбу менее важной, чем книгу; как он мне намекнул, он хочет оповестить о том, что у него осталось большое количество экземпляров «Литературы». Я заявил ему со всей серьезностью: если одновременно он не объявит, что уже в течение двух лет я имею законное право на переиздание «Литературы», то его извещение вызовет с моей стороны самые резкие возражения. Очевидно, он отказался от своего намерения, так как с тех пор стал чрезвычайно любезен. Какая гнусная неблагодарность, — я дал этим людям более двух лет для распродажи тиража. Прусское правительство препятствовало их сбыту, но в этом повинен не я, а демагогические публикации, которые делала их фирма. Если читатели узнают, что книга, которую включают в новое издание, еще не распродана, меня заподозрят в литературной спекуляции; следовательно, я имею право настаивать, чтобы в этом случае было совершенно определенно сказано, что уже в течение двух лет я имею законное право переиздать книгу, что я продал право ее издания только на полгода, и т. д. У меня нет никакого желания, чтобы в сей жизни на мой образ действий была брошена хотя бы малейшая тень. Поэтому непременно известите меня тотчас же, если упомянутые господа позволят себе где-нибудь, например в каком-нибудь издательском листке, инсинуацию, которая сможет мне повредить.

Будьте здоровы. В эти трудные времена нам нужно выказывать ровно столько же хладнокровия, сколько бурной ненависти проявляют наши противники. Я чувствую себя здоровес и бодрее, чем когда бы то ни было, и от души наслаждаюсь всеми радостями сезона удовольствий. Хвала вечным богам!

Ваш друг  
*Г. Гейне.*

#### 174. ЗАЯВЛЕНИЕ В СОЮЗНЫЙ СЕЙМ

Париж, 28 января 1836 г.

ВЫСОКОМУ СОЮЗНОМУ СЕЙМУ

Решение, принятое вами на тридцать первом заседании 1835 года, наполняет меня глубочайшей печалью. Признаюсь вам, господа, что к этой печали присоединяется и величайшее изумление. Вы обвинили меня, судили и произнесли приговор, не допросив меня устно или письменно, не возложив ни на кого моей защиты, не послав мне никакого приглашения.

Не так поступала в подобных случаях Священная римская империя, место которой занял Германский союз. Славной памяти доктор Мартин Лютер мог свободно предстать перед Имперским сеймом и свободно и открыто защищаться против всех обвинений. Я не столь тщеславен, чтобы сравнивать себя с величайшим мужем, завоевавшим нам свободу мысли в вопросах религии, но ученик охотно ссылается на пример учителя. Если вы, господа, не хотите предоставить мне возможность свободной защиты перед вами лично, то предоставьте мне по крайней мере свободу слова в немецкой печати и снимите запрет, наложенный вами на все, что я пишу. Слова эти не протест, а только просьба. Если я и обороняюсь, то только против общественного мнения, которое может счесть мое вынужденное молчание признанием преступности моих тенденций или даже отказом от своих произведений. Как только мне дадут свободу слова, я надеюсь убедительно доказать, что мои сочинения возникли не из перерелигиозных и аморальных настроений, а из подлинно религиозного и морального синтеза — синтеза, на вер-



ность которому издавна присягнули не только новая литературная школа, именуемая «Молодой Германией», но и наши прославленнейшие писатели, как поэты, так и философы. Однако каково бы ни было, господа, ваше решение относительно моей просьбы, будьте все же уверены, что я всегда подчинюсь законам моей родины. Случайность, благодаря которой я нахожусь за пределами вашей власти, никогда не введет меня в соблазн заговорить языком вражды. Я почитаю в вас высшие авторитеты моего любимого отечества. Личная безопасность, которую мне дает пребывание за границей, к счастью позволяет мне, не боясь ложных толкований, принести вам, господа, верноподданнейшие уверения в моем глубочайшем почтении.

*Генрих Гейне,*  
доктор обоих прав.

### 175. ЮЛИУСУ КАМПЕ

Париж, 4 февраля 1836 г.

Дорогой Кампе!

Ваше последнее письмо, в котором вы сообщаете мне о бравадах Союзного сейма, я получил и очень рад, что они вас не ошеломили. Все вместе взятое кажется мне холостым выстрелом. На всякий случай я счел нужным слегка погладить старые парики, и мое детское, паточно-смирненное письмо, наверное, произвело хорошее впечатление. Союзный сейм будет тронут. Все обращаются с ним как с собакой, и моя вежливость, мое деликатное обращение будут ему тем более приятны. Mes Seigneurs! Vos Seigneuries! <sup>1</sup> Этак к нему еще не обращались! «Смотрите, — скажет он, — вот нашелся наконец человек, который чувствует по-человечески, который не обращается с нами как с собакой! И этого благородного человека мы хотели преследовать! Объявили безбожником, аморальным!» И тридцать шесть носовых платков оросятся союзносеймовскими слезами!

Пруссия тоже, кажется, приходит в сознание, и мыслящие люди, конечно, понимают уже, что запрет на буду-

---

<sup>1</sup> Милостивые государи! Ваши светлости! (*франц.*)

щие книги глупейшим образом позорит тех, кто его издал. Но здесь нужно действовать чрезвычайно мягко, и я надеюсь добиться — пусть не ордена Орла, — но разумной точки зрения Берлина.

Остается только издать книгу, которая была бы чрезвычайно занимательна и приятна, но не касалась бы ни политики, ни религии. Рукопись этой книги уже готова, остается только переписать кое-что. Я намереваюсь издать ее под заглавием «Салон, часть третья», чтобы слегка подтолкнуть предыдущие тома. Сможете ли вы *сейчас* издать эту книгу, издать *под моим именем*? Считаете ли вы, что невинное содержание книги защитит ее от действия запрета Союзного сейма и прусско-полицейских ординансов? Или вы не решаетесь поставить мое имя на обложке? Вы согласны назвать книгу просто «Салон, том третий»?

Мне кажется, что для последующих изданий было бы даже очень полезно показать сейчас публике, что угрозы не приводятся в исполнение; тогда, после этого, уже под своим авторским именем, можно напечатать и немного перцу. Если не сделать этого сейчас, то позже это может оказаться невозможным. Приять чужое имя тоже неудобно — это унижительная уступка; мне пришлось бы тогда принять фамилию моей матери, но она звучит несколько аристократичнее, чем моя, и мой поступок могли бы истолковать злобно. На все это жду немедленного ответа. Думаю, что Юлиус Кампе доставит миру потеху, выпустив книжку под моим именем, как будто бы ничего не случилось. Откладывать издание нежелательно. Думаю, что общество именно сейчас ждет от меня книги и обрадуется, увидя, что мы не согнулись от страха. Я доволен своей книгой, хотя она многое потеряла после изъятия всего политического и религиозного материала.

Ваш друг  
Г. Гейне.

#### 176. ЮЛИУСУ КАМПЕ

Париж, 22 марта 1836 г.

Милый Кампе!

Ваше письмо от 15 марта, которое я сегодня ночью нашел дома, так меня потрясло, что я все еще оглушен. Одно для меня ясно: я не предаю Пруссии немецкую

печатать, я не продам свою честь за книжный гонорар, я не посажу ни малейшего пятна на мое прекрасное, чистое имя, я не подчинюсь прусской цензуре. И вы, бросивший мне в предыдущем письме обвинение в слишком покорной уступчивости, вы могли счесть меня способным на такое унижение! Контраст между этими двумя письмами непо-стижим. Я поступил так, как имел право поступить человек, у которого совесть чиста; больше я этого делать не должен. Я непременно хочу сохранить чистую совесть.

Письма в моем пакете не было; так как почтовый дилижанс прибыл гораздо скорее, чем я ожидал, то мое письмо, которое должно было прийти одновременно с рукописью, или, в крайнем случае, немедленно после ее прочтения, вы получили несколько позже. Из этого письма, так же как и из письма, написанного мною на днях, вы уже знаете мою твердую волю в отношении прусской цензуры. Надеюсь, что соответственно этому вы приняли самые срочные меры для получения моей рукописи обратно. Если это еще не сделано, то сделайте это немедленно. Рукопись столь невинного свойства, что ее и минуты не задержат, и я прошу вас прислать мне ее с первой же почтой обратно в Париж. И вы, дорогой Кампе, могли так поступить! Всегда я, именно я — тот, кем вы, вы, издавший так много дерзкого и так смело рисковавший, жертвуете в трудный момент.

Я предложил вам напечатать книгу под новым названием. Эту идею я почерпнул из письма одного книгоиздателя; он пожелал мне издать под новым названием, — которое, однако, через двадцать четыре часа станет знаменитым, — ряд моих произведений и заплатить мне любой гонорар, какой я потребую! Видите, я никогда ни на что не шел, всегда полагался на вас, а вы приносите меня в жертву!

Я ничего больше не стану предпринимать. Книга, если вы ее не печатаете, не будет напечатана вовсе, и, как мне ни горько, я лишусь гонорара, который зачислил уже в свой бюджет.

Отвратительный, безобразный, прусский год!

В остальном подтверждаю свое последнее письмо, в котором точно сказал, что в случае, если вы не сможете напечатать мою книгу без прусской цензуры, я прошу

вас не оплачивать мой вексель на шестьсот марок ассигнациями. Я-то, бедняга, думал уже порадовать вас новым векселем, потому что нахожусь в нужде, о которой вы и представления не имеете. Но теперь я никоим образом не хочу брать у вас аванс, так как не знаю, насколько глубоко неистовствует в вашей душе реакция страха.

Будьте здоровы и ответьте мне немедленно. Может быть, вам известно другое средство, кроме прусской цензуры, чтобы книга вышла; сообщите мне его сейчас же; книга должна появиться теперь или не появляться вовсе. А еще *предисловие*. Как мог бы я написать его под прусской цензурой? Люди эти насторожатся от самого слова «предисловие».

Я болен от горя. Я вижу, что даже партия умеренных побита. Я теперь... Я, право, еще не знаю, что я сделаю! Прежде всего я спасу мою честь. В этом вопросе я не допускаю шуток, Кампе, и я надеюсь, что скоро получу мою рукопись. До этого я не смогу заснуть.

Ваш друг  
Г. Гейне.

## 177. ИОАННУ-ГЕОРГУ КОТТЕ

Париж, 29 марта 1836 г.

Уважаемый господин барон!

Неустанное терпение, с которым покойный барон переносил все капризы немецких писателей, вероятно унаследовано вами, и сегодня я рассчитываю на него. Я вынужден еще раз потревожить вас по поводу рукописи, посланной вам вчера. Я просил вас немедленно передать ее в «Утреннюю газету», но художественные соображения относительно расположения произведений в цикле, к которому относится эта статья, заставляют меня сделать в ней некоторые изменения, и я прошу вас на короткое время, примерно недели на две, отложить ее печатание; тем временем я вдогонку подошлю нужные исправления. Одновременно я хлопочу о том, чтобы предполагаемое французское издание вышло также много позднее.

Я говорил вам вчера, что эта рукопись, как и ее более обширное продолжение (я пришлю его вам через Леваль-

да), составляют книгу, которую я хотел напечатать в Германии. Может быть, вам интересно узнать об этом подробнее.

Вы знаете, что Союзный сейм, главным образом под давлением Пруссии, запретил мои *будущие* произведения. Но мой издатель, Кампе из Гамбурга, написал мне, что запрет этот настолько смехотворен и в то же время возмутителен, что не может быть осуществлен, — он уничтожается сам собою. Кампе просил, чтобы я непременно прислал ему рукопись, которую он напечатает без долгих разговоров. Тем временем прусское правительство объявляет, что запрет против младогерманских преступников не распространится на их будущие сочинения, если они истинно верноподданнически подвергнут свои произведения прусской цензуре. Само собой понятно, я тотчас же написал в Гамбург Кампе, чтобы книгу, которую за несколько дней до того я прислал ему почтовым дилижансом, в случае, если она может выйти только под прусской цензурой, не печатали бы совсем. Но так как рукопись, против моего ожидания, пришла в Гамбург скорее, чем письмо, то г-н Кампе осмелился на днях написать мне, что он получил мою рукопись и тотчас отослал ее на цензуру в Берлин. Я немедленно ответил ему, чтобы он тут же потребовал ее обратно и отказался от печати. Как хитроумны, однако, эти пруссаки! Столь же хитроумны, сколь скаредны. *Они хотят купить меня на собственные мои деньги.* Ведь для того чтобы напечатать книгу и провести ее через цензуру, я не должен был писать в ней ничего, что могло бы не понравиться. Из предосторожности мне даже пришлось бы вплести в нее кое-что им приятное, мне даже разрешили бы поносить другие государства, лишь бы я как следует подольстился к Пруссии. Словом, мне пришлось бы писать в интересах Пруссии, для того только, чтобы получить несколько талеров гонорара, который ведь является моими собственными, честно заработанными деньгами! Кроме этой продажи, этой косвенной продажи своего пера, я предал бы Пруссии драгоценнейшие интересы немецких писателей. Ибо такая трусливая уступчивость подчинила бы немецкую мысль и равным образом все материальные ценности прусской таможене.

С почтением, преданный вам

Г. Гейне.

Париж, 26 апреля 1836 г.

## РАЗЪЯСНЕНИЕ

По дошедшим до меня сведениям, некоторые немецкие газеты распространили среди своих читателей известие о том, что в Главный цензурный комитет в Берлине представлена на рассмотрение одна из моих рукописей. Это сообщение сопровождается нелестными намеками по моему адресу.

Рукопись эта и в самом деле находилась в комитете; однако переслал ее в Берлин на рассмотрение цензуры не я, а мой издатель, владелец гамбургской фирмы «Гофман и Кампе», который сделал это без моего ведома. Как только мне стало об этом известно, — это было примерно полтора месяца назад, — я тотчас же самым решительным образом распорядился, чтобы мой издатель затребовал рукопись обратно из Берлина и вовсе не печатал ее, коль скоро она не может быть опубликована без санкции прусских властей. Это требование мой издатель немедленно выполнил.

Так как я ни в коем случае не хотел бы, чтобы мое поведение в этом деле было истолковано как сознательное неповиновение или ребяческое упрямство, а может быть, даже, — что дальше всего от истины, — как выражение неприязни к прусским властям, я намерен прямо и открыто разъяснить мотивы, которые мною руководили.

Всем известно печальной памяти решение Союзного сейма, в котором мне, а также четырем другим писателям вменяются в вину самые опасные, преступные цели и намерения, в особенности по отношению к морали и религии, а на всю мою литературную деятельность налагается запрет. Мнение очень видных юристов, к которым я обращался с просьбой дать свое заключение, сводится к тому, что учредительный акт Германского союза отнюдь не признает за Союзным сеймом право отправлять правосудие, но практически, — лишь в чрезвычайных случаях, — сейм может взять на себя функции судебного органа, и что по отношению ко мне так и было сделано, — как это видно из решения сейма, которое даже и с формальной точки зрения можно рассматривать как судебное опреде-

ление. Питая величайшее почтение к этому высокому собранию, я далек от всяких сомнений в его правдолюбию; напротив, я, как и все, убежден в том, что его ввел в заблуждение своим доносом один писатель, который сначала весьма остроумно выдумал опасное для государства тайное общество, именуемое *Молодой Германией*, а затем произвел меня в главари этого союза. Но я никак не могу понять, почему высокое собрание поспешило вынести мне приговор, не удостоверившись сначала, действительно ли я сам написал те книги, которые были ему представлены как *сopra delicti*,<sup>1</sup> и не были ли они настолько искажены при печатании, что их первоначальный замысел теперь уже нельзя распознать. Будь все это сделано, речь могла бы идти разве что об опасных книгах, которые следует запретить, но уж никак не об опасном писателе, коего надо подвергнуть литературной опале. Мне было бы, право же, совсем не трудно именно так и защититься от возводимых на меня обвинений в опасных намерениях. Две книги, в которых усматривают упомянутые опасные намерения, это вторая часть *«Салона»* и *«Романтическая школа»*. Но ведь обе эти книги, хотя их объем и превышал двадцать листов, были переданы моим издателем — без моего ведома! — в руки цензуры, и цензор вычеркнул в них как раз те места, которые могли бы дать представление об основных идеях этих книг, о целях и намерениях, коими я руководствовался при их написании. В одной из этих книг, во второй части *«Салона»*, где я хотел показать этапы развития немецкой философии и в то же время разъяснить ее политическое значение, было вычеркнуто решительно все, что относится к политике; таким образом, все относящееся к религии само собой выступило на передний план, и то, что первоначально показалось бы читателям произведением беспристрастного историка, делающего отдельные экскурсии в политику, приобрело теперь характер антидеистского памфлета. Так же обстояло дело и с другой книгой — с *«Романтической школой»*, большая часть которой вышла в свет четыре года назад, сначала в виде статей во французских журналах, и которая, хотя она носила на себе сильный отпечаток того времени, была написана все же в протестантском духе. В этих статьях, характеризовав-

---

<sup>1</sup> Вещественные доказательства (*лат.*).

них католически-романтический период в немецкой литературе, я отчасти хотел предостеречь французов, заставив их поглядеть в это зеркало; я полагал, что этим смогу воспрепятствовать опасному для Франции влиянию нашей ультрамонтанской школы. Однако цензура самым тщательным образом вычеркнула из моей книги все относящееся к этой школе, к ее представителям и к ее местопребыванию и тем самым перечеркнула самую идею книги.

Ободренный сознанием того, что моя литературная деятельность в целом не преследует никаких дурных целей, я не стал оспаривать право Союзного сейма на судопроизводство. Наоборот, я признал его компетентность и, обратившись к нему с верноподданнейшим прошением, отстаивал только лишь свое неотъемлемое право на защиту. Высокое собрание, которое — быть может, за недосугом — слишком поспешно поверило упомянутому доносчику и вынесло свой приговор заочно, сделает теперь что-либо из двух: по-прежнему действуя в рамках законности, выслушает то, что я имею сказать в свою защиту, или же великодушно признает свою ошибку и отменит направленный против меня декрет. Зная справедливость и великодушные высокие собрания, я спокойно ожидаю, как решится моя судьба. Я и по сей день все еще жду ответа на мое прошение, которое выдержано в столь смиренном тоне, что нет решительно никаких оснований оставить его нерассмотренным.

Как уже было сказано, я все еще ожидаю ответа от Союзного сейма; однако тем временем почти все государства Германского союза обнародовали его декрет; повсеместному запрету подвергнуты не только упоминавшиеся книги, содержание которых ставится мне в вину, но и все мои произведения вообще, даже безобидные стихотворения. Более того — правительства некоторых германских государств, выполняющие декрет Союзного сейма слово в слово, не потрудились еще раз рассмотреть дело и издают у себя особые распоряжения, налагая строжайший запрет на мои будущие сочинения. Таким образом, меня лишают одним росчерком пера большей части доходов, которые мне приносит издание моих сочинений и моя литературная деятельность, лишают моих прав и ставят меня в весьма неприятное и тягостное положение. Обстоятельства не позволяют мне дать более подробные разъяс-



нения на этот счет. Да этого и не требуется, — в этом меня убеждают послания, полученные мною за это время с родины. Уважение немцев к своим поэтам, которые всегда были несчастными людьми, высказано там в самых трогательных выражениях. В самом деле, разве не достаточно прискорбно уже то, что мне, одному из поэтов немецкой земли, приходится жить в изгнании? Как же должно быть больно и стыдно моим соотечественникам при мысли о том, что в моем отечестве у меня вдобавок отнимают еще и мое состояние, скромное состояние поэта, которое могло бы избавить меня на чужбине по крайней мере от явной нищеты.

Прусское правительство, — а мне говорили, что именно оно предложило в свое время в Союзном сейме принять упомянутое решение и затем, ссылаясь на него, запретило не только мои прежние, но и мои будущие сочинения, вступило с тех пор, — я отмечаю это с благодарностью, — на стезю милости и снисхождения, и новое полицейское распоряжение разрешает теперь сбыт моих книг и их свободное обращение, с тем, однако, условием, что я должен предварительно направлять рукописи в Главный цензурный комитет и испрашивать у него разрешение на печатание. Тем самым источники писательских доходов вновь раскрываются передо мной в Пруссии, а благодаря высокому авторитету этого государства — также и по всей Германии. Однако следующие три причины, к сожалению, не позволяют мне в настоящее время воспользоваться этой милостью:

1. Хотя это новое распоряжение милостиво ограничивает запрет, направленный лично против меня, оно все же ставит меня в особое положение, с которым я могу согласиться лишь пассивно, ибо я считаю себя не вправе признать его активно, на деле, — ведь это означало бы, что я активно признаю также и решение Союзного сейма, во исполнение которого издано данное распоряжение.

2. Если бы я согласился сейчас на то, чтобы мои книги выходили в свет с разрешения прусской королевской цензуры, то мое молчание по поводу положения дел в Пруссии, а тем более явные похвалы по адресу Пруссии, — в случае если бы мне вздумалось написать о ней что-либо хвалебное, — могло бы быть истолковано публикой самым неверным и превратным образом: все подумали бы, что

я поступился своими политическими убеждениями только для того, чтобы задобрить берлинскую цензуру, чтобы выторговать себе право на печатание моих книг, чтобы мне разрешили получать мои гонорары. Обо мне сказали бы, что я косвенным образом продался прусским интересам, продался за свои же деньги, что прусское правительство доказало этой сделкой свое поистине удивительное искусство экономить, мое же поведение было бы не только смешным, но и непорядочным.

3. Действуя таким образом, я создал бы прецедент, который вряд ли послужил бы на общее благо немецких писателей. Дело в том, что до сих пор никому из них не приходило в голову отсылать в Берлин рукописи, которые предназначались для публикации вне пределов Пруссии, и представлять их на предварительное рассмотрение тамошней цензуре, с тем чтобы обеспечить распространение книг как в Пруссии, так и в большинстве государств Германского союза. Я подал бы первый пример к этому и тем самым способствовал бы установлению того рода духовной централизации, отсутствие которой до сих пор столь благотворно отражалось на процветании нашей литературы.

*Генрих Гейне.*

### 179. АВГУСТУ ЛЕВАЛЬДУ

Кудрѣ, 3 мая 1836 г.

Со вчерашнего полудня я на даче и наслаждаюсь очаровательным месяцем маем... Сегодня утром выпал нежный снег, и пальцы мои дрожат от холода. Моя М[атильда] сидит рядом со мною перед большим камином и трудится над моими новыми сорочками; огонь не спешит разгореться, он настроен далеко не пламенно и возвещает о своем присутствии только слабым дымом.

Я очень приятно провел последнее время в Париже, а М[атильда] оживляет мою жизнь постоянным непостоянством настроения, и уже редко думаю я о том, чтобы отравиться или погибнуть от угара вместе с нею; мы, вероятно, лишим себя жизни другим способом, например посредством чтения, при котором умираешь от скуки.

Г-н N паговорил ей столько лестного о моих сочинениях, что она не могла успокоиться, покуда я не пошел к Рандюэлю и не принес ей французское издание моих «Путевых картин». Но едва она успела прочесть одну страницу, как побледнела смертельно, задрожала всем телом и попросила меня ради бога запереть эту книгу. Она натолкнулась в ней как раз на любовную сцену, а в ревности своей она не допускает, чтобы даже до ее царствования я поклонялся другой. Я должен был обещать ей, что впредь не стану обращаться с любовными речами даже к вымышленным, идеальным образам моих книг.

Сердечное вам спасибо за ваши заботы о моих материальных интересах. Вследствие несчастных политических событий финансы мои пришли в настолько печальное состояние, что я буду благодарен за любую помощь с этой стороны.

(В это мгновение входит старая крестьянка, которая собирается меня побрить. Я дрожу перед ее лезвием. Прошу вас, друг мой, помолитесь за меня!)

Вот я побрит. Но как! И с какими мучениями! Чего только не приходится переносить поэту в этом грубом мире, особенно когда он не умеет бриться сам! Но теперь я наконец выучусь этому! К тому же, ботинки мои воняют ужасно: сегодня утром вместо ваксы их намазали ворванью. Что за сельские удовольствия! И что за контраст с Парижем, где еще третьего дня вечером я в десятый раз слушал шедевр Джакомо. Левассер все еще ревет, как дикий осел. Что за шедевр! Я не могу достаточно нахвалиться. Что за шедевр!

Настоятельно прошу вас заняться тем крупным издательским предприятием, о котором мы говорили. Мои отношения с германскими правительствами, вероятно, прояснятся, и в конце концов последние сообразят, что поступают со мной положительно несправедливо, что они без суда и следствия посягают на мою бедную собственность, что они непосредственно отвечают за то, что люди известного сорта бессовестно грабят меня.

Я бросил в огонь пространное сочинение и вместо него написал статью в свою защиту, которую, вероятно, напечатает «Всеобщая газета». Я должен был оградить мое достоинство и честь. Я совершенно отрезан от всякого общения с Германией; если в немецких газетах напеча-

тано что-нибудь, имеющее отношение к моим истинным интересам, то прошу вас известить меня об этом. Я не читаю больше даже «Всеобщей газеты» и «Утренней газеты».

Надеюсь, что «Утренняя газета» уже начала печатать мою вторую «Флорентинскую ночь». В воскресенье она появилась и на французском языке в «Revue». Эта вторая «Флорентинская ночь» покажет вам, быть может, что в случае необходимости, если политика и религия будут мне воспрещены, я смог бы прожить и писанием повелл. По совести говоря, это не доставило бы мне много радости — я не нахожу в подобном занятии особого удовольствия. Но в скверные времена надо уметь делать все.

Я написал бы вам больше, если бы мои башмаки не пахли так сильно ворванью. Предисловия Минье я еще не получил. Даже самые солидные французы — само легкомыслие. Ваш отъезд из Парижа был для меня печальной утратой...

## 180. ХРИСТИНЕ БЕЛЬДЖОЙОЗО <sup>1</sup>

Экс, 30 октября 1836 г.

Госпожа княгиня!

Две недели тому назад я хотел написать вам и попросить об услуге. Я собирался поехать в Неаполь и думал попросить у вас несколько рекомендательных писем в этот город. Но накануне моего отъезда я узнал, что холера разразилась и в Неаполе и производит там опустошения. Только глупцы идут навстречу ненужным опасностям, и поэтому я весьма благоразумно остался в Провансе. Я не хочу *vedere Napoli et poi morir*.<sup>2</sup>

И все-таки я жалею, что потерял случай попросить вас об услуге. Пусть это останется до другого раза. Я убежден, что чем больше оказываешь кому-нибудь услуг, тем больше проявляешь к нему участия. Не забывайте меня!

Вот уже две недели я нахожусь в Эксе и живу в полном уединении. Знаете ли вы, сударыня, что в этой стране трубадуров совсем не так жарко, как воображают у нас

<sup>1</sup> Перевод с французского оригинала.

<sup>2</sup> Увидеть Неаполь, а потом умереть (*итал.*). (См. комментарии.)

на севере? На юге Франции уже очень холодно. Все крыши в городе Эксе покрыты сегодня снегом, и сухой противный востер, называемый мистралем, несется по улицам, укутавшись в широкий плащ из пыли. Теперь я понимаю, почему так иронически улыбался тот африканский бедуин, которому я говорил в Марселе, что я покинул холодный воздух Парижа, чтобы поправить здоровье под прекрасным небом Прованса. Африканец улыбался почти так же, как мы при мысли о наивности бедных лапландцев, которые, получив чахотку, покидают Лапландию и приезжают наслаждаться мягким климатом Санкт-Петербурга.

Сегодня 30 октября, и снег покрыл все крыши города и даже статую доброго короля Рене, которая видна из моего окна. Она стоит в конце главной улицы и держит в руках венки из виноградных листьев, как у нас на вывесках виноторговцев. Какой великий монарх этот король Рене! В библиотеке я видел его молитвенник, заставки которого он раскрасил сам. Вы видите, что, путешествуя, я занимаюсь самообразованием. Я посетил также термы, где мылись римляне. Я видел чудесную «Мадонну» Шастеля, великого скульптора, умершего в больнице. Неподалеку от церкви, где находится этот шедевр, расположена улица Бельгард, и у ворот этой улицы, налево, находятся скромные ясли, в которых увидел свет один из благороднейших сынов революции. Я видел также собор и те достопримечательности, которые в нем показывают, например четыре римские колонны из храма Аполлона, поддерживающие теперь кровлю христианской часовни. Вы видите, что даже камни подчиняются необходимости служить партии победителей, хотя их не извиняют наши человеческие нужды, их не мучат ни голод, ни жажда, ни тщеславие... Как вы думаете, сударыня, заключу ли я мир, постыдный мир, с зарейнскими властями, чтобы избавиться от тягот изгнания и несносной зависимости, которая хуже настоящей бедности?.. Увы! С некоторых пор искушение становится сильным. Не правда ли, во мне больше правоты, чем в других, называющих себя Брутами и Регулами? Нет, я не Регул, я совсем не хочу, чтобы меня баюкали в бочке, утыканной гвоздями. Я также и не Брут: я ни за что не всажу кинжала в бедный мой живот, чтобы не идти на прусскую службу. Нет, поставленный перед такой альтернативой, я не убью себя, а просто поглупею. Но что

значат все эти легкомысленные слова, и кто может заставить вас поверить, что человек, который их пишет, захочет подвергнуться самому ужасному несчастью — несчастью стать недостойным вашей дружбы, княгиня! Нет, прекрасная и сострадательная княгиня, сейчас я только болен, болен душою еще сильнее, чем телом: желтуха сейчас у меня в сердце, и все мои чувства и все мои мысли окрашены тем желтым и черным цветом, который вы видели на моем лице накануне моего отъезда, когда я прощался с вами в Жоншере. Вы получили бы точное представление о состоянии моего морального здоровья, если бы знали, какая реакция происходит во мне с недавних пор в отношении религиозных учений, противником которых я считаюсь. Убеждения мои противоречат моим чувствам. На голове моей — гирлянда из роз, а в сердце моем — страдание. Я жажду морального единства, я хочу, чтобы мои мысли и чувства гармонировали друг с другом. Надо, чтобы я оборвал все розовые лепестки моей гирлянды так, чтобы остался терновый венец, или чтобы я уничтожил все страдания моего сердца и заменил бы их новыми радостями. Но увы! Я тщетно борюсь с этими страданиями, — они закованы в броню, и самое отточенное оружие разума тупится о них.

— А что же вы делаете в Эксе?

— Но, боже мой, сударыня, ведь надо же мне где-нибудь быть. Я нахожусь здесь только телом; мысли мои далеко, чаще всего они бродят вокруг одного замка, стоящего на горе между Рюэлем и Буживалем.

Я целую вашу прекрасную руку.

Вы самое совершенное существо, которое я встречал на земле. Да, до того, как я вас встретил, я был уверен, что существа, подобные вам, одаренные всеми телесными и духовными совершенствами, существуют только в сказках или в мечтах поэта. Теперь я знаю, что идеал не пустая химера, что реальность соответствует самым высоким нашим представлениям, и, думая о вас, княгиня, я иногда перестаю сомневаться в другом божестве, которое я тоже обычно относил к царству моей мечты.

Прощайте, я не пишу вам моего адреса. Я избавляю вас от труда писать мне. Довольно того, чтобы вы не забывали бедного вашего друга

*Генриха Гейне.*

Экс, 5 ноября 1836 г.

...Что письмо вы получите из Экса, бывшей резиденции графов Прованса, весьма замечательной разными историческими событиями, которые происходили в ней. Я прибыл сюда неделю тому назад, после того как по пути в Италию потерпел кораблекрушение в марсельской гавани. Три недели тому назад я собирался отправиться к берегам Испании, но в судне открылась течь. Звезды говорят, что эту зиму мне суждено провести в Париже; это очень досадно; ведь я довольно долго страдал желтухой, и мое здоровье требует более мягкого климата. Даже на Сене я недавно подвергся опасности утонуть. Пароход накрепился, дамы на палубе закричали, как сумасшедшие, но я успокоил их, воскликнув: «Ne craignez rien, mesdames, nous sommes tous sous la protection de la loi!»<sup>1</sup> Как же я могу утонуть, прежде чем получу ответ Союзного сейма на мою петицию? Простая вежливость требует теперь, чтобы я остался в живых.

Дорогой друг, я был очень болен, и, совершенно против своего обыкновения, не от мнительности, а реально. Поэтому не мог выполнить данного вам обещания. Приезжайте на время карнавала в Париж, и я вам все объясню лично. Через две-три недели я опять буду там. О Германии ничего не вижу и не слышу; меня могут там убить, а я так ничего и не узнаю. В течение трех месяцев я ни слова не сказал по-немецки.

## 182. ЮЛИУСУ КАМПЕ

Париж, 20 декабря 1836 г.

Если я, милейший Кампе, в этом году подвергаю ваше терпение тяжким испытаниям, то, право же, не моя в том вина. Большое предисловие, необходимое для завершения книги, вы получите только через неделю. Я возвратился из Лиона больной, и моими мыслями сразу овладели несноснейшие денежные дела; к тому же, писать в тех усло-

<sup>1</sup> Не пугайтесь, сударыни, мы все находимся под защитой закона! (*франц.*)

ниях, в которые вы меня поставили, для меня просто адская мука. Я говорю: «вы», ибо, как мне сообщают отовсюду, раздражение правительств улеглось, и в Германии снова печатаются очень смелые вещи, а вы сочли нужным подвергать цензуре даже самое безобидное из того, что я пишу... Бог мой! Я не понимаю, почему вы именно меня сделали козлом отпущения и отдаете на заклятие, чтобы умиловить богов немецких государств. Да, отовсюду, в том числе и от самых высокопоставленных лиц, я слышу, что мне пришлось пострадать больше за грехи книгоиздательства Кампе, чем за свои собственные. И в самом деле, я просто содрогаюсь при мысли о том, каких людей вы сделали моими коллегами, печатая их вместе со мной! Я не называю имен, потому что не хочу, чтобы этот сброд вообразил, что я замечаю его существование. Когда мне назвали вашего нового автора, я в ужасе закрыл лицо руками.

Вы не представляете себе, милейший Кампе, того удрученного состояния, в котором я нахожусь из-за того, что каждую свою мысль при самом ее зарождении мне приходится подвергать цензуре в собственной голове и писать под мечом цензуры, висящим надо мной на волоске. От этого можно сойти с ума! С нетерпением жду корректурных листов рукописи, которую я послал вам из Экса. Я часто не сплю по ночам, потому что все думаю о том, как искалечили мои мысли в «Романтической школе» и во второй части «Салона», и о том, что я вынужден теперь нечленораздельно бормотать. Я, который прежде всегда говорил полным голосом! В последнее время мне не повезло, и я потерял много тысяч, но из-за всех этих денег я огорчился меньше, чем из-за литературных невзгод.

Моя мать пишет, будто я выпускаю книгу с эпиграфом, обидным для Соломона Гейне. Кто сочинил такую ложь? У меня и без того достаточно плохие отношения с дядей, меня душат срочные платежи, а он покинул меня в нужде, но я не такой человек, чтобы мстить хотя бы одной строкой по такому ничтожному поводу. Слава богу, когда я писал свои «Мемуары», где мне пришлось часто его упоминать, мы еще были в великолепных отношениях, и я поистине нарисовал его сон amore.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> С любовью (итал.).



Будьте здоровы. Через неделю вы получите рукопись, и я надеюсь, что вы не отдадите ее цензору. Мой адрес: Cité Bergère № 4.

Если Винбарг в Гамбурге, передайте ему от меня самый дружеский привет. Ваши сообщения о Гельголанде меня порадовали. Ах, если бы я был там, веселый и бодрый! Вместо этого я уныло скитался по Провансу. И как раз в этом году, когда мне так нужны силы, я не мог купаться в море из-за желтухи.

Желаю вам радостно провести рождество.

Ваш угнетенный друг  
*Г. Гейне.*

# **КОММЕНТАРИИ**



## ДОКТОР ФАУСТ

Гейне написал балетное либретто «Доктор Фауст» в феврале 1847 года, исполняя просьбу Бенджамена Лемлея, директора Лондонского театра королевы. Лемлей просил его дать канву для нового балета. Уже годом раньше Гейне написал для Лемлея «Богиню Диану». На этот раз он выбрал коронный сюжет немецкого фольклора — легенду о Фаусте.

Танцевальная поэма «Доктор Фауст» примыкает к таким произведениям Гейне, как «Духи стихий», «Богиня Диана», «Боги в изгнании». И если за короткий, месячный срок, предоставленный ему заказчиком, поэт сумел написать не только очень смелое по замыслу либретто, но и два содержательных объяснения к нему, из которых второе представляет собой самостоятельный, насыщенный материалом очерк, то это лишний раз свидетельствует о давнем, непрекращавшемся интересе Гейне к этой легенде. Известно, что еще в середине 20-х годов он готовил драму о Фаусте.

Гейне очень дорожил своим «Доктором Фаустом». «Одно из моих самых величественных и высокопоэтических произведений», — так отозвался о нем поэт в письме к своему издателю Юлиусу Кампе от 20 июня 1847 года. Отказ лондонского театра от постановки этой танцевальной поэмы глубоко огорчил поэта, и он в течение ряда лет делал настойчивые попытки поставить свое произведение в других театрах — венском, берлинском. Все старания оказались напрасными: балет Гейне на сюжет о Фаусте так и не был поставлен.

Лондонская неудача, надо думать, была вызвана гораздо более глубокими причинами, чем те, которые со слов Лемлея Гейне

приводит в своем «Вступительном замечании» (см. стр. 7 настоящ. тома). Борьба Гейне против спиритуализма и аскетической морали достигла при разработке именно фаустовского сюжета такого высокого напряжения, что едва ли была возможность поставить балет в Англии, где даже «Фауст» Гете значительной частью читателей и критиков был встречен враждебно и объявлен «безнравственным произведением». Что касается Вены и Берлина. то события 1848—1849 годов также не располагали руководителей оперно-балетных театров (королевских и императорских) в пользу инсценировки столь рискованного и мятежного по духу либретто.

Не только постановка на сцене, но и обычная публикация в годы после неудачной революции паталкивалась на серьезные помехи. Кампе долго колебался, отмалчивался, откладывал печатание. Только в ноябре 1851 года «Доктор Фауст» и объяснения к нему были выпущены издательством «Гофман и Кампе» в Гамбурге отдельной книжкой. Французский перевод поэмы, выполненный Сен-Рене Тайапдье, появился в февральском номере журнала «Revue des deux mondes» за 1852 год в сокращенном и приглаженном редакцией виде.

Балетное либретто «Доктор Фауст», написанное в 1847 году, не следует сблизать с ранней драмой Гейне о Фаусте, о которой поэт неоднократно упоминает в своих письмах 1824—1826 годов и которую (как сообщает брат поэта Максимилиан Гейне) он назвал в разговоре с Гете 2 октября 1824 года. Рукопись этой незавершенной и неопубликованной драмы не сохранилась. Немного, что мы знаем о ней из записей в дневнике геттингенского друга поэта, студента Эдуарда Ведекинда, заставляет считать, что драма была задумана в совершенно ином разрезе, чем позднейшая танцевальная поэма.

Студент Геттингенского университета Гейпе сделал Фауста профессором этого университета (последний был основан примерно через двести лет после смерти Фауста, и об этом, конечно, хорошо знали местные студенты). Ученый муж, соблазненный Мефистофелем, начинает вести себя легкомысленно. Насмешки студентов вынуждают Фауста покинуть университет. Мефистофель увлекает его в странствие, в ходе которого Фауст все глубже погрязает в пороках. Ведекинд считает, что автор сам еще не знал, чем и как он закончит свою драму. Возможно, что Мефистофель, став палачом, должен был вздернуть Фауста на виселицу. Движение в драме, отмечает Ведекинд, направляется не искапиями Фауста (как у Гете), а Мефистофелем. Значительное место Гейне намерен был отвести литературно-художественным вечерам

(Teegesellschaften), которые ангелы устраивают у себя «на звездах» и в которых принимает участие и Мефистофель. Изображение этих вечеров — очевидная пародия на модные в те годы «дискуссии за чашкой чая» (см., например, стихотворение Гейне «За столиком чайным в гостинной...», т. 1 настоящ. издания, стр. 75).

Отрывочные сообщения Ведекинда не дают отчетливого представления о замысле ранней драмы Гейне. Все же из этих сообщений ясно выступает крайне вольное обращение Гейне с традиционной легендой, ярко выраженная тенденция к модернизации, преобладание сатиры, пародии, иронии. Хотя Гейне и очень решительно отгораживается от «Фауста» Гете, он исходит в своем построении именно из трагедии Гете, из ее сатирических сцен. Старинная легенда о Фаусте его пока еще непосредственно не интересует.

В танцевальной поэме, написанной через двадцать лет, — положение обратное. За эти годы Гейне пришел в поисках демократической основы немецкой культуры к большим теоретическим обобщениям, получившим выражение в таких работах, как «К истории религии и философии в Германии», «Романтическая школа» и др. Он сделал за это время открытие: мировоззрению народных масс, отраженному в легендах, устном творчестве, в обычаях народа, всегда свойственно языческое жизнепрятие, сенсуалистическое признание прав земной природы человека. Никогда сознание народа в его глубинных пластах не было окончательно подавлено христианским спиритуализмом, презрением к плоти, к земным радостям, проповедью аскетизма. На это исконное свойство народного сознания, утверждает Гейне, могут опереться все, кто в современных исторических условиях ведет борьбу с силами реакции во имя утверждения счастья людей, счастья в материалистическом значении этого понятия. Отсюда повышенный интерес Гейне к фольклору, отсюда его работы, посвященные воскрешению и истолкованию забытых или недостаточно известных народных легенд.

Во вступительном и заключительном объяснениях к поэме Гейне настойчиво подчеркивает, что опирался на старинную традицию народного сюжета, что с нею он хочет познакомить современного читателя. Существо легенды он видит в том, что ее герой Фауст «начинает мыслить», «он не хочет больше метаться во тьме и мучиться в нищете, он требует знания, светской власти, мирских наслаждений, он хочет знать, мочь и наслаждаться», «он отпадает от бога, отказывается от небесного блаженства» (стр. 29). И Гейне полагает, что легенда о «Фаусте» имеет «таинственное

очарование для наших современников именно потому, что они видят здесь представленной с наивной наглядностью борьбу, которую они сами ведут теперь, современную борьбу между религией и наукой, между авторитетом и разумом, между верой и мышлением, между покорным отречением и дерзкой жадной наслаждения...» (стр. 30).

Замечательная для того времени интерпретация старинного народного сюжета, предложенная Гейне, сохраняет свою силу и убедительность в наши дни.

Эта исходная позиция Гейне ни в чем существенном не расходится с тем толкованием, которое легенда о Фаусте получила у Гете. Поэтому упрек, брошенный Гейне в адрес Гете, упрек в модернизации, выразившейся в том, что Гете оправдал своего героя — «грешника», отказавшегося от бога (стр. 26), не звучит убедительно. Гете последовательно развивает прогрессивную основу народной легенды о Фаусте, хотя и действительно выводит сюжет за рамки исторически обусловленного, скованного сознания народных масс XVI века, которые и сочувствуют смельчаку и в то же время осуждают крайности его дерзания.

Спор с Гете вызван не только тем, что Гейне острее воспринял силу и значение исторического подхода к явлениям прошлого, чем просветитель Гете, но и тем, что в танцевальной поэме более односторонне выступили крайности фаустовского дерзания. В произведении Гейне более полно и смело показана жажда наслаждений, чем освобождение разума. Выдвинутый сен-симонистами лозунг эмансипации плоти все еще водит рукой поэта, когда он пишет «Доктора Фауста», хотя и заметны уже колебания. Кроме того, — и это имеет существенное значение, — выразительные средства танца ограничивают возможность раскрытия «борения мысли», автор немного балетного либретто едва ли может создать убедительный образ мыслителя, и Гейне отлично понимал, что по этой причине он вынужден избрать иной аспект темы, чем Гете. Отсюда и некоторое расхождение танцевальной поэмы с той концепцией легенды о Фаусте, которая приведена выше, выдвижение на первый план чувственности, а не разума.

Кстати, отметим, что театральная традиция сюжета «Фауста» знает не только народные представления и кукольные комедии, но и балет о Фаусте. Сценарий одного из таких балетов, поставленного в Вене в 1730 году, можно найти в пятом томе книги Шейбле «Монастырь» («Das Kloster»). Гейне и в этом отношении опирается на традицию.

В пьесе Гейне скрещиваются, совмещаются три аспекта, три слоя легенды о Фаусте. Они соответствуют трем историческим эпохам. Первый аспект, наиболее примитивный, так сказать феодально-архаический, доренессансный, — это роман Фауста с герцогиней, избранницей «черного козла», сатаны. Эта линия кульминирует в эффектной, насквозь пронизанной чувственностью сцене шабаша ведьм (действие третье). Второй аспект, ренессансный, — это Острова Архипелага, греческая жизнерадостность, классическое спокойствие, Елена Спартанская. В этом центральном эпизоде (действие четвертое), построенном на контрасте с предыдущим, снимается грубая чувственность, просветляется образ Фауста. Гейне придает этому эпизоду величайшее значение. Обращение к античности, гуманизм — огромный шаг человечества вперед. Третий аспект, бюргерски-нидерландский, подан в тонах добродушного юмора. Дородные фигуры на стрелковом празднестве и скромная дочь бургомистра сменяют демоническую герцогиню и Елену Прекрасную. Традиционный конец, неудача попытки Фауста спастись возвратом в лоно церкви и бюргерской прозаической жизни, избавляет величественный образ Фауста от снижения, от растворения в прозаическом, бюргерском благополучии.

Гейне не удалось вложить в тесные рамки наспех написанной танцевальной поэмы все богатейшее содержание своей концепции фаустовской легенды. Тем не менее его произведение содержит одну из самых замечательных разработок этого сюжета в художественной литературе.

Стр. 7. *Шведский соловей* — певица Йенни Линд (1820—1887) из Стокгольма. В «Лютении» (см. т. 8 настоящ. издания, стр. 313—316) Гейне подробно говорит о ее беспрецедентном успехе в Англии.

Стр. 8. ...*письмо, которое привожу... в конце этой книжки...* — См. «Объяснения», стр. 25—47 настоящ. тома.

*Сказание о Теофиле* (Феофиле), сенешале епископа города Адана в Киликии (Гейне ошибочно говорит об Адаме в Сицилии) — одна из древнейших и очень популярных легенд о человеке, продавшем свою душу дьяволу. Греческое житие Теофила (VII в.) было переведено на латинский язык; позднее возникли французская, нижненемецкая и другие версии. Французский трувер Рютбеф в XIII веке сочинил драму (миракль) на этот сюжет. Его произведение переведено на русский язык Александром Блоком («Чудо о Теофиле», 1907). В отличие от науки времен Гейне современная наука не признает легенду о Теофиле прямым источником немецкого сказания о Фаусте.



*Собрание Монмерке* — сборник «Средневековый французский театр», изданный Л.-Г.-Н. Монмерке и Ф. Мишелем в Париже (1839).

Стр. 9. *Марло* Кристофер (1564—1593) — английский драматург, талантливейший из непосредственных предшественников Шекспира, автор «Тамерлана великого», «Мальтийского еврея», «Эдуарда II» и «Трагической истории жизни и смерти доктора Фауста» (первая постановка — в 1592 г., первое издание — в 1604 г.). Современные исследователи в отличие от Гейне считают единственным источником драмы Марло английский перевод старейшей немецкой «народной книги» о докторе Фаусте, изданной анонимно Иоганном Шписом во Франкфурте-на-Майне в 1587 году. Русский перевод первой «народной книги» о Фаусте (Р. В. Френкель) см. в книге «Легенда о докторе Фаусте» (подготовл. В. М. Жирмунским, М. — Л., изд. АН СССР, 1958).

...«Фауст» кукольного театра... перебравшись из Англии на континент... стал появляться и в балаганах нашей родины... — Пьеса Марло действительно завезена в Германию бродячими труппами английских актеров, но Гейне ошибается, полагая, что это был «Фауст» кукольного театра.

*Гансвурст* (Hanswurst, Ганс-Колбаса) — любимый комический персонаж немецкого народного театра XVII и XVIII веков.

...на представлении... в одном убогом театрике Страсбурга присутствовал Вольфганг Гете... — Существенная неточность: кукольные комедии о Фаусте были знакомы Гете с детства, а не только со времени его учения в Страсбурге. Говоря о том, что из кукольной комедии Гете заимствовал форму и содержание «Фауста», Гейне сильно упрощает.

«Фрагмент». — Имеется в виду «Фауст. Фрагмент», отрывок из первой части «Фауста» Гете. Это первая публикация из «Фауста» (1790).

Стр. 10. ...заимствованное из «Сакунталы» введение... — Первый пролог к «Фаусту» («Пролог в театре») написан Гете под впечатлением пролога к драме великого индийского драматурга Калидасы «Сакунтала» (приблизительно V в.). Здесь, в прологе индийской драмы, «директор театра» перед представлением беседует с актрисой о пьесе, о публике, о знатоках.

...пролог, написанный в подражание Иову... — Во втором прологе к «Фаусту» («Пролог на небесах») Гете использовал ситуацию библейской «Книги Иова». В Библии, как и у Гете, бог разрешает сатане (Мефистофелю) искушать человека.

...со старинными книгами Шписа и Видмана. — Имеются в виду первая «народная книга» о Фаусте (см. примечание к стр. 9) и ее более поздняя обработка, произведенная Георгом-Рудольфом Видманом («История Фауста», Гамбург, 1599).

Стр. 11. *Ты из могилы вызвал меня...* — Этот стихотворный эпиграф к «Доктору Фаусту» Гейне включил в 1852 году (под пазванием «Елена», в составе цикла «Olla») в третье издание сборника «Новые стихотворения» (см. т. 2 настоящ. издания, стр. 103 и соответствующее примечание).

*Некромантия* — вызывание душ умерших для предсказания будущего. Слово «некромант» Гейне часто употребляет в более широком значении: маг, чародей, чернокнижник.

«Ключи ада» — См. «Объяснения» Гейне (стр. 27 настоящ. тома).

Стр. 15. *Ковчег завета* — позолоченный ящик в Иерусалимском храме; в этом ящике хранились священные скрижали.

Стр. 22. *Ламии* — в древнегреческой мифологии безобразные существа, ворующие детей. В дальнейшем были переосмыслены как прекрасные женщины-призраки, пьющие человеческую кровь.

Стр. 23. *Гросфатер* — старинный немецкий танец, обычно исполнявшийся во время свадебных торжеств. Танец начинался медленным маршем, во время которого танцующие затягивали песню: «И когда дедушка женился на бабушке...» Отсюда название танца (Großvater — дедушка).

Стр. 27—28. *Автор... именует себя Толетом Шотусом.* — Толет Шотус (точнее Фредерик Скотус Толет) — не подлинное имя автора, а псевдоним. «Толет» — указывает на то, что автор имеет отношение к Толедскому университету, где в XVI веке преподавалась так называемая естественная или белая магия, адепты которой пытались творить чудеса, опираясь на веру в Христа, а не на демонов или силы преисподней. Черная магия, разумеется, решительно преследовалась.

Стр. 28. *...несчастные поляки...* — Гейне имеет в виду разделы Польши, временную утерю польским народом национальной независимости, а также неудачное восстание 1830—1831 годов.

*...но сей день еще известен у них под именем Твардовского.* — Польская легенда о шляхтиче пане Твардовском, продавшем душу дьяволу, представляет лишь частичную аналогию к немецкой легенде о Фаусте. Юмористический вариант легенды использован Мицкевичем в балладе «Пани Твардовская».

*...он изучал магию в Краковском университете, где она... преподавалась публично...* — Здесь у Гейне, по-видимому, недоразу-

мение: к магии в Кракове относится то же, что сказано в примечании к стр. 27—28 о преподавании магии в Толедо.

...Иоганн Вир, написавший знаменитую книгу о колдовстве... — Латинская книга Вира (1505—1588) «О чудесах демонов» вышла в 1568 году в Базеле. В ней имеется несколько недоброжелательных сообщений о проделках чудодея Фауста. Вир был человеком гуманным, противником типичных для конца XVI века массовых процессов о ведовстве.

Филипп Меланхтон (1497—1560) — крупный деятель религиозной реформации, ученик и друг Лютера, автор педагогических сочинений, профессор Виттенбергского университета.

Тритхейм (Тритемий) Иоганн (1462—1516) — настоятель Шпонгеймского монастыря, видный гуманист. В письме к астрологу Иоганну Вирдунгу от 20 августа 1507 года он резко осуждает Фауста как невежду, шарлатана и обманщика.

...Фауст был родом из Кундлингена... — Точнее — из Книтлингена.

Стр. 28—29. Кальмониус — «придворный еврей» Фридриха II, врач и финансист, «гений» нечистоплотных финансовых операций. Наш нынешний Кальмониус — ироническое прозвище, данное Гейне темному биржевому дельцу Фридриху, зятю Фердинанда Лассала, вовлекшему поэта в невыгодные финансовые операции.

Стр. 29. Сабелликус (сабинский) — один из эпитетов Фауста. Древние сабиняне слыли сведущими в магии.

...зablуждение, будто наш чародей — это тот самый Фауст, который изобрел книгопечатание. — Речь идет о майнцском адвокате Иоганне Фусте, ссужавшем деньгами изобретателя книгопечатания Иоганна Гутенберга и сумевшем присвоить себе часть славы своего гениального компаньона. Zablуждение, о котором говорит Гейне, было широко распространено, ибо на Фауста легенда охотно переносила чудесные деяния других лиц. Так, в романе Фридриха-Максимилиана Клингера «Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад» (1791) Фауст — первопечатник. В более ранние годы сам Гейне разделял это ошибочное мнение (см. «Романтическую школу», т. 6 настоящ. издания, стр. 183).

Стр. 30. ...в кукольных комедиях... мы находим Фауста всегда в Майнце... — Это замечание Гейне неточно: нередко в комедиях место действия — Виттенберг.

...Виттенберг является местом рождения и лабораторией протестантизма. — В городе Виттенберге начал свою реформаторскую деятельность Мартин Лютер.

*Карл Зимрок* (1802—1876) — поэт, переводчик, фольклорист. Перевел на современный немецкий язык «Песнь о Нибелунгах» и многочисленные другие памятники старогерманской поэзии. Был товарищем Гейне по Боннскому университету (см. в настоящ. томъ письма Гейне к нему и соответствующие примечания).

...слушал... лекции *Шлегеля*... — Август-Вильгельм Шлегель (1767—1845), один из ведущих немецких романтических писателей, был с 1818 г. профессором Боннского университета. Молодой Гейне ценил Шлегеля и воспел его в нескольких сонетах (см. т. 1 настоящ. издания, стр. 48 и 187). В школе Шлегеля Гейне приобрел щепетильно требовательное отношение к метрическому строю стихотворения, к мастерству стиха. В дальнейшем пути Гейне и Шлегеля резко разошлись. Поклонник французской революции, автор «Книги Ле Гран» Гейне и легитимист, сторонник «законных монархов» Шлегель оказались в разных лагерях. Гейне решительно осмеял Шлегеля в «Романтической школе» (1833) и других произведениях.

Стр. 31. ...исполняли на немецких подмостках лучшие произведения *Шекспира*. — Английские комедианты конца XVI и начала XVII века действительно привозили в Германию драмы Шекспира и Марло, но играли их на английском языке перед публикой, не понимавшей их. Отсюда — упор на внешние, зрелищные мотивы, пренебрежение текстом, искажение его. С настоящим Шекспиром или Марло немецкая публика XVII века не была знакома.

Стр. 33. ...*Байрон прославил ее в своем «Фаусте», которого он называл «Манфредом»*. — В драме Байрона «Манфред» (1817) современники находили сходство с «Фаустом» Гете, сходство общего замысла, близость исходной ситуации. Байрон отрицал зависимость своего «Манфреда» от «Фауста» Гете. *Астарта* в «Манфреде» Байрона не имеет ничего общего с финикийским божеством, кроме имени.

Стр. 34. *Окен* Лоренц (1779—1851) — немецкий естествоиспытатель и натурфилософ, издатель журнала «Изида». Гейне встречался с Океном в Мюнхене и ценил его за передовые общественные взгляды (см. его высказывание об Окене в сочинении «К истории религии и философии в Германии», т. 6 настоящ. издания, стр. 135).

*«She нужна мне головорезка»*. — Юдифь, героиня библейской легенды, спасла свой родной город и Иудею. Она хитростью пробралась в стан ассириян, осаждавших Ветилую, и, пленив своей

красотой их полководца Олоферна, ночью, когда тот спал, отрубила ему голову.

*«...она слишком расточительна... она пьет жемчуг».* — О расточительности Клеопатры повествуют древние историки. Рассказывается, в частности, что на одном из пиров с Антонием она выпила укус, в котором была растворена жемчужина.

*...с рыцарем Парисом...* — В средневековых и ренессансных обработках античных легенд Парис, сын троянского царя Приама, прекраснейший из всех мужчин, оказался «рыцарем».

Стр. 35. *...папа, как... Константин, представлял в одном лице как должность верховного жреца язычества, так и сан главы христианской церкви.* — В правление римского императора Константина (ок. 274 — ок. 337), который, как и все императоры, носил титул верховного жреца (*pontifex maximus*), христианская религия впервые была признана римским государством. Таким образом, Константин оказался также и главой христианской церкви, несмотря на то, что оставался язычником и только на смертном одре принял христианство. Титул *pontifex maximus* (в измененном значении: верховный священнослужитель) перешел к римским папам.

Стр. 36. *...как это некогда сделал Ездра с Ветхим заветом.* — Согласно преданию, Ездра (V в. до н. э.) собрал и объединил отдельные книги «Ветхого завета».

Стр. 38. *Лишь спустя четыре десятилетия, когда он стал писать вторую часть «Фауста», он вывел здесь и Елену...* — Эпизод с Елепой Гете с большим увлечением разрабатывал в то самое время, когда завершал работу над первой частью «Фауста» (1800—1801). Сам Гете указывал на то, что с самого начала имел намерение ввести образ Елены в свою драму. Гейне не мог располагать этими сведениями.

*Порт Евксинский* («Гостеприимное море») — античное название Черного моря, применявшееся с намерением задобрить бурную стихию.

Стр. 40. *Блоксберг* — народное название горы Брокен (Гарц), где, согласно старинным поверьям, ведьмы, при участии сатаны, справляют свой праздник.

Стр. 41. *...все эти добродетельные воспитательницы...* — В конце XVIII и начале XIX веков в странах Европы был большой спрос на педагогов из Женевы.

*Боден Жан* (1530—1596) — французский третьесословный публицист, автор сочинения «Шесть книг о государстве» (1580). Боден верил в чертей и демонов, о чем свидетельствует его «Демономания» (1581).

Стр. 42. *Тиль Эйленшпигель* — легендарный бродяга-крестьянин, хитрец, шутник, насмешник; герой многочисленных рассказов, собранных около 1480 года в «народную книгу». Рассказы о Тиле Эйленшпигеле, выразителе народного протеста, были особенно распространены на северо-западе Германии и в Нидерландах. В известном романе бельгийского писателя Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» (1867) Тиль — народный герой, участник нидерландской революции.

*Вечный жид* — персонаж старинной легенды, жестокосердый перусалимский сапожник Агасфер, не позволивший Христу, шедшему под ношей креста на Голгофу, остановиться у его дверей, чтобы передохнуть, и осужденный за это на скитание до второго пришествия Христа. Легенда привлекала многих писателей: Гете, Шелли, Жуковского, Беранже, Сю, Кинс, Ленау и др. Гейне имеет здесь в виду немецкую народную книгу об Агасфере (1602).

Стр. 43. *Виллисы* — в славянских легендах невесты, умершие до свадьбы. Виллисы встают из могил, чтобы подстеречь молодых людей и плясать с ними до тех пор, пока те не упадут замертво (см. «Духи стихий» Гейне, т. 6 настоящ. издания, стр. 289—290 и соответствующее примечание).

Стр. 45. *...танец Содомы, традиции которого... сохранены были дочерьми Лота...* — Библия рассказывает, что город Содом был истреблен огненным дождем за пороки его жителей. Только праведник Лот, предупрежденный ангелами, спасся из города со своими дочерьми.

## БОГИ В ИЗГНАНИИ

Это произведение было напечатано почти одновременно на французском и немецком языках. Французский перевод появился в журнале «Revue des deux mondes» в номере от 1 апреля 1853 года, немецкий текст — 30 апреля того же года в журнале «Blätter für literarische Unterhaltung». В том же году берлинское издательство Гемпеля выпустило отдельной брошюрой пиратский обратный перевод с французского на немецкий, что вызвало возмущение Гейне. Постоянный издатель Гейне Юлиус Кампе опубликовал «Боги в изгнании» годом позже в первом томе «Разных сочинений Генриха Гейне» («Vermischte Schriften von Heinrich Heine»). Здесь впервые появилось окончательное заглавие («Die Götter im Exil»), точно соответствовавшее французскому («Les dieux en exil»). Ранее, в немецком журнальном тексте, произведению

называлось несколько иначе — «Боги на чужбине» («Die Götter im Elend»).<sup>1</sup>

«Боги в изгнании» развивают одну из любимых концепций Гейне, впервые представленную у него в произведениях 30-х годов «Романтическая школа» и «Духи стихий», а позднее — в «Докторе Фаусте» и «Богине Диане» (см. в настоящ. томе комментарии к этим произведениям). Гейне и здесь продолжает полемику с реакционными толкователями народного сознания, искавшими в фольклоре отражения христианской набожности и патриархального смирения. На новом материале Гейне демонстрирует, что народ крепко держался языческого пантеизма и сенсуализма, с трудом расставаясь с ними даже и после установления господства христианской церкви. Ближе всего примыкая к «Духам стихий», новое произведение Гейне развивает прежнюю тему в несколько новом разрезе, привлекая легенды о судьбах греко-римских богов, изгнанных из своего отечества, главным образом поздние отражения античных мифов в немецком фольклоре. Речь идет о своеобразной переключке античного и немецкого фольклора, об отражении в немецком народном сознании общего кризиса языческих жизнеутверждающих представлений под напором христианской аскезы.

В отличие от более ранних произведений фольклорной линии на «Богам в изгнании» лежит отпечаток грусти, большой тревоги, страха за дальнейшую судьбу народа и народного сознания. Произведение написано в обстановке повсеместного торжества реакции, спада демократических чаяний после неудачных революций 1848—1849 годов, кризиса революционно-демократических движений в западноевропейских странах. Особенно сильно эта печаль выражена в последней новелле, в рассказе о Юпитере, укрывшемся от своих преследователей на острове близ Северного полюса, о повелителе богов, превратившемся в жалкого старика и вынужденном торговать кроличьими шкурками. Однако — и это особенно важно — Гейне не скрывает того, что все его симпатии по-прежнему принадлежат язычеству. Он все еще «эллин», враг «назарейн», враг аскезы. Это тем более примечательно, что в «Признаниях», написанных почти одновременно с «Богам в изгнании», имеется заявление, звучащее иначе. «Боги в изгнании» проливают

---

<sup>1</sup> «Чужбина» — старинное значение немецкого слова «Elend», обычно означающего «беда», «несчастье». Во времена Гейне это старинное значение слова еще не было забыто, и возможно, что, называя так свое произведение, писатель использовал оба значения («Боги на чужбине» и одновременно «Боги в беде»).

свет на пессимистическую декларацию «Признапий». Они напоминают о том, что обращение Гейне к «назарейству» — это отступление временное, не окончательное, не решающее.

В «Богам в изгнании» автор занимает мужественную позицию. Не скрывая наличия серьезного кризиса народного сознания, Гейне не считает все потерянным. Об этом говорят новеллы об изгнанном Вакхе и о Меркурии. Даже в изгнании языческие боги — это сила. Не в одних лишь монастырях, но и в почтенном купеческом сословии гонимое язычество нашло прибежище, пустило корни. Плутону и Нептуну особенно повезло, хотя и они подверглись трансформации: они остались на своих местах и по существу их положение не изменилось. Это один из лейтмотивов «Богов в изгнании». Нет, не все потеряно, язычество еще живо!

Известны источники некоторых из новелл в «Богам в изгнании». Отдельные детали рассказа о Вакхе восходят к легенде «Монахи на переправе», которую братья Гримм приводят в своих «Немецких сказаниях» («Deutsche Sagen», 1816). Гейне очень вольно обращается со своим источником, где цель переправы по названа, сцена вакханалии отсутствует, а говорится просто о каких-то таинственных гонимых монахах. Один из них избивает перевозчика, когда тот начинает молиться. В «Немецкой мифологии» («Deutsche Mythologie») Якоба Гримма (изд. 2, 1844, стр. 792) помещено сказание, послужившее основой для рассказа о переправе по морю душ умерших. О сопровождающем их «голландском купце» (Гермесе-Меркурии) здесь не говорится. Вероятно, и для других мотивов «Богов в изгнании» Гейне частично воспользовался материалами, собранными немецкими филологами, вольно дополняя их собственным поэтическим воображением.

Стр. 51. *Еще в самых ранних моих статьях...* — Гейне здесь не совсем точен, — речь идет о работах 30-х годов (см. введение к комментариям).

*...я откровенно высказался как во второй, так и в третьей частях «Салона»...* — Во второй части «Салона» напечатана работа Гейне «К истории религии и философии в Германии». Высказывания, которые имеет в виду Гейне, см. в т. 6 настоящ. издания, на стр. 28 и след. В третьей части «Салона» напечатаны оба раздела «Духов стихий».

Стр. 52. *Да, то, что я сказал, не было новостью...* — По-видимому, Гейне имеет в виду прежде всего работы археолога и крупного знатока античности, геттингенского профессора Карла-Отффрида Мюллера (1797—1840), автора книги «Пролегомены науч-



ной мифологии» (1835), а также ранние высказывания Якоба Гримма, которые в более законченном виде изложены в его введении к «Немецкой мифологии» (1835).

...когда титаны вырвались из плена Орка... — Миф о титанах, брошенных в Орк (царство мертвых), переплетается у Гейне (как и в некоторых античных версиях) с мифом о гигантах. Последние, сыновья Земли, восстали против богов и, громоздя гору на гору, *Пелион на Оссу*, штурмовали Олимп, но в решающем сражении с богами потерпели поражение.

Стр. 53. ...как некогда он нас коров Адмета... — За то, что Аполлон своими стрелами истребил любезных Зевсу киклопов, он был наказан: в течение года он должен был служить смертному.

*Фрундсберг* (Георг фон Фрундсберг, 1473—1528) — известный военачальник ландскнехтов. Командовал немецкими войсками императора Карла V во втором итальянском походе (1526—1529), но возмущившиеся против него ландскнехты вынудили его покинуть войско незадолго до взятия и чудовищного разграбления Рима немецкими и испанскими войсками императора (1528).

Стр. 57. *Корибанты* — жрецы богини Кибелы, которые, отправляя служение ей, приходили в иступленное состояние.

Стр. 58. *Келарь* — монах, ведающий хозяйством монастыря.

Стр. 62. *Психопомп* — вожатый душ (греч.).

Стр. 63. ...он обкрадывает людей и богов... — Согласно мифу, Меркурий — покровитель воров и торговцев. Едва появившись на свет, он похитил трезубец Нептуна, меч Марса, лук и стрелы Аполлона, клещи Вулкана и даже скипетр Юпитера.

*Кальмопиус*. — См. примечание к стр. 28—29 («Доктор Фауст»).

Стр. 64. В статье, посвященной легенде о *Фаусте*... — См. «Доктор Фауст», стр. 25—47 настоящ. тома.

Стр. 72. ...заканчиваем здесь первую часть нашей истории богов в изгнании. — Вторая часть не была написана.

## БОГИНЯ ДИАНА

Пантомиму «Богиня Диана» Гейне написал в начале 1846 года (см. письмо к Лассалию от 27 февраля того же года), то есть за год до того, как им была создана танцевальная поэма «Доктор Фауст». Оба балетных либретто писались по просьбе Бенджамена Лемлея, директора Лондонского театра королевы. «Диану» постигла та же судьба, что и «Фауста»: она не была поставлена на

сцене. Напечатана она была впервые только в 1854 году — в «Разных сочинениях Геяриха Гейне», одновременно с «Богам в изгнании».

«Богиня Диана» рассчитана на сценическую постановку и полна драматического напряжения. «Боги в изгнании» — произведение сугубо повествовательное, серия отдельных, сюжетно не связанных между собой рассказов. Однако по характеру темы оба произведения действительно очень близки. В «Диане» также идет речь о судьбе античных языческих богов после того, как христианская религия пришла к господству, о богах изгнанных, нашедших прибежище в Германии; здесь также переплетаются античные и немецкие легенды. Поэтому Гейне снабдил «Богиню Диану» подзаголовком, в котором он предлагает рассматривать эту пантомиму как «дополнение к «Богам в изгнании».

Очень примечательно это авторское указание. Ведь в пантомиме преобладает гораздо более светлый и жизнерадостный колорит, чем в очерке об изгнанных богах. Здесь в конечном счете языческое, сенсуалистическое начало одерживает верх над претензиями религии, над спиритуализмом и аскезой. Оно утверждает свою жизнеспособность, свою неистребимость, и пантомима, весьма напоминающая драму, завершается апофеозом языческой, земной любви. Объединенные усилия Аполлона, Вакха и Венеры побеждают самую смерть.

Пантомима Гейне — не просто дополнение, это поправка к «Богам в изгнании», и притом поправка существенная. Это произведение, написанное накануне революции, звучит особенно весело в обстановке послереволюционных лет, на фоне пессимистической декларации «Признаний», появившихся в том же 1854 году.

Своеобразие «Богини Дианы» также в том, что здесь впервые привычная для Гейне тема столкновения языческого жизнеутверждения с христианской аскезой (см. произведения «К истории религии и философии в Германии», «Романтическая школа», «Духи стихий», «Доктор Фауст») разработана на целостном сюжете, напоминающем построение «правильной», не разбитой на серию эпизодов драмы. Пантомима — блистательный парад языческих сил. Гейне мобилизовал для этого краткого либретто весь арсенал своих любимых мотивов, ранее использованных в других произведениях: здесь и «духи стихий» (гномы, сиффы, ундины, саламандры), и античные боги, и Венерина гора с ее роскошью, напоминающей арабские сказки, и растянувшееся на обширное пространство шествие на конях славных язычников (ср. гл. 18—20 из поэмы «Атта Троль», т. 2 настоящ. издания, стр. 221—232),

и собрание великих людей из самых разных эпох в пещере Венеры, включая «язычника» Вольфганга Гете, составляющих свиту Венеры.

Стр. 75. *...сюжет... содержится уже в третьей части моего «Салона»...* — В работе «К истории религии и философии в Германии» («Салон», ч. III) Гейне кратко знакомит читателя с легендами о Венериной горе, о рыцаре Тангейзере, о Диане и ее неистовой охоте (см. т. 6 настоящ. издания, стр. 28 и след.).

*Маэстро Бартель.* — Имеется в виду композитор Рихард Вагнер. О ловком Бартеле (Бартоломее) немецкая поговорка гласит, что он «умеет доставать молодое вино там, где другой ничего не найдет». Гейне намекает на то, что Вагнер искусно пользуется чужими сюжетами: он положил в основу своей оперы «Тангейзер» (1845) легенду, воскрешенную Гейне, уже раньше он обработал в «Моряке-скитальце» (1843) сказание о летучем голландце, которое Гейне изложил в «Мемуарах господина фон Шнабелевонского». Как известно, Вагнер сам разрабатывал литературный текст своих опер.

Стр. 78. *Шателенка* — владелица замка.

Стр. 81. *Видение неистовой охоты.* — Мотивы античного мифа об охотнице Диане (Артемиде) тесно переплетаются у Гейне с немецким народным сказанием о неистовом охотнике (die Sage vom wilden Jäger). В бурные ночи, говорится в этом сказании, слышится в воздухе звук рогов, ржание и топот коней, лай собак, но никого не видно. Это скачет со своей свитой неистовый охотник (см. «Немецкие сказания» братьев Гримм, №№ 172, 175, 311 и др.).

*Некоторые великие поэты древности и средневековья* оказываются у Гейне в арьергарде шествия Дианы вместе со знаменитыми красавицами: кто славил любовь или прославлен своей любовью — тот «эллин», «язычник», и Гейне отводит ему место в шествии Дианы или в свите Венеры. См. также введение к комментариям.

*Верный Эккарт* — герой сказания, почтенный старик, который сидит у горы Венеры и уговаривает путников не входить в пещеру или же шествует впереди неистовой рати духов, призывая встречных свернуть с дороги, дабы не случилось с ними несчастья («Немецкие сказания» братьев Гримм, № 314). Стихотворение Гете «Верный Эккарт» опирается на один из вариантов этого сказания.

Стр. 82. *Царица Савская* — мудрая язычница, искушавшая, согласно библейской легенде, своими вопросами царя Соломона.

*Иродиада* — библейский образ властолюбивой женщины. По

евангельскому преданию, Иродиада уговорила свою дочь Саломею потребовать от Ирода Антипы голову Иоанна Крестителя и доби- лась казни последнего.

*Овидий*. — Этот римский поэт попал в свиту Венеры, конечно, как автор «Науки любви» и многочисленных любовных стихов.

*Дигрих Бернский* (собственно — Веронский) — герой много- численных немецких эпических поэм XII—XIII веков. Появляется уже в «Песни о Нибелунгах». Его исторический прообраз — король остготов Теодорих, воцарившийся в Риме (493—526).

*Король Артур* — первоначально герой кельтских легенд, впо- следствии в цикле романов «Круглого стола» — идеальный монарх и рыцарь.

*Ожье-Датчанин* — герой французской героической поэмы из эпического цикла о Карле Великом. Мстя за сына, убитого сыном Карла, Ожье вступает в борьбу с последним. Вероятно, этот образ привлек Гейне как образ смелого человека, не склонившегося перед деспотическим государем.

*Амадис Галльский* (точнее Уэльский) — образец безупречного влюбленного рыцаря; герой одного из самых знаменитых рыцар- ских романов. Основная версия романа создана испанцем Моп- тальво в конце XV века. Роман часто упоминается в «Дон-Кихоте» Сервантеса.

*Фридрих Второй Гогенштауфен* (1212—1250) — германский император. Вероятно, он зачислен в языческую свиту Венеры потому, что вел упорную борьбу с папами и проявлял безразли- чие к религии, терпимость к иноверцам.

*Клингсор Венгерский* — волшебник в романе Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» (начало XIII века), враг религиозного рыцарского ордена хранителей Грааля. Он связан также с леген- дой о состязании миннезингеров в замке Вартбург и в этом каче- стве появляется в новелле Э.-Т.-А. Гофмана «Состязание певцов». Эпитет Венгерский объясняется тем, что Клингсор был родом из Семиградья (Трансильвании, входящей ныне в состав Румынии).

*Готфрид Страсбургский* — создатель основной немецкой вер- сии романа о «Тристане и Изольде» (ок. 1210). Вводится Гейне в круг язычников Венериной горы как один из самых замеча- тельных поэтов земной любви.

*Вольфганг Гете*. — Великий поэт всегда был дорог Гейне «языческими» сторонами своего мироощущения.

*Тангейзер* — герой народного сказания (подробный рассказ Гейне об этом сказании см. в «Духах стихий», т. 6 настоящ. изда- ния, стр. 322—332).

## ПРИЗНАНИЯ

«Признания» Гейне писал в Париже зимой 1853—1854 года. Это сочинение он рассматривал как чрезвычайно «важный жизненный документ», и судьба его издания особенно тревожила поэта. Хотя он предназначал «Признания» для второго французского издания своей книги «О Германии» («De l'Allemagne»), он намеревался опубликовать их прежде всего по-немецки. Об этом он писал в предисловии к «Признаниям», датированном мартом 1854 года, об этом же договаривался и с Юлиусом Кампе, своим постоянным издателем в Германии, отсылая ему рукопись (см. письма к Кампе от 7 и 10 марта и 18 апреля 1854 года). Но обстоятельства сложились иначе.

Гейне все время волновали лживые корреспонденции немецких газет, которые, считал он, создавали очень неблагоприятную атмосферу для его новой книги. Поэтому он решил опубликовать во Франции фрагмент из «Признаний», чтобы читатели заранее могли судить о духе его последнего сочинения. Гейне сам перевел «Признания» на французский язык, ожидая, что в Германии его книга выйдет не позже середины сентября. 15 сентября 1854 года отрывок из «Признаний» («Aveux d'un poète») появился в парижском журнале «Revue des deux mondes». Однако редакция журнала без ведома Гейне внесла, говоря его словами, «подлейшие изменения», от которых «взбеситься можно». Невероятное раздражение Гейне лишь несколько смягчил огромный успех публикации в «Revue des deux mondes» (см. письма к Кампе от 14, 16 и 21 сентября 1854 г.).

Между тем издание книги у Кампе по различным причинам задерживалось. Этим воспользовалась аугсбургская «Всеобщая газета», напечатавшая с 21 по 26 сентября 1854 года (приложения №№ 264—269) с новыми искажениями перевод уже искаженного французского текста. Кроме того, 27 сентября аугсбургская «Всеобщая газета» (приложение № 270) поместила оскорбительную для Гейне заметку, на которую со злорадством откликнулась «Кельнская газета» и «Геттингенский научный вестник» («Göttingische gelehrte Anzeigen»). С заметкой «Всеобщей газеты» Гейне ознакомился лишь по пересказам других немецких газет и с гневом писал, что это — «подлейшая брань», которая «превосходит грязью и ядовитостью всякую меру бесстыдства» (см. письмо к Герману Пюклер-Мускау от 17 октября 1854 года). Гейне воздержался от публичных нападок на «Всеобщую газету», не «обнажил свой самый острый клинок», так как вся история была затеяна

без ведома издателя газеты, барона Котта и ее редактора Кольба. Полный авторский текст «Признаний» на немецком языке появился впервые лишь в первом томе «Разных сочинений Генриха Гейне», вышедшем у Кампе в октябре 1854 года.

Поскольку «Признания» Гейне замышлял как заключительную часть книги «О Германии», как своего рода эпилог к этому сочинению, в котором он еще два десятилетия назад дал очерк развития немецкой философской и религиозной мысли («К истории религии и философии в Германии»), то он и ставил себе задачей «дополнительно изобразить здесь возникновение книги, равно как философские и религиозные изменения, происшедшие в мыслях автора со времени ее окончания» (стр. 92). Этот замысел определил как последовательность изложения, так и выбор исторических и литературных фактов и композицию всего произведения в целом.

Рассказ об обстоятельствах, связанных с зарождением книги «О Германии», побуждал Гейне вновь оглянуться теперь на судьбы Европы с начала века до середины 50-х годов. В «Признаниях» отразились сложная внутренняя борьба и те серьезные изменения, которые произошли во взглядах Гейне после поражения революции 1848 года в обстановке наступившей затем в Европе реакции. Обозревая прошлое, поэт пытался взглянуть и в грядущее. Решающим для гейневской оценки будущего общества явилось его отношение к пролетариату, которое окончательно сложилось под впечатлением от событий 1848 года. В ходе революции Гейне ощутил мощь пролетариата, понял, что пролетариату принадлежит будущее. Вместе с тем поражение революции позволило поэту увидеть оборотную сторону буржуазной демократии. В некоторых своих политических стихотворениях («Экс-живой», «Кобес I», «Ослы-избиратели» и др.) и публицистических произведениях послереволюционных лет он высказывал мысль о том, что буржуазные политические деятели 1848 года были «негодными избранниками, которые по своей неумелости, или трусости, или двуличию свели к нулю великую хартию самодержавия народа». Это суждение показывает, насколько глубоко постиг Гейне за годы жизни во Франции, что буржуазная демократия себя полностью исчерпала. Именно об иллюзорности буржуазных свобод говорит Гейне в «Признаниях», настойчиво повторяя фразы о цепях, «парфюмированных розами и лаврами», «о метафорических цепях, которые носит теперь весь мир» (стр. 101 и 112).

Однако пролетариат представлялся Гейне носителем грубой материальной силы, жаждущим удовлетворить лишь самые примитивные потребности человечества. Отсюда и тот высокомер-

ный тон по отношению к народу, который порою звучит в «Признаниях». И все-таки поэт-демократ по-прежнему считал неоспоримым право народа на материальное благополучие и духовное развитие.

Глубоко ошибочная оценка рабочего класса вела и к ложному представлению о самом общественном идеале, к ложному представлению о коммунизме.

В 30—40-х годах общество будущего рисовалось Гейне как прекрасная Эллада, возрожденная на новой ступени исторического развития человечества. Его идеал «эллинства», который он противопоставлял ненавистному ему «назарейству», сформировался под влиянием как гегелевского понимания античности, так и учения сен-симонистов с их требованием «реабилитации плоти». Понятие «пазарейства» олицетворяло для Гейне все убожество буржуазного общества, узость и серость жизни современного человека, его духовную нищету.

К моменту работы над «Признаниями» поэт уже утратил веру в Элладу будущего. Ясно отдавая себе отчет в том, что движение истории неизбежно ведет к коммунизму, он не верил, что общество будущего воплотит его гуманистический и эстетический идеал. В этом трагическом идейном противоречии — центральный момент «Признаний» Гейне.

Сложное, двойственное отношение Гейне к коммунизму отразило строй мыслей поэта, жившего в тот период, когда «революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела». <sup>1</sup> Высказывания Гейне и его объяснения своей духовной эволюции, которые содержатся в «Признаниях», свидетельствуют о том, как мучителен и неразрешим был конфликт поэта с действительностью и самим собою.

На страницах «Признаний» Гейне щепетильно отгораживается от тех, кто дрожит «за свои капиталы». Он всячески подчеркивает, что только как поэт, как художник не может принять коммунизм, который, по его мысли, угрожает современной цивилизации.

Заблуждения Гейне о характере коммунистического общества усугублялись еще тем, что, лишенный из-за тяжелой болезни в течение многих лет непосредственного общения с революционными деятелями и передовыми мыслителями своего времени, он не имел реального представления о том новом, что содержал в себе науч-

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 10.

ный коммунизм Маркса в отличие от прежних примитивных теорий уравнилельного коммунизма, в частности — от учения Вильгельма Вейтлинга.

Противоречивости общественных взглядов Гейне соответствовала и двойственность его поздних религиозно-философских суждений.

Тяжелое разочарование и пессимизм, вызванные поражением революции и обстановкой личного одиночества Гейне в годы его болезни, породили у него новое отношение к религии. «Кстати: видел завещание Гейне! — писал Маркс Энгельсу 8 мая 1856 года. — Возвращение к «живому богу» и «покаяние перед богом и людьми», если он написал что-либо «безнравственное!»<sup>1</sup>

Со свойственной ему откровенностью Гейне заявляет в «Признаниях»: атеизм неприемлем для него из-за своего союза с «грубым коммунизмом». Поэтому Гейне, ставивший всегда знак тождества между движением истории и движением идей, стремится отвернуться от безбожия, от жизнеутверждающего «язычества», заговорить о возрождении религиозного чувства.

Однако утверждение религиозного чувства сочетается у Гейне с восприятием этого чувства как величайшего личного унижения, которое ставит его, поэта и мыслителя, в один ряд с дядей Томом, «бедным невежественным негром, едва умеющим читать по складам». «Обращение» Гейне ни в коем случае нельзя расценивать так, как это склонны делать многие его буржуазные комментаторы и исследователи, заявляющие о полном отречении поэта от атеизма. Гейне не столько возвращался к богу, сколько рассудочно принуждал себя вернуться в «низкий хлев божьих созданий», пытаясь найти в религии какую-то нравственную поддержку. «Религиозный переворот, который произошел во мне, носит рассудочный характер, — его осуществил мой разум, а не блаженная чувствительность», — писал он Ю. Кампе 1 июня 1850 года. Хотя изменение своих религиозных и философских взглядов он называл своей Февральской революцией, он всегда отмечал при этом, что в его религиозных *чувствах* «не произошло такой большой перемены», что эта «революция» коснулась лишь его религиозных *взглядов и мыслей* (см. письмо к Г. Лаубе от 25 января 1850 года). Не случайно в «Признаниях» властвует тот же «богохульный», вольный тон, как и во всех прежних произведениях Гейне, та же свободная ироническая игра всеми понятиями, без какого-либо пиетета. В отношении Гейне к богу начисто отсутствует собственно

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXII, стр. 142.



религиозное чувство; его разговор с богом, этим «Аристофаном неба», в высшей степени неуважителен и фамильярен. Религиозные настроения в последние годы жизни не изменили также и антиклерикальной позиции Гейне.

Двойственно и новое философское кредо, которое Гейне стремится утвердить в «Признаниях». Как и раньше, в очерке «К истории религии и философии в Германии» и в «Письмах о Германии», он дает гегелевской философии революционно-демократическое истолкование, подчеркивая те ее элементы, которые содействовали созреванию революционной общественной мысли (см. комментарии к упомянутым произведениям в 6 и 7 томах наст. издания). И ныне гейневское понимание философии Гегеля оказалось значительно более революционным, чем была на самом деле гегелевская система. Во французском тексте «Признаний» содержатся замечательные слова Гейне о том, что вожди немецкого коммунизма «прошли школу Гегеля», что «это, несомненно, способнейшие головы и энергичнейшие характеры Германии», что «эти доктора революции и их беспощадно решительные ученики — единственно живые люди в Германии» и что «им принадлежит будущее».

И все же в «Признаниях» Гейне пишет о своем отказе от гегелевской философии, а в своих письмах он называет событием то, что гегелевскую философию, «гегелевского бога, или, вернее, гегелевское безбожие» он заменил библией (см. упомянутое письмо к Г. Лаубе).

Интерес Гейне к библии не имеет ничего общего с возвращением блудного сына в страну своих отцов, как с восторгом или злорадством провозглашали националисты разного толка. Уже то, что Гейне принимал библию целиком, с ее первой и, как он говорил, последней частью (то есть с «Новым заветом»), исключает полностью вопрос о его иудаизме.

Предания, легенды, все поэтические формы народного сознания, их фабульное и нравственное содержание, — все это интересовало Гейне в течение всей его жизни. В том же плане его давно интересовала библия. Об этом можно судить хотя бы по его замечаниям в книге «Людвиг Берне», написанным еще до переезда в Париж. Однако в 50-е годы Гейне стремился заново перечитать библию как древнейшую философскую и религиозную книгу и воздвигнуть на ней свое новое философское мировоззрение. Именно в библии, считал Гейне, в примитивной форме, но зато более красноречиво, «за шесть тысяч лет до рождения Гегеля», была изложена суть гегелевской философии с ее учением о раз-

витии человеческого сознания — о том, «как путем познания человек становится богом, или, что то же, как бог в человеке доходит до самопознания» (стр. 119—120). Так библейские мифы Гейне трактует в духе гегелевской философии, от которой, по его словам, он с отвращением отказался. Чтобы найти для себя в Библии нишу духовную, демократу Гейне необходимо было открыть в ней демократическое содержание и противопоставить его буржуазному обществу, с которым он никогда не мирился. Вот почему он с таким подъемом говорит о законодательстве Моисея и противопоставляет патриархальные отношения древних иудеев и древних германцев «Библии дьявола» — римскому праву, на котором основывается вся юридическая система буржуазного общества с его классовым гнетом и различными формами эксплуатации. В Библии Гейне пытался вычитать то, что, по его мысли, могло послужить для «великой демократии будущего», ибо о чем бы ни говорил Гейне, он прежде всего был поэтом-демократом, «борцом за революцию и ее демократические принципы», как не забыл он напомнить в «Признаниях» (стр. 122).

Стр. 87. *...в новое издание моей книги «De l'Allemagne»...* — См. введение к комментариям.

*...о предстоящем издании одного из моих трудов...* — Гейне имеет в виду свое сочинение «Боги в изгнании», выпущенное без его ведома в Берлине Гемпелем в 1853 году (см. в настоящ. томе введение к комментариям к «Богам в изгнании»).

Стр. 88. *...составлять в этнографической манере Лепорелло красочный список...* — Лепорелло, персонаж из оперы Моцарта «Дон-Жуан» (1787), вел список любовниц Дон-Жуана, группируя их по странам.

*«Но в Германии тысяча три».* — Гейне перефразирует слова из речитатива Лепорелло: «Но в Испании тысяча три» («Дон-Жуан», I, 3).

Стр. 89. *Томление по голубому цветку.* — Голубой цветок, символ недостижимого романтического идеала, стремления в мир мечты и фантазии, является предметом поисков героя в романе «Генрих фон Офтердинген» (перв. изд. 1802). Автор романа — Фридрих фон Гарденберг (1772—1801), писавший под псевдонимом Новалис, один из виднейших представителей старшего поколения немецких романтиков. Для его творчества характерны мистицизм и реакционная идеализация средневековья.

*...и пропел песню, в которой снова отдался всем блаженным крайностям...* — Гейне подразумевает свою поэму «Атта Троль» (1843).

*Ах, она — последний отзвук...* — строки из поэмы Гейне «Атта Тролль» (см. т. 2 настоящ. издания, стр. 252).

Стр. 90. *Блаженный Августин* (354—430) — один из отцов католической церкви; автор многих теологических сочинений, а также автобиографического произведения «Исповедь».

*...он сочиняет отвратительнейшие вещи, чтобы опорочить себя.* — Гейне намекает на автобиографическое произведение Руссо «Исповедь» (изд. 1782). Эпизоды из жизни Руссо, которых Гейне касается далее, описаны в «Исповеди».

*Гримм* Фридрих-Мельхиор (1723—1807) — немецкий дипломат и писатель. Большую часть жизни провел в Париже, был близок почти со всеми выдающимися людьми своего времени, в особенности с кругом энциклопедистов. С 1753 года высылал из Парижа для герцогини саксон-готской свою «Литературную, философскую и критическую корреспонденцию», которая является ценным источником для истории культуры XVIII века. Во втором томе «Исповеди» (книги 8—10) Руссо рассказывает об интригах Гримма, который старался поссорить Руссо с его семьей и друзьями.

*Медведь Эрмитажа.* — Имеется в виду Руссо, который в 1756—1758 годах, по приглашению графини д'Эпина, жил на опушке леса в Монморанси, в уединенном домике Эрмитаж.

*Тереза Левассер* (1722—1801) — подруга, а затем жена Руссо.

Стр. 92. *...г-жа де Сталь выпустила в свет свое знаменитое сочинение...* — Гейне подразумевает книгу французской писательницы Анны-Луизы-Жермены де Сталь (1766—1817) «De l'Allemagne» («О Германии»), написанную в 1810 году.

Стр. 93. *...знаменитая обительница Женевы.* — Де Сталь при Наполеоне жила преимущественно вблизи Женевы, в своем замке Копие. Ее отец был уроженцем Женевы.

*...пока полиция ее не выслали.* — В 1802 году Наполеон, считавший де Сталь своим политическим врагом, выслали ее из Франции.

*...Август-Вильгельм Шлегель... сопровождал ее в путешествии по всем чердакам немецкой литературы.* — Де Сталь в 1810 году путешествовала по Германии, где сблизилась с Августом-Вильгельмом Шлегелем (см. о нем примечание к стр. 30, «Доктор Фауст»). Он оказал некоторое влияние на ее суждения о немецкой литературе.

*...нахлобучила на голову необъятный тюрбан...* — Согласно моде Директории и первых лет Империи, дамы носили на голове восточные тюрбаны.

...великого султана материи. — Гейне имеет в виду Наполеона. Этот образ основан на характерном для Гейне восприятии современного ему исторического процесса как процесса двустороннего, совершающегося одновременно в общественно-политической жизни и в области духа, мысли; при такой точке зрения воплощением практического начала, носителем действия, «султаном материи» в представлении Гейне являлся Наполеон.

...верный мамелюк, ее Рустан... — В Египте мамелюки в конце XVIII века представляли собой феодальную конницу, начальники которой фактически господствовали в стране, находившейся под властью турецкого султана. Рустан — имя мамелюка, поступившего на службу к Наполеону во время его египетского похода.

Стр. 94. «Воспоминания» Каролины Пихлер (1769—1843) — автобиографическое произведение довольно популярной в свое время немецкой писательницы, автора многих романов.

Письма Рахели Фарнхаген и Беттины Арним. — Рахель Фарнхаген фон Энзе (1771—1833) не оставила сколько-нибудь значительного литературного наследства, но пользовалась в 20-х годах большой известностью, как пачитанная, образованная, остроумная собеседница, восторженно и чутко относившаяся ко всем новым веяниям в литературе и духовной культуре Германии и одновременно как глубокая почитательница немецких классиков. Она была хозяйкой берлинского салона, где юный студент Гейне встречал Гегеля, Шеллинга, Александра Гумбольдта, Вильгельма Гумбольдта, Шамиссо, Фуке и многих других известных людей. Гете называл Рахель Фарнхаген «выдающимся явлением» и заявлял, что «она принадлежит к первым людям в Германии, которые поняли его». Гейне имеет в виду письма Рахели Фарнхаген, которые после ее смерти опубликовал ее муж в книге «Рахель. Ее друзьям на память» (1833). Беттина Арним, урожденная Brentano (1785—1859) — немецкая писательница, связанная с деятельностью младшего поколения романтиков. Гейне подразумевает в данном случае ее на шумевшую в свое время книгу «Переписка Гете с ребенком» (1835).

Свидетельства Эккермана. — Речь идет о книге «Разговоры с Гете» (1836—1848), изданной его бывшим секретарем Иоганном-Петером Эккерманом (1792—1854).

Rue du Vas — улица в Париже, на которой проживала де Сталь.

Стр. 95. Бутервек Фридрих (1765—1828) — профессор Геттингенского университета, автор работ по истории литературы и эстетике, написанных в духе рационализма XVIII века.

*Монтионовская премия* — премия, учрежденная французским филантропом Антуаном де Монтион (1733—1820) за добродетельные поступки и литературные сочинения, укрепляющие нравственность.

...за исключением графини Ган-Ган, у которой только один глаз. — Графиня Ган-Ган (1805—1880) — довольно популярная немецкая писательница; сначала сочувствовала либеральным настроениям литераторов «Молодой Германии», затем перешла в католичество и стала вести аскетический образ жизни. Отсюда и сарказм Гейне: у графини остался только один глаз, обращенный на бумагу.

Стр. 96. *От этих манипуляций у бедного Шиллера начинала кружиться голова...* — В своих письмах Шиллер с раздражением говорил о неприятных манерах де Сталь (см. письма Шиллера к Христиану-Готфриду Кернеру от 4 января и 20 февраля 1804 г.).

Стр. 97. *...все дипломатические оравители, ее друзья — Талейран, Меттерних, Поццо ди Борго, Каслри...* — Талейран Шарль-Морис (1754—1838) — французский дипломат и государственный деятель, беспринципный и ловкий политик. В 1814—1815 годах представлял Францию на Венском конгрессе, обеспечившем интересы европейских держав после разгрома Наполеона. Меттерних Клеменс-Лотар (1773—1859) — австрийский государственный деятель, возглавлявший борьбу с революционным и национальным освободительным движением в Европе, один из фактических руководителей Венского конгресса и главный вдохновитель дворянской реакции в посленаполеоновской Европе. Поццо ди Борго Шарль-Ландре (1764—1842) — корсиканский политический деятель, ярый враг Наполеона; находился на русской дипломатической службе, был одним из приближенных Александра I. Каслри Роберт-Стюарт (1769—1822) — английский консервативный государственный деятель. Поддерживал Меттерниха на Венском конгрессе и в последовавшие затем годы реакции.

...а-жа де Сталь победоносно вступила в Париж со своей книгой «*De l'Allemagne*»... — Первое издание книги де Сталь «*De l'Allemagne*» было французской полицией изъято и полностью уничтожено, а сама писательница — вновь выслана Наполеоном из Франции. В 1813 году книга ее была издана в Лондоне. Опубликование этой книги во Франции стало возможным только в 1814 году, после падения Наполеона.

Блюхер Гебхард-Леберехт (1742—1819) — прусский полководец. В 1813—1815 годах участвовал в действиях немецких армий против Наполеона (как главнокомандующий силезской армией с

1813 года и главнокомандующий прусско-саксонской армией в сражении при Ватерлоо).

*Захария Вернер* (1768—1823) — немецкий писатель-романтик, драматург, создал жанр «драмы рока». В 1811 году перешел в католицизм, был проповедником в Вене.

*Пале-Рояль* — дворец в Париже, построенный в XVII веке. С конца XVIII века стал средоточием различных увеселительных заведений.

*Геррес* Иозеф (1776—1848) — реакционный немецкий литератор, филолог, публицист, близкий к романтикам. В ранний период своей деятельности защищал идеалы буржуазной революции конца XVIII века. Впоследствии перешел в лагерь реакции. Гейне резко отзывался о Герресе в «Романтической школе» (см. т. 6 настоящ. издания, стр. 214—215), в стихотворении «Бывший страж ночей» (см. т. 3 настоящ. издания, стр. 85) и в ряде других произведений. Подробнее о деятельности Герреса см. комментарии к «Путевым картинам» (т. 4 настоящ. издания, стр. 469).

*Ян Фридрих-Людви́г* (1778—1852) — публицист националистического направления. Участник борьбы немцев против Наполеона в 1813—1815 годах. Неоднократно являлся объектом насмешек Гейне.

*Эрнст-Мориц Ари́дт* (1769—1860) — немецкий писатель и публицист, активный участник антинаполеоновского движения в Германии. Выступал за освобождение крестьян от крепостной зависимости, был поборником идеи национального объединения Германии. После 1815 года подвергался преследованиям со стороны немецкой феодальной реакции. Гейне дает здесь Аридту незаслуженно резкую и одностороннюю оценку.

*Берне* Людвиг (1786—1837) — выдающийся литературный критик и публицист-демократ, решительно выступавший против отрыва немецкой литературы от задач борьбы со старым порядком. О неверной оценке классиков немецкой литературы со стороны Берне и других его ошибках, а также о сложных взаимоотношениях Берне и Гейне см. комментарии к сочинению Гейне «Людвиг Берне» (1840) в т. 7 настоящ. издания.

*Менцель* Вольфганг (1798—1873) — немецкий историк литературы, критик и публицист. Подробнее о нем см. комментарии к произведениям «Немецкая литература Вольфганга Менцеля» (т. 5 настоящ. издания, стр. 494) и «Людвиг Берне» (т. 7 настоящ. издания, стр. 448). «*Менцель-французоед*» (1837) — памфлет Берне, направленный против шовинизма Вольфганга Менцеля.

Стр. 98. ..Фридрих Шлегель, являвшийся... представителем гастрономического аскетизма или спиритуализма жареной курятины... — В «Романтической школе» Гейне рассказывает, что известный теоретик немецкого романтизма Фридрих Шлегель (1772—1829) во время пребывания в Вене слушал ежедневно мессу и что он умер вследствие «гастрономической невоздержанности» (см. т. 6 настоящ. издания, стр. 191).

...Доротея, урожденная Мендельсон и сбежавшая Фейт. — Фридрих Шлегель был женат на Доротее Мендельсон (1763—1839), дочери известного философа Мозеса Мендельсона, состоявшей прежде в браке с банкиром Фейтом.

Аколит («спутник» — греч.) — младший церковный служитель.

Это некий немецкий барон... — Гейне имеет в виду барона Фердинанда фон Экштейна (1790—1861). После падения Наполеона Экштейн проживал во Франции, где служил в департаменте полиции. Журнал «*Le catholique*» он издавал с 1826 года. В 30-х годах отошел от политики и стал заниматься изучением индийской филологии.

...до Авраама, сына Фаера... — Здесь у Гейне ошибка: отцом Авраама был не Фаер (Thaer), а Фарра (Tharah).

Тримурти — триединство, тройственное изображение высших божеств индийской религии: Брахмы, Вишны и Шивы, воплощающих в себе три основные силы мира — созидание, сохранение и разрушение.

«Рамаяна» — древнеиндийская поэма (IV—III вв. до н. э.). Посвящена борьбе царя Рамы против короля демонов Раваны.

«Махабхарата» — крупнейший национальный эпос индийского народа (свыше 100 тысяч двустиший).

Упанишады — древнеиндийские религиозно-философские сочинения.

Корова Сабала и царь Висвамित्रа — образы из поэмы «Рамаяна». Упоминаются у Гейне в «Книге песен» и «Романтической школе».

Снорриева Эдда — младшая, прозаическая Эдда, памятник древнескандинавской литературы. Составлена в XIII веке исландским историком Снорри Стурлусоном.

Стр. 99. Голдсмит Оливер (1728—1774) — английский писатель-просветитель. «Векфилдский священник» (1766) — роман Голдсмита.

Манефон — египетский жрец (конец IV — начало III вв. до н. э.). Написал на греческом языке «Историю Египта».

*Берос* — вавилонский астроном и историк (конец IV — начало III вв. до н. э.); известен как автор трехтомной «Вавилонской, или халдейской, истории».

*Санхунатон* из Берита считается автором труда по истории Финикии и Египта (1250 до н. э.).

*...санскрит не был еще изобретен в те годы.* — Изучение санскрита, древнейшего письменного языка Индии, началось в Европе на грани XVIII—XIX веков.

*Фридрих де ла Мотт-Фуке (1777—1843)* — немецкий писатель-романтик, поэт-лирик, автор драматической трилогии «Герой севера», сказки «Ундины» и рыцарского романа «Волшебное кольцо». С симпатией относился к Гейне и его творчеству. Личное знакомство Гейне с Фуке состоялось еще в салоне Рахели Фарнгаген.

*...въезжавший тогда... в Париж на своем высоком Росинанте.* — Здесь у Гейне намек на бесчисленные рыцарские романы Фуке. Подробнее Гейне пишет об этом в «Романтической школе», называя Фуке «остроумным идальго» (см. т. 6 настоящ. издания, стр. 253).

*Шатобриан* Франсуа-Рене (1768—1818) — французский писатель-романтик. Враг Наполеона, сторонник Бурбонов и католицизма. В выражении *шут в черном колпаке* содержится насмешка над пессимизмом Шатобриана, одного из создателей литературы «мировой скорби». Гейне еще в «Лютеции» сравнивал его с меланхолическим шутком Людовика XIII, носившим «куртку черного цвета, а также и черный колпак с черными погремушками» (см. т. 8 настоящ. издания, стр. 57).

*Благочестивое паломничество* — намек на путевые заметки Шатобриана «Путешествие из Парижа в Иерусалим» (1811).

*...и при этом случае я сделался пруссаком.* — В 1814 году Рейнская область вместе с городом Дюссельдорфом отошла к Пруссии.

*Сто дней* — период правления Наполеона во Франции после его бегства с острова Эльба (14 марта — 22 июня 1815 г.).

*...два миллиона, которые Франция осталась должна ее отцу.* — Отец де Сталь, известный швейцарский банкир Жак Неккер (1732—1804), был при Людовике XVI генеральным контролером финансов.

*«Point d'argent, point de Suisses»* — излюбленное выражение швейцарцев, служивших в наемной гвардии Бурбонов.

*Я родился в последнем году прошлого столетия...* — Дату своего рождения Гейне указывает неверно: по наиболее достоверным данным он родился 13 декабря 1797 года.



Стр. 100. *Иоахим Мюрат (1771—1815)* — маршал Наполеона. Был женат на его сестре Каролине. В 1806 году получил в дар от Наполеона герцогство Бергское.

*...отказался... в пользу принца Франсуа...* — Гейне допускает ошибку. После Мюрата с 1809 года герцогством Бергским владел голландский наследный принц Наполеон-Луи (1804—1831), старший брат Луи-Наполеона Бонапарта (1808—1873), будущего императора Франции Наполеона III.

*Король голландский Людовик (1778—1846)* — младший брат Наполеона I.

*Королева Гортензия (1783—1837)* — дочь Жозефины Богарне, первой жены Наполеона.

*В другом месте, в моих мемуарах, я рассказываю подробнее... как я... переселился в Париж...* — В сохранившемся фрагменте «Мемуаров» Гейне этого эпизода нет. Он был включен писателем в книгу «Людвиг Берне» (см. в настоящ. томе комментарии к «Мемуарам»). Гейне переселился в Париж в мае 1831 года.

*...но почам мне снился отвратительный черный коршун, клюющий мою печень...* — Черный коршун, клюющий печень поэта, — устойчивый метафорический образ, встречающийся уже в поэме «Германия» (гл. 18) как олицетворение прусской монархии. Сближая черного одноглавого орла прусского государственного герба с образом орла из античного мифа о Прометее, Гейне подчеркивает жестокость и деспотизм реакционного режима Пруссии.

Стр. 101. *«En avant marchons»* — зачин песни, популярной во Франции после революции 1830 года. — *«Lafayette aux cheveux blancs»* — слова из «Парижанки», национальной песни, созданной в честь Июльской революции (текст Казимира Делавиня, музыка Обера).

Стр. 102. *Верный Эккарт.* — См. примечание к стр. 81 («Богиня Диана»).

*...юного молодчика, направляющегося в Венерину гору.* — Так Гейне иронически называет Тангейзера (см. примечание к стр. 82, «Богиня Диана»).

*«Кукушка»* — небольшая старинная карета для перевозки пассажиров во Франции.

*Кокко* — напиток из лакрицы.

*Клопшток* Фридрих-Готлиб (1724—1803) — один из создателей немецкой национальной поэзии, автор религиозного эпоса «Мессиада» (1747—1773).

Стр. 103. *...мерцали огоньки июльского солнца...* — Гейне приехал в Париж вскоре после Июльской революции 1830 года.

*Лютеция* («болотистое место» — *кельтск.*) — древнейшее название Парижа.

*Линней* Карл (1707—1778) — известный шведский ученый. Создал систему классификации видов животного и растительного мира.

Стр. 104. *Арналь* Этьен (1794—1872), *Буффе* Мария (1800—1853), *Дежазе* Паулина-Виргиния (1797—1875), *Одри* Шарль (1781—1853) — комедийные артисты французской сцены. *Дебюро* Жан-Гаспар (1796—1846) — французский мимический актер, один из лучших исполнителей роли Пьеро в парижском народном театре «Фюнамбюль». *Жорж* Маргарита-Жозефипа (1786—1867) — знаменитая трагическая актриса театра «Комеди ф́рансез» в Париже; исполняла роли классического и романтического репертуара. — Оценку игры этих актеров Гейне дал в 1837 году в своих письмах «О французской сцене» (см. т. 7 настоящ. издания).

...и большой котел во Дворце инвалидов. — Дворец инвалидов был построен в Париже в 1671 году для размещения в нем инвалидов — офицеров и солдат королевской армии. Одной из достопримечательностей Дворца инвалидов являлся котел огромных размеров, находившийся в его кухне.

...Люксембургский некрополь, где покоятся все мумии клятвопреступления... — Так Гейне насмешливо называет Люксембургский дворец в Париже, который Людовик XVIII отвел под палату пэров. При быстрой смене французских королей в эпоху Реставрации пэры, заседавшие пожизненно в палате, бывали вынуждены часто изменять своей присяге.

*Jardin des Plantes* — ботанический сад в Париже; на его территории расположен и зоологический сад.

...видел также г-на Лафайета и его седые волосы... — Мари-Жозеф Лафайет (1757—1834), участник революции 1789—1793 годов, в возрасте 73 лет сыграл видную роль и в революционных событиях 1830 года; несмотря на его умеренную политику, парижане видели в нем ветерана революции и приходили в умиление от его седых волос. Гейне к героическому ореолу Лафайета относится в высшей мере скептически.

...герой обоих полушарий... — В 70-х годах XVIII века Лафайет участвовал в борьбе Североамериканских Соединенных Штатов за независимость.

...и видел здесь хранителя медалей, которые только что были украдены... — Гейне напоминает о пропаже древних уникальных медалей из Лувра во время заговора легитимистов против Луи-Филиппа, в ночь на 2 февраля 1832 года (подробнее об этом см. «Французские дела», т. 5 настоящ. издания, стр. 275—277).

*Дендерский зодиак* (I в. до н. э.) — изображение двенадцати знаков зодиака на плафоне храма богини Гатор (Афродиты), развалины которого сохранились в селении Дендера (Верхний Египет). В 1820 году одно из изображений было выпилено и привезено в Париж.

*Рекамье Жюли* (1777—1849) — жена парижского балкира. Славилась красотой и тонким умом. В ее салоне бывали выдающиеся литераторы, художники и др. К приезду Гейне в Париж Рекамье было почти пятьдесят пять лет, отсюда и насмешливое выражение — *красавица времен Меровингов* (Меровинги — первая королевская династия во франкском государстве V—VIII веков).

*Балланш Пьер-Симон* (1776—1847) — французский писатель и философ мистического направления. Друг г-жи Рекамье.

*«Grande chaumière»* — увеселительное заведение в Париже. *Лагир* — директор этого заведения.

*«Розьера»* — в некоторых округах Франции прозвище молодой девушки, получившей в награду за целомудрие и благонравие венки из белых роз.

Стр. 105. ...он походил на Вулкана... — Согласно античной мифологии, бог огня и кузнечного искусства Вулкан был хромым.

*Геба* — в античной мифологии богиня вечной юности. На пирах богов выполняла обязанности виночерпия.

Стр. 106. *Марко Поло* (1254—1323) — итальянский путешественник. Прозвище *Мессер Миллиони* он получил из-за своего огромного состояния.

*Леонид* (V в. до н. э.) — спартанский царь. Погиб вместе с 300 воинами, героически защищая от персов Фермопильское ущелье (480 до н. э.). Далее Гейне имеет в виду картину знаменитого французского художника Жака-Луи Давида (1748—1825) «Леонид в Фермопилах». Об этой картине см. подробнее комментарии к «Людвигу Берне» (т. 7 настоящ. издания, стр. 461).

Стр. 107. ...возникла книга, которую ты... держишь теперь в руках. — «Признания» замышлялись Гейне как заключительная глава ко второму французскому изданию книги «О Германии»; се и имеет Гейне в виду в данном случае.

Стр. 108. ...весьма выдающиеся французские мыслители наивно признавались мне... — Гейне подразумевает Пьера Леру (1797—1871), одного из теоретиков «христианского социализма». Подробнее об этом Гейне рассказывает в своих «Письмах о Германии» и в «Лютетии» (см. т. 7 настоящ. издания, стр. 427, и т. 8, стр. 174).

*Жирандоль* — большой, украшенный фигурами подсвечник.

Стр. 110. *Варавва* — разбойник из евангельской легенды. Когда Понтий Пилат, римский наместник в Иудее, по выбору народа мог помиловать либо Варавву, либо Христа, народ потребовал освободить разбойника.

*Жасмен Жаку* (1798—1864) — поэт-самоучка, писавший стихи на новопровансальском диалекте; по профессии парикмахер.

Стр. 111. *Вейтлинг* Вильгельм (1808—1871) — один из вождей раннего рабочего движения в Германии и теоретиков утопического уравнилельного коммунизма. По профессии портной. С 1836 года играл значительную роль в «Союзе справедливых», тайной организации немецких ремесленников и рабочих. См. также введение к комментариям.

*Кампе* Юлиус (1792—1867) — владелец гамбургской книгоиздательской фирмы «Гофман и Кампе»; с 1826 года до смерти Гейне он был бессменным издателем его сочинений. Кампе систематически издавал прогрессивных, оппозиционных правительству авторов: Гейне, Берне, младогерманцев, политических поэтов 40-х годов. Он издал также некоторые произведения А. И. Герцена.

Стр. 112. «*Гарантии общества*» — неточное название главного произведения Вейтлинга («Гарантии гармонии и свободы», 1842). Сравнивая книгу Вейтлинга с плоской политической литературой тех лет, Маркс называл ее «беспримерным, блестящим дебютом германских рабочих», «гигантскими детскими башмаками пролетариата».<sup>1</sup>

...в безумии, движущем ими, есть, как сказал бы Полоний, система. — В трагедии Шекспира «Гамлет» Полоний говорит: «Если это безумие, то в нем есть система» (II, 2); Гейне придает словам Полония несколько иной смысл, признавая факт безумия бесспорным.

Стр. 113. ...не пожелавший прослыть великим драматургом или великим астрономом... — Гейне намекает на других братьев композитора Джакомо Мейербера (Якоба-Меера Бера): Михаэля Бера (1800—1833), известного в свое время драматурга, и Вильгельма Бера (1797—1850) — астронома.

*Пилад* — в греческой мифологии сын царя Фокиды Строфия; друг и спутник Ореста.

*Феликс Мендельсон-Бартольди* (1809—1847) — немецкий композитор, пианист и дирижер.

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. I, стр. 211.

Стр. 117. *Магильда*. — Этим излюбленным у романтиков именем Гейне называл свою жену Крессенсию-Эжени Мирá (1815—1883).

Стр. 118. *Слава богу, я избавился от нее!* — Вообще Гейне не так легко относился к уничтожению своих атеистических сочинений. В письме к Лаубе (от 25 января 1850 года) он сожалел, что сжег рукопись под влиянием своего «религиозного чувства». «Я устроил страшное аутодафе, о котором и сейчас еще не могу думать без сокрушения», — писал он.

...я предпослал книге предисловие, из которого привожу здесь одно место... — Далее следует цитата из предисловия ко второму изданию книги «О Германии» (т. 6 настоящ. издания, стр. 15—17).

Стр. 119. *Ансельм Кентерберийский* (1033—1109) — богослов, философ-схоласт.

*Эта паутинообразная берлинская диалектика...* — Имеется в виду философия Гегеля. С 1818 года до своей смерти (1831) Гегель был профессором Берлинского университета.

*Руге* Арнольд (1803—1880) — немецкий философ, публицист и политический деятель. В молодости — левый гегельянец, буржуазный радикал, после 1866 года — национал-либерал, сторонник Бисмарка. С 1838 года издавал в Галле журнал «Галлеские ежегодники по вопросам немецкой науки и искусства». Упоминаемая здесь статья Руге о Гейне («Генрих Гейне и его произведения») была опубликована в «Галлеских ежегодниках» за 1838 год. Личное знакомство Руге с Гейне состоялось в 1843 году в Париже.

*Навуходоносор II* (604—562 до н. э.) — царь Нововавилонского государства. Согласно библейской легенде, был наказан безумием за свою гордыню.

*Даумер* Георг-Фридрих (1800—1875) — немецкий писатель, автор работ по истории религии, в которых он выступал с критикой христианства, пытаясь сконструировать новую «философию религии». Его книга «Религия нового века» (1850) была подвергнута уничтожающей критике в одной из статей Маркса и Энгельса.<sup>1</sup> В конце 50-х годов Даумер обратился к пропаганде католицизма.

*Бруно Бауэр* (1809—1882) — немецкий философ-идеалист. В первый период своей деятельности принадлежал к левогегельянкам. Опубликовал ряд книг, содержащих критику религии. Вульгарный субъективный идеализм Бауэра встретил уже в начале 40-х годов резкий отпор со стороны Маркса и Энгельса в их работе «Святое семейство» и в «Немецкой идеологии» (1845—1846).

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 7, стр. 208—213.

*Генгстенберг* Эрнст-Вильгельм (1802—1868) — немецкий теолог, главный представитель лютеранской ортодоксии в Германии. Издавал с 1827 года «Евангелическую церковную газету». Гейне умышленно называет Генгстенберга в одном ряду с авторами, действительно выступавшими с критикой религии, считая, что рациональная логика его сочинений противоречит духу церковного учения (см. «Мысли, заметки, импровизации», стр. 16½ настоящ. тома).

Стр. 120. *Мессалина* Валерия (I в.) — третья жена римского императора Клавдия. Известна своей распущенностью и жестокостью.

*Дядя Том* — герой книги «Хижина дяди Тома» (1851—1852) американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1812—1896).

Стр. 121. *Ог, царь Васанский*, упоминается в библии («Книга Иисуса Навина», 12, 4).

*Синай* — гора, находящаяся на территории Синайского полуострова (западная часть Азии). Согласно библейскому мифу (книга «Исход», 19—20), Моисей, поднявшись на Синай, получил от бога заповеди.

*С бóльшим правом, чем римский поэт, может... похвалиться тем, что воздвиг себе памятник...* — Гейне подразумевает древнеримского поэта Горация Квинта Флакка (65 г. — 8 г. до н. э.). См. его «Оды» (III, 30).

Стр. 123. *Подобно Генриху IV... я имел бы право сказать...* — Генрих IV (1553—1610) — первый французский король из династии Бурбонов. С 1569 года — вождь гугенотов. Свои знаменитые слова «*Paris vaut bien une messe*» Генрих IV сказал, принимая католичество (1593), так как, только став католиком, он мог получить корону Франции. Гейне перешел в лютеранство в 1825 году, чтобы иметь право поступить на государственную службу; однако это ему не удалось.

Стр. 124. *Пожарище второго храма.* — Храм иудеев в Иерусалиме был в первый раз (586 до н. э.) разрушен Навуходоносором. Вскоре вновь отстроенный, он был сожжен в 70 году н. э. при взятии Иерусалима Титом, сыном римского императора Веспасиана.

*Рейхлин* Иоганн (1455—1522) — филолог и богослов; крупнейший представитель ученого гуманизма в Германии. Его филологические комментарии к библии положили начало критическому изучению библейских текстов. Когда Рейхлин в 1507 году высказался против имперского указа о сожжении древнееврейских книг, профессора-богословы Кельнского университета во главе с инкви-

зитором города Кельна Якобом фон *Гоогстратеном* (1454—1527) ополчились на Рейхлина и обвинили его в ереси. Спор Рейхлипа с церковниками превратился в первое значительное столкновение немецких гуманистов с реакционными богословами и получил отражение в блестящих сатирических произведениях эпохи гуманизма.

Стр. 125. ...*в начале революции в Сан-Доминго...* — В восточной части острова Гаити, получившей в конце XVII века название Сан-Доминго (Санто-Доминго), после Великой французской революции развернулась массовая борьба мулатов и негров против французского господства. Освободительное движение, продолжавшееся в течение нескольких лет, завершилось изгнанием французов из Сан-Доминго и со всего острова Гаити (1804).

*«Библейское общество»* — основанное в 1804 году «Британское библейское общество», ставившее себе целью издание библии на всех новых языках для расширения сферы влияния протестантской церкви и получавшее огромные доходы от распространения библии.

Стр. 127. *Ниневия* — столица Ассирии в VIII веке до н. э.

*Сидон* и *Тир* — древнейшие торговые и политические центры Финикии.

*Юбилейный год.* — Согласно библии, у древних евреев каждый пятидесятый год, когда все рабы иудейского происхождения отпускались на свободу, считались погашенными все долги, а все земельные владения, проданные или сданные в аренду, возвращались прежним владельцам или их наследникам. Юбилейный год считался священным, и о его наступлении возвещалось звуком труб (*древнеевр.* *jobel* — труба, рог).

Стр. 128. *Проскрипция.* — В древнем Риме во время диктатуры Суллы (82 г. — 72 г. до н. э.) так назывались списки лиц, объявленных вне закона. Проскрипционные списки являлись для господствующей верхушки средством жестокой расправы с ее политическими противниками.

*Кодекс римского гражданского права* (*Corpus juris civilis*) — свод законов древнего римского государства, изданный в VI веке н. э. византийским императором Юстинианом.

*...благодушных рабов в черно-красно-золотой ливрее...* — Гейно имеет в виду немецких либералов и буржуазных демократов периода революции 1848 года, эмблемой которых были черный, красный и золотой цвета, скомпрометированные до этого уже в националистическом движении немецких студентов.

Стр. 131. *Пимон де Ланкло* (1620—1705) — известная француз-

ская куртизанка. В ее парижском салоне бывали многие значительные люди того времени.

*...партии благородного Атта Тролля...* — Гейне подразумевает буржуазных радикалов и либералов 40-х годов, которых он высмеял в своей поэме «Атта Тролля».

Стр. 132. *Церковь св. Петра* — католическая церковь. По христианскому преданию, св. Петр, один из апостолов Христа, был первым епископом в Риме. Поэтому римский папа, являющийся одновременно епископом Рима, считается преемником св. Петра.

Стр. 133. *...именно католическим священникам был обязан я в детстве начальным образованием...* — См. «Мемуары», стр. 203—205 настоящ. тома.

Стр. 134. *...несколько красивых Цицероновских периодов из речей против Катилины...* — Политический деятель древнего Рима и блестящий стилист латинской прозы Марк Туллий Цицерон (106—43 до н. э.) в 63 году до н. э. разоблачил заговор Луция Сергия Катилины (108—62 до н. э.) против senatorской олигархии Рима. Четыре речи, произнесенные Цицероном против Катилины на заседании сената, являются блестящим образцом ораторского искусства.

*Отцы Иисусова ордена* — иезуиты, члены воинствующего католического ордена, основанного Игнатием Лойолой (1491—1556) в 1534 году.

Стр. 135. *Иосафатова долина* (находится близ Иерусалима) — согласно христианскому учению, место, где соберутся все люди в день Страшного суда, причем одни получают полное прощение своих грехов, а другие будут осуждены на вечные муки.

*...дед мой... спас ему жизнь...* — Гейне говорит об отце своей матери Готшальке ван Гельдерне (ум. в 1795 году), дюссельдорфском враче.

Стр. 136. *Академия аркадийцев* — литературное общество, основанное в Риме в 1690 году. Члены академии «Аркадия» вели борьбу с манерностью и напыщенностью, прославляли в своих сонетах сельскую простоту, любовь и радости жизни.

Стр. 137. *Конклав* — совет кардиналов, избирающий римского папу.

*Петрово кресло* — кресло папы (см. примечание к стр. 132).

*Камерьеры* — служители в покоях папы.

*Орас Верне* (1789—1863) — французский художник, особенно известный как баталист. Упомянутая Гейне картина — «Внесение папы Льва XII в базилику св. Петра в Риме» (1829) была создана Верне во время его пребывания в Риме. Эта картина произвела



на Гейне сильное впечатление на выставке 1831 года в Париже (см. его высказывания о Верне во «Французских художниках», т. 5 настоящ. издания, стр. 185—188).

*Латеран* — дворец папы в Риме, до XIV века — папская резиденция, с середины XIX века — музей.

Стр. 138. *...рисует китаец Вертера с Лоттой вдвоем...* — стихи из «Венецианских эпиграмм» Гете (№ 35).

*Зибольд* Филипп-Франц (1796—1866) — немецкий естествоиспытатель. Занимался изучением флоры и фауны Японии.

*Жюльен* Станислас-Эньян (1799—1873) и *Потье* Жан-Пьер-Гильом (1801—1873) — французские китаисты.

*«Я шут счастья»* — слова из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» (III, 1).

*Rue d'Amsterdam* — улица в Париже, на которой в доме № 50 Гейне проживал с конца 1848 по сентябрь 1854 года.

Стр. 139. *...так называемому немецкому Аристофану...* — Гейне как политический поэт ощущал глубоко свою духовную близость к выдающемуся представителю древнеаттической комедии, мастеру политической сатиры Аристофану и в поэме «Германия» называл его своим отцом (см. т. 2 настоящ. издания, стр. 328). Именно поэтому Гейне и здесь говорит о себе как о немецком Аристофане.

*«Лимбургская хроника»* — немецкая хроника, написанная в начале XV столетия Тилеманом фон Вольфхагеном. Охватывала события в Гессене и Вестфалии за период с 1336 по 1398 годы. Позже, до 1612 года, многократно дополнялась. Впервые была издана в Лимбурге в 1617 году под названием «Fastis Limpurgenses».

Стр. 140. *«Ничего нет нового под солнцем»* — слова царя Соломона (библия, кн. «Экклезиаст», I, 9).

## МЫСЛИ, ЗАМЕТКИ, ИМПРОВИЗАЦИИ

«Мысли, заметки, импровизации» представляют собой отдельные высказывания Гейне, найденные в рукописном наследии писателя после его смерти. Мы не располагаем какими-либо данными о том, что замышлял Гейне, записывая свои афоризмы. Трудно определить, являются ли подобные заметки предварительными черновыми набросками или в них дано резюме уже продуманного и не раз сказанного поэтом. Эти материалы были обнаружены среди рукописей Гейне и изданы его первым биографом Адольфом

Штротдманом в 1869 году в книге «Последние стихотворения и мысли Генриха Гейне» («Letzte Gedichte und Gedanken von Heinrich Heine»). При публикации Штротдман по своему усмотрению систематизировал разбросанные высказывания, расшифровывал недописанные поэтом слова и снабдил заглавиями выделенные им тематические разделы.

Некоторые исследователи предполагают, что «Мысли, заметки, импровизации» относятся к последнему десятилетию жизни Гейне; однако по своему содержанию они соприкасаются с его произведениями самых различных лет; более того — некоторые высказывания текстуально совпадают иногда с отдельными местами из его прозаических и поэтических произведений. В «Мыслях, заметках, импровизациях» можно установить точки соприкосновения и с «Путевыми картинами» (например, характеристики Клаурена и Савиньи), и с «Романтической школой» (заметки о Новалисе, Уланде), и с «Французскими делами» (оценки Гизо, Луи-Филиппа), и с «Лютецией» (высказывания о Россини и др.), и с политической поэзией Гейне 40-х годов, а именно с поэмой «Германия» и циклом «Современные стихотворения» (характеристики немецких тевтономанов, реакционных ученых, писателей и общественных деятелей). Высказывания Гейне о религии и философии проникнуты в основном атеистическим духом и часто перекликаются с его очерком «К истории религии и философии в Германии». Мысли о связях христианства с религией древней Иудеи, иудаизма и протестантизма повторяют (почти дословно) соответствующие места в «Признаниях».

Противоречия мировоззрения Гейне, получившие яркое воплощение в «Лютеции» и в «Признаниях», ощутимы в его заметках о коммунизме и о влиянии демократии на поэзию (см. комментарии к упомянутому произведению).

«Мысли, заметки, импровизации» интересны тем, что в них, несмотря на их фрагментарный и раздробленный характер, отражен Гейне как художник и мыслитель с его индивидуальным авторским почерком.

Стр. 143. *Над моей колыбелью...* — См. примечание к стр. 99 («Признания»).

Стр. 144. *В том, что я стал христианином, повинны те саксонцы, которые под Лейпцигом...* — Наполеон сражался под Лейпцигом 16—19 октября 1813 года против русских, австрийских, прусских и шведских войск. В состав его армии, кроме французов, входили саксонцы, поляки, голландцы, немцы Рейнского союза и др. В разгар битвы 18 октября вся саксонская армия, подневольно сражавшая-

ся в рядах Наполеона, внезапно перешла в стан противника и открыла огонь по французам. Измена саксонцев и большие потери в бою заставили Наполеона отступить, что повлекло за собой и ряд дальнейших его поражений. Гейне всегда подчеркивал, что он стал христианином из-за гражданского неравноправия, в котором снова оказались немецкие евреи после падения Наполеона.

*...преподавал ему в Бриенне...* — В городе Бриенне в 1779 — 1784 годах Наполеон обучался в военном училище.

*Монталамбер Шарль* (1810—1870) — публицист, видный деятель французских клерикалов.

*Paris vaut bien une messe.* — См. примечание к стр. 123 («Призвания»).

*Я отказался натурализоваться...* — Гейне провел во Франции двадцать пять лет (1831—1856), оставаясь немецким подданным, хотя этим и осложнил свое материальное положение. Прекрасно сознавая выгоды натурализации, Гейне считал, что «не подобает немецкому поэту, создавшему прекраснейшие немецкие песни», отказываться от своего отечества (см. «Лютетию», т. 8 настоящ. издания, стр. 247).

Стр. 146. *...во времена цезарей...* — то есть в период Римской империи (31 до н. э. — 476 н. э.).

*Константин.* — См. примечание к стр. 35 («Доктор Фауст»).

*Марк Аврелий Антонин* (121—180) — римский император (с 161); философ-стоик. Его перу принадлежит книга «К самому себе».

*Юлиан Флавий Отступник* (331—363) — римский император (с 361), философ-неоплатоник, один из крупных писателей и мыслителей своего времени. Отрекся от христианства, стремился возродить языческий культ греков и римлян.

Стр. 147. *Экзархат* — с IV века округ восточнохристианской церкви, подчиненный епископу.

Стр. 148. *Валаам* — в библии пророк из Месопотамии. Отказался от первоначального намерения проклясть Израиль, когда услышал голос своей ослицы, которая увидела перед собою ангела, посланного богом для защиты Израиля.

*...чтобы завладеть Капитолием, необходимо сначала напасть на гусей.* — По древнеримскому преданию, гуси Юноны своим криком предупредили римлян о приближении галлов к Капитолию, холму в Риме, где были расположены храмы Юпитера, Минервы и Юноны.

*Сеид* — титул потомков Магомета. Здесь употреблено в значении: фанатический последователь какого-либо учения.

Стр. 149. *Рюс Христиан-Фридрих* (1781—1820) — берлинский профессор истории. Выступал в своих работах против гражданского равноправия евреев.

Стр. 150. *Ван Акен* — владелец крупного зверинца.

*Фрина* — греческая гетера IV века до н. э.

*Даммтор* — место в Гамбурге, где жила мать Гейне.

*Кассандра* — в греческой мифологии — дочь Приама и Гекубы, обладавшая даром пророчества.

*Дрейбан* — улица в Гамбурге, населенная проститутками.

Стр. 151. *Михель* — нарицательное имя для немца, появившееся в немецкой литературе еще в XVI веке; накануне 1848 года стало синонимом немецкого обывателя.

Стр. 152. *Анфанген* Проспер (1796—1864) — французский утопический социалист, последователь Сен-Симона и один из главных деятелей сен-симонистского движения; по профессии инженер. Развивал в своих работах религиозную сторону сен-симонизма, превратил сен-симонистскую общину в секту; как ее глава послал имя «отец Анфанген». См. о нем подробнее в комментариях к сочинению «К истории религии и философии в Германии» (т. 6 настоящ. издания, стр. 412).

*Штраус* — это *Порфирий нашего времени*. — Давид *Штраус* (1808—1874) — немецкий философ и публицист, младогегельянец, автор книги «Жизнь Иисуса» (1835), в которой Иисус изображался как историческая личность, а евангельские рассказы трактовались как мифы. *Порфирий* Финикийский (232—304) — философ-неоплатоник. Написал пятнадцать книг против христиан. В «Письмах о Германии» Гейне называет немцем Порфирием и Фейербаха (см. т. 7 настоящ. издания, стр. 427).

Стр. 153. *...триединство — из индийской мифологии...* — См. примечание к стр. 98 («Признания»).

*...учение о воплощении — из логики...* — Гейне подразумевает прежде всего идеалистическую философию Гегеля и Шеллинга, которые рассматривали объективный мир как продукт развития «абсолютной идеи» (Гегель) или «абсолюта» (Шеллинг), представлявших собой, по существу, новое наименование бога.

*...всемирный потоп — из геологии...* — Согласно библии, всемирный потоп был послан богом в наказание за грехи человечества. Церковники стремились использовать данные геологии об изменении рельефа земной коры для доказательства достоверности этой библейской легенды.

*Окен.* — См. примечание к стр. 34 («Доктор Фауст»).

*Боско* Бартоломео (1793—1863) — популярный в то время фокусник.

*Иегова* (Ягве) — имя единосущного бога в древнееврейской религии.

Стр. 154. *Святые, подобные Столпнику...* — Столпниками назывались христианские подвижники, убивавшие плоть длительным стоянием на столбе. Гейне имеет в виду первого из таких христианских фанатиков Симеона Столпника (394—460), который, согласно преданию, провел на столбе более тридцати лет.

*Неоплатоники* — сторонники мистической философии, развивавшей идеализм Платона. Неоплатонизм распространился в Риме в III—VI веках и был одним из идейных источников христианства.

Стр. 155. *Гердер* Иоганн-Готфрид (1744—1803) — выдающийся немецкий демократ-просветитель. В своих трудах разрабатывал проблемы теории литературы и народного творчества, выдвинув идею эволюции человечества и его культуры и связи художественного творчества с определенными историческими условиями. Гейне подразумевает книгу Гердера «Идеи к философии истории человечества» (1784—1791).

*Боссюэ* Жак-Бенинь (1627—1704) — французский проповедник и историк. Гейне имеет в виду его книгу «Рассуждения о всеобщей истории до империи Карла Великого» (1681).

Стр. 156. *Догматика* — в богословии систематическое изложение всех догматов веры.

*...Диана целует Эндимиона...* — В античной мифологии богиня Луны (Селена) тайно полюбила Эндимиона, прекрасного царевича из Элиды. Иногда этот миф связывают с богиней-охотницей Дианой (Артемидой), считавшейся первоначально также богиней Луны.

*...Агамемнон приносит в жертву свое дитя.* — В греческом мифе об Атридах микенский царь Агамемнон приносит в жертву разгневанной на него Артемиде свою дочь Ифигению.

*Штауб* — парижский портной.

Стр. 157. *Дагерротипия* — первоначальный способ фотографирования.

*Филарет Шаль* (1798—1873) — французский критик и историк литературы. В 30-х годах много занимался немецкой литературой. Гейне с одобрением упоминает его работу о Жан-Поле Рихтере в «Романтической школе» (см. т. 6 настоящ. издания, стр. 243—244).

*Парацельс* Теофраст (1493—1541) — швейцарский врач, химик и натурфилософ. Несмотря на увлечение алхимией, способствовал развитию медицины.

*Линней.* — См. примечание к стр. 103 («Признания»).

Стр. 158. *Веллингтон* Артур-Уэлсли (1769—1852) — английский полководец и государственный деятель. Во время войны с Наполеоном командовал английскими войсками на Пиренейском полуострове и в битве при Ватерлоо. В 20-х и 30-х годах был премьер-министром и министром иностранных дел. Яркий тори, идеолог аристократической реакции. В «Английских фрагментах» Гейне дал ему резко отрицательную характеристику в специальной главе под названием «Веллингтон» (см. т. 4 настоящ. издания, стр. 421—425).

*Новая пора наступила для искусства...* — Гейне говорит здесь о значении, которое имела для немецкой романтической поэзии философия Шеллинга (ср. «Романтическая школа», т. 6 настоящ. издания, стр. 218).

*Новалис.* — См. примечание к стр. 89 («Признания»).

*...в человеческом духе открывают законы природы, магнетизм, электричество, положительный и отрицательный полюсы (Генрих фон Клейст).* — Гейне, очевидно, имеет в виду то, что выдающийся поэт, прозаик и драматург Генрих фон Клейст (1777—1811) изображал своих героев в борении противоречивых страстей.

Стр. 159. *Якоби* Фридрих (1743—1819) — немецкий философ-мистик.

*Уланд* Людвиг (1787—1862) — поэт, историк литературы и фольклорист. Возглавлял так называемую швабскую школу немецкого романтизма. К Уланду Гейне относился с уважением, но в целом общественная позиция швабских романтиков с их идеализацией старины и патриархального уклада жизни Германии на рубеже 30—40-х годов XIX века была глубоко враждебна Гейне и вызвала его многочисленные выступления против «швабов». (См. статью «Швабское зеркало», т. 7 настоящ. издания, стр. 155—167 и комментарии к ней.)

*Желтоногие* — пренебрежительное прозвище швабов, восходящее к старинной народной сказке о семи швабах.

*Сонетное неистовство.* — Слова Гейне направлены прежде всего против немецкого поэта Августа Платена (1796—1835) и близких ему поэтов, культивировавших форму сонета.

*Клаурен* — псевдоним Карла-Готлиба Хойна (1771—1854), модного берлинского писателя, автора сентиментальных и в то же время фривольных повестей, романов и драм, издателя «Preussische Staatszeitung» («Прусской правительственной газеты»), близкого к прусскому двору. Клаурен — постоянный объект насмешек Гейне.

*Луффеберг* Иозеф (1798—1857) — немецкий драматург посредственного дарования.

*Арленкур* — Шарль-Виктор Прево, виконт д'Арленкур (1789—1856), французский писатель и политический деятель легитимистов.

Стр. 160. *Мы искали физическую Индию...* — Намек на Христофора Колумба, отправившегося в морское плавание с намерением открыть западный путь в Индию.

*«Махабхарата», «Рамаяна».* — См. примечания к стр. 98 («Признания»).

*Гете в начале «Фауста» использовал «Сакунталу»...* — См. примечание к стр. 10 («Доктор Фауст»).

Стр. 161. *...трезвый, прозаический переводчик романов Скотта, что так похваляется своей переводческой точностью.* — Гейне подразумевает, очевидно, немецкого публициста и переводчика Иозефа Майера (1796—1856), который получил в Германии известность как выдающийся организатор книгоиздательского дела. В предисловии к своему переводу одного из романов Вальтера Скотта Майер указывал, что достоинство его перевода состоит в «добросовестной верности» подлиннику.

*Форстеровский повторный перевод «Сакунталы».* — Георг Форстер (1754—1794), немецкий писатель и политический деятель демократического направления, перевел на немецкий язык «Сакунталу» (1791), пользуясь английским переводом этой драмы.

Стр. 162. *Гофман фон Фаллерслебен* Август-Генрих (1798—1874) — историк литературы, фольклорист и поэт. Один из зачинателей немецкой политической поэзии 40-х годов. Буржуазный радикал, позднее националист.

*Парнас* — гора в Греции, на которой, по представлениям древних греков, обитали Аполлон и музы.

*Макадам* — шоссе, покрытое мелким щебнем с асфальтом, названо по имени его изобретателя, шотландского инженера Макадама.

Стр. 163. *Нимбш фон Штреленау* Николаус-Франц (1802—1850) — один из крупнейших австрийских поэтов XIX века. Писал под псевдонимом Николаус Ленау.

*Приказчик из Липпе-Детмольда.* — Гейне намекает на немецкого политического поэта Фердинанда Фрейлиграта (1810—1876), который родился в городе Детмольде (княжество Липпе-Детмольд) и в юности служил в различных торговых фирмах.

*Рашель* Элиза (1820—1858) — знаменитая французская трагическая актриса.

*Савиньи* Фридрих-Карл (1779—1861) — берлинский профессор юриспруденции, автор многих трудов по истории римского права; глава реакционной исторической школы права.

*Иоганнес фон Мюллер* (1752—1809) — немецкий историк. Особенной известностью пользовался его труд «История Швейцарии» (1786—1808).

*Клопшток*. — См. примечание к стр. 102 («Признания»).

Стр. 164. *Раумер* Фридрих-Людвиг-Георг (1781—1873) — немецкий историк. Его раболепное отношение к прусскому королю и трусливый либерализм были поводом для постоянных сатирических нападок Гейне.

*«Брокгаузовская книготорговля»* — одна из крупнейших книгоиздательских фирм в Германии (основана в 1805 г.).

*Гервинус* Георг-Готфрид (1805—1871) — историк и литературовед, один из первых представителей культурно-исторической школы в немецком литературоведении. Гейне противопоставляет его труд «История национальной литературы Германии» (1835—1842, пять томов) своему сочинению «Романтическая школа».

*Галлер* Альбрехт (1708—1777) — немецкий поэт, ботаник и врач.

*Генгстенберг*. — См. примечание к стр. 119 («Признания»).

*Брут* Марк Юний (85—42 до н. э.) — один из приближенных Юлия Цезаря и одновременно руководитель заговора против него.

*Руге*. — См. примечание к стр. 119 («Признания»).

Стр. 165. *Якоб Венедей* (1805—1871) — немецкий публицист-радикал, в 1848—1849 годах депутат Франкфуртского национального собрания. После революции перешел на сторону реакции. Гейне высмеял Венедей также в стихотворении «Кобес I» (см. т. 3 настоящ. издания, стр. 211—215).

*Масман* Ганс-Фердинанд (1797—1874) — профессор древнегерманской филологии, ярый тевтономан, один из основателей националистических гимнастических обществ. Постоянный объект сатиры Гейне.

*Король Людвиг не принимает Лютера в свою Валгаллу*. — Король Людвиг I Баварский (1786—1868) в 1830—1842 годах воздвиг пантеон прославленных деятелей Германии, так называемую Валгаллу (Валгалла — в германской мифологии зал бога Одина, местопребывание павших героев). Людвиг, являвшийся непримиримым врагом протестантизма, запретил устанавливать в Валгалле бюст Лютера.

*Эсте, Медичи, Гонзага, Скала* — итальянские знатные роды, правившие в различные периоды в разных городах Италии: Эсте



(с XI до конца XVIII века) — в Модене и Ферраре, Медичи (1434—1737) — во Флоренции, Гонзага (1328—1708) — в Мантуе, Скала (1260—1387) — в Вероне.

Стр. 166. *Вольфганг Менцель*. — См. примечание к стр. 97 («Признания»).

*Гуцков* Карл (1811—1878) — драматург, романист и публицист, один из самых значительных писателей «Молодой Германии». После выхода в свет книги Гейне «Людвиг Берне» отношения между Гуцковым, страстным приверженцем Берне, и Гейне чрезвычайно обострились.

*Жиске* Анри (1782—1866) — французский буржуазный политический деятель и префект парижской полиции (1831—1836). Издал в 1840 году свои трехтомные «Мемуары».

Стр. 167. «*Готланд*» *Граббе* — трагедия «Герцог Теодор Готландский» (1827) немецкого драматурга Христиана-Дитриха Граббе (1801—1836). Гейне близко знал Граббе во время своего пребывания в Берлине. См. «Мемуары» (стр. 210—212 настоящ. тома).

Стр. 168. ...он точен, как *Буркгардт* и *Нибур*... — Иоганн-Людвиг *Буркгардт* (1784—1817) — известный путешественник по Египту, Сирии и Нубии. Карстен *Нибур* (1733—1815) — путешественник по Аравии. Гейне имеет в виду раннюю поэзию Фрейлиграта, который в начале своего творчества отдал дань экзотической восточной тематике и причудливой, усложненной рифмовке.

Стр. 169. «*Магомет*» — трагедия Вольтера (1741).

Стр. 170. *Пале-Рояль*. — См. примечание к стр. 97 («Признания»).

*Шатобриан*. — См. примечание к стр. 99 («Признания»).

*Шлем Мамбрина* — сказочный шлем сарацинского короля, неуязвимый для оружия.

Стр. 171. *Бюффон* Жорж-Луи-Леклерк (1707—1788) — французский естествоиспытатель. Приведенные Гейне слова были сказаны Бюффоном в речи при его вступлении во Французскую академию в 1753 году.

*Вильмен* Абель-Франсуа (1790—1870) — французский ученый и писатель, блестящий стилист.

*Шарль Нодье* (1780—1844) — французский писатель-романтик; Гейне намекает на его политическую деятельность против Наполеона в начале века.

*Блез де Бюри* Анж-Анри (1818—1888) — французский писатель и критик, автор многих статей о немецкой литературе. Перевел на французский язык «Фауста» Гете.

*Petit manteau blanc.* — Такую накидку носили аббаты в XVIII веке.

*Леон Гозлан* (1803—1866) — некогда весьма популярный французский романист и драматург, друг Бальзака, написавший книгу воспоминаний о нем: «Жарди. Бальзак в домашних туфлях» (1856).

*Мишель Шевалье* (1806—1879) — французский ученый, долго годы придерживавшийся сен-симонизма, экономическую сторону которого он разрабатывал. В письмах и статьях 30-х годов Гейне неоднократно называл его своим любимейшим другом.

*Тьерри Жак-Никола-Огюстен* (1795—1856) — известный французский буржуазно-либеральный историк. Его главный труд — «Опыт истории происхождения и успехов третьего сословия» (1853).

*Мерлин* — в древнебританских сказаниях — волшебник. Став жертвой собственных чар, превратился в куст боярышника, из которого был слышен лишь его слабый голос.

Стр. 172. *Историк... этот пророк, обращенный в прошлое* — слова Фридриха Шлегеля, несколько перефразированные Гейне.

*Лебедь из Пезаро* — Джоакино Россини (Пезаро — родной город композитора).

*В его pasticcio есть... что-то жуткое...* — Гейне имеет в виду противоречивый характер творчества Россини, — оно охватывало произведения разного жанра — от веселой светской оперы до скорбной католической мессы.

Стр. 173. *Ари Шеффер* (1795—1858) — французский живописец. В начале своего творческого пути заимствовал сюжеты для картин из произведений Гете, Шиллера, Бюргера; впоследствии обратился к религиозной тематике. См. характеристику его творчества, которую Гейне дает во «Французских художниках» (т. 5 пастоящ. издания, стр. 179—185).

*У Гете мы видим нечто подобное.* — Гете считал правомерным использовать в литературе мотивы и образы народного и классического искусства. Он говорил: «Мое творчество — это произведение коллективного существа, имя которому Гете».

*Юний* — псевдоним Филиппа Фрэнсиса (1740—1818), английского государственного деятеля, который опубликовал знаменитые сатирические «Письма» (1769—1772), посвященные общественным порядкам в Англии тех лет.

Стр. 174. *...Френсис Дрэйк... дал нам картофель.* — Согласно версии, отвергнутой впоследствии Гумбольдтом и другими учеными, английский адмирал Френсис Дрэйк (1540—1596) первым привез в Европу картофель.

...ослы, вечно твердящие о лошадях. — Ганноверское королевство имело на поле своего герба фигуру скачущего коня.

Стр. 176. *Ротшильд* Джеймс (1792—1868) — парижский банкир. Банкирский дом Ротшильдов, имевший ответвления в различных странах Европы, возник в конце XVIII века во Франкфурте-на-Майне.

Стр. 178. *Place de la Concorde* — прежде *площадь Людовика XV* в Париже; во время Великой французской революции здесь чаще всего устанавливали гильотину.

*Гревская площадь*. — На этой парижской площади впервые была установлена гильотина.

*Argumentum ad hominem* — доказательство, построенное с расчетом подействовать на чувства убеждаемого лица, а не основанное на объективных данных.

*Тюильри* — королевский дворец в Париже. Построен в XVI веке. Являлся местом заседаний Конвента во время Великой французской революции.

Стр. 179. *Вандомская колонна* — колонна на Вандомской площади в Париже. Установлена в 1810 году в честь побед Наполеона.

*Партия «гнилых»* (Pourris). — Так первоначально во время Великой французской революции парижане называли сторонников Дантона, требовавших примирения якобинцев с жирондистами.

*Г-жа де Сталь*. — См. примечание к стр. 92 («Признания»).

*Талейран*. — См. примечание к стр. 97 («Признания»).

*Нестор* — мудрый сладкоречивый старец из «Илиады» и «Одиссеи».

Стр. 180. *Бенжамен Констан* (1767—1830) — французский писатель, автор знаменитого романа «Адольф» (1816). Так же, как Шатобриан и Сталь, принадлежал к врагам Наполеона.

*Поццо ди Борго*. — См. примечание к стр. 97 («Признания»).

*Штейн* Генрих-Фридрих (1757—1831) — крупный немецкий политический деятель, подвергавшийся преследованиям со стороны Наполеона. Участник антинаполеоновских войн 1813—1815 годов.

Стр. 181. *Даже Бурбоны становятся завоевателями!* — В 1830 году Алжир был завоеван Францией.

Стр. 182. *Лафайет*. — См. примечание к стр. 104 («Признания»).

*Ван Амбург* Исаак — популярный во времена Гейне американский укротитель зверей.

*Монтионовская премия*. — См. примечание к стр. 95 («Признания»).

*Roi d'Ivetot* — персонаж из французской средневековой легенды; добрый и скромный властитель маленького города-королевства Ивето в Нормандии, где царил свобода и был лишь один палог — па вино.

*Гизо Франсуа* (1787—1874) — французский буржуазный историк и реакционный политический деятель; министр иностранных дел и премьер-министр при Луи-Филиппе.

Стр. 183. *Тарквинии* — последняя царская династия в древнем Риме (VII—VI вв. до н. э.).

Стр. 184. *Генрих V.* — Так именовали легитимисты графа Шамборского (1820—1883), внука низложенного французского короля Карла X.

Стр. 185. *В обеих странах правит дух революционный...* — Мысль о революционности русского самодержавия Гейне высказывал еще в «Путевых картинах» (см. т. 4 настоящ. издания, стр. 224 и соответствующее примечание). Подобные иллюзии писателя, от которых он впоследствии отказался, объяснялись его смутными представлениями о состоянии общественной жизни тогдашней России.

*Людовик Капет* — имя короля Людовика XVI после его свержения с престола в 1792 году.

*Консьержери* — тюрьма, находившаяся во Дворце правосудия в Париже, в которой был заточен перед казнью Людовик XVI.

Стр. 186. *...умирает от фамильной болезни...* — Намек на насильственную смерть императоров Петра III и Павла I.

*Кюстин Астольф* (1793—1857) — французский писатель, автор четырехтомного труда «Россия в 1839 году» (1843), в котором он дал картину нравов высшего светского общества России.

*Маркиз* — Кюстин.

*...отрекается Константин.* — Имеется в виду великий князь Константин Павлович, брат российского императора Александра I.

*Революция выступает здесь в короне...* — См. примечание к стр. 185.

Стр. 187. *«Moniteur»* — французская правительственная газета (1789—1868). Ее комплекты являются важнейшими источниками сведений об истории Великой французской революции и наполеоновской империи.

*Геродот начал гениально.* — Первопричину вражды греков с персами древнегреческий историк Геродот усматривал в похищении красивых женщин: Ио, Европы, Медеи и Елены.

Стр. 188. *Ксантиппа* — жена древнегреческого философа Сократа, прославившаяся своей сварливостью.

...исдобен дожу, сочетающемуся браком с Адриатическим морем... — Согласно обычаям старой Венеции, венецианский дож раз в год отплывал на позолоченном корабле, чтобы, бросив кольцо в воду, сочетаться браком с морем.

Стр. 189. *Кадм* — в греческой мифологии сын финикийского царя. По совету Паллады посеял зубы убитого им дракона, из которых выросли войны, убивавшие друг друга. Согласно преданию, Кадм принес в Грецию искусство письма и обработки металлов.

Стр. 190. *Солон* (638—559 до н. э.) — древнеафинский политический деятель и законодатель.

Стр. 191. *Клад Нибелунгов* — в германских сказаниях несметный клад, принадлежавший гномам (Альбериху и Нибелунгу). Им овладел герой Зигфрид, победив дракона.

Стр. 192. *Абеляр Пьер* (1079—1142) — французский философ и богослов, учение которого было объявлено еретическим. *Элоиза* — юная племянница каноника Фульбера, возлюбленная Абеляра.

*Иаков* — библейский патриарх.

Стр. 193. *Дюпре Жильбер-Луи* (1806—1896) — выдающийся парижский тенор, рано потерявший голос.

*Таис* — танцовщица в Александрии, уговорившая, как гласит предание, Александра Македонского поджечь *Персеполь*, столицу персов (331 до н. э.).

Стр. 194. *Меттерних*. — См. примечание к стр. 97 («Признания»).

Стр. 195. *Агасфер*. — См. примечание к стр. 42 («Доктор Фауст»).

Стр. 196. *Кальмонис*. — См. примечание к стр. 28—29 («Доктор Фауст»).

*Орфей* — в греческой мифологии певец, растерзанный в горах Фракии бесновавшимися ночью вакханками.

*Фанни Эльслер* (1810—1884) — блистательная австрийская танцовщица.

## МЕМУАРЫ

Замысел «Мемуаров» возник у Гейне очень рано — первые упоминания о них относятся еще к 1823 году (см., например, в настоящ. томе письма к Иммануэлю Вольвилю и к Мозесу Мозеру, стр. 302 и 336). Умение Гейне рассматривать события своей частной жизни и судьбу близких ему лиц в свете больших идей,

соотносить их с общим характером взаимоотношений людей в буржуазном обществе уже в те годы навело его на мысль создать произведение мемуарного жанра, в котором рассказ о себе и своих современниках воссоздал бы картину эпохи. Несмотря на сравнительно небольшой жизненный опыт, Гейне смог оценить общезначимость своей материальной зависимости от «клана» богатых родственников в Гамбурге, от семьи банкира-миллионера Соломона Гейне, и в его «Мемуарах» кругу его родных должно было быть отведено значительное место.

Гейне работал над «Мемуарами», или, во всяком случае, действительно собирал нужные ему материалы, в 1823—1825 и 1830 годах. С особым подъемом он писал «Мемуары» в 1837 году, когда впервые возникла возможность опубликовать их в ближайшее время: немецкий книготорговец Шейбле предложил тогда Гейне выпустить собрание его сочинений, включив в него в качестве первого тома автобиографию поэта. Это издание не состоялось, но Гейне продолжал вдохновенно работать над «Мемуарами». «День и ночь я работаю над новой книгой, романом о моей жизни...» — писал он Юлиусу Кампе, убеждая его издать «Мемуары», в письме от 17 марта 1837 года.

За истекшие годы «Мемуары», которые Гейне, как он сам писал, подобно старьевщику, сшивал из лоскуточков, превратились в большое целостное произведение с огромным историческим диапазоном. Гейне подчеркивал, что в своих «Мемуарах» он дал картины «современной истории в важнейших ее моментах», охватил «всю современную жизнь, положение в Германии вплоть до Июльской революции, запечатлел все, что открылось ему как художнику, который в течение последних лет пребывал «в фойе политической и социальной революции» (письмо к Кампе от 1 марта 1837 года).

Но Кампе со свойственной ему осторожностью и расчетливостью не откликнулся на предложение Гейне. Этот факт имел роковое значение для дальнейшей судьбы «Мемуаров» Гейне — он явился начальным звеном в цепи событий, которые привели в конце концов к гибели первого варианта «Мемуаров» (четыре тома).

Тяжелые обстоятельства дальнейшей личной жизни Гейне определили и участь его труда. Неизлечимая болезнь поэта с середины 40-х годов лишила его обычной работоспособности; его силы подрывались и мучительными материальными затруднениями, еще более осложнившимися после смерти Соломона Гейне, когда его наследник, Карл Гейне, отказался выплачивать поэту

прежнюю ежегодную ренту. Угрожавшая Гейне нищета заставила его согласиться на предъявленные ему требования: он обязался не печатать без ведома Карла Гейне ничего такого, что имело отношение к гамбургским родственникам. Поэт очутился теперь перед альтернативой: он должен был либо искалечить «Мемуары», выбросив из них целые куски, либо вообще отказаться от их издания.

После революции 1848 года, когда менялись его философские и религиозные взгляды (см. в настоящ. томе комментарии к «Признаниям»), Гейне уничтожил большую часть своих «Мемуаров», и до нас дошел лишь фрагмент об Июльской революции во Франции, который писатель еще раньше, в 1840 году, включил в свою книгу «Людвиг Берне» (см. т. 7 настоящ. издания, стр. 32—53).

И все же отказаться от «Мемуаров» Гейне не мог. Последние годы своей жизни, в «матрачной могиле», он вновь начал упорно писать мемуары, пока смерть не прервала эту работу. По свидетельству немецкого писателя А. Мейснера, бывшего одно время секретарем Гейне в Париже, после смерти поэта он видел три рукописных тома «Мемуаров». Мы располагаем ныне лишь помещенным здесь фрагментом, который, когда умерла жена Гейне, был продан ее адвокатом, неким Анри Жюлиа, издательской фирме «Гофман и Кампе» и затем был впервые опубликован Эдуардом Энгелем в 1884 году в книге «Мемуары, вновь собранные стихотворения, проза и письма Генриха Гейне» («Heinrich Heines Memoiren, neugesammelte Gedichte, Prosa und Briefe»).

Как попал данный фрагмент к Анри Жюлиа и что произошло с остальными частями рукописи, судить трудно. По всей вероятности, она была уничтожена братом поэта Максимилианом Гейне, который ревниво «охранял» честь семьи. Прекрасный литературный документ целой эпохи погиб, по-видимому, безвозвратно.

«Мемуары» в их втором варианте — последнее прозаическое произведение Гейне. Жанр мемуаров с их свободным расположением эпизодов, с ни чем не регламентируемым чередованием очерка, лирической новеллы, портрета и философского рассуждения оказался благоприятным для художественной манеры Гейне. В «Мемуарах» полно и ярко выявилось характерное для Гейне слияние в его творческом облике лирического поэта и публициста с широким политическим и философским кругозором. Оно определило масштабы изображения и образную, метафорическую манеру письма.

Гейне создает здесь прекрасные, подлинно реалистические портреты своих близких, в которых обычная для него ирония не

снижает персонаж, а лишь ставит его в конкретную историческую перспективу социальной и культурной жизни Германии на рубеже XVIII—XIX веков. Наиболее ярко выписан на страницах «Мемуаров» портрет отца поэта, Самсона Гейне, от каждой черты физического и духовного облика которого протянуты нити к общим обстоятельствам немецкой жизни той эпохи.

В свете очень важных для себя мыслей о преемственной связи поколений («Каждое поколение — продолжение предшествующих и ответственно за их дела», стр. 221), о наличии в современной культуре самых разнообразных напластований Гейне рассматривает зарождение и формирование своей собственной поэтической личности.

Портреты членов семьи Гейне и ван Гельдернов даны на пестром и разнообразном фоне народной жизни. Уличные мальчишки, бедняки, мелкий люд города Дюссельдорфа со своими нравами и обычаями — неотъемлемая составная часть общей идейной и эмоциональной атмосферы «Мемуаров».

«Мемуары» позволяют установить, что первоначально Гейне познакомился с фольклором не через книги и не благодаря поэтам-романтикам, а непосредственно общаясь с простым народом. Именно стихия народной песни и сказки, а не изучение классической просодии в лицее вдохновляла юношу Гейне, подсказывала ему его первые стихотворения. В отличие от поэтов романтической школы восхищение искусством немецкого народа никогда не приводило его к идеализации патриархальных общественных отношений в Германии. Напротив, народная поэзия питала демократизм Гейне. Глубоко многозначителен в общем контексте «Мемуаров» лирический эпизод о прекрасной дочери палача, напевающей старинные народные песни, о Зефхен, которая для юного Гейне становится как бы олицетворением народной Германии.

В недрах народного творчества и народной жизни черпал Гейне то жизнеутверждающее мироощущение, которое в дальнейшем получило у него обоснование в условно-образной категории «эллинства».

Даже из этого незаконченного повествования становится явным, как перекрестное влияние культуры французского Просвещения, освободительных идей Великой французской революции и немецкой народной поэзии позволило Гейне уже в юности подняться над узким кругозором феодальной Германии и найти подлинные национальные истоки для своего творчества.



Стр. 203. ...в *«Итальянском путешествии»* гофрата Морица... — Гейне подразумевает книгу «Путешествия немца по Италии» (1792—1793) писателя Карла-Филиппа Морица (1757—1793).

...из уст почтенного духовного лица... — Гейне имеет в виду Якоба Шальмайера, ректора Дюссельдорфского лицея, где Гейне учился с 1808 по 1814 год (см. отзыв о нем в «Признаниях», стр. 134—135 настоящ. тома).

...я родился... в городе, где в пору моего детства господствовали не только французы, но и французский дух. — Родной город Гейне Дюссельдорф при жизни поэта дважды был оккупирован французами: с 1795 по 1801 год в нем находились армии революционной Франции, а с 1806 по 1813 — наполеоновские войска. О пребывании наполеоновских солдат в Дюссельдорфе Гейне рассказывает в «Путевых картинах» («Книга Ле Гран»).

Стр. 204. *Квинтилиан* Марк Фабий (ок. 35 г. — 95 г.) — теоретик ораторского искусства в древнем Риме. Его основной труд — «Наставление в красноречии».

*Флешье* Эспри (1632—1710), *Массильон* Жан-Батист (1663—1742), *Бурдалу* Луи (1632—1704) — французские теологи и проповедники.

*Боссюэ*. — См. примечание к стр. 155 («Мысли, заметки, импровизации»).

*Батте* Шарль (1713—1780) — французский аббат, известный эстетик и педагог.

*Прокруст* — в греческой мифологии разбойник, который укладывал пленников на особое ложе; тем, кому ложе было коротко, он обрубал ноги, а у тех, кому оно было длинно, он растягивал суставы.

Стр. 205. *Тевтобургский лес* — лес на северо-западе Германии, где вождь германского племенного союза херусков Арминий (точнее Герман) нанес крупное поражение римлянам (9 г.).

...переводить... речь *Кайафы* к *синедриону*, перелагая *гекзаметры* *Клопштоковой «Мессиады»*... — В четвертой главе «*Мессиады*» (см. примечание к стр. 102, «Признания») *Кайафа*, первосвященник в Иерусалиме, обращается с речью к *синедриону* (совету старейшин в древней Иудее) с призывом осудить Иисуса Христа.

*Благодаря... моей матери...* — Мать поэта Бетти Гейне, урожденная ван Гельдерн (1771—1859), была просвещенной женщиной, имевшей свои педагогические идеалы, сложившиеся под влиянием идей Руссо.

Стр. 206. *Дочь одного фабриканта-металлурга.* — Речь идет о жене наполеоновского маршала Сульта, герцога Далматского.

*Ротшильдов дом.* — См. примечание к стр. 176 («Мысли, заметки, импровизации»).

Стр. 207. *...мне пришлось... посещать контору банкира моего отца...* — В 1815 году Гейне работал во Франкфурте-на-Майне в конторе банкира Риндскопфа.

*...в качестве apprentice millionnaire...* — С 1816 года Гейне продолжал занятия коммерцией в Гамбурге у своего дяди-миллионера Соломона Гейне (1767—1844), крупнейшего гамбургского банкира, основавшего в 1818 году для Гейне мануфактурную фирму «Гарри Гейне и К<sup>о</sup>», которая через год обанкротилась. Банкротство фирмы показало полную непригодность будущего поэта к коммерческой деятельности.

Стр. 208. *Макельдей Фердинанд (1784—1834), Велькер Карл-Теодор (1790—1869)* — профессора права Боннского университета.

*Из семи лет, проведенных мною в немецких университетах...* — В 1819—1820 годах Гейне изучал право в Бонне, в 1820—1821 годах — в Геттингене, в 1821—1823 годах — в Берлине. После небольшого перерыва он в январе 1824 года возобновил свои занятия юриспруденцией в Геттингене и в июле 1825 года получил степень доктора прав. В свои университетские годы он преимущественно занимался филологией и историческими науками, уделяя им значительно больше внимания, чем юриспруденции.

*Corpus juris.* — См. примечание к стр. 128 («Признания»).

*Добрая женщина... рассказывалась, как мы видели выше...* — Место, на которое здесь ссылается Гейне, было уничтожено в рукописи братом поэта Максимилианом Гейне (см. введение к комментариям).

Стр. 209. *...была товарищем по занятиям своего брата...* — Речь идет об Иозефе ван Гельдерне (1765—1796), придворном враче курфюрста пфальцского.

*...приходилось читать своему отцу...* — Гейне имеет в виду своего деда Готшалька ван Гельдерна, врача в Дюссельдорфе.

Стр. 210. *Дитрих Граббе.* — См. примечание к стр. 167 («Мысли, заметки, импровизации»).

*...в биографии несчастного Дитриха Граббе...* — С книгой К. Циглера «Жизнь Граббе» (1855) Гейне ознакомился еще в рукописи, присланной ему Кампе для просмотра в 1854 году.

Стр. 211. *Книга «De l'Allemagne».* — См. в настоящ. томе введение к комментариям к «Признаниям».

Стр. 212. *Губиц Фридрих-Вильгельм (1786—1870)* — немецкий

литератор. Издавал с 1817 года журнал «Gesellschafter» («Собеседник»), в котором Гейне опубликовал свои статьи «О Польше» (1823), лирические стихотворения (1824) и «Путешествие по Гарцу» (1826).

*Г-жа фон Фарихаген.* — См. примечание к стр. 94 («Признания»).

Стр. 213. ...не имел повода стать «врачом своей чести», а будучи «стойким принцем»... — Намек на заглавия пьес испанского драматурга Кальдерона «Стойкий принц» (1636) и «Врач своей чести» (1637).

Стр. 216. «Сальпетриер» — больница для престарелых женщин в Париже.

Стр. 217. *Картезий* — латинизированное имя выдающегося французского философа-рационалиста, физика, математика и физиолога Рене Декарта (1596—1650).

*Парацельс.* — См. примечание к стр. 157 («Мысли, заметки, импровизации»).

*Ван Гельмонт* Иоганн-Баптист (1577—1644) — врач и философ, последователь Парацельса.

*Агриппа Неттесгеймский* (1486—1535) — философ-мистик и алхимик. В своем труде «De occulta philosophia» («Об оккультной философии», 1533) излагал учение о магии как совершенном знании, подчиняющем человеку мир демонов и духов.

*Тритхейм.* — См. примечание к стр. 28 («Доктор Фауст»).

*Мория* — холм в Иерусалиме, на котором библейским царем Соломоном был воздвигнут храм древних иудеев.

*Мозаизм* — древнееврейская религия, основанная на законах Моисея.

Стр. 218. *Кабала* — система еврейской религиозной философии, возникшая в начале средних веков вместе с развитием талмудизма.

*Хорив* — одна из вершин Синайской горной группы (см. примечание к стр. 121, «Признания»).

Стр. 219. *Рыцарь Гюон де Бордо* — герой старофранцузской поэмы «Гюон де Бордо» (ок. 1220).

Стр. 221. *Великая долговая книга будет... уничтожена в Исафатовой долине...* — См. примечание к стр. 135 («Признания»).

Стр. 221—222. ...он в своих мемуарах... заводит речь о своем деде с отцовской стороны... — Гейне в данном случае допускает ошибку: Гете в своем автобиографическом произведении «Поэзия и правда» (1811—1831) говорит о родственниках не со стороны отца, а со стороны матери, отец которой, Иоганн-Вольфганг

Текстор, был одним из наиболее влиятельных граждан Франкфурта. Дед Гете со стороны отца был портным, и Гете его лично не знал.

Стр. 222. *...починявшего старые штаны всей республике* — то есть всем жителям Франкфурта.

*Покойный отец...* — Отец Гейне, Самсон Гейне (1764—1828), был небогатым купцом в Дюссельдорфе.

*...в унылой школе при францисканском монастыре...* — Гейне имеет в виду Дюссельдорфский лицей, основанный в 1806 году на месте бывшей иезуитской школы, которым в последние годы руководили монахи францисканского монастыря.

Стр. 225. *Его дети... расцвели очаровательнейшей красотой...* — Гейне пишет о дочерях Соломона Гейне, Амалии и Терезе. Он был влюблен сначала в старшую сестру, затем в младшую, и оба раза несчастливо. Неудачная любовь поэта к своим кузинам нашла отражение в его «Книге песен».

*...нынешний глава банкирского дома...* — Имеется в виду Карл Гейне (см. о нем введение к комментариям).

*...и его сестра...* — Речь идет о Терезе Гейне, вышедшей в 1828 году замуж за злейшего врага поэта Адольфа Галле.

*Кошелек для волос* — мешочек из черной тафты, в который мужчины, согласно обычаям XVII—XVIII веков, укладывали косу.

Стр. 226. *Ватто* Антуан (1684—1721) — французский живописец и рисовальщик, выдающийся представитель стиля рококо в живописи.

*Г-жа де Помпадур* (1721—1764) — фаворитка французского короля Людовика XV.

*Криптоортодокс* — человек, тайно и неуклонно придерживающийся определенного убеждения или учения.

Стр. 227. *Принц Эрнст Кумберлендский* (1771—1851) — сын английского короля Георга III, в 1793—1795 годах — командующий ганноверской конницей в Нидерландах, с 1837 года — король ганноверский.

*Бреммель* Джордж-Брайан (1778—1840) — фаворит принца Уэльского, будущего английского короля Генриха IV. В свое время являлся законодателем мод в аристократических кругах Англии.

Стр. 229. *Рюдесгеймер и асмансхойзер* — сорта рейнских вин.

Стр. 229—230. *Семь греческих мудрецов* — Фалес Милетский, Биас Приенский, Питтак Митиленский, Солон Афинский, Клеобул из Линда, Периандр Коринфский и Хейлон из Спарты, жившие,

по всей вероятности, в VII—VI веках до н. э. Излагали свои мысли в кратких афоризмах, считались в античном мире образцом мудрости.

Стр. 230. *Лампсак* — название древнегреческого города. Упоминается здесь, очевидно, в целях иронии.

*Кельн* — это Тоскана классически дурного немецкого произношения... — Тосканское наречие является нормой для итальянского литературного языка.

*Кобес* (Якоб), *Мариццебилль* (Мария-Сивилла) — карнавальные маски, популярные в Рейнской области.

Стр. 231. ...зоолога, провозгласившего обезьяну родоначальницей человеческого рода... — Гейне, вероятно, имеет в виду известного французского естествоиспытателя Ламарка, создавшего теорию исторического развития органического мира. Ламарком впервые была высказана мысль о происхождении человека от обезьяны («Философия зоологии», 1809).

Стр. 232. ...*Гарри*... *Генрих*. — При крещении (28 июня 1825 года) Гейне вместо своего прежнего имени Гарри принял имя Христиан-Иоганн-Генрих.

Стр. 234. *Керубини* Луиджи (1760—1842) — итальянский композитор. С 80-х годов XVIII века жил в Париже.

Стр. 235. *Христина Бельджойозо* (1808—1871) — итальянская княгиня, писательница-патриотка, была причастна к освободительному движению против австрийского господства в Италии. В начале 30-х годов оказалась в Париже как политическая эмигрантка. По-видимому, Гейне познакомился с ней на собраниях сен-симонистов. К 1834 году у Бельджойозо оказалось много друзей в господствующих сферах Июльской монархии. Они добились через австрийского посланника снятия секвестра с поместий четы Бельджойозо в Ломбардии. Это позволило княгине приобрести под Парижем имение и замок Ла Жоншер и открыть здесь салон, в котором, кроме Гейне, бывали также министр Гизо, историк Минье, философ Кузен, композиторы Лист и Беллини, поэт Мюссе и многие другие. В 1848 году она приняла непосредственное участие в неудачном походе итальянских патриотов-эмигрантов против Австрии.

Христина Бельджойозо покровительствовала Гейне и поддерживала с ним дружбу до самой его смерти (см. в настоящ. томе письма Гейне к ней).

Стр. 236. *Ослица Валаама*. — См. примечание к стр. 148 («Мысли, заметки, импровизации»).

*Франц* — Франц фон Цукальмальо, товарищ Гейне по Дюс-

сельдёрфскому лицу. Ему посвящено стихотворение Гейне «Францу фон Ц.» (см. т. 1 настоящ. издания, стр. 190—191).

Стр. 238. ...тайная гвардия из старух, как некогда у покойного Робеспьера... — Намек на парижских женщин из народа, которые, обычно с вязанием в руках, присутствовали на заседаниях Конвента и революционного трибунала. Многие из них были страстно привержены Робеспьеру (так называемые *tricoteuses de Robespierre*).

Стр. 243. «*Take money in your pocket*». — Гейне неточно цитирует Шекспира («Отелло», I, 3). Яго говорит: «*Put money in the purse*» («Положи деньги в кошелек»).

Стр. 244. *Нума Помпилий* — полубоготворный царь древнего Рима (конец VIII в. — начало VII в. до н. э.). Согласно легенде, его советницей во всех государственных делах была мудрая нимфа *Эгерия*.

Стр. 245. «*Malleus maleficarum*» — книга, изданная в 1487 году в Страсбурге Якобом Шпрегером и Генрихом Крамерсом, папскими инквизиторами в Верхней Германии. Представляла собой своего рода наставление для судей при ведении так называемых ведовских процессов.

...Шейбле... в своем «Монастыре»... — Шейбле, знакомый Гейне книгоиздатель, выпустил многотомное собрание старинных историй под названием «Монастырь». В состав книги входили, например, народная книга о Фаусте и кукольные комедии. См. также введение к комментариям к «Доктору Фаусту» (стр. 604 настоящ. тома).

Стр. 246. *Ниобея* — в греческой мифологии мать целого сонма прекрасных дочерей и сыновей.

«Свидения» — юпошеские стихи Гейне, которыми открывается «Книга песен». Под впечатлением знакомства с Зефхен написаны 2, 6, 7, 8 и 9 стихотворения этого цикла (см. т. 1 настоящ. издания, стр. 6—21).

Стр. 249. *Фруассар* Жан (1337 — ок. 1405) — французский летописец и поэт. Написанная им «Хроника» охватывает события во Франции, Англии, Шотландии и Испании за 1325—1400 годы.

Стр. 253. ...напоминает гипсовую маску Мирабо... — Онопор-Габриель Мирабо (1749—1791), деятель Великой французской революции, был обезображен оспой.

...после славных Июльских дней... — то есть после событий июльской революции 1830 года во Франции.

...Репутацию величайшей трагической актрисы. — Гейне намекает на бурную, исполненную превратностей судьбу Элизы Рапшель (см. примечание к стр. 163, «Мысли, заметки, импровизации»).

## ПИСЬМА 1816—1836 ГОДОВ

Письма Гейне являются существенным дополнением к его литературному наследию. Знакомство с ними в значительной мере способствует более полному выявлению творческого и общественного облика великого поэта. В какой-то мере эти письма восполняют также пробел в автобиографическом материале, образовавшийся в связи с утратой большей части рукописи «Мемуаров» Гейне, над которыми он работал в течение всей своей жизни и которые дошли до нас только в виде небольшого отрывка, с сильнейшими искажениями (см. в настоящ. томе введение к комментариям к «Мемуарам»).

Относительно обширное собрание писем Гейне (9 и 10 тома настоящ. издания), охватывающее все периоды жизни писателя с девятнадцатилетнего возраста и включающее в себя свыше одной трети всех сохранившихся писем Гейне, появляется на русском языке во второй раз. В изданиях, выходящих у нас в досоветское время, раздел писем отсутствовал, и первое собрание писем было помещено в двух последних томах двенадцатитомного «Полного собрания сочинений Генриха Гейне» («Academia», М. — Л., 1935 и 1936). В основу работы по составлению этих томов было положено первое немецкое издание собрания писем Гейне под редакцией Фридриха Хирта (1914). Тем временем на родине поэта продолжалась работа по разысканию, опубликованию и текстологическому уточнению его эпистолярного наследия, результатом которой явился выход в свет под той же редакцией нового, наиболее полного и в текстологическом отношении наиболее авторитетного издания (H. Heines Briefe. Erste Gesamtausgabe, nach den Handschriften herausgegeben, eingeleitet und erläutert von Friedrich Hirth. Florian Kupferberg-Verlag, Mainz, 1951—1952).<sup>1</sup> Это дало возможность обновить состав настоящего собрания писем Гейне в русском переводе по сравнению с предыдущим изданием, в пер-

<sup>1</sup> В трех последних томах этого шеститомного издания содержится комментарий, ценный в отношении литературных реалий (например, сведений об откликах в печати на произведения Гейне), но зачастую неверно, по-объективистски близоручо толкующий содержание публикуемых писем.

вую очередь — за счет включения ранее неизвестных писем, относящихся главным образом к парижскому периоду жизни Гейне. В состав собрания вошел также ряд известных уже по первому сборнику Хирта, но не переведившихся до сих пор писем, знакомство с которыми представляется полезным для выявления творческого и общественного облика Гейне. В то же время издательство сочло возможным отказаться от повторной публикации перевода довольно значительного количества сравнительно второстепенных писем.

В настоящем томе впервые публикуются в русском переводе письма 1, 3, 4, 9, 19, 20, 29, 37, 39, 46, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 67, 69, 70, 73, 77, 78, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 94, 95, 98, 99, 105, 106, 109, 110, 111, 116, 120, 121, 123, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 140, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 164, 165, 166, 169 и 178. Письмо 70 (единственное сохранившееся письмо к Эдуарду Гансу), не вошедшее в собрание Хирта, публикуется по автографу, хранящемуся в рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

#### 1. ХРИСТИАНУ ЗЕТЕ

Настоящее письмо является самым ранним из дошедших до нас писем Гейне. Оно было послано им из Гамбурга, где молодой поэт скрепя сердце изучал коммерцию в конторе своего дяди, банкира Соломона Гейне, в родной Дюссельдорф.

Оба стихотворения, встречающихся в тексте, были, по-видимому, написаны Гейне специально для данного письма (ср. т. 1 настоящ. издания, стр. 303).

Стр. 257. *Христиан Зете* (1798—1857) — закадычный друг и долгодетный товарищ Гейне по школе (лицею). В 1819 году друзья снова встретились на юридическом факультете в Бонне, однако в течение следующих лет дружба их постепенно остывала. Позднее Зете служил по судебному и финансовому ведомствам. Памятником их дружбы является посвященный Зете ранний цикл «Фресковых сонетов», вошедший в «Книгу песен» (см. т. 1 настоящ. издания, стр. 50—54).

Стр. 258. *Оттензен* — деревня близ Гамбурга, где находилась загородная вилла Соломона Гейне.

...прикованный сердцем к могиле той, где спал немецкий певец святой. — Увлечение молодого Гейне поэзией Клопштока (см. о нем примечание к стр. 102, «Признания») показательным для настроений патристической немецкой молодежи тех лет. Оно



относится не столько к «Мессиаде», сколько к одам Клопштока, к гражданской и патриотической лирике, к мотивам, обличающим немецких князей, призывам к объединению Германии и т. д. Позднее Гейне осудил лирическую экзальтацию Клопштока, легко переходящую в абстрактность.

*Молли.* — Так Гейне называет свою двоюродную сестру Амалию (см. примечание к стр. 225, «Мемуары»).

*Цукальмальо.* — См. примечание к стр. 236 («Мемуары»).

Стр. 258—259. *Леви, Пелман, Уццер, Логнер, Вюннеберг* — личные друзья Гейне и Зете.

## 2. ХРИСТИАНУ ЗЕТЕ

Стр. 259. *...от яйца Леды до падения Трои.* — Согласно греческой мифологии, из яйца Леды появилась на свет Елена Спартанская, из-за которой произошла Троянская война. Выражение означает: с самого начала до самого конца.

*Молли, М... М...и.* — См. примечание к стр. 258.

*Шальмайер* Якоб — ректор Дюссельдорфского лицея, первый учитель Гейне и Зете по философским предметам. Гейне часто с большой теплотой говорит о нем (в «Книге Ле Гран», «Признаниях», «Мемуарах» и др.).

Стр. 260. *Concedo* — термин логики, означающий согласие с аргументами противника в споре.

*Quand on a tout perdu...* — цитата из трагедии Вольтера «Ме́ропа» (II, 7).

Стр. 261. *Нет, конечно! Одно осталось мне...* — цитата из драмы Гете «Торквато Тассо» (V, 5). Гейне находит аналогию между своим положением в доме богача, дяди Соломона, и трагическим положением поэта Тассо при феррарском дворе: кухня Амалия так же недостижима для него, как принцесса Леонора — для великого итальянского поэта в драме Гете.

Стр. 262. *Блюхер.* — См. примечание к стр. 97 («Признания»). Восторженное отношение молодого Гейне к Блюхеру было недолговечным (см. письмо 87).

Стр. 263. *«Будьте как дети»* — слова, с которыми, согласно легенде, Христос обратился к своим ученикам (евангелие от Матфея, гл. XVIII).

## 3. АМАЛИИ ГЕЙНЕ

Эта запись в альбоме — единственная сохранившаяся строчка Гейне, непосредственно адресованная кухне Амалии.

#### 4. ШАРЛОТТЕ ГЕЙНЕ

Настоящее письмо — первое из сохранившихся писем студента Гейне (с декабря 1819 года он учился на юридическом факультете в Бонне).

Стр. 264. *Шарлотта Гейне*, в замужестве Эмбден, — единственная сестра поэта, который был старше ее на три года. Гейне дружил и переписывался с Шарлоттой в течение всей своей жизни.

...как проходил ваш отъезд. — Отец поэта Самсон Гейне переселился из Дюссельдорфа в Люнебург. Переезд был вызван расстройством дел Самсона Гейне и его заболеванием.

#### 5. ФРИДРИХУ ФОН БЕЙГГЕМУ

Стр. 265. *Фридрих фон Бейггем* — студент-юрист. Когда Гейне с ним подружился, Бейггем уже заканчивал курс в Боннском университете; весной 1820 года он получил должность при суде в Гамме (Вестфалия). Помимо шутливого сонета, открывающего это письмо (ср. т. 1 настоящ. издания, стр. 309), Гейне посвятил Бейггему также сонет «Ночь на Драхенфельзе» (там же, стр. 189) и стихотворение «Взгромоздясь на Роландсек» (там же, стр. 309).

«Музы и груди» («Musen und Busen») — яркий пример шаблонной немецкой рифмы, вроде русской «любовь» и «кровь». Гейне добродушно иронизирует над поэтическими опытами своего старшего друга, который в дальнейшем преуспел на служебном поприще, но не в поэзии.

...четырнадцатихвостной плетью сонета. — Как известно, сонет состоит из четырнадцати строк.

*Шлегель*. — См. примечание к стр. 30 («Доктор Фауст»).

Стр. 266. *Статский советник* — лицейская кличка Христиана Зето (см. примечание к стр. 257).

Стр. 266—267. *Беллинг, Даниэльс, Шоппен* — боннские студенты из Дюссельдорфа.

*Пелман*. — См. примечание к стр. 258—259.

Стр. 267. *Штейнман* Фридрих-Арнольд (1801—1875) — юрист и литератор. Посещал в Дюссельдорфе ту же школу, что и Гейне, но подружился с ним только в Боннском университете. Личные отношения между Гейне и Штейнманом прекратились в 1825 году, что, однако, не помешало Штейнману в течение всей своей жизни выдавать себя за интимного друга поэта, печатать без разрешения Гейне его письма (с 1834 года) и т. д. В 1861 году Штейнман опубликовал, якобы на основе материалов архива покойного поэта, семьдесят три письма Гейне, из числа которых свыше сорока при-

знаны явно подложными, как и подавляющее большинство «Стихотворений Гейне», напечатанных Штейнманом в том же году.

*Еврей* — прозвище Иозефа Нойнцига, студента из Дюссельдорфа.

*Приц Витгенштейн* — студент из Вестфалии.

*Поэт* — прозвище Жана-Батиста Руссо, боннского студента-филолога, горячего поклонника Гейне. Впоследствии Руссо напечатал множество стихотворений, был неутомимым организатором альманахов, сборников, издателем журналов, критиком. Не лишённый дарования, Руссо на протяжении всей жизни терпел жестокую нужду. Гейне посвятил этому энтузиасту поэзии два совета (см. т. 1 настоящ. издания, стр. 188 и 310).

## 6. ФРИДРИХУ ШТЕЙНМАНУ И ЖАНУ-БАТИСТУ РУССО

Письмо написано вскоре после того, как Гейне перевелся из Боннского в Геттингенский университет.

Стр. 267. *Фридрих Штейнман; Жан-Батист Руссо*. — См. примечания к предыдущему письму, стр. 267.

*...закончить третий акт моей трагедии...* — Речь идет о трагедии «Альманзор».

Стр. 268. *Бейль* (Veul) — деревня на Рейне, близ Бонна. Летом 1820 года, перед отъездом в Геттинген, Гейне начал здесь писать трагедию «Альманзор».

*«Институции»* — популярный в те годы комментарий к древнейшим (доюстиниановским) памятникам римского права «институциям», написанный *Макелдеем* (см. примечание к стр. 208, «Мемуары»).

*Георгия-Августа* (Georgia Augusta) — официальное название Геттингенского университета, данное в память «основателя» его, ганноверского курфюрста Георга-Августа (он же английский король Георг II).

*Знай зубри, юнец, упорно...* — Эти стихи были, по-видимому, написаны Гейне для данного письма (ср. т. 1 настоящ. издания, стр. 310).

*Лебединая песня Сафо*, — трагедия выдающегося австрийского драматурга Франца *Грильпарцера* (1791—1872) «Сафо» (1818). Героиня этой трагедии — древнегреческая поэтесса Сафо.

Стр. 269. *Аристотелев дуэльный кодекс*. — Гейне называет так в шутку «Поэтику» Аристотеля.

*Поэт*. — См. примечание к предыдущему письму, стр. 267.

Стр. 270. *...во вкусе Фолленов*. — Гейне имеет в виду братьев

Фоллен, авторов сборника стихов «Вольные голоса бодрой молодежи» (1819).

*Венок сонетов* — восемь сонетов Ж.-Б. Руссо, посвященных Гейне.

*Шульц и Вундерман* — издатели журнала «Rheinisch-westfälischer Anzeiger» («Рейнско-вестфальский вестник») и приложения к нему «Kunst- und Wissenschaftsblatt» («Газета искусства и науки»). В названном приложении, начиная с 1820 года, были напечатаны отдельные стихотворения и статьи Гейне.

*Глеймовская школа* — то есть школа Иоганна-Вильгельма-Людвига Глейма (1719—1803), одного из родоначальников немецкой «легкой» поэзии — анакреонтики. Глейм является также автором «Прусских военных песен, сочиненных гренадером».

Стр. 271. *Хундесхаген* Хельфрих-Бернгардт — приват-доцент Боннского университета, историк архитектуры; поклонник немецкого старинного зодчества и народной песни.

#### 7. ФРИДРИХУ-АРНОЛЬДУ БРОКГАУЗУ

Стр. 271. *Фридрих-Арнольд Брокгауз* (1772—1823) — основатель и глава известной лейпцигской книгоиздательской фирмы. Предложение Гейне было отклонено Брокгаузом.

Стр. 272. «*Страж*» — журнал «Hamburgs Wächter» («Гамбургский страж»), напечатавший в 1817 году шесть стихотворений Гейне.

...в прилагаемой статье. — Вероятно, речь идет о статье Гейне «Романтика» (см. т. 5 настоящ. издания, стр. 7—9), напечатанной в августе 1820 года в «Газете искусства и науки».

#### 8. ФРИДРИХУ ШТЕЙНМАНУ

Стр. 273. *Consilium abeundi* — вежливая форма постановления об исключении студента. Гейне был на шесть месяцев исключен из Геттингенского университета за дуэль со студентом Вибселем.

*Чуждый скорби, чая нег...* — Ср. т. 1 настоящ. издания, стр. 310. ...*взобратся на Геликон* (в греческой мифологии — обиталище муз) — то есть добиться успеха в поэзии, искусстве.

Стр. 274. ...*поговорю о своей собственной трагедии*. — Речь идет об «Альманзоре».

«*Федра*» — трагедия Расина (1677); «*Заира*» — трагедия Вольтера (1732); «*Ион*» — трагедия А.-В. Шлегеля (1803), переделанная из одноименной трагедии Еврипида. «Ион» Шлегеля, поставленный на сцене, провалился,

Стр. 275. *...в твоей драме...* — Речь идет об «Анне Клевской», которая осталась неопубликованной, как и другие драматургические опыты Штейнмана.

*Наследный принц Дании* — Гамлет.

*...словечко «прелестно», которое для меня... совершенно лишено прелести.* — В оригинале письма употреблено слово hold.

*...процесс нынешней английской королевы.* — Принцесса Каролина, жена Георга, наследника английского престола, еще в 1806 году была обвинена своим мужем в супружеской измене. Несмотря на то, что она была оправдана следственной комиссией и общественное мнение было на ее стороне, Георг, вступив на престол в 1820 году (Георг IV), не допустил ее коронования.

*Медея* — героиня греческого мифа об аргонавтах. Узвезенная, а затем покинутая Ясоном, которому она пожертвовала всем, она из мести убила своих детей. Трагическое сказание о Медео использовано многими драматургами и поэтами античности и эпохи Возрождения.

Стр. 276. *Поэт.* — См. примечание к стр. 267 (письмо 5).

*Дафна.* — Миф о превращении ее в лавровое дерево особенно широко известен из поэмы Овидия «Метаморфозы».

*...кто из студентов... перешел в католичество?* — В те годы феодально-церковной реакции переход из лютеранства в католичество был частым явлением.

*Я получил их обратно от Брокгауза...* — См. письмо 7 и комментарии к нему.

*Великий Гете... испытал то же самое.* — Гете издал свою первую драму «Гец фон Берлихинген» (1773) на собственные средства.

## 9. ГЕЙНХУ ШТРАУБЕ

Стр. 276. *Георих Штраубе* — литератор-романтик, с которым Гейне подружился в Геттингене. В 1818 году Штраубе издавал вместе с Хорнталем журнал «Die Wünschelrute» («Волшебная палочка»), в котором сотрудничали видные поэты-романтики и репутители немецкого фольклора: братья Гримм, Brentано, Арндт, Шваб и др. Кроме приведенного в настоящем письме стихотворения, которое Гейне впоследствии включил в «Книгу песен» под заглавием «Поистине» (см. т. 1 настоящ. издания, стр. 47), он посвятил Штраубе сонет (см. там же, стр. 49).

*... в моем большом эпосе о природе...* — Этот поэтический замысел Гейне не был осуществлен.

*«Манфред»* — драма Байрона (1817).

Конец письма не сохранился.

Стр. 277. *Ольдесло* — курорт близ Любска, в те годы — датская территория. Здесь лечился отец поэта.

Стр. 278. *Человечек с волшебной палочкой в руках* — Штраубе (см. примечание к стр. 276, письмо 9).

*Да, я смеюсь!*.. — Это стихотворение было напечатано позднее в «Книге песен», среди «Фресковых сонетов Христиану Зете» (см. т. 1 настоящ. издания, стр. 51).

*Куколка*. — Имеется в виду Амалия Гейне, сурово встретившая поэта, вновь посетившего Гамбург. Вскоре после этого, в августе 1821 года, она вышла замуж за землевладельца Фридендера.

*...из этих акватофановых глазок...* — Акватофана (Aqua tofana) — старинный смертоносный яд.

*Франсуа Ларошфуко* (1613—1680) — французский писатель, автор сборника скептических и пессимистических изречений «Максимы и моральные размышления» (1665).

Стр. 279. *Дульсинея Тобосская* — дама сердца Дон-Кихота в романе Сервантеса.

*Вальпургиева ночь*. — Согласно распространенному в Германии поверию, в ночь св. Вальпургии, с 30 апреля на 1 мая, ведьмы справляют шабаш на горе Брокен. Гете использовал это поверие в «Фаусте».

## II. ИОГАННУ-ВОЛЬФАНГУ ГЕТЕ

Стр. 280. «*Стихотворения*» Гейне были напечатаны в декабре 1821 года берлинским издательством Маурера. Это первый сборник лирики Гейне. Его состав в основном соответствует разделу «Страдания юности» позднейшей «Книги песен». Из дневника Гете известно, что «Стихотворения» он получил, однако на письмо Гейне не ответил. Весьма вероятно, что безучастно-неприятное отношение Гете к начинающему поэту было вызвано неблагоприятным впечатлением от этого первого сборника Гейне. Такие стихотворения, как №№ 5, 6, 9 из цикла «Сновидения» (см. т. 1 настоящ. издания, стр. 10—21) и многие другие, Гете, конечно, осудил. Он был в это время решительным противником пессимизма, «страшных» мотивов, экзальтации, «крайностей» и т. д. Подобные черты, распространенные в поэзии немецких романтиков, Гете объявлял болезненными, говорил о «лазаретной поэзии», с которой он ведет борьбу.

Стр. 280. *Мюльнер* Амандус-Готфрид-Адольф (1774—1829) — драматург, критик, издатель литературных журналов. Трагедия Мюльнера «Вина» («Die Schuld»), напечатанная в 1816 году, имела огромный сценический и читательский успех и сделала автора влиятельным в литературных кругах. «Вина» — типичный образец «трагедии судьбы» (см. об этом подробнее в комментариях к т. 1 настоящ. издания, стр. 367—368).

...преподнес своей возлюбленной. — Сохранился экземпляр «Вины», поднесенный Амалии, с дарственной надписью Гейне.

*Прилагаемый том стихов* — сборник «Стихотворения» (см. примечание к стр. 280, письмо 11).

### 13. ХЕЛЬФРИХУ-БЕРНГАРДУ ХУНДЕСХАГЕНУ

Стр. 281. *Хельфрих-Бернгард Хундесхаген*. — См. примечание к стр. 271 (письмо 6).

...сборника моих стихов... — Имеются в виду «Стихотворения» (см. примечание к стр. 280, письмо 11).

### 14. ХРИСТИАНУ ЗЕТЕ

Письмо написано под впечатлением обид, нанесенных Гейне при его переходе в Берлинский университет. Вероятно, речь идет о выходках националистов, которые вызвали у поэта временное раздражение против «всего немецкого». Перечисляя в этом же письме то, что он любит, Гейне, наряду с французской революцией, называет трех великих немецких писателей: Лессинга, Гедера и Шиллера. Таким образом, о расхождении Гейне с передовыми людьми Германии, с передовой ее культурой не может быть и речи. Симпатии Гейне к французской революции, несколько позднее получившие яркое выражение в «Горной идиллии» (т. 1 настоящ. издания, стр. 139—144), в «Книге Ле Гран» (т. 4 настоящ. издания) и т. д., всегда вызывали резкие нападки против него со стороны «французоедов».

Стр. 282. *Одна женщина* — Амалия Гейне.

*Поляк*. — Ойген фон Бреза, студент Берлинского университета, друг Гейне. Он — один из немногих, с кем Гейне сохранил дружескую связь до самой смерти.

*Новая трагедия* — «Вильям Ратклиф».

*Олья подрида* (Olla podrida) — испанское народное блюдо (смесь).

Стр. 283. *Клейн Иозеф* — гамбургский композитор, знакомый Гейне.

... *je passerai en Arabie...* — Мысль о переселении в Аравию — свидетельство горячего увлечения Гейне «Западно-восточным диваном» Гете (1819).

Стр. 284. *Mo'allakat* («Великолепная») — заглавие одного сборника арабской поэзии (стихи, сочиненные семью поэтами домагометанской эры). Гейне знал о нем из гетевских «Примечаний и исследований для лучшего понимания «Западно-восточного дивана» (1819).

... *Medchnun a soupiré après Leila*. — Меджнун и Лейла — герои старинной арабской легенды о разлученных и умирающих от любви друг к другу возлюбленных. Они неоднократно упоминаются в гетевском «Западно-восточном диване» — вероятном источнике Гейне. Благодаря поэмам Низами (XII в.) и Навои (XV в.) сюжет этот стал популярен в Азербайджане, Узбекистане и Иране.

«*Озорные годы*» (1804) — популярный роман немецкого писателя Иоганна-Пауля Рихтера (1763—1825), называвшего себя Жан-Полем.

#### 15. ЭРНСТУ-ХРИСТИАНУ-АВГУСТУ КЕЛЛЕРУ

Стр. 285. *Эрнст-Христиан-Август Келлер* (род. 1797) — молодой юрист, берлинский знакомый Гейне. Подписывал свои журнальные статьи по вопросам экономики и права псевдонимом *Гартман с Рейна*, что должно было вызывать воспоминание о немецком средневековом поэте Гартмане фон Ауэ.

*Сал-Суси* — дворец в Потсдаме, выстроенный Фридрихом II. Второе «*Письмо из Берлина*» — то есть письмо второе из серии «*Письма из Берлина*» (см. т. 5 настоящ. издания, стр. 46—70). Оно печаталось в приложении к «*Рейнско-вестфальскому вестнику*» в апреле-мае 1822 года.

«*Листок бесед*» — «*Konversationsblatt*» Брокгауза.

Стр. 286. *Окс... бодается...* — Имеется в виду муж Элизы фон Гогенхаузен, хозяйки одного из берлинских литературных салонов, переводчицы Вальтера Скотта и Байрона. Гейне ради каламбура присваивает ему девичью фамилию его жены Окс (*Ochs*) — «*der Ochs*» по-немецки означает «бык».

*Правительственное распоряжение* — вероятно, распоряжение об отмене льготы, освобождавшей издательство Брокгауза от цензуры.



## 16. ЭРНСТУ-ХРИСТИАНУ-АВГУСТУ КЕЛЛЕРУ

Стр. 286. *Гартман с Рейна.* — См. примечание к стр. 285.

...получив от меня письмо из Польши. — Осенью 1822 года Гейне гостил у своего друга Ойгена фон Бреца в Прусской Польше. В январе 1823 года в «Gesellschafter» Губица появилась статья Гейне «О Польше» (см. т. 4 настоящ. издания, стр. 91—117).

Стр. 287. ...милейший доктринер... — Гейне в шутку сближает немецкого либерала Келлера с так называемыми доктринерами, французскими умеренными либералами времен Реставрации (Руайе-Коллар, Гизо и др.).

*Красная земля* — старинное обозначение Вестфалии как главного района распространения средневековых тайных судилиц.

*Шоттки* Юлиус-Максимилиан (1794—1849) — профессор немецкого языка и литературы в Познани. См. высказывания Гейне о нем в статье «О Польше» (т. 4 настоящ. издания, стр. 114—116).

Стр. 288. ...любовь, с которой меня приняли мои земляки. — Речь идет о двух благожелательных рецензиях на сборник «Стихотворения», напечатанных в приложении к «Рейнско-вестфальскому вестнику». Одна из них была написана Карлом Иммерманом (см. следующее письмо и примечание к нему). Под «земляками» Гейне в данном случае подразумевает жителей Рейнской области и Вестфалии.

*Окс* — Элиза фон Гогенхаузен (см. примечание к стр. 286).

*Эдуард Ганс* (1798—1839) — юрист, ученик Гегеля. Позднее, в 1825 году, стал профессором Берлинского университета. Ганс пытался, опираясь на прогрессивные стороны философии Гегеля, основать новую школу в правовой науке. Во второй половине 30-х годов слушателем Ганса был молодой Карл Маркс. Ганс был также председателем берлинского «Общества культуры и науки евреев», основанного в 1819 году. По его рекомендации осенью 1822 года в «Общество» был принят Гейне.

Стр. 289. *Третье «Письмо из Берлина»* — то есть письмо третье из серии «Письма из Берлина» (см. т. 5 настоящ. издания, стр. 70—90).

## 17. КАРЛУ ИММЕРМАНУ

Стр. 289. *Карл Иммерман* (1796—1840) — крупный писатель, драматург, театральный деятель. Стремясь опереться на наследие Гете и Шиллера, отчасти увлекаясь и романтиками, Иммерман в то же время ищет в литературе путей к прямому и непосредственному изображению современности (романы «Эпигоны», 1836,

«Мюнхгаузен», 1839). В рецензии на «Воспоминания» («Mémoires-bilien», 1840) Иммермана молодой Энгельс отметил значение Иммермана и в то же время указал на противоречия в его творчестве.<sup>1</sup>

В 1822 году Гейне и Иммерман — начинающие писатели. В это время и позднее Иммерман состоял на прусской государственной службе по судебному ведомству.

...ваши исполненные любви к человечеству строки о моих «Стихотворениях»... — Имеется в виду рецензия Иммермана на сборник Гейне «Стихотворения», напечатанная 31 мая 1822 года в приложении к «Рейнско-вестфальскому вестнику».

«Трагедии» — первый сборник пьес Иммермана («Долина Ронсевалья», «Эдвин», «Петрарка»), изданный Шульцем и Вундерманом в 1822 году.

Стр. 290. «Бумажное окно» — «Бумажное окно отшельника» (1822), ранний роман Иммермана.

Христиан Зете. — См. примечание к стр. 257.

Пьеса о Гете и Пусткухене — сатира Иммермана «Совсем новая трагедия о патере Брей, лжепророке в квадрате» (1822). Опираясь в этой пьесе на фарс молодого Гете «Масленичное действо о патере Брей, лжепророке», Иммерман выступает против «обличителя» Гете, лютеранского пастора Пусткухена. В 1821 году, сразу же после опубликования первой части романа Гете «Годы странствий Вильгельма Мейстера», Пусткухен выпустил анонимно свое собственное продолжение гетевского романа «Годы учения Вильгельма Мейстера», также озаглавленное «Годы странствий Вильгельма Мейстера». Пусткухен «очищает» роман Гете от «греховных и безнравственных», с точки зрения церковной морали, мотивов, обращает героев первого романа о Мейстере на путь «добродетели» и т. д. Поповщина выступает здесь против широкого гуманизма Гете. Вокруг книги Пусткухена развернулась идейная борьба, в которую включился и Иммерман. Помимо упомянутой пьесы он опубликовал «Письмо к другу о подложных «Годах странствий Вильгельма Мейстера» и о добавлениях к ним» (1823). Известна серия юношеских эпиграмм К. Маркса против Пусткухена.<sup>2</sup>

Стр. 291. *Эленслегер* Адам-Готлоб (1779—1850) — датский поэт и драматург, глава скандинавских романтиков, автор

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., Госполитиздат, 1956, стр. 377—385.

<sup>2</sup> «Литературное наследство», № 4—6, М., 1932, стр. 936.

трагедии «Корреджио» и др. Гейне неоднократно восхищался произведениями этого хорошо известного в Германии поэта.

*Фарнхаген фон Элизе* Карл-Август (1785—1858) — видный литератор; либерал и поклонник французской революции, покинувший дипломатическую службу в 1819 году, в связи с установлением в Пруссии режима аристократической реакции. Фарнхаген видел свою задачу в том, чтобы сохранить для будущих поколений верную картину бурной эпохи, современником которой он являлся. Так возник его главный труд «Памятники-биографии» («Biographische Denkmale», 1824—1830). Здесь он дает характеристики многих выдающихся людей, с которыми он встречался, а также деятелей прошлого. В 1849—1858 годах вышли девять томов его «Воспоминаний» («Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften»).

Он и его жена Рахель (см. о ней примечание к стр. 94, «Признания») первыми обратили внимание на поэтическое дарование Гейне. Фарнхаген — автор первой благожелательной рецензии на сборник Гейне «Стихотворения» («Gesellschafter», 19 января 1822 года). Их дружеская переписка продолжалась до самой смерти поэта.

Фарнхаген, знавший русский язык, был одним из первых в Германии восторженных почитателей Пушкина.

#### 18. КАРЛУ ИММЕРМАНУ

Стр. 293. *...постараюсь... найти нового издателя.* — Вторая книга Гейне «Трагедии с лирическим интермеццо» вышла не у Маурера, а в издательстве Ф. Дюмлера (Берлин, 1823).

Стр. 294. «*Периандр*» — трагедия Иммермана «Царь Периандр и его семья» (1823).

*Фарнхаген.* — См. примечание к стр. 291.

*«Пусткухениана».* — См. примечание к стр. 290.

Стр. 295. *...за подписью Фридерика...* — При переходе в христианство Рахель Левин (Фарнхаген) сменила свое имя на имя 'Антония-Фридерика, но в кругу друзей и литераторов удержалось ее первое имя.

#### 19. ХРИСТИАНУ ЗЕТЕ

Интересно сопоставить это дружеское письмо с адресованной Зете враждебной декларацией в письме 14.

Стр. 297. *Прилагаю образчик из «Прямодушного»*. — В газете «Прямодушный» («Der Freimütige») от 18 января 1823 года было помещено издательское обращение к Гейне, высмеивавшее сотрудничество двух «бездарных» поэтов: Гейне и Иммермана. Оно было подписано явно фальшивыми инициалами.

## 21. МОРЦУ ЭМБДЕНУ

Стр. 298. *Мориц Эмбден* — гамбургский коммерсант, муж сестры Гейне Шарлотты. Его отношения с Гейне в дальнейшем сложились очень неблагоприятно.

Стр. 299. *...на улицах Лондона замерзло несколько человек...* — Это заявление перекликается с основной темой «Вильяма Ратклифа» и представляет интерес в свете позднейшего развития взглядов Гейне, его мыслей о целях революции, об «уничтожении бедности по всему лицу земли».

*Карбонарий* — член итальянского тайного революционного общества, боровшегося за национальное освобождение и за объединение страны.

*...я не принадлежу к демагогам...* — Словом «демагоги» прусская полиция и правительственная пресса обозначали всех недоброжелательных существующим режимом. Гейне проявляет здесь недоверие к немецким «демагогам», среди которых в те годы очень усилилось влияние крайних националистов (тевтономанов).

## 22. ИММАНУЭЛЮ ВОЛЬВИЛЮ

Стр. 299. *Иммануэль Вольвиль* (род. 1799) — друг Гейне по берлинскому «Обществу культуры и науки евреев». Он переселился в Гамбург, куда и адресовано письмо Гейне. В письме упоминаются члены этого общества: Эдуард Ганс (см. о нем примечание к стр. 288), Мозер, Фридендер (см. о нем подробнее ниже), Ауэрбах, Цунц, Маркус. Почти все они были убежденными гегельянцами.

*Вольфу, по прозванию Вольвиль!* — До 1822 года адресат носил имя Иоэля Вольфа.

Стр. 300. *...в новой его книге...* — Имеется в виду четырехтомный труд «Наследственное право во всемирно-историческом развитии» (1824—1835), над которым тогда работал Ганс.

«*Да Цин-люйли*» — «Свод законов и установлений Великой Цинской династии» (Китай). Составлен в 40-х гг. XVIII в.

...эти два китайца — переодетые австрийцы, присланные Меттернихом для участия в разработке нашей конституции... — Гейне осмеивает здесь беспочвенные надежды на введение в Пруссии давно обещанного королем представительного строя. Китай считался в начале XIX века страной абсолютного застоя.

*Фридлиндер* Давид (1750—1834) — философ-моралист, ученик Мозеса Мендельсона, друга Лессинга. Гейне осмеивает попытки Фридлиндера, Ауэрбаха и других мозольных операторов улучшить положение евреев путем «европеизации» иудейского богослужения, перевода его на немецкий язык, заимствования внешних форм у комедиантов (католических патеров) или лютеранских священников.

Стр. 301. ...отменив эдикт. — Речь идет о частичной отмене в Пруссии изданного в 1812 году эдикта о гражданских правах для евреев. 18 августа 1822 года последние вновь были лишены права преподавания в университетах и школах. Этим был, в частности, нанесен удар мечте Гейне о научной и преподавательской деятельности.

*Элиза фон дер Рекке* (1754—1833) — немецкая аристократка из Курляндии. Увлекалась в молодости мистикой, магнетизмом, «тайными науками». Позднее она издавала сборники религиозных песен и размышлений. Покровительствовала «Обществу культуры и науки евреев», в частности Фридлиндеру, который посвятил ей свою брошюру «О враждебном отношении немецких писателей и ученых к еврейству» (1820). Гейне иронизирует здесь над тем, что Фридлиндер пожаловался в этой брошюре на нанесенное ему историком и филологом Иоганнесом *Фойхтом* (1786—1863) личное оскорбление.

*Гаммония* — богиня-покровительница Гамбурга. Изображение Гаммонии как уличной девки отражает отношение поэта к Гамбургу. Этот образ вновь появляется у Гейне и в последних главах сатирической поэмы «Германия. Зимняя сказка» (1844).

*Говядина* (Rindfleisch) — на студенческом жаргоне — еврей (человек, не потребляющий свинины).

Стр. 302. *Сарматия* — древнегреческое и древнеримское наименование территории между Вислой и Волгой. В данном случае Гейне имеет в виду Польшу.

Стр. 303. ...изучал несемитическую часть Азии... — Гейне имеет в виду чтение трудов крупнейшего санскритолога Франца Боппа (1791—1867) об Индии.

*Вольф Фридрих-Август* (1759—1824) — знаменитый филолог-эллинист, автор книги «Пролегомены к Гомеру» (1795), в которой он выдвинул теорию происхождения «Илиады» и «Одиссеи» из многочисленных отдельных песен, сложенных не одним, а многими певцами.

*Великое герцогство Познанское* — часть тогдашней Прусской Польши.

### 23. КАРЛУ ИММЕРМАНУ

Стр. 306. *Ваша книжка о дуэлях...* — В 1817 году Иммерман, в то время студент в Галле, опубликовал две брошюры против дуэлей, вызвавшие шум: «Слово, достойное внимания» и «Последнее слово о ссорах студентов в Галле».

*Кавалер Блажь (Dunst) де ла Мотт-Фуке.* — Так Гейне иронически именуется барона Фридриха де ла Мотт-Фуке (см. о нем примечание к стр. 99, «Признания»).

Стр. 307. *...нож, который... распотрошил Пусткухена, сможет разделить и... зайца.* — См. примечание к стр. 290. Фамилия Пусткухен (Pustkuchen) означает в переводе «воздушный пирог».

*Брат г-жи фон Фарнхаген* (см. о ней примечание к стр. 94, «Признания») — Людвиг Левин, принявший фамилию Роберт (1778—1832), драматург («Власть условностей», «Дочь Иевфая», «Кассий и Фантазус, или Райская птица» и др.) и литературный критик, в свое время пользовавшийся известностью. Был членом кружка «Северная звезда» (вместе с Шамиссо, Фарнхагеном и Фуке). Гейне познакомился с ним в салоне его сестры.

*Рать ханжей из Лемго* — единомышленники Пусткухена. Последний проживал в вестфальском городке Лемго.

Стр. 308. *«Гермес»* — критический журнал лейпцигского издательства «Брокгауз», в котором печатались только рецензии на новинки научной литературы.

### 24. РАХЕЛИ ФАРНХАГЕН ФОН ЭНЗЕ

Посылая Рахели Фарнхаген экземпляр своих «Трагедий», Гейне пишет о своем духовном родстве с этой женщиной, видимо заключившей договор с временем (она была на 27 лет старше Гейне). Он развивает эту мысль, пользуясь мотивами сказки Э.-Т.-А. Гофмана «Повелитель блох» (встреча через столетия прекраснейшего и роскошнейшего из всех цветков с бедным чертополохом).

## 26. ЛЮДВИГУ УЛАНДУ

Настоящее письмо послано вместе с экземпляром «Трагедий с лирическим интермеццо».

Стр. 309. *Людвиг Уланд*. — См. примечание к стр. 159 («Мысли, заметки, импровизации»).

## 27. ЛЮДВИГУ ТИКУ

Стр. 310. *Людвиг Тик* (1773—1853) — один из виднейших представителей романтического направления в немецкой литературе, драматург, новеллист, автор романов, театральный деятель. К 20-м годам значительно ослабла связь Тика с реакционным крылом немецкого романтизма, столь характерная для его раннего творчества.

...к великому знатоку английского духа... — Тик изучал и переводил Шекспира и других драматургов елизаветинской эпохи.

## 28. ВИЛЬГЕЛЬМУ МЮЛЛЕРУ

Стр. 310. *Вильгельм Мюллер* (1794—1827) — даровитый лирический поэт демократического направления, испытавший сильнейшее влияние немецкой народной песни. Широко известны его песенные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимнее путешествие», положенные на музыку Францем Шубертом. Мюллер воспел также освободительную борьбу греков («Песни греков», 1821). В 1822 году в журнале «Literarisches Konversationsblatt» Мюллер опубликовал благожелательную, хотя и сдержанную рецензию на семнадцать стихотворений Гейне, напечатанных в журнале «Аврора».

...к любителю охотничьего рога... — В 1821 году вышел сборник В. Мюллера «Семьдесят семь стихотворений из посмертных бумаг странствующего любителя охотничьего рога».

## 29. МАКСИМИЛИАНУ ШОТТКИ

Стр. 310. *Максимилиан Шоттки*. — См. примечание к стр. 287.

Стр. 311. *Сарматия*. — См. примечание к стр. 302.

То, что я высказал по этому поводу в «Собеседнике»... — Гейне имеет в виду свое высказывание о профессоре Шоттки в статье «О Польше» (см. т. 5 настоящ. издания, стр. 114—116).

Предоставляю на ваше усмотрение назвать мое имя... —

Статья Гейне «О Польше» была подписана следующим образом:  
— — — — е.

*Прилагаемая книга — «Трагедии с лирическим интермеццо».*

Стр. 312. *...ваши короткие австрийские танцевальные стишки с эпиграмматической концовкой.* — Шоттки издал сборник австрийских народных песен.

### 30. ФРИДРИХ ДЕ ЛА МОТТ-ФУКЕ

Стр. 313. *Фридрих де ла Мотт-Фуке.* — См. примечание к стр. 99 («Признания»).

*...застало меня здесь, в лоне семьи...* — См. примечание к стр. 264.

*...прекрасную песнь, которой вы прославили мои темные страдания...* — Под впечатлением «Лирического интермеццо» Фуке посвятил Гейне стихотворение, в котором он выражал сочувствие к сердечным мукам юного поэта. Внимание Фуке, находившегося в то время в зените своей популярности, естественно было высоко оценено Гейне и вызвало его благодарность. Значительно более трезвый и критический отзыв о Фуке содержится в письме Гейне к Иммерману (письмо 31), датированном тем же числом, что и письмо к Фуке, а также в позднейшей его работе «Романтическая школа» (см. т. 6 настоящ. издания, стр. 251—254).

### 31. КАРЛУ ИММЕРМАНУ

Стр. 315. *Город Книппердоллинга* — Мюнстер, в котором жил в то время адресат. Бернд Книппердоллинг — один из руководителей мюнстерской коммуны анабаптистов (1533—1535). Гейне и в дальнейшем сочувственно вспоминал эту последнюю вспышку Великой крестьянской войны XVI века (см., например, поэму «Германия», т. 2 настоящ. издания, стр. 276—277).

Стр. 316. *Ариосто* Лодовико (1474—1533) — один из крупнейших итальянских поэтов эпохи Возрождения, автор поэмы «Неистовый Ролапд».

Стр. 318. *Г-н фон Фарнхаген занят составлением книги о Гете.* — Речь идет о сборнике статей «Гете в свидетельствах современников», который вышел в Берлине в 1823 году под редакцией Фарнхагена.

Стр. 319. *...краткая заметка последнего была помещена в этом журнале.* — Рецензия Фарнхагена на «Трагедии» Гейне была напечатана в «Gesellschafter» 5 мая 1823 года.



Стр. 319. *Посылаю вам обещанную статью о Гете...* — Статья предназначалась для сборника Фарнхагена (см. примечание к стр. 318). Она была прислана слишком поздно или же, как предполагал впоследствии сам Гейне (см. письмо 36), не понравилась Фарнхагену. Статья не была напечатана, и рукопись ее не сохранилась. О содержании статьи ничего достоверного не известно.

Стр. 320. *Заметка в гамбургской газете* — анонимная заметка о сенсационном успехе «Трагедий» Гейне в Берлине, написанная Фарнхагеном и напечатанная 27 мая 1823 года в газете «Die Staats- und gelehrte Zeitung des Hamburgischen unparteiischen Korrespondenten».

Стр. 321. *Роберт.* — См. примечание к стр. 307.

*Передайте привет... его жене...* — Фридерика Роберт, урожденная Браун (1795—1832), второстепенная поэтесса и издательница альманахов, была признанной красавицей, которой Гейне посвятил цикл из трех сонетов «Фридрика» (см. т. 2 настоящ. издания, стр. 62—63).

### 33. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Стр. 321. *Мозес Мозер* (1796—1838) — закадычный друг Гейне в 20-е годы. В письмах к Мозеру этой поры Гейне особенно откровенен. Мелкий служащий одного из берлинских частных банков, Мозер был секретарем берлинского «Общества культуры и науки евреев» и выгодно отличался от многих членов этого общества широтой своего гуманизма, богатством интеллектуальных интересов. Мозер был поклонником философии Гегеля. Он изучал историю евреев, санскрит и другие древние и новые языки Востока, индийские и египетские древности, живо интересовался литературой, а также математикой. В отношениях Гейне и Мозера наступило охлаждение в конце 20-х годов, когда Мозер не одобрил резких выпадов Гейне против Платена. Мозеру посвящен ряд строк в позднейшей статье Гейне «Людвиг Маркус» (см. т. 7 настоящ. издания, стр. 185—186).

Стр. 322. *...написал статью о Гете...* — См. примечание к стр. 319.

*...моя праздничная пьеса...* — Гейне писал пьесу к дню свадьбы своей сестры. Ее набросок не сохранился.

*...трагедия... облачается плотью...* — Гейне имеет в виду либо своего «Фауста», либо задуманную им трагедию из венецианской жизни. Оба замысла остались неосуществленными.

*Берне.* — См. примечание к стр. 97 («Признания»).

Стр. 323. *Le petit juif d'Amsterdam* — Спиноза.

...*не повторяй, что я являюсь только идеей!* — Гейне иронизирует над распространенным в ту эпоху упрощением учения Гегеля.

*Леман* Иозеф (1801—1873) — друг и горячий поклонник Гейне, второстепенный поэт. Знакомство их состоялось в Берлинском университете, на лекции Гегеля. Леман посвятил Гейне ряд стихотворений, писал также и дружеские пародии на его стихи. Он был членом «Общества культуры и науки евреев». С 1832 года издавал «Magazin für die Literatur des Auslands», где опубликовал ряд заметок о Гейне.

...*как мне там держаться в «Обществе»...* — то есть в гамбургском филиале «Общества культуры и науки евреев».

Стр. 324. *Монада.* — Имеется в виду Иммануэль Вольвиль, который любил пользоваться в своих выступлениях этим понятием философии Лейбница.

*Трубный глас гамбургской газеты о моих «Трагедиях»...* — См. примечание к стр. 320.

Стр. 325. *Недавно я написал заметку о стихотворениях Руссо...* — См. т. 5 настоящ. издания, стр. 118—121.

...*стихотворение «Мне снился сон, что я господь...»...* — См. т. 1 настоящ. издания, стр. 113—115.

### 34. ИОЗЕФУ ЛЕМАНУ

Стр. 325. *Иозеф Леман.* — См. примечание к стр. 323.

Стр. 327. *Новая пятиактная трагедия* — трагедия из венецианской жизни.

*Я еще не потерял надежды увидеть «Ратклифа» на сцене...* — Надежды Гейне не сбылись. О многочисленных оперных переделках «Ратклифа» в конце XIX века см. в комментариях к этой трагедии, т. 1 настоящ. издания, стр. 369—370.

### 35. ЛЕОПОЛЬДУ ЦУНЦУ

Стр. 328. *Леопольд Цунц* (1794—1886) — историк, деятельный член «Общества культуры и науки евреев», редактор единственного вышедшего тома (3 выпуска, 1822—1823) органа этого общества «Журнал культуры и науки евреев», разбору которого и посвящено в основном настоящее письмо Гейне.

*Прошу также передать мой сердечный привет э-же докторше*

*Цуц.* — Необычное построение письма (конец как бы передвинут в начало) следует, вероятно, понимать как своеобразную дань восхищения «докторшей».

Стр. 329. *Иостовская «История»* — «История евреев» («Geschichte der Israeliten», 1820) Исаака-Маркуса Иоста.

### 36. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Стр. 329. *Ритцебютель* — рыбацья деревня в устье Эльбы.

*Рюс.* — См. примечание к стр. 149 («Мысли, заметки, импровизации»).

*Фрис* — профессор философии Иенского университета; воинствующий антисемит.

*...новая глупость выросла на старую.* — Намек на увлечение поэта Терезой Гейне, младшей сестрой Амалии.

Стр. 330. *Заломон* и *Клей* — проповедники гамбургского еврейского «храма», реформированной синагоги. Здесь богослужение велось на немецком языке и было несколько модернизировано в рационалистическом духе.

*Монада.* — См. примечание к стр. 324.

*Бернайс* Исаак — проповедник гамбургской общины «правовверных» евреев, противников реформы.

*Ауэрбах I и II* — два брата, сторонники реформы еврейского богослужения и быта.

*Карпуш* — воровская кличка некоего Бургиньона, неуловимого атамана разбойников, действовавшего в Париже и его окрестностях в конце XVII и начале XVIII века. Был казнен в 1721 году.

*Штейнвег* — улица в Гамбурге, которая была населена преимущественно евреями.

### 38. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Стр. 336. *...ты получишь ключ ко всем моим поступкам...* — Гейне дает понять, что пишет мемуары.

*Ансельми* — псевдоним Иозефа Лемана (см. примечание к стр. 323).

Стр. 337. *«Пария»* — одноактная трагедия Михаэля Бера (см. о нем примечание к стр. 113, «Признания»). Поставленная в Берлине в конце 1823 года, она имела успех у публики.

*«Наследственное право».* — См. примечание к стр. 300.

*В романсе, который тебе послан...* — Имеется в виду «Донна Клара» (см. т. 1 настоящ. издания, стр. 128—131). Впоследствии Гейне отказался от предложенной в этом письме поправки к пятой

строфе. Вторая и третья части трилогии, о которой Гейне пишет далее, остались ненаписанными.

*Напиши мне... о моем брате...* — Речь идет о Густаве Гейпе.

*Не забудь того, что я писал...* — Гейне просил Мозера (письмо от 30 сентября 1823 года, не вошедшее в настоящ. издание) следить за театральными рецензиями в газете «*Zeitung für die elegante Welt*» и сообщить ему, если появится отзыв о его трагедии «Альманзор».

Стр. 338. *Гогенхаузен*. — См. примечание к стр. 286.

### 39. ШАРЛОТТЕ ЭМБДЕН

Стр. 338. *...список библиотечных номеров...* — Шарлотта выслала брату в Лüneбург книги, взятые в гамбургской библиотеке.

*Суперинтендент Христиани* — отец Рудольфа Христиани (1796—1860), адвоката и литератора, с которым Гейне подружился в Люнебурге. Впоследствии Рудольф Христиани женился на одной из кузин Гейне. В 1832 году Гейне написал обращенное к нему стихотворение «Бывшему гетеанцу» (см. т. 2 настоящ. издания, стр. 107). Суперинтендент — старший из лютеранских пасторов церковного округа, церковный инспектор.

*Метфессель Альберт* — гамбургский композитор, знакомый Гейне.

*Клейн*. — См. примечание к стр. 282.

*Дрост* — правитель округа.

Стр. 339. *Дядя Генри* — гамбургский банкир, значительно менее удачливый, чем его старший брат Соломон Гейне. Поэт всегда вспоминал о дяде Генри с добрым чувством.

### 40. ЛЮДВИГУ РОБЕРТУ

Стр. 339. *Людвиг Роберт*. — См. примечание к стр. 307.

*«Немезида среди животных»*, — то есть Роберт. Действие его драм нередко разыгрывается среди животных.

*Нормальный театр*. — Л. Роберт ратовал за так называемый нормальный театр, против театра романтического («драмы судьбы» и т. д.).

*«Власть условностей»* и *«Дочь Шейфая»* — драмы Роберта.

*Толбот* — благородный защитник Марии в трагедии Шиллера «Мария Стюарт» (лицо историческое).

*...с оссистанным «Альманзором»*. — Трагедия была поставлена в августе 1823 года в Брауншвейге. Спектакль провалился.

*Прекрасная швабня* — Фридерика Роберт (см. о ней примеча-

ние к стр. 321). Она была уроженкой швабского (вюртембергского) города Книтлинген.

Стр. 340. *«Рейнские цветы»* («Rheinblüten») — альманах, издававшийся в Карлсруэ книгопродавцем Готлибом Брауном, братом Фридерики Роберт. Стихотворение Гейне «Донна Клара» («Дочь алькальда») в нем не появлялось. Ср. соответствующее место в письме 38 и примечание к стр. 337.

*До той великой жизненной эпохи, когда я познакомился с вашей сестрой, я бы вообще не понял этой книги.* — Коринна, героиня одноименного романа г-жи де Сталь, поэтесса и мыслящая женщина, напоминает Гейне сестру Роберта, Рахель Фарнхаген.

Стр. 341. *Антонио* — персонаж драмы Гете «Торквато Тассо»; дипломат и царедворец, противник Тассо.

*Госпиталь св. Анны* — феррарская больница для умалишенных, где Тассо прожил несколько лет (в драме Гете этот трагический момент отсутствует).

*«Юлиан»* — отрывок незаконченной поэмы Л. Роберта о Юлиане-отступнике (см. примечание к стр. 146, «Мысли, заметки, импровизации»).

*Книжечку Гитцига... морской болезнью.* — Юлиус-Эдуард Гитциг (1780—1840), советник юстиции, написал биографии своих друзей, писателей-романтиков Захарии Вернера, Э.-Т.-А. Гофмана и А. Шамиссо. Впоследствии в «Романтической школе» (см. т. 6 настоящ. издания, стр. 250) Гейне пересмотрел свой отрицательный отзыв о работах Гитцига.

Стр. 342. *Компендиум о Гете.* — См. примечание к стр. 318.

*Шютц* Фридрих-Карл-Юлиус (1779—1844) — профессор университета в Галле. В книге «Гете и Пусткухен» (1823), которую имеет в виду Гейне, Шютц поставил фальшивое продолжение романа о «Мейстере», написанное Пусткухеном (см. примечание к стр. 290), выше романа Гете.

*Эккерман.* — См. примечание к стр. 94 («Признания»). Речь идет здесь о ранней публикации Эккермана «Статьи о поэзии, особенно о поэзии Гете» (1822).

#### 41. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Стр. 343. *Цецилия* — дочь одного из геттингенских профессоров.

*Рюс.* — См. примечание к стр. 149 («Мысли, заметки, импровизации»).

*Фрис.* — См. примечание к стр. 329.

*Я горжусь тем, что я перс!* — В эти годы общего подъема интереса к Востоку и роста востоковедения в Германии Гейне объявляет себя то арабом (письмо 14), то персом, то графом с берегов Ганга («Идеи. Книга Ле Гран», см. т. 4 настоящ. издания, стр. 102). Источниками его знакомства с персидской поэзией являются в основном «История изящной словесности Персии с приложением переводов избранных стихотворений двухсот персидских поэтов» Иозефа фон Хаммер-Пургштала (Вена, 1818), гетевские «Примечания и исследования для лучшего понимания «Западно-восточного дивана» (1819), переводы Фридриха Рюккерта из Саади, Джами и др. (с 1822).

Стр. 344. *В Германии есть... и свои великие поэты...* — Перечень поэтов Гейне строит иронически. Он открывает его именами третьестепенного значения, только после них названы Рюккерт, Иммерман, Улапд, и, наконец, список увенчивается именем Гете.

*«Шария» Михаэля Бера.* — См. примечание к стр. 337.

*Френкель* — один из членов «Общества культуры и науки евреев».

#### 42. РУДОЛЬФУ ХРИСТИАНИ

Стр. 345. Рудольф Христиани. — См. примечание к стр. 338.

*...сочинить несколько грациозных периодов подлинной великогерцогской веймарской прозы...* — Гейне добродушно иронизирует здесь над слепым поклонением Гете.

Стр. 346. *Цвиккер, Арисвальд, Мейер* — малоизвестные ганноверские поэты, бывшие геттингенские студенты. Гейне познакомился с ними проездом через Ганновер (20—22 января 1824 года) благодаря рекомендательному письму Христиани.

*Арним Иоахим (1781—1831) и Брентано Клеменс (1778—1842)* — известные поэты-романтики, издавшие сборник немецких народных песен «Волшебный рог мальчика».

*Фальк Иоганн-Даниель (1768—1826)* — малоизвестный поэт и литератор, долго живший в Веймаре, автор книги о Гете (изд. 1832).

*«The Lady of the Lake»* — поэма Вальтера Скотта (1810).

Стр. 347. *Иохма.* — Фамилия сестры Мейера (по мужу) была Иохмус. Гейне образует от этой фамилии женское имя.

*Сакуптала* — царица, мать Бхарата, родоначальника династии Бхаратов, о деяниях которых повествует индийский эпос «Махабхарата». Она же героиня одноименной драмы (см. примечание к стр. 10, «Доктор Фауст»).

*Зораида* — одна из жен мавританского короля Гранады Мулей

Абдул Хакима (вторая половина XV в.), возглавившая заговор против мужа. Вероятно, Гейне имеет в виду героиню оперы Б. Блума «Зораида, или Гранадские мавры», которая шла в те годы в Берлине.

*Люне* — название древнего поселения, на месте которого вырос Люнебург.

*Джами* (1414—1492) — классик персидской и таджикской литературы.

*Эйхгорн* Иоганн-Готфрид (1752—1827) — геттингенский профессор, выдающийся востоковед, историк и литературовед.

*Пандекты* — сборник источников римского права.

*Сарториус* Георг (1765—1828) — профессор истории в Геттингене.

*Бенке* Георг-Фридрих (1762—1844) — геттингенский профессор, знаток старонемецкой литературы.

Стр. 348. *Гейне* (Неуне) Христиан-Готлиб (1729—1812) — геттингенский профессор, крупный знаток античности.

### 43. РУДОЛЬФУ ХРИСТИАНИ

Стр. 348. *«Искусство и древность»* («Kunst und Altertum») — журнал Гете, выходивший с 1816 по 1832 год. В нем получили отражение как увлечение Гете греко-римским наследием, так и возродившийся после длительного перерыва интерес его к старинному немецкому искусству.

*Гуго* Густав (1764—1844) — профессор Геттингенского университета, один из основоположников реакционной исторической школы права. Молодой Маркс дал уничтожающий отзыв о нем в своей работе «Философский манифест исторической школы права».<sup>1</sup>

Стр. 349. *«Венера, нежная жена, ведь вы же дьяволица»* и *«к Венере в гору я вернусь»* — цитаты из народной баллады о Тангейзере и Венериной горе.

...я хочу поместить у Губица кое-какие из моих новых стихотворений, особенно морских... — В «Gesellschafter» Гейне послал свои «Тридцать три стихотворения». Они были напечатаны в №№ 49—52 этого журнала за 1824 год. Под «морскими» Гейне подразумевает такие стихи, как «Мы возле рыбацкой лачуги...», «Красавица-рыбачка...», «Луна плывет незримо...», «Сердитый ветер надел штаны...» (см. т. 1 настоящ. издания, стр. 88—90). Стихи, вошедшие в цикл «Северное море», написаны позднее.

*Набросок новой драмы.* — См. примечание к стр. 322.

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 85—88.

Стр. 350. *Пандекты*. — См. примечание к стр. 347.

Стр. 350—351. *Титулы и новеллы*. — Гейне обыгрывает двойное значение этих слов: общеизвестное и юридическое. Титулы в этом втором смысле — заголовки пятидесяти книг «*Corpus juris*» (см. примечание к стр. 128, «Признапия»). Новеллы — дополнения к этим книгам, включенные в них в конце царствования императора Юстиниана.

Стр. 351. *Кай* (II в.), *Павел* (III в.), *Папиниан* (III в.) — древнеримские юристы.

...*Жан-полевская, то есть тяжеловесная латынь!* — Жан-Поль (см. о нем примечание к стр. 284) писал сложными периодами, затрудняющими чтение.

*Армиий*. — См. примечание к стр. 205 («Мемуары»).

*Не случись она, мы бы все сейчас были римлянами...* — Гейне повторил впоследствии эту шутку в поэме «Германия» (см. т. 2 настоящ. издания, стр. 290—292).

*Кримхильда и Брунхильда* — главные женские образы «Песни о Нибелунгах». Святыми Гейне называет их иронически. *Ута* — мать Кримхильды.

*Ах, где для немца светлый рай...* — начальные строки популярного стихотворения Э.-М. Арндта (см. примечание к стр. 97, «Признапия»). Гейне вплетает в этот текст строки «Хора невест» из оперы К.-М. Вебера «Волшебный стрелок» (1820).

Стр. 352. *Первая книга* — «Стихотворения» (1822); *вторая книга* — «Трагедии с лирическим интермеццо» (1823).

*Я печатаю в «Собеседнике» «Тридцать три стихотворения»... пакетик с морскими стихотворениями...* — См. примечание к стр. 349.

*В Куксхафене, у верфи...* — Гейне не удалось восстановить утраченный текст этого стихотворения.

Стр. 353. «*Св. Иоанн*» — поэма Христиани. Она осталась неопубликованной.

*Цвиккер, Мейер*. — См. примечание к стр. 346.

...*султанше, повелительнице Люне*. — См. письмо 42 и примечание к стр. 347.

*Казанова* Джованни-Джакомо (1725—1778) — итальянский авантюрист. Его весьма популярные «Мемуары», которые здесь имеет в виду Гейне, были изданы в немецком переводе в 1822—1828 годах (12 томов).



#### 45. ФРИДРИХУ-ВИЛЬГЕЛЬМУ ГУБИЦУ

Стр. 354. *«Тридцать три стихотворения Г. Гейне»*. — См. примечание к стр. 349.

#### 46. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Стр. 355. *«Иммерман... не отпускает меня»*. — В письме идет речь о первой личной встрече Гейне и Иммермана.

Стр. 356. *Блоксберг*. — См. примечание к стр. 40 («Доктор Фауст»).

*Вороны еще летают вокруг Кифгейзера, и старому господину с рыжей бородой придется некоторое время потерпеть*. — Германский император Фридрих I Гогенштауфен (годы царствования 1152—1190), по прозванию Барбаросса (Рыжебородый — *итал.*); погиб, возвращаясь с третьего крестового похода, при купании в реке. Факт смерти Фридриха опровергался в ряде немецких народных легенд. Так, в одном сказании, где император, упорно боровшийся с римским папой Александром III, рассматривается как жертва папских козней, говорится: «Никто не знает, жив ли Барбаросса, но старые крестьяне уверяют, что Фридрих жив. Он иногда появляется в платье паломника и громко заявляет, что еще поцарствует на римской (германской) земле и покарает попов» («Немецкие сказания», изданные братьями Гримм, 1816, № 44). Согласно другой версии легенды, Барбаросса спит в пещере горы Кифгейзер, выжидая заветного срока, чтобы выйти и покарать тех, кто угнетает народ (срок этот наступит тогда, когда перестанут летать вороны). Эта версия положена в основу баллады Рюккерта «Барбаросса» (1817). Гейне использовал впоследствии эту легенду в 14—17 главах поэмы «Германия» (см. т. 2 настоящ. издания, стр. 295—305).

#### 47. ШАРЛОТТЕ ЭМБДЕН

Стр. 356. *«смотреть слишком много на штейнвегские физиономии»*. — См. примечание к стр. 330.

Стр. 357. *«Jean de Paris»* — популярная комическая опера французского композитора Буальдьё (1812).

Стр. 358. *Дядя Генри*. — См. примечание к стр. 339 (письмо 39).

*Пуганик* (Pfuscher) — прозвище, данное поэтом мужу Шарлотты, Морицу Эмбдену.

Письмо послано вместе с экземпляром книги «Трагедии с лирическим интермеццо».

Стр. 358, *Адам-Готлоб Эленшлегер*. — См. примечание к стр. 291.

## 49. РУДОЛЬФУ ХРИСТИАНИ

Стр. 359. *...душа, которая могла бы подарить мне блаженство!* — По-видимому, речь идет о Фридерике Роберт.

Стр. 360. *Он задумал написать «Гогенштауфенов», цикл из девяти трагедий...* — Из трагедий этого цикла Иммерман написал только одну — «Фридрих II» (1828).

*Сейчас Иммерман работает над трагедией на тему о Магдалине...* — Этот замысел писателя не был осуществлен.

*...среди его бумаг я видел также начало характеристики трагедий Гейне.* — Статья эта не была закончена.

*Неистовый гетеанец* — адресат письма (см. примечание к стр. 338).

Стр. 361. *...мой кузен лорд Байрон умер в Миссолунгах.* — Байрон скончался 19 апреля 1824 года в Греции, участвуя в освободительной борьбе греков против турок. «Кузеном Байрона» называли Гейне посетители берлинского литературного салона Гогенхаузенов.

*Take him all in all...* — цитата из «Гамлета» Шекспира (I, 2).

*Мур Томас (1779—1852)* — крупный английский поэт-романтик, друг Байрона и его первый биограф.

*Клаурен.* — См. примечание к стр. 159 («Мысли, заметки, импровизации»).

*«Тридцать три»* — «Тридцать три стихотворения» (см. примечание к стр. 349).

*Кричат, негодую, кастраты...* — Ср. т. 1 настоящ. издания, стр. 119—120.

Стр. 362. *«Книга изречений»* («*Buch der Sprüche*») — стихотворный сборник Ж.-Б. Руссо, вышедший в 1824 году с посвящением Гейне. Об авторе сборника см. примечание к стр. 267 (письмо 5).

*Два тома, трагедия, большая новелла, научная работа* — не реализованные замыслы Гейне.

*...относительно перевода из Иона...* — Возможно, речь идет о фрагментах древнегреческого поэта Иона с Хиоса.

Стр. 363. *Шпигга* Карл-Иоганн-Филипп (1801—1859) — второстепенный поэт, с которым Гейне встречался в Геттингене и Люнебурге.

#### 50. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Стр. 364. *«Раввин»* — историческая повесть «Бахерахский раввин» (см. т. 7 пастоящ. издания), которую в то время писал Гейне. Ориентируясь на достижения Вальтера Скотта, преобразователя исторического романа, Гейне тщательно изучал материалы, необходимые для воссоздания живого и достоверного облика эпохи.

*Агада* — сборник молитв и притч для еврейского пасхального праздника.

*«Кехи лахма»* («Вот яства на столе» — *древнеевр.*) — отрывок из Агады.

*«Десять тысяч воинов стоят перед Соломоновым одром».* — Гейне неточно цитирует стих 7 третьей главы библейской «Песни песней Соломона» («Вот одр его, Соломона; шестьдесят сильных вокруг него»), который он ошибочно называет отрывком из псалма.

*...я напишу на английский манер... несколько листов приложений...* — Обширные разъяснительные послесловия часто встречаются у Вальтера Скотта.

*Вениамин из Тудель* (XII в.) — еврейский путешественник по странам Ближнего Востока, оставивший описание своих странствий. Критикуя перевод его записок, сделанный юным французским студентом Баратье (Амстердам, 1734), Гейне называет неподготовленного переводчика *французским доктором Витте*, имея в виду берлинского юриста Витте, который в четырнадцать лет защитил диссертацию. *Тудела* — город в Наварре.

*Шудт* Иоганн-Якоб — автор книги «*Jüdische Merkwürdigkeiten*» («Еврейские достопримечательности», 1718).

Стр. 365. *...о переменнах в министерстве вероисповеданий...* — В мае 1824 года директором департамента просвещения этого прусского министерства стал министр полиции Кампц, ярый реакционер. Этим была зачеркнута для Гейне возможность получения доцентуры в прусских университетах.

#### 51. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Стр. 367. *...твой плац, плац маркиза Позы...* — Дружба Мозера и Гейне уподоблена здесь отношениям между Позой и Карлосом в трагедии Шиллера «Дон Карлос».

...какой-нибудь *унгеровский тезис*... — Намек на увлечение Мозера математикой (Эфраим-Соломон Унгер — молодой немецкий математик того времени).

*Еще этой ночью я видел тебя во сне.* — Гротескный поход членов «Общества культуры и науки евреев» в Палестину (сон Гейне) показателен для иронического отношения поэта к мечтам о восстановлении еврейского государства.

Стр. 368. ...*ионтефского вина*... — то есть праздничного вина (*древнеевр.* ионтеф — праздник).

*Храмовники.* — Имеются в виду Заломон, Клей и другие приверженцы гамбургского «храма» (см. примечание к стр. 330).

*Саул Ашер* (1767—1822) — берлинский философ-популяризатор, ярый рационалист. См. в «Путешествии по Гарцу» гротескную сцену встречи поэта с призраком Саула Ашера (т. 4 настоящ. издания, стр. 29—31).

*Г-жа фон дер Рекке.* — См. примечание к стр. 301.

*Вольф Пиус-Александр и Штих* Августа — известные берлинские актеры, первые исполнители главных ролей в трагедии М. Бера «Пария».

*Банаж* (Baspagne) Жак (1635—1725) — французский кальвинист (гугенот), пастор из Руана, бежавший в Голландию после отмены Нантского эдикта; автор капитальных трудов по истории евреев.

*Бопп.* — См. примечание к стр. 303. Названная в письме работа Боппа — публикация отрывков древнеиндийской героической поэмы «Махабхарата» (санскритский текст, метрический перевод, комментарий). Гейне еще в Бонне интересовался индийской поэзией; в Берлинском университете он был слушателем Боппа. Однако ни он, ни Мозер, более усердно изучавший санскрит, не решились рецензировать работу Боппа.

## 52. ПОГАННУ-ВОЛЬФАНГУ ГЕТЕ

Единственная встреча Гейне и Гете состоялась в Веймаре 2 октября 1824 года, то есть на следующий день после того, как было написано это письмо, и сложилась она неудачно для Гейне. Очень правдоподобен рассказ младшего брата поэта Максимилиана Гейне (в книге «Воспоминания о Генрихе Гейне и его семье», 1868) о том, что Гете пожелал окончить беседу, как только услышал от своего посетителя, что и тот также пишет «Фауста». Тут

сыграл роль печальный опыт Гете — фальшивое продолжение «Мейстера» (см. примечание к стр. 290), продолжение «Фауста», написанное студентом К.-Ф.-Л. Шене, опубликованное в 1823 году, постоянные напоминания и запросы о продолжении «Фауста». Гете относился к ним очень болезненно (см. «Разговоры с Гете» И.-П. Эккермана, запись от 20 апреля 1825 г. и примечания к ней).

#### 53. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Стр. 370. *Маркиз... непредвиденные препятствия.* — См. письмо 51 и примечания к нему.

Стр. 370—371. *Система Белла — Ланкастера* — педагогический метод, при котором ученики обучают друг друга.

#### 54. ФРИДРИХУ-ВИЛЬГЕЛЬМУ ГУВИЦУ

Полный текст письма не сохранился.

Стр. 371. *Петерс* Адольф — геттингенский студент-математик, самовлюбленный поэт, объект шуток и мистификаций Гейне. Его неумная и очень недоброжелательная рецензия на «Тридцать три стихотворения» Гейне, о которой идет речь в письме, была напечатана в «Собеседнике» 19 января 1825 года. Здесь он, между прочим, утверждал, что песни Гейне не годятся для пения. Это суждение относится к стихотворениям «Не знаю, что значит такое...» («Лорелея»), «Красавица-рыбачка, оставь челнок на песке...» и другим, которые многократно были положены на музыку выдающимися композиторами.

#### 55. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Стр. 373. *Рейхлин.* — См. примечание к стр. 124 («Признания»). Гейне имеет в виду трактат Рейхлина «Augenspiegel» («Глазное зеркало», 1511).

Стр. 374. *Беккариа* Чезаре (1738—1794) — итальянский просветитель, юрист, автор книги «О преступлениях и наказаниях» (1764), в которой он выступает против смертной казни и пыток.

*Дондорф* — товарищ Гейне по Геттингенскому университету; позднее в Париже оба были корреспондентами аугсбургской «Всеобщей газеты».

*С индийской рецензией ты меня подводишь...* — См. письма 51 и 53, а также примечание к стр. 368.

Стр. 375. *«Поэзия и правда»* — заглавие автобиографии Гете.

*Вашингтон Ирвинг* (1783—1859) — крупный американский писатель-романтик. Повествовательный стиль его «Книги эскизов» («Sketch Book», 1820) и некоторых позднейших произведений обнаруживает отдаленное родство с повествовательной манерой Гейне в «Путешествии по Гарцу» (1824). Он строится на вольном сочетании беглых правоописательных зарисовок с лирически окрашенным пейзажем. Острое наблюдение легко переходит в юмор, юмор сменяется лирикой.

*Новелла... вряд ли будет закончена.* — Это оставшееся неизвестным произведение Гейне в самом деле не было завершено.

*Ксении* — эпиграммы Л. Роберта, напечатанные в сентябре 1824 года.

*Клаурен.* — См. примечание к стр. 159 («Мысли, заметки, импровизации»).

*К одиннадцати человекам, которых я люблю...* — Фридрих Хирт предлагает такой список: мать, сестра Шарлотта, дядя Генри, чета Фарнхаген, чета Роберт, Иммерман, Мозер, Христиани и Леман.

## 57. ЭДУАРДУ ГИТЦИГУ

Настоящее письмо написано на обороте карточки, которую Гейне передал адресату вместе с экземпляром книги «Трагедии с лирическим интермеццо» через профессора Карла-Отфрида Мюллера (см. примечание к стр. 52, «Боги в изгнании»).

Стр. 377. *Эдуард Гитциг.* — См. примечание к стр. 341.

## 58. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Стр. 377. *...рекомендовать... моего брата...* — Речь идет о младшем из братьев поэта Максимилиане Гейне (1807—1879), в те годы студенте-медике. Впоследствии он был военным врачом в России, дослужился до высоких чинов и умер в Петербурге. Максимилиан опубликовал «Воспоминания о Генрихе Гейне и его семье». В этой книге много сомнительных и недостоверных сообщений.

Стр. 378. *...о готовности к диспуту на соискание степени.* — Степень доктора прав (doctor juris) Гейне получил на основании экзамена и публичной защиты на латинском языке нескольких юридических тезисов. Диспут состоялся 20 июля 1825 года в Геттингенском университете. Представление диссертации в то время не было обязательным.

*Я хочу отдать свое «Путешествие по Гарцу» в «Рейнские цветы».* — Впоследствии Гейне взял рукопись обратно из редакции альманаха и переслал ее Губицу. «Путешествие» впервые было опубликовано в «Собеседнике», в номерах с 10 января по 11 февраля 1826 года.

*«Фауст».* — См. характеристику этого раннего замысла Гейне (не смешивать с позднейшей танцевальной поэмой) во введении к комментариям к «Доктору Фаусту» (стр. 602—603 настоящ. тома).

*Петерс.* — См. примечание к стр. 371.

#### 59. ФРИДЕРИКЕ РОБЕРТ

Стр. 380. *...отсылку своей рукописи.* — Речь идет о «Путешествии по Гарцу».

*Пародия на балет.* — См. т. 4 настоящ. издания, стр. 49—50.

Стр. 381. *Папавианы и мамавианы* — шуточные словообразования Гейне, намек на неопубликованную комедию Л. Роберта «Павиан», которую Гейне знал в рукописи.

#### 60. РУДОЛЬФУ ХРИСТИАНИ

Стр. 382. *«Каролина»* («Carolina») — уголовное уложение Карла V (1532).

*Сад Ульриха* — излюбленное место прогулок геттингенцев.

Стр. 383. *Вид Гете испугал меня до глубины души...* — В октябре 1824 года Гете еще не вполне оправился от тяжелой болезни, которую он перенес в конце 1823 года.

*Вольф.* — См. примечание к стр. 303.

*...эта натура, противоположная моей собственной...* — После письма к Гете от 1 октября 1824 года это заявление звучит неожиданно. Однако обоих поэтов действительно многое разделяло. И все же высказанное здесь мнение Гейне не является окончательным. В данном случае суждение о Гете высказывает молодой поэт, обиженный недавно оказанным ему холодным приемом.

*Итак, повсюду ты известен людям...* — цитата из «Западно-восточного дивана» Гете («Тефкир-Намэ» [6]).

Стр. 384. *Штраубе; «Волшебная палочка».* — См. примечание к стр. 276 (письмо 9).

*Гакстхаузен* Август (1792—1866) — геттингенский студент, поэт, издатель сборника «Вестфальские народные песни». Позднее он приобрел известность как автор исследований о русской крестьянской общине, проникнутых реакционной идеологией. *«Сова сидела и пряла»* — вероятно, цитата из его стихотворения.

Стр. 387. *Банаж*. — См. примечание к стр. 368.

*Абарбанели* — влиятельная семья португальских и испанских евреев XV века; один из ее представителей был министром финансов Изабеллы Кастильской.

*Вольф...* в своей «Библиотеке». — Имеется в виду библиография «Еврейская библиотека» («*Bibliotheca hebraica*», 1715—1733, тт. 1—4), составленная Иоганном-Христианом Вольфом.

*Шудт*. — См. примечание к стр. 364.

*Бартолоччи Джулио* (1613—1687) — итальянец, издатель памятников еврейской письменности.

...мы с Гете природы, которые... взаимно отталкиваются... — См. письмо 60 и примечание к стр. 383. Любопытно, что противопоставление «жизнерадостного и практического» Гете «энтузиасту» Гейне частично предвосхищает позднейшее различие «эллина» Гете и «назарейнина» Берне в книге Гейне «Людвиг Берне» (см. т. 7 настоящ. издания, стр. 14—16), по там дается совершенно иная оценка.

Стр. 389. *Сафир...* мало отшлифован. — Мориц-Готлиб Сафир (*Saphir*, 1795—1858) — очень плодовитый и модный в те времена австрийский писатель-юморист. *Der Saphir* — сапфир (нем.).

## 62. РУДОЛЬФУ ХРИСТИАНИ

Стр. 389. *Бенвенуто Челлини* (1500—1571) — итальянский скульптор и золотых дел мастер. Речь идет о его знаменитой автобиографии, переведенной Гете в 1802 году на немецкий язык.

*Шлегелева «История литературы»*. — Имеется в виду «История древней и новой литературы» Фридриха Шлегеля (1815).

*Шубарт* Карл-Эрнст (1796—1861) — филолог-классик, горячий поклонник Гете. В 1820 году издал первый крупный труд о творчестве Гете. В 1823—1824 годах Шубарт издавал литературный журнал «Палеофрон и Неотерпе» («Старое и новое»). Этот журнал имеет здесь в виду Гейне.

*Гаман* Иоганн-Георг (1730—1788) — кенигсбергский литератор и критик, глашатай философии «чувства и веры», оказавший влияние на писателей эпохи «бури и натиска».

*Сегюр* Поль-Филипп (1780—1876) — автор «Истории Наполеона и Великой армии в 1812 году» (1824).

«*Дельфина*» (1802) — роман г-жи де Сталь.



### 63. ФРИДЕРИКЕ РОБЕРТ

Стр. 390. *«Райская птица»* — «Кассий и Фантазус, или Райская птица. Архиромантическая комедия с музыкой, танцами, роком» (1825). В этой комедии Роберта осмеивается погоня театров за сверхходкими пьесами.

Стр. 391. *...я узнал... «Птиц» Аристофана.* — Гейне неоднократно заявлял о своем духовном родстве с великим афинским комедиографом-сатириком. Предложенное Гейне толкование комедии «Птицы» не является общепризнанным, но его мысли о трагедийном подтексте настоящей комедии чрезвычайно интересны.

Стр. 392. *«Павиан».* — См. примечание к стр. 381.

*Гете выбрал для самого страшного материала — для «Фауста» — форму кукольного представления...* — Гейне имеет в виду очень свободную композицию трагедии Гете.

*Фридерика.* — Имеется в виду Фридерика (Рахель) Фарнхаген.

### 64. ФРИДРИХУ-ВИЛЬГЕЛЬМУ ГУБНИЦУ

Стр. 394. *Фрагмент «Путешествие по Нижнему Гарцу»* в «Рейнских цветах» не появился. Он был впервые опубликован Эрнстом Эльстером в приложении к газете «Tägliche Rundschau» от 15 марта 1901 года. В настоящее издание он не включен.

*Балетные каламбуры.* — См. примечание к стр. 380.

*«Молодой саксонцу...»* — Гейне имеет в виду тот абзац из «Путешествия по Гарцу», который в последней редакции начинается словами: «Молодой корпорант, недавно съездивший в Берлин...» (см. т. 4 настоящ. издания, стр. 48).

### 65. РУДОЛЬФУ ХРИСТИАНН

Стр. 396. *Галле* Адольф — гамбургский адвокат, азартный биржевой делец, позднее председатель коммерческого суда в Гамбурге. В 1828 году Адольф Галле женился на Терезе, дочери Соломона Гейне. Он много сделал для того, чтобы восстановить Соломона Гейне против его племянника.

*Они любили друг друга...* — Это стихотворение вошло в «Книгу песен» (см. т. 1 настоящ. издания, стр. 100).

*«Петерс, это лучшее, что ты написал!»* — Гейне адресуется здесь самому себе иронические слова, которыми он привык встречать чтение Адольфом Петерсом (см. примечание к стр. 371) его стихов.

*Рукопись о Казанове.* — Вероятно, речь идет о статье Христиани, посвященной «Мемуарам» Казановы.

*...это влетело бы мне в копейку.* — Гейне в шутку намекает на то, что пришлось бы заплатить церкви за «отпущение грехов».

Стр. 397. *Иохма.* — См. примечание к стр. 347.

#### 66. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Стр. 398. *...прочел «Вертера». Для меня это истинное счастье.* — Эти слова Гейне, вероятно, относятся не столько к основному тексту романа Гете, сколько к предпосланному этому произведению обращению автора, в котором Гете призывает читателя не следовать примеру покончившего с собой Вертера.

*Кон Густав-Герзон* — гамбургский маклер.

*Вольвиль; толстый почитатель монады.* — См. примечания к стр. 299 (письмо 22) и 324.

*...Ганс проповедует христианство...* — Эдуард Ганс в 1825 году перешел в христианство.

Стр. 399. *...мое собственное крещение...* — Гейне принял христианство (лютеранство) в июне 1825 года.

*Шаббес* — суббота (*древнеевр.*).

Стр. 401. *«Морские картины»* — первоначальное заглавие цикла «Северное море».

*Тик и Роберт... не создали форму этих стихов...* — Вольными стихами написаны многие стихотворения Клопштока, молодого Гете и др.

*...помещена рецензия, не столько на мои «Трагедии», сколько на меня.* — Гейне был неприятно задет намеками рецензента на принадлежность автора «Трагедий» к еврейству. Рецензент — писатель Вилибальд Алексис (псевдоним Вильгельма Геринга, 1798—1871).

#### 67. КАРЛУ ЗИМРОКУ

Стр. 402. *Карл Зимрок.* — См. примечание к стр. 30 («Доктор Фауст»). Через своего отца Зимрок был связан с музыкальными издательствами.

*Рис Фердинанд (1784—1838)* — пианист и композитор, один из биографов Бетховена. Его музыка к песням Гейне осталась неопубликованной.

Стр 406 *Рецензию Ганса... я прочел...* — Речь идет о рецензии на «Памятники-биографии» Фарнхагена фон Энзе (1824).

*Печатание моей новой книжечки...* — Имеется в виду первая часть «Путевых картин». В нее входили «Путешествие по Гарцу», восемьдесят восемь стихотворений цикла «Опять на родине», первый цикл «Северного моря».

*В эти дни я потерял мою сестру.* — В конфликте с Морицем Эмбденом, упорно старавшимся очернить поэта в глазах Соломона Гейне, Шарлотта стала на сторону мужа, а не брата.

## 69. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Стр. 406. *...посылаю книгу...* — Имеется в виду первая часть «Путевых картин». В этой книге цикл стихотворений «Опять на родине» был посвящен *Фридерике* (Рахели) Фарнхаген.

*...в сердце вновь расцветает весна...* — Отголосок увлечения Гейне своей кузиной Терезой.

Стр. 407. *...собираюсь открыто и без обиняков высказаться...* — Речь идет о «Книге Ле Гран».

*...«Венские ежегодники» подействовали на меня благотворно.* — См. письмо 66 и примечание к стр. 401.

Стр. 408. *Юхтриц* Петер-Фридрих (1800—1875) — третьестепенный поэт и драматург. Его трагедия «Александр и Дарий» шла в 1826 году в берлинском королевском театре. *Крюгер* — актер этого театра.

Стр 409. *Лихтенберг* Георг-Христоф (1742—1799) — выдающийся писатель-просветитель, сатирик и юморист. Был профессором математики и естествознания Геттингенского университета. Приведенная в тексте письма цитата взята из «Афоризмов» Лихтенберга.

*Шамиссо* Адальберт (1781—1838) — один из крупнейших немецких писателей начала XIX века (выходец из Франции). Был близок к романтизму. Многие его стихотворения носят враждебный Реставрации, свободолюбивый характер. Гейне высоко ценил Шамиссо (см. его высказывания об этом писателе в «Романтической школе», т. 6 пастоящ. издания, стр. 265—266). Он познакомился с Шамиссо в салоне Фарнхагенов.

*Шлемиль* — неудачник, главный герой повести Шамиссо «Чудесная история Петра Шлемиля» (1814).

См. справку об этом письме во введении к комментариям (стр. 661 настоящ. тома). Письмо было послано вместе с новой книгой Гейне — первой частью «Путевых картин».

Гейне дает этим письмом понять, что не одобряет перехода Ганса в христианство. Он намекает на то, что между ним и Гансом возникло отчуждение. См. письмо 66 (к Мозеру), в котором Гейне резко осуждает Ганса.

Стр. 409. ...к юриспруденции, а не к теологии. — Другими словами: то, что мы оба крестились, не создает близости между нами.

Стр. 410. ...наши книги перестали быть источниками... — Гейне нередко вспоминает в письмах этих лет пожелание Цунца, чтобы члены «Общества культуры и науки евреев» писали произведения, которые могли бы служить источниками знакомства с историей и культурой евреев (см., например, письмо 61). В этом духе Гейне начал писать «Бахерахского раввина». В данном письме Гейне констатирует, что «Путевые картины» не являются «источником». «Раввин» дописан не был. Письмо свидетельствует об отходе Гейне от настроений, господствовавших в «Обществе», которым он отдал известную дань в предшествующие годы.

*Сама книга, право, не многого стоит...* — Гейне не был доволен первой частью «Путевых картин», считая ее недостаточно общественно актуальной, и собирался в следующей части («Книга Ле Гран») «высказаться открыто» (см. его высказывания по этому поводу в письме 69).

*...предпосланное ей имя 2-жи Фарнхаген...* — См. примечание к стр. 406.

*Мезуза* — еврейский религиозный амулет, прибываемый у входных дверей.

#### 73. КАРЛУ ЗИПРОКУ

Письмо послано с экземпляром первой части «Путевых картин».

Стр. 411. *Руссо*. — См. примечание к стр. 267 (письмо 5).

#### 74. ВИЛЬГЕЛЬМУ МЮЛЛЕРУ

Стр. 412—413. *Вильгельм Мюллер; «Семьдесят семь стихотворений»*. — См. примечание к стр. 310.

#### 75. ФРИДРИХУ МЕРКЕЛИО

На обороте настоящего письма сохранилась копия следующего отрывка из письма Гейне к Юлиусу Кампе, который впоследствии

стал постоянным издателем Гейне (о Кампе см. подробнее в примечании к стр. 111, «Признания»):

«Море было так неистово, что я часто думал, будто тону. Но эта родственная стихия не причинит мне зла. Она отлично знает, что я могу быть еще неистовее. И потом, разве я не придворный поэт Северного моря? Оно ведь знает, что я должен написать еще вторую часть. Г. Г.»

Стр. 414. *Фридрих Меркель* (ум. 1846) — гамбургский купец, гораздо более интересовавшийся литературой, чем коммерцией: писал стихи и публиковал рецензии и статьи о литературе в гамбургских газетах. Знакомство Гейне с Меркелем состоялось благодаря посредничеству Христиани и скоро перешло в тесную дружбу. Меркель был добровольным корректором печатавшихся у Кампе произведений Гейне.

Стр. 415. *Удивительно приятно...* — заключительная строфа 65 стихотворения из цикла «Опять на родине» (см. т. 1 настоящ. издания, стр. 113).

*Циммерман* Фридрих-Готлиб — гамбургский литературный критик, редактор «*Dramaturgische Blätter*».

#### 76. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Сохранилось только начало письма.

Стр. 417. *Мотивы моего посвящения...* — См. примечание к стр. 406 (письмо 69).

#### 78. ФРИДРИХУ МЕРКЕЛЮ

Стр. 420. *То, что написал портновский подмастерье...* — В приложении к журналу «*Gesellschafter*» 30 августа 1826 года была напечатана заметка некоего Карла Д...е (Дерне) «Путешествие из Остероде в Клаусталь». Автор разъяснял, что в странствующем портновском подмастерье, выведенном на страницах «Путешествия по Гарцу» (см. т. 4 настоящ. издания, стр. 15—16), изображен он, и сообщал, что на самом деле он является коммивояжером из Остероде, который, мистифицируя своего спутника, прикинулся простоватым подмастерьем.

...*Черномазый, которого все еще не повесили?* — Гейне упоминает «черного, еще не повешенного маклера, снующего... с мошенническим, мануфактурно-торговым лицом» в «Путешествии по Гарцу» (см. т. 4 настоящ. издания, стр. 65). Некий Иозеф Фридлендер принял это упоминание на свой счет и стал распространять ложные слухи, что он якобы расправился с Гейне (см. письмо 79).

Стр. 421. *...не дописал письма с Нордернея.* — Гейне имеет в виду письмо от 28 июля 1826 года. В настоящ. издание оно не вошло.

*Иеремиады* — пространные жалобы.

*...должна выйти из печати вторая часть... «Путевых картин».* — Она вышла весной 1827 года. Ее состав: «Северное море» (второй цикл стихов), «Идеи. Книга Ле Гран», «Северное море» (проза), сокращенное издание «Писем из Берлина». Вслед за прозаической частью «Северного моря» Гейне поместил свыше тридцати эпиграмм Иммермана.

*Автобиографический отрывок* — «Идеи. Книга Ле Гран».

Стр. 422. *Мой брат теперь здесь...* — Речь идет о Максимилиане Гейне, с которым Мозер был знаком.

*Г-н Г.-Г. Простофиля (Plumpreg).* — Гейне называет так Кона (см. примечание к стр. 398).

*«...Или! Ламá савахфанí?»* («...Боже мой! Для чего ты меня оставил?» — *арамейск.*) — слова, которые, согласно евангелию от Матфея (глава XXVII, стих 46), Христос произнес около девятого часа после распятия.

*Одил воюющий еврей* — Иозеф Фридлиндер (см. примечание к стр. 420).

## 80. КАРЛУ ИММЕРМАНУ

Стр. 424. *...покинуть Германию навсегда...* — План отъезда из Германии возник в связи с крушением надежд Гейне стать адвокатом или получить доцентуру.

*«Карденио»* — пьеса Иммермана.

*...рецензию... написанную, очевидно, тем же автором, который рецензировал и меня.* — Гейне ошибся: рецензентом Иммермана в «Венских ежегодниках» был И.-Л.-Ф. Дейхардштейн, рецензентом Гейне, как указывалось выше, — Вилибальд Алексис.

Стр. 425. *...издавать под нашей совместной редакцией... журнал...* — Совместное издание журнала Гейне и Иммермана не состоялось. Предложение Гейне показывает, что план отъезда из Германии у него еще не созрел.

*Со злосчастным альманахом «Рейнские цветы» я... подвел вас.* — Иммерман, по рекомендации Гейне, послал в альманах «Рейнские цветы» свои произведения, но альманах этот не вышел.

Стр. 426. *Козловский* Петр Борисович (1783—1848) — русский дипломат, литератор, математик; один из друзей Пушкина.

...не знает, может ли он вернуться в Россию... — Сомнения Козловского, быть может, вызывались обстановкой, сложившейся после восстания 14 декабря 1825 года: деятельностью следственных комиссий, массовыми арестами, высылкой в Сибирь лиц, заподозренных в сочувствии декабристам.

*Готский календарь* — ежегодно переиздававшийся в немецком герцогстве Гота придворный календарь, реестр членов европейских царствующих домов и аристократических фамилий с краткими сведениями о каждом лице. ...с целой порцией готского календаря — то есть с большим количеством аристократов.

Стр. 428. *Я тотчас же узнал вас в «Собеседнике»*. — Анонимная рецензия Фарнхагена напечатана в этом журнале 30 июня 1826 года.

...составят прекрасный том... — Речь идет о подготовке «Книги песен» к изданию.

Стр. 429. ...вспомним, каким словом студенты называют деньги... — В оригинале письма Гейне остроумно использует сходно звучащие слова: Spießbürger, Spießer (обыватель) и Spieße (на студенческом жаргоне — деньги).

*Карл-Отто Раумер* (1805—1859) — геттингенский друг Гейне. студент, позднее, в 50-е годы, — прусский министр просвещения.

...в Геттингене... он был моим Лас Казесом... — Гейне имеет в виду то, что Раумер делил с ним одиночество в Геттингене, подобно тому как приближенный Наполеона маркиз Эммануэль де Лас Казес, добровольно последовавший за императором в изгнание, делил с последним одиночество на острове Св. Елены.

*Я думаю о е-же Фарнхаген, ergo sum* — шуточная перефразировка известного положения философии Декарта: cogito ergo sum (я думаю, следовательно я существую).

## 82. РУДОЛЬФУ ХРИСТИАНИ

Стр. 430. *«Идеи к истории»*. — Так, вероятно, Гейне думал назвать свое произведение, позднее озаглавленное «Идеи. Книга Ле Гран».

*«Alea jacta est»*. — Согласно преданию, Юлий Цезарь произнес эти слова в 49 году до н. э., двинув свои войска через реку Рубикон на Рим, то есть начав гражданскую войну с Помпеем. Гейне

повторяет эти слова, так как, публикуя «Книгу Ле Гран», произведение большого гражданского пафоса, он отдает себе отчет в том, что вступает на путь открытой борьбы с господствующим строем.

### 83. ФРИДРИХУ МЕРКЕЛЮ

Стр. 431. *«Путевой очерк курьера»... я прочел.* — В «Mitternachtsblatt» Адольфа Мюльнера, в номере от 6 ноября 1826 года появился рассказ, анонимный автор которого, подделываясь под стиль Гейне и опираясь на слухи, рисовал сценку столкновения Гейне с Черномазым (см. письмо 78 и примечание к стр. 420).

*Великий Неизвестный* — Вальтер Скотт. Его романы («Уэверли», 1814, и следующие) имели огромный успех, переводились сразу же на многие европейские языки, но автор скрывал свое имя до 1825 года.

*Леди Морган* — автор книги «Италия» (1821), которую Гейне высоко оценил в своем «Путешествии от Мюнхена до Генуи».

Стр. 432. *«Черт».* — Гейне имеет в виду свое стихотворение «Я черта позвал, он явился в мой дом...» (см. т. 1 настоящ. издания, стр. 101).

*«Путешествие Лайэла по России и Польше».* — Речь идет о книге «О характере русских с добавлением подробной истории Москвы» (1823) Роберта Лайэла.

*...рецензент «Венских ежегодников» — это он.* — Как и в ряде предыдущих писем, речь идет о рецензии на «Трагедии с лирическим интермеццо» Гейне. Пытаясь установить имя рецензента, Гейне вновь делает ошибку.

### 84. ФРИДРИХУ МЕРКЕЛЮ

Слова и выражения, о которых Гейне пишет в этом письме, встречаются в трех стихотворениях второго цикла «Северного моря»: «Закат солнца», «Песня океанид» и «Боги Греции». См. т. 1 настоящ. издания, стр. 169 (строки 16 и 17 сверху), 170 (строка 19 сверху) и стр. 173 (строка 9 сверху и строка 9 снизу).

Стр. 434. № 307 *«Галлеской литературной газеты».* — В этом номере была напечатана рецензия на первую часть «Путевых картин».

Стр. 435. *Спасибо тебе за потешного морского кобольда.* — Вероятно, речь идет о каком-нибудь изображении кобольда (нечи-



стого духа, аналогичного лешему в русской мифологии), которое прислал Меркель.

*Ян ван Гент.* — Вероятно, Гейне имеет в виду Юстуса ван Гента, нидерландского художника конца XV века.

*Адольф Эмбден* — брат Морица Эмбдена, зятя Гейне.

*Черномазый.* — См. письма 78 и 79 и примечание к стр. 420.

*...будто бы Абендрот разговаривал со мной очень резко...* — Гейне пожаловался на Черномазого гамбургскому сенатору Абендроту.

*Михаэлис Эдуард* — гамбургский торговец.

#### 85. ФРИДРИХУ МЕРКЕЛЮ

В этом письме идет речь о «Книге Ле Гран».

#### 86. ФРИДРИХУ МЕРКЕЛЮ

Настоящее письмо является первым, посланным Гейне из Лондона. В Англии он прожил с 14 апреля по 14 августа 1826 года.

Стр. 437. *«Б.-А. Гольдшмит и К<sup>о</sup>»* — крупный банкирский дом в Лондоне, поддерживавший постоянную деловую связь с Соломоном Гейне.

*Каннинг Джордж* (1770—1827) — английский министр иностранных дел (с 1822) и премьер-министр (1826—1827), политический деятель европейского масштаба, левый тори, противник Меттерниха и его английского приспешника Веллингтона.

*Моих друзей в Вестминстерском аббатстве...* — Речь идет о гробницах великих писателей Англии.

Стр. 438. *...не обиделось ли на мою книгу какое-нибудь правительство.* — Вторая часть «Путевых картин» была запрещена в Ганновере, Мекленбурге и в Рейнской области, а также в Австрии.

#### 87. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Стр. 438. *За ваш подарок (книгу) благодарю вас.* — Гейне имеет в виду очередной том «Памятников-биографий» Фарнхагепа.

Стр. 439. *...я не испытываю приязни, читая вашего «Блюхера».* — Следующее за этими словами суждение Гейне о Блюхере резко отличается от более раннего, высказанного в письме 2.

*...человек идеи, человек, ставший идеей, — Наполеон...* — По

Гегелю, исторические деятели только реализуют идеи, управляющие историческим движением.

*...другой был... английским бездельником...* — Гейне имеет в виду герцога Веллингтона (см. примечание к стр. 158, «Мысли, заметки, импровизации»).

*Сент-Джеймс* — королевский дворец в Лондоне.

*Книга, переплетенная в красное*, — вторая часть «Путевых картин».

*...поскольку у нас разумное министерство...* — Рассчитывая на помощь Фарнхагена, который может использовать свои обширные связи, Гейне подсказывает ему удобную для хлопот формулу.

Стр. 440. *Котта* Иоганн-Фридрих (1764—1832) — глава крупной издательской фирмы, первый издатель многих произведений Гете и Шиллера, издатель «Morgenblatt» («Утренней газеты») и большого количества других газет и журналов.

*...спросите его, не пожелает ли он использовать меня здесь...* — Фарнхаген рекомендовал Котте своего «юного друга Г. Гейне» в письме от 11 мая 1827 года. Уже в этом и в 1828 году в мюнхенском журнале Котты «Новые всеобщие политические анналы» («Neue allgemeine politische Annalen») был напечатан ряд статей Гейне об Англии, вошедших позднее в «Английские фрагменты». С 1828 года Гейне сотрудничает в «Morgenblatt» Котты.

## 88. ФРИДРИХУ МЕРКЕЛЮ

Стр. 441. *Насчет «Ратклифа» тоже*. — Вероятно, речь идет о переделке этой трагедии.

*Относительно стихов... не могу... ответить*. — Имеется в виду подготовка «Книги песен» к изданию.

Стр. 442. *...контраст представляет... письмо... из Аугсбурга!* — По поручению издателя доктор Фридрих-Людвиг Линднер (1772—1845) пригласил Гейне сотрудничать в журналах Котты. Линднер был прогрессивным журналистом, во многом единомышленником Гейне.

*...предводителем племени либералов...* — Слово «либералы» употреблено здесь в широком значении (сторонник свободы, враг реакции).

Стр. 443. *...если найдешь там критику Иммермана на меня...* — Рецензия Иммермана на первую часть «Путевых картин» была напечатана в мае 1827 года в берлинских «Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik», выходявших под редакцией Гегеля.

«Трейтель и Вюрц» — книгоиздательская фирма, имевшая отделения в Штутгарте и Лондоне.

Мошелес Игнац (1794—1871) — австрийский композитор, ученик Сальери. Долгие годы жил в Лондоне и был женат на дочери Адольфа Эмбдена (см. примечание к стр. 435). Гейне в Лондоне часто бывал у четы Мошелес, но не упоминает о ней в «Английских фрагментах», исполняя просьбу Шарлотты Мошелес, очень боявшейся «сатирической жилки» поэта.

#### 89. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Стр. 445. ...сдобренный острогами песок. — Берлин расположен на песчаном грунте.

#### 90. ИОГАННУ-ГЕРМАНУ ДЕТМОЛЬДУ

Стр. 446. Иоганн-Герман Детмольд (1807—1856) — студент-юрист в Геттингене, впоследствии адвокат в Ганновере и видный деятель оппозиции, не раз подвергавшийся гонениям. Детмольд был талантливым писателем-сатириком, беспощадно осмеивавшим немецких филистеров-бюргеров, аристократов и финансовую верхушку («Рисунки на полях», 1844, «Деяния и взгляды господина Пипмейера, члена Учредительного национального собрания во Франкфурте-на-Майне», 1849). Однако, будучи избран во франкфуртский парламент, Детмольд неожиданно проявил себя там сторонником наиболее консервативных элементов, в результате чего он даже некоторое время занимал пост министра юстиции (1849).

Настоящим письмом открывается довольно обширная переписка Гейне с Детмольдом, который впоследствии, в 30-х и 40-х годах, неоднократно навещал поэта в Париже. Гейне настолько доверял Детмольду, что в своем первом завещании назначил его своим душеприказчиком, вместе с Фарнхагеном, но в 1848 году вычеркнул его имя.

#### 91. ФРИДРИХУ МЕРКЕЛЮ

Стр. 448. Линднеру тоже еще не писал... — См. примечание к стр. 442.

...не хочу подражать Вальтеру Скотту... — Речь идет о книге «Жизнь Наполеона Бонапарта», которую Вальтер Скотт писал в большой спешке, под тяжестью огромного денежного долга.

В «Английских фрагментах» глава IV посвящена этой книге (см. т. 4 настоящ. издания, стр. 381—387 и соответствующие примечания).

*Я рыцарь святого духа.* — В «Горной идиллии» (разд. 2) своеобразно раскрывается это понятие как «рыцарь революции» (см. т. 1 настоящ. издания, стр. 140—142). В контексте данного письма это заявление звучит следующим образом: Гейне противопоставляет себя Вальтеру Скотту, книга которого о Наполеоне враждебна французской революции.

Стр. 449. *...ганноверской знати, которую я задел в «Нордернее».* — См. «Северное море», т. 4 настоящ. издания, стр. 83 и следующие.

## 92. РУДОЛЬФУ ХРИСТИАННИ

Стр. 449. *Жен, к мужской любви привыкших...* — цитата из «Фауста» Гете (ч. II, акт 3, сцена «Внутренний двор замка», хор).

*Ну можно ли печатать такие непристойности?* — Впечатление непристойности слабеет, если прочесть и первую строфу хора. Речь идет о тяжелой доле рабыни, пленницы.

Стр. 450. *...в третьей и четвертой частях нового издания* — то есть издания сочинений Гете.

*Но что означает вся классически-романтическая «Елена» — этого я не понимаю.* — Гейне знал в то время только «Елену», опубликованную в 1827 году (отрывок из второй части «Фауста», акт 3). Остальные акты еще не были опубликованы.

*Если бы Гете не продал и не предал нас...* — Речь идет о разрыве Гете с поэтами романтического направления, с которыми Гейне пока еще чувствует себя тесно связанным.

*...его старая карбукульная гвардия, его голубоцветный полк, его магические гусары...* — то есть поэты-романтики.

*...переходит в шиканедеровский оперный текст...* — Эммануэль Шиканедер (1751—1804) был актером, театральным антрепренером, автором многих оперных либретто, в том числе текста к «Волшебной флейте» Моцарта.

Стр. 451. *...опасаться участи Орфея.* — См. примечание к стр. 196 («Мысли, заметки, импровизации»).

*...оставить Фракию...* — Намек на миф о гибели Орфея. Здесь Фракия — Нордерней.

Стр. 451. *...мой краткий рискованный вопрос.* — Как видно из последующего, Гейне запросил Фарнхагена о том, может ли он, автор второй части «Путевых картин», приехать в Берлин, не опасаясь неприятностей со стороны властей, и получил от Фарнхагена успокоительный ответ.

*...пришло письмо из Мюнхена...* — Письмо было послано Коттой (см. примечание к стр. 440).

Стр. 452. *«Политическая анналы»* — «Новые всеобщие политические анналы» (см. примечание к стр. 440).

*Линднер.* — См. примечание к стр. 442.

Стр. 453. *...добродетельное издание моих стихов...* — Здесь, по видимому, та же мысль, что и в письме 94: противопоставление «Книги песен» как «мирного» произведения наступательной идеологии второй части «Путевых картин».

*...посетить... одну женщину...* — Речь идет о кузине Амалии.

*...приехала... как раз в тот день...* — Это высказывание считается единственным прямым намеком Гейне на то, что Амалия — героиня его «Книги песен».

Стр. 454. *«Новый Бедлам»* — дом умалишенных в Лондоне.

#### 94. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Стр. 454. *...я не правлюсь холопу аристократов Гете...* — Резкое и несправедливое суждение Гейне о Гете нельзя объяснить только тем, что до Гейне дошли слухи об обидном отзыве Гете о нем. Оно объясняется как возросшими в это время требованиями Гейне к гражданскому содержанию поэзии, так и общим усилением нападков на Гете в эти годы (Берне, Менцель, с другой стороны Фридрих Шлегель). Только через много лет после этого Гейне пришел к более широкой и справедливой оценке Гете.

Стр. 455. *«Книга песен»* — *...всега лишь безобидное торговое судно...* — Самокритическая декларация Гейне: осуждение поэзии, недостаточно связанной с борьбой за изменение действительности.

#### 96. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Стр. 457. *«Иностранные дела»* («Ausland») — одна из многочисленных газет Котты. Здесь в 1828 и 1829 годах были напечатаны отдельные отрывки из будущих «Английских фрагментов» Гейне.

*Ферстер* Фридрих (1791—1868) — писатель и теолог. Редактировал вместе с Вилибальдом Алексисом «*Berliner Konversationsblatt*».

*Геррес*. — См. примечание к стр. 97 («Признания»).

*Окен*. — См. примечание к стр. 34 («Доктор Фауст»).

*Шенк* Эдуард (1788—1841) — баварский министр вероисповеданий и просвещения, с августа 1828 года — министр внутренних дел. Второстепенный поэт и драматург. Реакционер по своим политическим убеждениям, Шенк был, однако, горячим поклонником ранней лирики Гейне. Последний питал надежду с помощью Шенка получить в Мюнхене профессуру. Эта надежда не сбылась.

*Гримм* Людвиг-Эмиль (1792—1863) — талантливый живописец и гравер, младший брат знаменитых филологов Якоба и Вильгельма Гриммов. В письме идет речь об известном портрете молодого Гейне в профиль.

*Во Франкфурте я три дня прожил с Берне*. — См. позднейший рассказ Гейне об этой встрече в книге «Людвиг Берне» (т. 7 настоящ. издания, стр. 10—31).

Стр. 458. *Менцель*. — См. примечание к стр. 97 («Признания»).

*Тамошних благородных певцов я не лицезрел*. — Имеются в виду поэты так называемой швабской школы (Шваб, Майер, Пфизцер и др.).

*...немецкая национальная ограниченность и мелочный пие-тизм...* — Намек на Менцеля, который осудил Гете с этих позиций.

*Пусткухенщина*. — См. примечание к стр. 290.

*Благодарю Людвига Роберта за рецензию на «Путевые картины»...* — Эта рецензия (на вторую часть книги) была напечатана в литературном приложении к «*Morgenblatt*» 15 июня 1827 года.

#### 97. ЛЮДВИГУ БЕРНЕ И ЖАНЕТТЕ ВОЛЬ

Стр. 459. *Жанетта Воль* (1783—1861) — друг Берне, жена франкфуртского коммерсанта Соломона Штрауса. После выхода в свет книги «Людвиг Берне» выступила «в защиту» своего покойного друга и выпустила тенденциозную книгу «Суждения Людвига Берне о Гейне» (1840), направленную против Гейне.

#### 98. ВОЛЬФАНГУ МЕНЦЕЛЮ

Стр. 459. *Вольфганг Менцель*. — См. примечание к стр. 97 («Признания»).

*...с вашими афоризмами...* — Имеются в виду афоризмы Мен-

целя в прозе, которые он, вслед за Жап-Подем, обозначил термином «Streckverse».

...обещание дать информирующие рецензии... — Ни в «Гамбургском корреспонденте», ни в «Собеседнике» отзывы Гейне на книгу Менцеля «Немецкая литература» не были напечатаны. В третьей части «Путевых картин» также ничего не говорится об этой книге. Рецензия Гейне (см. т. 5 настоящ. издания, стр. 138—150) появилась в «Политических анналах» (1828, № 3).

Стр. 460. *Письмо из Майнца.* — В этом письме содержалось сообщение о рецензии Теодора Шахта на книгу Менцеля. Рецензия озаглавлена «Нелепица и варварство в современной немецкой литературе».

*Vitt* — Фердинанд-Иоганн Витт фон Дерринг (1800—1863) — в ранней молодости оппозиционный публицист. В 1819 году, в период начавшихся массовых преследований так называемых демагогов, бежал в Англию. Чтобы обелить себя, он опубликовал ряд статей с прямыми доносами на своих прежних друзей и политических единомышленников. И в дальнейшем Витт постоянно занимался доносами, вел жизнь международного авантюриста и в связи с этим неоднократно сидел в тюрьме (в Италии, Австрии, Дании, Франции, Баварии). Он опубликовал книгу «Фрагменты о моей жизни и моей эпохе» (1827). В письме идет речь о рецензии на эту книгу. Гейне познакомился с Виттом в Гамбурге в 1827 году. См. любопытный отзыв Гейне о Витте в письмах 100 и 102, а также его статью «Иоганн Витт фон Дерринг» (т. 5 настоящ. издания, стр. 151—152).

Стр. 461. *Кольб* Густав (1798—1865) — талантливый прогрессивный журналист. После ухода Линднера стал соредактором Гейне по «Анналам», впоследствии, с 1837 года, редактировал аугсбургскую «Всеобщую газету» (изд. Котты), пользовавшуюся большим весом в Германии и за рубежом. Кольб очень высоко ценил дарование Гейне и до самой смерти поэта был его верным другом. См. позднейшие письма Гейне к Кольбу из Парижа.

...обменяются доспехами, как Главк и Диомед... — См. «Илиаду» Гомера, песнь VI.

### 99. ФЕРДИНАНДУ-ИОГАННУ ВИТТУ ФОН ДЕРРИНГУ

Стр. 462. *Фердинанд-Иоганн Витт фон Дерринг.* — См. примечание к стр. 460.

*Присланная брошюра* — обличительная брошюра о гамбургских театрах.

Письмо осталось недописанным и в таком виде было приложено к письму тому же адресату от 1 апреля 1828 года.

Стр. 464. *Моя «Книга песен» тоже благодарит за хорошую рецензию.* — Рецензия Фарнхагена была помещена в «Gesellschafter» 21 ноября 1827 года.

*Прилагаемую рецензию...* — Речь идет о рецензии Гейне на «Жизнь Наполеона» Вальтера Скотта (см. примечание к стр. 448).

Стр. 465. *...известное вам лицо...* — Имеется в виду Линднер. *...ничего не могу вам сказать... о Шеллинге...* — Философ Фридрих-Вильгельм Шеллинг (1775—1854) был с 1827 года профессором Мюнхенского университета и президентом Баварской академии наук.

*Геррес.* — См. примечание к стр. 97 («Признания»).

*Фиолетовые чулки носят кардиналы.*

*Витт фон Дерринг.* — См. примечание к стр. 460.

*Фуше Жозеф (1763—1820)* — министр полиции Наполеона, известный своей беспринципностью.

#### 101. ИОГАННУ-ГЕРМАНУ ДЕТМОЛЬДУ

Стр. 466. *Гейнзе Иоганн-Якоб-Вильгельм (1746—1803)* — писатель, близкий к литературе «бури и натиска». Его роман «*Ардингелло, или Счастливые острова*» (1787) привлек к себе внимание Гейне как своими социально-утопическими мотивами, так и описанием венецианских и вообще итальянских нравов. Роман «*Фиормона, или Письма из Италии*» (1794) приписывался Гейнзе ошибочно.

*Я окружен сейчас врагами и попами-интриганами...* — Из поповских кругов Гейне вскоре был нанесен весьма чувствительный удар статьей Игнаца Деллингера в мюнхенском католическом и откровенно антисемитском журнале «Эос» (18 августа 1828 года). Гейне обвинялся здесь в оскорблении христианских святых. Особо ставилось ему в вину «открытие нового святого духа, разрушившего замки гордых и восстанавливающего старинное право, по которому все мы, люди, от рождения благородны и равны» (см. примечание к стр. 448). За первой статьей Деллингера последовали в 1829 году три другие.

#### 102. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Стр. 467. *...посылаю этот отрывок.* — См. письмо 100.

*...грандиозных явлений вроде трагедий Михаэля Бера или Шенка...* — Это замечание Гейне носит иронический характер.



Стр. 468. *Дочери графа Бодмера* (Ботмера) — жена Ф. И. Тютчева Элеонора (в первом браке Петерсон) и ее младшая сестра Клотильда.

Стр. 469. *Дюреровские торжества*. — В 1828 году в Нюрнберге торжественно отмечалось трехсотлетие со дня смерти великого немецкого художника Альбрехта Дюрера (род. 1471).

#### 103. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Стр. 470. *...магнитная гора вытягивает все железо*. — Гейне вспоминает сказку о мореплавателе Синдбаде («Тысяча и одна ночь»).

*...точно среди моих друзей не числится ни единого гетеанца*. — Адресат письма и его жена были самыми горячими поклонниками Гете.

#### 104. ЭДУАРДУ ШЕНКУ

Письмо написано во время путешествия Гейне по северной Италии, длившегося с десятых чисел августа до начала декабря 1828 года.

Стр. 471. *Эдуард Шенк*. — См. примечание к стр. 457.

*...долгожданное радостное известие*. — Гейне ожидает от Шенка сообщения о подписании баварским королем Людвигом I указа о назначении его (Гейне) профессором Мюнхенского университета. Несмотря на представления Шенка, король указа не подписал. Вероятно, здесь сыграла роль статья Деллингера (см. примечание к стр. 466) и вообще «поповские интриги».

*Здесь говорят камни* — явная переключка с первым стихом «Римских элегий» Гете: «Камни, подайте мне весть, о, молвите, гордые зданья».

*...он понимает лапидарный стиль...* — Метафора «камни говорят» получает дальнейшее развитие. Первоначальное значение слова «лапидарный» — в стиле надписей, высеченных на камне (lapis — по-латыни камень).

Стр. 472. *«Велизарий»* — трагедия Шенка.

#### 105. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Стр. 472. *...я заказал одному из лучших портретистов свой портрет...* — Речь идет, вероятно, о портрете работы Рейхмана, сгоревшем впоследствии в Гамбурге во время большого пожара 1842 года.

#### 106. СОЛОМОНУ ГЕЙНЕ

Стр. 475. *Герман и Карл* — сыновья Соломона Гейне. Герман умер в 1831 году, Карл после смерти отца доставил поэту величайшие неприятности (см. письма 40-х годов).

*Тилли* (Матильда) — дочь Мейера Гейне, племянница Соломона Гейне. Она умерла незадолго до отъезда поэта в Италию.

*Мориц Оппенгеймер* — зять Соломона Гейне, муж его старшей, умершей в 1823 году, дочери Фридрики.

#### 107. ЭДУАРДУ ШЕНКУ

Стр. 475. *...сразу же поспешил на почту...* — См. примечание к стр. 471.

Стр. 476. *Вам посвятят ее...* — Обещание посвятить Шенку третью часть «Путевых картин» не было выполнено.

Стр. 477. *Савиньи*. — См. примечание к стр. 163 («Мысли, заметки, импровизации»).

*...издавать с января новый журнал...* — Это издание не состоялось.

#### 108. ФЕДОРУ ИВАНОВИЧУ ТЮТЧЕВУ

Письмо замечательному русскому поэту Тютчеву, который состоял в то время при русском посольстве в Баварии в качестве атташе, является одним из существенных свидетельств тесной дружбы двух поэтов.

Стр. 478. *...о королевском указе...* — См. примечание к стр. 471.

*Амалия фон Крюденер* — жена поверенного в делах русского посольства в Баварии. *Déchargeuse d'affaires* — комплимент Амалии Крюденер, представляющий шуточное словообразование Гейне, основанное на сопоставлении с выражением *chargé d'affaires* (поверенный в делах, буквально: обремененный делами).

#### 109. ГУСТАВУ КОЛЬБУ

Стр. 479. *Густав Кольб*. — См. примечание к стр. 461.

*Наше время — время борьбы идей, и журналы — наши крепости.* — Эти слова Гейне часто цитировались и цитируются прогрессивными журналистами на родине поэта.

Стр. 480. *Лаугенбахер* Игнац (1799—1833) — сотрудник «Анналов». В статье «Современное аутодафе в немецких Афинах» («Flora», 9 сентября 1828 года) он дал отповедь Деллингеру и журналу «Эос» (см. примечание к стр. 466).

Стр. 480. *...посылаю вам... кое-что в этом роде...* — Под названием «Итальянские ффрагменты» в «Утренней газете» от 5 ноября 1829 года появились заметки Гейне об Италии, сильно урезанные и испорченные цензурой.

Стр. 481. *...стихи... превосходного молодого человека...* — Речь идет о «Видениях» Лаутенбахера. Они были напечатаны в «Утренней газете».

### III. МОЗЕСУ МОЗЕРУ

Стр. 481. *Кенигсштадт* — один из районов Берлина.

Стр. 482. *Русский поход* — война с Турцией. Письмо написано за три месяца до окончательной победы России над Турцией в войне 1828—1829 годов.

*Узнал, что некоторые русские копируют меня...* — Такие сведения Гейне мог получить только от Тютчева. Возможно, что речь идет об отдельных навеянных Гейне мотивах у Баратынского.

*...прочи «Романтического Эдипа» графа Платена; эта вещь написана против тебя.* — В комедии «Романтический Эдип» (1829) Августа Платена фон Галлермюнде (1796—1835) содержались недостойные выпады против Гейне и Иммермана, что было воспринято Гейне как очередная попытка аристократическо-клерикальной реакции опорочить его лично и вообще прогрессивных писателей. Поэтому он не замедлил вступить в острую литературную полемику с Платеном и безжалостно расправился со своим противником (см. следующее письмо). Подробнее о Платене и об этом столкновении см. в комментариях к «Путевым картинам» (т. 4 настоящ. издания, стр. 484—486).

### 112. КАРЛУ ИММЕРМАНУ

Стр. 482. *...сыграна ваша трагедия.* — Речь идет о премьере «Андреаса Гоффера» в гамбургском театре (16 ноября 1829 года).

*...вчера утром я высек Платена...* — См. примечание к стр. 482 (письмо 111), а также «Лукские воды» Гейне (т. 4 настоящ. издания, стр. 235—308).

Стр. 483. *Румор* Карл-Фридрих (1785—1843) — второстепенный писатель, историк искусства.

*...ваша ксения привела Платена в... ярость.* — Непосредственным поводом для гнева Платена послужила включенная Гейне в «Северное море» ксения (сатирическое двустишие) Иммермана,

осмеивавшая модное в то время поверхностное увлечение Востоком, которое было характерно и для автора «Газелл» Платена:

От плодов в садах Шираза, повсеместно знаменитых,  
Через край они хватили — и газеллами тошпит их.

(см. т. 4 настоящ. издания, стр. 96).

*Чемпион классицизма* — Платен.

*«Фридрих»* — трагедия Иммермана «Фридрих II» (1828).

*Платеновский пастыль* — комедия «Романтический Эдип».

*Je n'y ai pas pu.* — Гейне деликатно намекает на то, что он содействовал изданию собрания сочинений Иммермана.

### 113. ФРИДЕРИКЕ РОБЕРТ

Стр. 484. *Я страдаю от дупла в зубе и от дупла в сердце... С каждым днем моя болезнь становится все смертельнее, я почти мертвец...* — Эти строки явно перекликаются с последней главой «Книги Ле Гран»: «И вы из-за этой глупой истории хотели застрелиться?.. Но у меня была зубная боль в сердце... и в этом случае хорошо помогает свинцовая пломба и зубной порошок, изобретенный Бертольдом Шварцем» (т. 4 настоящ. издания, стр. 157). Приведенное сопоставление заставляет видеть в словах, обращенных к Фридерике Роберт, нечто более значительное, чем просто остроумную словесную игру.

### 114. КАРЛУ ИММЕРМАНУ

Конец настоящего письма не сохранился.

Стр. 485. *Вот вам... моя книга.* — Имеется в виду третья часть «Путевых картин».

Стр. 486. *Г-н граф* — Платен.

### 115. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭИЗЕ

Стр. 488. *Главы с XXIX по XXXI.* — Эти главы «Путешествия от Мюнхена до Генуи» наиболее полно выражают социально-политические взгляды автора.

Стр. 489. *Диффамация* — опубликование в печати сведений, позорящих какое-либо лицо. Дело о диффамации готовился возбудить против Гейне один из друзей Платена.

Стр. 490. *...попробуйте завоевать для меня общественное мнение...* — Фарнхаген действительно помог Гейне и в этой крайне

трудной обстановке. Когда в журнале «Blätter für literarische Unterhaltung» 23 января 1830 года появилась статья, где утверждалось, что даже те, кто ценит талант Гейне, должны отныне презирать его, Фарнхаген ответил на нее статьей в том же журнале от 13 февраля 1830 года. Он говорит здесь, что Платен повинен в преступлениях против современных немецких поэтов и критиков, а также в других преступлениях, что он уличен и осужден на плаху, что Гейне совершил эту казнь и голова Платена скатилась с плеч и что отныне Гейне может рассчитывать на сочувствие очень многочисленной публики. Далее Фарнхаген отмечает замечательное художественное мастерство Гейне и констатирует, что Гейне победил Платена тем оружием, которым особенно гордился его противник, — сатирой во вкусе Аристофана.

#### 116. КАРЛУ ИММЕРМАНУ

Конец настоящего письма не сохранился.

Письмо свидетельствует об исключительной требовательности Гейне к технике стиха, к метрическому строю. Еще показательнее в этом отношении длинный, на многих страницах, список метрических исправлений к *«Тулифентхену»* (юмористический, построенный на сказочных мотивах эпос Иммермана о подвигах и злоключениях крошки-героя Тулифентхена; написан в 1830 году). Гейне предлагает его вниманию Иммермана в письме от 25 апреля 1830 года. Это письмо не дано в настоящ. издании, поскольку невозможно воспроизвести в переводе все метрические особенности приведенных Гейне примеров.

#### 117. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭЙЗЕ

Стр. 494. *«Власть условностей»* на этот раз обратится в комедию. — Эта пьеса Людвиг Роберта выдержана во вкусе «мещанской трагедии». Роковую роль здесь играют дворянские предрассудки.

*То был эстетический период...* — Противопоставление прежнего и текущего этапов литературного развития — одна из любимых мыслей Гейне в те годы. Это призыв к более прямому и непосредственному, чем у классиков, выражению идей наступления на старый порядок. Однако творчество классиков получает при этом у Гейне одностороннюю и неверную оценку. Неверно утверждение, что для них *дело шло лишь о призраке жизни — об искусстве, а не о самой жизни.*

*Шиллер-гетевская война ксений.* — Речь идет о напечатанных в шиллеровском «Альманахе муз» (1797) ксениях, в которых Гете и Шиллер осмеивали недостатки современной немецкой литературы.

*Фосс Иоганн-Генрих* (1751—1826) — поэт, вышедший из круга «Геттингенской рощи» и «бури и натиска», переводчик «Илиады» и «Одиссеи». Фосс до глубокой старости сохранил верность демократическим идеалам и открыто осуждал феодально-церковную реакцию.

*...на меня... набросились мюнхенские попы...* — См. примечание к стр. 466.

#### 118. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Стр. 496. *С поэзией, значит, покончено...* — Гейне вскоре после этого написал лирический цикл «Новая весна».

Стр. 497. *...статья в лейпцигском «Листке бесед» принадлежит вам...* — См. примечание к стр. 490. Упомянутая Гейне газета Брокгауза («Konversationsblatt») была в 1826 году переименована в «Blätter für literarische Unterhaltung».

*...прежняя статья... была беспримерно подлой...* — См. примечание к стр. 490.

*...тот самый человек, который недавно напечатал в «Globe» статью о немецкой литературе, где он тоже подло обрушился на меня.* — Гейне был возмущен тем, что в статье влиятельного парижского либерального журнала «Globe» от 10 февраля 1830 года «О состоянии немецкой литературы» содержался положительный отзыв о Платене и Менцеле. Предполагаемый автор этой статьи — Менцель.

Стр. 498. *Появление в «Собеседнике» статьи...* — Она появилась 3 февраля 1830 года.

Стр. 500. *...артистическое самодовольство, свойственное позднему искусству великого гения отрицания современности (das große Zeitablehnungsgenie), гения, ставшего для себя самоцелью.* — Эта характеристика Гете глубоко ошибочна, хотя она и подсказана благороднейшими, прогрессивными стремлениями Гейне. Резкое осуждение позиций Гете показательно для многих немецких критиков 20-х годов. Против Гете выступали и демократ Берне, и прикрывавшийся демократической фразеологией тевтономан Менцель, и откровенный идеолог клерикально-дворянской реакции Фридрих Шлегель. Гейне в эти годы еще не чувствовал принципиального расхождения своего с Берне. Более того,

он даже не замечал еще реакционности Менцеля, книга которого «Немецкая литература», резко враждебная Гете, произвела на него сильное впечатление. Ратуя за прямое и непосредственное отражение в литературе практических вопросов современной общественной жизни, Гейне не замечал, что внешне далекие от современной действительности образы позднего творчества Гете, его индифферентный стиль, перегруженный аллегориями и символами, по существу обращен именно к освещению современной проблематики, остро волновавшей Гете, как это было, например, во второй части «Фауста», которая создавалась как раз в эти годы (1825—1831). И после опубликования ее (1832) ни Гейне, ни современные ему немецкие критики этого не поняли. Это в значительной степени объяснялось устаревшей образной системой позднего творчества Гете.

*Посельт Эрнст-Людвиг* (1763—1804) — историк и публицист, друг революционной Франции.

*...его издевательства... над Кампе, над дипломом гражданина, полученным Шиллером из Франции...* — 26 августа 1792 года правительство революционной Франции присвоило Шиллеру, Клопштоку, а также педагогу и демократическому публицисту Иоахиму Генриху Кампе (1746—1818) звание французских граждан.

#### 119. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Стр. 501. *Вандсбек* — предместье Гамбурга.

*«История революции»* — «История французской революции» А. Тьера, вышедшая в 1824—1827 годах. Тьер в это время писал статьи для аугсбургской «Всеобщей газеты» Котты.

Стр. 502. *Румор*. — См. примечание к стр. 483.

Стр. 503. *Винбарг* Людольф (1802—1872) — литератор, с которым Гейне познакомился в Гамбурге в 1830 году. Впоследствии выдающийся критик и теоретик литературы. Его лекции в Кильском университете «*Ästhetische Streifzüge*» («Эстетические походы», 1834) стали манифестом писателей «Молодой Германии». Двадцать третья лекция посвящена творчеству Гейне, горячим поклонником которого был Винбарг. Он оставил также интересные «Воспоминания о Генрихе Гейне в Гамбурге» (1857).

Стр. 504. *Полиньяки* — старинная французская аристократическая фамилия. К ней принадлежал и крайний реакционер Огюст-Жюль Полиньяк (1780—1847), который накануне Июльской революции был председателем совета министров Франции.

*...первыми эмигрировали из Франции.* — Гейне говорит здесь об эмигрантах времен Великой французской революции, намекая

на вероятность повторного бегства Карла X и семьи Полипьяков, то есть на близость новой революции во Франции.

#### 120. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Стр. 504—505. *«Цинцендорф»* — биография графа Николауса-Людвига Цинцендорфа (1700—1770) в пятом томе «Памятников-биографий» Фарнхагена. Цинцендорф был основателем и главой религиозной секты и общины *геригутеров*, близких к pietистам, и автором многочисленных религиозных песен.

Стр. 505 *...тридцать первого и тридцать второго томов нового собрания сочинений Гете...* — Эти тома (изд. Котты, 1827—1830) содержали «Анналы» («Дополнение к прежним моим мемуарам») Гете.

Стр. 506. *Из третьего тома будет вышвырнут граф...* — то есть будет изъят памфлет на Платена. От этого намерения Гейне впоследствии отказался: страницы о Платене сохранены и во втором издании третьей части «Путевых картин».

*Заметку в «Корреспонденте»... устроил я сам...* — 18 мая 1830 года в газете «Die Staats- und gelehrte Zeitung des Hamburgischen unparteiischen Korrespondenten» была напечатана заметка «Письмо из Франкфурта». В ней сообщалось о намерении Платена привлечь Гейне к суду за диффамацию (см. примечание к стр. 489).

*...Глупость всех тринадцати драматургов.* — Гейне намекает здесь на нашумевшую петицию тринадцати французских драматургов-классицистов королю Карлу X о запрете постановок романтических драм (после большого сценического успеха романтической драмы Александра Дюма «Генрих III и его двор», 1829).

#### 121. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Стр. 507. *...прилагаемую при сем книжку.* — Имеется в виду сборник стихотворений второстепенного поэта Франца фон Гауди (1800—1840), посвященный Гейне.

*Голландские картины.* — Один из разделов сборника Гауди называется «Под впечатлением от картин». Здесь — стихи, навеянные известными картинами Рембрандта и других голландских художников.

*...одного подлеца самого плебейского происхождения...* — Вероятно, речь идет о Морице Оппенгеймере (см. примечание к стр. 475, письмо 106).



...он откровенно говорит о самых щекотливых вещах... — Гауди (письмо его сохранилось) говорит о том, что хотя он и аристократ, но ставит аристократию ума выше сословия аристократов. Он пишет далее, что нападки Гейне на Платена не понравились ему не потому, что он сочувствует Платену, а потому, что такая жалкая личность не стоит того, чтобы ей уделяли столько внимания.

«Северная война» Тика — историческая повесть «Восстание в Северных» (1826).

#### 122. ЛУДОЛЬФУ ВИНБАРГУ

Публикуемый отрывок — единственная сохранившаяся часть настоящего письма.

Стр. 509. *Лудольф Винбарг*. — См. примечание к стр. 503.

#### 123. КАРЛУ-БОРРОМЕУСУ ГЕРЛОСЗОНУ

Стр. 509. *Карл-Борромеус Герлосзон* (Герлос) — прогрессивный немецкий поэт, критик, журналист. В 1830—1848 годах был редактором журнала «Комета».

...поблагодарить вас за меткие удары... — 23 апреля 1830 года Герлосзон поместил в «Комете» рецензию на третью часть «Путевых картип», где решительно встал на сторону Гейне в конфликте с Платеном.

«Петух и курица» — новелла Герлосзона.

...чтобы менялы и торгаши были изгнаны из храма... — В евангелии от Иоанна (гл. 2, ст. 14—15) рассказывается о том, как Христос изгнал менял и торгашей из храма в Иерусалиме.

Стр. 510. ...попадется в руки моя книга... — Имеются в виду дополнения к «Путевым картинам».

#### 124. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРИХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Стр. 510. *Съезд естествоиспытателей* состоялся в Гамбурге в сентябре 1830 года. Гейне знал о нем от участника съезда, поэта Шамиссо, который был также крупным ботаником.

Стр. 511. ...существуют люди, предчувствующие революции... — Предчувствие Июльской революции было обусловлено у Гейне чтением «Globe» и других французских оппозиционных журналов и газет, а также сообщениями из Парижа в аугсбургской «Всеобщей газете».

...пережил здешние события... — Имеется в виду еврейский погром в Гамбурге.

Стр. 512. ...обещал мне Голландию и Брабант... — См. примечание к стр. 451.

*Новое сочинение чисто политического характера* — вероятно, размышления об Июльской революции во Франции, вошедшие впоследствии в книгу «Людвиг Берне» (1840).

Стр. 513. *Вашего материалистического врача я еще не читал.* — Речь идет о мемуарах философа и врача Иоганна-Беньямина Эрхарда (1766—1827), изданных Фарнхагеном (1830).

*«Письма умершего»* — изданная анонимно книга князя Германа Пюклер-Мускау (1785—1871). Впоследствии Гейне сблизился с автором этой книги и посвятил ему свое сочинение «Лютосция» (см. т. 8 настоящ. издания, стр. 15—21, а также письма Гейне к Пюклер-Мускау в т. 10).

#### 125. ВОЛЬФАНГУ МЕНЦЕЛЮ

Настоящее письмо свидетельствует о дальнейшем охлаждении в отношениях Гейне и Менцеля.

Стр. 514. *Левальд* Август (1792—1871) — человек с не совсем обычной биографией: коммерсант, секретарь русского фельдмаршала Барклая де Толли (в 1814 г.), либеральный драматург. Впоследствии Левальд неоднократно навещал Гейне в Париже. Сочинение Гейне «О французской сцене» (см. т. 7 настоящ. издания) носит подзаголовок: «Дружеские письма Августу Левальду».

*...вашего последнего выпада против Иммермана...* — Гейне имеет в виду рецензию Менцеля на «Стихотворения» Иммермана («Literaturblatt», 1830, № 112).

*...как сильно вы меня оскорбили.* — В столкновении Гейне и Платена Менцель стал на сторону последнего.

#### 126. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭИЗЕ

Стр. 516. *Новая книга* — четвертая часть «Путевых картин».

*Гарбург* — предместье Гамбурга (на левом берегу Эльбы).

*...имеются четыре синдика...* — Надежды Гейне на избрание его синдиком (то есть членом магистрата, уполномоченным представлять его юридические интересы) не оправдались.

Стр. 517. *Леман, мой бывший сеид...* — Сеид — один из первых поклонников Магомета. Гейне хочет сказать, что Леман был его слепым приверженцем.

Стр. 518. *Зонтаг* Генриетта (1806—1854) — знаменитая оперная певица.

В письме получила отражение некоторая растерянность Гейне. Он восторженно приветствует Июльскую революцию, горячо сочувствует стихийному подъему антифеодального движения в Германии, но видит слабость его, считает несостоятельными надежды на близость революции в Германии, не знает, что он сам должен предпринять.

Стр. 518. *Будут ли события и дальше происходить сами собой, без вмешательства отдельных лиц? Вот великий вопрос...* — Гейне выражает недоверие к распространенной в то время среди трусливого либерального бюргерства теории. Утверждалось, будто революция является выражением «духа времени» и что революция в одной стране означает, что и в других странах сами собой произойдут значительные преобразования. Надо, заявляли сторонники этой теории, дать созреть событиям в отсталой стране, выждать момент, прежде чем вмешиваться в их ход. Так многие оправдывали свою пассивность. Этой концепции отдал некоторую дань в своих стихотворениях начала 30-х годов даже такой прогрессивный поэт, как Шамиссо.

Стр. 519. *...даже старейшие швейцарцы старого режима вдруг искромсали свои красные мундиры и сшили из них якобинские шапки...* — Под «швейцарцами» имеются в виду наемные отряды телохранителей французских королей, вербовавшиеся в Швейцарии. Гейне иронизирует над молниеносным обращением после Июльских событий заядлых реакционеров в сторонников революции.

*Но когда... из Польши стали приходить страшные, хотя, может быть, и ложные вести...* — Гейне имеет, вероятно, в виду вести о военных неудачах польских повстанцев (1830—1831). Возможно, что речь идет также и о возросшем среди повстанцев влиянии аристократов.

*...Я написал предисловие к произведению одного дворянина...* — Речь идет о статье «Кальдорф о дворянстве в письмах к графу М. фон Мольтке» (см. т. 5 настоящ. издания, стр. 153—166).

*...полностью отдаться священным чувствам моей новой религии...* — Гейне говорит о своем увлечении сен-симонизмом.

*Салонный демагог* — Платен.

*Но его вероломство и нарушение слова... вешать немецких Поляньюков.* — См. примечание к стр. 504. В самом конце 20-х годов Шенк особенно проявил себя как ярый реакционер.

Стр. 520. *Пюклер.* — См. примечание к стр. 513.

Настоящее письмо, а также датированное тем же числом письмо к Мозесу Мозеру — первые из сохранившихся писем Гейне из Парижа, куда он прибыл 19 мая 1831 года.

В упомянутом письме к Мозеру, которое не вошло в настоящее издание, Гейне, задетый колкостями своего друга, напоминавшего, что он по-прежнему не одобряет тактики Гейне в конфликте с Платеном, заявляет, что Мозер его никогда не понимал и что дружбы между ними, собственно говоря, не было.

Стр. 520. *Пантеон* — здание бывшей церкви св. Женеьевы в Париже. В годы Великой французской революции оно было предназначено служить усыпальницей великих людей страны и было соответственно перестроено в античном вкусе.

Стр. 521. *Мадам Валантен* — жена парижского банкира, немка, сохранившая связи с Гамбургом и Берлином. Она переписывалась с Рахель Фарихаген и не чужда была интереса к искусству и литературе. В ее гостиной бывали Гейне, Берне, Александр Гумбольдт, французские писатели и художники.

*Морис Шлезингер* — глава парижского отделения берлинского музыкального издательства. Нотный магазин Шлезингера в Париже был излюбленным местом встреч композиторов и писателей.

*Дондорф*. — См. примечание к стр. 374.

*Я окружен прусскими шпионами...* — После Июльской революции Париж стал одним из главных центров политической эмиграции. В связи с этим прусские тайные агенты развили бешеную деятельность.

*Конгрегационисты* — собственно члены объединенных религиозных общин. Гейне имеет в виду сторонников республики (эзопов язык). Июльской революцией было вызвано резкое усиление политической оппозиции в германских государствах.

*...мелкая могущественная рука заботливо поманила меня.* — Гейне часто и по разным поводам говорил о мотивах, побудивших его уехать из Германии. *Рука* упоминается единственный раз в этом первом письме из Парижа. Вероятнее всего, это мистификация, рассчитанная на то, чтобы ослабить впечатление от отъезда писателя во Францию. Гейне, как он сам намекает в первой части письма (*...ведь стоит... письму попасть к посторонним... и оно может скомпрометировать вас*), считался с возможностью полицейского надзора за его перепиской.

*Я... пародирую Дантона.* — Предвидя свой арест, Дантон отклонил совет бежать за границу, сказав при этом: «Отечество не унесешь на своих подошвах».

#### 129. ИОГАННУ-ФРИДРИХУ КОТТЕ

Стр. 522. ...появилась первая статья моих «Дел». — Речь идет о первой статье «Французских дел», которая появилась в приложении к аугсбургской «Всеобщей газете» 11 и 12 января 1832 года. Она вызвала во Франции резкие нападки на эту газету Котты. Гейне рисует в этой статье неустойчивость режима Июльской монархии, растущее недовольство народа, дает язвительный портрет Луи-Филиппа. В первоначальной, газетной редакции статьи все это подано еще острее, чем позднее в книге «Французские дела». Статьей Гейне воспользовалась для выступления против правительства парижская газета «La tribune des républicains» («Трибуна республиканцев»). Она привела в переводе обширные выдержки из статьи. Для того чтобы отвести от себя обвинение в «оскорблении величества», газета в предисловии разыграла возмущение: французского короля, говорилось в этом предисловии, порочат иностранные журналисты, а французским газетам запрещено критиковать иностранных государей. «La tribune des républicains», а за ней и оппозиционная газета «Temps» («Время») в один голос заявляли, что орган Котты служит интересам врагов Франции: Австрии, Пруссии и России. Газета «Temps» разъясняла это так: баварская газета порочит короля Франции, а баварская цензура пропускает такую статью потому, что Луи-Филипп — «король-гражданин», поставленный на престол революцией. Этот тактический ход левых французских газет был прямым предательством по отношению к союзникам — передовым деятелям зарубежной прессы. Гейне очутился в чрезвычайно критическом положении. Ему угрожала высылка из Франции. Предстоял судебный процесс редактора «La tribune des républicains», и он мог иметь для Гейне очень неприятные последствия. Котта, конечно, также не мог быть доволен деятельностью своего корреспондента. А власти в Пруссии, Австрии и Баварии, которые не могли не понять смысла статьи Гейне, не остались бы пассивными. Известно, что по прямому указанию Меттерниха его подручный Гентц потребовал в письме к Котте от 21 апреля 1832 года прекращения печатания «Французских дел» (см. т. 5 настоящ. издания, стр. 503—504). И, вероятно, только тем, что последующие статьи Гейне написал значительно осторожнее, объясняется опубликование еще семи от-

рывков «Французских дел» в газете Котты. Девятая статья (август 1832 г.) уже не была принята.

*Этот маневр подстроен с помощью здешних немецких якобинцев...* — Очень вероятно, что кто-нибудь из немецких политических эмигрантов обратил внимание газеты «La tribune des républicains» на статью во «Всеобщей газете» и раскрыл авторство Гейне (все статьи печатались здесь без подписи). Едва ли, однако, при этом имелся в виду тот маневр, о котором говорит Гейне. Какое основание имел Гейне так решительно обвинять штутгартского издателя Франка, сказать трудно.

*Якобинская бесчестность.* — Так Гейне называет поступок редакции «La tribune des républicains», маневр, направленный против него.

*...«Всеобщая газета» поступила с ним... неблагородно.* — Эта газета поместила 24 декабря 1831 года корреспонденцию из Парижа своего сотрудника И.-Г. Шницлера, в которой «Письма из Парижа» Берне были названы «печально известными».

*Дондорф.* — См. примечание к стр. 374.

Стр. 523. *...дольше, чем старая мадам Бер ждала постановки «Роберта-Дьявола».* — Мадам Бер — мать композитора Джакомо Мейербера. Премьера его оперы «Роберт-Дьявол» дважды откладывалась: в первый раз вследствие переноса постановки из одного театра в другой, во второй — из-за июльских событий 1830 года. Она состоялась в театре «Grand Opéra» только 21 ноября 1831 года.

*Гумбольдт* Александр (1769—1859) — знаменитый естествоиспытатель и путешественник. В конце 1831 года прусское правительство, основываясь на том, что Гумбольдт имел обширные знакомства во Франции, направило его в Париж в помощь своему посланнику. Гумбольдт недолго оставался на этом посту.

*Корейф* Давид-Фердинанд (1783—1851) — врач и литератор, близкий к кругу романтиков 10—20-х годов, личный друг писателя Э.-Т.-А. Гофмана, который вывел его под именем Винцента в «Серрапионовых братьях». Лечил с помощью магнетизма и слыл врачом-чудодеем. В двадцатых годах поселился в Париже и имел многочисленных пациентов, но в 1837 году ему была запрещена медицинская практика во Франции.

*Кольб.* — См. примечание к стр. 461.

### 130. МИШЕЛЮ ШЕВАЛЬЕ

Стр. 523. *Мишель Шевалье.* — См. примечание к стр. 171 («Мысли, заметки, импровизации»). В начале 30-х годов, когда

журнал либеральных романтиков «Globe» перешел в руки сепсимонистов, Мишель Шевалье стал его главным редактором.

### 131. ПОГАННУ-ФРИДРИХУ КОТТЕ

Стр. 524. ...о неудобствах моей здешней позиции среди патриотов... — Трения с немецкими патриотами были вызваны тем, что для Гейне решающее значение имела борьба за уничтожение бедности, тогда как немецкие «якобинцы» не шли дальше требования уничтожения абсолютизма (см. ниже письма 143 и 171). «Неудобства» значительно возросли после того, как 25 февраля 1832 года в парижской левой прессе («Globe», «National» и др.) появилось обращение доктора Иоганна-Георга Вирта (1799—1848) к немцам, проживающим в Париже. Доктор Вирт, один из вождей левого крыла южнонемецких либералов, республиканец, основателю в июле 1831 года газету «Немецкая трибуна», которая просуществовала менее года. В феврале 1832 года он поместил здесь призыв к учреждению ассоциации друзей свободной печати, которая должна была содействовать распространению изданий прогрессивной печати, заниматься сбором средств на уплату штрафов и оказывать поддержку семьям арестованных журналистов. Аналогичный призыв был адресован немцам в Париже. Здесь было указано, что Гейне и Берне уже вступили в члены ассоциации. 28 февраля Вирт в письме к этим писателям приглашал их возвратиться в Германию и сотрудничать в «Немецкой трибуне».

В девятой статье «Французских дел» (Котте ее не напечатал) Гейне с большим сочувствием говорит о докторе Вирте (см. т. 5 настоящ. издания, стр. 350). Как и в данном письме к Котте, он выражает здесь уверенность, что в Германии обязательно произойдет революция. Однако, в отличие от Берне, он не считает, что время для этого уже настало, не предается иллюзиям относительно нынешнего положения вещей в Германии. Он предвидит разгром сторонников благородного мечтателя Вирта. Этим объясняется осторожная позиция Гейне по отношению к Котте, с которым он не желает порывать связей, помня о том, что «Всеобщая газета» — наиболее влиятельный орган либеральной оппозиции.

*Прилагаемая статья* — четвертая статья «Французских дел».

*«Цвейбрюккенские свободные печатники»* — немецкая ассоциация друзей свободной печати. Она была основана в Цвейбрюккене (Пфальц), куда Вирт и его соратник Зибенпфейфер перенесли свою деятельность.

*«Трибуна»* — «Немецкая трибуна» Вирта.

### 132. ФРИДРИХУ ТИРШУ

Письмо интересно тем, что Гейне говорит в нем о двух основных задачах, которыми оправдывалось его пребывание в Париже: о содействии взаимному сближению французского и немецкого народов и о разъяснении немецким читателям того, что во Франции зреет новая революция.

Стр. 525. *Фридрих Тирш* (1784—1860) — видный ученый, мюнхенский профессор классической филологии.

### 133. ИОГАННУ-ФРИДРИХУ КОТТЕ

Стр. 526. *Прилагаемая статья* — пятая статья «Французских дел».

*Недовольство бедняков не знает предела.* — Гейне верно оценивает постоянные вспышки восстаний при Июльской монархии. Как и в предыдущем письме к Тиршу, он дает понять, что во Франции назревает новая революция. Эпидемия холеры еще более усиливает недовольство против правительства, которое не принимает действенных мер против нее.

### 134. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Стр. 528. *...занимаюсь историей французской революции и сен-симонизмом. Напишу о них книги.* — Гейне изучает историю Великой французской революции, чтобы лучше понять надвигающуюся новую революцию. Книг, о которых он здесь говорит, Гейне не написал.

*«Moniteur».* — См. примечание к стр. 187 («Мысли, заметки, импровизации»). В комплекте за 1793 год содержатся отчеты о дебатах в Конвенте в самый решающий период революции.

*...представлялась возможность завоевать его.* — По-видимому, речь идет о каких-то отклоненных Гейне предложениях близкой к Луи-Филиппу прессы.

*...сен-симонисты ретировались...* — После закрытия властями их штаб-квартиры на улице Тебу в январе 1832 года сен-симонисты перенесли свой центр в одно из предместий Парижа. Это ограничило размах их пропаганды: собрания общины стали менее многолюдными.

*Два новых тома князя Пюклера* — третий и четвертый тома «Писем умершего» (см. примечание к стр. 513).

*Я ничего ему не пошлю...* — Шамиссо просил Гейне послать ему новые стихи для «Альманаха муз».



Стр. 529. ...Христиани превратился в Мирабо Люнебургской степи. — Гейне знал из аугсбургской «Всеобщей газеты» о смелых выступлениях Христиани в дебатах о ганноверской конституции (1832). Он посвятил в это время Христиани стихотворение «Бывшему гетеанцу» (см. т. 2 настоящ. издания, стр. 107).

*Болтушка Лотта* — сестра поэта, Шарлотта Эмбден.

*Роман... мне не удался...* — Возможно, что речь идет о произведении «Из мемуаров господина Шнабелевопского» (см. т. 5 настоящ. издания, стр. 421—469), которое первоначально было задумано как роман.

### 136. НЕИЗВЕСТНЫМ ИЗДАТЕЛЯМ

Из этого письма видно, что уже в конце 1832 года Гейне был признан большими французскими писателями, в частности Гюго. Его известность растет. В этом году «Revue de Paris» печатает отрывки из «Английских фрагментов», «Revue de deux mondes» — куски из «Путешествия по Гарцу», «Книги Ле Гран» и «Луккских вод».

### 137. КАРЛУ ИММЕРМАНУ

Стр. 531. «Europe littéraire». — Первый номер этого парижского журнала, о планах создания которого Гейне сообщает адресату, открылся статьей Гейне (март 1833 г.). В этом и следующих номерах Гейне печатает «Современное состояние литературы в Германии после г-жи де Сталь» (первый вариант «Романтической школы»). Впоследствии в своих «Признаниях» Гейне нарисовал красочный портрет Виктора Боэна, издателя журнала, и рассказывал о финансовом крахе предприятия (см. стр. 105—107 настоящ. тома). Журнал выходил менее года.

...против южнонемецкой mauvais foi... — Гейне вспоминает об интригах мюнхенских клерикалов против него.

...чтобы вы дали... обзор состояния живописи в Германии. — Иммерман написал четыре статьи на эту тему для «Europe littéraire».

*Шадов* Вильгельм (1789—1862) — глава дюссельдорфских живописцев-романтиков.

Стр. 532. «Алексей» — драматическая трилогия Иммермана («Бояре», «Суд в Санкт-Петербурге», «Евдокия»), вышедшая в 1832 году.

Стр. 533. ...получил *«Предисловие»*... — В декабре 1832 года в издательстве Кампе вышли отдельной книгой «Французские дела» Гейне, ранее напечатанные во «Всеобщей газете». Здесь идет речь о предисловии к этой книге, которое появилось отдельной брошюрой. Цензура изуродовала как текст книги, так и текст «Предисловия». Подробную справку о сложной истории публикации «Французских дел» см. в комментариях к этому произведению, т. 5 настоящ. издания, стр. 503—507. См. там же (стр. 505) текст протеста Гейнс, помещенный в приложении к номеру «Всеобщей газеты» от 11 января 1833 года.

...я предстал унылым льстецом прусского короля. — Цензор подменил выпады против прусского короля комплиментами.

*Раумер.* — См. примечание к стр. 164 («Мысли, заметки, импровизации»).

...жду теперь рукописи от Г[ати]... — Во время печатания «Французских дел» в Гамбурге у Кампе Гейне готовил французское издание книги. Август Гати (1808—1858), служивший у Кампе, переводил ее на французский язык. Гейне ждал присылки рукописи перевода.

...отправьте Гейделофу почтой несколько дюжин экземпляров моей книги. — Речь идет о немецком издательстве, имевшем отделения в Лейпциге и Париже. Парижским представителем этого издательства был Наполеон Кампе, племянник Юлиуса Кампе.

Стр. 534. *Меркель злорадствует*... — Фридрих Меркель не одобрял «политических увлечений» своего друга.

### 189. ИОГАННУ-ФРИДРИХУ КОТТЕ

Письмо не успело дойти до адресата, который умер 29 декабря 1832 года.

Стр. 535. *Леве-Веймарс* Франсуа-Адольф (1801—1854) — политический публицист и литератор, близкий к французским романтикам, известный переводчик произведений Гете, Виланда, Э.-Т.-А. Гофмана, английских и шотландских баллад (Гофман был переведен им полностью). В 1832 году Леве-Веймарс перевел и опубликовал в «Revue des deux mondes» отрывки из «Путешествия по Гарцу» и «Книги Ле Гран» Гейне.

...мне хотелось бы... чтобы другие лица оказались... более полезными вам... — Письмо написано после того, как Гейне узнал

о прекращении печатания «Французских дел» в аугсбургской «Всеобщей газете» (см. примечание к стр. 522).

...*писать в... стиле полураздумий...* — то есть писать о политике эзоповым языком. Заграничным корреспондентам немецких газет цензура разрешала только сообщать факты, но не освещать политическую жизнь за рубежом.

Стр. 536. ...*полезность артистического направления этого великолепного журнала.* — «Литературная Европа» объявила, что не будет касаться политики.

...*я решился сам переиздать «Дела»...* — Речь идет о переиздании статей из «Всеобщей газеты» Котты отдельной книгой «Французские дела».

#### 140. ЭДУАРДУ ДЕ ЛАГРАНЖУ

Стр. 536. *Эдуард де Лагранж* (1796—1878) — граф, дипломат, пользовавшийся в 30-х годах в Париже репутацией знатока немецкой литературы и много переводивший с немецкого. Был одним из учредителей «Литературной Европы», сотрудничал и в других журналах. Желая познакомить своих соотечественников с поэзией Гейне (до этих пор переводилась только его проза), Лагранж к началу 1833 года перевел довольно неуклюже «Северное море». Гейне отобрал десять переведенных Лагранжем стихотворений. Напечатать их удалось только в 1835 году в журнале «Литературная Франция».

*Пишо* — издатель «Обозрения британских дел».

Стр. 537. *Приложение.* — Здесь перечислен ряд стихотворений из цикла «Северное море». Названия некоторых из них изменены.

#### 141. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Стр. 537. *Я все еще не в силах писать вам.* — Гейне был потрясен известием о смерти Рахели Фарнхаген (она умерла 7 марта 1833 года).

Стр. 538. ...*статьи о литературе...* — См. примечание к стр. 531. ...*узнав о смерти Роберта и его жены...* — Людвиг и Фридерика Роберт умерли в июле 1832 года.

*Корейф.* — См. примечание к стр. 522.

#### 142. ГЕНРИХУ ЛАУБЕ

Конец письма не сохранился.

Стр. 538. *Генрих Лаубе* (1806—1884) — один из видных писателей «Молодой Германии», драматург, автор романов, публицист,

критик. Еще в 1834 году, до официального запрещения деятельности «младогерманцев» (декабрь 1835 года) Лаубе был арестован. В 1837 году его судили за оскорбление короля и нападки в печати на правительственные распоряжения. Он провел в заключении около трех лет. Впоследствии он не раз отрекся от радикальных убеждений своей юности. В 1850—1867 годах Лаубе, один из крупных театральных деятелей в Германии, был директором венского Бургтеатра.

Дружеские отношения Гейне и Лаубе были длительными, они были закреплены в 1839 году личной встречей в Париже. Лаубе оставил ценные воспоминания о Гейне.

*...смерть причинила мне много горя...* — См. предыдущее письмо и примечания к стр. 537 и 538.

*Программа немецкой литературы* — первая часть сочинения «К истории новой немецкой литературы».

Стр. 539. *«Изыщная»* — «Газета для любителей изящного» («*Zeitung für die elegante Welt*»), редактором которой был в то время Лаубе.

*Шлезингер*. — См. примечание к стр. 521.

#### 143. ГЕНРИХУ ЛАУБЕ

Письмо содержит высказывания, очень важные для понимания общественной позиции Гейне и его тактики в борьбе с реакцией.

Стр. 540. *В меня здесь вцепились...* — Значительная часть парижской прессы («*La Quotidienne*», «*Le Figaro*», «*Journal des débats*» и некоторые другие газеты) очень недружелюбно встретила появление «Французских дел». Левые газеты дали книге положительную оценку. Один из номеров газеты «*Tribune des républicains*» был конфискован полицией за приведение выдержки из этой работы Гейне.

*Карлистская партия* — сторонники возвращения на престол изгнанного Июльской революцией Карла X.

*Эстетический хлам* — по-видимому, дополнение к «Французским художникам».

*...я обязан испечь книгу для Кампе...* — Имеется в виду первая часть «Салона».

#### 144. КАРЛУ-АВГУСТУ ФАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Стр. 541. *...какими причинами вызвано мое долгое молчание.* — Гейне боялся скомпрометировать Фарнхагена своими письмами. *Требуемые вами письма...* — Имеются в виду письма покойной

Рахели Фарнхаген к Гейне. За исключением одного письма, они не сохранились.

Стр. 542. *Я благодарен переводчику...* — Перевод Гати (см. примечание к стр. 533) создавался в то время, когда в издательстве Кампе шла подготовка к печатанию искаженного цензурой немецкого текста «Предисловия».

*...против постановлений Союзного сейма.* — Речь идет о постановлении от 28 июня 1832 года о передаче в германских государствах всей полноты власти местному государю, то есть об упразднении даже тех куцых конституций, которые кое-где были завоеваны после Июльской революции во Франции, и от 5 июля того же года о дальнейшем решительном ограничении свободы печати. Весной 1833 года постановлением Союзного сейма была образована во Франкфурте-на-Майне центральная (общегерманская) следственная комиссия по политическим делам.

*...негодяев вроде Берне и компании...* — По-прежнему Гейпо считает, что немецкие «якобинцы» в Париже распространяют слух о его связи с прусскими властями (см. примечание к стр. 522). К этому времени Гейне уже резко разошелся с Берне.

Стр. 543. *Полей* — французский санскритолог.

*...часами обсуждаем религиозные вопросы.* — Речь идет о религии сен-симонистской, сенсуалистической.

*...отправляюсь на Восток.* — Это путешествие не состоялось.

*...obeliski... которые... привозят в Париж.* — В Париже на площади Согласия был установлен обелиск, привезенный из египетского селения Луксор. См. высказывание Гейне об этом в «Дополнении» к статье «Французские художники» (т. 5 настоящ. издания, стр. 227).

#### 145. ХАНСУ-КРИСТИАНУ АНДЕРСЕНУ

Стр. 543. *Ханс-Кристиан Андерсен* (1805—1875) — великий датский писатель. В июле 1833 года Андерсен, тогда еще начинающий поэт, находясь проездом в Париже, написал Гейне письмо, полное самых трогательных заверений. «Ни один поэт еще не доставлял моей душе то, что дали вы», — читаем мы в этом письме. К письму Андерсен приложил несколько своих стихотворений в немецком переводе.

*...хорошо научиться немецкому языку...* — В своем письме Андерсен сетует на недостаточное знание немецкого языка и выражает надежду, что Гейне когда-нибудь прочитает его стихи в датском оригинале.

#### 147. ФРАНЦУ ГРИЛЬПАРЦЕРУ

Стр. 545. *Франц Грильпарцер*. — См. примечание к стр. 268.

#### 148. В АУГСБУРГСКУЮ «ВСЕОБЩУЮ ГАЗЕТУ»

Настоящее «Разъяснение» было опубликовано в приложении к номеру «Всеобщей газеты» от 28 ноября 1833 года. «*Zeitung für die elegante Welt*» перепечатала его 30 ноября.

Стр. 546. *Жиске*. — См. примечание к стр. 166 («Мысли, заметки, импровизации»).

*Фон Вертер* Вильгельм (1772—1859) — прусский посланник в Париже. В 1837—1841 годах был прусским министром иностранных дел.

*...угроз прусских офицеров и аристократов...* — Провокационные действия реакционно настроенных офицеров против передовых публицистов не были редкостью в те годы. Неугодного писателя оскорбляли, вынуждали принять вызов на дуэль, убивали. Гейне имел основание встревожиться, когда получил предостерегающее письмо одного доброжелателя.

*...я только подготовил своих единомышленников...* — По-видимому, речь идет о том, что Гейне нашел друзей, готовых ответить на вызов поэту встречным вызовом. Так часто поступали в подобных случаях. Угроза против Гейне не была приведена в исполнение.

#### 149. ЖЮЛИО МИШЛЕ

Стр. 547. *Жюль Мишле* (1798—1874) — французский либеральный историк, писавший в духе, враждебном дворянству.

*Драгоценный подарок* — два первых тома «Истории Франции» Мишле (1833).

*Я прочитал вашу статью...* — Гейне имеет в виду вступительную лекцию Мишле к курсу новой истории, напечатанную в «*Revue des deux mondes*».

*Геродот; Тацит*. — Оба историка были выдающимися мастерами повествования.

#### 150. ХРИСТИНЕ БЕЛЬДЖОЙОЗО

Стр. 547. *Христина Бельджойозо*. — См. примечание к стр. 235 («Мемуары»).

*...книгу, о которой говорил...* — Вероятно, речь идет о «Французских делах».

Стр. 548. *...книгу князя Шюклера...* — См. примечание к стр. 513.

Стр. 549. *Луизи* Бернардино (1475—1532) — знаменитый ломбардский художник.

## 153. ЖОРЖ САНД

В 1834 году были уже широко известны первые романы Жорж Санд «Индиана», «Валентина», «Леллия», «Жак». Гейне познакомился с писательницей еще в начале 1833 года. Он был представлен ей композитором Листом.

Экземпляры французского перевода «Путевых картин» с соответствующими надписями Гейне подарил также Виктору Гюго, Жюлю Мишле, Христине Бельджойозо и, вероятно, некоторым другим парижским знакомым.

Стр. 550. *Моей... кузине Жорж Санд...* — В сохранившейся пригласительной записке Жорж Санд от июня 1833 года писательница называет Гейне «кузеном».

## 156. ФИЛАРЕТУ ШАЛЮ

Стр. 551. *Филарет Шаль.* — См. примечание к стр. 157 («Мысли, заметки, импровизации»). Автобиографическую справку Гейне, содержащуюся в настоящем письме, Шаль опубликовал в «Парижском обозрении» (1835), сопроводив ее восторженным предисловием.

*Я родился в 1800 году...* — Дата указана неверно (правильно: 1797). Гейне не хочет зачеркнуть свое указание в «Луккских водах», где он назвал себя одним из первых людей столетия, так как он якобы «родился в ночь на новый тысяча восьмисотый год» (см. т. 4 настоящ. издания, стр. 258).

Стр. 552. *...публичной защиты тезисов...* — См. примечание к стр. 378.

*...будто я попросту купил свой академический диплом.* — Эту клевету Гейне нашел в книге некоего Максима Стефани «Генрих Гейне и взгляд на нашу эпоху» (1834).

*В 1825 году вышел первый том «Путевых картин»...* — Неточность: этот том вышел в 1826 году.

Стр. 553. *Предисловие к письмам Кальдорфа* — предисловие к книге «Кальдорф о дворянстве в письмах к графу М. фон Мольтке» (см. т. 5 настоящ. издания, стр. 153—166).

Стр. 554. ...я предложу вам писать для меня раз в полтора месяца... — Проект печатания корреспонденций Детмольда в «Revue des deux mondes» не был осуществлен.

Стр. 555. «Искусство понимания искусства». — Более точное заглавие нашумевшей сатиры Детмольда: «Искусство за три часа стать знатоком искусства» («Die Kunst in drei Stunden ein Kunstkennner zu werden», 1834). Сатира была переиздана в ГДР в 1955 году.

## 158. ВИКТОРУ ГЮГО

Стр. 556. *Вольф* Оскар-Людвиг (1799—1851) — историк литературы, составитель антологий (греко-римской, немецкой, английской и французской) поэзии и прозы, а также писатель-сатирик, подписывавший свои произведения псевдонимом Плиний Младший.

## 159. АЛЬФРЕДУ ДЕ ВИНЬИ

Стр. 556. *Альфред де Виньи* (1797—1863) — французский писатель-романтик, автор ряда поэтических сборников и романов «Сен-Мар» и «Стелло». Дружеские отношения Гейне и Виньи были длительными, хотя и не очень тесными.

«*Чаттертон*» (1835) — драма Виньи о жизни и трагическом конце английского поэта Томаса Чаттертона (род. 1752), покончившего с собой в восемнадцатилетнем возрасте.

*Китти Белл* — главная женская роль в драме «Чаттертон».

## 160. ДЖАКОМО МЕЙЕРБЕРУ

Стр. 557. ...поступаю... как Тит... в творении Моцарта... — то есть в опере Моцарта «Милосердие Тита».

...настоящий Тит... был антисемитом. — При римском императоре Тите Веспасиане (39—81) римляне подавили восстание в Иудее и разрушили Иерусалимский храм.

*Натан Мудрый* — центральный персонаж одноименной драмы Лессинга; лицо гуманное и высоко нравственное.

Стр. 558. *Бюлоз* Франсуа (1803—1877) — издатель журнала «Revue des deux mondes», где в 1834 году была напечатана работа Гейне «О Германии со времен Лютера» («К истории религии и философии в Германии»).

*Майнцер* Иозеф (1807—1851) — в прошлом католический мо-



нах из Германии. В Париже он был учителем пения и музыкальным критиком. Автор оперы «Жакерия».

*«Жидовка»* — опера Жака Галеви (1799—1862). Ее премьера состоялась в парижском театре «Grand Opéra» в феврале 1835 года.

*Верон Луи-Дезире* (1798—1867) — французский врач и публицист, а с 1831 по 1836 год — директор театра «Grand Opéra».

*Г-н Шпацир... является центром всей немецкой сволочи.* — Журналист Рихард-Отто Шпацир (племянник Жан-Поля Рихтера) нападал в «Revue du Nord» на Гейне как на автора работы «О Германии со времен Лютера».

*...мне удавалось с помощью ума и денег обезопасить себя от этих низостей.* — Гейне приходилось откупаться деньгами от нападков журналистов-вымогателей, понаехавших из Германии и не имевших достаточного заработка. Говоря далее о бесстыдстве этой «наглой сволочи», Гейне забывает о том, что коррупцией были в это время заражены и исконно парижские буржуазные журналисты (см., например, роман Бальзака «Утраченные иллюзии»).

#### 161. ЮЛИУСУ КАМПЕ

Стр. 560. *Второй «Салон»* — то есть вторая часть «Салона» (1835).

*...издателю писем Берне...* — «Письма из Парижа» Людвига Берне были изданы Кампе в 1832 году.

Стр. 561. *Отсутствует даже посвящение...* — Цикл «Новая весна» посвящен сестре поэта Шарлотте Эмбден.

#### 162. ХРИСТИНЕ ВЕЛЬДЖОЙОЗО

Стр. 562. *Минье Франсуа* (1796—1884) — крупный историк, автор «Истории французской революции» (1824). Минье видел в классовой борьбе пружину политических событий (см. о нем у Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», гл. 2). С 1832 года был членом Французской академии и с 1837 года — постоянным секретарем Академии нравственных и политических наук.

Минье был верным поклонником княгини Бельджойозо.

*...приду... к г-ну Минье, чтобы с ним вместе направиться к г-ну Тьеру.* — В эти годы Тьер был товарищем министра внутренних дел, а в 1836 году стал председателем совета министров. Минье и Тьер были товарищами по школе.

Подготовленный Христиной Бельджойозо совместный визит Минье и Гейне к Тьеру был связан с хлопотами о денежной субсидии (пенсии) французского правительства для Гейне (см. об этом подробнее в комментариях к «Лютеции», т. 8 настоящ. издания, стр. 378—380).

#### 163. АВГУСТУ ЛЕВАЛЬДУ

Стр. 563. *Август Левальд*. — См. примечание к стр. 514.

...по горло увяз в любовной истории... — По-видимому, речь идет о встрече поэта со своей будущей женой (см. примечание к стр. 117, «Признания»), которая в то время была продавщицей в обувном магазине своей тетки. Встреча эта произошла в октябре 1834 года.

#### 164. КАРОЛИНЕ ЖОБЕР

Стр. 563. *Каролина Жобер* (1803—1889) — жена прокурора кассационного суда, приятельница Христины Бельджойозо. Она считалась одной из самых умных женщин Парижа. Дружеское отношение к Гейне она сохранила до самой смерти поэта. Ее «Воспоминания» (1876) содержат много ценных материалов о жизни Гейне в Париже.

Стр. 563—564. *Ауреолус-Теофрастус-Парацельсус-Бомбастус из Хознхейма*. — Парацельс (см. примечание к стр. 157. «Мысли, заметки, импровизации»). У него Гейне заимствует представление о *духах стихий*: *ундина* — дух воды, *саламандра* — огня, *гном* (кэбольд) — земли, *сильф* — воздуха.

Стр. 564. «*Мне не холодно...*» — цитата из только что опубликованного в то время романа Жорж Санд «Андре».

#### 165. ПРОСПЕРУ АНФАНТЕНУ

Стр. 564. *Проспер Анфантен*. — См. примечание к стр. 152 («Мысли, заметки, импровизации»).

*Отцу Анфантену...* — Гейне следует своеобразной терминологии сен-симонистских общин.

#### 166. ХРИСТИНЕ БЕЛЬДЖОЙОЗО

Стр. 564. ...о домашних неурядицах... — По-видимому, Гейне намекает на частые ссоры с Крессенсией-Эжени Мирá, впоследствии ставшей его женой (см. примечания к стр. 117, «Признания», и к стр. 563, письмо 163).

Стр. 565. *Жоншер*. — См. примечание к стр. 235 («Мемуары»).

## 167. ИОГАННУ-ГЕОРГУ КОТТЕ

Предложение Гейне, выдвинутое в настоящем письме, по-видимому осталось без ответа.

Стр. 565. *Иоганн-Георг Котта* (1796—1863) — издатель, сын и наследник Иоганна-Фридриха Котты.

*Письмо г-на Риттербранда.* — В этом письме от 22 мая 1835 года Гейне приглашался сотрудничать в создаваемой в Париже немецкой газете и стать ее редактором. Гейне переслал это письмо И.-Г. Котте.

Стр. 566. *Бреза.* — См. примечание к стр. 282.

*Гальяни* (точнее Галиньяни) Джованни-Антонио (ум. 1873), журналист. Вместе со своим братом он содержал в Париже библиотеку-читальню, а с 1814 года издавал газету на английском языке «*Messenger*», которая должна была содействовать сближению Англии и Франции на поприще культуры.

## 168. ЮЛИУСУ КАМПЕ

Стр. 567. *Чтоб начать иль кончить пенье...* — цитата из «Западно-восточного дивана» Гете («Дерзость»).

*Прекрасная приятельница* — Христина Бельджойозо.

Стр. 568. *...перенес самое тяжелое... большие тиражи...* — Писатели предоставляли издателям право использовать рукопись в течение определенного срока, независимо от тиража. Таким образом, большие тиражи были невыгодны писателям, так как после истечения срока договора они мешали перепродать рукопись.

Стр. 569. *Великий Наполеон.* — Гейне имеет в виду Наполеона Кампе (см. примечание к стр. 533).

## 169. АРМАНУ БЕРТЕНУ

Стр. 570. *Арман Бертен* (1801—1854) — редактор «*Journal des débats*». Протест Гейне был напечатан 28 сентября 1835 года. В аугсбургской «Всеобщей газете» он появился 11 октября того же года.

## 170. ГЕНРИХУ ЛАУБЕ

Стр. 571. *...необозримо длинные тени легли вокруг меня.* — Намек на неблагоприятные отношения с Крессенсией-Эжени Мирá (см. примечания к стр. 117, «Признания», и к стр. 563, письмо 163).

*Письмо ваше, посланное через одного гомеопата...* — В этом

письмо (от 3 мая 1835 года) Лаубе подробно рассказывает о своих мытарствах, перенесенных во время длительного подследственного заключения (см. примечание к стр. 538). Поэтому письмо не было послано по почте.

Стр. 572. *...начинают угрожать, если им не подадут...* — Речь идет о немецких журналистах-эмигрантах (см. примечание к стр. 558).

*...recommandé aux soins de Mr. Mangin...* — Манжен был директором почты в Булонь-сюр-Мер.

Стр. 573. *Вольф*. — См. примечание к стр. 556 (письмо 158).

*Знаю только роман*. — Имеется в виду начало романа-трилогии «Молодая Европа» (завершен в 1837 году).

### 171. ГЕНРИХУ ЛАУБЕ

Стр. 573. *...я ничего не слышал о разразившихся в литературе ужасах*. — Статья В. Менцеля, представлявшая собою донос правительствам на «безбожную» и «безнравственную» деятельность писателей «Молодой Германии», появилась в штутгартской «Литературной газете», которую он тогда редактировал, 11 и 14 сентября 1835 года. О ней сообщал Гейне Генрих Лаубе в своем письме от 3 ноября 1835 года, ответом на которое является настоящее письмо Гейне. Постановления Союзного сейма, запрещавшие печатание произведений младогерманцев, были приняты 10 декабря 1835 года, то есть уже после того, как было написано это письмо. Однако кампания против оппозиционной литературы к тому времени уже началась.

*Заклинаю вас всем, что вы любите...* — Гейне отвечает здесь на сообщение Лаубе о том, что, принимая должность редактора «Полуночной газеты», он, Лаубе, не сможет развернуть здесь знамя «Молодой Германии» и вынужден будет вести газету в осторожном, филистерском тоне.

*Строго различайте политические вопросы и религиозные*. — В этих словах содержится очень важное разъяснение тактики Гейне в периоды бурных наступлений реакции.

Стр. 574. *...один из моих сен-симонистских друзей во Египте...* — Друг во Египте (библейское выражение) — единомышленник, соратник, страдающий вместе с кем-нибудь от деспотического режима.

*...первый отец церкви среди немцев*. — Имеется в виду сен-симонистская «церковь». Так определил роль Гейне Проспер Анфантен в письме к Гейне от 11 октября 1835 года.

Стр. 575. *Тебе пятнадцать лет всего лишь...* — См. т. 2 настоящ. издания, стр. 172 («К Дженни»).

«Обозрение» — «Немецкое обозрение» («Deutsche Revue»), журнал, издание которого было задумано Гущковым и Винбаргом. Гейне был приглашен сотрудничать в нем. Из-за доносов Менцели издание не состоялось.

Стр. 576. *...пресловутое «Предисловие», которое я успел уничтожить...* — Речь идет о предисловии к «Французским делам». Достоверность сообщения Гейне вызывает сомнения.

*Клапрот* Юлиус-Генрих (1783—1835) — крупный немецкий востоковед (китаист, кавказовед и др.), состоявший в течение ряда лет на службе в Российской академии наук (до 1812), позднее живший в Париже. Циркулировавшие во Франции слухи о том, что он был прусским шпионом, не считаются подтвердившимися.

*Поездка в Вену.* — Эта поездка не состоялась.

#### 172. ЮЛИУСУ КАМПЕ

Стр. 577. *...о том, что происходит в мире немецкой печати.* — См. предыдущее письмо и примечание к стр. 573.

*...веду теперь двойную бухгалтерию...* — Гейне, вероятно, имеет в виду создание политически безобидных произведений — «Флорентинские ночи» и «Духи стихий», появившихся в третьем томе «Салона» (1837).

Стр. 578. *Шлезьер* Густав — ныне забытый литературный критик, примыкавший к «Молодой Германии», друг Лаубе. Гейне положительно отзывался о нем в «Романтической школе» (см. т. 6 настоящ. издания, стр. 245).

*Винбарг.* — См. примечание к стр. 503.

#### 173. ЮЛИУСУ КАМПЕ

Стр. 578. *...доносами штутгартской «Литературной газеты»...* — Помимо уже указанного (см. примечание к стр. 573), Менцель в статье от 1 января 1836 года обвинил младогерманцев в том, что они якобы ратуют за обобществление женщин.

Стр. 579. «Немецкое обозрение». — См. примечание к стр. 575.

Стр. 580. *Новое заглавие* — «Романтическая школа в Германии». Эта редакция значительно расширена по сравнению с прежней.

#### 174. ЗАЯВЛЕНИЕ В СОЮЗНЫЙ СЕЙМ

Заявление написано в связи с постановлением Союзного сейма о запрещении печатать и распространять как уже написанные, так и будущие произведения Гуцкова, Винбарга, Лаубе, Мундта и Гейне. Это постановление было принято 10 декабря 1835 года. Заявление Гейне было впервые опубликовано по-французски в «Journal des débats» 30 января 1836 года. В настоящ. издании дан перевод текста, напечатанного в аугсбургской «Всеобщей газете» 10 февраля 1836 года.

Стр. 582. *Доктор обоих прав* — то есть римского и немецкого права.

#### 175. ЮЛИУСУ КАМПЕ

Стр. 582. *Все обращаются с ним как с собакой...* — Союзный сейм, как учреждение мертворожденное и реакционное, не пользовался авторитетом в народе.

*Mes Seigneurs! Vos Seigneuries!* — Любопытно, что в немецком тексте заявления Гейне (письмо 174) нет этих высокопарных выражений.

*...тридцать шесть носовых платков...* — Союзный сейм, созданный в 1815 году по решению Венского конгресса, должен был служить символом единства Германии, которая фактически продолжала оставаться расколотой на тридцать шесть государств. В соответствии с этим в сейме было тридцать шесть представителей.

*...фамилию моей матери... она звучит несколько аристократичнее, чем моя...* — Предлог «ван» («из») в фамилии матери (ван Гельдерн), указывающий на происхождение из города Гельдерна, мог восприниматься как дворянская приставка.

#### 176. ЮЛИУСУ КАМПЕ

Письмо было вызвано следующими обстоятельствами.

Кампе отправил рукопись безобидной третьей части «Салона» не прусским цензорам в Берлин, а гессенским, в город Гиссен. Постановление о запрещении книг Гейне и других прогрессивных писателей было принято в форме рекомендаций сейма правительствам германских государств. Гиссенский цензор опротестовал предисловие, обличавшее Менцеля.

В настоящем письме речь идет о рукописи «Флорентинских вочей». Они печатались в «Утренней газете» Котты с 12 по 25 мая 1836 года.

## 178. В АУГСБУРГСКУЮ «ВСЕОБЩУЮ ГАЗЕТУ»

Текст «Разъяснения» не был опубликован во «Всеобщей газете» ввиду цензурского запрета. Однако в приложении к номеру от 8 мая 1836 года газета поместила краткое резюме первой части послания Гейне, указав, что полностью напечатать текст оказалось невозможным вследствие встретившихся помех.

Стр. 588. *...ввел в заблуждение своим доносом один писатель...* — Гейне имеет в виду Вольфганга Менцеля.

*...приобрело... характер антидеистского памфлета.* — Слово «антидеистский» употреблено здесь в значении «антирелигиозный».

Стр. 589. *Ультрамонтанская школа* — воинствующее реакционное направление в католичестве. Оно отстаивало идею всей полноты светской власти пап и их непогрешимости.

*...обратившись к нему с верноподданнейшим прошением...* — См. письмо 174.

Стр. 590. *Новое полицейское распоряжение* — именной указ прусского короля Фридриха-Вильгельма III от 7 апреля 1836 года.

## 179. АВГУСТУ ЛЕВАЛЬДУ

Конец письма не сохранился.

Стр. 591. *Кудри́* — деревня неподалеку от Парижа.

*М[агильда]*. — См. примечания к стр. 117 («Признания»), к стр. 563 (письмо 163) и к стр. 564 (письмо 166). Брак Гейне был оформлен в церкви лишь в 1841 году.

Стр. 592. *Рандюэль Эжен* — издатель французского собрания сочинений Гейне.

*...слушал шедевр Джакомо* — то есть оперу Джакомо Мейербера «Гугеноты». Премьера ее состоялась в 1836 году.

*Левассер* — парижский оперный певец (бас).

*Крупное издательское предприятие* — «Всеобщее театральное обозрение» Левальда. В 1837 году Гейне напечатал в этой газете несколько статей, и в том числе письма «О французской сцене» (см. т. 7 настоящ. издания, стр. 235—306).

## 180. ХРИСТИНЕ БЕЛЬДЖОЙОЗО

Стр. 593. *Vedere Napoli et poi morir* — итальянская поговорка.

Стр. 594. *Рене* (1409—1480) — граф Прованса, затем король Сицилии, слыл покровителем поэтов и художников.

*Шастель Жан* (1726—1793) — малоизвестный французский скульптор.

*...увидел свет один из благороднейших сынов революции.* — Имеется в виду Франсуа Мипье, родившийся в Эксе.

*Брут Марк Юний* (85—42 до н. э.) — глава заговора против Юлия Цезаря и участник его убийства. После поражения республиканцев в битве при Филиппах Брут покончил с собой.

*Регул Марк Атилий* (III в. до н. э.) — римский военачальник. Взятый в плен карфагенянами, он, согласно легенде, был послан в Рим для того, чтобы добиться мира, но из патриотических побуждений настоял на продолжении войны. Сдержав обещание и вернувшись в плен, был замучен карфагенянами.

## 181. АВГУСТУ ЛЕВАЛЬДУ

Полный текст настоящего письма не сохранился.

## 182. ЮЛНУСУ КАММЕ

Стр. 596. *...предисловие, необходимое для завершения книги...* — Речь идет о третьей части «Салона».

Стр. 597. *...вашего нового автора...* — Имеется в виду Берне. Отношения Гейне и Берне приняли в это время враждебный характер.

*«Мемуары».* — См. в настоящ. томе введение к комментариям к «Мемуарам».



## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Доктор Фауст. Перевод А. Горнфельда . . . . .	5
Боги в изгнании. Перевод А. Горнфельда . . . . .	49
Богиня Диана. Перевод Е. Лундберга . . . . .	73
Признания. Перевод П. Бернштейн и А. Горнфельда . . . . .	85
Мысли, заметки, импровизации. Перевод Е. Лундберга . . . . .	141
Мемуары. Перевод Е. Лундберга . . . . .	199
Письма 1816—1836 годов. Перевод Ю. Афонькина, Л. Виндт, Е. Закс и Н. Фарфель. <sup>1</sup>	
1. Христиану Зете. 6 июля [1816 г.] . . . . .	257
2. Христиану Зете. 27 октября 1816 г. . . . .	259
3. Амалии Гейне. 19 ноября 1817 г. . . . .	264
4. Шарлотте Гейне. 22 марта 1820 г. . . . .	264
5. Фридриху Бейггему. 15 июля 1820 г. . . . .	265
6. Фридриху Штейнману и Жану-Батисту Руссо. 29 октября 1820 г. . . . .	267
7. Фридриху-Арнольду Брокгаузу. 7 ноября 1820 г. . . . .	271
8. Фридриху Штейнману. 4 февраля 1821 г. . . . .	273
9. Генриху Штраубе. 5 февраля 1821 г. . . . .	276
10. Генриху Штраубе. [Между февралем и апрелем 1821 г.] . . . . .	277
11. Иоганну-Вольфгангу Гете. 29 декабря 1821 г. . . . .	280

---

<sup>1</sup> Отбор писем произведен Б. Гейманом. Большинство писем дано в переводе Е. Закс. Письма 3, 48, 54, 64, 67, 69, 73, 77, 78, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 94, 95, 98, 99, 105, 106, 109, 110, 111, 116, 121, 123, 132, 133, 137, 140, 145, 146, 147, 157 и 178 переведены Ю. Афонькиным, 1, 4, 9, 19, 20, 29, 37, 39, 46, 56, 57, 58, 59, 62, 70, 139, 148, 164 и 182 — Л. Виндт, 130, 136, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 162, 165, 166 и 169 — Н. Фарфель.

12. Адольфу Мюльнеру. 30 декабря 1821 г. . . . .	280
13. Хельфриху-Бернгарду Хундесхагену. 30 декабря 1821 г. . . . .	281
14. Христиану Зете. 14 апреля 1822 г. . . . .	282
15. Эрнсту-Христиану-Августу Келлеру. 27 апреля 1822 г. . . . .	285
16. Эрнсту-Христиану-Августу Келлеру. 1 сентября 1822 г. . . . .	286
17. Карлу Иммерману. 24 декабря 1822 г. . . . .	289
18. Карлу Иммерману. 14 января 1823 г. . . . .	293
19. Христиану Зете. 21 января 1823 г. . . . .	295
20. Карлу Иммерману. 21 января 1823 г. . . . .	296
21. Морицу Эмбдену. 2 февраля 1823 г. . . . .	298
22. Иммануэлю Вольвилю. 1 апреля 1823 г. . . . .	299
23. Карлу Иммерману. 10 апреля 1823 г. . . . .	304
24. Рахели Фарнхаген фон Энзе. 12 апреля 1823 г. . . . .	309
25. Иоганну-Вольфгангу Гете. [Май (?), 1823 г.] . . . . .	309
26. Людвигу Уланду. 4 мая 1823 г. . . . .	309
27. Людвигу Тику. [Май (?), 1823 г.] . . . . .	310
28. Вильгельму Мюллеру. [Май (?), 1823 г.] . . . . .	310
29. Максимилиану Шоттки. 4 мая 1823 г. . . . .	310
30. Фридриху де ла Мотт-Фуке. 10 июня 1823 г. . . . .	313
31. Карлу Иммерману. 10 июня 1823 г. . . . .	315
32. Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 17 июня 1823 г. . . . .	319
33. Мозесу Мозеру. 18 июня 1823 г. . . . .	321
34. Иозефу Леману. 26 июня 1823 г. . . . .	325
35. Леопольду Цунцу. 27 июня 1823 г. . . . .	328
36. Мозесу Мозеру. 23 августа 1823 г. . . . .	329
37. Шарлотте Эмбден. Октябрь 1823 г. . . . .	334
38. Мозесу Мозеру. 5 [6?] ноября 1823 г. . . . .	335
39. Шарлотте Эмбден. Ноябрь 1823 г. . . . .	338
40. Людвигу Роберту. 27 ноября 1823 г. . . . .	339
41. Мозесу Мозеру. 21 января 1824 г. . . . .	342
42. Рудольфу Христиани. 26 января 1824 г. . . . .	345
43. Рудольфу Христиани. 29 февраля 1824 г. . . . .	348
44. Рудольфу Христиани. 7 марта 1824 г. . . . .	350
45. Фридриху-Вильгельму Губицу. 9 марта 1824 г. . . . .	354
46. Мозесу Мозеру. 4 апреля 1824 г. . . . .	355
47. Шарлотте Эмбден. 8 мая 1824 г. . . . .	356
48. Адаму-Готлобу Эленшлегеру. [Май] 1824 г. . . . .	358
49. Рудольфу Христиани. 24 мая 1824 г. . . . .	359
50. Мозесу Мозеру. 25 июня 1824 г. . . . .	363

51. Мозесу Мозеру. 20 июля 1824 г. . . . .	367
52. Иоганну-Вольфгангу Гете. 1 октября 1824 г. . . . .	369
53. Мозесу Мозеру. 30 октября 1824 г. . . . .	370
54. Фридриху-Вильгельму Губицу. 30 ноября 1824 г. . . . .	371
55. Мозесу Мозеру. 11 января 1825 г. . . . .	372
56. Людвигу Роберту. 4 марта 1825 г. . . . .	374
57. Эдуарду Гитцигу. [Март (?) 1825 г.] . . . . .	377
58. Мозесу Мозеру. 1 апреля 1825 г. . . . .	377
59. Фридерике Роберт. 15 мая 1825 г. . . . .	379
60. Рудольфу Христиани. 26 мая 1825 г. . . . .	382
61. Мозесу Мозеру. 1 июля 1825 г. . . . .	386
62. Рудольфу Христиани. 10 октября [1825 г.] . . . . .	389
63. Фридерике Роберт. 12 октября 1825 г. . . . .	390
64. Фридриху-Вильгельму Губицу. 23 ноября 1825 г. . . . .	393
65. Рудольфу Христиани. Декабрь 1825 г. . . . .	395
66. Мозесу Мозеру. 14 декабря 1825 г. . . . .	397
67. Карлу Зимроку. 30 декабря 1825 г. . . . .	402
68. Мозесу Мозеру. 24 февраля 1826 г. . . . .	404
69. Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 14 мая 1826 г. . . . .	406
70. Эдуарду Гансу. Май 1826 г. . . . .	409
71. Иоганну-Вольфгангу Гете. [Май (?) 1826 г.] . . . . .	410
72. Людвигу Берне [Май (?) 1826 г.] . . . . .	410
73. Карлу Зимроку. 26 мая 1826 г. . . . .	411
74. Вильгельму Мюллеру. 7 июня 1826 г. . . . .	412
75. Фридриху Меркелю. 25 июля 1826 г. . . . .	414
76. Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 29 июля 1826 г. . . . .	416
77. Фридриху Меркелю. 16 (?) августа 1826 г. . . . .	417
78. Фридриху Меркелю. 6 октября 1826 г. . . . .	419
79. Мозесу Мозеру. 14 октября 1826 г. . . . .	421
80. Карлу Иммерману. 14 октября 1826 г. . . . .	423
81. Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 24 октября 1826 г. . . . .	425
82. Рудольфу Христиани. Ноябрь 1826 г. . . . .	430
83. Фридриху Меркелю. 16 ноября 1826 г. . . . .	430
84. Фридриху Меркелю. 1 января 1827 г. . . . .	433
85. Фридриху Меркелю. 10 января 1827 г. . . . .	436
86. Фридриху Меркелю. 23 апреля 1827 г. . . . .	436
87. Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 1 мая 1827 г. . . . .	438
88. Фридриху Меркелю. 1 июня 1827 г. . . . .	441
89. Мозесу Мозеру. 9 июня 1827 г. . . . .	444
90. Иоганну-Герману Детмольду. 28 июля 1827 г. . . . .	446
91. Фридриху Меркелю. 20 августа 1827 г. . . . .	448

92. Рудольфу Христиани. [Сентябрь 1827 г.] . . . . .	449
93. Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 19 октября 1827 г. . . . .	451
94. Мозесу Мозеру. 30 октября 1827 г. . . . .	454
95. Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 30 октября 1827 г. . . . .	455
96. Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 28 (?) ноября 1827 г. . . . .	456
97. Людвигу Берне и Жанетте Воль. [Ноябрь 1827 г.]	459
98. Вольфгангу Менцелю. 12 января 1828 г. . . . .	459
99. Фердинанду-Иоганну Витту фон Деррингу. 23 января [1828 г.] . . . . .	462
100. Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 12 февраля 1828 г. . . . .	464
101. Иоганну-Герману Детмольду. 15 февраля 1828 г.	466
102. Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 1 апреля 1828 г. . . . .	467
103. Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 6 июня 1828 г.	469
104. Эдуарду Шенку. [27 августа 1828 г.?] . . . . .	471
105. Мозесу Мозеру. 6 сентября 1828 г. . . . .	472
106. Соломону Фейне. 15 сентября 1828 г. . . . .	474
107. Эдуарду Шенку. 1 октября 1828 г. . . . .	475
108. Федору Ивановичу Тютчеву. 1 октября 1828 г. . . . .	477
109. Густаву Кольбу. 11 ноября 1828 г. . . . .	479
110. Иоганну-Фридриху Котте. 7 июня 1829 г. . . . .	480
111. Мозесу Мозеру. 15 июня 1829 г. . . . .	481
112. Карлу Иммерману. [17 ноября 1829 г.] . . . . .	482
113. Фридерике Роберт. [Декабрь 1829 г.] . . . . .	484
114. Карлу Иммерману. [26 декабря 1829 г.] . . . . .	485
115. Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 3 января 1830 г. . . . .	488
116. Карлу Иммерману. 3 февраля 1830 г. . . . .	491
117. Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 4 [февраля] 1830 г. . . . .	493
118. Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. [27 февраля 1830 г.] . . . . .	496
119. Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 5 апреля 1830 г. . . . .	500
120. Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 16 июня 1830 г. . . . .	504
121. Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 21 июня 1830 г. . . . .	507

122.	Лудольфу Винбаргу. [Июль или август 1830 г.] . . . . .	509
123.	Карлу-Борромеусу Герлосзону. 16 ноября 1830 г. . . . .	509
124.	Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 19 ноября 1830 г. . . . .	510
125.	Вольфгангу Менцелю. 9 декабря 1830 г. . . . .	514
126.	Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 4 января 1831 г. . . . .	515
127.	Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 1 апреля 1831 г. . . . .	518
128.	Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 27 июня 1831 г. . . . .	520
129.	Иоганну-Фридриху Котте. 20 января 1832 г. . . . .	522
130.	Мишелю Шевалье. [Февраль (?) 1832 г.] . . . . .	523
131.	Иоганну-Фридриху Котте. 1 марта 1832 г. . . . .	523
132.	Фридриху Тиршу. 15 марта 1832 г. . . . .	525
133.	Иоганну-Фридриху Котте. 2 апреля 1832 г. . . . .	526
134.	Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. [Май (?) 1832 г.] . . . . .	527
135.	Фридриху Меркелю. 24 августа 1832 г. . . . .	529
136.	Неизвестным издателям. [Ноябрь 1832 г.] . . . . .	530
137.	Карлу Иммерману. 19 декабря 1832 г. . . . .	530
138.	Юлиусу Кампе. 28 декабря 1832 г. . . . .	533
139.	Иоганну-Фридриху Котте. 1 января 1833 г. . . . .	534
140.	Эдуарду де Лагранжу. Январь 1833 г. . . . .	536
141.	Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 28 марта 1833 г. . . . .	537
142.	Генриху Лаубе. 8 апреля 1833 г. . . . .	538
143.	Генриху Лаубе. 10 июля 1833 г. . . . .	539
144.	Карлу-Августу Фарнхагену фон Энзе. 16 июля 1833 г. . . . .	541
145.	Хансу-Кристиану Андерсену. 10 августа 1833 г. . . . .	543
146.	Бетти Гейне и Шарлотте Эмбден. 25 октября 1833 г. . . . .	544
147.	Францу Грильпарцеру. 13 ноября 1833 г. . . . .	545
148.	В аугсбургскую «Всеобщую газету». 19 ноября 1833 г. . . . .	546
149.	Жюлю Мишле. 20 января 1834 г. . . . .	547
150.	Христине Бельджойозо. 1 марта 1834 г. . . . .	547
151.	Христине Бельджойозо. 18 апреля 1834 г. . . . .	548
152.	Христине Бельджойозо. 30 апреля 1834 г. . . . .	549
153.	Жорж Санд. [Июль (?) 1834 г.] . . . . .	550
154.	Виктору Гюго. [Июль (?) 1834 г.] . . . . .	550
155.	Жорж Санд. 8 января [1835 г.] . . . . .	550
156.	Филарету Шалю. 15 января 1835 г. . . . .	551

157. Иоганну-Герману Детмольду. 22 марта 1835 г. . . . .	554
158. Виктору Гюго. 2 апреля 1835 г. . . . .	556
159. Альфреду де Виньи. 3 апреля [1835 г.] . . . . .	556
160. Джакомо Мейерберу. 6 апреля 1835 г. . . . .	557
161. Юлиусу Кампе. 7 апреля 1835 г. . . . .	560
162. Христине Бельджойозо. 11 апреля 1835 г. . . . .	562
163. Августу Левальду. 11 апреля 1835 г. . . . .	563
164. Каролине Жобер. 22 апреля 1835 г. . . . .	563
165. Просперу Анфантену. 10 мая 1835 г. . . . .	564
166. Христине Бельджойозо. 4 июня 1835 г. . . . .	564
167. Иоганну-Георгу Котте. 10 июня 1835 г. . . . .	565
168. Юлиусу Кампе. [Июль 1835 г.] . . . . .	567
169. Арману Бертену. 26 сентября 1835 г. . . . .	570
170. Генриху Лаубе. 27 сентября 1835 г. . . . .	571
171. Генриху Лаубе. 23 ноября 1835 г. . . . .	573
172. Юлиусу Кампе. 4 декабря 1835 г. . . . .	576
173. Юлиусу Кампе. 12 января 1836 г. . . . .	578
174. Заявление в Союзный сейм. 28 января 1836 г. . . . .	581
175. Юлиусу Кампе. 4 февраля 1836 г. . . . .	582
176. Юлиусу Кампе. 22 марта 1836 г. . . . .	583
177. Иоганну-Георгу Котте. 29 марта 1836 г. . . . .	585
178. В аугсбургскую «Всеобщую газету». 26 апреля 1836 г. . . . .	587
179. Августу Левальду. 3 мая 1836 г. . . . .	591
180. Христине Бельджойозо. 30 октября 1836 г. . . . .	593
181. Августу Левальду. 5 ноября 1836 г. . . . .	596
182. Юлиусу Кампе. 20 декабря 1836 г. . . . .	596

Комментарии Б. Геймана и Е. Ланда <sup>1</sup> . . . . .	599
--	-----

<sup>1</sup> Б. Гейманом написаны комментарии к «Доктору Фаусту», «Богам в изгнании», «Богине Диане» и к письмам 1816—1836 годов. Е. Ланда — к «Признаниям», «Мыслям, заметкам, импровизациям» и «Мемуарам».

*Генрих Гейне*  
*Собрание сочинений, т. 9*

*Редактор Г. Бергельсон*  
*Художник Л. Хижинский*  
*Художественный редактор*  
*Л. Чалова*

*Технический редактор*

*Л. Крючкина*

*Корректоры*

*В. Урес и Э. Урицкая*

Подписано к печати 23/V 1959 г.  
Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> — 23,37 печ. л. =  
=38,33 усл. печ. л. 37,51 уч.-изд.  
л. Тираж 80 000 экз. Заказ № 953.  
Цена 9 р.

Гослитиздат  
Ленинградское отделение  
Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградский Совет народного  
хозяйства, Управление полигра-  
фической промышленности, Типо-  
графия № 1 «Печатный Двор»  
им. А. М. Горького.  
Ленинград, Гатчинская, 26.